Приложение к газете «День литературы»

Главный редактор:
Владимир БОНДАРЕНКО

Выпускающий редактор:
Валентина ЕРОФЕЕВА

Редакционный совет:

Николай ИВАНОВ,
Сергей КУНЯЕВ,
Александр ЛЕОНИДОВ,
Вячеслав ЛЮТЫЙ,
Михаил К. ПОПОВ
Станислав ПАРФЁНЦЕВ
Захар ПРИЛЕПИН
Андрей ТИМОФЕЕВ

Гендиректор Валентина Ерофеева

Адрес редакции:
119146, г. Москва, Комсомольский проспект, 13

Телефон:
8-916-015-80-69

Email:
denlitera@yandex.ru

Сайт:
denlit.ru

АНО Газета русских писателей «День литературы». Свидетельство о госрегистрации от 23.06.2017 г. № 1177700010311

ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Журнал русских писателей

№ 2 (5), 2018

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции.....3

Об авторе.....4

РОМАН

ОБРОНИЛА СИНИЦА ПЕРО ИЗ ГНЕЗДА.....5

ПОВЕСТИ

НЕ ЗАМУТИТЬ КОЛОДЦА НЕПОГОДЕ. *Повесть об отце*.....161

ЦВЕТОК МОЙ ЛАЗОРЕВЫЙ.....236

ПУДОВЫЕ ЯКОРЯ.....270

РАССКАЗЫ

КОНОКРАД.....289

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА.....290

МАМИН ХЛЕБ.....295

НАБОРНЫЙ РЕМЕШОК.....298

ГОРБАТЫЙ РАСПЛОД.....302

ВЫ НЕ МОЙ КАПЕЛЬМЕЙСТЕР.....304

ГУРТОПРАВ.....317

«ПРЕДАТЕЛЬ» ФУНТИК.....320

ЁЖИК ГЕОРГИЙ.....322

ЛЮБОПЫТНЫЙ СОБОЛЁК.....328

ПОЧИТАТЕЛЬНИЦА.....329

ГЕРОЙКА.....330

ТАК-ТО, БРАТ ЮРА.....335

ВЛЮБЛЁННЫЙ ПЁС.....336

ПИХТОВОЕ МАСЛО И ЧЁРНЫЙ МЕДВЕДЬ.....337

ВИШНЁВСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ.....346

Союз писателей России. Документы.....351

О ГАЗЕТЕ И ЖУРНАЛЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ «ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ»

Газета «День литературы» издаётся Союзом писателей России и редакцией. В ней публикуются работы писателей России и Зарубежья: публицистика, критика, малые формы прозы и поэзия.

Накануне своего 20-летия, весной 2017 года, газета «День литературы» выпустила первое в своей истории «толстое» приложение — журнал «День литературы». Планируется выпускать новый номер журнала ежеквартально.

За прошедший год уже выпущено четыре номера журнала.

Журнал, возникший как приложение к ежемесячной литературной газете, унаследует её дух и традиции. Конечно же, очищенные от «злобы дня» и того публицистического задора, что всегда отличали «День литературы» в ряду других литературных изданий.

Журнал «День литературы» делает сознательную ставку на Большую русскую прозу: романы, повести, новеллы. То, в чём мы можем сегодня увидеть и понять наше время; то, что, собственно, и останется от нашего времени.

Разумеется, журнал «День литературы» не откажется от последовательной и неизменной позиции издания на протяжении 20 лет, и вслед за газетой готов манифестировать: это журнал русских писателей. Поэтому обсуждение «национальной идеи» России и судеб русского народа — будет по-прежнему ярко и целенаправленно освещаться на его страницах.

Некоторые выпуски журнала заранее планируются как полностью авторские.

Один из таких номеров сейчас в ваших руках. Это проза нашего алтайского друга Юрия Манакова.

Редакция

ОБ АВТОРЕ

Юрий Семёнович Манаков родился в 1957 году в городе Лениногорске на Рудном Алтае. По окончании средней школы служил в ракетных войсках в пустыне вблизи Сары-Озека в Казахской ССР. Образование высшее журналистское получил в Иркутском государственном университете после службы в армии. Работал слесарем на рудничном карьере и обогатительной фабрике, машинистом котельной установки в гидрогеологической экспедиции на Сахалине, трубоукладчиком на стройке, крепильщиком в шахте, вязал и сплавлял плоты по Ангаре в Кежемском и Богучанском районах Красноярского края, строил и ремонтировал дома в Иркутске и Москве; рыбаком прибрежного лова промышлял корюшку, сельдь, лосося и краба на стыке Японского и Охотского морей в Анивском заливе, рядом с островом Сахалин; садовничал в первопрестольной, разгружал и загружал вагоны и фуры на продовольственных складах в Южно-Сахалинске и на Московском жировом комбинате, дежурил сторожем в православном храме на Алтае. Много лет проработал редактором на радио и в газетах, преподавал историю в алтайской деревеньке, бортничал, держал корову и лошадь. Зимовал отшельником в верховьях Иртыша на берегу Бухтарминского водохранилища у подножия Нарымского горного хребта, неподалёку от границы Казахстана и Китая.

Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Молодая гвардия», «Наш современник», «Сибирь», «Простор», «Нива», «Алтай», альманахах «Братина», «Сахалин», «Спасатель», «Риддерская радуга», «Иртыш».

Лауреат и дипломант Московского конкурса «Золотое перо» и других литературных премий. Автор более 10 книг стихотворений и прозы.

Живёт попеременно в Подмосковье и на Рудном Алтае.

ОБРОНИЛА СИНИЦА ПЕРО ИЗ ГНЕЗДА

Часть первая

1.

Каких-то пару недель минуло с того дня, когда старый закадычный друган и собутыльник Васька Ширяев, он же неумолимый для недобитого вражьего отребья начальник уездного Таловского ОГПУ, сделал своей правой рукой Никифора Грушакова, больше известного среди местных бергалов как Кишка Курощуп, из-за неодолимой с детства привычки поймать зазевавшуюся курицу и ощупать гузку – авось да выкинет тёплое парное яичко. Именно его, Кишку, как принародно с ревкомовского крыльца зычно объявил Василий Митрофанович Ширяев: «Я назначаю уполномоченным по изъятию у мракобесов церковных ценностей. Посколь-де, милаи, ваше времечко всё выпукнулось. Будем теперя Рассею проветрять от попов и присных».

Весело и задорно хохотали они тогда, поскрипывая новенькими, не притёршимися ремнями портупей на духмяных овчинных полушубках. Звонче же всех заливалась румяная тридцатилетняя бабёнка в утеплённой кожанке, Аграфена Павловна Шерстобитова, с присохшим намертво прозвищем Фенька-Стрелок. Эту кличку она носила едва ли не сызмальства, ещё с царского режима. А прикипела она к ней страшной кровью.

Дом их, ладно срубленный века полтора назад, стоял на высоком бережку говорливой Луговатки у поскотины, ближе к тёмно-зелёному пихтачу. Было Феньке пятнадцать годков от роду, но упругие грудки уже зазывно напрягали тесёмки сарафана, да и сама деваха слыла озорницей. Старшие братья не раз и не два ломали бока и выворачивали лапы на топтогоне шибко вольным плясунам, что якобы ненароком пробовали проверить на ощупь упругость выпирающих аппетитных холмиков их шаловливой сестрёнки. Сластолюбивых парней отваживали, Феньку в шею гнали домой, да вот уж год как братья сгинули в пекле мировой войны где-то под Перемышлем, то ли в плену у немцев, то ли убиты и засыпаны землёй на дне воронки на поле боя.

Серенький, в полоску, тощий котёнок в закутке рядом с печью играл с клубком, ещё утром оброненным торопящейся на базар тёткой Степанидой. До скрипящей широкой деревянной кровати ему и дела не было. Пружины скрипели размеренно и поэтому не пугали, а что до протяжных девичьих стонов, доносящихся сверху, из перин, так Тишка к ним уже привык: не впервой ведь, лишь бы потом, когда стоны стихнут, не зазеваться и не попасть под босые волосатые ноги с грязными ногтями, которые всегда неожиданно и страшно обрушивались с постели на пол. В открытое настежь окош-

ко текли пряные запахи сена с августовских, выкошенных лугов, в избе было прохладно, дверь второпях так и не прикрыли, и легкий сквознячок гулял по дому. На стене над кроватью была распята медвежья шкура, пастью к раскрытому окну. На бурой шкуре поблескивала воронёным стволом, с переливающейся полировкой на цевье и прикладе, новенькая берданка. С проданных на базаре в Талове медвежатины, жира и желчи денег хватило Павлу Никитичу Шерстобитову, отцу Феньки, аккурат на это вот ружьецо. Последний Фенькин стон был продолжительным, глубоким и сытным. Косматая потная голова очередного ухажёра Мишки Дергача в сладком изнеможении уткнулась в подушку рядом. Опамятавшая Фенька томно обвела взглядом избу. И тут-то её и ошпарило. В дверях стоял отец, грузно прислонясь к косяку, и вцепившись от растерянности в густую, с проседью, бороду узловатой пятернёй правой, тяжёлой руки.

– Тятька, ты откуль так рано? А на заимке кто ж скотину стережёт? – первое, что вырвалось у неприкрытой даже простынкой Феньки.

– Васятка-работник, аль забыла? Полёживай покуль, а я мигом за вожжами, – Павел Никитич круто развернулся и исчез в сумерках сеней. Тем временем Мишки уже и след простыл, он без порток, с одёжкой под мышкой, щучкой нырнул в растворённое окно, смачно приземлился, оцарапав о колючие стебли малины мелко подрагивающее пузцо, и босиком во все лопатки припустил прочь от Шерстобитовых.

– Ах ты, сучка, породу позоришь! Чё, мне теперя, до гроба дёготь с ворот соскабливать? Не сватана, не венчана, блудом родительску постелю мараешь! – донёсся густой бас из сеней и в дверном проёме выросла кряжистая фигура отца. Здесь и грянул оглушительный выстрел. Ярость на бородатом курносом, в оспинках, лице Павла Никитича мгновенно сменилась растерянностью и жалобным недоумением. Он медленно сполз на порог и опрокинулся навзничь, но и мёртвый не выпустил из мозолистых, в крупных жилах рук принесённые из конюшни вожжи. Фенька откинула берданку в угол кровати, спрыгнула на пол и лихорадочно стала натягивать на голое тело тесный сарафан и мужские портки. Несколько успокоившись, она сняла с крючка за печкой добротную кожаную котомку и принялась складывать в неё запасные холщовые портки, шерстяную свитку, исподнее, в тряпицу завернула каравай хлеба, с десяток яиц, прихватила полную солонку, кресало и огниво. За божницей нашарила припрятанные матерью на чёрный день, свёрнутые в свиток ассигнации рублями и трёшками. Не забыла и о патронташе с берданкой. Всё в бегах сгодится.

Выходя из избы, она боязливо переступила через остывающее тело отца, что перегородило проход на крыльцо, быстро сбежала по ступеням во двор. У коновязи, не рассёдланный, переминался с ноги на ногу отцов Буланка. Приторочив поклажу к седлу, Фенька уже вставила сапожок в стремя, как её сладко озарила возбуждающая мысль: а не поджечь ли напоследок дом, тогда и концы в пепелище! Можно бы, да времени маловато. И Фенька ударила твёрдыми каблучками в конский пах, пришпоривая Буланку и уносясь через луг к недальнему броду, чтобы оттуда уж перебраться, минуя заимки и кержацкие поселья, на вольные степные просторы.

Взяли Феньку на Покров, в одном из меблированных номеров на Семипалатинской переправе через Иртыш, где она с одним смазливым приказчиком догуливала остатние деньжата с продажи Буланки. На дебош, устроенный пьяной Фенькой, явились пристав с полицейскими и препроводили гуляк в околоток. Приказчика, списав все его данные, скоро вытолкали за

двери участка, а на выяснение: кто же такая и откуда родом эта разбитная юная бестия, ушло дня два. Приговорили Феньку к каторге, а так как ей было уже больше шестнадцати, то и не поскупились, дали 10 лет. Однако в феврале Россию так революционно тряхнуло, что все государственные скрепы порассыпались и укатились в такие кромешные зауголья, что и не поправить, и не отыскать. Феньку и до каторжных рудников не довезли, когда их на одном из сибирских разъездов освободила шальная толпа в красных бантах и повязках. Как пострадавшая от сатрапов царского режима, Фенька быстро пошла в революционную гору. В восемнадцатом она прибилась к чекистам, больно горячи были объятья у таких же молоденьких курчавых да чернявых, носатеньких пареньков из южных российских и хохляцких областей, а уж об их беспощадности к врагам революции, обладай она даром писательства, Фенька бы слагала пламенные поэмы и легенды. Да вот беда, грамотёшка у девки хромала на обе ноги, с трудом подпись свою могла поставить под расстрельными приговорами. Ей проще было отправить лишний десяток пленных беляков и прочей контры собственноручно на тот свет, чем вывести свой каракуль на казенной бумаге. Говорил же покойный тятька: учи грамоту, ходи в церковно-приходскую школу, ан нет, всё ладила наперекор, а теперь вот – кусай локотки. И комиссаром не назначат, хоть ты ещё не одну сотню контры пореши! Поэтому-то опосля гражданской войны, когда кровавые потехи чуть схлынули, оставшись не у дел, Фенька решила прибиться опять же к родимым берегам. По слухам, маменька померла, от братовьёв как не было вестей, так и нет, дом свободен, власть наша. Вперед, Аграфена! Установим свою силу на таёжных угорах!

В Успенский, рубленный из звонкой сосны, пятикупольный храм Кишка Курощуп с ватагой таких же отпетых пролетариев и сельских бездельников нагрянул, во избежание стычек с верующими, в будний день, ближе к вечеру. Застигнутый врасплох церковный сторож, подслеповатый инвалид ещё с японской войны, дед Кирьян, под дулом Кишкиного маузера, постукивая по листвяжному настилу паперти деревянным протезом, молча отпёр входные двери, куда сразу же, подталкивая друг друга, кинулась подпитая ватага. Оставленный без пригляда дед Кирьян бочком захромал к внешней лестнице на колокольню, и тотчас же над городком загремел набат.

Но гремел он недолго: выбежавший из храма Кишка метким выстрелом оборвал и гром набата, и жизнь сторожа-инвалида. Однако в церковную ограду уже спешили потревоженные прихожане. Толпа гудела, и несдобровать бы Кишке, кабы на подмогу ему не выскочили на паперть подельники, выдёргивая на ходу из кобуры револьверы и подхватывая оставленные в пирамидке у входа винтовки. Сделав первый залп поверх голов негодующих прихожан, они в одну глотку зычно и пьяно прорявкали, что, мол, положат всех здесь же, на площади, чтобы их разом и отпели и зарыли, коль в одну минуту бунтовщики не очистят от себя ограду.

Толпа отхлынула, но расходиться и не думала, кто-то молча клал земные поклоны, некоторые, обступив батюшку и дьякона, в слезах шептали молитвы, несколько пожилых мужиков и отчаянных баб, возвысив голоса, чтобы их слышали на паперти, пытались вразумить увещеваниями огэпэушников. Те в ответ лишь криво ухмылялись да грязно ругались. Но церковные ценности, без учета тех золотых и серебряных мелочей, что можно незаметно рассовать по карманам, в этот вечер из храма расхристанной ватагой не были вынесены. Утихшая толпа за оградой, молча и неодобрительно рассту-

пилась, когда они, наконец, после часового хмурого противостояния, ощетинившись оружием, решились покинуть храм.

Той же мартовской ночью были арестованы двадцать семь зачинщиков из прихожан. Группы по пять бойцов – как раз оперативно подоспели из волости два взвода внутренних войск – во главе с местными уполномоченными, тихо подъезжали на подводах к воротам и тёпленькими, из постели от жён, в одних кальсонах брали мужиков. Для порядку загребли и с пяток самых крикливых и ядрёных бабенок. В подвале, дескать, определим их вину и решим, как наказать.

Посадили в кутузку как организаторов бунта настоятеля храма, дьякона и престарелого пономаря. Местная комсомольская молодежь по горячим следам сварганила постановку в избе-читальне о том, как тёмные элементы и мракобесы из поповского окружения вставляют корявые палки в колеса набирающего ход социализма.

А что до того, что девять из осужденных особой тройкой, в числе которых батюшка, как главарь антисоветского восстания, были расстреляны, одиннадцать бесследно сгинули в лагерях и только семь человек, из них четыре женщины, уже перед самой войной вернулись в Талов, так об этом в открытую и не поминалось. Деда Кирьяна на третий день похоронили в церковной ограде сердобольные прихожане. Проводить в последний путь старика пришло всего несколько человек: власти, дав разрешение на выдачу из ледника тела одного из зачинщиков бунта, строго предупредили – в случае чего церемониться не будут, да и войска под рукой.

Спустя неделю, отодрав приколоченные, крест-накрест, к дверям доски, Кишка с дружками выволокли из храма и погрузили на четверо саней всю церковную утварь, раскуроченный золочёный иконостас, с колокольни сбросили чугунные и медные колокола. Те, что не раскололись при падении, тоже пристроили на подводы – в социалистическом хозяйстве куда-нибудь да сгодятся. Те же, что раскололись, милостиво разрешили разобрать по домам находящимся здесь же, на церковной площади, и горько плачущим прихожанам.

А ещё через неделю комсомольская молодежь, поощряемая старшими товарищами-партийцами, организовала субботник по разбору добротного бревенчатого сруба православного храма – срочно потребовался лес на строительство овощехранилищ на окраине городка.

Стремительный поток прозрачной и студёной реки, выбежав по каменистому углублённому руслу на продолговатый зеленый подол между лесистыми, в скалистых утесах, горами, здесь несколько успокаивался, волна выравнивалась, растекалась, таяла на блестящей в лучах восходящего солнца водной поверхности. Река будто бы демонстрировала свое смирение, медленно текла и даже как-то виновато прибивалась к отвесной, в лишайниках, скале, которой обрывалась пологая сопка, заросшая акацией, черемухой и калиной. Глубокий омут у скалы был излюбленным местом ночевки метровых тайменей, где эти рыбины отлёживались после своих походов вверх и вниз по шиверам и стремнинам в поисках пропитания. Это было также и излюбленное место заядлых рыбаков из кержацкой деревеньки, что в две улицы расположилась здесь же, в этой долине, сразу за изрезанной весенними паводками прибрежной поймой.

Ивашка Егоров нынче в куражах, не зря, знать, помёрз ночью на холодной протоке. Таймень, что сейчас жабрами скоблил мокрую рубаху на пле-

че, хвост свой русалочий волочил по росистой траве. Накануне Ивашка, притаившись за шершавым валуном, одним ударом увесистой колотушки по плоскому, в щетинке мха лбу оглоушил тайменя в тот миг, когда рыбина в утренних сумерках выплыла из глубины на перекат, направляясь по мелкой игристой волне вверх по реке. По прозрачным струям пошли кровавые разводья, едва парень ловко воткнул лезвие тесака наискосок от жабр к рыбьей голове. Таймень дернулся на речной мели и затих. Теперь его можно было без опаски выволакивать на сушу.

– Не меньше пуда, – радовался Ивашка, подходя к поскотине пробуждающейся Гусляковки.

Вышедшая на высокое крыльцо с резными перильцами, обычно сдержанная и немногословная, мать, увидев Ивашку с богатым уловом, радостно всплеснула руками.

– Поглянь-ко, Сёмушка, какой подарок наш сынок с реки взял! – обратилась тётка Аксинья прямо со ступеней к распахнутым широким дверям в хлев, откуда тотчас же выглянул русоволосый, с проседью в бороде, рослый и костистый отец. Он прислонил к косяку вилы и весёлым шагом направился к сыну. Подойдя, двумя руками легко подхватил тайменя за жабры и, одобрительно покряхтывая, живо снял рыбину с плеча у парня. Вдвоём они перенесли добычу на удобный разделочный стол под сплетённым из камыша навесом в глуби двора.

– Давай, мать, соль, чеснок и перчик, – скомандовал Семён Перфильич, – а я покуль приготовлю лагун, да устелю ему дно лопушками хрена. Ивашка, потроши варнака: солить надобно, покуль мясцо рыбье не остыло, повкусней будет.

Егоровы закончили с посолом и укладкой жирных пластов в лагун, накрыли неплотным кружком из цельного кедрового спила, осталось придавить его речным плоским синим камнем, что не первый год служил хозяевам добрым гнётом, как от недальнего черемушника, с дороги, послышалось ржанье коня.

– Кто бы это мог быть в такую рань? – молвил Семён Перфильич, обтёр ладони о холстинку и вышел из-под навеса к калитке встретить гостя.

Спустя минуту он уже крепко жал руку коренастому бородачу в армяке, спешившемуся с игреневого мерина и приветливо оглядывающему Семёна Перфильича.

– Поклон вам от Настасьи и всех наших Тегерецких, – говорил Меркул Калистратыч Литвинов, так звали гостя, привязывая и рассёдлывая коня. – А я пошто к тебе, Сёма, верхами, да по зорьке? Зовём тебя с Ивашкой шишку бить. Нонче на её урожай знатный. Артельно, дак оно сподручней будет. Ты как?

– Знамо как, пиши нас без оговорок в свою артель. Верно, сынок? – обратился Семён Перфильич к подошедшему к мужикам с поклоном Ивашке.

– Я, как ты, тятя.

– Идём, Меркуша, в избу. Там всё и обмозгуем. Аксинья, встречай гостя.

Вторую неделю шишковали кержаки в могучем кедровнике, что не одну тысячу лет разрастался в покатой котловине, окруженной скалистыми, в снежных шапках, вершинами алтайских белков. А шишка и вправду в этом году была как на подбор, светло-коричневая, подсохшая, уже без смолы, ошелушивалась от первого прикосновения рубчатого валька. Пока было светло, околачивали кедры: где били огромным деревянным молотом-колотушкой по стволам; где молодёжь карабкалась вверх, до толстых ветвей, и, рас-

качивая их, обмолачивала игольчатые тёмно-зелёные лапы от спелых плодов. Шишки дождём сыпались на шершавые блюдца мареновых обомшелых валунов, выступающих из косогоров, и укатывались по ворсистым коврам, сотканным из пружинистых палых иголок, в волнистые травы вокруг дерева. Потом в кулях стаскивали хрустящие от спелости шишки в лагерь у ключа, игристо бьющего из-под слоистой, в золотистых лишайниках и влажных изумрудных мхах, скалы метрах в семи от рубленой, с крутой двускатной крышей, охотничьей избушки.

Убранство внутри зимовушки было неприхотливым: дневной свет из двух крохотных оконцев освещал в углу тесаный стол, земляной пол, вместо лавок кедровые чурбаны, вокруг печи с дымоходом в одно коленце, искусно сложенной из камней и обмазанной соломой с конским навозом, были настелены широкие нары. Шишки по обыкновению шелушили на утоптанном дворике у ночного костра, там же стелили холщовую палатку, над которой провеивали орехи. Поодаль, под шатром вековухи-лиственницы, чтобы ненароком не вымочило дождём, возвышалась внушительная гора опростанных из кулей шишек.

Накануне мужики работу оставили далеко за полночь, и, истово перекрестившись на звёздное, сдавленное тёмными вершинами бархатистое небо, ушли спать в избушку. Задув керосиновую лампу, Меркул Калистратыч, кряхтя, взобрался на свое место на нарах, и, блаженно вытянувшись, пробормотал, вот, мол, нам бы ещё дал Господь пару-тройку вёдренных дней, управились бы как раз к возвращению Петра Григорьича с конями. А там бы развезли весь урожай через перевал и к тебе, Семён Перфильич, в Гусляковку, да и к нам, в Тегерецкое.

По восходу солнца наладился Ивашка справить нужду, выбрался из-под нагретой полости, сунул ноги в бутылы и, придерживая дверь, дабы не скрипнула на петлях, тихонько отворил её. Выскочив на двор, Ивашка открыл рот в изумлении: белизна выпавшего ночью снега слепила глаза, ядрёный морозец щекотал кожу под исподним бельём. «Вот это да-а!» – беззвучно вырвалось у парня. И в ту же минуту Ивашка вновь оторопел: рядом с буртом кедровых шишек посиживал себе матёрый медведище и весело уплетал эти самые шишки, да так, что покачивался мощный бурый, с частой проседью, загривок. Косолапый правой передней лапищей ловко подхватывал очередную шишку, уминал её оземь и, пристраивая сбоку в пасть, протаскивал меж клыков, втягивая воздухом в себя кедровые ядрышки и скорлупки, и левой лапой отбрасывал обглоданный корешок шишки в сторону. Было похоже на то, будто бы медведь играл на губной гармошке. Но делал это почему-то беззвучно – тишина стояла мёртвая, и, поэтому, когда Ивашка неосторожно скрипнул бутылами, медведь мгновенно крутнулся на звук и вперил в паренька свои маленькие, настороженные глазки. И не успел Ивашка сморгнуть едкую потную влагу, скатившуюся со лба в угол глаз, косолапый исчез, будто и не было его, так, что-то спросонья приблазнилось. Оно было бы так, кабы не разбросанные по снегу корешки и шелуха шишек, да не вмятина в том месте, где сидел медведь и траншея-тропа к недалёкому заснеженному пихтачу. Гляди-ка, с виду неуклюж да косолап, а сноровист, ровно соболёк какой махонький, – подумал с уважением Ивашка, берясь за состругану из березового корневища дверную скобу.

Мужики известие о медведе приняли спокойно, их больше всполошил нежданный снег, хотя, рассудили они – уже сентябрь и на эдаких высотах ему пора бы и лечь, беда, ежели западёрит всерьёз. Здесь-то ещё долина, укрытие, а на перевалах что деется, не приведи, Господь, очутиться там в этакую

пору. Но опасения, как и клочья тумана по логам и под вершинами, ощетинившимися притупленными лезвиями скал, рассеяло выглянувшее из-за горных пиков солнышко. Лучи его были не по-осеннему жаркими, и к полудню они выпарили весь выпавший снег и даже просушили тропы в кедровники. Так что до темноты кержаки успели сделать две ходки к прямоствольным исполинам, и убыток, нанесённый косолапым, был восполнен с лихвой.

А ещё через два дня Пётр Григорьич Загайнов, крепкий восьмидесятилетний тесть Меркула Калистратыча, как и было условлено, привёл караван из семи лошадей в лагерь шишкобоев. Кони были небольшие, с мохнатыми ногами и косматыми гривами, монгольской породы. Но именно им, этим неказистым, но чрезвычайно выносливым лошадкам нет равных в горах, среди непредсказуемых россыпей, на головокружительных подъёмах и спусках вдоль пропастей и отвесных расщелин.

Отужинав, кержаки запалили добрый костерок во дворе, сами же расселись на ошкурённых лесинах, полукругом. В котелке булькал, розовея, отвар из белочного корня, смородинового листа и подсохших ягодок черники. Белочный, он же красный, корень, в читанных некоторыми из сидящих здесь мужиков умных книгах величаемый «копеечником уползающим», был из всего нынешнего сбора самый целебный и ценимый; рос корень в едва прикрытых землицей россыпях, добывался исстари кержаками особым смекалистым способым: окапывался вкруговую толстый, сплетённый из тугих розоватых волокон главный стержень корня, от которого, оплетая камни, уходили в земную полость, подобно щупальцам, иногда и до семи-восьми саженей, живучие корешки. Подводили распряжённого коня. На торчащий из россыпи, напоминающий из-за подрезанных стеблей щетинистую розетку корень набрасывали петлю пеньковой верви, другой конец которой крепко привязывали к основанию конского хвоста и, взяв под уздцы лошадь, начинали потихоньку отводить её в сторону. Натягивалась верёвка, напрягался ход лошади, и стелющиеся по россыпям щупальцы корня, взрывая тонкий слой земли, прелых листьев и хвоинок, показывались наружу. Корень собирали, здесь же на месте рубили на куски и расщепляли на волокна. Привезя домой, сушили под навесами, и потом, по надобности бросив горстку сухих волокон в чугунок с ключевой водой, томили отвар в русской печи, чтобы долгими зимними вечерами наслаждаться этим благодатным отваром, подсластив его парным коровьим молоком.

Степенно прихлёбывая этот целебный напиток, мужики напряженно вслушивались в неспешную, глуховатую речь Петра Григорьича, который обсказывал шишкобоям свежие тревожные новости.

– ...Нагрянули в женский скит чекисты сворой своей, за старшого у них, бают, бабёнка непотребная, Фенькой Стрелком прозывается, а правая рука – Кишка Курощуп, эксприировать, – как сами они спьяну горланили, – церковную утварь «мракобесов». Осподи, прости душу мою грешную, – дед Загайнов двуперстно осенил себя крестным знамением. – Подскакали верхами к воротам, а те распахнуты настежь, и в скиту ни души. Они в храмовую молельню, пограбить иконостас, и там – пусто, одни сосновые каркасы, а все иконы, оклады, образа, расписанные серебром да златом, вынуты и увезены неведомо кем и незнамо куда. Рылись в кельях, искали убранные жемчугом да алмазами наши старинные книги, особливо усердствовала беспутная Фенька, да всё впустую. А на подворье колокола сняты, ни единой живой души, собаки, и те разбежались. Пометались суразята по окрестностям

монастыря, порыскали, да напоследок сожгли все постройки. Какой пожарище полыхнул, даже кресты листвяжные обгорели на церковном погосте. Оно бы и тайга взялась, да дождь со снегом сбил пал. Нонче ватага сия шарит по нашим посельям, выпытывает, куда бы могли уйти настоятельница и монашки, да с ними, бают, должон быть монастырский сторож Северьян Акинфич Шемонаев. Обыски творят и у наших: мол, де, столь добра так просто не увезти, чё-то, дескать, припрятали вражьи дети и у вас в избах. Перероют всё, переломают, матюгнутся и – в другой дом. Однако люди молчат, да и ушли наши заступницы пред Богом в ночь, тайно, никого не оповестив, дабы не искушать. Где они теперь и когда дадут весть о себе, то неведомо никому. Нам же остаётся горячо молиться о благополучии матушки Варвары и её монахинь, – со вздохом закончил Петр Григорьич Загайнов.

Мужики помолчали. Ивашка снял с таганка повторно наполненный и скоро вскипевший котелок с булькающим душистым отваром и обнёс всех, наливая каждому, кто подставил свою медную кружку, ароматный и бодрящий напиток.

– Дед Петро, здесь у нас как-то днями случился спор, сколь мы в этих благословенных местах обитаем и откуль пришли наши старые люди, – Степан Раскатов, крепкий молодой мужик с ухватистыми руками, поворошил обожжёным с одного края суком подёрнутый пеплом костёр, и поднял свои, с едва приметной косинкой карие глаза на деда. – Кто бает, мол, с Польши, а кто твердит – с севера, с Поморья.

– Правы и те, и другие. Сроку, как мы здесь закрепились и осели, без малого три сотни лет.

Первыми, невдолге опосля годуновской Смуты по Оби пришли наши пращуры с Поморья. Одному старцу было виденье, будто бы в тех горах, откуль берёт начало сия сибирская река, и есть заповеданное Беловодье. В путь снарядились до пяти деревень. Студёным морем по лету на стругах да дощаниках проплыли до устья Оби, а уж оттуль, с двумя зимовками, поднялись к истокам Катуни. Стычек по дороге с татарами, аль там с джунгарами не имели, посколь шли мирно, многочисленно, по местам малолюдным; на зиму рубили добрые остроги, кормились рыбой с реки да добычей с тайги. А через полтораста годков нашему племени прибыло из Польши изрядное число единоверцев. Немка-императрица, опосля раздела Польской страны, согнала укрывающихся от никониан наших братьев в одно место и оттуль под штыками солдат, ровно каторжан клеймёных, через всю матушку-Россию погнала на Алтай. Сюда добрались к зиме, надобно избы ставить, а чем? Ни топора, ни пилы, – народ, кто в чём был, кто чё успел из одёжки посбирать, в том и прибыли в Сибирь-то. Сколь примёрло, помёрзло, не считано. Однако люди не роптали, ибо сказано: претерпевший до конца – спасётся. Отыскали один топоришко, настрогали заступов и лопат, да и нарыли землянок. Подсобили и поморцы. По весне отсеялись по целику, а за лето поставили избы, обжились, – дед Петро отхлебнул дымящегося отвара из долблённой из берёзовой капы чаши и продолжал: – Ты вот, Степан, почто кареглаз да с косинкой? Вроде обличьем и не до конца наш, русский? Ты уж не серчай, Стёпа, чё я так к тебе, сие для примеру. А всё просто. В те первые годы, знать, так было промыслено свыше, не хватало на всех мужиков невест, бабы рожали почти одних ребят. Понятно, мы, мужики – надёжа и опора, да без бабы-то и род человечий пресечётся, да и вокруг непорядок. Ибо сказано: плодитесь и размножайтесь. Делать-то было чё? Старики на совете и порешили: выкупать по сговору у некоторых дружелюбных к нам

родов местных ойротов и телеутов девочек трёх-четырёх лет, крестить их в православную, древлего благочестия веру, а там уж и ростить, обучать с нашими наравне. Вот и твоя, Стёпушка, кровь подновлена в том благолепном веку, когда мы ни в чьём, окромя Оспода нашего Исуса Христа, подданстве не числились. Опосля уж приключилось, как пригнали сюда наших братьев с Польши, царёвы чины, да в купе с войском, уговорили нас принять подданство России, отдаться под руку государыни. А польза в твоём обновлении, Стёпушка, великая. Кто на все горы наши самый знатный промысловик-соболятник, и даже не глядя на возраст? Ты, – и сие подтвердит всякий из нас. А почто так? Да потому как у тебя повадки и наши, русские, и память не одного колена коренных алтайских насельников.

Утром, по зорьке, караван из навьюченных кулями с отборным кедровым орехом лошадей и пеших мужиков, истово помолившихся перед дорогой на походные образа, наладился по каменистой, в узлах корней, извилистой тропе вверх на перевал. Путь был хоженый, знакомый, особливо опасный лишь в двух местах: у сыпучей кромки мраморного полуразрушенного кратера и у выдолбленной в базальте над отвесной бездонной пропастью крохотной змейки-тропки, где не разойтись и двум встречным путникам.

Стояла звонкая сухая осень, между скал и на выпуклых покатых высокогорных полянках рыжели ковры увядающей черники, там и сям желтели карликовые коряжистые лиственницы, стлались вдоль ребристых кряжей неказистые, тёмные с корня, облетающие тундровые берёзки. Небесная синь густа, ни ветерка, ни облачка, лишь с восточного бока над рваным зигзагом снежных пиков снопы золотистых лучей восходящего солнца. Кержаки, и без того нелюдимые и немногословные, недаром говорится, что каждое слово у таких надобно выкупать, здесь и вовсе языки проглотили. Всё внимание на лошадей и крутую тропу, щедро усыпанную скальником в острых зазубринах. Тишина почти абсолютная, на такой высоте, да ещё в сентябре, птицы редкие гости, только и слышно частое и прерывистое дыхание шишкобоев и всхрапыванье да пофыркиванье навьюченных коней.

К полудню, благополучно миновав опасные участки, выбрались на перевал, но кто сказал, что спуск в горах легче подъёма, когда ты ещё и с изрядной поклажей? Здесь, прежде чем твёрдо, с опорой, ступишь на камень или плоскую шершавую скалистую плиту, не раз проверишь прочность их своей ногой – а не поедет ли этот самый камень или плита вниз по головокружительной тропе, увлекая и тебя в костоломный и гибельный спуск.

Уже внизу, в хвойном подлеске, на коротком привале дед Петро, который, как и остальные, всю дорогу вёл своего Карьку под уздцы, ни к кому конкретно не обращаясь, молвил:

– Вестимо, отныне так вот и жизнь наша будет уложена: шага не ступишь, покуль всё вкруг себя не опробуешь да на сто раз не проверишь.

Мужики понимающе переглянулись, но разговора никто не поддержал. Оно и так душа не на месте, да и понятно, что по прибытию домой неизвестно, что их ожидает, коль по их деревням и таёжным угодьям рыщут ироды – чекисты.

Северьян Акинфич вплёл и заправил последний гибкий прутик в косицу тальниковой дверной петли и опробовал набранную из берёзовых жердочек калитку, ладно ли она подходит к только что вкопанным столбам. Довольно хмыкнув, он легонько притворил калитку и по тропинке, усыпанной жёлтой игольчатой хвоей, направился в скит, укрытый под сенью могучего кедра. Тай-

ный скит этот был срублен, по благословлению настоятельницы, им и монастырскими послушницами Марьей и Ориной три года назад в одно лето.

И нынче вот, по бегству от подручных антихриста, едва лишь разгрузили лошадей, он с этими же женщинами, но теперь уже монахинями, приступил к огораживанию скита от хлева для скота и сеновала. Четырёх коров, трёх бычков и нетель беглецы увели с собой. Добрые зароды с сухим зелёным сеном также без лишних глаз были поставлены загодя ещё в июле. Тогда же скрытно завезли добрый запас пшеницы, овса, ячменя, проса как провиант и семена на будущий посев.

Прозорливая матушка Варвара уже давно, после двух-трёх наездов в женскую обитель новых властей, разгадав нутро шалых пролетариев, начала обдумывать пути спасения и сохранения монастыря. Покуда будто бы всё удаётся. Сюда добирались неделю. Место, выбранное под обживание, глухое и труднодоступное. Редко кто даже из старообрядцев бывал здесь. Цепи остроконечных, почти отвесных высоченных белков, с холодно поблескивающими ледниками на пиках, седёлках и во впадинах. Каменные реки-курумы и россыпи, которые, того и гляди, со страшным грохотом покатятся вниз по крутым склонам, стоит тебе лишь чуть возвысить свой голос. Своенравная, белопенная река Быструха в ущелье, с бешеным течением разбивающая в щепки на порогах стволы подмытых и подхваченных волной огромных сосен. Поток этот примечателен ещё и тем, что он не огибает горную гряду – да и где её, тянущуюся на добрую сотню вёрст, обогнуть! – а просто пробивает гору в том месте, где она перегораживает бешеный бег его.

Река, отшлифовав до блеска щёки отвесных отрогов, продольно выпирающих из белка, ныряет в узкое и тёмное, прогрызенное водой много веков назад гранитное чрево. Чтобы через какие-то минуты, клокоча, вскинуться по другую сторону гряды, и там успокоиться среди широкой и вольной лесной и луговой обширной долины, замкнутой по окружности, будто крепостными стенами и валами, цепями гор, разделив её своим руслом на две почти равные части. Долину река покидает по дну горного, в острых слоистых скалах с обеих сторон разрыва. Буруны здесь несутся на такой стремительной скорости, что глянешь на этот первобытный, необузданный водный хаос, и невольно закружится голова; а где-то с потаённых глубин твоего существа нечаянно поднимется едва одолимое желание – прыгнуть сию же секунду в эту манящую и бурлящую бездну.

Особенностью долины, её отличием и украшением являются возвышающиеся над кронами берёз, осин, чернотала, кедров и лиственниц пластинчатые останцы – пирамидки и теремки, будто сложенные причудливо из осколков малахитовых и кварцевых скал. Тропа в эту долину известна малому кругу людей. Тайный брод открыт не более полутора месяцев летом, когда паводок на горных реках опадает, и ранней осенью, до первых чисел октября, до Покровских слякотных падёр. Других мостов и переправ здесь нет. Можно бы зимой, в лютые сорокаградусные морозы, через скованную ледяными торосами быстрину, да на лыжах, подбитых шерстью сохатого, однако и на этот случай природой припасён свой заслон. После брода, с трудом продираясь через лужок, заросший непролазными, ядовито-зелёными, с роскошными султанами, двухметровыми бодыльями чемерицы и высоченными зонтиками дягеля – медвежьей дудки, каменистая тропка чуть приметно змеится к скалистому обрывистому склону. По вилюшкам серпантина поднимается вверх, до середины белка, и петляет среди наваленных и угрожающе торчащих циклопических скал, меж зияющих по осыпча-

тым отвалам пропастей. Минуя их, тропа круто выкарабкивается к двум, со свисающими ледниками, вершинам. По узкой горловине под одним из ледников, подпираемым отслоённой от горного монолита скалой, пройти можно только летом. С конца октября, когда в белках снег ложился окончательно и до середины июня, времени таяния отдельных участков горных вершин, горловина эта плотно закупоривалась и утрамбовывалась снегом, и долина была отрезана от остального мира.

Вот в этом-то, укрытом от завидущего и кровожадного ока новых властей, горно-долинном гнезде и поселились монахини, чтобы здесь в трудах богоугодных и духовных молиться за своих единоверцев, оставшихся там, за отвесными обвальными грядами.

– Разрешите, товарищи, мне открыть наше собрание. На повестке дня один вопрос, но на текущий момент он самый архиважный – ликвидация кулака как класса и пособника недобитых буржуазных элементов. – Ширяев перевел дух и яростно продолжил: – Мы, товарищи, должны быть бдительны и беспощадны к врагам дела наших дорогих и горячо любимых вождей товарища Ленина и товарища Сталина! Партия требует от нас ускоренных темпов коллективизации и разоблачения всяческих затаившихся кулаков и ихних прихлебателев. Я кумекаю так: энти разнарядки, что спущены из волости, мы здеся, обмозговав, должны удвоить: коль по таёжным заимкам и посельям у кержаков запас изрядный скота и птицы, мы их всех скопом запишем в кулацкий элемент.

– Ну, и башковитый однако ж ты, Петрович! Как всё грамотно удумал и обсказал, – Кишка Курощуп восторженно повертел лохматой, никогда не мытой головой по сторонам широкого стола, за которым заседала партийная ячейка таловских активистов, и задористо хохотнул. – Теперя-то уж мы верняком выведем под корень всю энту богомольную свору.

– Ты, Никифор, пузо-то не рви. Дело архиважное, вот управимся когда, там и поржёшь, сколь хошь. А покуль нам надо список энтих самых элементов сообразить, и чтоб ни мышка не выскользнула, ни даже дохлый крот не уполз. Попов-никониан с присными туда же, и рудничных бергалов, кои нос от нас воротят, в тую же телегу запряжем. Ох, и славно же покатаемся, Никиша! – мстительно закончил начальник уездного ГПУ.

Уездный городишко Талов вот уже полтораста лет горбился на гребнях и осыпался в лога и плоскую, болотистую долину неказистыми бревенчатыми бараками и дощатыми лачугами по некрутым склонам горы Свинцовой. С той самой, сказочно удачной, весны, когда поисковая экспедиция барнаульских рудознатцев наткнулась в неприметном распадке на обвалившиеся древние, трёхтысячелетние, обросшие по краям ивняком чудские копи. Извлечённая из нарытых тут же шурфов руда была так несказанно богата, что о столь драгоценной находке немедля сообщили царскому двору, дескать, «зело отыскано в горах Алтая нами злата и сребра, а вкупе и иных полезных металлов».

Месторождение застолбили как земли Кабинетные, императорские. Началась разработка. И потекли – сюда, под охраной жандармов и казаков, этапы каторжан, а отсюда – по горно-таёжным тропам на плавильные заводы Змеиногорска конные караваны, навьюченные кожаными торбами с тяжёлой рудой. Добыча нарастала, каторжан не хватало, однако Кабинет отыскал выход в приписке к рудникам навечно крепостных крестьян из цент-

ральных губерний России. Он выкупал у помещиков целые деревни и на подводах, гружённых нехитрым скарбом, с бабами и детишками протопав пол-Сибири, прибывали в этот диковинный край русские мужики, чтобы здесь, напоследок размашисто перекрестившись, ухнуть в тёмное и пыльное, изрытое бесчисленными ходами, будто гигантскими грязными кишками, чрево шахты. И становились пахари бергалами – «горными людьми».

Первые годы никаких сношений между обитающими близь белопенных порожистых рек, дальше в горах и тайге, старообрядцами и бергалами не наблюдалось. Но кто ведал, кто держал догадку при себе, что беглых каторжан с рудников, особливо ежели те бывали единоверцами, прятали-не прятали, но уж хлеба-то, да и иного провианта, на дорогу им давывали не раз и не два нелюдимые обличьем кержаки. А розыск беглых по скитам и заимкам, сколь бы ни был он ретив, результат имел один: казачьи разъезды и жандармские облавы из погони возвращаясь ни с чем, вымещали свою злость и усталость на остальных, закованных в кандалы подневольных горняках, обзывая их между тычками и подзатыльниками вонючими бергальскими кротами и пособниками беглецов.

Русский человек на то он и русский, что, приноравливаясь к немыслимым условиям существования, он ухитряется ещё и пользу для себя извлекать из этих отнюдь не благоприятных обстоятельств. Так стали поступать и многие бергалы, по увечью либо по старости освобождённые от горных работ. Распахивали пойменные луга под пашни и огороды, в горных падях и ущельях вблизи поселка огораживали пчельники с мёдоносными колодами, заводили скотину.

Позже, когда рудничный посёлок разросся до городка, самые ухватистые из бергалов занялись извозом и мелкой торговлишкой. Кое-кто на этом и капиталец сколотил. Не брезговали бергалы пошнырять без особой огласки сезон-другой в сопках, по таёжным загогулинам, где в скалистых теснинах, на песчаных отмелях, а то и в прозрачных протоках плоскими долблёными лотками напромышлять воровской проски – золотого песка, чтобы потом через верных людей сбыть добычу. И вырастали у таких вот справных да оборотистых хозяев, наособицу от замызганных и забрызганных несмываемой грязью трущоб, добротные пятистенки и крестовики с крытыми сибирскими дворами и бревенчатыми сосновыми хлевами. С непременными садиками с беседкой, где сирень соседствовала с яблонькой-дичкой, а вдоль забора зеленели заросли малины, крыжовника и смородины.

В междоусобице гражданской войны, что жестоким огнём своим опалила и этот затерянный в алтайских горах городишко, пали многие из справных хозяев, некоторые бежали через тайгу в недалёкий Китай. Но кто-то остался и здесь, приладившись к неясным пока и непонятно к чему ведущим новым условиям и «текущим моментам», как полуграмотно и замысловато изъяснялись теперешние хозяева жизни.

По улице Нагорной, елозя колёсами по подсохшей пластилиновой колее и натужно ревя мотором, карабкался вверх, к бревенчатой тюрьме грузовик АМО с обитыми наглухо, без окошек, бортами и задраенной крышей. Огороженное вкруговую высоким сосновым частоколом, с колючей проволокой поверху и вышками с часовыми по углам, уездное узилище было сколочено наспех с десяток лет тому назад из особняка бывшего управляющего рудником. Заложили смолистыми брёвнами все оконные и дверные про-

ёмы, оставили одну, входную, вырезали под потолками тесных камер узкие амбразуры, через которые тёк тусклый, сумеречный свет. В подвале оборудовали дознавательно-пытошную, из неё теперь по ночам разносились по всему зданию, на все два его этажа, дикие крики и жуткие стоны, видно, так было задумано изначально, чтоб ломать волю заключённых здесь «врагов народа» и подбадривать дневальных и надзирателей в коридорах, поднимая их боевой революционный дух.

Вот к этой-то, занявшей добрую половину одного из отрогов горы Свинцовой, тюрьме и взбирался от городского управления ОГПУ автозак, до отказа набитый арестованными накануне по разнарядке на таловском базаре «врагами народа»: бергалами и старообрядцами.

Огэпэушники нагрянули неожиданно на трёх подводах и двух автомобилях с открытым верхом. Чуть позже припылил и угрюмый автозак. Перегородив транспортом оба выхода с рынка, чекисты деловито подходили к растерявшимся торговцам и покупателям, выдёргивали из толпы, создавалось впечатление, что отнюдь не намеченных заранее, а первых попавших под раздачу людей. Заломив новоиспечённым арестантам руки, их под конвоем препровождали в автозак, где несчастных дружно подхватывали охранники из кузова и в тычки уталкивали внутрь. И сейчас семеро арестованных стояли вплотную друг к другу и тяжело дышали спёртым, прогорклым воздухом. Ближе к дверце, отгороженные от узников толстой железной решёткой, на откидных сиденьях похохатывали да поплёвывали на пол весёлые мордатые конвоиры: чё, мол, контра, допрыгались, теперя мы из вас, как из перинов, душонки-то ваши и вытряхнем, ужо и пожалеете, зачем мамка вас на свет родила. Хи-ха-ха! Вдруг, в самый разгар веселья, машину так резко дёрнуло, что вертухаи попадали на заплёванный пол. Автомобиль, фыркнув, замер. Грязно матерясь, охранники распахнули дверцу настежь, узнать, что случилось. Щёлкнули выстрелы и оба конвоира мешками плюхнулись наземь. А в дверном проёме показались вихрастые головы Ивашки Егорова и Стёпки Раскатова.

– Всё мужики, отсиделись. Ивашка, пошукай на поясах у этих ключи от решетки. Во, добро? Но вы покуль, земляки, держитесь крепче друг за дружку. Уходим! Там ваш бергальский за баранкой. Подрядился за четвертной. Сказывал, мигом домчит до леса, а там уж кто куда.

На горе визгливо завыла сирена. Из отворенных ворот тюрьмы выбегали, паля из винтовок, охранники, с вышек тоже раздавались ружейные хлопки. Но автозак уже развернулся и катился вниз, лихо набирая скорость. У изножья горы дорога раздваивалась, налево – в нижний городок с администрацией, рудничной управой и рынком, и направо – к Паньшинскому ущелью; по второй и помчал, подскакивая на колдобинах и ухабах, грузовик.

Минут через двадцать туда же устремились и два автомобиля с открытым верхом, набитые вооруженными людьми в гимнастёрках и кожанках. Однако в трёх километрах от этой развилки на опушке пихтача их ждал лишь пустой автозак с раскрытыми дверями. Именно в этом месте ущелье распадалось на пять лесистых логов, извилисто и круто уходящих, как бы обнимая его, к Синюшонковскому белку. По какому из логов ушли беглецы, определить было невозможно – таёжники умеют прятать свои следы.

Сеноставка-пищуха, прозванная так за свой пронзительный заячий писк, мелькнув тёмно-жёлтым ворсом по зелёному чешуйчатому мшанику, юркнула в нору под слоистой плиткой, и там, в потёмках, притаилась, насторо-

женно высматривая бусинками серых глаз, что же здесь, на пологих россыпях, намереваются делать эти двуногие, бородатые и огромные существа.

– Октябрь будет в дожжах, а то и снежка подсыпит, вишь, каменный-то заяц разбросил сено на зиму сушить под скалами, а не как всегда – на солнышке, – Степан Раскатов указал мужикам на крохотные копёшки в нишах и под скалистыми навесами. И вновь возвращаясь к говоренному перед этим, закончил: – Коль порешили вы с нами в тайгу, то и держитесь наших правил: слушать, не пререкаясь, старшого, не отлынивать от работ, в дела нашей веры не суваться. Не вешайте носа – обвыкнете. А теперь – в путь. Нонче до ночи надобно хребет пройти, да своих по посельям собрать, покуль нехристи эти в кожанках не нагрянули.

– Верно, Стёпушка, баишь, идтить, поспевать надоть, – Меркул Калистратыч, как и сидящий рядышком на лиственном корневище Семён Перфильич были взяты чекистами, когда они едва поскидали под прилавки кули с кедровым орехом и принялись торговаться с обступившими их покупателями. – Убегать будем, больно люта нова власть, да и людишек ихних, двух конвоиров и шофёра, ребята постреляли. Теперь карателей нагонят по наши души.

– Дозволь, Меркул Калистратыч, я напоследок ишо спытаю мужиков, – Семен Перфильич встал и обернулся к сидящим на мшелых плитах бергалам. – Ежели кто сумлевается, пущай отходит в сторонку здесь же, как давеча убёг шофёр, опосля от себя не пустим, посколь все наши укромины вам будут ведомы. Бережёного Бог бережёт. Опять же, семьи у вас в Таловском оставлены. А вам без опаски покуль их не известить. Думайте, братцы, крепко мозгуйте. Силком никого не принуждаем.

– Да нас теперь там пытка иль пуля ждёт. Семьям как помочь, коль у власти штыки и пулемёты, а у нас голы руки? – вразнобой негромко прошелестели тоже вставшие с земли бергалы.

– А я, однако, вернусь в город, – сказал, как только стихли голоса, лобастый, с крупными заскорузлыми ладонями мужик. – В лесу я непривычен, от роду степняк. Баба с дочкой и двумя сынами за Иртышем в Семипалатном у родни, а я на рудники к вам подался денег заработать, дом надумали ставить. Ума не дам, как всё обернулось, видать, спутали меня с кем другим, я ить и месяца нет как в Таловском. Проберусь за документами, я у старушки одной комнатку снял, там они под матрасом схоронены, и сразу подамся с города, куда глаза глядят. Я ить тоже деревенский. Рождественка наша под Павлодаром теперича обезлюдела. Ушли мы всем колхозом, в одну ночь. Дай Бог здоровья председателю нашему Кузьме Лукичу, он посмотрел-поглядел, как раскулачивают мужика в округе, зорят крестьянские гнёзда, а людей на север, в Нарым али ещё куда гонют помирать, так и удумал спасти своих сельчан, а деревня-то наша не мала – 80 дворов! Выдал без огласки всем паспорта, коих у нас, колхозников, по сталинскому закону не имелось в наличии, и вот бы утром быть уполномоченным с чоновцами, а мы аккурат в канун ихнего прибытия разбежались в разные стороны. С документами-то нам хоть куда можно. Скрозь заградительные отряды, что на всех дорогах ловили беглецов из колхозов, врозь, кто по одиночке, кто с бабой да ребятишками, комар носа не подточит как прошли. И сам председатель тоже. Вот мужик! Низкий поклон ему! Такая, братцы, моя история. Всё обсказал. Прощевайте, люди добрые, пошёл я.

– Дорогу-то обратно из лесу сыщешь, абы не заплутал?

– Примечал я то сушину, то скалу торчащую. Однако из лесу выходить, где заходили, мне не резон. Авось Чека засаду оставили на той опушке-то?! Я

дойду до ключа и сверну на восток, откуль мы примчались, и по ельнику под горой выйду к повороту реки, а там уж – я приметил – хибарки окраины.

– Верно и ловко смекаешь, а сам баишь, чё, дескать, в тайге непривычен, – скупо похвалил беглого колхозника Степан. – Прощевай, земляк. Пора и нам, а то ишь заболтались. Поди и свидимся ишо.

Через минуту россыпи опустели. Из норы, настороженно пошевеливая редкими усиками, выбралась и уселась столбиком, поджав передние когтистые лапки к мохнатой груди, сеноставка, и несколько раз подряд призывно пропищала. Но никто из сородичей не откликнулся, не поддержал, и зверёк, фыркнув напоследок, опять нырнул в свою пещерку.

Первый секретарь губернского комитета партии Исхак Филиппович Лысощёкин поправил пенсне на крючковатом носу, с большими волосистыми, нервно раздувающимися ноздрями, и вперил свои холодные совиные глазки в Василия Ширяева и Никифора Грушакова, что вытянулись перед ним в такую струнку: задень – зазвенят.

– Мо-алчать! В лагэхную пыль сотху! Бандитов упустили! Бойцов Кхасной ахмии потэхяли! Я должен знать всё о мэхах, пхинятых к поимке! – Первый секретарь перевёл дух и, не дав чекистам рта раскрыть, уже спокойно и обыденно закончил: – Семьи взять в заложники, в домах оставить засады, на заимки напхавить самых пховэхенных и пхеданных делу чекистов отхядом не меньше, чем в сохок штыков. Кхугом махш! Исполнять!

Кишка Курощуп и Васька Ширяев как ошпаренные выскочили из кабинета главы горкома, где их так смачно, с оттяжкой распекал с полчаса назад примчавшийся по узкоколейной однопутке из губернии в литерном роскошном вагоне, с вооружённой до зубов охраной, получивший накануне телефонограмму о ЧП Лысощёкин. Секретарь Таловского горкома Фома Иванович Милкин всё это время помалкивал, стоя у широкого окна и искоса поглядывая то на увядающие клумбы в палисаднике, то на незадачливых ОГПУ-шников. Свой нагоняй он уже переварил и теперь, остывая, потихоньку приходил в себя.

– Исполня-ять! – гнусаво передразнил первого секретаря губернии Кишка, когда они скорым шагом вышли из здания горкома и здесь, на свежем осеннем воздухе наконец-то отдышались. – А мы уже и так всё исполняем. Так ведь, Петрович?

– Молчи уж, Никифор, – устало бросил Ширяев. – Бери-ка бойцов да по списку выверни дома беглецов наизнанку. Жёнок и выблядков ихних в каталажку. Распорядись, чтоб ко мне живо доставили надзирателей Троеглазова и Смирнова, они, кажись, из кержачьего отродья.

– Дак ты чё, Петрович, на их-то – они ж наши в доску! В эксприациях завсегда первые, а уж люты, к таким в лапы не приведи попасть! Не они ль намедни так замордовали одного подкулачника, что он на первом же допросе сперва в штаны наложил, а опосля и дух испустил. Поторопились, однако, надо бы спытать наперво, где свою мучку да ржицу припрятал. А ты на их за отродье...

– Да знаю я всё энто, как и то, что им все тайные тропки и улазы их варначьего племени знакомы. Я их отпишу проводниками в оба летучих наших отряда. Один направим в Гусляковку, второй – в Тегерецкое. Кержаков надобно взять тёпленькими, чтоб не вякнули. Будут бузить – всё пожечь. В бумагах опосля нацарапаем, что, мол, сами – у их же так заведено! – себя пожгли, такая неистребимая, дескать, классовая ненависть у энтих самодуров к нашей справедливой, народной власти.

– Ох, и башковитый же ты, Петрович! – Кишка подобострастно осклабился, и, помешкав, с сомненьем добавил: – А не притянут ли нас как кобылу к оглобле, коль кержаков запалим?

– Не дрейфь, Никиша! При царском режиме они, ежели им хвосты накручивали, особливо, как сказывал мне на пересылке в Красноярске один поп-расстрига, при Петрухе Первом, запирались оравой в избах иль в землянухах и жгли себя и всё свое отродье. Сам анператор, сказывал расстрига, и раззадоривал стародуров. У их ить денег завсегда как навоза, опять же утварь церковна в жемчуге да серебре. А сколь золотишка имя намыто да нарытонаворовано в горах-то нашенских! Но прячут, заразы, и хучь клещами тяни из их, на дыбу ставь, кровью харкают – а молчат! И вот теперь наша наипервейшая задача: уничтожение как класса энтого настырного народа. Разорим ихние осиные гнёзда по тайге, реквизируем, как умно учит нас товарищ Милкин, все нажитые кровью и потом пролетариата и других беднейших слоёв излишки, а самих утолкаем в толчки в Нарым да Соловки. А ещё бы лучше в Забайкалье, в мои Нерчинские рудники, ох, и поползал я по им с тачкой! Пущай теперя они хлебнут с моего! – мстительно оборвал свою речь Ширяев, и покровительственно хлопнул Кишку по плечу. – Всё, хватит лясы точить. Давай, дуй в казармы сполнять мои распоряженья. А я покуль в бумагах поковыряюсь, разберу как надоть, от греха подале.

Радужно-серебристые прозрачные кружева осенней паутины, растянутые между увядающих калиновых кустов, тихо колыхались от легкого дуновенья прохладного ветерка. В центре паутины висел крупный паук-крестовик со свастикой на спине и, чтобы занять себя чем-нибудь, перебирал коленчатыми мохнатыми лапками тонкие нити. Раскинутые сети были пусты, видимо, все попавшие прежде в тенёты мухи и комары были съедены, и теперь сытый паук от безделья и скуки решил подправить свои расходящиеся в пространстве силки, настроить, сделать прочным и привлекательным свой смертоносный и добычливый инструмент. Он проверял надёжность старых узелков и нитей, выпускал из брюшка новые, навздёвывал их и плёл, накручивал, совершенствовал и без того замысловатый орнамент своей паутины.

Метрах в десяти, на лужке, широко расставив мощные копыта и наклоняя ветвистую, в рогах, продолговатую, с горбинкой, как бы сплюснутую с боков серую голову, мирно пощипывал подсохший щавель огромный лось. За секунду до того, как Северьян Акинфич с плетёной пестерюхой, из которой торчали ножки и шляпки ядрёных груздей, вышел из кедрача на поляну, лось тревожно прижал уши и, резво отпрыгнув в сторону, скрылся в лесу. Северьян Акинфич только и увидел поджарый лосиный зад, исчезнувший между двух высоких кустов, усыпанных рясными кистями красной калины. Подойдя ближе, он наклонился разглядеть вмятые в суглинок следы убежавшего животного. «Матёрый, однако ж, лосище! Как бы не в пудов сорок! – уважительно хмыкнул Северьян Акинфич, убирая с зипуна прилипшие лохмотья паутины и сбивая с рукава тёмным ногтём заскорузлого указательного пальца белесый комок облепленного рваными волоконцами паука. – Вишь, бедолага, замыслил имать других, а сподобился сам упутаться в своих же сетях!».

В ту же минуту чуткое ухо монастырского сторожа уловило шум, едва заметное волнение слева, оттуда, где каменистая тропа выполаживалась из предгорья и терялась в зарослях дикой акации. Сердце старика оборвалось – неужто выследили, ироды несусветные? Он, крадучись, бесшумно ступая

бутылами на полную ступню, не хрустнув ни единого разу сушняком под ногами, вышел лесом к тропе и там, притаившись, прилёг за смородиновым облетевшим кустом.

Вот из зарослей акации показался коренастый и скуластый мужик с ружьём, в поводу он вёл низкорослую лошадь, изрядно навьюченную кожаными торбами. «Стёпка Раскатов», – с облегчением признал Северьян Акинфыч. Следом из кустов вытянулся разношёрстный крестьянский караван, в серёдке которого бабы с ребятишками подгоняли прутьями коров и овец, домашняя птица и молоденькие поросята находилась в закрытых пузатых плетёных корзинах, привьюченных к сёдлам лошадей, а замыкали обоз вооружённые берданками бородатые кержаки. Многих из них Северьян Акинфыч знал не только в лицо, но и по имени-отчеству. Уже не таясь, он встал им навстречу.

– Доброго здравия вам, православные! – крикнул сторож, приветливо помахивая правой, поднятой над головой, рукой. – Далёко ль путь-дорогу дёржите?

– И тебе хлеб с сахаром, Северьян Акинфыч! – ответствовал Стёпка. – А я уж пальнуть по кусту намеревался, да по малахаю признал – свой хоронится за смородиной. Такой вот пёстрый да лохматый убор лишь у тебя одного на всю тайгу имеется, дядя Северьян.

– Ох, однако ж глазаст ты, Стёпушка! Ведь укрылся я так, что и сам бы себя не отыскал, а ты, вишь, рассекретил меня, как мальчонку, – Северьян Акинфыч добродушно развёл руками перед обступившими его и услышавшими конец разговора, кержаками. – Добрая смена наросла нам, мужики. Нас-то как отыскали?

– Рады видеть тебя, Акинфыч! – подошел и обнял старика Меркул Калистратыч. – Искать вас мы и в мыслях не держали. Сами теперь бежим от новой власти, куда глаза глядят. Поселья наши пожжёны и разорёны. На хвосте чоновцы у нас висели, дней пять как отбились. Два ирода из наших – Федулка Троеглазов да Андрюха Смирнов вели их, покуль Осподь не призвал к ответу христопродавцев.

Чадя в октябрьские разноцветные утренние сопки холодным сизым дымком, дотлевали головёшки на месте сгоревших домов селенья Тегерецкого. Лишь две избы да приземистая банька на фоне этого зловещего пепелища сиротливо ютились ближе к опушке предгорного пихтача. Их пока оставили под ночлег. Накануне вечером в деревеньку ворвались сошедшиеся вновь вместе в ближних окрестностях отряды красных карателей, возглавляемые Кишкой Курощупом и Фенькой Стрелком.

Перед этим сама Фенька с отъявленными коммунарами из числа бывших бергалов знатно потешилась в оставленной кержаками Гусляковке, сходу постреляв оставшихся здесь, не пожелавших ни в какую покидать родные гнёзда пятерых древних стариков и старух. Сколько ни упрашивали этих лесных патриархов их дети и внуки, сколько ни молили уходить с обозом от нехристей, старики были непреклонны в своём решении, шепча молитвы и твёрдо повторяя: «Христос терпел и нам велел. На всё Божья воля. Вам же, милые вы наши, мы наказываем – ступайте, спасайте деток и себя. Мы вам не обуза». С тяжёлыми сердцами уходили в тайгу мужики, а ить останься, да даже и замешкайся на день-другой – не сдобровать тогда уж никому, каратели и малых детей могут не пощадить в своей оголтелости. Кержаки томительно вздыхали и в слабой надежде молвили: не звери же иродовы эти красноармейцы, стариков-то ветхих поди не тронут, Бога забоятся. Однако вышло

всё хуже некуда. Побив старцев, полупьяные чоновцы-бергалы запалили не только избы и хлева, а и высокие сытные зароды с сеном и скирды с пшеничной соломой. Сожгли и добротную мельницу на ключе Банном, что в тайге, в двух верстах от Гусляковки. Хмельной кураж у бывших шахтёров порой перехлёстывал в приступы непонятного бешенства. Виной тому были то ли незадавшийся утомительный поход, то ли недобродившая кисло-приторная медовуха, отысканная одним из самых пронырливых коммунаров Игнатом. Где-то от кого-то, в пивной ли, в базарной ли толчее, услышал он, что кержаки старорежимные, заводя брагу, якобы закапывают прочно закупоренные лагушки в окрестные муравейники, и там, в тепле, будто бы пиво выбраживает до необходимой крепости, несказанной прозрачности и необыкновенного вкуса. Особливо когда оно излажено, к примеру, из сцеженного из берёз сока и приправлено медовым забрусом и хлебиной. Ближе к вечеру, разворотив за поскотиной в пихтаче с десяток муравьиных огромных конусных куч, в одиннадцатой отыскали-таки бергалы двухведёрный, аккуратно прикопанный в гигантском, шевелящемся от неисчислимого сонма насекомых, муравейнике. Здесь же торопливо выломали забитую черёмуховую пробку и разлили по предусмотрительно прихваченным с собой деревянным бадейкам желтоватоё мутное пойло. И хотя было понятно, что медовухе ещё бродить да бродить, но жажда на дармовое она посильнее любого здравого смысла. С остальными, не местными, набранными по призыву из разных уголков страны, чоновцами сразу же было постановлено – не делиться. Самим бы хватило! Вот и задурели мужики и ну давай вытворять непотребное да непрощаемое.

Аки волки в гоньбе за убегающей косулей, рыскали без устали впереди карателей Федулка и Андрюха, указуя тем тропки и намётки к скрытым в чащобах тайным заимкам и пчельникам. Кои здесь же крушились и разорялись и нещадно жглись. Насельников, не ушедших с обозом, коль те не успевали схорониться в таёжных укроминах, побивали без разбору. Мало, мало было чоновцам пламени хладного, осеннего, что щедро и величаво растекалось по березовым гривам на гребнях отрогов и осиновым лощинам, черемуховым долинам да рябиновым взгорьям. Так нет же, надо было ещё этим раздосадованным неуспехами в поимке и захмелевшим от безнаказанности и отысканной медовухи идейным головорезам добавлять в несказанную палитру горно-алтайской осени свои, пусть и необычайно яркие, но мёртвые, коверкающие и напоследок превращающие всё в пепел, вырывающие живое из жизни, мазки и краски.

Фенька сладко потянулась и ловко перебралась через лежащего с краю полка, застеленного притащенной сюда с вечера периной, храпящего Никифора. Тот сонно провёл немытой лапищей по голой атласной талии своей походной пассии, поймал в ладонь упругую женскую ягодицу, сжал было её, да Фенька смахнула в толчок кисть ухажёра, и спрыгнула на тесовый пол. «Будет уж тебе кобелевать! Спи, давай! А я покуль распоряжусь коняг обиходить и насчёт чего-нибудь пожрать. Да и Федулка с Андрюхой вот-вот возвернутся из разведки, доложат, куда нам дале двигать».

Выйдя из нетопленной сухой бани, Фенька по травянистой дорожке лёгким шагом направилась к уцелевшим избам. Бойцы уже встали, двое хлопотали возле летней печки во дворе. Там в огромном ведёрном чугунке булькал бульон из подстреленной вчера зазевавшейся домашней птицы. Рядом черноусый чоновец уже почти освежевал жирного барашка. Остальные бойцы на песчаном берегу реки чистили и мыли лошадей. Фенька довольно хмык-

нула и по ступенькам взбежала на широкое крыльцо одной из изб, где, выставив яловый сапог на приступок, приготовился начищать его ваксой отрядный комиссар Осип Гомельский.

– Доброе утро, Осип Михалыч! Дисциплина, я вижу, у нас на самом сознательном пролетарском уровне! С такими бойцами мы враз выжгем всю старорежимную контру!

– Без сомнения, Аграфена Павловна, так оно и будет, – моложавый еврей подавил недовольство от того, что его, сына местечкового гомельского сапожника, отрывают от столь любезного ему занятия – чистки обуви, убрал ногу с приступка и продолжил, придав своему тонкому голоску тень беспокойства: – Разведчики-то наши, товарищ командир, ещё не вернулись. Этот факт меня весьма настораживает. Солнце уже высоко, а от них никаких известий.

– Да не переживай ты, товарищ комиссар! Троеглазов и Смирнов местные, всяка тропка и улаз им ведомы, опять же навыки у их таёжные. Часок-другой ишо обождём. А там уж и поиски организуем, – Фенька озорно погладила узкой ладонью ладно подогнанные, проложенные мхом, бревенчатые стены и неожиданно заключила: – А избы с баней мы счас и пожгём – штоб и духу самодуровского не осталось! Кто выживет, пущай в Таловское выбираются – пристроим куда надо!

Комиссар окинул своими выразительными чёрными глазами Феньку с головы до ног, но ничего не сказал.

Федулку и Андрюху прождали-прогадали до обеда. Несколько групп бойцов объездили и облазили окрестные сопки и ущелья, дальше малыми силами сунуться не решились. А между тем останки незадачливых разведчиков в это время вовсю догладывали раззадоренные муравьи, и доедал прожорливый гнус, висевший чёрной тучей над зелёными, в проседи мха, пихтами.

Накануне вечером на глухой тропе, в том месте, где она изломом огибает вековую лиственницу, шагах в семи перед Андрюхой растворился в сумерках Федулка. Только и успел Смирнов разглядеть сутуловатую широкую спину напарника перед тем, как тот исчез за поворотом. Выйдя следом к лиственнице и не увидев никого впереди, Андрюха невольно крепче сдавил цевьё карабина, но тут же откуда-то сбоку получил страшный удар по низкому, изрезанному глубокими преждевременными морщинами лбу и потерял сознанье.

Пришёл он в себя от жалящих укусов по всему голому телу. Пробовал пошевелить руками, брыкнуть горящими, будто стоял он на раскалённой сковороде, ногами, однако верёвки, которыми его туго привязали к шершавому стволу, были крепки. И не крикнуть – рот забит тряпичным кляпом из разодранного его же нижнего белья. От нестерпимой боли Андрюха вытаращил слезящиеся, в кровавой поволоке глаза свои. «Вот она и смертушка моя варначья. Мамонька, прости ты меня окаянного! Ух вы, суки недобитые! Да чтоб вам сгореть со всем своими выродками в аду, как и мне, порешённому вами! Будьте же вы прокляты-ы-ы!» – последнее, что вытолкнул угасающий разум Андрюхи, пока не захлебнулся в огненно-зудящем месиве собственного, искромсанного тела, сгрызаемого муравьями и подоспевшей на кровь мошкой.

За утёсом, ближе к болотному кочкарнику, также воткнутый в широкий муравейник и привязанный к такой же дремучей пихте, мучительно умирал, тоже как и Андрюха, сам себя когда-то раскержачивший Федулка. А неподалёку, вверх по каменистой тропе, опустив поводья, карабкались в ночи на зорких мохнатых монгольских лошадках уставшие за двое бессонных суток выслеживания и поимки изменников Ивашка Егоров и Стёпка Раскатов. Винтовки надзирателей были ловко приторочены сзади седел, два с на-

борными ручками охотничьих ножа в кожаных ножнах прибраны в торбы. Туда же уложены скатанные подрезанные кавалерийские шинели из добротного сукна и кирзовые ботинки. Изорванные гимнастёрки и галифе вместе с лоскутьями кальсон и байковых рубах кержаки, придавив их крупчатыми валунами, оставили на месте казни.

Тёмно-лиловая туча, с белыми, дымящимися понизу, в подбрюшье, косматыми полосками облачков, вывалила себя из-за высокого гребня Ивановского белка на таёжные увалы и распадки, пригретые не по-осеннему щедрым солнцем. Да, видимо, так неосторожно и неуклюже проделала это, что распорола о зазубрины скал своё тяжелое брюхо, и из него хлопьями повалил мокрый снег. Через пять минут на будёновках и фуражках, башлыках и спинах чоновцев, на широких крупах и шерстистых лопатках усталых лошадей наросли липучие снежные шапки.

Объединённый летучий отряд после пропажи проводников словно лишился зрения. Вот уже неделю рыскали чекисты вслепую по горной тайге. В сердцах пожгли ещё пару-тройку кержацких заимок, на которые случайно вышли. Кончался провиант. Бойцы, а это были, в основном, солдаты срочной службы, призванные в армию из разных равнинных уголков Советского Союза, и не видевшие никогда прежде гор и тайги, не знали, как промышлять здешних зверя и птицу. Кое-что могли бы им объяснить местные бергалы, их в отряде насчитывалось до десятка человек, да они и сами-то в таком переплёте оказались едва ли не впервые. Выезжали спешно, почти что налегке, командиры думали изловить беглецов в три-четыре дня и с победой возвратиться к повседневной службе. Однако ж, вон как всё обернулось.

Теперь надо бы отыскать в лесу надёжное убежище от залеплявшей всё живое бури, переждать её у костров в шалашах, а потом уж думать, как унести подобру-поздорову из этой проклятущей тайги свои ноги. А снег, он всё валит и валит. Лагерь разбили в пихтаче на восточном склоне белка, где, как показалось, меньше задувало. Кто-то из бойцов предусмотрительно взял в поход пилуножовку, да у одного из бергалов отыскался топорик, им подрубили нижние пихтовые лапы; между стволами, на метр выше человеческого роста, приладили напиленные березовые жёрдочки; поверх настелили обрешётку, на которую плотно набросали лапника. Соорудили и нечто вроде боковых мохнатых стенок. До сумерек изготовили шесть таких вот укрытий. Лошадей держали рядом; привязанные, они дотягивались до мягкой пихтовой иглы и грызли её, некоторые хрумкали ветки тальниковых побегов. Запас овса в отряде тоже иссякал. Костры в шалашах разводить опасались, подсохшие лапы вспыхнут, как пух, и тогда уж точно – поминай, как звали! Огонь приспособили здесь же на опушках, между могучих, уходящих в смурное снежное небо старых кедров, кроны которых там, вверху, переплетались в шатёр. Это выяснилось, когда живые оранжевые языки пламени осветили не только тесно жавшихся вокруг костров бойцов, но и вырвали из молочной темноты контуры разлапистых исполинов.

Когда к вечеру второго дня буря унялась, и студёный ветер расчистил изломанный овал синего неба высоко над заснеженной впадиной, со дна которой из хвойного леса столбиками поднимался вверх дым от костров, стоявший на скалистом плоском козырьке метрах в двухстах выше лагеря Кишка Курощуп, тяжело вздохнув, сказал: «Вот и огляделись. Вишь ты, развёдрилось. Теперь жди мороза. Так-то вот, товарищ комиссар».

– И что нам делать в этих обстоятельствах, товарищ Грушаков? – обеспокоено откликнулся Осип Гомельский. Сюда, на гребень они взобрались по

щетинке сосняка, в нём и снега меньше, и жухлая трава ниже, и не так путаются в ней ноги. Картина, открывшаяся их взорам, была и величественна, и угрюма. На все стороны, куда хватало глаз, расходились, будто распаханные неведомым гигантским плугом, хребты и увалы, застывшие верха и гривы которых были усыпаны, словно развалившимися комьями, скалами и утёсами. Далёкий горизонт подковой обрамляли Тургусунские белки. И ни дымка вдали, ни селеньица, куда бы можно приткнуться отдохнуть по-людски в тёплых, жарко натопленных кержацких избах.

– Выходит, здря пожгли мы округу, хучь бы те двое избёнок сберегли на край, – Кишка снял островерхую будёновку с вышитой красной звездой и сокрушённо прошёлся пятернёй по слипшимся от пота волосам. – Выкарабкиваться надоть нам немедля из энтих дремучих дебрев, не то все здеся пропадём – помёрзнем. До городу вёрст семьдесят будет, да ишо дорогу в снегах не отыскать. Опять же харчи подъели, лося бы завалить, дак выследит кто? Народишко-то у нас к лесу неспособный.

– Спустимся в лагерь, пересчитаем и распределим все продукты. Введём режим экономии, – правильными словами, как на политзанятиях, начал было Гомельский.

– Да энто, известное дело, – перебил комиссара Кишка. – Заночуем и сосчитаем. Тока ведь, хучь ты и засчитайся, а харча-то энто не прибавит. Я кумекаю так: кто для революции и для нашего социалистического государства более ценен? А я отвечу – ты, товарищ Гомельский, товарищ Аграфена, наш объединённый командир и я, посколь, де, тоже командир. Так что, не боись, комиссар: я загодя прибрал кое-какой харч. Ты тоже припрячь. А опосля и шумнём бойцам: вали продукт в общу кучу – разделять надоть, мол, на всех. Да ты не кривись, Осип, – своя рубаха, кхе-хе, к телу-то ближе!

– Никифор, я, в общем-то, полагаюсь на твой практический ум и житейский опыт, – тонким голосом поддакнул Гомельский. – Поскольку ты уроженец этих мест и, без всякого сомнения, можешь лучше других разобраться в подобных обстоятельствах.

– Вернее верного слово твоё, товарищ комиссар, – успокоено завершил разговор Кишка. – А счас айда вниз, неровен час – стемнеет.

Горы – это тебе не равнина, где, ежели туча перекроет горизонт, то пока вся небесная вода не выльется из неё на поля, овраги и луга, и не станет тучка как пустое коровье вымя лёгкой, такой, что её даже слабый порыв ветерка запросто снесёт на обочину неба, до того времени и погода не выровняется. В горах всё по-иному. Здесь в каждом водоразделе, во всякой живописной долине, в любом умопомрачительном ущелье, спрятанных за высоченными перегородками двух- и трёхтысячеметровых, устланных вечными льдами белков, своя погода, да и растительность, даже в соседних смежных ущельях, бывает настолько отменна, что невольно подумаешь – вот и попал ты в другой мир.

Понятно, что и здесь случаются стихии, которые накрывают разом всю эту горную страну, выворачивают с корнем кряжистые кедры и ломают, как спички, мачтовые сосны, да подталкивают сокрушительные камнепады, расщепляя отвесные заоблачные пики. Но это явление редкое.

Подобную мощь природа собирает и накапливает не один год. Обыкновенно же тучи набиваются в ближнюю к ним долину и там могут кружиться до трёх суток, пока не истают вовсе.

Так и в этот раз снежная буря, кромешно буйствуя в распадках Тургусунской долины, до Теремков сумела перебросить через плоскогорные плато и

скалистые гребни лишь несколько пригоршней ледяной слякоти. И даже ничуть не испугала мужиков, занятых на заготовке и раскряжёвке в сосняке хлыстов для строительства под сенью могучих прямоствольных кедров просторного дома-барака, который смог бы вместить почти всех бежавших от расправы кержаков и освобождённых от узилища бергалов. Почему же не всех? Да просто некоторые наиболее истовые старообрядцы категорически отказались от какого-либо общежития – да ещё с какими-то никонианами! – и в первый же день по прибытию, испросив благословения у матушки Варвары – настоятельницы монастыря, принялись рыть себе землянушки наособицу, в суглинке, близ косогоров, под кронами жёлтых, осыпающих мягкую иглицу лиственниц.

Лагерь беглецов расположился в полутора верстах от монастырских, притаённых строений. Матушка сама указала место, истребовав, чтобы жильё новосёлы творили себе не на виду, но в скрытых и от птичьего ока местах. Подростки, нарубив тала и заострив короткие черенки, перегородили наискосок мелким частоколом протоки со студёной прозрачной водой задорогами, а горловины закрыли продолговатыми плетёными мордушками. И каждое утро выпрастывали эти мордушки, высыпая трепещущих серебристых хариусов и мелких пятнистых тайменей в ведёрные берестяные туеса. Матери тут же потрошили и солили впрок свежую рыбу. Бабы, позвав с собой девочек и мальчиков, сбирали в корзинки не склёванную птицей подсохшую ягоду черёмухи и ссыпали её в приготовленные под это закрома и сусеки. Чтобы потом, на самодельной крупорушке-мельничке перемолоть сухую ягоду в черёмуховую муку. Ржи, пшеницы и овса верхом на лошадях много с собой не увезёшь, вот и запасались пока черемухой; с морозами весь народ отправится ломать стылые грозди красной калины да розетки жёлтой рябины. Урожай на кедровые орехи уродился и в этой благодатной долине, потому ежедневно к вечеру и нарастали на поселье новые бурты шишек. Не привлечённые к строительству мужики спешно окашивали луговины и опушки, перестоявшее сено сохло уже к вечеру того же дня. Понятно, что сенцо это было пустое, но, однако, обмануть им зиму и скот сохранить до первой апрельской зелени кержаки всё же надеялись.

Тихим ясным и холодным утром уходили на перевал пешими, снаряжённые по-зимнему, с короткими широкими охотничьими лыжами на правом плече, с котомками и карабинами за спиной, Степан Раскатов, Федот Грузинов, Ивашка Егоров, Прокоп Загайнов и Никита Лямкин. Рядом с каждым бежала опытная умная лайка, поскольку без собаки зимний промысел теряет всякий смысл: она и зверя отыщет, и о нём же предупредит, сбережёт. Накануне общинно было оговорено, что коль скоро с провиантом скудно, зверя здесь, в долине, добыть есть кому – мужики и старики покуль зорки: белке в глаз с полсотни метров одной дробинкой всякий угодит, то и пущай молодёжь идёт на промысел соболя. Дело доброе, прибыльное, отлаженное ещё дедами наших дедов, заимки схоронены в таких местах, куда и конный не всегда доскачет, и пеший не дойдёт, припасы – сухари, крупа, соль в сухих ларях хранятся. Однако торопиться надобно – не ноне, так завтрева снега падут и тогда уж всё, никудышеньки отсель до лета!

Ещё до зорьки матушка Варвара с монахинями отслужили молебен во здравие идущих на промысел. От харча, что тайком сунули в их котомки сердобольные матери, охотники наотрез отказались: покорнейше благодарим, мы, мол, разживёмся не дичью, так рыбой, а вам на зимовку сгодится.

Взяли лишь по горстке соли, в пояс миру поклонились, осенили себя крестным знамением и цепочкой ушли по тропке вверх. Благополучно миновав узкий скалистый коридор на перевале, посуху спустились к реке, перебредя её, крепко обнялись и разошлись, каждый в своё родовое охотничье угодьё. Кому-то до места ходу было два дня, а кому и неделю.

Трёхдневный переход у Стёпки с Ивашкой был в одном направлении – в урочище Берёзовой Гривы, а там уж Раскатову на восток, к скалистым отрогам Голухи, Егорову вниз по речке Журавлихе к гольцам Синюхи. На вторые сутки пути ночью выпал обильный снег, под утро прояснело, воздух выстудило; охотники встали на подбитые камусом лыжи: прихваченные морозцем сумёты были глубокими, в колено, однако ходока держали отменно. Оно и к лучшему – по насту да на широких лыжах куда быстрее и проворнее, нежели раз за разом высвобождать из сугробов утеплённые войлочными чулками-пайпаками кожаные бутылы.

Выбравшись на заметённое седёлко очередного безымянного отрога, промысловики огляделись.

– Вишь ты, сколь снежища-то навалило! – Степан указал рукой в мохнатой рукавице в ту сторону, куда им предстояло спускаться по лесистому логу. – Поспешать будем, до Каменушки обудёнкой добежать надоть – там в зимовухе обночуем, а к обеду на Гриву выйдем.

– Скажешь тож – зимовуха! – откликнулся отдышавшийся от подъёма Ивашка. – Мы с тятькой хаживали по лету вкруг твоёй Каменушки – ничё там не приметили, окромя горофельника да дурбея непролазного.

– Худо искали! – добродушно хмыкнул в заиндевелую бородку Степан. – Кедруху разлапистую на утёсе за речным своротом видали? Она там одна, отдельная от лесу стоит на скалах.

– Как такую-то не увидать? И слепой, поди, на эту красоту прозреет, – утвердительно кивнул Ивашка. – Тятя ишо сказывал, они там, за ей, на солончаке доброго сохатого лет пятнадцать тому взяли с дядькой Меркулом. Но мы туда не полезли.

– А можно бы! Там бы и отдохнули в свежем моём духовитом срубчике. Я его весной изладил в сторонке, в подлеске, у ключа. И трубу вывел на крышу – ни угару, ни печали.

– Коль так, то и обсушимся у печи, да и подхарчимся из твоих припасов, – весело заключил Ивашка.

До избушки оставалось перевалить три угора и пересечь пару распадков, изогнуто уходящих к заснеженным скалам хребта Каменушки, когда чуткими ноздрями промысловики поймали запах дыма и горелого мяса. Лёгкий ветерок тянул из-за угора с редкими соснами по гребню. Парни молча переглянулись, кивнули друг другу и сдёрнули с плеч карабины. Стараясь не скрипеть лыжами о наст, охотники разошлись по сторонам и направились, не теряя один другого из виду, в сосняк. Через некоторое время они сошлись на макушке горки, на плоском отвесном козырьке, с него открывался великолепный обзор распадка внизу. На пологом донышке которого, возле заиндевелой березовой рощицы, копошились вокруг чадящего костра двенадцать человеческих фигурок. Чуть поодаль на вытоптанном, местами кровавом снегу лежали останки какого-то животного.

– Лошадь, однако, доедают, бедолаги, – вполголоса обронил Степан Раскатов. – Видно, совсем худо мужикам, затерялись. Ни лыж, вон тока ружья торчат из сугробов. Пропадут ить, как пить дать, пропадут.

– А я так разумею – не мужики это, а те, из карателей, они по наши души сюда припёрлись. – Ивашка был настроен непримиримо. – Пущай теперь выкарабкиваются сами, аль погибают. Это уж чё у их на роду написано.

– Прокрадёмся поближе, надоть разузнать: чё за народ, поди ж, подневольные, забритые с Рассеи, солдатики из мужиков. А там и поглядим – чё с имя делать.

Нахохлившиеся вороны, что слетелись сюда и деловито расселись на березовых ветках, терпеливо ждали, когда эти слабые и вялые существа внизу либо окоченеют за долгую ноябрьскую ночь, либо уберутся из распадка восвояси, оставив на испачканном снегу недоглоданные кости, лохмотья конской шкуры в окровавленной шерсти, с не подчищенными кусочками мяса, подстывшие лиловые потроха. Казалось, что вороны дремали, однако их полуприкрытые внимательные глаза четко фиксировали любое шевеление и передвижение как вокруг сыро тлеющего костра, так и окрест.

Первой в сумерках заметила бесшумно перебегающих на лыжах от дерева к дереву двух охотников с ружьями наперевес самая старая и опытная в стае седая ворона. Она вся подобралась и уже даже набрала через ноздри – узкие отверстия в клюве, воздуха в лёгкие, чтоб полной грудью каркнуть, да в последний миг поняла, что не к ним, воронам, подбираются эти страшные существа с железными палками, плюющими смертельным огнём. И успокоилась, даже оживилась от любопытства: что же здесь сейчас произойдёт? И какую выгоду из этого сможет извлечь для себя их голодная стая?

Между тем, Стёпка был в пяти шагах от воткнутых в сугробы, дулами в небо, винтовок, но людям у костра было явно не до него. Обступив очаг, они с остервенением рвали зубами непрожаренные куски конины, жадно и поспешно глотали полусырое жилистое мясо, и каждый при этом норовил оттолкнуть товарища и любым способом протиснуться ближе к огню. Стёпка, не особенно таясь, собрал оружие, отнёс его, будто дрова в охапке, подальше под берёзу, и дал знак рукой Ивашке. С двух сторон они вышли к костру и одновременно скомандовали: «Руки вверх! И ни шагу с места!». Вяло исполнив приказ, люди неохотно повернули от костра свои слезящиеся, небритые лица к промысловикам. Но, как ни странно, страха в их глазах не наблюдалось, зато легко прочитывалось равнодушие и какая-то нечеловеческая усталость.

– Всё, ребятки, отвоевались! – Степан, держа на мушке расхристанную толпу, приблизился к костру ещё на пару шагов. – Холодное оружие, у кого есть, отбросьте в сторону! И без фокусов! Бью наповал! Вот и хорошо. Теперь будем знакомиться. Ступай ко мне – вот ты! – Раскатов указал стволом на высокого, худого, с выпирающим кадыком, длиннорукого бойца, в прожженной сбоку шинельке. Тот нерешительно подошёл, глянул было прямо в лицо Степану, но быстро отвёл глаза.

– Чё прячешь зенки-то? Аль боишься – все грехи твои вычитаю!? Кто будешь, откель призван в наш край?

– Ефим Рябичев я, родом из Шексны Вологодской губернии.

– Деревня чё ль такая – Шексна? Аль городской ты?

– Городок Шексна. А я ить с деревни, наше Никольское в пяти верстах от городу будет.

– Та-ак! Сказывай тогда, почто жёг избы наши, у дедов души вынимал? Ручищи-то, гляжу трудовые. И как они у тебя опосля содеянного не отсохли?

– Дак я ить с неохотой, а от приказа куда деться? – несмело начал боец, но вдруг поднял глаза на Степана и, выдержав колючий взгляд того, твёрдо сказал: – Изб мы не палили, стариков жизней не лишали. Мы их опосля и

схоронили, кого в общей могилке прибрали под горой, а кто по заимкам, тех тоже не оставили воронам, похоронили отдельно. Мы и кресты тайком от командиров перед уходом с деревень и заимок, где успели, поставили. Грех наш – скотину какую побили да съели, стога пожгли, мельницу вот искурочили. А лютовала боле всех командир наш Аграфёна с полюбовником её Никифором, да жидок, извиняйте – еврей, комиссар с ними крутился, ну, тот боле науськивал. Сам рук не марал. Они и от нас сбёгли с харчами, а бойцов покидали на морозе на погибель в проклятущих чащобах. Вот мы и разбрелись кто куда.

– Пущай так. А с тобой-то кто здесь конину дерёт? Аль все невинные агнцы, яко и ты, Ефим?

– Вологодских со мной девять. Трое вятских. Тоже земляки почти что ж. Я про нашу вину всё обсказал, мы из одного взвода. Дёржимся вместях. Любого спроси, ежли сумлевашься.

– А выходить из тайги, землячки, каким путём намереваетесь? Лошадушек всех, вижу, прибрали, ружья свои побросали. Теперь, поди ж ты, друг за дружку примитеся?

Высокий изнурённый боец, пошатываясь, промолчал. Взгляд его опять потух, судорожно сглотнув морозного воздуха, он равнодушно опустил свои слезящиеся глаза.

– Напарник! Подь сюда! Да не боись, перед нами не бойцы, а клячи, – беззлобно молвил Степан подошедшему с карабином наизготовку Ивашке. – Отойдём на пару слов.

Через минуту до жавшихся около затухающего костерка бойцов донеслись обрывки жаркого спора промысловиков: «Пущай выбираются сами, кто их звал сюда!» – «Хучь они и никониане, дак всё ж однова с нами – православные!». «Выведем, а нас – в распыл!» – «Дак ить русские же они, как и мы! Мало ли чё нам греха с христопродавцами! Не по-людски будет, ежли бросим их здесь помирать!».

Окаянной теменью, что лишь по верху исколота морозным мерцаньем крупных звёзд, а понизу – мрак, хоть глаза коли, начал подъём из распадка разношёрстный отряд. Впереди, натаптывая лыжню, шёл Степан Раскатов. Охотничьи раскосые очи его, быстро привыкнув к темноте, видели, ну, может быть, чуточку слабее, нежели пасмурным днём. Но этого вполне хватало, чтобы правильно выбирать дорогу. За ним жидкой цепочкой, опираясь на палки, наломанные из сушняка, двигались бойцы-чоновцы. Замыкал колонну Ивашка Егоров. Изредка Степан останавливался и окликал идущих за ним: всё ли у тех ладом? В ответ из темноты раздавалось нестройное: живы, мол, покедова. Ориентиром, как правило, служила едва различимая в игольчатой индевелой тьме спина впереди идущего. Свои винтовки несли сами бойцы. Правда, боевые патроны из оружия кержаки извлекли сразу же ещё в лагере. Так оно надёжнее, да и искушений меньше.

За полночь привёл Степан бойцов на своё зимовье, растопил печь берёзовыми, загодя, с лета наготовленными поленьями, заварил отвар из припасённых золотого корня, смородинового и малинового листа и цветков зверобоя. Растолкал едва задремавших бойцов, и влил им, кому-то и через силу, отвар сквозь обмороженные, потрескавшиеся губы в простуженные рты. Уснули, кто на нарах, кто вповалку на земляном отогретом полу. Промысловики же попеременно продежурили до той поры, пока за окном не стало отбеливать и стылое небо с востока, из-за вершин Каменушки, не расцветилось золотистыми перьями лучей ещё не выбравшегося из-за горы зимнего солнца.

– Так, ребятки, отсель мы выведем вас, но тока в путь отправимся, как стемнеет. – Степан отхлебнул из долблёной миски бульона, наваренного из подстреленного на рассвете глухаря, и внимательно оглядел завтракающих бойцов. – От греха и соблазнов разных подале, чтобы вы по слабости человечьей не привели опосля сюда карателей. Днём отдыхайте, копите силы. Мой напарник покуль набьёт дичи про запас на дорогу, – промысловики при чоновцах не называли друг друга по именам, и уж тем более не упоминали не только своих фамилий, но и вообще никаких. Названия гор, долин и речек, через которые лежал их путь, тоже ни в коем случае не упоминались. Мало ли чего ни случится потом. – А я уж, извиняйте, пригляжу покуль за вами, да и подсоблю, коль кому чё понадобится.

Уводя чоновцев со своей заимки, Степан намеренно пошёл не рекой, а через пихтач в гору. С добрую версту прогребли вдоль по седёлку, спустились, опять же лесом, в распадок, и оттуда, перевалив за долгую ночь ещё пару-тройку каменистых хребтов, выбрались на плоскогорье, от которого по водоразделу, прижимаясь к заснеженным крутым склонам, шла двухдневная тропа к городу. Дневать устроились в просторной сухой нише под базальтовой скалой. Наломали лапника, постелили вкруг костра, на таганке заварили белочного корня с душицей и сушёной черникой, в углях запекли дичь. Промысловики спали поочередно, да и то в полглаза.

На третью ночь под утро вывели Ивашка и Степан бойцов к скалистому, поросшему лиственницами утёсу.

– Всё, земляки, прибыли, – остановился и обернулся к идущим следом бойцам торивший тропу Ивашка. Степан в этот раз шёл сзади, замыкая их живую цепочку. – За утёсом, вниз по руслу, верстах в двух лесопункт Крольчатник, там и обогреетесь, оттель и до городу вас доставят. Ступайте с Богом. – За время, что они выводили из тайги заблудившихся бойцов, Ивашка увидел, что эти изнурённые люди немногим отличаются от них. После того, как чоновцы отогрелись, помазали обмороженные места на лицах и руках барсучьим и медвежьем салом из Степановых припасов, перевязали раны, стало понятно, что никакие это не изверги, а такие же обыкновенные, незлобивые русские парни, не по своей воле попавшие в этот кровавый таёжный переплёт. Ещё он приметил, как на привалах некоторые из них тайно, когда никого нет поблизости, и кажется, что никто тебя не видит, осеняют себя крестным знамением. И пущай совершают сие не двумя перстами, а по-никониански, тремя, однако ж, всё же молят Господа о спасении не одних себя, а и, верное дело, тятьки с мамкой, да и другой прочей родни. И теплело кержацкое сердце, и вскоре первоначальная ненависть сменилась жалостью и даже каким-то неизъяснимым сочувствием к этим оборванным бедолагам.

– Оружие ваше пущай будет при вас, – включился в разговор подошедший Степан. – А вот патроны, уж не обессудьте, – наш трофей. В деревню пойдёте – по прежнему уговору, не ране, как рассветает, мы уже к тому часу далёко будем. Гнаться за нами не советую – всех постреляем.

– Да вы што же такое сказываете! Да рази же мы нелюди какие! Храни вас Бог, добрые люди! – раздалось нестройно в ответ.

– Прощевайте покуль! – уже с тропы молвили кержаки. И люди разошлись, одни – в дремучую родимую тайгу, другие к лесопункту, чтобы оттуда на санях заготовителей уехать в Талов, где после коротенького лечения в лазарете предстать пред грозные очи начальства – что, де, так долго шастали по морозной тайге, и на каком основании побросали своих командиров и комиссара околевать в горах?

Когда Кишка Курощуп, выбрав момент, тайно оповестил Феньку и Осипа, а также трех верных друганов из бергалов, что уходить будем в нонешнюю полночь, покуль метель ишо не разыгралась, никто не прекословил, все стали ждать этой благословенной полночи, чтоб верняком, да с немалым харчем, сгинуть из лагеря, покуль солдатики дрыхнут. Поэтому и определил хитрый Кишка в караул этих самых трёх дружков, чтоб на выходе из ущелья снять их с постов и поставить в строй своего летучего революционного отряда из шести проверенных человек. А российские лапти пущай выбираются сами, ежли и не пропадут, так веры боле кому – нам, стынущим в энтих треклятых ущельях, преданным бойцам революции, аль недобитому вологодскому подкулачью, невесть как пробравшемуся в наши органы!

Фенька согласно кивала, Осип раздумчиво помалкивал. Он вообще в последние дни изменился, притих, обносился, стал открыто жаден в еде. Старался есть больше, хватал куски, давясь, глотал, видно, проснулся страх, вошедший за века скитаний и в кровь Осипа, как сына отовсюду гонимого неуживчивого народа, страх того, что завтра может случиться и есть будет нечего, а помирать ой как не время! В этой неслыханно богатой и огромной стране, которую наши вожди подмяли-таки под себя, и братья по крови почти на всех партийных и государственных ключевых и узловых должностях, мы, – бывало, радовался Гомельский, – переучим этих сермяжных мужиков в передовых рабочих, и они принесут нам баснословные прибыли. А там уж, как говаривал их недоумок Ульянов-Ленин, – и мировой пожар раскочегарим теми же мозолистыми руками. «За каждую каплю святой крови, пролитую за века наших притеснений, – мстительно раззадоривал себя Осип, – гонители заплатят тоннами своей! Да воистину будет так!».

Естественно, что подобными мыслями осторожный и трусливый Гомельский ни с кем не делился, но зато как они согревали его издёрганную постоянным притворством душу!

Вот только за эти мрачные дни и неслыханно жуткие ночи блуждания по промороженной тайге осиповский задор заметно поиссяк. В осунувшееся небритое лицо Гомельского дохнула безжалостная смерть, та самая старуха, что не разбирает, кто перед ней: представитель ли народа, назначившего себя на роль избранного, либо какой-то смердящий гой. Она равнодушно косит своей никогда не тупящейся косой, кого ей заблагорассудится. Вот этого-то и боялся панически Осип, ведь столько радужных надежд на будущее лелеял он в своей тщеславной душе! Как мечтал он дожить до того сладкого момента, когда наконец-то поверженный мир падёт к ногам его великого народа. А теперь всё это может рухнуть, как вон та лавина, сошедшая накануне в логу за рекой и срезавшая как бритвой у изножья горы редкие молоденькие пихты и стройные березки.

– Товарищ комиссар, чё нос-то повесил? – Кишка только что тайком проглотил, почти не прожёвывая, кусок мягкого розоватого сала и сухую галету, чуток опьянел от еды, и его тянуло потрепать языком. Тем паче, что в кармашке, пришитом по случаю на боку, изнутри гимнастёрки, грелся ещё один добрый шмат припрятанного сала. Ну, это – на потом. – Я кумекаю так: счас отыщем место, где река промёрзла, чтоб пройти на тую сторону. А там, по пологому бережку – энтот-то, вишь, крут да ишо и скалы прям в реку лезут, – и уйдём вниз. Река, поди ж ты, бежит к Талову, а куда ж ей ишо! Вот она-то нас и выведет из энтих пропастин. Ты мне опосля, Осип Михалыч, ишо и спасибо скажешь, да в ножки поклонишься за то, что я тебе жизню твою драгоценную спас!

Однако Гомельский с таким нескрываемым презрением окатил взглядом с ног до головы явно перебравшего с болтовнёй Грушакова, что тот мгновенно прикусил язык и пробормотав: ладно, ладно, мол, шутю я, отошёл к возившейся с вещмешком Феньке Стрелку.

– Чё, ты там, голубь, плёл комиссару? – Фенька подняла красивую голову свою, с выбивающимся из-под будёновки русым завитком, и весело продолжила: – Каки таки реки бегут в Талов? Кабы так, давно бы тискались на тёплых полатях у печи, нешто бы стыли туточки? Я девчонкой с покойным тятькой всю Синюху облазила, с другой от городу стороны. Речек – тьма, и хучь бы одна свернула в твой Талов!

– Дак я ить думал успокоить комиссара, – примирительно сказал Кишка. – А то он больно смурной, да какой-то ишо не в себе. Не натворил бы чего. Ему наши природы непривычны, а ить он схотел, я так чую, в белу косточку выбиться. Вот здесь и побелеет, как под сорок мороза саданёт!

– Да ты, небось, и своё-то хозяйство всё нонче поморозил! Отколупнулось поди уж да отпало за ненадобностью! Коль так, не подпущу на выстрел! – грудной голос командирши рассыпался на заливистые колокольцы.

Понять смысла их разговора другие не могли – далековато отстояли они от остальных чоновцев, однако ж Фенькин смех был громким и заразительным. Бергалы переглянулись: тешится, баба, дурит, видать, мужика хочет, аж невмоготу. А чё, можно бы и здеся её оприходовать, шинельки в кучу, чтоб зад не примёрз и, становись, мужики, в сладку очередь! Ан нет, с Никифором шутковать не с руки – враз прибьёт! Да и жидок ишо энтот так и буровит всех зенками своими чернущими, а жрёт-то за троих, не гляди што худ, яко жердь поскотная. Ох, не любы ж мы ему, братцы, хошь и скрывает, собака пархатая, толкёт в себе! В пролубь бы его тишком да с концами, дак опосля не оправдашься! Бергалы разочаровано вздохнули и разошлись по лагерю, кто дров подкинуть в костёр, кто поправить сбрую объедающей тальник лошади.

Серебристый и гибкий, с тёмными полосами поперёк верхнего плавника хариус стоял несносимо в холодном подлёдном потоке и ловко выхватывал ртом с поверхности воды всякую съедобную мелочь: личинок, дохлых осенних мошек и комаров, клочки зелёного ила и мха. На этом перепаде воздушная подушка между коркой льда и стремниной была изрядная – лёд не успевал нарасти, как его сбивала своенравная волна, шлифуя тыльную часть ледяного панциря и оставляя ему возможность утолщаться лишь вверх, по внешней стороне. Солнечные лучи косо били в прозрачный, схожий с линзой лёд, и, преломляясь, вертикально прошивали слой студёной воды до каменистого мозаичного дна.

Вдруг радужные круглые глаза хариуса испуганно отметили движение огромных размытых теней выше по течению, над стылыми глыбами порожистого льда. Пять продолговатых, слитых в единую цепь существ, проходя, на какой-то миг закрывали солнце, темнел и тут же светлел искристый лёд, а вот шестая тень неожиданно разломилась пополам, удлинённая её задняя часть вскинулась над порогом. А меньший лоскут этой тени рухнул камнем вниз и, проломив обманчивый ледяной панцирь, мгновенно был подхвачен стремниной и с силой затолкан под лёд. За секунду до этого хариус крутнулся, показав молочное своё брюхо, и молнией унёсся вниз по реке, да с такой скоростью, с какой гонцы разносят по округе радостное известие о скором прибытии в их оголодавшие веси хлебного сытного обоза.

– Братцы, еврей утоп!

– Коня, коня лови! Потопчет ить нас всех!

– А харч с им был?

– Да кто ж его знает! Он теперь сам харч налимам да сомам!

– Не мелите, пустобрёхи, чё ни попадя. Человек ить погиб да ишо и комиссар наш геройский!

– Знамо дело, Никифор, он хошь и еврей, а всё ж не мошка какая. Всё мы разумеем, энто нервное у нас.

– Чуток погодь, угомонимся. Пропал комиссар!

– Под лёд ить не полезешь, да и где ж там нашаришь теперь! И, небось, снесло Осипа Михалыча уж невесть куда!

На берегу у костра, когда возбуждение от происшествия несколько улеглось, чоновцы, посовещавшись, решили прямо здесь разбить временный лагерь. Тайга, дрова рядом, сторона подветренная, забьём высвободившуюся лошадь, навялим, наморозим мяса, отдохнём, а там уж и далее двинем вниз по руслу, пойма не так убродна, можно кой-где и верхом, не всё же ноги гробить! Комисарова доброго жеребца, который и стал причиной гибели Гомельского, когда, оскользнувшись на бугристом льду, с испугу взвился на дыбы, вырвал из рук хозяина повод и ударом мощного копыта случайно сбросил того с высокого козырька в обледеневшую протоку, забрал себе один из бергалов Игнат в обмен на своего мерина.

Фенька в разговорах не участвовала, как выбрались на берег, расседлала Игрунька, бросила на снег потник, поверх постелила реквизированную у кержаков овечью доху и прилегла на ней, головой от реки. Сделала вид, что задремала на морозном неласковом солнышке, однако ей было вовсе не до сна. Когда Осип Михайлович ушёл под лёд, Феньке впервые за весь этот треклятый поход стало не по себе. Не то что бы она шибко переживала смерть Гомельского – мало ли видывала за эти годы, как гибли люди, сама не прочь была помочь некоторым из них перебраться в потусторонний мир, – но давно уж она присматривалась к комиссару, не потому что был рожей пригож, а чувствовала в нём скрытую, тёмную силу.

Эту силу она впервые познала на полях гражданской, и не только на жёстких топчанах и мягких перинах, где её с садистским наслаждением мяли и тискали чернявые да картавые чекисты, а она, изнемогая от дьявольского вожделения, стонала, теряла сознанье и царапалась, что ещё больше раззадоривало ухажеров. О, это были незабываемые дни и ночи! И эта-то сила мнилась Феньке самой наисладчайшей из всех, какие бывали на земле. Другая, более ёмкая и страшная грань этой иудейской силы открылась ей с первых боёв, в которых, к слову, Фенька сама редко участвовала, но чаще с любопытством наблюдала за их ходом с командных пунктов и высоток.

Цепи плохо обмундированных, неряшливо одетых мобилизованных красноармейцев серыми волнами текли по полю в сторону колчаковских добротно оборудованных окопов прямо на ураганный огонь. Людей выкашивало десятками. Вот упало красное знамя, и бойцы сначала попятились, а потом и беспорядочно побежали назад. Однако из тех окопов, откуда всего несколько минут тому назад красноармейцы поднялись в атаку, раздались дружные ружейные и револьверные хлопки, и короткими очередями застрочил пулемёт. Это заградотрядовцы – латыши, мадьяры и китайцы под командованием ночных Фенькиных хахалей таким вот неслыханным прежде в истории войн способом, придуманным недавно Лейбой Троцким, пресекали всяческую панику в красных наступающих войсках. Феньке тоже дали пострелять из маузера. И хоть бы раз она промахнулась! Русские крестьяне,

обезумев, метались между двух огней и наверняка полегли бы все под перекрёстным огнём, да подоспела конница алтайских партизан и вместе с опамятавшими красноармейцами выбила беляков из укреплённых окопов.

Взятых в плен раненых офицеров и солдат порубили в соседней балке всё те же молчаливые латыши, мадьяры и китайцы. Комиссары равнодушно наблюдали за кровавой расправой с бугра. Помалкивала, стоя рядом с ними, и Фенька. То ли утомил её бой, то ли придавило осознание той по-настоящему страшной и жуткой силы, что втянула нынче Феньку в свою орбиту и строго определила девке её место. И теперь без присмотра и спросу Феньке не то что шагу не ступить, а и пустить в свою душу какую-либо маломальскую змейку любой крамолы непозволительно. С того дня Фенька-Стрелок прониклась каким-то собачьим обожанием своих повелителей, правда, крохотной, однако всегда ноющей занозой где-то под сердцем было горькое чувство своей убогости и никчемности перед этими сверхчеловеками.

И Фенька тайно лелеяла мечту когда-нибудь стать одной из них, а для этого надо было обзаводиться не только зыбкими партнёрами по постели, временными командирскими должностями, но и надёжными товарищами по партии, из тех, что прочными невидимыми нитями всемогущей паутины опутали теперь одну шестую часть Земли, с кондовым названьем «Россия». Кандидатура утопшего намедни комиссара тоже рассматривалась как вполне подходящая. Вывели бы его из тайги, глядишь, и сошлись бы поближе. «Да, чё же нынче-то об этом голову ломать! – бросила вслух Фенька. – Корми уж рыбок, комиссар!».

Двигаться рекой намного легче, нежели биться по грудь в сугробах по заметённым логам и склонам. Снег в колено на относительно ровной прибрежной полоске позволял ехать верхом. Чоновцы радовались, что не смалодушничали и не бросили в тайге изнурённых глубокими снегами лошадей. В грубых сердцах всё увереннее пошевеливалась надежда, что всё обойдётся, и они живыми выберутся из тайги. Когда же за очередным поворотом они наткнулись на свежий путик, то у этой самой надежды даже и крылья выросли!

По лыжне чоновцы обогнули лесистый утёс и, перевалив через гребень отрога, спустились в тесную низинку, где в углу, под скалой, скрытая двумя заснеженными кедрами ютилась охотничья избушка. Взяв наизготовку карабины, бергалы незаметно подобрались к избушке, и почти одновременно махнули руками, приглашая притаившихся за кедрами Феньку и Кишку: «Ступайте сюда! В избе нет никого – дверца рогулькой подпёрта!». В помещении было тепло, печурка ещё не остыла, значит, хозяин не далее как утром покинул его, видно, ушёл капканы в саймах и кулёмки проверять. Только обогрелись, поскидали с себя на широкие нары шинели и будёновские шлемы, разулись, как узкое оконце снаружи стало залеплять снежными хлопьями. Начиналась вьюга.

– Оно и вовремя, пущай наши следы заметёт, – Фенька отошла от окна, – печь топить покуль не будем. Затаимся. Авось хозяин вернётся, чтоб он до срока нас не обнаружил, а мы б его врасплох встретили. И никакой махорки – от ей вонь на всюю тайгу.

– Ох, и башковитая ты, Аграфена! – восторженно откликнулся Кишка-Курощуп. – Не по-бабьи прям кумекаешь! Не здря ты в командирах у нас!

– Я, Никиша, жизнью научена, – польщено молвила Фенька. – Игнат, ты с Фролом у дверей будешь дежурить. Мы вздремнём покуль с дороги. Опосля Тимофей и ты, Никифор, смените их. И чтоб мне – ухо востро держали!

Под утро, когда изба выстудилась, а метель всё не унималась, Фенька позволила протопить одной закладкой печь, чтобы хоть воды накипятить да стылое вяленое мясо подогреть. Вот этот-то дым и учуял пробивающийся сквозь метельную мглу к избушке с обхода своих угодий Прокоп Загайнов.

Собственно, и обхода-то полноценного не удалось совершить, так, вынул из капканов двух собольков, да специальным зарядом в одну дробинку, чтоб не портить шкурку, снял пяток загнанных лайкой на пихты белок, но проверить дальние, под хребтом Толстушонок, участки помешала нежданная снеговерть.

Прокоп неслышно поманил Трезорку, развернулся и ушёл в ближний распадок, откуда при ясной погоде хорошо видна избушка. Под седой пихтой вырыл нору в снегу, наломал мохнатых лап и устелил ими низ, а также плотно закрыл лаз. Минут через тридцать, когда охотник согрел своим дыханием нору до такой степени, что снег на стенках помягчел, Прокоп задремал. Трезорка, свернувшись клубком, чутко улёгся в ногах.

– Чё делать с конями? Ума не приложу, – широкоскулый, с близко посаженными медвежьими глазками-буравчиками Тимофей стряхнул у двери с шинели и шапки снег, обмёл утеплённые сапоги и прошёл к столу. – Сумёты по крышу, жрать конягам неча, овес вот последний по торбам рассыпал. Покуль хрумкают, а дале лапы кедровы чё ли мелко рубить? Да поди ж, и скотина жрать таков продухт не станет?

– Дак, когда я выходил проведать, они уже вовсю огладывали нижние ветки, – вступил в разговор сухощавый Игнат. У него теперь был свой интерес в сохранении лошадей: комиссаровский жеребец стоил того. Однако ж и сомненья смутные имели место: а вдруг по выходу из тайги жеребца начальство отымет? Но тёртый бергал гнал от себя такие мысли. В первую голову, надобно приручить да прикормить Чалого, чтоб ходил он за тобой, как привязанный, тока на твой голос выкликался с табуна, а там уж чё ни то придумаем. Будет день – будет пища. Игнат весело оглядел чоновцев. – Сухарями подкормим, всяк своего! Промысловика спеленаем, вытянем из него всё про запасы. Они ведь, кержачьё, страсть как припасливы. Те же кроты. Понапрятано ямок с провиантом по тайге, яко руды в наших забоях. Поди, где невдалёке отсель и стожок-другой отыщем, дай тока метели уняться!

– Твои слова да Богу в уши.

– Кого трясёшь, Тимоха! Сказано же – нет там наверху никого. Всё энто мракобесы удумали, чтобы пролетарию башку забивать гвоздями опиума для народу.

– Не цепляйся, Никифор. Мы такие же, как ты. И мракобесов не мене тебя перевели.

– Вот осилим наш новый советский язык, тогда уж ни разу и не помянем энтот пережиток прошлого.

– Всё б отдал, лишь бы опять очутиться на занятьях политической грамоты в Красном уголке нашей казармы.

– Я б тоже, – сиди себе, слухай комисаровы зажигательны речи об истреблении контры и кулачья.

– Можно тайком и вздремнуть, особливо ежли с ночного наряда, аль там с какого задания.

– Размечтались, разнюнились, ровно бабы беременны! Бдительность, товарищи, не терять! Аль забыли, где мы?

– Никак нет, Аграфёна Павловна! Всё помним, и ухо революционное востро держим!

– Ты, Игнашка, нюх чё ли утерял? Передразнивашь? Аль издеваться здумал? Да я тебя враз пристрелю, прям здесь, на месте, как контру замаскированную!

– А я чё, я как все! И не шуткую иль там издеваюсь. Я тоже за мировую революцию жизню свою, не раздумывая, отдам!

– Не трещи, бергал немытый! – Фенька устало вздохнула. – Язык у тебя, братец, больно поган. Я-то ишо стерпю, а вот покойный Осип давно бы уже определил тебя в распыл, как скрытого врага нашей революции.

– Вовремя прибрал его Господь.

– Никифор, угомони же ты наконец другана! Ишо хошь раз брякнет энта мракобесна слизь, точно пристрелю.

– Ступай, Игнат, коней проведай, да оглядись, как там, скоро ль утихнет. А ты, товарищ командир наш, не серчай. Игнашку ишо сопляком секли крапивкой за евойный язык страмной.

Игнат вбежал со двора минут через пятнадцать. Вид у бергала был растерянным. Он грузно опустился по косяку у порога на пол.

– Лошади пропали! Недоуздки пообрывали и ушли. Весь лог обшарил, да ить метёт, идём, однако, все искать, куды они позабивались!

– Айда! Аграфёна пущай в избе опнётся, не бабье дело в такую сутемень лезть.

– Ты, Никишка, чё распряжашься? Кто командир? Я покуль. Вот я вам и приказываю: сидеть, и – ни с места! От жилья кони, да от людей далёко не уйдут. Они ж не таки глупы, как вы! Метель улягет – вернутся.

Чоновцы глухо зароптали, но в открытую пререкаться и ослушиваться никто не решился. Игнат так и остался сидеть у порога, свесив обнажённую коротко стриженую голову свою. Будёновка валялась в ногах. Спустя некоторое время он виновато поднял набрякшие глаза на Феньку Стрелка.

– Товарищ командир, дозволь мне ишо раз пройти по логу? Метель вроде стихает. Поди, отыщу лошадок-то.

– Стихает, говоришь? Ступай, разведай, да тока чтобы скоренько. Ты, Тимофей, давай с им. Четыре глаза – энто не два. По следам ищите. Да оружье возьмите. Мало ли чё.

– Есть, товарищ командир! – бодро откликнулись оба бергала и, повеселевшие, растворились за дверцей в снежной круговерти, напор которой заметно ослабевал, а серое небо прояснялось, и кое-где тускло проступала синева.

– К вечеру морозец шибанёт, – Тимофей покрутил головой, зачем-то шумно втянул в себя несколько раз подряд холодный воздух, будто принюхивался и мог определить по запаху – в какую сторону ушли кони. – Врозь пойдём, Игнат. Ты ступай к тому лесочку под горой, а я обойду вот энтот бугор. У гребешка, вишь, рябина, там и встретимся. Тока гляди, не нарвись на кержака, он поди уж недалёко теперя.

– Ладно. Ты, Тимоша, вкруг себя по сумётам боле зыркай. Где ни то, да поди ж, отыщем неприметённые следы. Найдёшь первым, дай знать. Ори шибче, чтоб я услыхал. Ну, с Богом. Тьфу ты! Когда ж мы отвыкнем от старорежимных присказок. Не доведут ведь до добра, ох, не доведут!

И чоновцы, кряхтя, полезли по сугробам, торя каждый в свою сторону по широкой рыхлой борозде. Снегу навалило выше колен, но он ещё не успел слежаться, ноги выпрастывались, словно из пуха, без видимого труда.

Зайдя в оснеженный пихтач, Игнат только и успел пригнуть пушистую лапу, чтобы открыть для глаза полянку впереди, как получил тупой удар по темечку и без памяти ткнулся носом в сугроб. Очнулся он оттого, что кто-то сильной рукой тряс его за плечо и легонько твёрдой ладонью бил по щетине. Во рту Игнат ощутил тряпичный кляп. Молодой синеглазый бородач со сви-

репым лицом, как показалось пришедшему в себя бергалу, деловито склонился над ним. «Неужли всё, конец?! – пронеслось в раскалывающейся от боли голове. – Доигрались, мать твою, в следопытов!».

– Очухался? Вот и молодец. Сказывай, сколь вас и откуль путь дёржите? – Прокоп, а это был именно он, весело поправил путы на заголённых запястьях Игната и продолжил: – Будешь смирным, оставлю в живых. Раскукарекаешься – пеняй на себя. Лады?

Игнат согласно закивал. Прокоп двумя пальцами ловко освободил рот бергала от вонючего кляпа, отбросил этот лоскут, отрезанный от нательного белья чоновца, в снег и приготовился слушать.

– Пятеро нас. Лошади вот оборвались, ищем теперя с Тимохой.

– Поводья я обрезал, чтоб совсем не околели коняги от забот ваших. Довели скотину, вояки. В тайге-то, чай, заблудились? – Прокоп как-то непонятно глянул на чоновца. – Аль дело какое здесь промышляли? Смотри, не юли, молви как на духу.

– Мы искали в тайге беглых, они побили насмерть наших конвоиров, да пали снега, дорогу назад утеряли, – Игнат не знал, как сказать так, чтобы не сболтнуть лишнего о делах красных карателей и своём участии в пожогах кержацких деревенек и зимовий. – А избы ваши пожгли да стариков убили вологодские. Ох, уж и люты энти лапотники! Ни комиссар, ни командир остановить ихнюю ненависть к вам не сумели! Они так разъярились, что и нас бы постреляли, не будь у нас оружия. Счас где-то по тайге рыскают. Ох, и бояться же их надобно тебе, ноне они яко медведи-шатуны, тока пулей унять, тока пулей! Однако ж, в случае чего мы с товарищами тебе, брат-охотник, прости, имени твоего не ведаю, пособим. Ты б меня развязал, мы всё ж обои рабоче-крестьяне?

– В родню-то не набивайся, бергальское чучело, – беззлобно отозвался Прокоп. – Лучше сказывай, да без вранья, баба-командирша с вами?

– Дык в избе они греются.

– Давай-ка, хайло на время заткнём опять, – кержак подобрал с натоптанного снега тряпку и ловко сунул кляп дёрнувшемуся судорожно Игнату в рот. – Да ты не рыпайся. Денёк жизни ты себе отработал. Дыши носом. А я скоро. Трезор, – место! Карауль!

Лайка вильнула пушистым хвостом-колечком и улеглась чуть поодаль от Игната, а Прокоп исчез за пихтами. Вернулся он через минут двадцать. За ним по лыжне, ломая её и проваливаясь, на верёвке, с кляпом во рту, брёл, пошатываясь, связанный Тимоха. Под левым заплывшим глазом его темнел синяк.

– Вдвоём вам будет веселее. – Прокоп снял лыжи, выбрал верёвку к себе так, что Тимоха оказался рядышком с лежащим под пихтой Игнатом, и стянул, стреножил петлями и узлами ноги обоих пленников, а конец верёвки обвязал вокруг ствола. – Так-то оно надёжнее. А я покуль проведаю остальных. Трезор, – место! Карауль!

Первый час после ухода Игната и Тимофея в зимовье пробежал незаметно. Фрол на табурете у окошка отысканными накануне в ларе суровыми нитками и толстой иголкой чинил гимнастёрку; Фенька, закинув руки за голову, скучала на застеленных дохой нарах; Кишка Курощуп, выложив патроны из барабана на тёсаный стол, и что-то мурлыча себе под нос, чистил револьвер. Избу выстуживало.

– Товарищ командир, – подал голос Фрол, – поди, затопим печь. Кости ломит от холодрыги!

– Затопим и выдадим себя. Вишь, прояснело. Дым далёко видать, – Фенька кивнула на окно и добавила игриво: – А то лезь ко мне под доху, вместях погреемся!

От стола с надсадой кашлянул Никифор и загремел железками.

– Чё кряхтишь, разлюбезный мой Никиша, – Феньке стало весело от этой неуклюжей ревности Грушакова. – Чисти, чисти свой наган. И про другой, в портках, не забывай. И не гляди, чё Маланью твою поди ж кто уж изогрел всюю, да во все щели, покуль ты по тайге шлындаешь. – Командирша плотоядно хихикнула. – Аль она у тебя недотрога, и весь свет для её – тока ты да два твоих спиногрыза? Однако не горюй! Я ить и тебе, по старой дружбе, ненаглядненький ты мой, тепла чуток оставлю! И с Игнатом и Тимохой, как возвернутся, тоже поделюсь! Околели, небось, на морозе-то! – залилась заразительным смехом Фенька Стрелок.

– Не можешь ты, Аграфёна, без подковырки! – Никифор в сердцах бросил на стол почти собранный револьвер, плюнул на земляной пол и без шапки, в одной накинутой на плечи шинели выскочил во двор, громко хлопнув дверью. Не успела Фенька прийти в себя от нового приступа смеха, что душил её от этой забавной сцены, как вновь распахнулась дверь и Кишка Курощуп, пятясь вперёд спиной, с вздёрнутыми вверх руками обратно переступил низкий порожек.

– Всем поднять руки и не дрыгаться! – жестким голосом скомандовал из-за спины Грушакова Прокоп Загайнов. И заметив, как, поперхнувшаяся смехом от неожиданности, потянулась Фенька к висевшей в изголовье кобуре, рявкнул: – Лежи уж! Враз продырявлю, и не погляжу, чё баба.

Прокоп подтолкнул дулом Кишку. Тот невольно подался вперёд, повернулся к охотнику боком, здесь-то и настиг его точный удар прикладом ниже темечка. Кишка плюхнулся щетиной в пол, и, вытянувшись, замер. Фенька по-бабьи ойкнула, побелевший Фрол стоял в нательной, заправленной в галифе рубахе с поднятыми руками, так и продолжая держать в левой недоштопаную гимнастёрку, а в правой толстую иголку с ниткой.

– Выдерни ремень из штанов и свяжи им эту кралю. Да покрепче. Вот так. Лады. Давай-ка свои лапы до кучи и ты, горе-вояка, – Прокоп переступил через лежащего без сознанья Кишку, и стянул узы на запястьях Фрола. Затем склонился над расслабленным Грушаковым и проделал то же самое и с ним. После этого собрал всё оружие чоновцев, разрядил и ссыпал патроны в холщовый мешочек, а револьвер, Фенькин маузер и карабин Фрола прибрал в угол, за печь. Всё он делал не торопясь, обстоятельно. Будто бы тем и занимался всю свою жизнь, что вязанками вязал подобных непрошеных гостей! Хотя делал это Прокоп впервые за свои неполных 23 года, а что так ловко и без крови, так это сказалась добрая школа родного деда, Петра Григорьевича Загайнова.

Едва ли не с пяти годков любимый внук Прокоша с дедом хаживал в тайгу. С 15 лет сам промышлял и соболя, и белку, а совершеннолетие своё отметил в компании знатных медвежатников, кои водились покуль в достатке среди староверов, тем, что сам-на-сам поднял из берлоги огромного и косматого косолапого, бросив туда дымящую головёшку. Кружа вокруг, раззадорил вылезшего, пощекотав рогатиной медвежье пузо и шерстистые бока, а когда зверь, окончательно обезумев от ярости, встал на задние лапы и попёр на Прокопа, ловко подставил тому под брюхо ту же заострённую рогатину, уперев черенок в стылую землю. Зверь не только сам себя насадил на острие, но ещё и в бешенстве, истекая кровью, стал когтями рвать свои же

вспоротые кишки. А уж сотоварищ, Стёпка Раскатов, изловчившись, добил матёрого медведя молниеносным ударом охотничьей пальмы точно в сердце. Пущай и не бывало сроду у кержаков никаких метрик, свидетельств о рождении – суровый устав не позволял равняться с мирскими в тщеславном начертании своих персон на бумаге! – но почти каждый из старообрядцев бывал обучен грамоте, и уж день-то, месяц, год и место, где он появился на свет Божий, знал и помнил всяк из них. Вот так и перешагнул Прокоп рубеж, вернее, развороченную берлогу, своего возмужания.

Был Прокоп чуть выше среднего роста, в талии тонок, плечи и мускулистая спина налиты силой, небольшая голова с вьющимися русыми волосами ладно сидела на крепкой шее.

– Из тайги я вас выведу, – раздумчиво молвил Прокоп, после того, как притащил и усадил связанных и потерянных Игната и Тимофея на топчан рядом с жавшимися в углу Фенькой, Фролом и пришедшим в себя Кишкой. – Однако есть у меня одно условие. Сделаете, как я скажу, будете живы. Все грамоту знаете? Писать способны?

– Мал-мало кумекаем. В коммуне обучали.

– Карябать на бумаге способен Игнат.

– Он и протоколы горазд составлять.

– Вот это-то мне и надобно, – Прокоп бодро прошел к столу, взял с него реквизированную только что при обыске вещмешков кожаную планшетку командирши, раскрыл её и порылся в содержимом. – Ага, вот она, голубушка.

Прокоп выложил на стол и разгладил ладонями ученическую тетрадь. Следом извлёк из планшетки огрызок химического карандаша и положил его поверх тетрадки. Ловко развязал узлы на запястьях у Игната и усадил разминающего освобождённые затёкшие руки бергала на кедровую чурку у стола. Пододвинул тетрадь и химический карандаш.

– Опиши подробно все ваши похождения. Да помяни всех убиенных и пограбленных вашей бандой. А вы, соколики, давайте-ка в помощь ему. И всяк свою заслугу не таи: кто избы и жито жёг, скотину побивал, запасы да пчельники зорил. Покуль правду не изложите, ни кормёжки, ни питья не дам. Будете выкручиваться, оставлю одних, у меня ишо имеются зимовья. А вы пропадайте. Правду отпишите, какой бы она ни была – выведу живыми к людям и сдам властям.

При этих словах Кишка и Фенька быстро и недоверчиво переглянулись. Однако в душе у каждого ворохнулось: а вдруг да и сдержит слово энтот могучий кержак! Тока бы до своих дойти! А там-то уж мигом в рогульку свернули бы непонятного и, видать, малость чокнутого богатыря! И не таким рога обламывали! И не таки сапоги нам лизали! – тихо возрадовались узники, но виду не подали.

– Особливо опишите злодеянья вашей командирши, – ровным голосом продолжил Прокоп. Он, конечно же, заметил, какое впечатление произвели на чоновцев его предыдущие слова, но никак не выдал себя: зачем им знать, что их скрытые помыслы охотнику ведомы и открыты, как замысловатая вязь звериных следов в зимней тайге. – Как же ты, такая красивая да ладная, душу-то имеешь чёрную! – Прокоп прямо посмотрел в серые, с поволокой, глаза Феньке. – Тобой ить детишек малых пугают, люди клянут всю твою родову. Великий соблазн имею и я, раб Божий, прибить тебя, – при этих словах Фенька будто бы испуганно и виновато опустила очи свои долу, но это получилась так деланно, что даже Кишка недовольно сморщился: комедь ломает командир. Прокоп усмехнулся: – Да ты не боись! Рук ма-

рать и греха на душу я брать не стану. Сдам вас властям, пущай они ищут на вас управу и выносят, как у вас принято завсегда, – свой справедливый революционный приговор. А я отсель, из тайги погляжу.

Часа через два почти все свободные листки тетради были исписаны неровным, прерывистым корявым почерком, вспотевшего от усердия, Игната. Прокоп внимательно прочитал всё написанное, на минуту помрачнел, но тут же взял себя в руки и приказал ниже этой коллективной исповеди чёрных дел написать Игнату в столбик все должности и фамилии находящихся в избушке красных карателей. Освобождая попеременно всем запястья от уз, он заставил их расписаться каждого напротив своей фамилии.

Уводил чоновцев со своей заимки Прокоп по темноте. Он связал всех пятерых одной пеньковой бечевкой, вернул им оружие, но, естественно, без патронов. Принудил, как бы ни отнекивались пленники: мол, на что эта обуза, кони-то всё одно пропали, взять с собой сёдла и сбрую. Через лог нашли они лошадей, мирно стоящих на вытоптанном снегу вокруг объеденной с боков высокой копны и похожей от этого на ядрёный боровик с припорошенной, мутновато-белой в ночи, овальной шляпкой. Лошадей поймали и определили так: два более сильных и выносливых жеребца шли, на манер алтайских снеготопов, следом за Прокопом по лыжне, ломали её и натаптывали тропу для остальных, три лошади замыкали отряд.

На третьи сутки под утро оказались они в тесном ущелье на берегу замерзшей реки, что гулко клокотала подо льдом. Это была первая река, встретившаяся на их пути, и до горняцкого городка от неё не больше двух часов пешего хода, а на лыжах и того быстрее. Прокоп молча – он вообще за весь переход если и сказал, то не больше двух десятков слов, – собрал всё оружие чоновцев и унёс его к середине реки, где лёд тоньше, раздолбил лунку и утопил ножи, карабины, револьвер и маузер. Вода, глотая смертоносное железо, даже ни разу не булькнула. После этого Прокоп накормил покорных и усталых пленников, наломал лапника, смастерил под разлапистой пихтой-вековухой что-то наподобие шалаша и, уложив их рядком, набросил сверху доху и прикрыл, чтоб не задувало, вход в шалаш толстыми хвойными ветками. Погода мягкая, не морозная, дело к снегопаду, денёк полежат, погреют друг дружку, не околеют. А буран – это кстати: он сровняет с сумётами, укроет все их следы в тайге. Захотят найти заимку – вовек не отыщут! Лошадей привязал раздельно, ближе к склону, заросшему редким тальником. Здесь кони могли не только обгладывать тонкие сочные прутья, но и копытами извлекать из неглубокого снега сухую траву и листья. Свистнув Трезора, охотник заскользил на лыжах вниз по ущелью, и спустя два часа он на одной из окраин Талова уже отряхивал снег с овчиной шубы, барсучьей шапки и утеплённых войлочными пайпаками и берестяными вкладышами в подошву кожаных бутыл.

Двухэтажное бревенчатое здание с красным знаменем на фронтоне крыши Прокоп отыскал минут через тридцать. Надпись «Городской комитет ВКП(б)» ему приходилось читать не в первый раз. Он бывал в этом городке, не сказать, чтобы часто, но два-три приезда в год сюда – это уж точно. То пушнину продать, то орехи и ягоды, то рыбой да свежей говядиной поторговать. Были и знакомые в Талове, но теперь не до гостеваний, надобно быстро сдать тетрадь с признанием чоновцев и его припиской, где их можно найти ещё живыми, в приёмную первого секретаря горкома, а ежели подфартит, то вручить и ему самому. Потому что в милицию и к чекистам идти, размыслил Прокоп, – это всё одно, что с петлёй на шее шагнуть в костёр!

– Мне бы первого секретаря увидать, – обратился Прокоп к сидящему в коридоре за широким, покрытым зелёным сукном столом с чернильным прибором и телефоном бритому мужчине в полувоенной форме. – Земляки просили передать одну бумагу.

– Товарищ первый секретарь сейчас занят, – спокойным голосом сказал бритый, – оставьте ваше заявление. Как освободится товарищ Милкин, я обязательно передам.

– Мне бы лично в руки товарищу Милкину, – Прокоп на секунду обернулся, окинул быстрым взглядом стоящего у входных массивных дверей милиционера, и торопливо продолжил: – У меня дело большой государственной важности. Люди пострадали от беззаконья. Надобно срочно разобраться и наказать виновных.

– Товарищ, я же сказал: разберёмся. Всё передам. Оставляйте ваши бумаги. Не беспокойтесь, вот я их взял, сейчас оформлю, занесу в журнал. А вы спокойно идите. Всё решим.

– Так ить и нынче некоторые могут погибнуть.

– Идите, идите. Всё передам. Товарищ милиционер, проводите гражданина.

– Да нет уж, сам отыщу выход. Прощевайте покуль.

И Прокоп пошёл к дверям. Бритый же уселся на стул с высокой спинкой, пододвинул к себе тетрадь и стал лениво пролистывать страницы: что ж здесь, дескать, такого интересного принёс этот неугомонный лесовик, как окрестил бритый про себя Прокопа за его лохматую шапку и меховую кухлянку. Однако едва вчитался он в корявый текст, лень как ветром сдуло и уже через пару минут бритый был в кабинете первого секретаря, а ещё через две вооружённая охрана резво мчалась к дверям. Но ни во дворе, ни на улице, ни в прилегающих к ней переулках лесовика и его лайки уже не было и в помине. Зато спустя каких-то пятнадцать минут все бывшие в этот момент на горкомовском дворе безо всякой команды вытянулись в струнку и лица их приняли выражение крайней преданности и почтения. Скрипя новенькими резиновыми протекторами, во двор въезжал крытый легковой утеплённый автомобиль, за ним грузовик с вооружёнными молчаливыми латышами в кожаных, на меху, картузах и тужурках – личная охрана Исхака Филипповича Лысощёкина. С полчаса назад они по специально оборудованным металлическим сходням выгрузились с литерного бронированного поезда. Что ни говори, а знал себе цену и любил комфорт глава губернии.

Визит первого секретаря губернского комитета партии был неожиданным, без предупреждения, и поэтому вызвал лёгкую панику среди руководства города. Сам Милкин без пальто, с открытой головой выбежал на высокое крыльцо и замер у обитой кумачом колонны, пока грузный Лысощёкин выбирался из автомобиля и с брезгливой гримасой на одутловатом лице поднимался по ступеням. Фома Иванович дёрнулся было навстречу, но был остановлен хлёстким, как бич, взглядом круглых холодных глаз из-за пенсне. Лысощёкин, не здороваясь, прошествовал прямо на второй этаж, в кабинет Милкина, шумно отодвинул кресло и, плюхнувшись в него, обвёл безжалостными совиными глазами проследовавших за ним Милкина и подоспевшего Ширяева.

– Вы мне ответите, куда людей подевали! В лагехя захотели, на лесоповал? К стенке пхислоню, как миленьких!

– Товарищ первый секретарь губкома, – робко начал Фома Иванович. – Люди выходят из тайги. В лазарете проходят курс лечения двенадцать бойцов. Поступили сведенья, что и руководство отрядов живо. Они здесь, недалеко от города. Мы как раз перед вашим приездом снаряжали поисковую группу.

– Так что ж вы молчали! – нетерпеливо перебил Лысощёкин и, задумавшись на мгновенье, бросил: – Я тоже еду. Вперёд!

И уже в дверях, не оборачиваясь, процедил:

– А сведенья вехные?

– Скорее всего, да, – поспешно ответил Милкин и, покосившись в сторону Ширяева, добавил: – Любопытную тетрадь оставил в приёмной один таёжник, видимо, из кержаков. Мы как узнали, что написано в этих бумагах, пытались задержать таёжника, да он как в воду канул.

– Хаззявы! Вехнёмся, обсудим на заседании пахтактива ваши халатные действия. Тетхадь сейчас же мне. В пути ознакомлюсь. И давай немедленно – впехёд, да возьмите побольше бойцов. Вдхуг засада!

Пленников отыскали довольно быстро по припорошенной позёмкой, едва угадываемой лыжне Прокопа, которой он входил в Талов. Чоновцы были, хоть и сильно обморожены, но живы и в сознанье. Лысощёкин и Милкин ждали их на окраине городка в избе секретаря партийной ячейки одного из лесопунктов, где Исхак Филиппович то мрачнел и возмущенно топал ногами, то заливисто хохотал, зачитывая вслух исповеди незадачливых чоновцев.

Руководил операцией Ширяев, он же первым и разворошил пихтовый лапник и сдёрнул холодную доху с закоченевших Феньки Стрелка, Кишки Курощупа и бергалов. Бойцы в это время ловили лошадей у обрывистого пригорка.

– Тек-с, Аники-воины! – Лысощёкин вперил свои студенистые глаза в робко столпившихся у порога чоновцев. Их по дороге сюда оттёрли снегом и дали каждому по глотку спирта. Хлебнула и Фенька. Разморенные, они плохо соображали, но скрытую угрозу для себя в этих словах почувствовали все. И потому подобрались. Между тем Исхак Филиппович продолжал: – Командихы сханые, где охужье? Где бойцы? Где изловленные пхеступники? Полистал я ваши откховенья. Хохоший пхиговох вы себе накахябали. Мне остается его только подмахнуть – и мои охлы вас мигом к стенке пхислонят! Но я обожду, покуда вы не пхизнаетесь, кто задумал и кто исполнил злодейское убийство товахища Гомельского, нашего гехоического комиссаха! И не думайте, что я повехил всей этой вашей филькиной грамоте! – Губсекретарь брезгливо отодвинул от себя ближе к середине застеленного кумачом стола помятую тетрадку. – Лучше признайтесь по-хорошему – кто надоумил вас жечь и гхабить тхудовое кхестьянство! Сказано было – найти и наказать хеволюционным судом бандитов и кулаков, а вы, двухушники и пособники импехиалистов, подняли гхязные лапы на тхудовых пхомысловиков! – Лысощёкин вошёл в раж и запальчиво закончил: – Да я вас в похошок сотху! Дехьмо своё жхать заставлю! Конвой – в тюхьму их, на нахы! И глаз не спускать с этих вхагов находа!

2.

Дед Петро сидел на подсохшем комле поваленной сосны и, опершись на посох, смиренно поглядывал вокруг себя. Проталины, что рассекали во всех направлениях опушку с ноздреватыми, осевшими сумётами, парили, пригретые тёплым солнышком апрельского ясного денька. Кое-где синели бутоны первых кандыков и белели нежные лепестки подснежников на чёрной, в серых косицах прошлогодней травы и листвы, земле. Из ближнего леса доносилось весёлое теньканье синицы да мелодичное постукиванье дятла. «Обманули-таки зиму-то, теперь заживём, – радостно звучало в душе сильно сдавшего за это время старика, – слизуном, крапивкой, черемшой-

колбой да какой иной травкой подкормимся. Даст Осподь, скотинку подымем, земельку распашем, хлебушка посеем. А там, гляди, и ребята с промысла пробьются. Да будет так – во имя Отца, Сына и Святаго Духа!» – Дед приподнялся с лесины и осенил себя двуперстным крестным знамением.

– Доброго здоровьица, дедушка! – из-за распустившейся вербы, в изжёлта-серых пушистых цветах которой деловито гудели пчёлы, вышел с котомкой через плечо Северьян Акинфыч. – Ишь, какой знатный сбор хлебины у Божьих тружениц. – Монастырский сторож проводил тёплым взглядом пчёл, отлетающих от дерева и несущих на задних мохнатых лапках комочки жёлтой пыльцы. – Пяток колод в моём хозяйстве – я их ране надолбил, ишо до исхода, мы в то лето рубили скит здесь, опосля шёл проведать, прихватил полные роёвни с собой, да в колоды и ссыпал. Они возьми да и приживись! Нонче, даст Бог, медком детишек побалуем.

– Славно-то как, Северьянушка! – дед Петро погладил морщинистой ладонью изогнутую ручку посоха. – Теплынь, благодать. Девятый десяток живу на свете, а поди ж ты, всякую новую вёсну радуюсь до слезы в очах и благодарю Оспода за то, что подарил мне жизню! Всякая весна как первая! – дед Петро благостно вздохнул и смахнул набежавшую влагу с подслеповатых, выцветших от возраста голубых очей.

– Слыхал я, дедушка, – уходят ваши в Саяны? Бают, скотину выправим, хлеб обмолотим, сберём иных припасов и во второй половине лета всем скопом, мол, наладимся в путь.

– Надоть идти. Местные власти всё одно жизни не дадут. Будут выслеживать, яко медведей. А в Саянах становья наших братьев по вере. Смолоду Меркул хаживал туда. Дорогу знает. Низкий поклон тебе и матушке Варваре за приют и христианское вспоможение. Всех людей сберегли, однако дале испытывать судьбу не будем. Да оно и вас освободим от лишних тягот и забот.

– Побойся Бога, старче! Вы и детки ваши: да разве ж сие – тягость! Напротив – подобная богоугодная забота – неизъяснимая благодать и радость и монахиням, и послушницам. А уж мы с матушкой-наставницей денно и нощно благодарим Бога, что сподобил нас помочь молитвой и трудами гонимым братьям по вере. – Северьян Акинфыч двуперстно перекрестился и направил разговор в другое русло: – Мирские-то рудознатцы с вами уходят, али здесь на житьё определят себя?

– Нет. Домой просятся, скучаем, жалуются, по родным. Хучь бы одним глазком глянуть на их, говорят. Однако ежли сцапает их Чека, то и нам беды не миновать. Слыхал я – нехристи умеют выпытать, вытянуть из человека всю душу. Мы-то уйдём, а монастырь осквернить и порушить могут.

– Чтобы утишить сумятицу в ихних душах, надобно послать, как откроется путь, верного человека в город, он бы спознал всё о горняцких семьях и снёсся с имя. Тем бы и камень снял с сердец рудознатцев. А боле как!

– Да и мы об том же толковали намедни с мужиками. Так, видимо, и сладим.

– Вот ты, старче, молвил про нехристей, а я ить в 20-м, в Крыму едва ноги унёс от их, – взор Северьяна Акинфыча затуманился печальной поволокой. Он помолчал, как бы заново переживая в душе те десятилетней давности события. Дед Петро, не поторапливая сторожа, всё же с некоторым любопытством ждал, когда тот продолжит свою речь. Северьян Акинфыч наконец собрался с духом и начал: – В Гражданскую междоусобицу был я в Белой армии. Попал туда опосля фронта, с Франции, где наш корпус сполнял союзнические обязательства. Когда забурлило здесь, в России, нас, невдолге, погрузили на корабли и привезли в Крым. В штыковую я не хаживал,

годы уже были не те, служил денщиком у господина полковника Рябушинского. Опосля того, как Фрунзе пробился к нам скрозь Перекоп, белые, кто схотел да успел, отбыли опять же на кораблях союзников в Константинополь. Однако многие остались, тяжко Родину-матушку покидать, да и потом, не единожды и над позициями, и над городами летали в небе аэропланы и сорили листовками с воззваньем самого Фрунзе: бросайте, мол, ребята, винтовки, Гражданская война кончена. Пришло время вернуться к мирной жизни. Мы все, дескать, люди русские, забудем распри, пора поднимать сообща Россию из руин. Мы поверили, сложили оружие и стали ждать, когда новая, красная власть решит, что ж с нами делать. Мой полковник уплыл, я слонялся по Джанкою один-одинёшонек. И вот однажды в одно утро по всем крымским селеньям и городам были расклеены бумаги, где говорилось, что нынче же, не откладая, нужно всем бывшим воинам армии Врангеля встать на учёт по месту нахождения каждого. Люди засобирались и к назначенному часу почти все были в местах, указанных в бумагах. Офицеры без погон, корнеты и прапорщики, солдаты, казаки с лампасами подходили и подходили к воротам и скрывались внутри двора. Меня же какая-то неведомая сила всё удерживала: хочу сделать шаг на улицу из подворотни, куда, не знаю почто, забрёл, а ноги вдруг станут ватными и не идут. Прислонюсь к заплоту, охолоню, тока сберу силы идти, опять та же катавасия. Помучился я так, потолкался, да решил обойти улицу кругом, дворик-то глинобитный, сквозной. Но что за диво. В тую-то сторону ноженьки сами меня понесли. Я обежал улицу и оказался на окраине Джанкоя, со степи. Дале, куда хватало глаз, голая земля да меловые взгорья с балками и оврагами. На открытое поле я не пошёл, а незаметно выглянул из-за угла каменной изгороди. В полуверсте от меня, по направленью к балкам тянулась большая колонна моих сослуживцев под плотным конвоем чекистов в кожанках. И шла она не с улицы, а с задних дворов. Я всё понял. Люди заходили по одному во двор, их записывали и направляли к задним воротам, через кои обычно загоняют скот и подвозят сено. Там набирали колонну и строем куда-то уводили. Покуль я так раздумывал, со стороны балок послышались пулемётные очереди. Они-то окончательно привели меня в чувство. Уже в Ростове, на вокзале услыхал разговор о том, сколь подло чекисты расстреляли в Крыму сдавшихся белогвардейцев, числа назывались жуткие: до шестидесяти тысяч несчастных. Говорили, будто Фрунзе себе места не находил после этой расправы, сказывали, даже хотел пулю пустить в свой пролетарский лоб, да Ленин, мол, отговорил: твоё, дескать, участие в этом революционном возмездии мы ценим, но тока ты себя шибко-то не преувеличивай. Купились беляки на твои посулы, и получили сполна, как всякая другая контра. И не убивайся ты так, Михал Васильич, ну, наобещал с три короба, с кем не бывает. Спасибо нашему венгерскому товарищу Бела Куну и горячей комиссарше Залкинд, тьфу ты, товарищу Землячке, за революционное исполненье, а товарищу Троцкому – за его идею: собрать всё белое буржуйское отребье в одну кучу – и разом прихлопнуть. А уж ты, товарищ Михал Васильич, полечи покуль свои нервы там, на водах в Крыму, да оздоровивши, непременно возвращайся в Москву. С нетерпеньем, ждём-с.

Это ж какой изворотливый, змеиный ум надобно иметь, чтоб додуматься до подобной страсти! – горько закончил свою историю Северьян Акинфыч и поднялся с валежины. – Пойду я, дедушка Петро, а то ить работа вешняя и так уж заждалась. Прощевай, покуль, старче.

Степан Раскатов спускался пологим бережком говорливого и полноводного ручья Лукавого с удочкой в руках. В холщовой сумке у него проложенные листьями свежей крапивы лежали десятка два крупных хариуса. Клёв на мушку из крохотного подкрашенного клочка шерсти нынче был хоть куда – только успевай бросать на волны леску из светлого конского волоса, да вовремя подсекай! За утёсом, что выгибал и вдавливал русло в противоположный лесистый склон, и который нужно было обходить по щиколотку в прохладной прозрачной и быстрой воде, открывалась поскотина пригородной деревеньки в пяток изб. Здесь, в добротном доме у дальнего родственника, тоже знатного охотника, Василия Николаевича Алькова и опнулся промысловик, передал тому для сбыта в Таловскую заготконтору сорок соболиных шкурок, да два вороха беличьих. Сам показываться в город счёл опасным.

Раненько поутру уехал затравевшим просёлком на подводе родственник с наказом расспросить у надёжных земляков о минувшей осенней сумятице, а заодно на часть вырученных за шкурки денег закупить пороха, дроби, свинца на жаканы и прочей мелочи, необходимой охотнику, в том числе несколько мотков суровой нитки, дратвы, игл разного калибра. В другое время Степан все свои дела оформил бы сам. В заготконторе работали приёмщики тоже из кержаков, лишних вопросов задавать не любившие: сдал – получи, будь здоров. С этой стороны опасаться нечего, но в городе запросто встретишь знакомых, и не на всякого из них можно положиться. Кто-то уже испробовал искуса доносительства, когда за сведения щедро платят, а лёгкая деньга ох как тянет и манит к себе нетвёрдую душу! И ни к чему, однако ж, своим появлением искушать таловский народ. Степан выложил в тень под навес рядком рыбу и присел отдохнуть здесь же, на чурку для рубки дров.

Василий Николаевич вернулся к вечеру. Степан подсобил распрячь Гнедого, и они удалились до ужина на поросший шелковистой травкой-муравкой бережок потолковать.

– Больших разговоров о вашем исходе не слышно, – неспешно начал Альков. – Однако ж, Митрий Лексеич, что писарем иль как по-теперешному – делоуправителем, служит в исполкоме, сказывал: будто бы Чека готовит новый рейд в тайгу, так уж чешутся руки у них вас изловить. Ишо он наказал передать – нет у властей ни одной фамилии, ни единого имени-отчества людей, точно определённых в участии против их. Так, мол, тычут пальцем в небушко: зажиточный – значит, бунтовщик, самостоятельный – туда же. Но рейд будет не как осенний – кровавым наскоком, а будто бы с целью отыскать зачинщиков и наказать по всем ихним революционным законам, а остальных, якобы, вернуть в места бывшего, ныне пожжённого обитанья: мол, поможем со средствами и материалом отстроиться заново братьям-промысловикам. Так-то вот, милый ты мой Степанушка! Озаботилась власть и о вас! Вишь, какую заманку удумала.

Василий Николаевич с минуту помолчал, полюбовался на игру прозрачной волны, будто огранённой по изломистым гребням перламутровым жемчугом, и продолжил.

– Теперь, что касаемо Феньки Стрелка, да Никифора Курощупа с бергалишками. – По зиме наведался в Степановы охотничьи угодья Прокоп Загайнов и поведал тому, как доставлял в Талов шалую пятёрку чоновцев, и Алькову была знакома эта история. – Феньке и Кишке дали сроку по десять лет лес валить, а бергалам – по пять. Не все ить вышли из тайги, боле десятка чоновцев прибрали морозы, да дикий зверь растащил. Сначала за бессудные убийства, пожоги и разор, но боле за утопление комиссара и за то, как бросили в

тайге замерзать бойцов, назначили расстрел, но опосля заменили разными сроками. Да, одного бергала, Игната Севастьянова, слух прошёл, будто бы в Усть-Каменном на пересылке уголовники зарезали, чёй-то, мол, поперёк брякнул главарю ихнему. Вологодские срок службы дослуживают, вроде все целы.

– Известия твои, Василий Николаич, с одной стороны – обнадёживают, с другой – настораживают: а не хороводы ли какие для отвода глаз затевает с нами новая власть? Для примера, глянь вон, десяток твоих пеструшек червяков да личинок на подсохшем откосе раскапывают. А теперь, видишь, к ним приближается чужая соседская курица. Она лишь копнула лапкой разок, другой, а на третий сбежались твои, и – ну её клевать, унести бы живой ноги! Так же вот и мы – чужие для комиссаров, да окромя того – ишо и меченые для Таловских властей. Покажут вид, мол, простили вас, а в уме-то держат – до подходящего случая! Чуть чё, мы первые на очереди, посколь для их кержаки – элемент чуждый, навроде этой заклёванной куры. – Степан бросил в волны ручья подвернувшийся под руку камешек, и с чувством продолжил: – К своим вернусь, так и обскажу – идти надобно новые земли искать в горах, и как можно дале отсель! Здесь нам жизни не дадут.

Бутоны жарков-купальниц мелодично покачивались от лёгкого дуновенья июньского ветерка и навевали впечатление, что таёжный луг, взятый в белоснежно-зелёную оправу цветущих черёмух и пихт, похож не только на гигантскую оранжевую брошь, с багровыми вкраплениями роскошных пионов – марьиных корений, но и чем-то неуловимо напоминает живое, подвижное озеро, поверхность которого ярко и сочно устлана цветными перьями заката. Промысловики, что только накануне сошлись вместе у Сучьей Дыры, узкой, с бешеным водопадом базальтовой горловины главной реки этих мест Убы, цепочкой брели через луг к недалёким отрогам Тегерецкого белка. В поводу каждый из них вёл навьюченную тороками и тугими кулями с провизией и мелкими бытовыми товарами лошадь. Сами кержаки шли налегке, лишь по карабину за спиной, да по ножу в кожаных ножнах на поясе. Конями разжились у братьев – старообрядцев, что обитали в окрестных к Талову ущельях. Кто поменял на собольи шкурки, кто отсчитал советскими ассигнациями стоимость выносливой монголки.

Лайки дружно уже в который раз вспугивали косачей, что тяжело взмахивая крыльями низко взлётывали и тут же снова падали в траву, и, припадая на бок, юрко убегали в кусты, увлекая за собой азартных собак. Охотники понимающе переглядывались, поощряли весёлыми криками птиц; не было секретом, что таким необычным способом – прикинувшись раненым, косач уводит от находящегося где-то рядом гнезда с птенцами и матерью-тетёркой смертельную опасность – собак и людей. Но ни у одного настоящего промысловика никогда не поднимется рука ни на птицу, ни на зверя в пору вскармливания теми своего потомства, ни – упаси боже! – на их выводок. Таковы не только неписаные уложения таёжного бытия, а и признак твоей близости к той высшей промыслительности, которой в незапамятные века установлены земные основы и предначертания всему сущему.

На привале, что разбили у говорливого ручейка со студёной до ломоты зубов и необыкновенно вкусной водой, Степан Раскатов, когда прибрали стол и отдыхали, давая возможность подкормиться свежей таёжной травой коням, вспомнил давешних косачей.

– Сызмальства тятя брал меня с собой на вешние косачиные и глухариные тока, – начал Степан, покусывая сочный зелёный стебелёк, – Скрадём,

бывало, ночь, где-нибудь под скалой, а под утро на подсохшую проталинку рядом с нами слетаются птицы. Первыми самки садятся – и ну кружить по полянке, покуль не собьются в кучу. Причём в серёдку уталкивают молодняк, а те, чё солидней возрастом, ходют с краю, – Степан улыбнулся. – И вот на зов слетаются, выбегают из кустов, из-за скал пёстрые, ярко раскрашенные ухажеры. И начинают ходить-токовать вокруг да около сбившихся в кучу серых самок. Сколь раз мы с тятей глядели, как молоденький, в первый раз увидевший копылуху глухарь выхватывал любую старенькую самку с краю, и счастливый уводил её с поляны. Таким вот макаром прыткие да молодые разбирали опытных копылух и тетёрок, зато старым и опытным самцам, кои из-за возраста не поспевали первыми на игрища, доставались молоденькие нетоптаные самки из серёдки. Бывали и бои, но лишь между матёрыми, за самую юную и статную красавицу. А ить как разумно излажено у матушки-природы по промыслу Божьему: с одной стороны сила и молодость, с другой – опыт и ум. И никакого тебе оскудевания и истощения породы!

– Ты чё, Стёпа, агитируешь нас жениться на старухах? – Прокоп Загайнов весело посмотрел поочерёдно на всех своих товарищей. – Я как-то не готов.

– Прокоша, я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму! Придёт срок, даст Господь, ты оженишься, и чё, опосля этого каждую вёсну будешь бегать на вечёрки выбирать себе новую невесту? У нас уклад человечий, у птиц и зверя – свой. И потом, они детишек ростят сезон, а мы – долгие годы. Уразумел, бабушкин жених? – Степан дружелюбно потрепал Прокопа по плечу и закончил серьезно: – Всё, братцы, побалагурили, пора сбираться в дорогу. Душа не на месте – как там наши отзимовали? Всё ли у их ладом? Все ли в добром здравии?

– А я вот давеча подумал, – подал голос Федот Грузинов, – как бергалы, освоились ли, стерпели ли нравоученья и одёргиванья наших стариков? Они ж нетвёрды в вере, а старикам подай, чтоб всё тока по-ихнему было. Как бы не нашла коса на камень.

– Да ты чё, Федот! Есть об чём печаловаться! – И Степан охотно пояснил: – Аль ты не слыхал: ишо в осень, перед нашим уходом, троё из них приняли обряд крещения в купели. Остальные покуль временят. А ить я несу им весточку об ихних семьях. Василий Николаич по моей просьбе узнал, как они нонче живут. Так вот, у Михаила Антропова, того, чё рябой да молчун, жена померла ишо в заложниках, в остроге, а детишек по родне разобрали, их у его пятеро, мал мала меньше. Двое парнишек в Талове, у тетки, а девчушек, тех в Усть-Каменное тоже свои взяли. Остальных жёнок с детишками к зиме выпустили, вроде все живы, холода перемогли, из-за нужды бабы на шахте все ныне, кто карбитчицей в ламповой, а кто и в забое. Семьи-то тянуть надобно.

– Все хлебнули лиха от Чека, – сказал молчавший до этого Никита Лямкин. – В марте я проведал Гусляковку, она ить недалёко от моих угодий – два дня ходу по доброму чарыму. Избы пожжёны, одни печи обгорелые в сугробах торчат. Сердце так сжалось, хоть вой. Ей-богу, встреть я в тую пору проклятых чоновцев, всех бы пострелял, яко бешеных собак. Будто душу кто вынул, такая горечь взяла. Не помню, час аль два просидел на горелой лесине у родимого пепелища. Опосля, как полегчало малость, ушёл обратно. А камень на сердце по сию пору.

– Я ж сказывал, Никита, наказали будто б этих нехристей. Нынче нам думать надобно, куда идти? В начале двадцатых, как тока новая власть принялась глумиться над верой, кое-кто из наших, – я ишо мальчонкой был, но всё помню, – пробрался горами в Китай. Позже ходили слухи, што там они

не задержались, а морем уплыли аж в Южную Америку и Австралию. Однако ж, коснись меня, я ни за што из тайги да из гор не уйду – здесь всё моё, а там кому я нужон? Другое дело, на пепелище нам нет возврата, но тайга-матушка велика, завсегда укроет сынов своих.

– Верно. Правильно говоришь, Степушка. И мы – никуда от своих! Уйдём всей общиной дале в горы, и пущай Чека хоть заищется! Тока зубья гнилые себе пообломает! – с одобрением поддержали Раскатова друзья-промысловики.

Гусёнок, так прозвали старшие ребята восьмилетнего Сашку Грушакова за узкие плечи, широкий зад и походку вперевалку, копошился в береговом нечистом песке городской речушки Филиповки. Рядом с ним стряпала из мокрых комков фабричного, обильно осевшего на берегах концентрата продолговатые пирожки младшая пятилетняя сестрёнка Натка. Выше, на полянке гоняли мяч мальчишки с их улицы. Улица эта тянулась до широкой полянки – пустыря от новой обогатительной фабрики – через полгорода и называлась 10-я годовщина Октября. Одноэтажные бараки с дощатыми сараями во дворах, устланных булыжником, чтобы в дожди люди не тонули в непролазной грязи, кое-где на задворках лоскутки зелёной травки-муравки, да крапива с полынью вдоль заборов, отделяющих дворы друг от друга. Последний барак стоял торцом метрах в пяти от обрыва на пустырь, с обрыва все кому не лень сбрасывали мусор и бытовые отходы, но жильцы подъезда на торце так привыкли к этой свалке, что давно уже и не обращали никакого внимания на горы мусора. Больше того, он стал как бы частью местного пейзажа. Ребятишки находили здесь старые дырявые кастрюли, худые вёдра, отполированные до блеска кости домашних животных, куски ржавого железа, гнутые ножки и продавленные сиденья кресел и стульев, всё это стаскивалось к реке, где из подобного материала строились шалаши и целые ребячьи поселения, скрытые в тальниковых прибрежных зарослях.

Ещё неделю назад и Гусёнок играл вместе с другими и в казаков-разбойников, и в красных и белых, и самозабвенно гонял по поляне мяч, но третьего дня Вовка Антропов, по прозвищу Командир, ровесник Гусёнка и коновод их ребячьей ватаги, придрался к нему: чё ты, мол, зажилил краюху хлеба и кусок сахарину! И больно торкнул Сашку в бок. Гусёнок связываться с конопатым и упрямым Вовкой не стал, а отбежал подальше и завопил на всю поляну: «Вражий выблядок! Вражий выблядок!». Точно так, как когда-то орал, пуская слюну, пьяный папанька перед тем, как уехать в тайгу имать Вовкиного отца и других врагов народа. И пущай опосля, когда папаньку неправильно заперли в тюрьму, Сашку тоже стали обзывать такими же нехорошими словами, но маманька сказывала, что отец ваш герой революции, и его оговорили враги и пособники буржуев. Погодите, потерпите чуток, наша родная власть разберётся – папаньку освободят, да ишо и награду какую дадут! И Гусёнок каждый вечер засыпал с мечтой, что утром откроются двери тесной комнатки в бараке – куда их переселили из просторной, с высокими лепными потолками двухкомнатной квартиры в тот день, когда папаню из тайги, даже не отпустив домой ни разу, в тюрьму увели, – так вот, двери распахнутся, и весёлый отец подхватит их с Наткой и закружит по комнате. Но наступало очередное утро, и Гусёнок просыпался от одного и того же шума: мать раздражённо гремела в закутке пустыми кастрюлями и вполголоса костерила власть, что отняла у семьи кормильца. Ругань почти всегда заканчивалась жалобным и тонким плачем матери, доносившимся из-за цветастой занавески.

Тогда на полянке Вовка нагнал-таки его, хотя запыхавшийся Гусёнок уже взбежал по тропке на обрыв, минута – и он бы юркнул за дверь спасительного подъезда, но проворный Командир подставил подножку, и Сашка растянулся в пыли. Вовка подождал, пока он подымится с земли – лежачего не бьют, – и давай валтузить Гусёнка, приговаривая: «Сам вражина! А батька твой убивец!». Тётка Марфа, у которой с младшим братом Валеркой после смерти матери в тюрьме жил Вовка, с трудом оттащила его от Гусёнка и повела, вырывающегося из рук, домой. Подоспевшая Маланья успела раза два, через тётку Марфу, пнуть ногой извивающегося Вовку. В ответ Марфа с такой силой торкнула в опавшую грудь Маланью, что та выстелилась в пыли, задрав подол застиранного сарафана и обнажив молочные ляжки. Однако через секунду мать Гусёнка вскочила, и с рёвом сбив противнице на затылок платок, вцепилась той в седые растрёпанные волосы. Тётка Марфа тоже не осталась в долгу – и ну трепать Маланьины русые кудри. Сбежавшиеся на крик соседи насилу разняли распалившихся женщин.

Если сказать, что с этого случая чёрная кошка пробежала между семьями Антроповых и Грушаковых, – это не сказать ничего. Первым делом грамотная Маланья настрочила донос на тётку Марфу: вот, мол, сестра сбежавшего врага народа Мишки Антропова продолжает клепать поклёпы на нашу дорогую советскую власть. Она, дескать, и племянников малолетних воспитывает в ненависти к нашим героическим победам, особливо старшого Вовку. Этот малец агитирует контрреволюционные настроения среди ровни и героических бойцов партии обзывает убийцами. «А ишо банда малолетних бандитов, которой руководит упомянутый Вовка Антропов, нападает на сыновей и дочерей верных борцов за нашу дорогую власть и лупит их почём зря. Прошу наши справедливые карающие органы срочно принять меры и наказать по всей строгости замаскировавшихся врагов народа Марфу Антропову и ейного племянника Вовку». Написав последнее слово, Маланья на минуту задумалась, ставить ли свою подпись, но, вспомнив, чему учил её муж-сиделец, решительно обмакнула перо в чернильницу и размашисто, через всю линованную тетрадную страницу написала: Доброжелатель. После этого удовлетворённо промокнула написанное, сложила листок вчетверо и, принарядившись, отправилась в центр Талова, к управлению местного ОГПУ, где у входа на стене был прибит ящик для писем трудящихся, окрещённый злыми языками «колодой для доносов».

Дня два Маланья ходила павой, да всё поглядывала на дорогу: не едут ли разлюбезные чекисты арестовывать Марфу и ейного змеёныша-племяша? Из боязни, что пропустят этот торжественный момент, не пускала в эти дни играть на поляну и своих ребятишек. А сегодня с самого, что ни на есть раннего утра праздничное настроение куда-то улетучилось, видимо, перегорела бабёнка ожиданием, вот она и выгнала Сашку с Наткой на пустырь: ступайте, мол, с глаз моих, чегой-то голова разболелась, не до вас теперя. Сашка, смотри мне, гляди за сестрой в оба! Выпроводив детей, сама прошла в комнатку и в чём была, не сняв засаленного фартука, плюхнулась на кровать с никелированными шарами по углам. Там и пролежала без движения до полудня. Такое с ней случалось и при Никифоре, видя это, муж лишь цедил раздельно и презрительно: «Ма-ла-нья ма-ла-холь-на-я», снимал с вешалки кожанку и уходил на всю ночь либо к Ширяеву глушить спирт, либо в «весёлый барак» на соседнюю улицу. Там разбитные зазнобушки завсегда и напоят, и накормят, да и согреют так жарко, что коленки и на другой день всё ишо дрожат от сладкого напряженья!

Спустя неделю барак посетил пожилой милиционер, равнодушно поспрашивал соседей, выяснил суть скандала, поговорил по отдельности с тёткой Марфой и Маланьей, что-то почиркал в планшетке и, наказав впредь не скандалить, ушёл. После этого случая в жизни барака ничего как будто не изменилось, если не брать во внимание то, что теперь по утрам Маланья гремела посудой уже на весь коридор, потому что перед этим как бы ненароком всегда приоткрывала дверь, да чаще стали замечать соседи её пьяненькой. Тогда она бывала и с детьми ласковой, со слезами на глазах обнимала Натку и Сашку, гладила их льняные волосы, называла «моими сиротинушками», угощала припрятанными карамельками. Однако, протрезвев, она с ещё большим остервенением гремела посудой, ожесточённей и больней раздавала детям подзатыльники и затрещины, а потом наталкивала в тряпичную сумку кое-какие мужнины вещи, волокла их на базар, продавала и, хлебнув в зелёной палатке винца, повеселевшая возвращалась домой.

Никифор, прижимая к груди правой рукой серую кепку заключённого, левую вытягивал по шву, а слезящимися глазками подобострастно поедал мешковатую фигуру бригадира из блатных.

– Слухай сюды, Стручок. Пошамань у недобитой контры заначки, да сковырни до меня, тока тихо сольёшь, шоб на тебя не удумали. Ты, я чую, землю роешь, шоб клеймо своё закопать. Сделаешь мне – вытащу я. Век воли не видать! На вот – хлебушка пожуй. Отощал, яко церковная крыса. Да не давись ты! Всё твоё! Тьфу, ты, слизь!

– Всё сполню, я уж кумекаю, как, – с полным ртом, боясь, что бригадир не дослушав уйдёт, тараторил Кишка Грушаков. – Я при их – молчок, прикидываюсь дурнем. Ежли чё и брякну, то невпопад. Они уж и жалеют меня: отшибли, мол, ум на допросах. Кто табачком угостит, кто хлебца, навроде, как ты, сунет. – Поняв, что ляпнул лишнее, Кишка осёкся и замолк, не зная, как выправить положение.

– Ты, паря, катаешь в свою игру – катай дальше, да вот тока шибко-то не заигрывайся, – Афанасий Беркутов, так звали бригадира, и погоняло имел соответственное –Беркут, грозно посмотрел сверху вниз на съёжившегося бывшего чоновца и криво ухмыльнулся: – А то, гляди, – не пришлось бы заместо хлебца в другой раз собственным дерьмом давиться! Покеда ступай, но разговор наш помни!

И бригадир грузно направился к вахте за нарядом на завтрашние работы. Кишка Курощуп бросил быстрый взгляд по сторонам, видел ли кто его с Беркутом, и облегчённо вздохнул: лагерный плац был по-прежнему безлюден, значит, товарищи по неволе всё ишо толкутся в пищеблоке за пайкой. Надоть поспевать! Кишка натянул на лоб кепку и заспешил туда.

Зона, куда Грушаков попал на исправление, – это отвоёванный у непроходимой тайги пятачок земли на обрывистом берегу полноводной Томи, обнесённый высоким забором с колючей проволокой кольцами по верху и вышками по углам. Деляны в полутора верстах. Раскряжёванный лес подвозили конями до нижнего склада на яру, а уж оттуда сталкивали в воду. Река подхватывала брёвна и несла на своих волнах прямёхонько в запань, где их на рейде – дощатых мостках на воде – разбирали, сортировали, стягивали в пучки. Ниже рейда тоже заключённые, но самые крепкие и смелые, поскольку участок наиболее непредсказуем, вязали плоты. Люди здесь гибли чаще, зато начальство давало двойную пайку, и смена засчитывалась как полторы. Здесь работали социально близкие, то есть мотающие срок по бытовым стать-

ям, и блатари. Правда, бывали исключения и для врагов народа. К примеру, кто-то из нераскаявшихся меньшевиков, троцкистов или бывших офицеров не глянулся куму, либо приближённым из его свиты, то – пожалуйте сударь на вязку плотов! Две-три, от силы пяток смен – и социально опасный и чуждый элемент проваливался между зыбких брёвен кормить сомов и налимов.

Как говаривали, посмеиваясь, бывалые вертухаи: был человечек, да сплыл, и все концы в воду. А вода в студёной сибирской реке – ох, и темна, ох, да глубока, стоят в ней колом, комлями ко дну, топляки, да цепляются за них мертвяки с открытыми, изумлёнными глазами. И высасывает это предсмертное изумление наскакивающая с волны всякая рыбная мелочь. Сомы и налимы – эти присасываются основательно, надкусив прежде вместе с одёжной материей и стылую вкусную плоть.

Однако Кишка Грушаков избежал работы на реке. Десятник из блатных, узнав, что городок, откуда этапом привезли бывшего чоновца, располагается тоже среди тайги, и определил его в лес, на раскряжёвку поваленных корабельных сосен и могучих елей. Если на реке и в зоне от гнуса, с его зудящими укусами, спасал ветер, что сбивал насекомых в воду и сносил в чащобы, то в тайге от него не уберегали даже и дымящие сырой листвой и хвоей, специально разведённые против мошкары костры. Заключённые вечером брели в колонне с опухшими лицами, расцарапанными руками, изъеденными гнусом худыми шеями и костлявыми спинами, усталые и злые. Казалось, что они готовы порвать на куски каждого, кто хоть словцо молвит им поперёк, но это только казалось. Потому как при всей своей озлобленности зеки знали, что пикни кто из них, дёрнись из колонны, – пуля конвоира враз усмирит! Те ведь тоже весь день кормили гнуса, и их злость и раздражение завсегда подкреплены девятью граммами в стволе карабина. Больше того, для большинства из охранников – такова селекция, отбор в органы – зеки вроде того же гнуса: прихлопнул, размазал по плацу, догнал пулей, глядишь – и полегчало! Начальство ещё и благодарность объявит за это, а бдительность твоя и рвение станут залогом твоего карьерного роста.

Фрол и Тимофей тянули свой срок в соседнем отряде, однако Кишка знаться с ними перестал ещё перед этапом. Энти прикормленные им зазря бергальские собаки всю вину наперебой сваливали на него, Никифора, да Аграфену. Мы, дескать, люди подневольные, энто нас всё командиры с комиссаром стращали: не будете сполнять нашинских приказов, положим рядышком с кержаками на один горельник! Тьфу, ты! Прям агнцы на закланье! Будто и не они бегали с факелами прытче других! И не они ли хмельными сильничали старух на посельях! Оря при энтом – дескать, пожар всё спишет! Ну ничё, наш суд революционный не пошёл у их на поводу, как надоть, разобрался! Пущай ноне гнуса покормят, а я покуль покумекаю – как их аккуратней прибрать. Соображениями своими Никифор Грушаков ни с кем не делился, но планы мщенья потихоньку осуществлял. Сейчас бы ему тока найти чего-нибудь у контриков, он бы враз слепил из их организацию вражеских элементов, а Тимоху и Фрола сделал бы самыми што ни на есть активными членами. Вот бы тогда поплясали сучьи дети на раскаленной сковородке у чертей. А я бы поглядел, ох, полюбовался бы вашими корчами, выродки иудины!

Июльский ливень тёплой, спасительной от гнуса стеной обрушился на выбранную до трети деляну. Вначале он лишь весело вспузырил мелкие волны таёжного каменистого ручья на дне покатого лога, что делил участок

надвое. Но уже минут через пять ручей неузнаваемо взбух и превратился в бешеный поток, ежесекундно пополняемый мутными ручейками, сбегающими по исковерканным заготовками склонам. Охранники укрылись в шалаши по периметру и оттуда снисходительно посматривали на радостно пляшущих под дождём, тянущих худые руки к косматому, тёмно-лиловому небу, зеков. Тугие, освежающие струи смывали у заключённых с лиц пыль, смягчали и обезболивали коросты и ссадины, размачивали на робах засохший пот и грязь, давали подневольным людям передышку в работе.

Спустя некоторое время деляна стихла и опустела. Заключённые попрятались под пологом не вырубленных елей и сосен. На краю участка, метрах в пятнадцати от нетронутого на скалистом утёсе кедрача, под елью, толстые лапы которой начинались чуть выше головы, нашёл себе укрытие Сергей Владимирович Кузнецов, инженер-путеец из Омска, осуждённый за контрреволюционную деятельность и саботаж. Как-то на перекуре он вслух неосторожно прочитал коллегам по депо письмо от брата из деревни, где тот учительствовал после окончания педагогического института. Брат писал о том, как раскулачивали и увозили неизвестно куда справных хозяев с малыми детишками, и о том, что уже проглядываются первые признаки будущего голода: у крестьян – единоличников выгребают из амбаров и закромов всё зерно, а впереди зима.

Получилось так, что и самому Сергею Владимировичу по доносу одного из бдительных коллег-инженеров пришлось зимовать и в голоде, и в холоде предварительного заключения, а позже, и ожидая этапа. Весной, как вскрылась Томь, их этап на барже, оборудованной в плавучую тюрьму, привезли сюда, в эту сумеречную тайгу в западно-саянских отрогах.

Понятно, что ель не пихта, мягкие хвойные ветки которой не пропускают ни единой капли, и поэтому опытные таёжники именно под пихтовым шатром, где в любую непогоду сухо, ладят в палой хвое свои потаённые укромины, однако и эта ель с густым игольчатым сводом над головой послужила Кузнецову добрым зонтом от ливня. Сергей Владимирович был человеком сдержанным и мужественным: как ни обрабатывали его на допросах ушлые следователи, чтобы он назвал имена сообщников, даже, облегчая ему признания, подсовывали фамилии тех, кому он читал то злополучное письмо, но Кузнецов ни одной бумаги не подписал, никого не оклеветал. Письмо он успел сжечь, и хотя прямых улик на брата не было, но всё равно Николай Владимирович, узнав, что старший брат арестован, уехал из омской деревеньки, а куда, не сказал никому.

Бить Кузнецова на допросах почему-то не били, но морили жаждой, давая есть лишь хвосты и сплющенные ржавые головы вонючей селедки с коркой черствого хлеба, либо не позволяли по трое суток спать. Как правило, через восемь часов следователи сменяли друг друга, садились за стол, что-то писали в тетрадях, изредка бросая на стоящего перед ними Кузнецова острый изучающий взгляд. А Сергей Владимирович молча и отрешённо стоял в глубине камеры под яркой лампочкой день и ночь, пока распухшие, давно ставшие чугунными столбами ноги не подкашивались, фигура во френче, сидевшая напротив, не расплывалась, и он не проваливался в обморок, стукнувшись бледным, в испарине, лбом о гладкий бетонный пол. Тогда дюжие молодцы из конвоиров волоком тащили его в холодный карцер и там бросали на мокрый пол. Едва Кузнецов приходил в себя, его опять вели в допросную, где следователь говорил всегда одно и то же: «Ну что, контра, дозрел?». И опять начиналось томительное стояние под лампой.

Сергей Владимирович глубоко вздохнул, прогоняя из памяти эти некстати нахлынувшие картины из недавних следственных дней, и стал рассеянно смотреть на отвесно падающие с небес искрящиеся струи. Золотистый оттенок дождь принял оттого, что западный край неба расчистился, и выглянувший наполовину магниевый диск солнца весело высыпал на мокрую тайгу целое лукошко ярких косых лучей. Они переплелись с водяной пылью и распустили прямо над умытой деляной разноцветную яркую радугу. Скоро и дождь иссяк. Бригадир и десятник, матерясь и покрикивая, выгнали заключённых на прерванную ливнем валку и раскряжёвку леса.

– Инженер, слухай сюды, ступай вон к той сосне, – Беркут махнул в направлении поваленной на другом берегу ручья лесине своей огромной лапой в тёмно-зелёных наколках, самая выразительная из которых на тыльной стороне ладони изображала заходящее солнце, на толстых лучах которого красовалось уважаемое в зековской среде слово «Север». – Шоб нынче до вечера раскряжевал её.

– Гражданин бригадир, это ж невозможно одному-то! – Кузнецов, ища поддержки, оглядел толпящихся рядом зеков, но все угрюмо отводили глаза.

– Будя брехать! Не сладишь – пайки лишу. Время пошло.

Сергей Владимирович взял топор с удлинённым черенком и побрёл на другую сторону вернувшегося в прежнее русло и обмелевшего ручья. С десяток метров он прошел вдоль подмытого недавним ливнем этого берега, поскольку та сторона более крута и обрывиста, и надо было выбрать место, с которого проще вскарабкаться на деляну. Сергей Владимирович уже было поставил правую ногу на подсохший плоский валун в метре от затравевшего зыбкого откоса, чтобы начать переход по камням через ручей, как боковым зрением поймал что-то блеснувшее в песчаной отмели. Кузнецов пригляделся и не поверил своим глазам: это был золотой самородок, размером с детский кулачок. Он лежал себе и тускло поблескивал на песчаной подушке в шаге от берега. Подходи да бери! Что и сделал в ту же минуту весьма проворно Сергей Владимирович, и лишь спрятав находку в карман робы, он осмотрелся вокруг, вроде бы никого рядом, кто бы мог увидеть, однако в пятнадцати метрах, откуда только что пришёл и он сам, маячила тощая фигурка Кишки Курощупа с топором на плече. По всему было видно, что Кишка двигался в его, кузнецовскую, сторону.

– Опнись, Инженер! Меня дождись! – запыхавшийся Кишка уже был в двух шагах. – Ну и лось ты, однако ж. Едва поспел догнать тебя. Бригадир послал меня в подмогу. А ты пошто такой напуганный, аль не рад?

– Да нет, рад я, Никифор, рад. Теперь-то вдвоём точно управимся. Ну что, пошли.

– Ишь, берега-то как подъело! И ручеёк-то махонький – сопля в тайге, а гляди-ка, тоже к бунту способен. Кумекаешь, Инженер!

– Не пойму я, о чём ты, Никифор?

– Дык, я к тому, што от кого и не ждёшь сроду, а вылезет такое – хучь к стенке ставь, не ошибёшься!

– Тебе виднее, ты же, кажется, из органов. Имеешь опыт, а я рядовой инженер-путеец, отбывающий здесь в тайге справедливое наказание за то, что оступился.

– Да уж поди, сам-то ты в душе отродясь себя виновным не считаешь? А мне так, для виду, отбрехиваешься.

– Хватит болтать языком. Идём, Никифор, сучки рубить.

Подойдя к поваленной сосне, Кишка по-хозяйски направился к верши-

не, где ветки тоньше и, следовательно, очищать ствол намного легче, чем у комля, где толщина бронзовых сучьев с кулак. Сергей Владимирович покачал стриженой головой, усмехнулся и, поплевав на мозоли, принялся обрубать нижние толстые ветки.

Что делать с оттягивающим карман самородком? Пронести незаметно в лагерь – рискованно: найдут у вахты при шмоне, и если сразу не прибьют, то уж срок-то добавят такой, что небо с овчинку покажется. Хотя оно и сейчас-то немногим больше. Спрятать на время, закопав где-нибудь на деляне, тоже слабый вариант. Где гарантия, что завтра тебя не перебросят на другие работы, и ты больше в жизни не попадёшь на этот участок. Рассказать о находке лагерным паханам, с прицелом, что за это приблизят к себе и облегчат твоё каторжное существование, либо отнести начальнику зоны с надеждой на его ходатайство по снижению твоего срока – эти мысли по касательной пронеслись в сознанье Кузнецова, но, не успев толком даже оформиться, были тут же решительно отвергнуты. За то недолгое время, что он пребывал здесь, Сергей Владимирович достаточно хорошо понял, куда он попал, и среди каких нелюдей теперь предстояло существовать и выживать. Не только лишнее слово, но иногда и просто неосторожный косой взгляд стоили здесь кому-то жизни. Уж не выбросить ли украдкой этот кусок жёлтого металла обратно в ручей, подальше от греха? Но тут же Сергей Владимирович почти физически ощутил тепло самородка, льющееся волнами под рёбра сквозь грубую подсохшую ткань робы. Будто благородный металл понимал смятение души узника и успокаивал того: не переживай, всё уладится, всё будет хорошо, со мной не пропадёшь.

Что-то подсказывало Кузнецову, пусть даже он и не был специалистом в геологии, что найденный им самородок в таёжном ручье не был одиноким и случайным. Вполне возможно, что где-то рядом существует золотая жила, о размерах которой можно лишь догадываться, но, если брать во внимание величину самородка, так счастливо вымытого из недр ливневым потоком, то размеры эти немалые. А что если всё-таки попытаться каким-то образом выйти на начальника лагеря, и с глазу на глаз изложить ему свои соображения и догадки? Должно же хоть что-то человеческое в нём остаться? И потом, обыденная валка леса и добыча золота несопоставимы по той пользе и выгоде, которую несёт государству последняя. «Очнись, Серёжа! – мысленно одёрнул себя Кузнецов. – Какому это ты государству мечтаешь сделать такой щедрый подарок?». Тому, что, отправило тебя за чтение правдивых строк на пять лет каторги? Или тому, в котором твой младший брат вынужден неизвестно где скрываться от безжалостных ищеек в кожанках, и никто не скажет определённо: жив ли Коля сегодня или погиб в застенках? Стоп! Опять двадцать пять! Не надо путать государство и власть с Отечеством. Власть на твоей памяти сменилась. Тогда же историческую Россию исковеркали в СССР. Началась перековка, как любят выражаться замполиты, старых элементов в новых людей. Однако пресловутая эта перековка происходит не где-то на Луне или, ближе, к примеру, в той же Англии, а здесь, у нас, на русской земле, среди наших погостов, где покоится несчитанное число поколений родных, отчих нам людей. И кстати, ещё бабушка надвое сказала, чем эта широко распропагандированная перековка закончится: появлением ли новоиспечённого гомо сапиенс без роду и племени, или же полным воскрешением устоявшего, закалённого выпавшими на его долю неслыханными испытаниями русского человека, за спиной которого великая история и великая же традиция. На благо именно таких вот русских лю-

дей и должно пойти то золото, что таится в недрах этой сибирской суровой тайги. Так всё же, что делать с этой нечаянной находкой? – стучало молоточками в тронутых сединой висках Сергея Владимировича, когда он обрубал последний сосновый сук в двух шагах от закончившего работу и отдыхающего на оголённом стволе Кишки Курощупа.

– Слухай, Инженер, – подражая бригадиру, обратился к Кузнецову Кишка. – Я тут кумекал над твоими словами и в корне не согласен. Какая такая справедливость, ежли ты, учёный человек, валишь в энтой глухомани лес заместо того, штоб ладить свои паровозы для нашей любимой республики! Тебя оговорили – энто и к попу не ходи. Вот ты грамотный, а пошто жалобы не пишешь наверх? Я б тебе с бумагой, аль чернилами там, пособил. А ты б за энто мне поспособствовал составить письмецо в губернское ОГПУ. Есть у меня верные люди, они б и передали прямо в руки кому положено.

– Устал я, Никифор, голова плохо соображает. – Кузнецов чувствовал какой-то неясный пока подвох, скрытую угрозу в предложении Грушакова и поэтому решил разговора не поддерживать. – Бери топор, да пошли к бригадиру. Темнеет уже.

– Нет, ты мне скажи, чё я не так кумекаю? – Кишка всё больше распалялся. – Я ить, может, всёй душой хочу тебе помочь, вот он я – весь на ладони! Дак и ты, дурья твоя башка, подь навстречь! Сказывают жеть: вместях и батьку колотить сподручней! Так, чё ж, я к завтрему бумагу-то подношу?

– Ни в коем случае. Мой приговор, как я уже говорил, вполне справедлив, – Сергей Владимирович помолчал, посмотрел долгим внимательным взглядом прямо в бегающие глазки Кишки и закончил: – Я свою вину осознал, раскаялся и встал на твёрдый путь исправления. Так что разговор наш я считаю законченным. Ты, Никифор, как хочешь, а я иду.

И Кузнецов, положив рукоять топора на худое плечо, начал осторожно спускаться к ручью. Кишка, что-то бормоча себе под нос, ещё с минуту потоптался около лесины, громко и смачно матюгнулся, сплюнул под ноги и, подхватив с земли топор, заспешил следом за Кузнецовым.

Через вахту Сергей Владимирович пронёс самородок в кальсонах, в паху. Походка получилась стариковская, шаркающая, но это и не привлекало ничьего внимания: в их вымотанной за день колонне вряд ли кто вообще мог сейчас пройти строевым шагом и под угрозой пули. Настолько заключённые, возвращающиеся в лагерь, были изнурёны. Помог Кузнецову и тот факт, что на входе конвойные не слишком пристально досматривали при тусклом свете фонарей припозднившуюся смену, так, пересчитали по головам и отправили в пищеблок хлебать остывшую баланду.

Где в бараке схоронить свою находку, Кузнецов знал заранее: под его нарами, ближе к стене, на спиле половой доски находился большой и неприметный сучок; Сергей Владимирович как знал, когда однажды, дежуря по опустевшему бараку – все ушли на работы, а напарник отлучился во двор, – взял, да и с усилием поддавил его. Тот не сразу, но подался. Кузнецов аккуратно вывернул сучок и положил рядом на пол. В образовавшуюся дыру с трудом, но можно было просунуть пальцы щепотью. Полое пространство до суглинка в этом месте составляло примерно сантиметров пять-семь. Кузнецов ощупал изнутри всё, куда мог достать пальцами, там было пусто, значит, как тайник эту нишу никто из его предшественников не использовал, после этого инженер также аккуратно вернул всё на место и потёр ладонью по доске, чтобы сделать опять неприметным свежий узор потревоженного сучка.

Не последним преимуществом этого маленького тайника было и то, что

до него легко можно дотянуться правой рукой, лёжа на нарах на животе, что и проделал Кузнецов этой же ночью, как только угомонился и дружно захрапел в сто глоток их барак. Поместив самородок в оправу сыпучего суглинка и заткнув тайник сучком, Сергей Владимирович как-то разом успокоился, напряжение последних часов спало, он устало взбил тощую ватную подушку, перевернулся на спину и мгновенно провалился в глубокий сон. Осмотрительный инженер не мог и предполагать, что за всеми его действиями зорко наблюдает со своих нар – они третьи в ряду через коридорный проход – Кишка Курощуп.

Как только погасили керосиновые лампы, и барак погрузился в сумрак, слегка подсвеченный струящимся из окон лунным светом, Кишка ящерицей неслышно переполз на край постели и оттуда стал напряженно вглядываться в сторону нар своего дневного напарника. Ещё в лесу он заподозрил что-то неладное, происходящее с Инженером: как тот испугался его, Никифора, появления, как отбрехивался от разговора по душам, как шаркал, ровно столетняя бабка, когда возвращались в лагерь. Чекистское чутьё подсказывало Кишке, что в необычном поведении Кузнецова кроется какая-то тайна. И тайну эту необходимо во что бы то ни стало разгадать. Инстинкт ищейки лишил Кишку не только сна и усталости, но и каким-то немыслимым образом сделал так, что глаза перестали слезиться, а зрение обострилось настолько, что Кишка стал в темноте отчётливо различать очертания всех предметов, находящихся в бараке. Поэтому-то сейчас, когда к всеобщему смачному храпу прибавился ещё один, с кузнецовских нар, душа чоновца окончательно воскрылилась: по утрецу, сразу с подъёма, он выберет момент и шепнёт Беркуту о тайнике и попросит, чтоб тот достал чистый лист бумаги и чернил. «На што энто, про то бригадиру знатьё ни к чему, – мечтал, уже засыпая, Кишка. – А вот некоторы завоють, яко волки в мороз, как я их выведу на чисту воду! Всяки инженеры-задаваки, да друганы продажны! Али я вам не чекист – Никифор Грушаков!».

Вечером следующего дня усталый Сергей Владимирович, войдя в барак, как всегда направился к своим нарам. При неверном свете керосинок он присел на заправленное суконное одеяло и хотел уж прислониться к изголовью, когда рука наткнулась на какой-то посторонний предмет, лежащий у подушки. Кузнецов ощупал его и похолодел: это была та самая пробка из пола. Кто нашёл тайник? И чего теперь ожидать? Только и успел подумать Кузнецов, как проход меж нарами заслонила массивная фигура Беркута. Вот он уже по-барски развалился на нарах и жестом пригласил привставшего Кузнецова сесть рядом.

– Слухай сюды, Инженер! – грубовато, но с покровительственными нотками в голосе по-свойски начал мордастый бригадир. – Рыжьё твоё мы изъяли. Нехорошо скрывать золото от товарищей. Ну, да ладно. Стручок молодец, он всё узырил. Ты кажешь место у ключа, где копнул, – беру в долю. Идёшь в отказ – и я не поставлю за жизню твою и рюмки чифиря. Век воли не видать!

Однако Сергей Владимирович в ответ даже и рта не раскрыл, как в барак ворвались вооружённые охранники и, шаря по нарам и углам яркими лучами мощных ручных фонарей, начали выискивать кого-то в барачных сумерках.

– Опосля шмона добалакаем, – бросил Беркут Кузнецову и побежал навстречу охранникам, зычно покрикивая на две стороны: – Вставай, сволота! Выходь в колидор! Не таись! Не таися!

– Не реви, бригадир! – резко оборвал Беркута выступивший вперед охранников начальник лагерного особого отдела оперуполномоченный ОГПУ Мурзин. – Веди-ка лучше к месту заключённого врага народа Кузнецова.

– Вот он – вражий выблядок, гражданин начальник! Выходь сюды немедля, гнида недобитая!

– Охрана! Взять его и – в карцер!

– Гражданин начальник! Какие будут дальнейшие распоряженья?

– Ты почему, осёл уголовный, бдительность теряешь?! – Мурзин потряс перед растерянной мордой Беркута исписанными листками ученической бумаги. – Под носом контриков развёл! На плотах сгною!

– Виноват, гражданин начальник, всё сполню, чё прикажете! – монотонно бубнил Беркут, пожирая глазами хорошо освещённые лучами фонарей злополучные листки в руке Мурзина. Бригадир не сразу, но узнал в них вырванные им же утром из тетради для учёта страницы в клетку. То-то весь день на делянке хмырь энтот чоновский маялся животом, и всё ховался по кустам. Мы-то его жалели, а он строчил да попёрдывал! Ай да Стручок! Ай да Кишка! Подвёл, сучонок, под монастырь! Ну, погоди, чоновец сраный, пожрёшь ты дерьмеца свово! Ох, и накормлю досыта! Век мне воли не видать!

– Ну, докладывай, какая надобность возникла у тебя, товарищ Мурзин, что ты явился в такую рань? – начальник лагеря Трофим Петрович Кулаков уставил свои карие, с бесинкой, глаза на вытянувшегося в струнку у дверей оперуполномоченного ОГПУ – Кулаков в гражданскую командовал пехотным полком, любил порядок и особо ценил армейскую выправку. – Никак подготовку к побегу раскрыл? Я знаю, ты, Равиль Салимович, человек серьёзный и по пустякам начальство тревожить не станешь.

– Вы правы, товарищ полковник внутренней службы, дело у меня важное и архисрочное. Вчера вечером по доносу одного встающего на путь исправления врага народа мы обезглавили верхушку глубоко законспирированной внутри нашего лагеря контрреволюционной организации, проведя аресты в двух отрядах наиболее активных участников. При допросе осуждённого врага народа Кузнецова, тот неожиданно указал на бригадира Беркутова, показав, что последний якобы изъял из тайника Кузнецова золотой самородок. Под нашим давлением уголовник Беркутов вынужден был вернуть нам золото. В настоящий момент Беркутов, до окончательного выяснения его причастности к этому делу, помещён в карцер. Вот этот самый самородок. – Мурзин прошёл к массивному столу и осторожно положил на зелёное сукно жёлтый камень, живо напоминающий своими очертаньями сжатый детский кулачок.

– И как это прикажете понимать! – Кулаков от изумления даже несколько растерялся и привстал из-за стола, но тут же быстро взял себя в руки и приказал: – Доложите о происхождении и появлении во вверенном мне лагере этого золота. Выяснили – кто, когда и откуда пронёс его на территорию?

– Так точно, товарищ полковник внутренней службы. Пронёс его на территорию лагеря осуждённый враг народа и один из организаторов раскрытого заговора Кузнецов. Вот его личное дело. – Мурзин вытащил из планшетки и передал Кулакову картонную папку. – Осужденный Кузнецов утверждает, что случайно нашёл золото в ручье на деляне. Однако у меня другое мнение: это золото – часть плана по подготовке вооружённого мятежа в лагере. Скорее всего, на него заговорщики надеялись купить оружие и боеприпасы. Где и как – это мы обязательно выясним. Сейчас с арестованными

проводятся интенсивные допросы и, я полагаю, не позднее, чем к вечеру, все они дадут признательные показания, укажут следователям места, где спрятано остальное золото, и назовут имена и фамилии сообщников.

– Понятно. Кузнецов жив?

– Так точно. Перед тем, как идти к вам на доклад, я распорядился, чтобы его допрос приостановили и во избежание непредвиденных обстоятельств поместили в одиночный карцер.

– Чтобы через пятнадцать минут Кузнецов был у меня в кабинете! Выполнять приказ!

Едва за оперуполномоченным закрылась дверь, Кулаков вышел из-за стола и принялся энергично вышагивать по периметру кабинета – таким манером он пытался привести в порядок наскакивающие друг на друга мысли. А что если вдруг?.. Да не может быть! Тьфу ты, чёрт, да это ж такие перспективы! Так, посмотрим на карту! Начальник лагеря направился к тыльной, в глуби кабинета стене, на которой висела цветная карта Томской области, отыскал глазами рядом с голубой жилкой реки знакомый кружок, обведённый по тому месту, где у предгорного, раскрашенного коричневыми волнистыми линиями ландшафта находились его угодья. Ткнул в эту точку указательный палец и провёл им до ближайшего крупного населённого пункта сначала строго по руслу Томи, а потом напрямую через зелёный массив, означающий непроходимую, со светлыми штрихами болотистой местности, тайгу. Через массив получалось более чем в два раза короче. Вот и хорошо. Дорогу, – надо крепко похлопотать, чтобы железную! – пусть и в одну колею, пробьют, искупая трудом все свои злодеяния, враги народа, да и блатарей можно прижать, необходимо только отделить блатных от врагов, чтоб никто не отлынивал от работ, усилить охрану и ужесточить дисциплину.

Начальник лагеря азартно потёр ладони, и жадно втянув ноздрями воздух, принялся вновь мерить широкими шагами свой кабинет. Несколько успокоившись, он вернулся к столу, раскрыл папку и бегло пробежал глазами по серым страницам личного дела Кузнецова.

– Разрешите войти, товарищ полковник внутренней службы? – на пороге стоял Мурзин.

– Проходи, проходи. И где же твой золотоискатель? – изменив всегдашней выдержке, нетерпеливо бросил входящему в кабинет оперуполномоченному Кулаков.

– Войтович, ввести заключённого! Всё, ступай, свободен!

Сергей Владимирович спокойно встретил и выдержал взгляд начальника лагеря. Кузнецова покачивало, подкашивались ноги, ныли отбитые рёбра и вывернутые кисти рук. Кровоточила, несмотря на то, что её в последнюю минуту, перед тем как привести Кузнецова сюда, наспех обработали перекисью водорода, глубокая рана на виске, полученная вчера, когда его больно приложили прикладом меж лопаток, и он, споткнувшись о порог карцера, так ударился в темноте о листвяжную стену, что искры посыпались из глаз, и на какое-то время Сергей Владимирович даже потерял сознанье.

– Что у вас на лбу? – Кулаков ещё раз пристально посмотрел на Кузнецова. – Вас били?

– Нет. Это я запнулся в темноте и ушибся о стену.

– Да-да, бывает. Впредь будьте осмотрительней. Но перейдём к делу. Изложите правдиво и подробно, где и при каких обстоятельствах вы нашли самородок.

Кузнецов повторил почти слово в слово всё то, что на протяжении полусуток говорил следователям. К концу рассказа инженер осмелел и, набрав полные лёгкие воздуха, решительно добавил, что по его соображениям и догадкам самородок этот лишь крохотная часть золотой жилы. И если судить по размерам найденного драгметалла, то жила должна быть богата по содержанию в ней золота. Начальник лагеря выслушал внимательно, ни разу не перебив и не задав ни одного вопроса. Когда же Кузнецов умолк, он пронзительно глянул на него и спросил:

– Вы, насколько я понял из вашего личного дела, – опытный инженер-путеец? Приходилось ли когда заниматься прокладкой новых путей, или ваша специализация – только ремонт паровозов?

– Имею трёхлетний опыт работы строительства Турксиба, – после секундного замешательства от столь неожиданного вопроса ответил Кузнецов.

– Очень кстати, – начальник лагеря энергично потёр свою бычью шею, ещё раз пролистнул несколько страниц Кузнецовского досье, на минуту задумался и тут же скомандовал оперуполномоченному:

– Распорядись насчёт подвод и охраны. Надо погрузить дополнительно ломы, кайлы и лопаты для рытья шурфов. Через полчаса выезжаем на деляну. И пусть фельдшер остановит, наконец, кровотечение на виске и ещё раз тщательно осмотрит заключённого. Да, и прикажи покормить Кузнецова из офицерского довольствия.

Мурзин от недоумения едва не развёл руками и не поймал ртом пролетающую мимо муху, но быстро взял себя в руки, отчеканил: «Есть!» и, пропустив вперёд Кузнецова, покинул кабинет.

На третий день рытья шурфов на берегах ручья по обе стороны возвышались насыпи суглинка, разноцветной гальки, песка и зияли продолговатые тёмные траншеи. Дно ручья было тоже тщательно просеяно в поисках новых самородков. Было найдено шесть величиной с ноготок. Вверх по ручью, на глубине четырёх метров, в земле наткнулись на расползающиеся под уклоном, утолщающиеся книзу твёрдые рудные хвосты. Отыскались-таки в лагере и чалдоны, знавшие как добыть кустарным способом из тускло-коричневой золотоносной руды, – а это была именно она, – драгоценные граммы благородного металла. Раздробив до песка в ступе эту самую руду, опускали песок в азотную кислоту, она всё, кроме золота, растворяла. После этого жёлтые крупинки аккуратно изымали из кислоты. Получалась почти высшая проба. Первые опыты обнадёживали. Вскоре пароходом подоспели и специалисты из Томска. Понаехало начальство. А спустя недолгое время подтянулась и спецтехника. Лагерь оживился, и хотя работы по валке леса не прекратились, однако прежний напор ослаб. Видно было, что всё перестраивается под прииск. Валка леса сейчас велась, в основном, в том направлении, которое однажды наметил начальник лагеря своим указательным пальцем на цветной карте.

Сергей Владимирович теперь руководил прокладкой железной дороги на Большую землю, с геодезистами из числа зеков и вольнонаёмных, которые прибывали сюда почти с каждым рейсом по реке, он нащупывал и размечал направление будущего пути. Кузнецов, хоть и оставался по-прежнему заключённым, но был отныне расконвоированным, мог свободно передвигаться не только по лагерю, но с уведомления начальства даже и покидать пределы, очерченные колючей проволокой. Дело, на котором оперуполномоченный Мурзин думал нажить себе дополнительный вес как борец с кон-

трой, начальник лагеря решительно прикрыл, не найдя там состава преступления, всех подозреваемых вернули в бараки, а вот Кишку Курощупа за оговор солагерников отправили на перевоспитание на вязку плотов, где он вскоре и утоп, оступившись со среза бревна. Неизвестно, имела ли место тут месть Беркута, которого за случай с самородком изгнали из бригадиров и отправили на ту же реку вязать плоты, или же Кишка своей бестолковостью уже настолько опостылел так часто поминаемым им чертям, что последние призвали чёрную душу его через студёную водяную купель на свои раскалённые сковородки.

Судьба чоновцев, бывших заклятых друганов Никифора Грушакова, тоже совершила вполне закономерный зигзаг, и у одного драматически замкнулась, другого скинула в лагерную помойку. В конце августа Тимофея на лесоповале придавило тяжёлой лиственницей; неподвижный, со сломанным хребтом он был привезен в лагерный лазарет, где санитары из блатных через некоторое время заморили парализованного чоновца, как лишнюю обузу, голодом. Фрола всё те же блатари в закутке барака в очередь опустили за то, что он регулярно приворовывал со столов в пищеблоке корки хлеба и жадно, на глазах у всех, хватал и пихал в рот разные объедки. Теперь Фролу определили место обитания в углу, рядом с нечистотами и такими же изгоями, каким стал и он, бывший красный каратель, отличившийся тем, что в злополучном походе против кержаков больше всех пожёг изб и пострелял обезумевшей домашней скотины.

Чудны дела твои, Создатель!

3.

Пустельга, искусно управляя матовыми полупрозрачными крылышками, распластала своё изящное, в светлом оперенье, продолговатое тельце в небесной синеве. Казалось, птица невидимым лучом привязана к солнечному диску, неподвижно стоящему в зените. Минька Раскатов, младший брат Степана, уже минут пять как наблюдал за ней, сидя на шершавом, нагретом валуне, овальным боком торчащем из земли. Гремела боталом Жданка, степенная, с полутораведёрным выменем корова, когда подымала из травы и цветов свою бусую морду, с тёмными шерстяными очками вокруг умных глаз. Поодаль от неё, но здесь же на цветастом таёжном лугу, паслось ещё четыре дойных кормилицы, три нетели, два не подложенных быка да с десяток прошлогодних и нынешних телят и тёлочек. Овцы сновали меж коров, трава сочная и высокая, спутанная, отойди овечка в сторону, через минуту завязнет в ней, а подъедать следом, подбирать подвижными тонкими губами стебли и обрывки зелёных листьев по примятым трубчатым бодыльям и утоптанному вязелю – это за милую душу!

Минька с весны присматривал за кержацким стадом, изучил повадки своих подопечных, знал, что Жданка, покуль не объест до корешка всю траву вокруг себя, не перейдёт на другое место. А вот Красуля, бодливая трёхлетка, обежит за день весь луг вдоль и поперёк, заглянет и в заросли черёмухи, а там, как известно, по низам одни палки да сухие сучья – не пролезть! Однако не для Красули, та напрямки, с хрустом, пройдёт все заросли, правда, опосля завсегда вертается к стаду. Или взять быка Буяна – смирнее скотинки Минька не встречал за свою двенадцатилетнюю жизнь, и пущай он огромный и чёрный, как твоя туча, зато на нём катайся, сколь заблагорассудится, вот тока б успеть на спину широченную взобраться с бугорка. А Митяй, тот, не гляди, что видом смирённый, как рогом зацепит – в кусты и улетишь.

Монастырское стадо обитало отдельно, на выпасах за мохнатыми, в кедрачах, скалами. Иногда, по недосмотру Миньки либо послушниц, что попеременно пасли свой скот, стада сходились где-нибудь на полянке. Коровы, те, боднув друг дружку пару раз по случаю негаданной встречи, возвращались к поеданию цветочных бутонов и ядрёных побегов. Быки же, а в монастырском стаде их тоже было два, сходились в схватке не на шутку. Причём верх всегда одерживал Буян, даже и тогда, когда трусливый перебежчик Митяй пробовал исподтишка поддеть его рогами сбоку, в то время как он валял очередного соперника по земле. Буян, не отпуская прижатого противника, изворачивался своим мощным корпусом так, что под блестящей чёрной шерстью ходили бугры мышц, и лягал задними тяжёлыми копытами Митяя с такой силой, что тот кубарем летел в траву. Послушницы, всплёскивая руками, бегали вокруг дерущихся быков, боясь приблизиться; коровы равнодушно поглядывали на это представление, поминутно отрыгивая и пережёвывая жвачку, а Минька, стоя в сторонке, переживал и радовался победам своего могучего любимца.

Вот и сейчас паренёк боковым зрением заметил шевеленье слева, там, где одиноко стоящую, высоченную и полузасохшую лиственницу зелёным пологом окружали кусты акации и калины с наливающимися кистями ягод. Минька вскочил с камня. Неужли опять монахини проморгали своё стадо, и Буяну снова надобно расшвыривать по всей опушке назойливых быков? И ведь стадо увести уже не успеть! Но опасения оказались напрасными. На поляну из кустов выступили четверо мужиков: среди них брат Степан с пилой – лучком, и с топорами на плечах Семён Перфильич, Меркул Калистратыч и бергал Михаил Антропов.

– Братка, отгони коров с поляны подале! – приветливо помахал свободной рукой Степан. – Мы нонче валим вот эту богатыршу, – он указал пилой на одинокую в три обхвата лиственницу. – Цыля, цыля! Но-о! Давай, пошли отсель, пошли! На том лугу трава вкусней!

Стадо неохотно, но подчинилось зычным командам и окрикам и вскоре перешло через лес на другой недалёкий лужок, откуда Миньке хорошо были слышны звуки пилы и дружный стук топоров. Спустя какое-то время паренёк услышал крики: «Бойся! Остерегись!», и раздался характерный треск раздираемого падающего дерева, затем последовал гулкий удар чего-то тяжёлого о землю. И в тот же миг соседнюю поляну наполнили возбуждённые мужские голоса.

– Калистратыч, глянь, чё ж это за чудо!

– Да я и сам отродясь такого не видывал!

– Мужики, вблизь не подходи! Съедят ить, зажалят!

– Михаил, беги в поселье! Пущай бабы сбирают посудину, какая есть, – и сюды! Тока аккуратней!

– А я Семён Перфильич, до монастыря, одна нога здеся, другая там! Надоть имя обсказать!

– Давай, Стёпушка! Да пущай Северьян Акинфыч захватит инструмент: роёвни и сетки с холстиной. Авось сподобимся рой снять. А мы с Меркулом Калистратычем покуль здеся приглядим!

Картина, открывшаяся Миньке из-за куста крушины, куда он пробрался, чтоб лучше разглядеть происходящее на поляне, была поистине необыкновенной. Разваленная по стволу надвое от страшного удара оземь лиственница лежала наискось через лужок, метрах в двадцати от любопытного паренька. Ближе к обломанной при падении кроне коричневыми смерчами

кружило несколько пчелиных роёв. Под ними, в исковерканном полом чреве дерева жёлто поблёскивали на солнце отстроенные, видимо, не за одно десятилетие соты. Ниже, метрах в пяти ввысь от комля, вся сердцевина была заполнена засахаренным мёдом – кладовая тружениц ни за один сезон.

С противоположной стороны поляны, на почтительном расстоянии от раскуроченной пчелиной колонии, из зарослей черёмухи, негромко переговариваясь, осторожно выглядывали Семён Перфильич и Меркул Калистратыч.

– Покуль светло, к им не подступиться. Меня уж с десяток жакнули.

– Сёма, аль ночью они не кусаются? Да ишо более, нежели теперя! Надоть крепко обмозговать, как к им подобраться и обезвредить. Дождёмся Акинфыча, и обсудим.

– Я вот удивляюсь – как пчёлы допустили, штоб мы листвягу-то спилили? Я ишо тады приметил: две-три налетали, покрутились, я отмахнулся, они затихли. А чё творилось наверху, дак шуму оттель и не слыхивали.

– Гнездо-то ихнее высоко, опять же ветки нас скрывали. Пчела покуль сообразила, чё по чём, лесина-то уж пала да разломилась, имя и стало не до нас.

Меж тем заросли вокруг поляны наполнялись кержацким народом. Мужики и бабы с уважением разглядывали поваленное дерево, вездесущие при других обстоятельствах ребятишки сейчас не шибко-то высовывались – больно зло гудели рои, то сбиваясь в одну живую, подвижную светло-коричневую кучу, грозно снижающуюся к сотам, то снова распадаясь на самостоятельные вертикальные смерчи.

Скорым шагом прибежал Северьян Акинфыч с тремя монахинями. У всех в руках и под мышками сетки-накомарники, холщовые халаты с капюшонами, рукавицы-верхонки со свободным, для удобства в работе, отдельно прошитым указательным пальцем, и у каждого по матерчатой роёвне-ловушке. Акинфыч, кроме того, нёс в левой руке ещё и зажжённый дымарь. Степан замешкался где-то на поселье, куда он, известив монастырских, направился запрячь лошадь в волокуши, дабы сподручней вывозить нежданный, но благодатный, яко манна небесная, дикий мёд.

– А семей-то пчелиных не одна! – восторженно прокричал монастырский сторож кержакам, когда немного отдышался и осмотрелся. – Вона, гляньте-ка, один над другим и дупла – летки поколотые. У их теперя война идёть меж собой, они ить смешались при ударе оземь. Беда будет, побьют ить друг дружку. Давайте, матушки, наряжайте мужиков, кто посмелей, надоть вырезать соты и складать порознь. Авось отыщут «божьи мушки», всяка своё гнёздышко. Поди ж и матки-хозяйки не сымутся и не уведут за собой куды не попадя деток своих. Поспевать надоть, мужики, ой как поспевать! – азартно причитывал Северьян Акинфыч, уже снаряжённый, но с ещё не опущенной на лицо мелкой сеткой.

Минут через пять закутанные в халаты кержаки подступили к поверженной лиственнице и принялись дружно вырезать запечатанные соты. Более внимательно и осторожно отнеслись они к тем сотам, в ячейках которых был посеян расплод. Их, облепленные яростно жужжащими пчёлами, смельчаки бережно клали поверх медовых и сот с хлебиной.

Когда работа была сделана, мужики во главе с Акинфычем отошли на безлюдный край поляны и стали наблюдать: слетятся, нет ли, труженицы к своим, наспех восстановленным гнёздам? И, действительно, через некоторое время воздух над лиственницей опустел – пчелы, отыскав родные соты, умиротворённо приземлялись туда и начинали ползать по выложенным наподобие своеобразной мозаики сотам. Лишь на одну из четырёх рукотвор-

ных колодок не сели пчёлы, видно, самая опытная и старая матка увела семью сразу, в первые минуты после катастрофы куда-то в запасное место, в потаённое дупло. Потому что и к вечеру, когда уже все рои были пойманы и усажены в роевни, эту полевую колоду пчёлы не обсели, так подлетит какая-нибудь шальная бродяжка, черпанёт хоботком медка из расплёснутой ячейки и убирается восвояси.

Засахаренный мёд из сердцевины соскабливали уже в потёмках, однако выпорхнувшая из-за ребристой линии белков полная луна светила так ярко, что ни факелы, ни костры для освещения не понадобились. Три раза отвозил Степан набранные с верхом кадушки и туеса на поселье. В четвёртый раз он усадил на волокуши клюющих конопатыми носами ребятишек и неспешно направил по проторенной дорожке мохнатую лошадку домой. Усталые, но довольные взрослые пошли следом.

Спустя полтора месяца после уборки и обмолота хлебов кержаки засобирались в дальний переход из Алтайских гор в Саяны. Меркул Калистратыч сказывал на сходе, что на дорогу в таёжные деревни Хакасии уйдет не менее месяца. Накануне Степан Раскатов, Ивашка Егоров и Прокоп Загайнов вернулись из Талова, куда они обернулись дней за восемь, и где, не входя в город, с помощью Василия Николаевича Алькова тайно дали знать бергальским жёнкам, что их мужья живы и здоровы, о семьях своих помнят, а о том, как быть дальше, известят, мол, позже. Через Алькова же запаслись солью, крупой, спичками, керосином, порохом, дробью и прочей мелочью, а также разузнали о кое-каких новостях. К примеру, о том, что две весенних экспедиции огэпэушников в тайгу закончились ничем. Правда, тем пригородным промысловикам и пасечникам из старообрядцев, чьи угодья были осенью тоже разорены, власти Талова оказали помощь стройматериалами: гвоздями, пилами, топорами. Разрешили беспошлинную рубку леса на срубы. Намекнули, что будут и впредь помогать, только вы, мол, для этого должны вступить в артель таёжных охотников и избрать себе председателя. Многие будто б дали согласие. А на пост председателя кержаки единодушно выдвигают Василия Николаевича Алькова, как самого уважаемого из окрестных промысловиков. Василий Николаевич покуда обдумывает своё решение. К сентябрю срок. Он же, Василий Николаевич, перед самой дорогой, – кержаки уже ловили носками сапог стремена, – посоветовал беглецам ещё хоть какое-то время подождать, а вот опосля можно бы даже и вернуться в свои деревни и восстановить их. Однако ж, тут же закончил Альков, коль вы общинно решили идти далее в тайгу, то ступайте с миром. Пусть всюду прибудут с вами Господь наш Исус Христос и Заступница наша Богородица!

Провожать кержацкий караван вышли все насельницы монастыря во главе с матушкой Варварой. Северьян Акинфыч украдкой даже смахнул набежавшую слезу. Уходящие кержаки двуперстно совершили крестное знамение, поклонились низко до земли монахиням, и обоз тронулся в путь. В середке его смирённо нёс на широкой спине два тяжелых прикреплённых туеса с мёдом Буян. Вёл быка на верёвке Минька. А вот Митяя дней за шесть перед этим закололи, мясо засолили и провялили, так, что оно и в жару не испортится. Коров и телят – часть убрали, а некоторых, в том числе и Жданку, уводили с собой.

К трём часам пополудни, как и было намечено, караван миновал узкую горловину перевала и начал спуск к реке. Где-то там, за цепью зелёных у подножия и с белыми шапками на вершинах гор, их пожжённые и брошен-

ные деревни. Хоть бы одним глазком глянуть напоследок на родимые места, уронить слезу на отчее пепелище! Припасть к дорогим могилам! Суждено ли вернуться кому-либо из уходящих в этот ясный августовский день в неведомый край когда-нибудь обратно? И где же оно, заповеданное и за многие века так и не достигнутое Беловодье? Откроется ли когда воспетая в легендах, благодатная земля этим непреклонным и терпеливым людям? Или так и будет весь земной срок зыбко маячить впереди, до самой кончины, до того томительного перехода в неизъяснимые пространства, где даются ответы на все вопросы, что накапливаются в сердце у человека за годы пребывания его в грешной нашей юдоли? И, наверное, только там, за смертельной гранью, в манящем неведомом, кому-то откроется и впустит в себя это благословенное Беловодье, а за кем-то, наоборот, навечно сомкнутся раскалённые врата, за которыми одни лишь вопли да скрежет зубовный.

А пока что перед кержаками было первое препятствие – брод на быстрой и своенравной реке. Переправа через него заняла весь оставшийся день. Последнюю корову перевели, когда в тёмно-синем, обрамлённом к западу зеленоватой полоской угасшего заката небе вспыхнули первые звёзды. Под ночлег приспособили опушку соснового бора на прибрежной возвышенности вблизи скалистого утёса – и от воды недалёко, да и мошки меньше, чем рядом с рекой.

Перекрестившись на походные образа, выставленные под рябиной на восточной стороне лагеря, и пристроив лиственный кряж на костёр – лиственница горит медленно, огня хватит до рассвета, – старообрядцы, вздыхая, улеглись на войлочные попоны вокруг очага. Что-то их ждёт завтра? Эхма-а... Но однако ж: будет день – отыщется и пища! Выглянувший через несколько минут из-за утёса серп стареющей луны пригасил россыпи звёзд на небе, но зато осветил дополнительным бледным светом спящих людей, чутких лаек, свернувшихся по периметру походного бивуака, очертил аппетитно хрумкающих бодылья стреноженных коней. Коровы, похожие в ночи на серые камни, лежали, отдыхая, меж сосновых тёмных стволов, и поминутно, как недавно это делали, отходя ко сну, кержаки, так же глубоко вздыхали. Тёплая, бархатистая ночь простёрлась над горно-таёжным Алтаем.

Судьба к Аграфёне Павловне Шерстобитовой и в этот раз проявила милость, придержав её в пересыльной тюрьме на неопределённое время, тогда как других заключённых, лишь сформируют этап, спешно отправляли на лагерные пункты, разбросанные по глухим урёмам в тайге. Маняще и соблазнительно сквозило в изящных и порочных повадках этой женщины нечто демоническое, от чего надзиратели теряли голову, и Феньке, осуждённой как враг народа, некоторые из них, невзирая на последствия, смягчали режим, баловали излишним вниманием. Надо отдать должное и Феньке, она осталась верна себе, и долго уламываться не любила. Исхудавшая на следствии, в тюрьме она прямо-таки расцвела и вернула свою прежнюю форму. Не хватало лишь кожанки да маузера.

– Ты почто, девонька, нюни-то распустила? – грубовато, но с покровительственными нотками в хриплом, прокуренном голосе обратился к только что проснувшейся Феньке Стрелку очередной, на этот раз рябоватый, с волосистой бородавкой на подбородке, ухажёр. Полуодетый, он присел к ней на тюфяк, расстеленный на полу, и легонько поглаживал её оголённую руку. Фенька спросонья не сразу поняла, где находится – сладкий сон, в котором она в кумачовой косынке и при оружии держала пламенную речь

перед жадно пожиравшими её похотливыми глазками красноармейцами, правда, все бойцы были почему-то с жёлтыми раскосыми китайскими и суровыми, словно высеченными из серого камня, латышскими лицами, – этот сон ещё с минуту не отпускал Феньку. Вздохнув, она обвела влажным взглядом каптёрку надзирателей. Слева и справа стеллажи с вещами и противогазами, посередине, у пыльного зарешёченного окна массивный стол с остатками вчерашней гулянки: алюминиевая фляжка из-под спирта, медные кружки, недоеденный кусок хлеба, шматки сала, надкусанная луковица. Фенька выпростала из-под стёганого одеяла свободную левую руку и протёрла подсохшие слёзы на глазах. И только после этого ответила томным, капризным голосом:

– Мне снилося, миленький ты мой, как ты меня ласкал и тискал, а тока я сомлела, тебя к начальству срочно вызвали, ты и бросил меня, не домяв, убежал. И так, видать, горько стало мне, одинёшенькой, что я и разрыдалась во сне.

– Ну, эту беду мы в два счёта исправим. – Приземистый надзиратель сбросил одеяло в угол и, часто засопев, навалился на Феньку, с готовностью сомкнувшую свои гибкие руки на жирной спине ухажёра.

И тут в дверь кто-то настойчиво и требовательно застучал. Фенька прижала потную голову надзирателя к мягкой голой груди и страстно зашептала: «Миленький, тока не открывай ты никому. Мне так хорошо, так сладко. Давай ещё, давай, вот так, вот так!». Но в обитую железом дверь стучали уже и сапогами. Надзиратель струсил, с силой оттолкнул от себя распалённую бабёнку и, на ходу натягивая через голову гимнастёрку, заспешил к двери.

На пороге стоял разгневанный начальник тюрьмы Яков Борисович Петухов. Он решительно отодвинул растерявшегося надзирателя в сторону и прошел в каптёрку.

– Вот оно в чём дело! – Яков Борисович смерил презрительным взглядом забившуюся в угол под стеллаж и слегка прикрывшую одеялом своё тело Феньку. – Встать! Блудом промышляешь? Статья, срок, камера?

Фенька, не выпуская из трясущихся рук край одеяла, робко встала и, заикаясь, назвала статью, срок и номер своей камеры. Начальник тюрьмы шагнул к Феньке, вырвал из рук у неё одеяло, отбросил на тюфяк и снова отошёл. Теперь взгляд Якова Борисовича был оценивающим, как у восточного работорговца на невольничьем рынке. Скоро бараньи сливовые очи его покрылись маслянистой плёнкой, он прищурился, едва не цокнув вожделенно языком. Однако в последнее мгновенье сдержал себя и бросил через плечо стоящему сзади рябоватому надзирателю-каптёрщику:

– Осужденную немедленно в баню, проверить на вши и венерические заболевания, переодеть в чистую подходящую одежду, и вечером – в мой кабинет. Допрашивать буду сам, лично. А ты, Самойленко, пока фельдшер займётся осужденной, пиши объяснительную, где письменно подробно изложишь свою половую связь с врагом народа.

Начальник тюрьмы круто развернулся и покинул каптёрку, оставив внутри помещения обескураженного надзирателя и всё ещё не прикрытую ничем, стоящую у стеллажа и загадочно ухмыляющуюся Феньку Стрелка.

На внешнюю рамку открытой форточки взятого в фигурную решётку окна с двойной рамой сел юркий воробышек, склонил на секунду серенькую, с тёмными пятнышками, головку, чирикнул и – был таков. Фенька отвела сытый и пустой взгляд от окна и, довольная, перевернулась на живот. Накрахмаленные простыни на широкой панцирной кровати неуловимо пахли

свободой. Розовые обои по стенам этой уютной комнатки, оборудованной за дверью в углу просторного, в стиле ампир, кабинета начальника тюрьмы, тоже вносили умиротворение в душу Аграфены Павловны. Именно так, по имени и отчеству часа полтора тому назад обратился к ней Яков Борисович, за изящным столиком у окна с бархатными портьерами, после лёгкой беседы с шампанским и шоколадом, приглашая Феньку пройти в эту уютную комнатку. Такого изысканного и предупредительного ухажёра и пылкого любовника давненько не было у Феньки. И теперь она рассеянно наблюдала, как Яков Борисович застёгивает блестящие пуговицы на кителе из дорогого сукна, как у овального зеркала на стене поправляет безукоризненный пробор на едва тронутых сединой черных волосах. От зеркала Яков Борисович вернулся к кровати, двумя холёными пальцами потрепал Фенькину, ставшую в мгновенье пунцовой, щечку, томно шепнул: «Одевайся, девочка моя, жду через пять минут в кабинете», и, напевая бравурную мелодию из какого-то марша, вышел из комнатки.

Когда Фенька выпорхнула в кабинет и весело приблизилась к сидящему за столом Петухову, он оторвался от бумаг и, будто видел её впервые, холодным, казённым взглядом остановил давешнюю пассию.

– Осужденная Шерстобитова, стойте на месте и ожидайте.

И Петухов вновь углубился в изучение бумаг. А Фенька, ошеломлённая и растерянная, встала как вкопанная. Красивые, манящие коленки её под срезом суконной юбки мелко задрожали. Бесшумно открылась высокая дубовая дверь, в кабинет вошёл мордатый, со шрамом от сабельного удара на низком, морщинистом лбу надзиратель. Петухов равнодушно окинул пустыми глазами сначала его, потом Феньку.

– Осуждённую в карцер. И немедленно начать подготовку Шерстобитовой к этапу. Увести.

Столыпинские вагоны покачивало на стыках. Паровоз медленно тащил их через туннели Уральских гор. Свежий, пахнущий полевыми травами и хвоей воздух тщетно бился в зарешёченные узкие оконца под крышей. Здесь, в вагоне, набитом до отказа осужденными, где на нижних нарах, ближе к середине, валялась безучастная ко всему Фенька, за неделю пути дух настоялся такой, что он, казалось, лип не только к грязным женским телам, но и при каждом вдохе непоправимо разрушал отбитые и прокуренные лёгкие узниц. Для того чтобы хоть как-то проветрить вагон, надо было бы настежь распахнуть все оконца и раздвинуть до конца капитальные двери. Однако кто же станет это делать, когда на остановках времени хватало лишь на то, чтобы быстренько вынести нечистоты, да получить сухари и баланду?

– Гляжу я на тебя, девонька – чегой-то ты не того, аль общества нашего чураешься? – Танька Блатная, старшая по вагону, ширококостная бабёнка, с крупными и грубыми чертами лица и цепкими, близко посаженными холодными глазами, но при этом необыкновенно ласковым, вкрадчивым голосом, по-хозяйски расположилась на свободное место на нарах и ободряюще легонько хлопнула ладонью Феньку чуть ниже пояса. – Никак иссохлась вся по такому-растакому милёночку? Да ты не горюй: мужики – это пьянь, рвань и вонь! Держись меня, всё будет кругленько и сладенько! – И староста как бы невзначай пробежала своими хоть и толстыми, но гибкими сильными пальцами по голой, выпростанной из-под одеяльца полной Фенькиной ляжке.

Фенька не отодвинулась, ни единым жестом не выказала своего неудовольствия, но наоборот сделала вид, что ей это тоже приятно. Третьего дня

на угловых нарах одна дерёвня, молчаливая и ладная деваха, осуждённая на пять лет за кражу мешка пшеницы с колхозного тока, довольно бурно отвергла подобные ухаживания старостихи. С Фенькиных нар было хорошо видно, как вечером того же дня, ещё и не стемнело, четверо шестёрок из окружения Таньки Блатной неожиданно выросли около нар колхозницы, быстро повалили ту на постель и, набросив байковое одеяло, принялись её дубасить. Трое били сбоку, а одна вскочила на извивающееся одеяло – и ну его топтать, покуда несчастная не затихла. Она ещё и до сегодняшнего дня лежит в своём углу, выползет справить нужду и опять затаится. Что с неё взять – дерёвня, аль не знала, кому поперёк желанья брыкается! Уступила бы, глядишь, и цела бы осталась.

– Не горюй, сладенькая ты моя, – старостиха уже по-свойски погладила подрагивающую под одеялом Феньку, и поднялась с нар. – Вечерком милости прошу к нашему шалашу, выпьем, да вкусненьким – хи-хи – там же и закусим. О-очень буду ждать!

В тупике на узловой станции вблизи Перми состав с заключёнными задержался дольше обычного. Почти половина осужденных женщин здесь была выгружена и под лай овчарок и зычные окрики конвоиров угнана по просёлочной дороге в недалёкий, за лесом, лагерь. Оставшиеся в опустевших вагонах только и успели вздохнуть пару раз полной грудью, как в Перми опять натолкали свежих осужденных с этапа.

– Фенечка, лапочка, глянь-ка! Уж не сестрёнка ли, близняшка твоя вон та, что жмётся к двери? – Восседающая королевой на нарах в середине вагона Танька весело хлопнула по полноватому плечу Феньку Стрелка и указала толстым пальцем в толпу прибывших с этапа зечек, что переминались с ноги на ногу в тесном проходе. – Да ить это копия твоя! Эй ты, у дверей, подь до нас!

– Отродясь не бывало у меня сестёр. Братовья, да и те где-то сгинули ишо до Октября, в империалистическую, – успела сказать Фенька, пока этапница пробиралась к ним.

Меж тем миловидная женщина лет тридцати, и вправду очень похожая, пусть и не как две капли воды, на Феньку, робко приблизилась к разбитным товаркам. Танька поднялась с нар и, подбоченясь, по-хозяйски обошла ту вокруг, хмыкнула и вновь плюхнулась рядом с Фенькой.

– Откеда ты, такая краля? Срок мотаешь за чё? Говори, как на исповеди, мы нонче добрые! Да ить, Фень?

– А то как! Сказывай нам, красавица, всё как на духу. А мы со старостой послушаем.

– Из Кособродска я, что на Южном Урале. Учитель, работала завучем в детдоме. Осуждена за непреднамеренное убийство на восемь лет.

– Никак муженька застукала с полюбовницей, да и прирезала обоих?! Молодчина, ежли так!

– Нет. Суд посчитал, что я виновна в смерти одного из воспитанников нашего детского дома, одиннадцатилетнего Илюши Корягина.

– Ах, да ты – детоубийца!

– Помолчи, Феня! Ботай дале, учительша! Тока с выраженьем и подробно.

– Никого я не убивала. Наше воспитательное учреждение расположено на окраине Кособродска в бывшем особняке одного сбежавшего от революции дворянина, а рядом, с внешней стороны примыкают к усадьбе продовольственные склады. Теперь они пусты, но до последнего времени в них хранились городские запасы муки, крупы, сахара. Со стороны детдома, в

глубине сада, ближе к ограде есть дощатый сарай, в нём летом мы хранили огородный инвентарь, а ещё раньше, пока не оборудовали кладовку в подвале, продукты. Илюша был мальчиком беспокойным, порой даже неуправляемым, часто обижал младших мальчиков и девочек. Два раза убегал из детдома. Вы не подумайте, что я, давая такую характеристику подростку, тем самым пытаюсь уменьшить свою вину за происшедшее, ничего подобного, просто я говорю, с чего началось и как всё произошло. Однажды воскресным апрельским днём Илюша сильно избил двух малышей, отнял у них припрятанный после обеда ребятами хлеб. Я в тот день была ответственной по детскому дому. Илюшу привели ко мне в кабинет, где он, вместо того, чтобы повиниться, стал нецензурно ругаться и буянить. Тогда я приказала двум воспитателям – мужчинам, находящимся здесь же, отвести Илюшу и запереть в сарае, пока он не придёт в себя и не успокоится. Всё это происходило вечером. Вскоре наступила ночь. За хлопотами и делами мы как-то упустили из вида, что Илюша-то остался запертым на замок в сарае. Покормив ужином и уложив всех спать, мы и сами прикорнули. За полночь меня разбудил сторож. Он будто бы из своей сторожки, что на улице, у ворот, слышал какой-то детский истошный крик. Сторож вышел во двор, прислушался, сделал круг вокруг спящего особняка, и хотя крики больше не повторялись, он всё же решил сообщить мне об этом. Мы вдвоём ещё раз прошли по территории, однако тишина стояла мёртвая. Всё прояснилось утром, когда один из воспитателей, отправленный в сарай за подростком, скоро прибежал оттуда с лицом белым, как мел, и дрожащим подбородком. Придя в себя, он сказал, что Илюши в сарае нет, там, мол, одни лоскутья одежды и окровавленные кости с детским черепом. И ещё он рассказал о том, что, когда открыл дверь, то в помещении в разные углы прыснули какие-то пищащие серые существа. Как выяснили прибывшие милиционеры – это были крысы с соседних, опустевших к весне продовольственных складов.

– Жаль мальчонку-то загубленного. Однако ж, как ни крути, а ить ты всё одно – убийца. И теперь это клеймо тебе на всю оставшуюся жизню. Ступай покеда, определяйся с местом. Понадобишься, кликнем.

– Погоди, Танюша. Я хочу пару вопросов задать этой, как ты нарекла её, моей сестрёнке. Ты и вправду из учителей, и грамоту отменно знаешь?

– Да, я учитель русского языка и литературы.

– А вот, к примеру, меня обучить правильно изъясняться, грамотно написать, ты смогла бы?

– Почему бы и нет. Всё зависит от вашего желания и усердия.

– Ну, тогда давай знакомиться. Аграфена Павловна Шерстобитова, – и Фенька дружелюбно протянула растерявшейся учительнице изящную лодочку своей ладони. Та, секунду помедлила, и вложила свою, такую же, словно выточенную, ладонь в руку новой знакомой.

– Очень приятно. Елизавета Алексеевна Романова.

– Ишь ты, расцеремонились, прямо как две павы! Перья-то мигом повыдёргиваю! – в снисходительной интонации голоса Таньки Блатной проскальзывала скрытая угроза. – Давай-ка, бабонька, вали отседа. Я два раза повторять не учена.

Романова смутилась, потупила взгляд и неслышно отошла от нар.

– Чё ты с ней расшаркиваешься, – беззлобно обратилась к Феньке старостиха. – Похожа, ну и чё теперь, облизывать её надо обязательно, што ли? Мне дак она и не глянулась – какой-то серый мышонок, хошь и с твоими мясами! Хе-кхе!

– Да не ревнуй ты попусту, Таня! Я ить не так просто ластюсь к ней. Пущай выучит меня. Сколь лет уж локти себе кусаю за свою малограмотность, а тут, коль случай такой вышел, своего не упущу.

– Ладно. В лагерь прибудем, эту девку не забудем. Присмотрим.

Тусклое северное небо, высота которого словно ажурной прозрачно-ребристой решеткой была обозначена осенними не проходящими перистыми облаками, с каждым новым днём скукоживалось, сжимало свои размеры, перечёркиваемые всё световое время вереницами перелётных птиц. Вот и сегодня через зарешёченное небо к южному горизонту, как и накануне, тёмными клиньями и живыми дугами тянулись станицы диких гусей и уток. Иногда с небес доносилось похожее на рыданье курлыканье журавлей. Тогда женщины отрывались от работы, вскидывали лица к небу, искали глазами караван этих печальных птиц. Найдя, долгим взглядом провожали их, пока журавли не сливались с далью, или пока резкий окрик десятника не возвращал узниц на бренную землю.

Женский лагерь, выросший и ощетинившийся колючей проволокой и вышками по периметру на тверских торфяниках в середине двадцатых годов, мало чем отличался от десятка таких же казенных заведений, будто щедрой рукой разбросанных однажды по лесной и болотной глухомани. Правда, этот лагерь, куда определили на исправление Феньку и её товарок, выгодно отличался от других тем, что в бараках не сквозило и не задувало – поскольку бревенчатые строения добротно возведены ещё при царе-батюшке вольными купцами для вольных же артельщиков, добытчиков горючего торфа. Заключённые этого лагеря были заняты на торфяных работах, заготовке древесины и строительстве железно-дорожной ветки к торфяникам и к зоне.

– Лизонька, мы с тобой уже не первый месяц вместе, – Фенька бросила очередной брикет спрессованного торфа на подводу и продолжила, – а всё никак не спрошу: родни-то много у тебя, или ты, как и я, – круглая сиротинушка?

– Родители мои – потомственные учителя, но они умерли от сыпного тифа ещё в гражданскую. Детей, кроме меня, Господь им не дал. Были у отца двоюродный брат Георгий и сестра Марина, однако где они, живы ли – этого я не знаю. Видела их последний раз, когда мне было лет пятнадцать, в канун революции, мы тогда жили в Сызрани, на Волге. Они гостили у нас проездом в Москву, а жили, как я помню, где-то за Уралом. Потому-то родители и бежали от междоусобного лихолетья за Урал, да только в дороге, под Челябинском, их сняли с поезда как тифозных. Я была с ними, но как ни странно, эта страшная болезнь обошла меня стороной. А папу и маму поместили в тифозный барак, куда было не пройти, на входе дежурили вооружённые красноармейцы. И я своих родителей больше не видела.

– Значит, мы с тобой, подруга, и впрямь, как сёстры. И правильно, что мы держимся вместе. Ты скажи, Лизавета, вот мы разговоры разговариваем, – как тебе моя речь, она выправляется или такая же тёмная, как ране?

– Во-первых, Аграфена, надо говорить полное слово «ранее», а ты пока всё ещё подъедаешь окончания, а в целом, перемены налицо. В твоём лексиконе уже почти изжиты просторечные, так называемые областные слова, типа «ишо», «хучь», «ить», «чё ли» и многие другие, я все их не буду даже и перечислять, уж тебе-то они больше знакомы. Что же касается правильного, грамотного написания слов, то здесь ещё предстоит поработать в поте лица. Но я вижу твои старания и уверена, ты и с этим справишься.

– Вот и хорошо, подруга ты моя разлюбезная! – Фенька с чувством при-

обняла зардевшуюся Елизавету и весело крикнула в сторону безлюдного торфяного карьера: – Всё одно я выучусь и покажу ещё кой-кому Кузькину мать! Прыгай, Лизонька, в телегу, прокачу с ветерком!

– Ой, Аграфена Павловна, осторожней! Здесь же повсюду болота! Под откос бы не слететь!

– Не боись, подруга! Уж чему-чему, а конём править я приучена с детства! Да и езды-то здесь всего с полверсты, вон уж и вертухаи с ружьями встречают.

На выезде с гати, что между карьером и зоной устлана брёвнами и забутована дёрном и глинистыми комьями, на коренной стылой земле действительно грелись у костра конвойные. Коль начальства рядом нет, то какой им смысл сопровождать зечек до карьера по этому узкому перешейку, когда тем бежать всё одно некуда. Ну, кто добровольно полезет на верную гибель в эти чёртовы бездонные топи!

Спустя полмесяца, после лагерной поверки в отгороженном дощатом бригадирском закутке Танька Блатная, в перерыве между пылкими ласками, сообщила Феньке о том, что со дня на день грядут перемены, касающиеся осужденных по статьям как «враги народа», и что ужесточение режима в отношении этой категории заключённых может нехорошо отразиться и на их связи. В ответ Фенька сладко потянулась на застеленном серой простыней топчане и беззаботно выдохнула:

– Ну что ж, придётся прервать своё обучение до лучших времён.

– Тебе виднее, лапочка ты моя ненасытная!

Ночью выпал снег и накрыл белым саваном и зону, ставшую от этого схожей со средневековым зловещим замком, и дремучий лес вдали, и бесконечные болота. Лишь щетинки сухого камыша да рогоза очерчивали слепящую глаза белизну коричневыми изломанными линиями, расходящимися по всей низменности. С утра выведрило. Мороз крепчал. Лагерные старожилы предупреждали, что при таком раскладе к вечеру температура может упасть до –30. Надо было успевать вывезти заготовленный торф. Одной подводе явно не управиться до темноты. Второй телегой, сходив за разрешением до кума, вызвалась помочь сама бригадирша – Танька Блатная. «Оно и понятно, за невыполнение задания ей первой и попадёт, пусть попашет наравне с другими!» – шептались лагерницы. От второго человека на подводу Танька наотрез отказалась: на что, мол, мне обуза, тока под ногами путаться, сдюжу и одна. Коль приспичит, кхе-хе, бабёнки с другой подводы, их же там двое, подсобят!

Если и в добрую-то пору конвойные редко сопровождали подводы до карьера, то в нынешнюю лютую стужу, они к ранним сумеркам нажгли уж не одну лесину, а хоть бы чуток согрелись. Так и прыгали, ровно зайцы, вокруг огня, и не спасали зябнущие тела ни полушубки, ни валенки с высокими голяшками. А всему виной – потяга с прихваченных лишь минувшей ночью тонким льдом болот.

– Слухай, Сидор, чё там за вой стоит? – один из охранников поднёс рукавицу к завязанной на подбородке шапке и освободил ухо, чтобы лучше разобрать женские истерические голоса, доносящиеся от двух темнеющих посреди оснеженного перешейка подвод с торфом.

– Чегой-то у их там стряслось, Ваня. Надо бы сбегать. Кто – ты, иль мне?

– Давай уж ты, Сидор. Ты бойчей на ногу. А то, когда ж я дотелепаю с этим грёбаным ревматизмом! Ты поспешай, а я щас подковыляю, вот тока с костром решу.

Картина, открывшаяся запыхавшемуся от быстрой ходьбы Сидору, удручала. С первой подводой, доверху нагруженной брикетами торфа, вроде бы всё было в порядке. Лошадь с заиндевелыми боками и ноздрями беспокойно переминалась на месте и косила сливовым глазом назад, где вторая кобылка, скребя подковами по стылым брёвнам, пыталась вытащить с обочины на колею сползший боком и накрененный к болоту разбитый воз. Прямо у откоса чернела рваная полынья, в которой плавали уроненные с подводы сухие брикеты. Две бабы в телогрейках, подвывая и матерясь, подталкивали сзади телегу. Лошадь в очередной раз поднатужилась, отыскала наконец-то опору, и – вытянула треклятую подводу на дорогу. Обойдя с разных сторон взмыленную кобылу, к конвоиру одновременно виновато подошли обе эти бабы.

– Вишь ты, горе-то какое, гражданин охранник! – выступила вперёд рослая Танька.

– Где, мать вашу, третья?

– Утопла в болоте.

– Утопла, говоришь, а поди ж, и помогли ей. Кто она?

– Враг народа, гражданин охранник, осужденная за террористическую деятельность против трудового народа Аграфена Шерстобитова. Сколь мы не старались вот с ней, это вторая гражданка с подводы – Лизавета Романова, осужденная по бытовой статье, вытащить из болота врага народа, но вода такая ледяная, все поморозились, а туё всё одно засосало.

– Дозвольте, гражданин начальник, я расскажу подробно, как всё произошло, – обратилась к Сидору вторая заключённая, лицо которой было расцарапано, а рукав телогрейки под мышкой надорван. Несмотря на серость наступающих сумерек, конвойный всё это разглядел, и перебил говорившую вопросом:

– А не следы ли борьбы у тебя на мордашке? И рукав вот-вот отвалится!

– Что вы такое говорите, гражданин начальник! Какой такой борьбы! Это я при падении поранила лицо об осколки льда. Я всё объясню! Просто наша лошадь поскользнулась на подстывшей дороге, попятилась, телега съехала под откос. Нас с напарницей, мы сидели наверху, на брикетах, выбросило, я упала ближе к берегу, она дальше, примерно в метре от меня. Слой льда оказался тонким, вот он и проломился. Пока мы опомнились, пока подбежала бригадир, время ушло, и мы ничем не смогли помочь Шерстобитовой. Да упокоится её душа!

– Ну, ты про душу-то шибко не мели! Посколь нет её у человека и в помине, – резко оборвал говорившую подоспевший второй конвойный. – Всё это выдумки царских сатрапов, как сказывал нам на политзанятиях товарищ Берзинь. Сидор, тебе опять бежать, теперь уж на вахту: сообщи о происшествии начальству. А я здесь покараулю этих растяп. Подь на два слова. – Он отвёл в сторону Сидора и вполголоса, так, чтоб не слышали заключённые, сказал: – Костёр я погасил, костровище присыпал снегом. Будем говорить, что шли впереди, намечали, как удобней ехать, чтоб колёса в снегу не увязли, потому, дескать, и не увидали, как лошадь утащило с гати.

А у подвод в это время тоже тёк приглушённый разговор.

– Вот стерва, успела-таки напоследок, пока мы не засунули её в болото, всё лицо мне оцарапать. Поди и шрамы останутся!

– Дурёха, ты радуйся, как мы быстренько сеструху твою – кхе-хе – к кикиморам на житьё определили! Аккуратно-то как сладили! А царапки твои тебе же и на пользу. Теперь уж точно и комар носа не подточит. Я грешным делом сама думала для пущего правдоподобия фейсик тебе подправить, да

спасибо Лизавете – избавила своими коготками меня от лишних хлопот. А ранки твои я, как собака, так зализу, что и следов не останется. Всё, молчи! Конвоир идёт, продолжим комедию.

Как бы то ни было, но рискованная и кровавая подмена товаркам сошла с рук. Лагерное начальство сильно приглядываться, кто есть кто, не стало, а потрепав женщин изнуряющими допросами, наказало их за нерасторопность при оказании помощи утопающему десятью сутками карцера. И дело забылось. Были, конечно, сомневающиеся в правдоподобности случившегося, но помалкивали, так как знали крепко: лишний базар себе дороже. Да и потом, мало ли дохнет в лагерях врагов народа, получая тем самым окончательное и справедливое возмездие за свои пакостные заговоры против всенародной и горячо любимой советской власти. Так думали не только вертухаи, но и некоторые из приближённых Таньки Блатной. Однако эти ещё и присовокупляли к своим думкам сладкую надежду на занятие в скором времени так кстати освободившейся негласной должности главной наперсницы бригадирши. Но здесь воздыхательниц поджидало горькое разочарование. Эта училка или как там её, с расцарапанной харей, мышастая тихоня и тюхтя, змеёй подколодной пробралась и пригрелась на пышной бригадирской груди. А им опять осталась сучья участь: шнырять по бараку, мордовать контриков, отыгрываться на забитых деревенщинах. Ещё блатных бесило, что Лизавета с неизвестно откуда взявшимся нахрапом и денно и нощно напропалую шерстила всех и вся в бараке, и попробуй, огрызнись, шагни поперёк, всё, можешь прощаться с жизнью! Обиднее же всего то, жаловались друг дружке уркаганки, что эта образованная выскочка держала всегда правильную речь, слова выговаривала будто по книжке, ни сматюгнётся, ни даст тебе по шее. Обмажет, как соплями, липким елеем и – уплывёт в бригадирский закуток. А ты – язык на плечо – и беги исполнять все её прихоти. Ах, как жаль, что ещё на этапе не разглядели, проморгали, не раздавили эту училку! Вот нынче она и дорвалась, собачье отродье, до власти! У-у, тварь интеллигентская! Слышала бы Фенька это злобное шипенье соседок по бараку, она бы восприняла его как высочайшую похвалу своему перевоплощению и наверняка загордилась бы собой!

Майское солнышко тёплыми лучами ласково перебирало пробившуюся между струганных досок трапа травку-муравку. В зоне трава росла ещё в двух местах: по кромкам сточных канав и в самом дальнем углу, у бочек и ящиков с нечистотами и мусором. Но та трава, несмотря на свою относительную молодость – лишь полтора месяца минуло, как сошёл снег, – была какая-то несвежая, жухлая и порепанная. Казалось, что и солнце бережёт свои лучи от этого чертополоха. Но почему именно на дощатых пешеходных трапах, куда редко ступала нога заключённых, те всё больше месили грязь в колоннах на проезжей части, а тротуары – это, по строжайшему распоряжению кума, привилегия лагерного персонала и военных, так вот, почему из земли сквозь неровные щели наскоро сбитых досок нежная муравка выбивалась на свет, и так жизнерадостно зеленела – этому объяснения не было. Уже и выщипывали её едва ли не с корнем, а она, глядишь, дня через три опять пробивается. Заместитель начальника лагеря по политической части топал ногами, охранники тайком посмеивались, а проходившие в колонне рядом с тротуаром зечки, скосив глаз на живительную красоту, на мгновенье оттаивали душой. Выведенный из себя этой неподдающейся травкой-муравкой замполит снял с торфяных работ десять заключенных, поставил во главе их

давно примеченную ретивую Феньку-Лизавету, и приказал за день выдрать с мясом всю эту заразу, а заодно почистить от чертополоха и полыни всю лагерную территорию.

– Это, в конце концов, советское исправительное учреждение, а не какие-то африканские джунгли. И я вам поручаю со всей ответственностью навести надлежащий порядок! – такими словами напутствовал замполит вооружённую кайлами, ломами, чтоб удобнее выворачивать доски, и штыковыми лопатами бригаду женщин.

Фенька пятерых поставила на перекопку и заравнивание земли под трапами, остальных распределила на прополку канав и помойки.

– Ой, люди добрые, помогите, умру ить! Спасайте скорёхонько, спасите! – завопила вдруг, пятясь на коленках вверх из канавы, придурковатая Ульянка, девка забитая, но старательная, та самая, которую за несговорчивость подручные Таньки Блатной избили в вагоне до полусмерти. – Там-ка змеюка, кусила меня за палец. Ох же ты мамонька моя, неужли смертушку свою в кустах я отыскала?!

На вопли сбежались женщины. Фенька-Лизавета сноровисто оторвала от выбившейся из-под юбки ситцевой нижней рубашки Ульянки узкий лоскуток, перекрутила его жгутом и стянула узлом зашедшейся в крике девахе руку выше локтя. Затем подхватила её грязную ладонь и прильнула губами к едва заметной ранке. Через секунд тридцать Фенька откинула ладонь от себя и сплюнула наземь густую слюну.

– Не реви ты, дурочка! Жить будешь. Видишь в слюне тёмное пятнышко – это змеиный яд.

– Ну, ты даёшь, Лизавета! Прям дохтур какой! Да ить так ловко и умело! – восхищённо затараторили сбившиеся в кучу женщины.

– Поживите с моё, всему научитесь, – ровным голосом оборвала их Фенька. Не станет же она рассказывать, что подобными навыками владеет каждый, кто вырос в их алтайской тайге. – Давайте, живо расходитесь по работам. Поблажки никому не дам.

Неожиданно Фенька замолкла и подняла предостерегающе правую руку. Все недоумённо переглянулись. Она неслышно, крадучись, сделала несколько шагов по направлению к канаве, остановилась, на мгновенье замерла на месте, тихонько наклонилась к траве, смело и резко сунула в неё руку. И вот уже, крепко перехваченная указательным и большим Фенькиными изящными пальцами за основание стреловидной изумрудной головки, в воздухе извивается поднятая из чертополоха зелёная, с серыми узорными разводьями вдоль чешуйчатой гибкой спины метровая змея.

– Ишь ты, какая красавица! Да будет вам известно, бабоньки, что перед вами одна из самых ядовитых змей, обитающих в России, – болотная гадюка. – Фенька почти с нежностью провела свободной рукой по блестящим чешуйкам, потом опять наклонилась, приподняла пятку левого кирзового сапога, подсунула под каблук змеиную головку и с хрустом раздавила её. – Так-то будет надёжней! При работе проявляйте осторожность: весной змеи как никогда агрессивны. И кто знает, сколько их наползло с окрестных болот сюда, на территорию. Всех спасать, одной меня не хватит. Всё, живо разошлись по местам. А ты, Ульяна, сию минуту пойдёшь со мной в лагерный медпункт, к фельдшеру, рану надо обработать йодом, чтоб заражения не было.

С этого происшествия простодушная Ульянка прониклась к Феньке таким обожанием, что скажи ей та: иди на запретку, она бы, наверное, не раздумывая, побежала на колючку. Однако Фенька делала вид, что в упор не заме-

чает этой собачьей преданности, и ничем не выделяла Ульянку из остальной серой барачной массы. Стоит напомнить, что Фенька-Лизавета, по-иезуитски провернув свой переход из разряда врагов народа на площадку, где исправлялись хоть и преступившие закон, тем не менее, социально-близкие, теперь вполне могла рассчитывать на продвижение поближе к какому-нибудь тёпленькому и сытному местечку, а там, глядишь, и срок скостят. Она уже и сейчас, можно сказать, дышала в затылок мужиковатой бригадирше. Не зря Танька Блатная стала поглядывать на неё искоса, с некоторых пор реже и как-то пресновато проходили их ночные интимные встречи. Однажды Фенька, минуя Таньку, провернула одно наваристое дельце и, что прежде было вообще неслыханно, даже не поделилась кушем с бригадиршей. Та, открыв всё это, вызвала Феньку в свой закуток, устроила неприличную сцену, и в конце, уже выкричавшись, раздражённо бросила, что, мол, пора бы куму и узнать, кого и кто утолкал в болотную тину пиявок кормить. Фенька тогда расплакалась, ползала униженно в ногах у в один миг ставшей монументально-недоступной бригадирши, клялась в вечной любви, рыдала, что, дескать, бес её попутал, но теперь-то она всё уразумела и с благодарностью вспомнила своё место. Танька тоже расчувствовалась, и это бурное объяснение закончилось у товарок не менее бурными и пылкими ласками. Любовницы помирились.

Вечерело. Тонко скрипнули петли на входной двери, и в пустой барак, стараясь не шуметь, вошла и на мгновенье в нерешительности замерла в тамбуре Ульянка. Выше её простоватого лица, окаймлённого серым платком, повязанным в бантик на подбородке, весело гудя, пронеслась по несвежему воздуху вглубь барака попавшая с улицы крупная и звучная муха. Пролетев весь проход между двухъярусными нарами, она звонко стукнулась в квадратное оконце вверху двери на противоположном конце помещения. И заметалась там среди других мух, правда, те были размером поменьше и, уже изрядно растеряв былую энергию, вяло ползали по стеклу. Ульянка, поворачивая к огороженному закутку бригадирши и берясь за дверную ручку, отрешённо посмотрела на них. К этому времени толстая муха случайно отыскала махонькую дырочку – сколок в нижнем углу оконца и выползла через этот откол в светлую кладовку с инвентарём и зарешёченным глухим окном наружу. Отныне бедной мухе уж не дышать ни свежим вольным воздухом, ни присасываться хоботком к лагерным объедкам, если только она, конечно, каким-то чудом вновь не отыщет уходящий острым конусом в кладовку махонький откол в стекле, и протиснувшись в него, пораненная о стекло, не выберется опять в затхлое помещение барака.

Ульянка мышкой проскользнула в комнатку бригадирши, опасливо вытащила из-за пазухи небольшой кожаный мешочек, трясущимися руками положила его на постель, рядом со взбитой подушкой. Затем, успокаивая себя, несколько раз вздохнула глубоко, пока не прошла дрожь, и одной рукой приподняла подушку, а другой ловко развязала тесёмку на горловине мешочка и быстро сунула его под подушку, оставив уголок наружи. Всё Ульянка делала заученно, как показывала ей Фенька. Пока вроде получалось. Сейчас надо осторожно, не оставляя ни малейшего зазора между покрывалом и подушкой, вытащить опустевший мешочек и расправить, как было до её проникновения, постель злейшего врага – Таньки Блатной. И так же незаметно покинуть барак и вернуться в хозяйственный блок, где Ульянка мыла полы, и откуда отлучилась якобы сходить по нужде в уборную.

Спустя некоторое время барак наполнился пришедшими с работ усталыми женщинами.

– Даю вам двадцать минут привести себя в порядок, отмыть рожи и, милости прошу – хлебать вечернюю баланду! – Бригадирша была явно в настроении. – А я покеда полежу, отдохну от ваших обрыдлых жабьих морд. Лизавета, ты где? Никто не видал училку? Придёт, пущай ко мне заглянет.

Заключённые промолчали, лишь угрюмо переглянулись, провожая Таньку в её закуток. Неплотно прикрыв за собой дверь, бригадирша, не разуваясь, плюхнулась на нары. День был непростым, но после обеда на их карьер пожаловал сам начальник лагеря; увидев, как ретиво идет выемка торфа и как бойко руководит Танька, он при всех сказал, что, вот, мол, какими темпами надо исправляться, чтобы как можно скорее влиться в общий строй строителей первого в мире социалистического государства. А Таньке даже будто бы намекнул, что за столь активное участие её может ждать в недалёком будущем и пересмотр срока заключения.

Танька сладко потянулась и подняла коротко стриженую голову, чтоб взбить примятую подушку. Едва она снова коснулась затылком наволочки, как сбоку, прямо за ухом раздалось злобное шипенье, и тут же последовал обжигающий удар ниже мочки уха. Обезумев от страха и боли, Танька только и успела пронзительно вскрикнуть, вскочить с нар и, выбросив вперёд правую руку, в тот же миг рухнуть навзничь шестипудовым кулём на пол. Однако этого хватило, чтобы барачницы уже бежали на истошный вскрик и последовавший тут же грохот падающего грузного тела. Зрелище их ожидало не из приятных. Дощатая дверь была распахнута. На цветастой половичке, голова на пороге, лежала мёртвая бригадирша. В широко раскрытых тускнеющих глазах её застыл животный ужас.

Только что вошедшая в помещение Фенька бесцеремонно растолкала толпу и участливо склонилась над трупом. Посидев с минуту, Фенька встала и бесцветным голосом принялась отдавать распоряжения.

– Степанида, быстро за фельдшером. Ульяна, ты – за надзирательницей. Она в соседнем бараке. Я, когда возвращалась, видела, как она туда путь держала. Всем остальным разойтись по своим местам. Эка невидаль – покойник. Все там будем. Похоже на разрыв сердца. Я сказала – все свободны. А я пока посижу, дождусь начальства здесь.

Женщины, всё так же внешне не выражая никаких чувств, разошлись каждая к своим нарам. Фенька быстрым взглядом стрельнула им вслед и, убедившись, что никто за ней не наблюдает, переступила, брезгливо обойдя остывающий труп наперстницы, через порог и замерла посреди комнатки. В полной тишине из-под нар послышалось шуршание, и гибкая гадюка заскользила по струганным доскам пола к свету, к дверям. Здесь-то её и настигла Фенька, расплющив носком сапога змеиную головку. Из коридора раздался топот ног торопящихся сюда и громко разговаривающих между собой людей. По голосам Фенька узнала фельдшера и надзирательницу. Буквально в последнюю минуту она успела засунуть чешуйчатую белобрюхую падаль обратно в кожаный мешочек, который незаметно, как было заранее оговорено, передала Феньке Ульянка, когда та пробиралась к трупу через толпу.

– Разрешите доложить, гражданин надзиратель, – неизменно ровным голосом начала вышедшая навстречу им Фенька, при этом как бы невзначай одёргивая правой рукой полу суконного пиджачка, где под мышкой был поспешно спрятан кожаный мешочек, а левую вытянув по шву. – У нас ЧП –

неожиданно умерла бригадир. – Фенька слегка наклонила красивую голову в сторону фельдшера, женщины неопределённого возраста, из вольнонаёмных. – Заключённые полагают – от разрыва сердца. На момент происшествия я находилась вне барака, задержалась у стенда с наглядной агитацией, и поэтому добавить более ничего не могу.

– Ладно, посмотрим. – Надзирательница, худая, жилистая женщина средних лет жестом пригласила фельдшера подойти ближе к трупу. – Товарищ Софья Ильинична, осмотр – это по вашей части. Посмотрите внимательней, что с бригадиром. Она ведь баба здоровенная, каких ещё поискать!

– Не скажите, товарищ Волобуева! – на тонких губах фельдшера заиграла скептическая улыбка. – Умершая – женщина полная, нездоровые круги под глазами, одутловатость – всё это говорит в пользу версии, высказанной заключёнными. Кроме того, я подозреваю, что лежащая перед нами бригадир злоупотребляла чифиром и табаком, чем, несомненно, приблизила свою кончину. Сейчас я осмотрю, нет ли каких повреждений, ссадин, следов удушья, синяков, ушибов на теле покойной, и можно смело писать заключение о причине наступления смерти. Обойдёмся, я думаю, и без вскрытия. Что, у нас нет других дел? Меня, например, ждут больные.

– Ну что же, делайте своё дело, всё подробно опишите, а я потом с результатом пойду доложить по начальству. Может быть, мы её в лагерный ледник пока на ночь? А утром начальство решит, что с ней делать. Ты, товарищ Софья Ильинична занимайся осмотром, я же пройду по бараку, опрошу, кто что видел и слышал. Гражданка Романова, назначь тех, кто понесёт труп в ледник. Ты будешь старшей.

Фенька, зорко следившая всё это время за действиями медлительной фельдшерицы, не сразу поняла, что обращаются именно к ней. Её больше беспокоило, углядит или пропустит крохотную припухшую ранку за ухом у Таньки эта расфуфыренная, и по слухам, недоучившаяся врачиха. Вроде бы пронесло. Софья Ильинична уже ощупывала толстые, подогнутые ноги, заканчивая осмотр тела.

– Ты что, уснула? Я к тебе обращаюсь, учительница.

– Простите, гражданин начальник! Такое горе! Бригадир нам всем была как мать родная. Ума не приложу, как нам дальше-то жить?

– Да не переживай ты так, Лизавета. Как говаривали при старом режиме: свято место пусто не бывает. Ты же, кажется, у покойной была её правой рукой. Вот и заменишь бригадира. Я похлопочу. Ладно, хватит балясы точить. Давай быстро сюда людей, в помощь товарищу фельдшеру.

Через два дня Танька Блатная обрела вечный покой на лагерном погосте, что ощетинился не одной сотней безымянных колышков с фанерными дощечками на косом полынном пригорке вблизи промышленной зоны.

В августе так же скоропостижно отдала Богу душу и по-собачьи преданная Феньке-Лизавете Ульянка. Её бездыханное тело нашли утром в двух шагах от дверей барака. Видно, припёрло девку среди ночи по нужде так, что выскочила в уборную в одной нижней рубашке, а уж на обратном пути хватил удар, она и брякнулась оземь, да в судорогах и кончилась. По крайней мере, так было указано в заключении, подписанном всё той же тонкогубой, всегда сонной вольнонаёмной фельдшерицей и сухой, как вобла, надзирательницей. А крохотную свежую припухшую ранку на изгибе белой шеи то ли не заметили при беглом осмотре, то ли не придали ей особого значения. Народу в зоне кишмя кишит, одной парой рук меньше или больше – это тебе не массовый падёж!

Ай да Фенька, ай да Стрелок! Выходит, зря эта шалая бабёнка ещё с граж-

данской горюнила да пеняла себя: не достичь, дескать, вовек мне высот сладких курчавых комиссаров, не встать с ними в одну шеренгу. Пошла-таки иудина наука впрок: и достигла, и встала. Потому как вероломству, изощрённости и презрения к чужой жизни комиссары теперь могли бы поучиться и у неё.

Северьян Акинфыч острой лопаткой с коротким черенком бережно окапывал кусты золотого корня. Выроет приямок рядом с коленчатым светло-зелёным стеблем, обнажит коряжистый золотисто-коричневый блестящий корешок, рукой обломит два-три отводка и опять зароет и утрамбует землю вокруг кустика. Бросит в котомку добычу, перейдёт на другую поляну, и там также рачительно убавит заросли золотого корня. Рядышком, на большой выпуклой опушке, среди буйного алтайского разноцветья двое монахинь усердно заготавливали лекарственные травы: душицу, зверобой, подорожник, шалфей, чистотел, горечавку, лабазник.

– Орина, Матрёна! Ау! Ступайте скорей! Уходить надобно – гроза сбирается.

– Идём, Северьянушка свет ты наш Акинфыч, поспешаем! Тошно мнешеньки! Оринушка, глянь-ка туча-то чернее ночи!

Монахини пробежали сквозь тальниковый мелкушник и, запыхавшись от скорого бега, встали пред Северьяном Акинфычем.

– В скит до грозы уж не поспеть, схоронимся вон под тем кедром. – Сторож указал на кряжистое дерево, что мощными толстенными корнями оплело огромную плоскую и чуть вогнутую плиту, много веков назад скатившуюся с отвесного скалистого утёса, примыкающего к белку. – Там и место есть под ветками, да и сухо будет, крона-то ишь какая густая. И под дерево не натечёт, оно ить ровно как на постаменте.

Только и успели забраться на хвойный настил под кедр, только монахини заправили выбившийся волос под туго повязанные платки, а Северьян Акинфыч приладил котомки на сучья, ближе к шершавому стволу, как хлынул ливень. Крупные капли забарабанили по широким репейным листьям, прошили дыроватые зонты дягеля – медвежьей дудки, расшевелили всё окрестное мелкотравье. Чем сильнее лило с неба, тем светлее становилось вокруг.

– Посмотрите-ка вон на туё берёзу! – Отогнув игольчатую мягкую ветвь, Северьян Акинфыч указал перстом в сторону белоствольной красавицы на краю опушки. Старик не скрывал своего восхищения: – Каков, однако ж, богатырь летучий!

На макушке берёзы, вцепившись лапами в толстое ответвление, восседал ястреб-тетеревятник. Чем-то он неуловимо напоминал горца в бурке, с приподнятыми плечами, но почему-то без папахи, с приглаженными назад волосами. Горбатый клюв, круглые безжалостные вращающиеся глаза, да и весь вид ястреба был грозен и неприступен. Но вот птица медленно взмахнула широкими тёмными крыльями один раз, другой, будто зачерпывая струи дождя, затем, потянувшись, сомкнула их над головой, опустила, и в мгновенье одним резким движением стряхнула с перьев бисерные капельки воды. Так ястреб-тетеревятник проделал несколько раз кряду, пока, наконец, не сложил промытые крылья и не принял своё прежнее положение. Однако сейчас он уже не казался ни грозным, ни неприступным, что-то в нём проглядывало доброе и умиротворённое.

– А он ить довольнёхонек, что умылся. Испил, так сказать, благодати небесной, – расчувствовался старик. – Истинно говорю вам, доченьки: благолепно устроено бытие тварей Божьих. И человече должон жить в радости и в трудах праведных, и нести в молитвах благодарность Осподу нашему Исусу Христу за даное нам в удел.

Северьян Акинфыч помолчал. Не проронили ни слова и монахини. Тишина, в которой лишь шелестел по иглам и листьям дождь, стояла благостной, сосредоточенной на самой себе. Вдруг вверху, в лилово-чёрной туче что-то блеснуло, как будто треснуло, разломилось и с грохотом покатилось, цепляясь за невидимые отсюда, скрытые в кисее ливня горные хребты. Монахини боязливо перекрестились и зашептали молитвы. Сторож тоже осенил себя двуперстным крестным знамением и весь напрягся, вслушиваясь в затихающий грохот. Минуты две спустя Северьян Акинфыч тихо обронил:

– А ить что-то там, в высях, неладное стряслось.

На третьи сутки, когда тучи опростались от влаги и, невесомые, растаяли, рассеялись по ущельям и лесистым заугольям, а солнышко обсушило лога и тропы, решил Акинфыч взобраться на белок, проведать, что ж там такое невероятное свершилось, откуль взялся грохот, чуть не порвавший им ушные перепонки. Вернулся он, когда солнечный латунный диск оплавлял скалистые пики западного, изогнутого в долину, хребта, а тени деревьев и ближних сопок длинно преломлялись через выкошенные вокруг монастыря луговины.

Северьян Акинфыч прямиком направился в келью наставницы, осторожно постучал в низенькую дверцу, дождался, пока матушка Варвара вышла к нему, что-то молвил ей тихим голосом, и они, беседуя вполголоса, спустились по тропинке к реке.

– Так что, матушка, нету хода нам отсель. Молонья расщепила скалистый утёс на вершине, он пал и перегородил отвесной стеной наш проход. Я полдня отыскивал улазы, хошь бы щель какую, да где там, скала легла как кирпич в кладку.

– На всё Божья воля, Северьян. Значит, так Ему угодно, чтобы мы несли своё послушание в затворе. Хлебушко есть, скотинка пасётся, пчёлка трудится. Будем же и мы постом да смиреной молитвой, подёнными работами блюсти заповеданную нам отцами нашими веру древлего благочестия. Господь всемилостив, он не оставит нас. А монахиням я нынче же перед обедней всё и обскажу. Ступай, Северьян, а я опнусь минутку другую у живой воды.

Матушка Варвара присела на травку-муравку и стала задумчиво смотреть на пробегающие струи прозрачной реки. Наставнице надо было действительно побыть одной, чтобы до конца осмыслить случившееся с ними. Через некоторое время она глубоко и успокоено вздохнула, поднялась с земли и твёрдой походкой направилась в сторону скита.

А в это время по ту сторону белка из тайги к реке вышел отряд огэпэушников во главе с Василием Ширяевым. Вторую неделю рыскали чекисты по отдалённым водоразделам и медвежьим уголкам, надеясь отыскать хоть какой-то след сгинувших в глухомань кержаков, а если посчастливится, то и разорить-выжечь на этот раз уж наверняка, до последнего пенька, монастырский потаённый скит, а самих монахинь доставить под конвоем в Талов. Бессудно вершить расправу над мракобесами Васька, напуганный судьбой Кишки Курощупа и его команды, теперь опасался. Тогда ведь и он, оговоренный на допросах бывшими подчинёнными, кое-как отбрехался, отвёл от себя подозрения тем, что упёрся на своём: не давал, мол, я таких диких приказов насчёт старообрядцев. Бумажки-то ить не единой с распоряженьями не было писано им. На что в дураках ходить! А на очных ставках затыкал клеветникам рты, зычно клеймя их как врагов революционного народа и наймитов международной буржуазии и недобитых империалистов. Ох, как

пригодился тогда Ваське митинговый опыт, приобретённый им ещё в феврале 17-го, сразу после разгрома их Нерчинской каторги.

Проводник из сознательных кержаков, недавно порвавший со своим тёмным прошлым и пришедший служить в органы, уверял, что эти, вставшие неприступной отвесной стеной, обледенелые верхотуры проходимы. Тятька, мол, сказывал, там, за грядами обитается долина неописуемой красоты и сказочного богатства. Но дойти туда, дескать, может только человек с открытой душой и чистыми помыслами. Услышав эту чушь однажды вечером у походного костра, Васька Ширяев сразу же оборвал и едко высмеял завравшегося кержака. Ты, мол, чё, на политзанятьях тока и делаешь, што дрыхнешь, коль опять да снова блажить начинаешь. Чище помыслов, чем у нашей горячо любимой партии, нет ни у кого. А самые открытые души – это у нас, верных и преданных делу Ленина и Сталина чекистов! Потому-то, веди смело к своему непроходимому хребту. Уж нам-то он сразу откроется, а там мы и посмотрим, правдивы ли байки твоего несознательного папашки-мракобеса. И вот сегодня они напрасно протолклись у излога громадных, закрывающих полнеба гор. Змеилось в рослых бодыльях чемерицы что-то схожее с тропкой, то ли козьей, то ли маральей, поди, разбери, когда змейка эта истаивала, терялась, не успев и обозначиться, указать хотя бы махонькое какое направление: идите, мол, туда, и придёте, куда добиваетесь. Вишь ты, каменьев-то сколь расколотых накрошено по крутым склонам! Неровен час – ишо сорвутся, да и придавят вместе с лошадьми, которые и теперь-то уж глаз испуганно пялят наверх и шарахаются в сторону при малейшем шуршанье с горы. Ну, кержак, ну, удружил, брехло! Уходить надобно, вертаться в город. Видать, запропастилось староверское отродье в такие щели, что и само себя навряд ли отыщет, а то и в Китае, небось, уж давно якшаются с косоглазыми энти хреновы бегунцы, а мы здесь рыщи по буреломам да завалам. По коням, товарищи бойцы! Поход окончен! Возвращаемся!

Часть вторая

1.

Минуло несколько лет. Сколько воды утекло и вернулось дождём ли, снегом ли, никто не считал. Подлунный мир бурлил, раскалывался на куски, перекраивался, и вновь срастался, с кровавыми швами в местах соприкосновенья. Планета набухала взаимными претензиями, а в мистических котлах преисподней закипало смрадное варево, которое, не дав ему остыть, зачерпывали в непроливаемые колбочки своими перепончатыми лапками с острыми мохнатыми коготками служки сатаны. Невидимо несясь со скоростью тьмы через городские канализационные коллекторы, бесы доставляли это варево в столицы, где молниеносно и безошибочно отыскав нужные головы, как правило, это были либо короли и президенты, либо премьер-министры, попадались и промышленные магнаты, через ушные раковины безболезненно впрыскивали дьявольский отвар в их державные мозги. Остатки зелья расплёскивались по головам менее значимым, но зато самозабвенно исполнительным и тщеславным до корней волос и мозолей на пятках. Назревала мировая война.

В тенистом сквере Таловского военного комиссариата группами, негромко переговариваясь между собой, стояли люди. За забором, на полянке у коновязи в ряд выстроилось несколько телег с не распряжёнными разно-

мастными конями; на них сюда, в военкомат, на призывной пункт были привезены из окрестных деревень и заимок молодые ребята, которым сегодня идти на службу в Красную армию. На въезде в ограду просигналили автомобили. Часовой на воротах выбежал из будки и поднял полосатый шлагбаум. Во двор въехали и, развернувшись на площади, встали десять порожних полуторок с лавками на бортовых кузовах. Из здания комиссариата вышел щеголеватый офицер с тремя шпалами в петлицах и зычным голосом скомандовал всем призывникам строиться. Владимир Антропов, вымахавший за эти годы в рослого парня, поочерёдно обнял постаревшую тётку Марфу и младшего брата, угловатого пятнадцатилетнего Валерку. После этого он схватил в охапку и прижал к себе трёх младших сестрёнок Веру, Катюшу и Настеньку. Был конец мая и сёстёр родня отправила погостить из Усть-Каменного в Талов к старшим братьям. Расцеловав зардевшихся сестрёнок, Владимир обратился к брату.

– Братка, ты остаёшься здесь, на гражданке, за старшего. Береги тётю Марфу, слушайся её во всём. Сестёр в обиду не давай. Отгостят, сам отвези в Усть-Каменное. Ну, и без послаблений – тренируй не только тело, но и волю. Я как отслужу, тебе идти. Должен быть мне достойной сменой. Давай пять, брат!

И Владимир, крепко, по-мужски, пожал брату руку. Когда он выпустил смятую Валеркину ладонь, тот весело потряс рукой и сказал:

– Ничего, братка, к твоему возвращенью со службы я накачаю мускулы, и тогда посмотрим, кто кого пережмёт.

Тётка Марфа обмакнула концом цветастого кашемирового платка уголки влажных глаз и тайком перекрестила уходящего к военкомату племянника. Как только прозвучала команда: «По машинам!», духовой оркестр заиграл марш «Прощание славянки» и призывники, разбившись на отделения, начали погрузку в полуторки через задние откинутые борта.

Барханы, словно жёлтые песчаные волны, безмолвно наплывали со всех раскалённых сторон на горно-стрелковый полк, что вот уже третий день походным маршем двигался по древней, натоптанной ещё блистательными фалангами Александра Великого, дороге по направлению из Ашхабада к Иранской границе. Минуло три месяца с того дня, когда сибиряки в глинобитном гарнизоне Термеза, где они проходили курс молодого бойца, впервые увидели и почувствовали хрусткий острый песок на зубах. Сегодня же это были закалённые парни с иссечёнными самумом загорелыми лицами, и хотя у некоторых ещё гноились от песчаных бурь глаза, взгляд у солдат был уже обвыкшим, прищурено-твёрдым.

– Колонна сто-ой! – гулко прокатилось над головами идущих. – Лагерь разби-ить! Приготовиться к ночлегу-у!

Оно и, правда, диск солнца уже наполовину погрузился в далёкие зыбкие барханы. Небо окрасилось в малиновый цвет, ещё час-полтора, и на пустыню падут сумерки, а там и ночь, холодная, промозглая. Вот ведь загадка природы: днём – испепеляющая всё живое жара, ночью зуб на зуб не попадает от холодрыги! То ли дело – зелёная наша тайга, ручьи со студёной сладкой водичкой. Так бы припал и пил, пил, да где там! В прорезиненном курдюке мутная и вонючая, тёплая, да вдобавок и до горечи солоноватая вода, ей и жажду-то не утолить и не напиться, так, лишь пузо растёт как барабан, а пить всё одно хочется. А ещё и сухари из сухого пайка, вон и дата на упаковке: 1921 год. Ровесники нам, ребята! Эх, кабы сейчас да пшеничный калач домашний, да кринку молочка из погреба!

– Рядовой Антропов! Отставить разговорчики, недостойные бойца Красной рабоче-крестьянской армии! – к солдатам, заканчивающим ужин, из темноты вышел политрук Топоров. – Я требую внимания! У меня есть новость, она касается пункта нашего прибытия. Я только что был у командира полка, он приказал довести до сведения всего личного состава, что не позднее, чем через сутки, мы пересечём государственную границу СССР и выйдем на территорию дружественного нам Ирана, – политрук присел к костру и вытащил из планшетки лист плотной бумаги. – Сейчас я ознакомлю вас, товарищи красноармейцы, с текстом ноты Молотова шаху Ирана. Здесь говорится, что ещё в 1821 году Россия заключила с Персией договор о том, что если третий неприятель пойдёт на Россию войной, она имеет право на переход границы с Персией, и размещение на её территории своих войск. И Персия, в случае нападения не неё третьей страны, также имеет право на ввод в Россию своих подразделений. Спустя сто лет этот договор был закреплён правительством РСФСР. Как вы знаете, товарищи, на западе нашей Родины продолжаются кровопролитные бои с фашистскими захватчиками, которые два месяца назад вероломно напали на СССР. Наша задача войти в Иран, занять крепость Горган, пресечь вылазки басмачей и обеспечить безопасный провоз стратегических грузов, идущих из Америки через Иран в Советский Союз. Задача ясна, товарищи красноармейцы?

– Так точно, товарищ политрук!

– Отдыхайте, завтра будет трудный день.

Божья коровка ползала по упругому стеблю ромашки со смятыми листиками, что дугой, зелёным мостиком соединял два суглинистых бугорка только что выброшенной из окопа земли. Жёлтый цветок с белыми лепестками был придавлен комком и, как не старалась божья коровка вползти в щелку, откуда исходил манящий запах цветка, ничего у неё не получалось. Прокоп Загайнов аккуратно, чтоб не рассыпать землицу и не придавить тем самым насекомое, двумя пальцами приподнял комок и освободил ромашку. Божья коровка здесь же взобралась в корзинку цветка и принялась деловито перебирать усиками крохотные тычинки.

– Вишь ты, мигом оседлала ниву и приступила к сбору урожая. – Степан Раскатов, привалившись гимнастёркой к тыльной стенке окопа, тоже с интересом наблюдал за хлопотами оранжевой, в чёрную крапинку, божьей коровки. Но вдруг тень нашла на его скуластое лицо, и он горько вздохнул: – Скоро и мы приступим к жатве, тока вот у нас она будет, как видно, долгой и кровавой.

– Стёпушка, да мы ить на войне. А тут – не ты, дак тебя! – живо откликнулся Прокоп. – К нам вломились, нашу землю жгут, поля топчут, народ русский истребляют. Кто, как не мы, должон иродам ответить! Видел, когда шли сюда от Смоленска, одни горелые трубы от деревень и сёл остались. Помнишь ли, как нас каратели пожгли тогда?

– Как забыть, коль родовые гнёзда выжгли, а нас понудили к исходу в Саяны.

– Сдаётся мне, что нынешние изверги и главари тех, таловских, одного поля ягодки. Только эти, иноземные, ишо страшней. Так что, копай окоп глубже, да пристраивай винтовку ладно, дел невпроворот.

– Твои-то чё пишут? – переменил тему разговора Степан. Накануне была почта, и оба получили письма от жён, оставшихся с малыми ребятишками в Хакасии. – Моя Настасья сказывает, что покуль терпимо, орех в тайге уродился, хлеба вызревают.

– Мои тоже не жалуются. Егорша нонче в первый класс пойдёт, в лесп-

ромхозовскую школу. Смышлёный малец. Любаня и Маруся, отписывает Ориша, по дому уже вовсю пособляют.

– И мои, слава Богу, помощниками растут.

Русское солнышко встало в зенит, отечески лаская не жаркими, щедрыми лучами тугие колосья спеющей ржи на светло-жёлтом поле перед окопами, соединёнными узкими ходами сообщений, зелёный лесок за хлебами, роту сибиряков, накануне вечером снятую с пригородной, второй линии обороны и переброшенную на оголённый участок фронта. Позавчера к западу от этого леса был ожесточённый, с большими потерями с нашей стороны, скоротечный бой. Рослые как на подбор эсэсовцы шутя обратили в паническое бегство измотанные непрерывными боями остатки пехотного полка, многих постреляли, покололи штыками и финками, десятка полтора красноармейцев взяли в плен.

Командование приняло решение бросить на это опасное направление сибиряков, сформировали роту, вооружили, кого автоматами, кому досталась винтовка, кому штык да сапёрная лопатка. Степану вручили ручной пулемёт с круглым диском. Глубокой ночью бойцы неслышно прошли вдоль болота и к утру окопались на опушке перед ржаным полем. Теперь вот ждали противника.

– Робята, ещё раз проверьте оружие, у кого есть, – сильно окая, обратился к красноармейцам, проходя по окопам, старшина роты Иван Никитич Тарасов, седоусый сорокапятилетний волжанин, воевавший с немцем ещё в первую мировую. – Подпускайте фашиста ближе. Стрелять наверняка, патроны беречь. Давайте, сынки, не подведём матушку-Россию. Друг дружку держитесь. С Богом, сибирячки!

На раскидистой ольхе в толстых ветках пристроилась седая крупная ворона и давай, заунывно постанывая, каркать. На крик из леса подлетели такие же неопрятные товарки, расселись по деревьям рядом, и стали наперебой подкаркивать зачинательнице, как они это делали и в прежние столетия, когда на землю нашу зарились то тевтоны, то поляки, то французы. Сибиряки переглянулись, удобней переложили оружие и продолжили наблюдение за лесом напротив, расстояние до которого было метров сто. Вдруг низ деревьев разом почернел, это из чащи выступили, видимо, всё те же эсэсовцы. Блеснула на солнце сталь автоматов, послышалось отдалённое клацанье, шеренга выровнялась, раздалась короткая, похожая на лай, команда и цепь рослых, светловолосых солдат и офицеров, в чёрных мундирах, с засученными до локтей рукавами, выставив перед собой шмайссеры, без единого выстрела пошла, приминая рожь, прямо на окопы сибиряков. Вот эсэсовцы уже на середине поля, хорошо видны их уверенные и самодовольные, как у тевтонских рыцарей из кинокартины «Александр Невский», лица. Идут молча, тишина начинает приобретать зловещие оттенки. Даже вороны и те, раскрыв влажные от набегающей слюны клювы, притихли. И эту-то, натянутую, как траурный шёлк, тишину в клочья разорвал бас командира роты, двухметрового гиганта красноярца, капитана Завьялова.

– Братцы-сибиряки! Гляньте-ка! Фашист берёт на испуг! Идёт в психическую атаку! Встретим гада! В рукопашную! За мной!!!

Бойцы, как один, поднялись из окопов, молча подровняли строй и решительно двинулись вперёд. Стенка на стенку. Старинная русская богатырская забава сибирякам знакома сызмальства. И зачин этого боя будто бы и напоминал её, однако ж, здесь вперемешку с кулаками штыки и автоматы, а про традиционную мировую с братиной по кругу – это уж увольте! Тут и

смерть не помирит. Что ж, фрицы, сами выбрали драку, а нам не привыкать! В первые минут пятнадцать над полем густо стоял страшный лязг и скрежет металла об металл, он заглушал редкие вскрики и стоны раненых и умирающих. Бились насмерть, но молча, сжав до боли зубы, пока по этим сжатым зубам не влепляли прикладом, выламывая заодно и челюсти. Летели сгустки крови, катились помятые каски, валились замертво искромсанные чёрные мундиры со свастикой, распластывались по вытоптанной, перепаханной сапогами ржи кровавые красноармейские гимнастёрки. По не обмолоченным, поваленным жёлтым колосьям стекали, капая наземь, светло-зелёные человеческие мозги.

Сдали-таки у эсэсовцев нервы, судорожно сдёрнув с предохранителей оружие, принялись они палить панически в белый свет, да поздно уж было. Штыком, прикладом, финкой да сапёрной острой лопатой сибиряки очищали ржаное жито от тевтонской нечисти, снося в азарте надменные германские черепа. Как зайцы, побежали вприпрыжку обратно в лес остатки прославленной особой роты, состоящей сплошь из любимцев фюрера. Психическая атака – этот её коронный номер, показанный не раз на театре военных действий в период блицкрига в западноевропейских странах, на русских просторах захлебнулся в собственной кровавой блевотине. Охота у эсэсовцев пощеголять своим арийским презрением к смерти сибиряками здесь, на Смоленщине, была отбита раз и навсегда.

Над безмолвным, исковерканным полем в яркой синеве кружили, иногда пикируя на растерзанные и кое-где поклёванные трупы в чёрных рваных лохмотьях, уже не только вороны, но и коршуны-канюки. Сибиряки, собрав трофейное оружие и подобрав своих убитых и раненых, вернулись в окопы.

– Ну, как, мужики, с почином! – капитан Завьялов в командирской фуражке, надетой на перевязанный высокий лоб, дружелюбно потрепал Прокопа по плечу и осторожно опустил свою медвежью лапу, опоясанную тугими жилистыми узлами, на кисть окровавленной, перебинтованной выше локтя, правой руки Степана.

– Чем зацепило?

– Финкой, товарищ капитан. Вот она, миленькая, с наборной ручкой, – Степан указал на бруствер, где лежал, лезвием в сторону поля, инкрустированный жемчугом кинжал. – Больно прытким оказался офицерик. Да его хорошо видать от нас – вон он с краю валяется. Дюжий, однако, был при жизни. Едва совладал.

– Кость цела? Может быть, в санбат? Он здесь, за болотом.

– Пустяки. Мякоть поцарапало. Мы с Прокошей обработали рану, а заодно и соскребли с себя грязь и кровь, да освежились в ключике за той вон посечённой берёзкой у мочажины. Всё ладом. Да и куда я, ить фашисты сберутся с силой и опять попрут. А у нас народу тоже выбило немало.

– Нам бы гранат ишо, товарищ командир? – подал голос молчавший до этого Прокоп. – Автоматами да рожками к ним разжились, а вдруг танки?

– Сейчас же распоряжусь. На КП есть малость. Посыльный немедля принесёт.

И капитан Завьялов скорым шагом ушёл по ходу сообщения по направлению к командному пункту. Только и успели подкрепиться кержаки сухим пайком, запив сухари и тушёнку тёплой водой из фляжки, как в окопе вырос сухощавый и подвижный Володька Ершов, посыльный командира роты.

– Вот вам гостинец от товарища капитана, – Володька ловко извлёк из вещ-

мешка шесть противотанковых гранат и выложил на бруствер рядышком с трофейной финкой. – Поторопились вы, братцы, с едой, – усмехнулся посыльный и помахал перед лицами Прокопа и Степана алюминиевой фляжкой, в которой что-то булькало. – Наркомовские ваши сто грамм. Как говорится: война войной, а выпить хочется всегда. Правда, сытое пузо и спирт не возьмёт!

Балагур посыльный был родом из Бодайбо, с золотых приисков. Несмотря на свой скромный рост, равных в драке ему не было. Володька был подвижным, как ртуть. Удар имел всегда точный и хлёсткий. Противник, как правило, не отлетал, собирая стулья и столы, а как бы складывался на месте и без сознанья падал вперёд, на своё искровавленное лицо. Неуязвимый и вёрткий в рукопашной, он и в снабжении и обеспечении роты дополнительным провиантом, боезапасом, а также разными бытовыми мелочами, был незаменим. Бойцы в шутку интересовались: а не было ли, мол, у тебя в роду окромя драчунов, кого и по купеческой линии? На что Володька добродушно отвечал: а как же, дескать, без них, без купцов-то в Сибири!

Дед, мол, был известным смолоду на реке Лене фартовым золотопромышленником, не только прииски имел, а и баржи, лес сплавлял, пушниной баловался. Да втюрился, бедолага, в дочку Иркутского губернатора. Фифа была, говорят, ещё та, вся воздушная, с манерами, изъяснялась только по-французски. Дед Артемий, батя сказывал, и язык иноземный через пень колоду выучил, чтобы, значит, про любовь свою ей без толмача поведать. Однако дамочка не оценила этого шага и, посмеявшись прилюдно над тем, что какой-то сибирский валенок просит на ломаном французском её руки, вышла замуж за местного дворянина. Дед, с горя, конечно, не стал топиться в Ангаре напротив губернаторского дворца, но зато потопил себя в таком загуле, о котором с придыханием от восхищения вспоминали чуть ли не до революции и в самых отдалённых уголках Иркутской губернии.

Спустил Артемий всё своё состояние быстро и легко, изрядно помогли и пронырливые приказчики, но дед зла на них не держал. Протрезвев, придя в себя, вернулся в старатели, невдолге стукнуло сорок, женился, наплодил ребятишек, однако разбогатеть больше случая не представилось, поскольку вылупившийся новый век тут же захворал неслыханными переменами, на российских просторах повеяли вихри враждебные, и вскоре брат на брата грудью пошёл. «Так что, – весело заканчивал Володька, – я, как ни крути, а родом из конченых пролетариев».

– Ну, земляки, бывайте – держите оборону, а мне бежать до командира, покуль гости не нагрянули, – и Володька Ершов испарился, будто и не стоял только что рядом.

– Стёпа, примем по сто, аль как?

– Я ишо от драки не остыл. Кураж и так бьёт через край, а туманить голову чё-то не хочется. Ты прими, коль охота имеется.

– Не, я бы в компании, а одному хлебать зелье без привычки не с руки. Приберём до лучших времён. Глянь-ка, Степан, никак танки по нашу душу!

– Два праздника у нас, Прокоша, в один день. Вот и погуляем на славу!

Последние слова Степана Раскатова Прокоп Загайнов вряд ли расслышал из-за треска и грохота от разрывов снарядов. До десятка немецких танков двигалось ходко через поле в сторону окопов, выплёвывая из жерла пушек огненные молнии и объезжая тяжёлыми гусеницами разбросанные во ржи трупы эсэсовцев.

– Помяни нас, Господи, во Царствии Своём! – горячо прошептал Прокоп, протискиваясь в щель на дне окопа, когда бронированная махина на-

висла над земляным бруствером. Танк крутнулся на гусенице, обрушивая огневую ячейку, и пошёл вдоль края поля, утюжа и зарывая окопы и хода сообщения. Однако проехать много он не успел, сзади, из земли во весь рост поднялся оглоушенный Прокоп и метнул гранату точно в бензобаки. Танк вспыхнул, как факел. Из открывшегося верхнего люка начали выскакивать танкисты в шлемах. Их одиночными выстрелами, экономя патроны, сразил оклемавшийся от утюжки Степан. Прокоп ползком и короткими перебежками подобрался ко второму бронированному чудовищу, методично расстреливающему сбоку бревенчатый, в три наката, блиндаж КП капитана Завьялова. Взмах руки – и ещё один танк объят синим пламенем. Тем временем Степан, таща с собой пулемёт и винтовку, прополз вперёд и притаился в глубокой воронке, зорко, как на охоте, высматривая противника. Цепочки гитлеровцев в мышиных френчах, паля перед собой из автоматов с длинными рожками, бежали на наши позиции. Степан дал прицельную очередь по цепи. Несколько гитлеровцев опрокинулось в рожь, остальные залегли. Степан с винтовкой переполз на другой край воронки и одиночными выстрелами по бледным пятнам под тёмно-зелёными касками сразил ещё семерых фашистов.

Затем он вновь переполз к пулемёту и короткими очередями принудил оставшихся в живых сначала вжаться в землю, а там и вовсе, пятясь и беспорядочно отстреливаясь, уползти назад, к лесу. Краем глаза Степан заметил, что три уцелевших танка, включив заднюю скорость, кромсая и вминая в землю чёрные и мышиные мундиры, скорым ходом отступают с поля боя. «Молодцы, земляки, пусть знают нечестивцы наш сибирский характер!» – мысленно похвалил однополчан Степан. Вот и второй праздник обудёнкой отгуляли по-русски. Но где же Прокоп? Жив ли? Приподнявшись из укрытия, Раскатов внимательно оглядел изрытое воронками поле с догорающими танками, развороченную, с торчащими в небо брёвнами, всего лишь минувшей ночью сооружённую землянку, немногочисленных красноармейцев в запылённых пилотках и касках, копошащихся в окопах. Однако среди них не было Прокопа. Степан перебежками добрался до своей боевой, обваленной ячейки, прислонил к стенке пулемёт и винтовку, и начал тщательно обследовать все воронки и окопы поблизости.

Истекающего кровью, раненого осколком в грудь навылет, контуженого Прокопа он отыскал метрах в пятнадцати впереди наших позиций. Тот сидел на дне воронки и, скрипя зубами от нестерпимой боли, пытался сам себя перевязать бинтом из валявшегося рядом индивидуального пакета. Бинт был насквозь пропитан кровью, разодранная гимнастёрка тоже вся промокла, а кровь всё била толчками из ран на спине и груди. Степан без лишних разговоров разрезал и снял с пытающегося слабо улыбнуться Прокопа гимнастёрку, смочил тампоны водкой из прихваченной с собой фляжки, обработал рваные края ран и туго перевязал обмякшее туловище друга. Стараясь случайно не задеть свою давешнюю, запекшуюся рану выше локтя, стянул с себя и расстелил гимнастёрку, затем бережно уложил теряющего сознание от большой потери крови Прокопа на неё; стараясь не причинить ему боль, связал рукава, пропустив один под мышкой, а другой через шею и осторожно пополз с тяжелораненым к нашим окопам.

Два дюжих пожилых санитара с носилками встретили Степана в размётанном снарядами ходе сообщения, аккуратно переложили находящегося без памяти Прокопа к себе и скорым шагом побежали по тропке через болото в медсанбат. Степан только и успел напоследок пожать безвольно свисающую с носилок правую руку друга и двуперстно перекрестить его. Проводив санита-

ров, он отряхнул от прилипшей земли свою гимнастёрку, влез в неё и, приведя себя в порядок, отправился узнать, что стало с капитаном Завьяловым, жив ли командир, или же погиб при прямом попадании снаряда в блиндаж.

– Кого ищешь, рядовой Раскатов? – раздался над самым ухом обследующего развалины командирской землянки Степана характерный завьяловский бас. – Уж не мои ли героические останки? Так вот он я, живой стою перед тобой. Молодцы, братцы, видел, как вы с Загайновым держали правый фланг. Как он? Куда ранен?

– Осколком в грудь навылет, товарищ командир. Вроде лёгкие не задеты – а то бы кровью харкал. Однако большая потеря крови. Отправлен в санбат.

– Пока светло, надо похоронить убитых, собрать оружие и боеприпасы. Да, Степан, старшина Тарасов погиб, поэтому я на тебя временно, до подхода подкрепленья, возлагаю все его обязанности. Проследи за исполнением моих распоряжений, накорми бойцов, выдай по сто грамм водки. Я думаю, фашисты пока к нам не сунутся, но всё равно бдительности не терять.

– Товарищ капитан, командир полка на связи! – Володька Ершов, как всегда, появился ниоткуда и, держа под мышкой полевой аппарат со свисающим проводом, быстро протянул Завьялову эбонитовую телефонную трубку.

Завьялов коротко переговорил по телефону, пробасил в трубку: «Так точно! Есть исполнять!» и, вернув её посыльному, обернулся к Степану:

– Поступила команда оставить позиции и отходить к Смоленску. Немцы прорвали оборону левее нас, возникла опасность окружения. Времени в обрез. Полчаса даю на то, чтобы попрощаться с погибшими товарищами и похоронить их, через час скрытно отходим. Выполнять приказ!

Крепость Горган, с возведёнными в незапамятные века тёсанными каменными неприступными стенами, перекрывала караванный путь, что змеился извилистым спуском из горной теснины с одной стороны, и уходил на плоскогорье брусчатой дорогой, начинающейся сразу за тяжёлыми дубовыми воротами и за крепостным рвом, с другой. Миновать, как-то обойти крепость одинокому путнику, верблюжьему каравану или автомобильной колонне было нельзя – цитадель, как серая пломба, затыкала всё свободное пространство между убелёнными снежными, схожими с колпаками дервишей, остроконечными вершинами. Вся окрестная местность хорошо простреливалась из лука, всякий самый потаённый уголок и овечья тропка были на расстоянье броска копья, а что уж здесь говорить об оружейном выстреле: всё рядышком, как мишени в учебном тире.

– Товарищи красноармейцы! На сегодняшних занятиях мы будем отрабатывать приёмы с винтовкой во время рукопашного боя в окопе, – политрук Топоров, прохаживаясь перед строем, обвёл строгим взглядом вытянувшийся по команде «смирно» взвод. – Вопросы есть? Вопросов нет. Разбиться по парам и приступить к отработке приёмов!

Красноармейцы попрыгали с длинными винтовками-трёхлинейками, образца 1897 года, в надолбленные в стылой каменистой земле за крепостной стеной тесные окопы и принялись неуклюже орудовать этим допотопным оружием, задевая то штыком, то прикладом отвесные края и брустверы. Стоял бесснежный, с колючим пронизывающим ветром декабрь. Бойцы рвались на фронт, но все их рапорты оставались без ответа. Устно же политруком им было сказано: здесь тоже, мол, наиответственнейший участок, так что сидите и не рыпайтесь. Начальству, дескать, виднее.

И вот сейчас, выслушав эту абсурдную, лишённую всякого здравого смысла вводную, Володя Антропов тоже прыгнул в окоп, где, бестолково побарахтавшись минут пять с напарником, не выдержал и недоумённо крикнул, чтоб услыхали все:

– Да как же с такой бандурой развернуться, товарищ политрук! Пока крутишься, запинаешься, сто раз ведь убьют! Нам бы оружие покороче, да поновей!

– Рядовой Антропов! Отставить занятия! – одутловатое лицо политрука Топорова мгновенно налилось кровью. – Товарищ сержант, арестовать рядового за недопустимые паникёрские настроения и враждебные, недостойные бойца Красной армии разговоры! И немедленно препроводить на гарнизонную гауптвахту! Я давно слежу за этим ловко замаскировавшимся подкулачником. Всё его не устраивает, всем недоволен. То ему калачи с молоком подавай, то новую винтовку. Моё терпение лопнуло. Чтобы впредь другим было не повадно, этого разгильдяя и двурушника мы, в соответствии с суровым законом военного времени, предадим суду трибунала! – багровый от возмущения политрук притопнул в негодовании яловым сапогом о стылый грунт, смерил долгим злым взглядом понуро стоящего перед ним в шинели и уже без ремня здоровенного Антропова и холодно бросил сержанту: – Увести арестованного!

Неделю протомился в холодном каменном мешке гауптвахты рядовой Антропов. О чём только не передумал он, глядя в узкое, как амбразура, зарешёченное оконце на облетевшую апельсиновую рощу, что росла прямо за квадратным плацем. Ждал худшего. На то были основания. Заступавшие в караул земляки, выводя арестованного раз в сутки на прогулку, сообщали шепотом, что в гарнизоне ждут очередного прохождения каравана союзников с оружием, медикаментами и провиантом, охрана будет наша, советская. Вот ей-то, якобы, и передадут Антропова для доставки его на родину, в Советский Союз. А там трибунал, и его решение наверняка будет суровым: штабные писари проболтались о длиннющей петиции, накарябанной политруком на «врага народа» Антропова. В ней, конечно, ни слова правды, но всё представлено так, что будто бы бдительный политрук, коммунист Топоров, успешно вскрыл и разоблачил деятельность одного глубоко законспирированного фашистского прихвостня.

На седьмые сутки утром на гауптвахту нагрянул с проверкой сам комполка, герой боёв на озере Хасан, Дмитрий Алексеевич Лосев. Стремительной походкой он прошёл по коридору, заглянул в общие камеры, в которых отбывали наказание за различные мелкие нарушения устава внутренней службы рядовые красноармейцы и младший командный состав. Отечески пожурив бойцов, он приказал начальнику караула выдать им сейчас же все вещи и принадлежности, изъятые при аресте, а красноармейцам немедленно возвращаться в свои подразделения и готовиться к маршу. После этого комполка направился к одиночной камере, где сидел рядовой Антропов. За Лосевым едва ли не вприпрыжку заспешил находящийся среди сопровождающих офицеров политрук Топоров. На ходу он что-то горячо пытался объяснить сухощавому и подтянутому Лосеву. Однако комполка даже не делал вида, что слушает его. Звякнул засов, и массивная железная дверь со скрипом отворилась. Командир шагнул в камеру, навстречу ему вытянулся в струнку Антропов. Лосев пытливо посмотрел прямо в глаза рядовому, однако тот не смутился и взгляда не отвёл.

– Ты, товарищ боец, ратуешь за то, чтобы вас обеспечили новым, современным оружием?

– Так точно, товарищ комполка.

– Что ж, ты его в скором времени получишь, – видно было, что у Лосева приподнятое настроение, и он этого не скрывал. – И не только получишь, а и опробуешь в бою. Это я тебе обещаю! Вернуть красноармейцу его вещи, и пусть готовится к походу.

– Но, товарищ командир, – это же скрытый, замаскированный враг! – начал было растерянный Топоров, однако комполка резко оборвал его:

– Где ты, товарищ политрук увидел врага? В этом богатыре-красноармейце, справедливо требующем себе и товарищам хорошего оружия, чтобы бить насмерть фашистских захватчиков? И потом, это наша обязанность – обеспечить красноармейцев современными винтовками и автоматами, а также и добротным обмундированием. А ты, товарищ политический руководитель полка, вместо этого пытаешься заработать себе популярность, сломав парню судьбу, тогда, как у нас, у нашего советского народа, истекающего кровью в борьбе с оккупантами, каждая человеческая жизнь, каждый боец на счету!

– Товарищ командир, не играйте с огнём! Я буду вынужден доложить высшему руководству о том, что вы покрываете врага народа.

Полковник Лосев, уже повернувшийся, чтобы выйти из помещения гауптвахты, крутнулся на месте, энергичным движением подхватил политрука под локоть и отвёл в угол, где негромко, но твёрдо сказал:

– Капитан, не испытывай моего терпения. Твои бумаги я приказал изъять и уничтожить. Состряпать новые у тебя просто нет времени. Через неделю-другую мы будем на фронте, на передовой. У тебя ещё есть время уладить свои отношения с подчинёнными. С солдатами так, как ты, нельзя поступать. Иначе в первом же бою может всякое случиться. Я воевал – знаю. Подумай на досуге, – комполка на минуту задумался, а потом громко, чтоб все слышали, скомандовал: – А теперь я приказываю товарищу политруку проследить, чтобы передислокация полка прошла чётко, без заминок и задержек. Выполнять приказ!

– Есть выполнять приказ, товарищ командир полка! – Топоров прищёлкнул каблуками сапог и заспешил мимо офицеров, придерживая рукой планшетку, на плац, а уж оттуда и в полковые казармы.

Стоящие в коридоре офицеры, не проронив ни слова вослед, проводили его долгими тяжёлыми взглядами.

2.

Ноздреватые серые сугробы по обочинам просёлка, видно было, что всеми силами сопротивлялись мартовскому теплу: в углублениях и нишах по срезу, как в сталактитовых пещерах, наросли толстые, наподобие колонн, сосульки. Да только всё это было зыбким и не прочным, и легко растапливалось в потоках истосковавшихся по настоящей работе на земной поверхности солнечных лучей. Золотистые живые струи с неба не смущало даже то, что половина заснеженного континента была исполосована траншеями и рвами и лежала в руинах. Больше того, эти посланцы солнца наверняка втайне теплили надежду растопить лёд и стужу не только в природе, но и в сердцах человеческих, закоченевших и очерствевших среди ужаса и смертей войны.

– Так, значит, из госпиталя, парень, – возница с роскошными, с проседью, пшеничными усами, умело правил каурой лошадкой, полулёжа в санях и поминутно оборачиваясь к пассажиру, сидящему сзади на охапке соломы сержанту Владимиру Антропову. – Тебе повезло, что направили к нам. Пер-

вое – полк наш гвардейский. Второе – командир у нас душа человек. И третье – все бойцы – храбрецы! Начиная с меня. Но-о, милая, но-о, лоботрясочка ты моя!

– А ты, отец, по всему видно, человек весёлый. Если у вас и остальные такие же, то я попал куда надо!

– Всё, братец, прибыли. Землянки видишь вон там, за берёзками? Это КП. Тьфу ты! Да что я кнутом-то размахался – давай-ка сам тебя и провожу, – возница проворно для своих лет сверзился с саней, быстро привязал к вербе с краю дороги лошадь и, бросив ей перед мордой пучок соломы, догнал поджидающего его Антропова.

Площадка у КП была расчищена от снега, под маскировочной сетью, раскинутой на деревьях, в углу, стоял командирский, крытый брезентом, додж, танк и самоходки.

– Ступай, товарищ сержант, в крайнюю землянку, там начштаба и кадры, а мне, уж не обессудь, надо бежать в хозяйственный взвод.

– Спасибо, отец. Поди, свидимся ещё.

В это время из центральной землянки вышел плечистый майор, пристальным, цепким взглядом смерил Антропова. Тот козырнул и уже повернулся, чтобы идти в кадры, как откуда-то сбоку пролетел кисет. Антропов автоматически выбросил руку вперёд и ловко поймал его, а потом уж огляделся вокруг: кто это так шутит.

– Молодец, сержант! Реакция есть. Кисет-то верни, – синеглазый улыбчивый майор со шрамом на левой щеке подошёл к Антропову и представился: – Начальник полковой разведки майор Берендеев.

– Сержант Антропов. После госпиталя направлен в ваш полк для дальнейшего прохождения службы.

– Ранение серьёзное? Где воевал?

– Так, царапнуло в бок, да мякоть на ноге зацепило. Воевал на Кавказе, в Крыму, ранен в боях за Керченский пролив.

– Родом откуда?

– С Рудного Алтая.

– Сибиряк, значит. Мне ваш брат глянется. Пойдёшь ко мне в разведку?

Владимир радостно вспыхнул:

– Так точно, товарищ майор!

– Вот и лады. Идём к начальнику штаба, оформим все бумажные дела.

Возница, стоящий в сторонке и слышавший весь разговор между офицером и сержантом, согласно покивал седой головой в шапке ушанке с маленькой звёздочкой, разгладил усы и, одобрительно крякнув своим мыслям, направился к доканчивающей охапку соломы лошади.

В землянке, куда Берендеев привел Владимира, было тепло и прибрано. Над остывающей печуркой в углу, развешенные на натянутом жгуте, сушились постиранные кальсоны и портянки. На заправленных суконными одеялами нарах отдыхало человек пять солдат. Когда майор распахнул дверцу, старший сержант, чинивший гимнастёрку, скомандовал «смирно», все повскакивали, но Берендеев махнул рукой «вольно, продолжайте отдых» и, приглашая Антропова за собой, прошёл к струганному столику.

– Вот, прошу любить и жаловать, ваш новый боевой товарищ, сержант Владимир Антропов. Воевал в Крыму, в пехоте, был ранен. Родом с Алтая, – майор улыбнулся и обвёл взглядом землянку. – Так что, товарищи сибиряки, вашему полку прибыло. Встречайте земляка, а я в штаб. – Берендеев повернулся и, пригнув голову, вышел из землянки.

Бойцы поочередно пожали Владимиру руку и представились. Пожатия были жёсткими, на проверку, однако Антропов передавил своими короткими и толстыми пальцами все поданные руки, включая и широкую, как лопата, ладонь старшего сержанта, стройного и собранного мужика лет тридцати шести.

– Силён, парень. Деревня-то как ваша зовётся?

– Да не деревенский я, с чего вы взяли. Из города Талова, что у Ивановских белков, недалеко от Белухи.

Услышав это, старший сержант приблизился вплотную к Владимиру.

– Дай-ка, земляк, я тебя внимательней огляжу. Из Талова, значит. Фамилия, сказываешь, Антропов. А отчество как?

– Михайлович.

– Отец, мать – живы?

– Мамка померла, я ещё ребёнком был, 9 лет. Тятька, сказывали, в тайге потерялся. Росли с братом у тётки, – ответил Владимир и тоже пристально посмотрел на спрашивающего. – А ты что-то знаешь про моего отца, товарищ старший сержант?

– С твоим отцом, Володя, Михаилом Мефодьевичем Антроповым нас свела таёжная судьба. Но это разговор долгий и неторопкий. Скажу одно, отец твой был человек хороший, погиб, спасая других. А покуль располагайся, твоё место в левом углу, у стены.

– Да, слух был, что тятька умер, но точно никто не знал, где и как. Теперь я буду ждать нашего разговора, – Владимир на минуту замолчал, а потом с виноватой улыбкой обратился опять: – Товарищ старший сержант, я как-то сразу не запомнил все фамилии. Повтори, пожалуйста, как твоя?

– Загайнов Прокоп.

– У меня есть друзья из наших кержаков с такой же фамилией. Яков и Варфоломей. Не родня ли?

– Не припомню таких, может, дальние кто. Давай, устраивайся, сержант. Отдыхай с дороги. Будут вопросы, не стесняйся, мы рядом.

Воробьи, слетевшись на отопревшую, размякшую от тепла старую ольху, чирикали яростно и самозабвенно, но это вовсе не мешало синичкам, что через вытаявшую дорогу расселись на продольные, отблескивающие ветки берёзы, громко и заразительно посвистывать и тенькать. Вот птицы, не сговариваясь, вспорхнули с деревьев и принялись купаться в мелких, на обочине, лужах. Причём, у воробьёв своя купальня, у синиц – своя. Накупавшись, они опять вернулись на деревья, и какое-то время молча чистили клювами крылышки, распушая и отводя их в сторону. Приведя себя в порядок, птички продолжили свой мартовский лесной концерт.

Прокоп добродушно улыбнулся и повернулся к тоже наблюдавшему за птицами Владимиру. Они сидели на скамейке, пристроенной между двух лип, рядом с их землянкой. Вечерело. Разведчики недавно лишь проснулись, и теперь вот вышли подышать свежим воздухом. Под утро все семеро вернулись из фашистского тыла. «Языка», немецкого штабиста, они взяли быстро и аккуратно. Однако уже с ним напоролись на окраине деревни на румынский патруль из пяти солдат с огромным, как горилла, офицером. Пока разведчики управлялись с солдатами, офицер этот сгрёб Прокопа и швырнул на подмёрзшую, в тонком ледке дорогу. Он уже занёс руку с пистолетом над поверженным Загайновым, чтобы рукояткой размозжить ему голову, но подоспевший Владимир выбил оружие из рук румына. Тот, рассвирепев, так врезал Антропову, что сержант, пролетев метра три по воздуху,

больно стукнулся о стылый сугроб на обочине. Второй удар по челюсти получил едва оклемавшийся Загайнов и снова рухнул наземь. Выглянувшая из-за тучи луна осветила тусклым светом искажённое злобой и самодовольно ухмыляющееся квадратное лицо румынского офицера. Он стоял в стойке и ждал приближения поднявшегося с обочины и потряхивающего головой, чтобы придти в себя, Антропова. Владимир опустил правую руку за голенище, нащупал рукоятку финки и осторожно, по-кошачьи, стал подкрадываться к исполину. Луна снова ушла в тучи. В этот миг Владимир прыгнул на румына. Тот всего лишь на долю секунды замешкался с ударом. Этого хватило Антропову, чтобы поднырнуть под тяжёлую руку противника и нанести тому короткий, смертельный удар финкой прямо в сердце. Гигант сделал два слепых шага вперёд и рухнул на живот. Подбежали остальные разведчики, они помогли подняться Загайнову, в то время как Антропов перевернул остывающего офицера, чтобы вытащить финку и забрать документы убитого врага. Бегом, в тычки подталкивая «языка», они покинули населённый пункт и углубились в лес. Через три часа ночного марша разведчики были на нейтральной полосе, в условленной заранее точке перехода линии фронта.

– Я, Володя, в начале войны тоже был тяжело ранен под Смоленском, – Прокоп проводил взглядом улетающих в лесную чащу синичек и продолжил: – Нас призвали вместе с моим старым закадычным другом Степаном Раскатовым, он, кстати, как и мы, был родом с Рудного Алтая. Немец тогда пёр нахально, не то, что теперь, в 43-м, когда мы ему рога-то пообломали. А тогда у нас и оружие было одно на троих-четверых, потом опять же растерянность, даже какая-то оторопь. Трубили – будем, дескать, бить врага на его территории, да ишо малой кровью. А вышло, что едва в своей не захлебнулись. Так вот, в тот раз, когда осколок пробил мою грудь навылет, Степан, можно сказать, спас меня от верной смерти. Перевязал и успел отправить в тыл. Два месяца провалялся я по госпиталям. Осколок не задел ничего серьезного, всё заросло, как на собаке. Писал, искал нашу часть, ни ответа, ни привета. Тогда я известил жену, узнай, мол, у Насти, где муж её, Степан, воюет. Тока я отправил письмо, мне, упреждая, буквально через день приходит весточка от Ориши, она сообщает, пал, мол, Стёпа смертью храбрых под Ржевом. Упокой, Господи, душу его светлую.

– Прокоп, расскажи о моём отце. Какой он был? Я помню, он нам сладости приносил, деревянных солдатиков, похожих на настоящих, из палочек выстругивал. И никогда на маму не кричал и не бил её, как это делали по праздникам, когда напьются, многие шахтёры из соседних бараков.

– Нас с твоим отцом свела судьба. Может, ты и слышал про пожоги наших деревень, про историю с налётом на конвой. Но скорее всего ты этого мог и не знать. Власть тогда старалась помалкивать о своём конфузе, а из тайги много о правде не накричишь. – Прокоп кашлянул в кулак и неторопливо, подробно поведал товарищу о злоключениях тринадцатилетней давности. Рассказав о жизни в теремковой долине, Загайнов с минуту помолчал и продолжил: – В Саяны мы наладились большим обозом, с лошадями, скотом, скарбом. Меркул Калистратыч дорогу знал, вёл нас умно, лишнего по чащобам не блукали. Питались провиантом, взятым в путь, да матушка-тайга подкармливала. И всё бы ладно, но в одной теснине случился камнепад. Теперь не скажешь, мы ли своим движением или чё-то там вверху надломилось, но каменюги покатились по крутому склону, нависли на скалистом карнизе над тропой, а потом и посыпались вниз. Обоз-то наш уже почти весь прошёл это место, однако в аккурат под нависшими камнями оказались

тётка Лукерья с ребятишками да ишо в замыкании были твой отец Михаил Мефодьевич и мой дедушка Петр Григорьевич Загайнов. Вот они-то и спасли замерших в ужасе под нависшими, шевелящимися глыбами тётку Лукерью с детишками, протолкнув их в последний миг вперёд. А твой отец ишо и успел прикрыть своим телом и выбросить из завала Васятку, меньшого сына Лукерьи. Подоспевшие мужики подхватили мальца, выручили из камней. Даже не помяло парнишку. А дедушку Петра и твоего отца мы, разобрав завал, вытащили только к позднему вечеру. Похоронили их рядом, под высокой елью, сразу за тесниной. Похоронили по нашему, древлего благочестия, обряду, с пением и молитвами. Михаил Мефодьевич, он ить, когда мы, уйдя от карателей, жили ишо в долине у монахинь, в нашу веру вернулся. Ты сам-то, Володя, как относишься к вере?

– Верю в душе, а к обрядам не приучен. Тётка Марфа, та за нас всегда молится. Когда ещё учился в школе, активисты из класса всё вынюхивали, подсматривали, у кого есть крестик на груди. Сразу собранья, заседанья, проработки. Клеймили да кусали, щенята, хуже взрослых псов. Особенно усердствовал сын вашего палача Кишки Курощупа Сашка Гусёнок. Он, как подрос, лет в двенадцать написал отказ от отца. Его сначала в пионеры приняли, а там и в комсомол. Уж таким пламенным комсомольцем он стал, но первых ролей ему всё равно не давали. Так, в массовках участвовать, пожалуйста. Родимое пятнышко, доставшееся от бати, одним отказом не выведешь. Вот он и рыл под собой землю, разоблачал богомольных сверстников. Ко мне лезть, правда, побаивался. Я его ещё в детстве, случалось, частенько поколачивал. Дряной паршивец. – Антропов помолчал и сменил разговор: – А вы-то, расскажи, где и как устроились в Саянах? НКВД не шерстило? Они же ушлые, как те же крысы в сеновале, всё надо чего-нибудь грызть, на кого-то да набрасываться.

– Да обыкновенно устроились. Паспорта у нас были, по приходу в Хакассию снеслись с местными старообрядцами, обсказали чё да как, они втихую приписали нас кого в леспромхоз, кого в охотничьи артели, те все сплошь из наших состояли. Тогда брожение народа по Сибири было великое. Тогдашнее ОГПУ, это их потом уж в НКВД-то переиначили, не управлялось. А наши, сам знаешь, как стена, коль встали на своём – не сдвинешь и конём. Обжились, думали: перемогли лихолетье-то, а вот он – Гитлер. У нас, почитай всех промысловиков, кому до сорока пяти лет, в первые дни призвали. Такая же картина и в леспромхозах. Ориша отписывала, нонче, дескать, в лесу наравне с мужиками робют и бабы. Да и мужики-то такие остались – коль не старик, то увечный.

– В Талове, на рудниках, такая же история. Женщины и подростки отбивают руду в забоях. Младший брат Валера писал в госпиталь, что работает учеником проходчика в ударной бригаде знатного горняка Халдина. Но, думаю, долго он там не пробудет – в мае Валере исполняется восемнадцать, призывной возраст. Да он и мне писал, что ждёт не дождётся этого дня, чтобы идти на фронт, бить фашистов, а то, мол, закончится война без меня. Я, когда уходил, помню его угловатым, синеглазым пареньком. Теперь, небось, вымахал и окреп. Он у нас физическими упражнениями любит заниматься. Первые места в школе на соревнованиях по прыжкам и бегу, по метанию гранат всегда брал. Я ему был не только старшим братом, но и вместо отца.

Вагон-теплушка покачивался на рельсах. В открытых дверях проплывали зелёные пейзажи средне-русской равнины: поля, перелески, луга. Вот

блеснула на солнце узкая полоска спокойной реки, и солдаты увидали на том берегу взгорье с рассыпанными по нему избами, крытыми дранкой и обнесёнными, каждая, плетёной изгородью. На самой макушке бугра, без куполов, зияя на все стороны пустыми глазницами стрельчатых окон, возвышался заброшенный каменный храм.

– Вот и до Оки доехали, – громко сказал Виталий Сазонов, обращаясь к товарищам, стоящим рядом у дверной перегородки и так же подставляющим молодые свои лица под потоки встречного воздуха, пьянящего новобранцев насыщенными запахами луговых трав и соцветий.

– Виталя, а Волгу будем проезжать?

– Волга ниже, кабы мы ехали через Челябинск, давно бы уже были на ней. А по северной ветке мы её не коснёмся.

– Жалко. С детства мечтал побывать на Волге и в Жигулёвских горах, – протянул разочарованно Фёдор Зиновьев, одноклассник Валерия Антропова, с которым они после окончания пулемётных курсов в составе сформированного в Оренбурге пехотного полка ехали на фронт.

– Чем тебе глянулись Жигули? Уж не тем ли, что они – родина любимого народом пива?

– Да что вы, ребята! Я и пива-то этого ни разу не пробовал. Просто мимо этих гор на стругах плавал Стенька Разин со своей дружиной. О том и в песнях поется, и, помнишь, Валера, учительница рассказывала об этом на уроках истории?

– А ты знаешь, Федя, кто предал и бросил Разина? Нет? Да его же воспетая в твоих песнях дружина, когда запахло жареным! – Виталий сузил свои, с косинкой, зелёные глаза, крылья прямого, чуть приплюснутого носа побелели. Виталий Сазонов был из беспризорников, бродяжничая, изъездил половину Союза, повидал в свои двадцать с небольшим всякого. Парень был открытый, однако характер имел взрывной.

– Не дружина Стеньку предала, а казачьи богатеи. Это в каждом учебнике написано.

– Вот-вот, пока можно было грабить и наживаться без опаски, все с ним братались, а как худо стало, здесь же и сдали царским стрельцам.

– А ты-то, Виталя, откуда всё знаешь? Сам же говорил: я, мол, всего четыре класса и два коридора окончил!

– Люди разные в дороге попадаются. Я ведь и по Волге на пароходах промышлял. И потом, зря что ли человеку дадены два глаза да два уха? Нетушки, для того, чтобы всё, что он видит и слышит, прибирать в свою голову. И ежели твоя голова – это не просто круглое завершенье шеи, она скумекает, что к чему? Верно я гутарю, а, Валер?

– Да ты, брат, философ.

– Ошибаешься. Я – рядовой пехотинец, страсть мечтающий стать пулемётчиком.

– А почему?

– Да потому, что мне с винтовкой на поле боя больше бегать, чем вам с вашим станковым пулемётом. Вы из окопа: тра-та-та по окопу противника, а мне со своей винтовкой и штыком выковыривать его из того же тёплого окопа. А если он запротестует, так его ещё надо крепко приголубить прикладом по сытым фашистским мордасам, а то и брюхо вспороть. Теперь-то усекли разницу?

– Всяк, Виталя, должен быть на том месте, к которому предназначен. Давай, мы тебе в порядке шефской помощи расскажем всё о пулемёте и его материальной части. Авось, пригодится.

– Я, ребята, уже изучил ваш станкач от и до. Собираю, заправляю ленту с завязанными глазами. Могу и стрелять в слепую, только бы дал кто направленье. Если же серьезно, насчёт пулемётчика я пошутил. У вас – своё, у меня – тоже. Моя душа горит по штыковой атаке да рукопашной, столько у меня злости на этих лакированных засранцев. Вот так-то, братцы-сибиряки! Ну что, аппетит нагуляли на свежем воздухе, пора бы и перекусить чего-нибудь из сухого пайка. Айда в вагон!

Близость к фронту присутствовала во всём, и в первую очередь в более продолжительных и томительных стоянках на узловых станциях. Если в прежние дни их эшелон летел, можно сказать, на полных парах и при зелёном свете семафоров, то теперь приходилось пропускать составы с зачехлёнными танками и пушками, двигавшимися на запад, в сторону Орла, ждать, когда освободятся пути от санитарных поездов, постоянно отправляющихся в тыл. Но всё-таки полк их прибыл в назначенный пункт вовремя. Разгрузка прошла тоже по-боевому. Наши истребители не дали сунувшимся было в небо над станцией немецким бомбардировщикам сбросить свой смертоносный груз на головы новобранцев. Пять машин, в том числе два прикрывающих бомбовозы «Мессера», сожгли, остальные едва унесли свои, размалёванные крестами и свастикой, крылья за линию фронта.

После непродолжительного марша через лесостепь полк развернулся и занял вторую линию обороны. Слышалась недалёкая канонада, земля мелко подрагивала. Бойцы окопались, оборудовали блиндажи и огневые точки. Наступившая ночь была прохладной и звёздной. Над тёмной щетинкой перелесков, со стороны фронта край неба озарялся всполохами разрывов: артиллерия, и наша, и противника, работала, не умолкая, круглосуточно. Под утро, чуть стало отбеливать, из перелесков потекли людские ручейки – это отступали остатки наших изрядно потрёпанных пехотных полков. Поступила команда пропустить их, не задерживая. Лица солдат были пыльными, безучастными, гимнастёрки у многих разорваны, окровавлены, повязки у раненых грязные. Валерий и Фёдор, притихшие, молча наблюдали, как бойцы растворяются в лёгком тумане, что молочно разостлался в балке позади позиций их полка. Майор, замыкающий отходящих, заметил внимательные глаза молодых пулемётчиков и глухим, охрипшим голосом бросил на ходу:

– Теперь передовая – это вы. Держитесь, братцы! – он поправил повязку на забинтованной под фуражкой голове и, как бы оправдываясь, уронил: – Мы дрались, сколько могли, – но тут же взял себя в руки и твёрдо закончил: – Сегодня настал ваш черёд, сынки. Бейте эту мразь, не жалея! За всех наших ребят, что полегли за этим перелеском, так им дайте, чтоб, мерзавцы, в штаны наложили! Себе и Гитлеру! – и уставший майор растаял в утреннем мороке.

Ближе к полудню немцы начали наступление на позиции полка, и пулемётчики приняли боевое крещение. Раскалённые ствол и кожух «максима» уже не раз были политы холодной водой из припасённого кожаного курдюка, а волны мышиных мундиров всё накатывали и накатывали. К вечеру бойцы поднялись в яростную контратаку, и вымели фашистов не только из занятых накануне окопов за перелесками, но и, сломав оборону, на плечах отступающего врага ворвались на их прежние позиции. Ночью скрытно подтянули тылы и закрепились в немецких окопах и дотах. Так началась война для боявшегося опоздать на неё Валерки Антропова и его, теперь уже обстрелянных и попробовавших солоноватый вкус военной удачи, товарищей.

Пламя костра касалось тёмно-синего пространства, и живыми языками вылизывало из него светлые контуры ближнего пихтового стланика, серые мшистые скалы, сросшийся трёхствольный, в толстой шершавой коре остов расщеплённого кедра, брезентовые палатки, натянутые между ним и мохнатыми лапками стланика. Геологи и подсобные рабочие: входящие в поисковую партию пять парней и две молодые женщины, только что отужинали и сейчас, рассевшись полукругом у костра, негромко разговаривали.

– Пока всё складывается неплохо, – чубатый молодой мужчина в ветровке и кирзовых сапогах, на которые падали яркие отблески пламени – он сидел ближе других к огню, подгрёб кованым каблуком остывающую золу к костру. – Я сверился с картой – как и намечено, не позднее, чем завтра, мы должны миновать Тегерецкий хребет и перебраться на Холзун. Там и разобьём постоянный лагерь. По тамошним речкам и ключам надо пройтись тщательней: могут быть рудные выносы. Особое внимание обращайте на наличие в камнях и сколах вольфрамовых волокон. Этот металл – стратегический, сегодня он как воздух нужен Родине. Кроме того в распадках и по склонам достаточно много скальных выходов, осмотрим и их.

– Павел Константиныч, погода портится, а у нас впереди река Быструха, – подал голос вышедший из темноты с вязанкой хвороста восьмой участник экспедиции, проводник, седобородый мужик, нанятый геологами из местных кержаков. – Она известна не тока своим буйным нравом, но и потаёнными бучилами и воронками. Так что, упреждаю загодя, без меня – ни шагу в реку.

– Безусловно, Кондратий Варвасеевич, в этих делах вы у нас главный. Мы учтём.

– Товарищ начальник, пока выдалась минута, разрешите доложить, – полноватый парень в косоворотке и поддёвке приподнялся с бревна. – Продукты ещё есть, но я думаю, надо ввести режим экономии на соль и тушёнку. Неизвестно, сколько мы будем мотаться по тайге, а пополнить продукты негде.

– Как же так, Александр Никифорович! Да ведь только вчера Кондратий Варвасеевич подстрелил двух глухарей. Это ли не продукт? – Павел Константинович усмехнулся: – Ты, Грушаков, – завхоз. При приёме ты мне показался парнем толковым, добычливым. Тесней взаимодействуй с Кондратием Варвасеевичем, я полагаю, он поможет и советом, и делом.

– Как не помочь? Вот завтра выйдем к реке, даст Господь, тайменя, хариуса добудем. А касаемо соли, дак напарим на пути в солонцах. Пущай она серая выйдет и не такая скусная, но в похлёбку сгодится.

– Вот видишь, Александр Никифорович, тучи-то, что ты нагоняешь, пустые. Так что, не паникуй раньше времени. И последнее. Подобные вопросы, я уверен, впредь не будут у нас возникать, потому что в экспедиции каждый на своём месте, и каждый полностью отвечает за вверенную ему работу. Мне, наверное, не стоит напоминать, что время нынче военное, мои полномочия не ограничены. Я никого не намерен стращать. Скажу одно. Сохранится ли та бронь, что распространяется и на вас, как работников необходимых в тылу, целиком зависит от результатов нынешней экспедиции. Мы все, комсомольцы и коммунисты, а также и беспартийные, должны трудиться с полной отдачей. Наш фронт, наша передовая – эти неприступные горы и непроходимая тайга. Ну что, товарищи, отбой? Расходитесь по палаткам. Надо выспаться, завтра рано вставать. Желаю всем хорошего сна.

Часа в три ночи по брезенту палаток забарабанил дождь, а к рассвету на месте костровища плавала овальная лывина, из которой торчали два рогулистых колышка с подгоревшей ивовой перекладиной. Павел Константи-

нович Недовесов пошире отогнул полог палатки и огляделся. Ноздри его поймали горьковатый дым костра. Он перевёл взгляд в ту сторону, откуда сквозь редкие нити затихающего дождя пластами струился сиреневый дым. Под толстыми кедровыми ветвями, разросшимися хвоистой, многослойной решёткой на высоте от двух метров над землёй и укрывающими от воды изрядную каменистую площадку под кедром, у весёлого огня хлопотал седобородый проводник. Недовесов накинул на плечи ветровку, выбрался из палатки и, обходя лужу, по примятой мокрой траве направился к проводнику.

– Вишь, товарищ начальник, заморочило дожжём. В верха, однако, не полезем, оно хучь и короче, да теперь-то опасней – склизко, кони могут оступиться в пропастины. Поведу низами, пущай и крюк выйдет, да себя сбережём. За день, поди ж, одолеем эти развозья, заночуем у брода, а на завтрева и на Холзун выберемся. Небушко-то, глянь, опрастывается, набежит ветерок, снесёт порожние тучки в лога, а солнышко к вечеру всё и подсушит. Я отвара со смородинового листа с белоголовником да травкой-душицей накипятил. Отведай, Павел Константиныч, покуль горяч.

– С удовольствием, Кондратий Варвасеевич. А вы пока пройдите по палаткам, людей поднимите. Позавтракаем, и в путь.

До переправы добрались без происшествий. Переночевали в лесистом устье спадающего к реке распадка. Утром спустились на изломанный, обкусанный паводками, усыпанный валунами и галькой берег Быструхи. Вода на реке от дождей поднялась; она кипела, пенилась, несла на своём неспокойном горбу коряги, подмытые молодые деревца и прочую лесную мелочь; стремительное течение то там, то здесь вспучивало, вздымались пузырящиеся метровые волны. Кондратий Варвасеевич не торопко походил по бережку, поглядел на стремнину, круто, в наклон заворачивающую к отвесной гряде белка и исчезающую между двух скалистых утёсов, в здешних местах называемых «щёками». Постоял, раздумчиво покачивая седой головой, затем снял картуз с блестящим чёрным козырьком, протер его внутри носовым платком, опять нахлобучил на лысоватый морщинистый скошенный лоб, подхватил припасённую берёзовую жердочку и с ней, не снимая верхней одежды, осторожно вошёл в реку. Ощупывая тупым концом жердочки каменистое дно впереди себя, и опираясь на неё, проводник перебрёл Быструху на тот берег и назад. Ни в одной точке переправы глубина воды, несмотря на поднявшийся уровень, не была выше пояса. Геологи с берега, придерживая трёх навьюченных лошадей, внимательно наблюдали за действиями проводника.

– Ну как, Кондратий Варвасеевич, перейти можно? – Начальник экспедиции переложил из ладони в ладонь поводья уздечки. – Сильно сносит?

– Теченье низовое, поэтому ставьте ноги на всю подошву. Каждый возьмите по крепкому суку, без опоры на них не перейти. Особливо держите ухо востро на средине. Там вода бьёт под колена. Ступайте гуськом и тока за мной. Павел Константиныч, Буланку поведу я, он молод, пуглив, со мной ему надёжней. Ну, с Богом, ребята! Присматривайте за барышнями!

«Барышни», две ширококостные ядрёные геологини, переглянулись и снисходительно улыбнулись словам проводника.

– Дедушка, а мы ведь уже давно взрослые. Ни одну пару ботинок стоптали, мотаясь по тайге да кормя мошку с комарами, – весело воскликнула та, что пофигуристей.

– Наташа, ты что это о грустном, – задорно отозвалась вторая, кокетливо поправляя при этом пряди каштановых волос, выбившихся из-под цветастой ситцевой косынки, повязанной на подбородке. – За мной, например,

никто ещё не ухаживал среди несущихся, пенящихся волн. Так хочется почувствовать себя хоть раз персидской княжной из песни!

– А ты разве забыла, Дуня, что княжна эта плохо кончила! – в тон подруге ответила Наталья.

– Типун вам на язык! А ещё комсомолки! – раздражённо оборвал болтовню геологинь Сашка

Грушаков. Было видно, что парень явно трусил. Узловатые руки подрагивали, он не знал, куда их девать, то сунет в карманы пиджака, то подойдёт к лошадям и примется поправлять крепко притороченные вьюки, то подберёт какой-нибудь плоский галечный окатыш и демонстративно запустит им в реку, «блинчики печь».

– Не переживай ты так, Александр Никифорович! – участливо обратился к завхозу Павел Константинович. – Пойдём цепочкой, ты в середине. Если воды боишься, бывает и такое, старайся не смотреть вниз. Сосредоточься на спине идущего впереди, и ни в коем случае не теряй его из виду. Мы же всегда будем рядом.

– С чего вы взяли, Павел Константинович, что я боюсь. Или вы забыли – у нас в Талове реки по весне точно такие же, как эта, а я на них вырос. Просто накануне плохо спалось. В палатке было душно, да ещё комары откуда-то залетели. Всю ночь так зудели, злые да настырные, прямо изъели всего. Вот я и хожу, как чумной. А тут ещё эти дамочки раскаркались под руку!

– Ну всё, успокойся и соберись. У всех нервы. Ступайте, Кондратий Варвасеевич. Мы – за вами.

Кержак молча кивнул, потрепал по холке Буланку, снял картуз, размашисто осенил себя крестным знамением и смело вошёл в воду. За ним потянулась вся группа. Двигались не торопясь, обопрутся на сук, как на посох, прощупают сапогами зыбкое каменистое дно, переставят опору вперёд – шаг сделан. Умные кони тоже не спешили, не дёргали поводья, ступали копытами твёрдо, основательно. Сашка Грушаков, так и не пересилив в себе мелкую, недостойную комсомольца дрожь, шёл в цепочке, налегке, третьим за начальником экспедиции. Вот и шивера, самое опасное место на броду, здесь мельче, всего чуть выше колен, однако поток рваных, захлёстывающих друг друга волн скоростью намного превосходит все только что преодолённые глубокие участки реки. Проводник с лошадью аккуратно миновал шивера, выбирающийся следом Павел Константинович оглянулся на Сашку и, чтобы подбодрить завхоза, прокричал тому сквозь шум и грохот воды:

– Ещё один рывок, Александр Никифорович! Только не оплошай! Держи наклон туловища вверх по течению, так значительно устойчивей!

В ответ Сашка досадливо махнул свободной рукой: мол, не учи учёного, товарищ начальник! И вот этот-то взмах оказался для завхоза роковым. Лишь на секунду обозлённый парнишка расслабился, забыл, где находится, а низовое яростное течение в этот самый момент возьми, да ударь под колена листвяжным расшаперенным корнем, что подтоплено тащило по реке. Сашка, беспомощно выронив опорный сук, вскинул обе руки, и его поволокло по шиверам вниз, в бурлящую загогулину, туда, где ужасными валами клокотал тесный створ между двух забрызганных доверху утёсов. Оставшиеся на броду люди ошарашено смотрели, как голова Сашки Грушакова несколько раз мелькнула на гребнях высоких волн, и пропала.

– Кондратий Варвасеевич, знаете ли вы тропу, либо какой другой способ, как бы нам перевалить на ту сторону этого высоченного белка?

Выбравшиеся из реки геологи и проводник уже подсушились, отжали, не снимая с себя, штаны и вылили воду из сапог. Лето – солнышко, тепло. Если б только не этот жуткий случай с завхозом! И теперь вот все они, отчасти пришедшие в себя от происшествия на переправе, слушали начальника экспедиции.

– На моей карте, составленной в середине тридцатых годов, хребет обозначен как Недоступный. – Павел Константинович склонился над походной, развёрнутой, придавленной по углам мелкими цветными камешками, картой. Он указал проводнику пальцем на жирную изломанную линию, с отходящими от неё, правда, на одну сторону, отростками, означающими рельефные отроги. – Вот он, видите. Но ни троп, ни дорог через него не помечено. А за ним вообще, смотрите, обширное белое пятно. Это говорит о том, что особенности указанной местности не было возможности исследовать и нанести на карты. Но, может быть, вы, как старый житель этих гор, знаете, как проникнуть нам на неизведанную территорию. Что там, за протяжёнными вершинами белка Недоступного – долина, плоскогорье, горы поменьше? Ведь Быструха куда-то же исчезает? И где она опять вытекает на поверхность? В Восточной Сибири, где я работал несколько сезонов, между Слюдянкой и Култуком есть река, которая течёт из ущелья у отрогов Хамар-Дабана и ныряет под землю, а выбегает из каменистого грунта через семь километров, почти что перед самим Байкалом. Не может случиться так, что и Быструха проделывает здесь, на Алтае такой же фокус? Голова раскалывается: где и как нам искать своего товарища. Может быть, он жив, и если его вдруг вынесло на берег, то он нуждается в нашей срочной помощи?

– Павел Константинович, мы все видели, куда несло бедного завхоза, – горячо начала Наталья, она, как и другие, стояла рядом и внимательно слушала всё, о чём говорил начальник. – Даже если у него хватило сил сопротивляться бурунам, то, когда его затащило потоком под гору, он лишился возможности дышать. Поэтому шансов найти Грушакова живым, нет ни малейших.

Наталья обвела вопросительным взглядом всю группу, геологи согласно закивали, а проводник лишь крякнул и, погладив заскорузлой, в мелких трещинках ладонью седую бороду, уклончиво молвил:

– Старики сказывали – белки, россыпи-курумы там не хожалые. Никто из наших туда не пробирался. Набиты ли какие тропы, улазы – мне о том не ведомо.

– Понятно, Кондратий Варвасеевич. Время к вечеру, люди устали. Подыщите место под лагерь, а вы, ребята, займитесь хворостом. Я же пока составлю акт о происшествии. Позже ознакомлю с ним вас, и вы распишетесь. К делу, товарищи.

Взбаламученная ливнем вода в реке, хоть и упала уже, однако для того, чтобы она вернула себе всегдашнюю прозрачность и прояснела до дна, нужно было ещё какое-то непродолжительное время. Этот короткий промежуток Северьян Акинфыч всегда использовал для ловли хариусов: через мутноватую стремнину рыба не увидит человека, идущего по берегу и поминутно забрасывающего в волны леску с яркой, цветастой мушкой, в которой искусно спрятан коварный крючок. А вот на мушку, не раздумывая, кинется. Здесь-то и подсекай гибкого, чрезвычайно вкусного, и в наваристой ухе, и обжаренным в муке, ротозея.

Нынче монастырский сторож не поленился, поднялся к подножью белка, к той самой пещере, из которой с гулом выносилась и растекалась по широкому руслу река. Метрах в десяти ниже, на узкой и глубокой стремнине

денно и нощно табунились стаи хариусов, а со дна можно было подцепить острогой и тайменя. Вот и сегодня в плетёном лукошке Северьяна Акинфыча уже уснули десятка полтора любопытных серебристых рыбок. Азарт у старика нарастал. Он в очередной раз взмахнул ивовым удилищем и отправил мушку на волны.

Клюнуло сразу, леска вытянулась и напряглась. «Неужли таймень – дурило зацепил! – радостно ошпарило старика. Он крепче сжал в трясущихся от нечаянной удачи руках черенок. – Сейчас мы тебя выведем на чистую воду!». Северьян Акинфыч повёл было удилище к берегу, но буквально через мгновенье едва не выронил его из рук. «Никак утопленник! Откуль он здесь!». Сторож бросил удилище, поймал леску и начал её тянуть к себе. Она поддавалась тяжело, всплывшее тело уносило. Тогда Северьян Акинфыч прытко забежал по пояс в реку, ухватил утопшего за мокрые волосы и, резво, помолодому, вытащил на берег. Там он разорвал ему рубаху и прижал ухо к груди распластанного на траве незнакомца. И тут же схватил его за мокрый пиджак и, перевернув на живот, взгромоздил поперёк своего, выставленного вперёд, колена, и начал давить кулаками на спину. Утопленник дёрнулся, изо рта у него полилась вода. Северьян Акинфыч бережно вернул парня на траву и начал ему разводить безвольные руки в стороны и с усилием возвращать на грудь. Затем извлёк из кармана армяка чистый байковый носовой платок и, накрыв им рот незнакомца, стал делать искусственное дыхание. Минут через пять парень очнулся, судорожно присел и обвёл равнодушным потусторонним взглядом местность вокруг себя.

– Ожил, бедолага, воскрес, – радостно хлопотал Северьян Акинфыч вокруг медленно приходящего в себя Сашки Грушакова. – Я уж не чаял, что ты оклемаешься, парень. А вишь ты, выкарабкался. Силён, однако, к жизни! А известно ли тебе, что ты – перст свыше, посланец нам, затворённым по воле Божьей уже боле десятка лет в этих благословенных палестинах на молитву и суровый пост, – монастырский сторож умилённо прослезился, осенил себя трижды, с земным поклоном, двуперстным крестным знамением и, утихнув, невесомо присел на травку-муравку рядышком с Сашкой, который ничуть не вслушиваясь в смысл, с бестолковым недоумением рассматривал этого невесть откуда взявшегося тщедушного, мелющего какую-то старорежимную околесицу дряблого старичка-боровичка. И действительно, как только Северьян Акинфыч удостоверился, что спасённый им парень больше не нуждается в его помощи, силы оставили сторожа. Он истаивал на глазах. Теперь Северьян Акинфыч выглядел даже не на свои шестьдесят пять, а на все девяносто.

– Пойдем, сынок, в скит, к матушке Варваре. Тебе бы теперь молочка кипячёного с медком для восстановленья, однако ж, наша Зорька стельная покуль. Ждём в конце лета приплода. Одна ить она у нас осталась. Да и к чему боле-то? За имя ить уход нужон, а медком я тебя нынче же попотчую, – ослабший старик всё ещё пробовал бодриться и даже позволил себе помечтать при новом знакомом. – Вот кабы тебя да в помощники. Вдвоём бы мы такие горы свернули! – тут Северьян Акинфыч мысленно одёрнул себя – непозволительно таким быть перед мало знакомым человеком, и вздохнул: ладно хучь матушки нет рядом, она бы явно не одобрила эти словореченья, но с другого боку, человек-то – вот он живой, посиживает на камушках рядышком, осваивается, и старик тёплыми очами обласкал Грушакова. – Идти-то сможешь?

– Да вроде могу, все кости целы, так, тошнит маленько, и голова что-то раскалывается, – Сашку вдруг всего передёрнуло. Перед глазами вновь живо

встала картина его подломленного падения в стремительный поток, радужные, безжалостные брызги прямо в лицо, отчаянье от тянущей ко дну намокшей, ставшей вмиг чугунной, одежды, хлёсткий удар лбом обо что-то твёрдое, последняя вспышка, и – гулкая темень, по которой его, беспомощного, стремительно понесло, то притапливая в воду, тогда он, захлёбываясь и давясь, глотал её, то выталкивая на поверхность под тёмные своды туннеля. Едва Сашка успевал судорожно хватить кричащим ртом спасительного воздуха, как его опять захлёстывало волной. Вспомнив так ярко и зримо, что только недавно он пережил, Грушаков не сразу успокоился, а успокоившись, ещё раз с отвращением посмотрел на проносящиеся с шумом мимо их буруны и волны, и обратился к Северьяну Акинфычу: – Дед, скажи, кто меня вытащил, кто спас?

– Провидение, сынок. А я тока малость подсобил тебе, наладил дыханье.

Скептическая ухмылка исказила Сашкино припухшее лицо, он уже открыл рот, чтобы вразумить боровичка: нет, мол, никаких провидений-привидений, всё это выдумки мракобесов в рясах, однако в последнее мгновение что-то внутри подсказало ему с вразумленьем погодить. Он лишь по всегдашней своей привычке энергично махнул рукой, а вслух сказал:

– Ты, дед, такой щуплый с виду, а меня, бугая, как из речки смог выдернуть, да так, чтоб самому не накрыться медным тазиком, в смысле не уйти на корм рыбам? Брякнул бы кто такое мне ещё вчера, ни за что не поверил бы! А посколь никого окромя нас на берегу не наблюдается, то так и быть – поверю на первый раз, – Сашку затопила запоздалая эйфория восторга оттого, что он живым и невредимым выкарабкался из такой жуткой передряги, и теперь, переполненный радостью, он мог целый час, без остановки молоть всякую чепуху.

Однако Северьян Акинфыч с каждой минутой чувствовал себя всё слабее, будто выдохнул весь воздух из лёгких, а нового вдохнуть – сил нет.

– Вон, под кустом, сынок, лукошко с рыбой. Возьми, не обессудь, надобно снести в скит. Ступай за мной, а то, как бы не пришлось тебе нести меня. Силы мои кончаются. Видно, переусердствовал я с рыбалкой-то, – угасающим голосом молвил старик.

Постаревшая и подсохшая за эти годы игуменья скрытого в кедровнике женского монастыря матушка Варвара в чёрном строгом платке и чёрном же одеянии только вышла из кельи, где с обеда отбивала земные поклоны и молилась. Залаял, сначала радостно, но тут же и зарычал Трезорка, пёс, по возрасту старый, но с ясными, молодыми глазами, и понёсся от кельи к калитке, с внешней стороны которой переминались с ноги на ногу монастырский сторож и спасённый им Сашка. Настоятельница скорым шагом вышла им навстречу, за калитку.

– Матушка, благослови нас, меня и этого доброго человека, – Северьян Акинфыч прошёл вперёд и поклонился.

– Господь благословит, – осенила их и спокойно ответствовала настоятельница, окинув строгим взором Сашку Грушакова.

– Трезорка, прекрати облаивать гостя. Аль по людям соскучился? Радость-то какая, матушка. В кои-то веки у нас новый человек. Он мне по дороге сказывал, будто родом из Талова, был в геологическом походе, да случайно упал в Быструху. Его и принесло к нам.

– Северьян Акинфыч, разве наш гость нем и бессловесен? Нет? Тогда

пущай он сам о себе и поведает, – повелительным тоном остановила сторожа игуменья и обратилась к Грушакову: – Кто ты? Из каких будешь?

– Недовесов Павел Константинович. Геолог, – Сашка и сам в первое мгновенье не понял, зачем он назвался именем начальника экспедиции. Но здесь же в сознанье почему-то прорезалось полузабытое, пьяное обличье сгинувшего где-то в лагерях папани, от которого они с сестрёнкой Наткой предусмотрительно, ещё в отрочестве написали отказ, и разом вспомнились все зловещие слухи об отцовских бесчинствах в тайге. «Как всё-таки хорошо, что я не открыл этим людям в чёрном свою настоящую фамилию!» – мысленно похвалил себя за сообразительность Сашка и продолжил: – Мы ищем в тайге стратегическую вольфрамовую руду, так необходимую для победы советского народа над оккупантами.

– Какими такими опупантами, сынок? – раскрыл в недоумении рот Северьян Акинфыч.

– Как? Вы разве не знаете, – пришёл черёд удивиться Сашке Грушакову. Он ещё раз внимательно оглядел с ног до головы деда, потом перевёл взгляд на суровую, с отрешёнными глазами под низко повязанным чёрным платком старуху и затараторил как на собрании: – Вот уже третий год Советский Союз воюет с фашистской Германией, которая в 41-ом году вероломно напала на нашу Родину. Хотела захватить Москву, но мы столицу отстояли, и теперь доблестная Красная армия гонит врага в шею с нашей земли! – с пафосом закончил Сашка.

– Опять война, чё ли? И снова с германцем! Вот неуёмные суседи у России! – изумился Северьян Акинфыч.

Матушка промолчала, лишь скорбно поджала сухие губы.

– А вы здесь, стало быть, живёте себе в темноте и косности, оторванные от наших свершений, – Сашка бы не был Сашкой, если бы не скатился в очередной раз к своим красным проповедям. – И в ус не дуете, когда вся страна напрягается из последних сил, чтобы одолеть ненавистного врага!

– А что, Северьянушка, нынче все геологи такие речистые? – оборотившись к сторожу, бесцеремонно прервала разгорячённого оратора матушка Варвара. – Накорми гостя и определи ему постой в сторожке у ключа под скалой. Не обессудь, Павел Константинович, но устав наш не велит чужакам по вере переступать порог наших святынь.

Сашка скривился, но ничего не сказал в ответ, а про себя зло подумал: «У-у, старая карга! Попалась бы ты мне в Талове, да хоть бы и на одной из наших комсомольских антирелигиозных красных пасхах! Вот бы мы тебя с ребятами враз переучили! Новых бы святынь на тебя столь навешали, чтоб переломать всё твоё мракобесие!».

– Угомони свой гонор, парень! Ни тебе меня переучивать, – настоятельница проницательно усмехнулась. – Ступай за Северьяном Акинфычем, да подумай крепко – кто ты и зачем на этой земле.

Сашка так с открытым от изумления ртом и повернулся, да ещё и шага три прошествовал вслед за семенящим к скале сторожем, пока не нагнал того.

– Дед, скажи, а она не ведьма?

– Свят, свят, сынок, чур меня! Уж не повредился ли ты головой на перекатах?! Такое говорить про святого человека! – бедного старика даже пот прошиб от жгучей растерянности и недоумения от подобных богохульных слов. Он как-то непроизвольно отодвинулся от Сашки. А тут уж и пришли к сторожке.

– Располагайся, Павел. Здесь всё есть, – Северьян Акинфыч обвёл взглядом маленькую, чисто прибранную комнатку с иконами и лампадкой в красном углу, с печуркой и подслеповатым оконцем. – Топчан застелен свежим бельём. Посуда, отдельная для тебя, на столе. На оконце иголка и тюрючёк с нитками. Рубаху, чё я тебе порвал, заштопай, – старик с минуту помолчал, напряжённо размышляя о чём-то, а потом твёрдым, несвойственным ему голосом сказал: – Как я понял, ты из новых людей, из тех, кто замахнулся на самого Спасителя. Слушай, Павел Константинович, каково моё к тебе требование: будешь покуль здесь. К сёстрам-монахиням, их троё, не приближаться. Увижу, возьму грех на душу – застрелю. Смолоду всякого зверя брал с одного выстрела, – Северьян Акинфыч ещё помолчал и, уже смягчив интонации, молвил. – Душа твоя, парень, нараскоряку, зыбко тебе, студёно живётся. Надобно искать выход из потёмок, в кои втиснули душу твою недобрые люди. Покуль отдохни, подумай. А я за трапезой схожу, – и старик вышел, неслышно прикрыв за собой дверцу.

Оставшись один, Сашка дал волю досель с огромным трудом сдерживаемым чувствам. С ненавистью вперил шалые зыркалы в икону, так бы и прожёг образа насквозь, чертыхнулся, смачно сплюнул себе под ноги, бешено махнув рукой, смёл деревянные долблённые кружку, ложку и миску с накрытого холстинкой стола на земляной пол и, обхватив голову руками, крутнулся пару раз и рухнул на топчан.

Отчаянье второй раз за нынешний скверный, прямо сказать, злополучный для Сашки день железными тисками сдавило ему виски. Что делать в этом закупоренном со всех сторон мирке ему, комсомольцу-ударнику? Якшаться с выжившими из ума старорежимными трухлявыми стариком и старухами, свалившимися на его бедную голову, точно как из дореволюционной кинохроники, что иногда в целях пропаганды показывали активистам – безбожникам перед лекциями в народном клубе. Н-да. Вот ты, Сашок, и угодил, яко кур в ощип, как говаривала покойная спившаяся маманя. Надо взять себя в руки, надо подыграть мракобесам, усыпить ихнюю бдительность, да потихоньку выведать дорогу отсюда. Уж этот-то старый хрыч, что стращал ружьём, наверняка знает, как пройти белок. Да, папаня, теперь я понимаю твою ненависть к этим пережиткам прошлого! – с каким-то злорадным облегчением выдохнул Сашка и принялся подбирать с пола разбросанную посуду.

Северьян Акинфыч с котелком постной пшённой каши поспешал мимо келий к затворённой калитке, когда его негромко окликнула игуменья.

– Постой, Северьянушка, опнись. Слово имею, – старушка внимательно посмотрела в морщинистое, поросшее редкой седой бородкой лицо сторожа и глубоко вздохнула. – Ты хоть знаешь, кого выловил в Быструхе?

– Геолога из новых людей, – смущённо ответствовал сторож.

– Это сын одного из коноводов тех, кто тринадцать лет тому назад жёг наши деревни.

– Наши мужики такой фамилии, какова у гостя, в тую пору не сказывали.

– Не его это фамилия.

– А он кто же тогда будет, матушка?

– Бич Божий, испытанье нам за грехи наши тяжкие.

Старик оторопел и какое-то время простоял молча, потом осмотрелся по сторонам, нет ли кого поблизости, и, набрав полную грудь, настоянного на хвое, воздуха, убитым голосом проронил:

– Так, может, мне его, того, обратно в реку вернуть?

– Не уподобляйся, Северьян Акинфыч, гонителям нашим, – раздельно произнесла настоятельница и добавила строго: – На всё Божья воля. Ты думаешь, пришелец сказал что-то новое? Для тебя – да, я же о страшной войне, что ведёт с врагом Россия, знаю давно. В июне 41-го мне был знак. Стояла глубокая ночь. Я молилась в своей келье при зажжённых свечах, и вдруг все они погасли. Наступила темень. И лишь на притворённых дверях проступило большое, светлое пятно, в котором отчётливо различались горящие города, чёрный дым, кровь. Эти ужасные картины длились недолго, может быть, одно мгновенье. Потом снова вспыхнули свечи и осветили все уголки моей кельи. И я едва не лишилась чувств: все мои иконы плакали. Я пала на колени и до утра молилась и отбивала поклоны. Вам ничего не сказывала, дабы не смущать ваши души. Но если ты заметил, в моленьях мы стали чаще уповать на христолюбивое воинство наше и просить за хранимое Богом Отечество. А теперь, Северьянушка, ступай к пришельцу, покорми его и обиходь жилище.

3.

Октябрьские сумерки щедро разбавили серым цветом сизый, простёршийся по низинам туман, накрыли лёгкой воздушной вуалью развалины крайних, с торчащими обгорелыми трубами хат, скрали двухэтажное, из белого кирпича здание районной школы. Что это именно учебное заведение, о том свидетельствовали не только схема в планшетке командира группы, сейчас наглядно на это указывали и парты, громоздящиеся бесформенной грудой позади здания и хорошо рассматриваемые в бинокль отсюда, с опушки смешанного леса. Над высоким школьным крыльцом висел огромный флаг со свастикой в середине. У крыльца замерли двое часовых в чёрных касках и с короткими автоматами на груди. Прокоп Загайнов отнял окуляры бинокля от глаз и положил его рядом, на планшетку.

– Операцию начнём ближе к полуночи. Сейчас всем отдыхать. Первые два часа дежурю я, меня сменит рядовой Семенчик, его – сержант Антропов.

Наружную охрану сняли бесшумно. Семенчик и Антропов, подобравшись на расстояние броска, метнули финки одновременно, и точно в сердце рослым часовым. Оттащив убитых в кусты, разведчики проникли в вестибюль, у дверей бесшумно разулись, положили на пол автоматы и в шерстяных носках, легко, словно бесплотные тени, рассредоточились по этажам.

Ещё днём, в лесу, Загайнов подробно ознакомил бойцов с планом-схемой школьных классов и кабинетов, указал, кому где быть, и поэтому разведчики действовали не вслепую. Так же без лишнего шума они ликвидировали на этажах, у помещений, переделанных немцами под оружейные комнаты, трёх дремлющих дневальных.

В этой школе квартировали три эсэсовских взвода после совместных успешных карательных рейдов немцев, бандеровцев и прибалтийских легионеров против белорусских партизан, когда была разгромлена их база на болотах и попутно сожжены вместе с населением все окрестные хутора и деревеньки. Разведчиков было семеро, но на их стороне опыт, внезапность и холодная ярость. Рядовой Роман Семенчик родом из этих мест, из Полесья, здесь остались мать, две сестры и брат-инвалид. Об их судьбе уже два года он не знал ничего. Перед отправкой группы в тыл врага у командования возникли сомнения, а не сорвётся ли разведчик, вдруг сдадут нервы и тогда – пропала, пошла бы коту под хвост, по меткому выражению замполита, вся

эта тщательно разработанная операция. Однако командир группы Прокоп Загайнов убедил майора Берендеева не трогать Семенчика: посколь, де, Роману, как уроженцу данных мест, на задании не будет цены, и потом, ежели чего, мы присмотрим. Ребята поручаются.

И вот теперь Роман, как и остальные бойцы, словно тень возмездия, скользил без шороха от одной металлической, тускло поблескивающей при лунном свете никелированными дугами кровати к другой. На минуту склонится над очередным храпящим дюжим эсэсовцем, тихонько тронет того за плечо, чтобы проснулся и не вскрикнул во сне, тот только раскроет сонные глаза – одна ладонь быстро и жёстко закрывает рот, а второй рукой – удар острой финкой меж ребер в не успевшее даже вздрогнуть от испуга сердце. Ни единого вскрика, ни бормотанья, ни предсмертной мольбы – абсолютная, мертвая тишина, расшитая лишь причудливыми узорами храпа крепко спящих, не ведающих о своей кровавой очереди карателей. За три четверти часа разведчиками, без малейшего сбоя, были пройдены оба этажа, не оставлено в теле ни одной чёрной души оккупанта. Завершив операцию, группа также бесшумно растворилась в ночи.

Разведчики скатились в овраг, пробежали по дну его до заболоченного луга и опушки и, уже вбегая в спасительный лес, услышали за спиной вой сирены, рёв заведённых моторов, в небо взвились и осветили всю окрестность ракеты, раздались отдалённые автоматные очереди, перемешанные с неистовым лаем немецких овчарок.

– Володя, будь другом, оставь на месте нашей лёжки фрицам гостинчик, – Загайнов передал Антропову пару гранат и моток шпагата. Тот понятливо сверкнул в предутреннем сумраке глазами и принялся на ощупь колдовать над гранатами: привязал веревочку к чекам, одну гранату прикрепил на едва различимую в сумраке ольховую рогульку на уровне пояса, другую – на развилку молоденькой, тонко белеющей стволами, берёзки, метрах в пяти от ольхи, аккуратно пропустив перед этим шпагат сквозь кусты, темнеющие между деревьями. На это ушло минуты три, не больше.

– Готово, командир!

– Уходим! Идём старым маршрутом, через болото. Сержант Антропов замыкает группу!

Мощные прожектора, установленные на кузовах выехавших на край оврага автомашин, прорезали предрассветный мрак и начали тщательно исследовать лучами, словно жёлтыми, липкими щупальцами, метр за метром луговую низину и стволы деревьев на опушке смешанного леса.

Разведчики, опираясь на шесты и прощупывая ими тропу в сером рассветном тумане, уже ступили в болото, когда сзади раздались два взрыва, и следом посыпался отборный, слышимый далеко, русский мат вперемешку с украинской мовой.

– Так вот кто у нас на хвосте! – невольно воскликнул Загайнов и резко остановился, он шёл вторым, за Романом Семенчиком. – Принимаю решение – вернуться на поляну перед топью и дать бой предателям! Там, я с вечера приметил, есть позиция на козырьке у самого болота, с неё вся поляна как на ладони хорошо простреливается. Бегом назад, братцы! Надобно успеть до карателей!

За те минуты, пока разведчики залегли и наскоро оборудовали свои огневые точки между толстых корней и у стволов, окончательно рассвело. Клочья сырого тумана сползали с бугра в камыши. Яростный лай овчарок приближался. Вот на поляну выбежали живой цепью человек сорок солдат, оде-

тых в немецкую, мышиного цвета форму, впереди троих из них на натянутых поводках рвались огромные, натренированные на поиск людей овчарки. Раздались три одиночных выстрела, собаки, даже не взвизгнув, сходу кувыркнулись и замерли на земле. Бегущая следом цепь открыла беспорядочную стрельбу из автоматов чуть ли не по всем направлениям сразу. Зато разведчики били прицельно и метко, как в тире.

Цепь залегла, однако укрыться на ровной, наклоненной в их сторону поляне было можно разве что за убитыми товарищами. И то разведчикам с козырька хорошо были видны ботинки, сапоги и нижние части спин укрывшихся. А если видны, значит, и пулей досягаемы. Выстрел, лежащий дёргается от боли, открывается, здесь его и добивают.

Бой был скоротечным и удачным, поскольку Прокоп всё рассчитал грамотно, а бойцы, люди бывалые, с поставленной задачей – не дать вырваться с поляны ни одному предателю – справились на «отлично», поэтому теперь надо было уходить, и немедленно. Лес оглашался новым собачьим лаем, который по ярости далеко превосходил прежний. И опять сквозь лай отборная матерщина и короткие автоматные очереди: оказавшиеся недалеко бандеровцы спешили на помощь попавшим в переделку дружкам. Правда, помогать было уже некому. Прокоп ещё раз окинул цепким взглядом поле боя и скомандовал:

– Разведчики, вперёд! Уходим так же: Семенчик – направляющий, Антропов – замыкает группу.

И спустя минуту бойцы растворились в высоких, теряющихся в густом тумане камышах. Собаки, выскочившие через некоторое время на берег, покрутились, попрыгали, повизгивая от нетерпенья и охотничьего азарта, даже пробовали вбежать в мутную, подёрнутую ряской болотную жижу, да всё без толку – кто же отыщет след в воде! А верховой нюх им сбивали вонючие газы, которые по мере того, как туман начал рассеиваться и таять, едко и слоисто поплыли по поверхности с болота на берег.

Выбежавшие на козырёк бандеровцы открыли по болоту ураганный огонь, пули срезали ближние тростинки камыша и терялись в молочной дали, однако разведчиков достать уже никак не могли, те, пройдя метров пятнадцать вглубь, круто свернули вправо и убрели наискосок из зоны предполагаемого обстрела. Роман Семенчик, выросший в этих местах, ориентировался в болотах не хуже, чем Прокоп Загайнов в дремучей тайге.

К полудню подуставшая группа выбралась на лесистый островок, где под могучей кроной столетнего дуба устроили привал. На костёр насобирали только сухие ветки, чтоб не дымили и не выдали их укрытия. Мало ли чего ни удумают взбесившиеся фашисты для их поимки, а уж авиацию-то точно поднимут в небо: погода ясная, наблюдатель с низко летящего самолёта-рамы не разглядит разве что бобра в протоке, зато уж ладно срубленные хатку и плотину зверька всегда сможет не только рассмотреть, но и, смеха ради, расстрелять пулями, хоть автоматными, хоть более крупного калибра, из спаренного пулемёта. Что уж здесь говорить о целой группе людей, которых, надо полагать, усиленно ищет вся окрестная сволочь! Поэтому и костёр развели на короткое время: вскипятить воду, да подсушить одежду. И тут же, растащив головёшки по полянке, аккуратно их притоптали сапогами. Поскольку заливать водой – это рискованно: стоит хоть каплю плеснуть на огонь, дрова недовольно зашипят, и вверх, ватными указателями их местонахождения, устремятся клубы сырого дыма.

– Так, ребята, у нас есть час передышки, – Прокоп окинул отеческим взглядом прикорнувших у дуба бойцов. – До заката мы должны выйти в район Поставцов. Там, по агентурным сведеньям, находится объединённый штаб бандеровцев, власовцев, латышских и литовских легионеров. Наша задача – разгромить его. «Языков» не берём. Действовать надобно быстро и аккуратно. Немцы наверняка усилили охрану. Наш козырь – внезапность. Андреев, приготовь толовые шашки и бикфордов шнур, чтобы всегда были под рукой. Всем ишо раз проверить и почистить оружие. Драка нас ждёт не шуточная, – старший сержант потрогал жёсткими пальцами небритый волевой подбородок и усмехнулся: – Ну, да ежли бы впервой!

Фенька Стрелок, уже больше десяти лет выдающая себя за бывшую учительницу Елизавету Алексеевну Романову, энергично стуча по доскам каблуками яловых сапог, изящно облегающих полноватые икры, взбежала на широкое крыльцо бревенчатого дома с фашистским красным флагом со свастикой в белом кругу. Серый мундир с петлицами унтер-офицера зондеркоманды, строгая прямая юбка до колен, пилотка с эмблемой-молнией в эмали, круглое белое лицо с ямочками на щеках, на лбу и под глазами ни одной заметной морщины, – пожалуй, всё названное человека неискушённого легко могло бы навести на мысль, что перед ним весьма удачно воплощённое в строгой безукоризненной женщине само арийское совершенство. Вот только разве что глаза, пустые и безжизненные, выдавали и возраст, бабёнке было чуть за сорок, и то, что владелица их жизнью-то изрядно и помята, и потрёпана.

После лагеря, откуда Фенька освободилась в середине тридцатых, она по-тихому устроилась в подмосковном Клину работать на ткацкую фабрику, сначала уборщицей, а спустя год перебралась в швеи-мотористки. До войны себя никак не проявляла, сошлась с одним слесарем, он оказался мужиком запойным. Трезвый тише воды и ниже травы, несмотря на то, что руки, как клещи, и силы в огромном мускулистом теле на десятерых. А как только попала капля в рот, хоть святых выноси. Крушил всё подряд, горланил до утра революционные песни, всё вспоминал какого-то боевого друга-товарища комиссара Эдьку Фогельмана, утомившись, падал на стол и, зажав лысеющую голову тяжёлыми своими лапами, начинал тонко так, с бабьим подвываньем и причитаньем, плакать и стонать: «Ох-ушки, не будет мне прощенья, ироду, вовек за все-то сгубленные мной души невинные!». Дождавшись этих стенаний мужа, коротавшая ночь под своими разбитыми окнами во дворе, Фенька вздыхала и возвращалась домой. Презрительно обойдя храпящего Спиридона, она проходила в свой закуток и ложилась покемарить до смены. Но однажды всё это кончилось. Слесаря нашли вмёрзшим в ноябрьскую, подёрнутую колким леденистым снежком лужу, недалеко от их домика. Затылок у него был проломлен, как определили следователи – ударом молотка сзади. Убийцу не нашли. Фенька на похоронах сидела у гроба вся в чёрном, со скорбными кругами под красивыми, слегка подкрашенными, отсутствующими глазами.

Как началась война и немец подкатился к Москве, всех жителей прифронтовой полосы стали гонять на рытье оборонительных рвов. Там-то её с другими ткачихами и сцапали неожиданно прорвавшиеся в наш тыл мотоциклисты. Весёлые немцы ловили по полю разбежавшихся девушек и женщин, ловко валили в траву, отчаянно сопротивлявшихся и царапающихся тут же пристреливали. Однако Фенька-то не дура, она стояла, потупив взор

и поджидала своей очереди. Но то ли одетая в фуфайку Фенька не глянулась никому из охальников, то ли им хватало молоденьких, но ни один даже самый задрипанный фрицик на неё не позарился.

Нет, один всё-таки нашёлся. Тощий, длинный как жердь, носатый, с глубоко запавшими водянисто-голубыми глазами ефрейтор так саданул зазевавшуюся Феньку прикладом карабина меж лопаток, что она растянулась на рыхлой земле и инстинктивно попыталась отползти в сторону. Но не тут-то было! Хохочущий ефрейтор вспрыгнул Феньке на спину и, балансирую в воздухе, кованым сапогом больно вдавил вихляющиеся женские ягодицы в жёлтый суглинок. Солдаты, что сгоняли ткачих в одну кучу, на какое-то время даже оторвались от этого занятия и загоготали от щенячьего восторга, держась за животы, и показывая руками на всё ещё качающегося верхом на поверженной Феньке долговязого ефрейтора.

Спустя несколько минут раздавленая и помятая Фенька Стрелок робко поднялась с земли и, отряхивая от пыли и прилипших комочков стёганую фуфайку и подол платья, поспешила встать в колонну поникших, в разорванной одежде женщин. Раздалась отрывистая и резкая, как собачий лай, команда на немецком языке, и колонна, охраняемая довольными и пресыщенными конвоирами, тронулась на запад.

В концентрационном лагере Фенька, втираясь в доверие к товаркам по несчастью, выведала и донесла начальству о четырёх затаившихся коммунистках. Тех, не мешкая, показательно повесили перед строем. Своих партийных ткачих, которых на прифронтовых работах было семеро, ещё толком сама не оправившаяся от унижения Фенька сдала полевым жандармам сразу же, как только те остановили их колонну на окраине ближайшего городка. На несчастных женщин немцы даже пуль пожалели, просто вытолкали из строя на обочину дороги и всех закололи штыками.

Через два месяца, в канун нового года, она с группой узниц, также выразивших горячее желание бороться с коммунистами и партизанами вплоть до окончательной победы рейха, была отправлена в специальную школу. К весне, успешно закончив обучение, Фенька влилась в одну из зондеркоманд, активно выжигающих огнём и мечом непокорные белорусские деревни вместе со всем населением, включая младенцев и древних стариков. Видимо учитывая особое усердие и рвение в наведении порядка на оккупированной территории, через год, то есть в начале лета 43-го, Феньке было присвоено звание унтер-офицера.

Сейчас Фенька-Лизавета торопилась на экстренное совещание в штабе в связи с ночным кровавым происшествием в недалёком отсюда соседнем райцентре. Уже подходя к двери, Фенька спиной вдруг почувствовала на себе чей-то жгучий и тяжёлый взгляд. Она обернулась и посмотрела по сторонам. Однако ничего особенного не увидела: фигуры безучастных ко всему часовых, на утоптанной поляне пятнистый танк с крестами, три короткоствольные самоходки, тупоносые грузовики и несколько чёрных, поблескивающих в лучах заходящего солнца, легковушек. Ну и, конечно же, давно уже опостылевшие все и разом, озабоченно суетящиеся вокруг техники сослуживцы в мышиных мундирах. Которым, впрочем, до неё тоже не было никакого дела. Фенька непроизвольно подняла глаза от полянки и перевела взгляд на дальнюю, за избами и огородами на уклоне, опушку леса. На какое-то мгновенье ей показалось, что из гущи деревьев что-то блеснуло, но сколько после этого ни приглядывалась, встревоженная каким-то нехорошим предчувствием, Фенька к тому месту, откуда вроде бы исходил блеск,

больше ничего не увидела. Она пожала плечами, стряхнула с мундира несуществующую пылинку и вошла в штаб.

– Командир, что у тебя с лицом? – Володька Антропов подполз к неслышно спустившемуся с толстой, раздвоенной в кроне липы Прокопу. – Как будто только что с привидением повстречался.

– Однако так оно и есть, братишка, – Загайнов снял бинокль с груди и отложил к вещмешку. – Помнишь, я тебе рассказывал про чоновцев, что пожгли наши деревни. Командовала ими баба. Красивая, ладная собой, но с душой темнее ночи. Я их тогда полуживых вывел из морозной тайги и сдал властям. Рук о них марать не схотел, и не оставил пропадать в снегах. А теперь вот эта бабёнка в чине у фашистов. Сегодня надобно исправить ошибку молодости.

– Прокоп, но это же мало вероятно. Сколько воды утекло, она, если и жива, то после тюрьмы давно уж устарела. А та, что ты сейчас рассмотрел, может, просто схожая с ней?

– Обознаться я не мог, – не раздумывая, твердо сказал Загайнов и покачал стриженой головой. – Смотри-ка ты, сколь годов прошло, а она всё такая же осталась. Ладно об этом, – заключил Прокоп и, усевшись поудобнее, раскрыл планшетку, достал карту, расправил её на траве и повернулся к Семенчику: – Роман, вот эта слепая дорога докуль ведёт, видишь, она теряется в заштрихованных чёрточках лесов?

– Эта дорога, товарищ старший сержант, раньше была до Остапенского хутора.

– Она проезжая? Сколь вёрст?

– Дорога отсыпанная. Мамка сказывала, Остапенки хозяева были справные, покуда их не раскулачили и не угнали в Сибирь. А расстоянье приблизительно семь-восемь километров.

– Добро. А местность вокруг тебе знакома?

– Бывал, когда после школы в лесничестве объездчиком работал.

– Болота есть?

– Да куда у нас без них? Имеются в лесу штуки три нетопких, да одно нехожалое.

– А ты-то, поди, ходил?

– А как же! Не однажды хаживал. Через него напрямки путь скрадываешь на восток, к Орше.

– Понятно.

Тихий рассвет будто бы вовсе и не гасил бесчисленные узорные созвездия, а подобно тому, как искусный художник краски по холсту, так и он растирал эти блестящие жёлтые точки по утреннему небу, отчего в нём проступала поначалу бледная голубизна, а за ней и густая, с золотистым оттенком синева. И вот уже на востоке, из-за кудрявых вершин леса стали робко пробиваться первые лучи восходящего солнца. Как вдруг эту сказочную тишину по всем швам, с оглушительным треском распорол взрыв – один, за ним другой. Штаб, бревенчатый, восьмикомнатный дом бывшего райсовета, с расквартированным здесь командованием сводного отряда карателей, запылал. Из разбитых окон чёрными клубами валил дым и выпрыгивали оставшиеся в живых офицеры и обслуга. Подобравшиеся к штабу ночью, скрытно, разведчики короткими очередями отстреливались от наступавших с улицы полураздетых карателей. Вот из окна выпрыгнула в одной шёлковой ком-

бинации Фенька-Лизавета и опрометью бросилась, куда глаза глядят, безумно оря на ходу: «Ой, родненькие! Не стреляйте, пощадите!!! Я – тоже русская!». Фенька захлебнулась от крика, нога подвернулась, она упала, судорожно скребя землю холёными пальчиками, которыми ещё каких-то полчаса назад так страстно ласкала командира сводного отряда, пожилого латыша майора Петерса. А когда Фенька, пятясь на карачках, попыталась снова встать, распрямиться, тут-то её и срезал автоматной очередью выскочивший из-за угла горящего дома щуплый литовский легионер. Правда, метил он в стоящего позади Феньки и прицельно расстреливающего наступающих Прокопа Загайнова. Да вот только Фенька своим раскормленным задом и мягкой грудью поймала пули, предназначенные старшему сержанту. Через секунду и сам литовец отчаянно вскинул руки, выронил автомат и уткнулся острым носом в зелёную травку.

В то время как Загайнов с тремя разведчиками, рассредоточившись по периметру штабной ограды, расстреливали бегущих сюда солдат, Антропов, Семенчик и Андреев, орудуя, где финкой, где прикладом, пробивались среди техники к грузовикам.

– Роман, давай в кабину! Заводи! – Володька дал очередь по выбежавшим из-за тупоносой кабины соседнего грузовика солдатам, отскочил за самоходку и оттуда метнул гранату по бензобакам стоящего метрах в десяти от него танка. Танк загорелся. Андреев забросал гранатами легковушки. Заведённая машина дала задний ход к штабу, в широкий кузов быстро запрыгнули Загайнов с тремя разведчиками и уже с борта грузовика открыли ураганный огонь по карателям.

Грузовик рванулся вперёд, и лишь здесь, не переставая стрелять из автоматов, на подножки кабины на ходу заскочили до этого прикрывающие с земли огнём товарищей Антропов и Андреев. На хорошей скорости разведчики промчались по окраине райцентра и свернули на хутор. Дорога в лес действительно оказалась отменная. На какое-то время от погони они оторвались. Проехав километра четыре, разведчики выгрузились из машины, Семенчик развернул грузовик поперёк дороги, Андреев отвинтил крышку бензобака и опустил в него конец бикфордова шнура, чиркнул зажигалкой и, запалив другой конец, побежал догонять углубляющихся в чащу друзей. Спустя полминуты раздался взрыв.

Разведчики, не теряя друг друга из вида, наткнулись в лесной чащобе на извилистую мелкую речушку, пробежали по ней, заметая следы, метров шестьдесят, выбрались на противоположный берег. И вот уже опытный Семенчик, осмотрительно и не торопясь, повёл их притопленной почти до пояса тропой, через непроходимое, по карте, болото, от одного лесистого островка к другому. Сзади послышался нарастающий гул самолётов. Группа поспешно укрылась, залегла в мочажины ближайшего островного тальника. Однако немецкая авиация и не думала сбрасывать бомбы в болото, ей была поставлена цель: смешать с землёй весь лесной массив, где последний раз видели следы русских диверсантов.

Около часа, сменяя звенья, самолёты, чем-то неуловимо напоминающие собой штурвалы гигантских плугов, с пунктирно входящими в лес лемехами-бомбами, перепахивали взрывами весь многострадальный зелёный массив. В течение всего этого часа наблюдали за бомбёжкой промокшие до нитки, изъеденные комарами разведчики. И лишь когда всё стихло, и наступила звонкая, опустошённая тишина, Загайнов скомандовал подъём, и бойцы продолжили свой путь на ощупь по болоту в восточную сторону.

За время операции никто из разведчиков не был серьёзно ранен, так, царапины: Прокопу пулей сожгло кожу у виска, Володьке чиркнуло выше кисти, не задев кость, остальные бойцы разжились в бою кто синяком, кто ссадиной. Однако усталость, если и не была ещё звериной, но уже ощущалась всеми без исключения. А только до линии фронта не меньше сорока километров – лесом, болотами, фашистскими постами и дозорами.

Задание, поставленное командиром полка, выполнено. Пункт перехода через фронт будет открыт ещё две ночи. Надобно поспевать. Прокоп оглянулся и бросил острый взгляд на товарищей, что молча, с кровавыми разводьями на пятнистых маскхалатах, измазанных в болотной грязи и тине, брели вслед за ним, всмотрелся в их решительные лица, и тёплая волна накатила на сердце: успеем! Но времени на привалы, отдых и ночлеги – нет. Не удастся и Семенчику ни проведать родных, ни разузнать ничего нового о них. Чтобы попасть в его родимую деревню, надобно сделать крюк вёрст тридцать к северу, а кто ж им даст эти лишние сутки. Так что прости, Рома, – Загайнов остановил свой взор на сосредоточенном на том, чтобы не сбиться с тропы, Семенчике и тяжело вздохнул.

Оговоренный в канун ухода группы в тыл врага маршрут возвращения был относительно безопасным: в месте перехода из-за топких болот и дремучих лесов не было сплошной линии фронта. Если поля и луговины на всём протяжении жестокого противостояния были изрезаны и изрыты с обеих сторон людьми и техникой, снарядами и бомбами, то в пункте перехода даже имелась не везде обязательная при ведении современных войн нейтральная полоса, и причём местами довольно широкая.

Под утро второй ночи группа вышла на эту самую нейтральную полосу: продольный, кочковатый лужок, с низкими и редкими пучками хвоща и осоки, волнистыми пятнами темнеющими на бледной от лунного света песчаной земле. Измотанные двухсуточным маршем, разведчики едва переставляли ноги, когда почти одновременно все заметили какое-то шевеленье на тёмной кромке перелеска, куда они держали путь. Сил хватило лишь на то, чтобы приглядеться, что же это за шевеленье и какую опасность оно таит. На луг, навстречу группе Загайнова, такой же грязной, перемазанной чужой кровью цепочкой и, что удивительно, примерно в таком же в количестве, похожие на привидения из похмельного кошмара, выходили из советского тыла немецкие разведчики. Были они, как рассмотрели в слабом лунном свете наши ребята, тоже оборваны и, по всей видимости, до крайности измотаны. Однако сил ни поднять автомат, ни вытащить из-за голенища финку с засохшей на лезвии кровью и броситься на фашистов в рукопашную ни у Загайнова, ни у его бойцов не нашлось. Не отыскалось этих сил и у немецких диверсантов. Поэтому-то и прошли обе группы в каком-то метре друг от друга, безразлично бросили смертельно усталые взгляды в набрякшие от хронической бессонницы и нечеловеческой кровавой работы глаза противника, и разошлись – наши к своим, немцы к своим.

4.

Недаром сказано: не проживёшь в одном пере – облиняешь. Вот и Северьян Акинфыч, ещё седмицу назад бегавший по долине яко молоденький, уже третий день не вставал, лежал, просвечивая воском худого тельца в своей келейке у калитки. Очи запавшие прикрыты, на минутку-другую с великим трудом отворит веки, охватит зрачками бревенчатые стены с низким

потолком, остановит взор на затепленной лампадке под образами, неслышно выдохнет: «Осподи Исусе Христе, помилуй мя грешного!», и зрачки погаснут, веки смежатся.

– А виной тому, что Акинфыч слёг, – шептались монахини Орина и Ефросинья, вороша подсыхающее душистое сено за поскотиной, на лугу, – лазанье в студёную Быструху за Утопленником.

Только так и не иначе называли они меж собой Сашку Грушакова, который уже шестые сутки обитал в сторожке под скалой. Монахини с ним никак не сообщались. Утром до света выставят за калитку в горшке еду на день, вечером, потемну, заберут. Матушка однажды выходила к скале, издаля что-то молвила пришельцу, тот в ответ громко матюгнулся и так хлопнул низкой дверцей, что со стола упали на пол миска и кружка. Иконы и лампадку сторож по настоятельной матушкиной указке ещё в первый день снёс из сторожки в скит.

Комнатку, кою монастырский сторож, пряча в усы и бородку добродушную улыбку, прежде навеличивал «моей стариковской светёлкой», сегодня было не узнать. Покрывальце на топчане всегда скомкано, края его засалены; не утруждая себя дотянуться до узорчатого, с вышивкой, рушника, висевшего подле умывальника, безалаберный Сашка об это лоскутное покрывальце вытирал потрескавшиеся от присохшей грязи свои узловатые ручищи. Дни он проводил в прогулках вдоль отвесных гор, в поисках хоть какой-нибудь маломальской щели, через которую можно бы выбраться из этой западни.

Ещё в сумерках первого дня пребывания здесь Сашка подкатил к сторожу, Северьян Акинфыч тогда ещё крепился, с вопросом: скажи-ка, мол, старче, как из ваших грёбаных палестин выбраться? Ты ж мой спаситель, вот и спасай дальше – укажи выход! Акинфыч в ответ окатил развязного парнишку таким ледяным и многообещающим взглядом, что Сашка, замахав руками, дескать, что уж и пошутить нельзя, скоренько ретировался в свою сторожку. А когда старик слёг, Сашка, узнав об этом от наставницы, – она и приходила-то к скалам известить Грушакова о болезни сторожа, – сперва по обыкновению пришёл в жуткое отчаянье: мол, старый загнётся и все концы на волю утащит с собой в могилку! Однако вскоре отчаянье сменилось такой решимостью любым способом найти выход отсюда, что он теперь неутомимым беркутом кружил по обширной долине, карабкался по каменным осыпям от изножий отрогов вверх, докуда мог доползти, рискуя при этом сорваться и получить увечья об острые, вертикально торчащие там и сям скальные плиты.

Тогда-то он и отыскал заглохшую тропинку, извилисто ведущую на вершину белка. Да вот беда, каменистая крутая стезя эта, чем ближе поднималась к убелённой ледниками вершине, сначала периодически стала пропадать среди скалистых завалов, а потом и вовсе упёрлась в отвесный, козырьком наклонённый к долине утёс, на который ни влезть, ни с боку обойти. Топчась в досаде под утёсом, Сашка наконец-то понял, как попали сюда эти стародуры, но это его понятие ни на йоту не приблизило Грушакова к спасению. Однако какие-то обрывочные, смутные соображения забродили в воспалённой голове, и, наверное, поэтому он однажды надрал большой кусок берестяной коры, подсушил её и острием ножа начертил примерную схему злополучной долины, крестиком пометил место нахождения монастыря. И теперь, после каждого своего похода, несмотря на усталость, садился за неприбранный стол и накалывал точками линии всех своих маршрутов.

Подходил Сашка и к бушующему створу, по которому река вырывалась из долины. Страшно заболела голова, подкосились ноги, а к горлу подступила тошнота, когда он в первый раз увидел кипящие и с циклопической жадностью поглощающие друг друга белопенные буруны. Тогда он, пошатываясь от парализующей всё его тело слабости, обессилено присёл на плоскую плиту под уступом, подальше от реки, и прошло не одно мгновенье, пока Сашка почувствовал, что сможет подняться и возвращаться в своё пристанище под скалой. Однако какая-то неясная, но и неодолимая Сашкиной волей сила привела парня к уступу на створе ещё и ещё раз. В пятый свой приход сюда он уже деловито прикидывал, как и на чём ему преодолеть эти беспокойные буруны.

Однажды, возвращаясь на закате от реки и проходя скошенным лугом мимо погоста, что на бугорке у черёмушника темнел восьмиконечными, с уголками-крышами поверху, листвяжными тяжёлыми крестами, Сашка обратил внимание на то, что на кладбище появился свежий крест с врезанной в него иконкой. «Никак дедуся кончился!» – устало усмехнулся Грушаков и подошёл поближе, чтобы лучше рассмотреть последний приют монастырского сторожа. С минуту он постоял молча, затем опять, но уже с какой-то злорадной мстительностью усмехнулся и, обращаясь к высокому, сработанному из красноватой древесины кресту, резко бросил вслух:

– Что ж ты, старый хрыч, обещал пристрелить, а сам взял да упрятался в эту кучу земли? Теперь-то я здесь крепко похозяйничаю! Наведу в твоих грёбаных палестинах наш коммунистический порядок! – И Сашка Грушаков, смачно сплюнув себе под ноги и по привычке энергично махнув правой рукой, бодрым шагом направился к себе под скалу.

Спустя три дня в укромной заводи прибрежного густого тальника тихонько поплёскивал плот. Он представлял собой достаточно пёстрое явление: четыре подысканных среди сосновой суши и напиленных двухметровых бревна с поперечными жёрдочками, крепко стянутые и связанные жгутами, скрученными из порезанных на лоскуты покрывала и простыней. Плот был привязан к толстому ивовому отводку на берегу прочной верёвкой, украденной Грушаковым недавно ночью из хлева, где ночевала корова.

Зорька лежала на сенных объедьях, когда Сашка, крадучись, перемахнул через поскотину и проник в помещенье. Тусклый лунный диск стоял прямо в ладном оконце, и потому в хлеву можно было ориентироваться. Корова посмотрела на него в сумраке влажными большими глазами, тяжело и шумно вздохнула и отвернулась облизать шершавым языком выпирающую утробу: видимо, в чреве у Зорьки шевельнулся, устраиваясь поудобнее на ночлег, телёночек. Корова не была привязана, но вокруг роскошных витых рогов Сашка заметил намотанную верёвку. Поглаживая Зорьку по ворсистой шее, он, не торопясь, освободил лоб коровы от похожей на тюрбан пеньковой верви и, прихватив в пристроенной снаружи кладовке ножовку и топор, бесшумно удалился.

В следующую ночь он скрытно прокрался в пустой молельный дом – всё насельницы скита почивали каждая в своей келье – и в темноте, на ощупь исследовал на входе, под резной крышей крылечка, три серебряных колокола, в помещенье алтарь и церковные, убранные серебром и жемчугом, на золотых застёжках, неподъёмные книги. А вот позолоченные и серебряные подсвечники, сосуды и четвертьпудовый осьмиконечный крест из чистого золота Сашка, чтобы удостовериться в подлинности этих предметов, не поленился подносить к забранному в узорную решётку окошку поочерёдно, в

сладком томлении перебирая это богатство трясущимися от вожделения пальцами. Но взять ни единой вещицы пока не решился. Вдруг да хватятся эти седые ведьмы пропажи, стрелять-то, однако ж, не только покойничек умел, а вот где ружья они прячут, Сашка так-таки и не выведал!

Ладно, пусть золотишко здесь, в этой надёжной западне, полежит, пока я не доложу нашим и мы не организуем настоящую экспедицию, которая, конечно же, не пойдёт ни в какое сравнение с недовесовской, где только и было, что пустая болтовня двух переспелых таёжных шлюх, да глупое рысканье по треклятым горам в эти чёртовы ливни!

Теперь, когда к отплытию почти всё продумано и подготовлено, у Сашки напоследок имелось ещё одно, пусть и щекотливое, чрезвычайно важное дельце, не сварганив которого он не имел бы права считать себя не только активным комсомольцем-ударником, но и передовым безбожником. Отнеся к плоту брезентовую котомку на лямках (в неё беглец сложил припасённые в дорогу: самодельную берестяную карту; сухари, запечатанные, обёрнутые холстиной в три слоя; медовые соты; в непромокаемой посудине соль; завернутые в тряпку, чтоб не обрезаться, топор и ножовку), Сашка взял острый, отточенный ещё покойным Северьяном Акинфычем нож, сухарь побольше, и незаметно, прячась за деревьями, вернулся на луг, где в густом черёмушнике на вытоптанном пятачке полёживала себе, укрываясь от жары и овода, стельная Зорька. Сашка, ласково приговаривая: «Зоренька, Зоренька», отогнул пару-тройку зелёных веток, рясно усыпанных бурой ягодой, и вышел на тесный пятачок.

Корова глянула на него и равнодушно отвернулась – она узнала ночного гостя, что освободил ей рога, и этого было достаточно, чтобы не вскакивать тяжёло с земли и мчаться напролом прочь от человека. Сашка, держа в одной руке нож за спиной, поднёс открытую ладонь другой с сухарём к влажным тёмно-матовым ноздрям коровы. Зорька обнюхала сухарь и тёплым шершавым языком слизнула угощенье себе в пасть. Сашка, поглаживая корову сначала вдоль шеи, затем перейдя к спине, постепенно опустил свою подрагивающую левую руку к шерсти на утробе.

Зорька дохрустывала сухарь, тягучая слюна, не обрываясь, уже дотянулась до земли, когда подобравшийся к ещё мягкому, но уже наливающемуся молозивом – срок-то близок! – вымени, вспотевший от напряжения Грушаков резко, с силой, вонзил острое лезвие в белую мякоть, выше коричневых, размером с палец, сосков, и рванул нож на себя. Обезумевшее от боли животное вскочило на ноги и, жалобно мыча и дико взрёвывая, умчалось, ломая ветки, с пятачка. Но за миг до этого Сашка успел-таки располосовать несчастной Зорьке вымя, и теперь, с окровавленным ножом стоял посреди черёмушника, удовлетворённо ухмыляясь и даже мурлыча себе под нос что-то бравурное из какого-то революционного марша. Знай наших, сволочь старорежимная!

Спустя четверть часа Сашка Грушаков уже отталкивал шестом свой плот от берега и выводил эту несуразную посудину на пузырящуюся стремнину. Только волна подхватила плот, беглец бросил шест и, в долю секунды просунув обе руки под туго натянутой поперёк брёвен верёвкой, ухватился за поперечные жердочки и распластался на плоту. Больше уже ничего от него не зависело. Сомкнув от предстоящего ужаса глаза, Сашка отдался на волю волн и бурунов. Всё сейчас решала фортуна: захочет – улыбнётся и пронесёт его плот как пушинку через эти ревущие водные бездны, закапризничает – и побьёт Сашку о камни до такой степени, что сделается этот бугай,

вернее то, что он него останется, когда его выплюнет река на отмель, как тряпичная побитая кукла.

Плот летел в пропасть каменного монолитного створа, Сашка лежал на нём, намертво прикипев к жердочке, и ни о чём не переживал, потому что, едва плот вынесло на двухметровую волну, Грушаков от страха счастливо лишился чувств, прибывая теперь в бессознательном состоянии. Однако просунутые под тугую толстую вервь руки его, с вцепившимися в плот побелевшими пальцами, сейчас бы никакая сила на свете не смогла ни разжать, ни отодрать от этих тряпок и жердей.

Струя из походного, прибитого к ольхе рукомойника, когда Валерий Антропов надавливал алюминиевый носик ладонью вверх, била прохладная и свежая. Он с удовольствием поплескал водой на лицо, протёр шею, снял с крючка рядом вафельное полотенце, обмакнул им глаза и щёки и, закинув полотенце на плечо, направился к землянке. После ночного наряда на огневой точке, на передовой, страшно хотелось спать. Стояли ясные тёплые дни начала октября. Увядающий лес был щедро залит разнообразными цветами, от зелёного до жёлтого и красного, плавно переходящего в багряный. Валерий сонными глазами смотрел на эту красоту и неспокойные мысли о войне таяли, словно утренний низкий туман, что невесомыми пластами стлался по ближним к лагерю лощинам.

– Валера, ты Фёдора не видел? – услышал он голос Виталия Сазонова. Виталий с некоторых пор был ординарцем у комбата. Сейчас в его голосе проскальзывали встревоженные интонации. – Понимаешь, ищем с самого рассвета. Как сквозь землю провалился.

– Может, он в полк ушёл? – Сонливость у Валерия как рукой сняло. – Там, в штабе, ты же знаешь, наш земляк с Алтая писарем служит.

– Да бегал уже я туда. Не приходил, говорит, хотя с вечера обещал быть.

– А здесь-то всё хорошо проверили? – Валерий показал подрагивающей рукой на землянки, накопанные вразбос по всему ельнику. – Давай вместе ещё раз обойдём их. Я начну с этого края, а ты, Виталя, иди на ту сторону опушки. Встретимся здесь же.

– Нет смысла, Валера. Все бойцы, разойдясь в цепь, уже прочёсывают лес вдоль тропинки от нас до расположения командования полка. Пока, к сожалению, тоже бестолку, – Виталий сумрачно покачал головой, бросил сочувствующий взгляд на окончательно потерянного Антропова и добавил: – Валера, ты пойди поспи. Силы ещё пригодятся. А за это время мы постараемся найти твоего друга, а может Фёдор и отыщется сам. Ты же знаешь – на фронте всякое бывает.

И Виталий, круто развернувшись, ушёл скорым шагом к землянке командира батальона доложить о безрезультатности поисков пропавшего рядового Зиновьева.

Через двое суток началось широкое наступление. Полк неожиданным ударом выбил фашистов из окопов, освободил узловую станцию. Глубоко переживающий неизвестность судьбы Фёдора, Валерий лишь в горячке боя отвлёкся от беспокоивших его чёрных мыслей. Перебегая с напарником из воронки в воронку и таща за собой «максим», достигли они, наконец, обезлюдевших вражеских окопов, где, развернув ствол в сторону отступающих немцев, сразу открыли огонь по ним.

Минут через двадцать, когда стрельба с обеих сторон стихла, бойцы по-

выбрасывали из окопа и оттащили подальше в поле трупы фашистов и осмотрелись.

– Валерий, глянь туда, – напарник, Гоша Смолин из Чувашии, показал глазами поверх укреплённых бревенчатыми брустверами ходов сообщения. – Видишь, блиндаж, по-моему, это немецкий КП. Надо проверить, может, чем добрым разживёмся. – Гоша снял и спрятал в вещмешок затвор «максима», а вещмешок, просунув руки, одел за спину. – Ну что, пока суд да дело, сбегаем, одна нога здесь, другая там!

Дубовая, в рост человека дверь немецкого блиндажа была открыта настежь и прислонена к бревенчатому вертикальному брустверу. Ничего в блиндаже, что бы им пригодилось, пулемётчики не отыскали. Да и вообще, он оказался никаким ни КП, а обыкновенным временным жилищем солдат вермахта: вдоль стен аккуратные нары в два ряда, стол, табуреты, походная железная печь, в углу что-то вроде шкафчика. Стол и пол до самого выхода почему-то забрызганы кровью. Однако трупов нет.

– Возвращаемся к пулемёту, Гоша, – сказал Антропов. – Как-то здесь не очень уютно.

Валерий, дав пройти Смолину первым, направился следом за ним и на выходе машинально взялся за скобу открытой двери, чтобы затворить блиндаж. Дверь подалась тяжело, будто кто-то слабо пытался придержать её с той, внешней стороны. Валерий с любопытством заглянул за дверь, и непроизвольно отшатнулся. На всякое насмотрелся он за три месяца на фронте, но то, что сейчас открылось его взору, привело Антропова в ужас. На двери был распят, прибит гвоздями вниз головой советский солдат. О том, что он наш, свидетельствовали обрывки чёрных погон рядового на изрезанной в лоскуты гимнастёрке. Кожа на груди и ногах убитого была снята, тело изуродовано, но забрызганное кровью, с мёртвыми выпученными глазами лицо фашисты не тронули. Валерию стало дурно, ноги подкосились: в распятом он узнал Фёдора Зиновьева. Без сил Антропов прислонился к брустверу, слёзы застили весь белый свет, не хватало воздуха, кадык судорожно ходил по горлу, правая рука вцепилась в пряжку ремня, левую, то сжимая в кулак так, что белели косточки на казанках, то разжимая, он не знал куда пристроить.

Почувствовав неладное, Гоша обернулся и тоже переменился в лице. С тех пяти метров, что он успел уйти вперёд, убитого можно было узнать, и без особого труда. Он кинулся назад, к Антропову, схватил того за плечи.

– Валера, ты как? Держись, браток, держись, – крепыш Смолин сильно тряхнул товарища, приводя Антропова в чувства, потом приобнял его и тихонько повёл по ходу сообщения прочь от блиндажа. – Сейчас я позову ребят, мы снимем Федю и похороним, как героя, со всеми воинскими почестями, – ласково, как ребёнку наговаривал Валерию Смолин, пока вёл его к пулемётной точке. – А ты пока посиди, отдохни. Только без меня, пожалуйста, никуда не отлучайся. Я – мигом.

После этого трагического случая Валерий долго и трудно приходил в себя. А главное, он теперь не мог находиться ночью в расположении батальона, старался уйти в дозор на передовую, где противник вот он, рядом, как говорится, лицом к лицу. Здесь он даже ждал, когда фашисты пойдут в атаку, тогда Валерий с наслаждением и азартом меткими очередями отводил запёкшуюся от горя душу. Но стоило ему остаться в лагере хоть на одну ночь, он бессонно бродил по расположению, напрашивался в любой наряд, чтобы хоть чем-то занять себя, или ворочался в землянке на нарах, потому как в

памяти вновь и вновь ярко воскресала жуткая картина у фашистского блиндажа, та, что Антропову лучше бы вовек не видеть. Не боясь, в общем-то, смерти, на фронте она – привычное дело, парень боялся лишь быть захваченным врагом врасплох, опасался повторения с ним страшной судьбы своего друга-одноклассника.

В Талов Сашку Грушакова привели охотники-ойроты на седьмые сутки после его головокружительного падения в створ Быструхи. Два бревна от разбитого о скалы плота, с намертво вцепившимся в обломанный кусок жерди Сашкой, прибило к тихой заводи в устье бучила. Грушаков хоть и пришёл в себя самостоятельно, но был беспомощен оттого, что никак не мог разжать пристывших к жерди пальцев. Поплёскивала прибрежная волна, уже и одежда кое в каких местах просохла, а он лежал, обогреваемый августовским солнышком на бревнах, скрипел от злобы зубами, вращая по сторонам налитыми кровью глазами, и, как ему казалось, потихоньку сходил с ума.

Два пожилых, с карабинами за плечами, охотника-ойрота, низкорослых, с коричневыми щёлками глаз и плоскими вдавленными переносицами, на таких же низеньких мохнатых лошадках выехали из тайги на обрыв и принялись по-хозяйски оглядывать каменистое русло таёжной реки внизу. Заметив плот, алтайцы отыскали относительно пологое и удобное место и начали спуск.

Неторопливо спешившись, они, не проронив ни слова, зашли к лежащему Сашке, один справа, второй слева, и присев на корточки, начали так же молча разжимать ему кулаки, для этого надо было оторвать побелевшие пальцы, отгибая по отдельности каждый, от жердочки. Затем ойроты взяли Грушакова под мышки и перенесли на берег. Пока он разминал онемевшие пальцы и окончательно приходил в себя, охотники нашли широкую ровную мшистую плиту, постелили на неё холстинку и достали из притороченных к сёдлам торб вяленое мясо и сухари.

– Садися, человека, кусай, – на ломаном русском дружелюбными жестами пригласили охотники парня к походному столу. – Поес, апосля и сказысь, чей будес?

– Геолог я, отбился от поисковой партии, – с набитым ртом, не откладывая разговор на потом, охотно откликнулся Сашка. Он прожевал кусок, проглотил и, подхватывая другой пласт вяленой медвежатины, радостно продолжил: – Я ведь, мужики, едва не утоп. А видишь вот, опять живой! Из чего следует, что нужны ещё Родине и партии жизнь и сердце комсомольца-ударника Александра Грушакова! – с пафосом закончил бывший завхоз экспедиции.

Охотники быстро переглянулись. Из всего сказанного они поняли, что этот человек не простой, а является геологом и зовут его Александр Грушаков.

– А мы мал-мал охотники, – начал тот, что коренастей. – Я – Айдар, а он – Бодюр. Идём домой, в Тасангу. А тебе – куда?

– Мне в Талов надо срочно, – Сашку неожиданно осенило. – Дело у меня государственной важности. Требуется ваша помощь, товарищи охотники. Я, как бы это сказать, остался один из всей экспедиции, – завхоз быстро входил в роль. – Была страшная непогода, ураган. Нас разметало по тайге. Товарищи мои скорей всего погибли. Но главное, что перед самым ураганом мы наткнулись на большие залежи ценной руды, так необходимой нашей Родине в нынешнюю лихую годину. И я обязан в самые ближайшие сроки доложить об этом руководству города. У меня и карта составлена, она

здесь со мной, в котомке, – он небрежно махнул рукой, указывая на лежащую рядом холщовую заплечную сумку с лямками. – Однако вся загвоздка, товарищи, в том, что я не знаю, как из этого треклятого места добраться до Талова. – Сашка перевёл дух и почти просительно закончил: – Вся надежда на вас, мужики. Вы должны вывести меня из тайги или, на худой конец, хоть дорогу показать и снабдить продуктами. Повторяю, дело у меня огромной государственной важности.

Охотники опять из сказанного поняли ну, может быть, от силы половину, но то, что этот человек заблудился и ему нужны они, чтобы вывести его из тайги, это ойроты усвоили чуть ли не с первых Сашкиных слов.

– Хоросо, товарис Грусаков, – охотники поверили, что перед ними большой начальник, а к начальству, как известно, лучше всего, если не знаешь его по отчеству, обращаться только по фамилии. – Тропа до Талова нам известна. Пять-сесь суток надо хоросо идти. Ты – слаб, садись на лосадь. Мы рядом побезим. – Алтайцы снова быстро посмотрели друг на друга и тот, что назвал себя Айдаром, смущаясь, проговорил: – Ты нам, товарис Грусаков, потом-ка бумагу дай, обязательно чтоб с печатью. А то наса начальника промысловой артели сибко ругать нас будет: где бегали? Посто соболя к сезону не прикормили?

– Всё оформим по закону, товарищи охотники. – Сашка на секунду задумался, и выпалил: – Я сам лично похлопочу, чтоб вас наградили почётными грамотами за выполнение ответственного задания нашей родной коммунистической партии!

И вот сейчас, только увидел Сашка с горки окрестности родного городка, он чуть не заорал во всё горло «Мы наш, мы новый мир построим!», но сдержал свои чувства и стал лишь негромко мурлыкать под нос мотив какого-то, конечно же, революционного марша.

Спустя полчаса они были уже у парадного подъезда городского комитета комсомола, где Наташка, младшая сестра Грушакова, работала заведующей организационным отделом. Увидев в окно заросшего редкой щетиной и в пыльной потрёпанной одежде брата чуть ли не в обнимку с какими-то вооружёнными карабинами алтайцами, она выскочила из кабинета и быстро сбежала с крыльца навстречу Грушакову.

– Саша, живой! А я сама читала акт о твоей гибели в реке Быструхе!

– Как видишь! Настоящего комсомольца смерть не берёт! Но сейчас не до этого, – Грушаков повернулся к стоящим с напряжёнными лицами ойротам и важным голосом сказал: – Одну минуту, товарищи промысловики. Мне надо переговорить с товарищем заведующей орготделом наедине.

Сашка взял сестру под локоть и отвёл в сторонку.

– Натка, выручай, срочно нужен лист бумаги с печатью. Лучше будет, если ты отпечатаешь на машинке текст о том, что Таловский горком комсомола выражает благодарность охотникам таким-то, я тебе фамилии сейчас чиркну, за спасение геолога Александра Грушакова и доставку его в город Талов.

– Саша, но это же документ. И я не имею права без разрешения первого секретаря ничего подобного составлять. Да и какой ты геолог! Ты же – обыкновенный завхоз.

– Натка! Так надо. Это люди дикие, первобытные, у них карабины! Я наблюдал, как они с пятидесяти шагов белке в глаз попадали. И потом, знаешь, как они говорят, сам слышал не раз: пулька маленькая, а далёко летает!

Тем более, ойроты всю дорогу бубнили: бумага, бумага. Я клялся им сделать с печатью, – Сашка выглядел непривычно растерянным. – Да ещё сдуру брякнул про то, что, дескать, награжу обоих почётной грамотой.

– Сколько я тебе говорила про твой язык! Сдерживать надо себя. Да и думать, хоть иногда, тоже не лишне.

– Ты будто и не рада, что я живым вышел из тайги...

– Что ты, Саша, себе позволяешь! Я обомлела от счастья, когда увидала тебя из окна, – Наталья задумалась, противоречивые чувства отразились на её миловидном девичьем лице. – Я так понимаю, тебе этих алтайцев необходимо поскорей выпроводить из города, – она обернулась и улыбнулась промысловикам. – Что ж, посидите с полчаса в сквере, а я пока что-нибудь придумаю. Вот только с грамотами ничем помочь не смогу: все гербовые листы на учёте у первого секретаря.

– Ладно, я скажу алтайцам, что главный начальник выехал в область, и мы пришлём грамоты позже, почтой.

– Ох, братик, доиграешься ты когда-нибудь! Давай фамилии промысловиков, да я побежала.

Только Грушаков усадил ойротов и сам присел рядом с ними на витые скамейки в сквере, у сухого фонтана, как по щебнистой дорожке к ним скорым шагом примчался радостный начальник экспедиции Недовесов. Он крепко, по-мужски, обнял поднявшегося навстречу Грушакова, оторвал от себя и принялся рассматривать его так, как будто Сашка – это вовсе и не Сашка, а самое малое, золотой червонец царской чеканки.

– Ну, здорово, Александр Никифорович ты наш! Перепугал ты, дружок, нас, да ещё как! Но зато своей пропажей ты поспособствовал тому, что мы отыскали-таки залежи вольфрамовой руды! Однако совсем не там, где намечали. Давай присядем, – Павел Константинович широким жестом указал на скамью, и только тут спохватился, встретив любопытные взгляды уже освоившихся в непривычных для себя обстоятельствах ойротов. – Здравствуйте, товарищи!

– Здрастуй, товарис начальника! – быстро откликнулись оба промысловика и опять притихли.

– Спасибо вам огромное, что вывели нашего коллегу из тайги, – Недовесов энергично повернулся к Сашке. – Александр Никифорович, ты уже определил товарищей на ночлег? Если имеются какие-то проблемы по этому вопросу, милости прошу к себе. Квартира у меня в четыре комнаты. Места всем хватит.

– Да нет, товарищ Недовесов, – тщательно скрывая раздражение, начал Грушаков. Какая-либо задержка ойротов в Талове никак не устраивала Сашку: ведь они могли как-то случайно узнать о том, что спасённый ими человек не тот, за кого себя выдавал. И тогда уж точно реакция этих узкоглазых леших будет непредсказуемой, а если сказать больше, то эти дикари просто выберут удобный момент и шлёпнут Сашку, как зайца на обед. Сашка подавил вздох. – Мы сюда добирались шестеро суток. Я бы тоже рад их оставить погостить, да и так оторвал людей от работы. Они ведь, как я понял, занимались в тайге подготовкой к зимнему охотничьему промыслу, – Сашке самому понравилось, как он грамотно и убедительно всё обставлял, а тут ещё и вновь осенило: – Павел Константинович, вы не могли бы от имени руководства геологической партии написать благодарность ихнему руководству. Вот за это бы вам было большое спасибо.

– Сейчас же и напишу, коль охотники торопятся. Но прежде я доскажу,

как мы открыли месторождение. Как ты помнишь, идти нам надо было вверх, к Холзуну. По всем геологическим показателям залежи должны находиться где-то поблизости от его отрогов. Однако случай, произошедший с тобой, изменил наши планы. Мы решили исследовать белки вниз по предполагаемому течению реки. Может быть, найти хоть какаю-то щель, чтобы проникнуть в неизвестную долину, и там, на месте, узнать о твоей судьбе. Сразу скажу, ничего мы не отыскали, ни прохода, ни места, где река покидала эту поначалу злосчастную, но в итоге оказавшуюся счастливой для нас долину. Но мы же не просто шли, по дороге мы брали на анализ сколы, камни, даже больше, рыли шурфы, если видели хотя бы крохотный намёк на искомую нами руду. На четвёртый день нам улыбнулось, причём, если можно так выразиться, во весь свой драгоценный рот, геологическое счастье. Километров в пятидесяти от того места, где ты упал в реку, у лесистого утёса мы наткнулись на такой рудный выход, что не осталось никаких сомнений – это не просто жила, а целая залежь вольфрама. Мы застолбили участок, взяли образцы и вернулись в Талов. Вот такая история. Сейчас я напишу письмо для охотников, а потом ты, дорогой мой Александр Никифорович, в спокойной обстановке подробно расскажешь о своих таёжных приключениях: как удалось выжить, где скитался, чем питался? Ну, я пошёл. Жду тебя с товарищами промысловиками через час у себя. До встречи!

Алтайцы, внимательно прослушавшие весь разговор, проводили Недовесова тёплыми взглядами. Из слов большого начальника они поняли главное, что экспедиция не погибла, и все люди вышли из тайги живыми. А ещё их простодушные сердца радовало, что у них будет не одна, а целых две бумаги для своего требовательного начальства. Но что вообще приводило ойротов в детский восторг, так это то, что обе эти бумаги будут с круглыми государственными печатями!

Листья на высоких тополях, что уходили от главного входа городского отдела НКВД по аллее к булыжной мостовой, были не зелёно-жёлтыми, какими им положено быть в начале сентября, а скрученными, грязно-серыми. Сказывалась близость свинцового завода, из труб которого денно и нощно валил сладковато-ядовитый, с прозеленью, дым. Начальник Таловского отдела НКВД Василий Александрович Хряпин отошёл от окна и вернулся за свой массивный, под синим сукном, рабочий стол, перед которым стоял, переминаясь с ноги на ногу, вызванный сюда на доверительную беседу Сашка Грушаков.

Он только что подробно рассказал о своих таёжных злоключениях, как он чуть не утонул, как самостоятельно выбрался на берег, как из кустов наблюдал за раскольничьими монахинями и их бесполезной жизнью, как из подручных средств изготовил добротный плот и покинул обиталище старорежимных мракобесов.

– Значит, говоришь, никаким другим путём, кроме как через туннель, в долину не попасть? – Хряпин зачем-то потрогал чёрную эбонитовую трубку стоящего на столе телефона. – И всё это сопряжено со смертельным риском для жизни. Но как-то же эти старушки туда проникли!

– Так точно! То есть, не могу знать, товарищ капитан госбезопасности!

– Что ты заладил, как попка: так точно, не могу знать! Ты мне ответь вот что – по твоим наблюдениям, сколько времени они там находятся, десять лет, пятьдесят, а может, и все сто?

– Не могу... То есть, затрудняюсь ответить.

– Та-ак. А что ты можешь сказать о наличии в скиту церковной утвари, служебных книг? Насколько мне известно, у раскольников эти предметы, как правило, из серебра, золота и драгоценных камней.

– Я, товарищ капитан госбезопасности, наблюдал издаля, – в очередной раз соврал Сашка. Он уже сто раз пожалел, что сболтнул лишнее, когда ещё в самом начале их доверительной беседы решил приукрасить свои приключения встречей со старообрядцами. Нет бы промолчать, за язык ведь никто не тянул, а теперь вот отбрехивайся от каверзных вопросов дотошного капитана. – Да они там все ветхие какие-то, еле живые. Где им таким золотом да бриллиантами ворочать!

– Ну, это не твоего ума дело, гражданин Грушаков, – холодным тоном остановил Сашкины словоизлияния Хряпин. – Пока свободен. В коридоре подойдёшь к секретарю, он даст бумагу и чернила. Изложишь всё письменно. Понадобишься, вызову повесткой.

Однако больше Сашку Грушакова ни разу не приглашали в городской отдел НКВД. В октябре, правда, ему принесли повестку, но уже из военкомата. Едва расписавшись в нижнем углу серого листа, побежал растерянный и обескураженный Грушаков к Недовесову: как же, так, Павел Константинович, ведь у меня бронь! Подтверди, дай бумагу! Но начальник партии лишь развёл руками и покачал лобастой головой: экспедиция завершена, руда найдена, срок брони истёк, мои полномочия свёрнуты. Матюгнулся раздражённый Сашка прямо в лицо бывшему начальнику, хлопнул дверью, и через три дня, пройдя призывную комиссию, отбыл на фронт. Перед отправкой он выбрал момент и бережно передал Наталье свёрнутую в свиток берестяную карту, после того как друзья, такие же как Сашка комсомольцы-ударники, порывисто и бурно пожелав ему воевать достойно и возвращаться обязательно с победой, разошлись из их квартиры.

– Натка, спрячь подальше и береги её пуще глаза, – Сашка вытер шершавыми ладонями слёзы со щёк сестры. – Если я вернусь, отдашь мне, если нет, храни карту до лучших времён. Благодаря ей, можно проникнуть в долину, где хранятся настоящие сокровища. Я их видел. За время моих скитаний по тайге я много думал над тем, что можно сделать с этими сокровищами. Сначала хотел всё рассказать капитану Хряпину, но передумал. Мы с тобой с малых лет хлещемся, чтобы выбраться в люди. Отец боролся за наше светлое будущее, а они его угробили, как последнюю собаку. Мы теперь от этого пятна, что они прилепили на тятьку, не можем отмыться. Ты вот хоть в заворги устроилась, а выше – всё одно не прыгнешь. А я, с моей-то энергией, да в какие-то завхозы! Где справедливость! Через столько мы, сестрёнка, прошли, а толку! Помнишь, как унижались, когда писали отказную, как пьяная мамка лупила нас почём зря? Теперь-то я понял, это она делала от бессилья и страха за нас.

– Такое, Саша, не забывается. Но ты мне хотя бы в двух словах поясни: что там за сокровища? И куда потом с ними?

– Золотой крест, серебряные колокола и подсвечники с алмазами. Иконы – это доски, их можно порубить или сжечь, а вот книги старинные – их надо собрать и выковырять жемчуга из кожаных обложек. Ты же, Натка, видала в антирелигиозном музее старые, с застёжками, пудовые книги. Так вот там, в скиту, в тыщу раз лучше и богаче. Ты говоришь, куда их? – Крест можно распилить и по маленьким частям сбыть на барахолке, только не здесь, а в области. Да что об этом! Будет товар, найдется и кому купить. Но будь осмотрительней, сестрёнка, как говорится: семь раз проверь, а один – от-

мерь. Или как там, ну, в общем, поняла. Ладно, побежал я, а то в дезертиры попаду. Провожать не надо – это не по-комсомольски, – и Сашка, наскоро обняв плачущую Наталью, выскочил из квартиры в подъезд, у которого уже сигналила полуторка с новобранцами в кузове.

Матушка Варвара отняла глаза от причудливой вязи церковно-славянских буковок, выпукло напоминающих узорье теремов и палат, величавые изгибы кремля, купола и маковки древнерусских храмов. Игуменье послышалось, но не ухом, а скорее, сердцем, что кто-то поблизости попал в беду и жалобно просит о помощи. Встревоженная матушка проворно встала и, сотворив с глубоким земным поклоном крестное знамение на образа, покинула свою игуменскую келью.

Окровавленную, издыхающую Зорьку настоятельница скита отыскала почти тотчас же. Грузная корова лежала на опушке перелеска на боку, обречённо вытянув продолговатую рогатую голову по направлению к монастырским строениям. Шерсть на морде Зорьки была мокрой от слёз. Смотрящий в небо левый сливовый глаз с каждым мгновением терял свой живой блеск, тусклая смертная поволока вытесняла остатки влаги из овального зрака бедного животного. Другой, правый, глаз, находящийся ближе к кустистой траве, был прикрыт подрагивающим веком, опушённым золотистыми, красиво изогнутыми длинными ресницами.

Матушка Варвара неслышно опустилась перед Зорькой на корточки и провела сухонькой ладошкой по волнистой шерсти широкой коровьей шеи. На тёмную бурую лывину, растёкшуюся под брюхом кормилицы, старушка в первые секунды старалась не смотреть. Однако тут же пересилила свою слабость и, перебравшись поближе к густо вымазанному запёкшейся алой кровью и подсыхающим жёлтым молозивом вымени, она осторожно дотронулась подушечками пальцев до рваной, разваленной страшным зигзагом, раны. Игуменья опасалась своим прикосновением сделать Зорьке больно, но корова даже не вздрогнула – от большой потери крови она уже отходила. Неожиданно Зорька жалобно взмыкнула, отчаянно дернула задними ногами, взметая копытами выдранные из землистого дёрна коренья, и вытянувшись, затихла.

– Господи Исусе, это где же так бедняжка повредилась? – кротким голосом монахини Ефросиньи прошелестело чуть слышно у игуменьи за спиной. Матушка, ничего не ответив, приложила чуткую ладошку к мохнатому коровьему, местами забрызганному подсохшей кровью, боку остывающей Зорьки, узнать – как там, жив ли в утробе плод. Подержав некоторое время прижатой ладонь, она сжала её в кулачок и резко торкнула корову в выпирающий бок. Однако ни ответного толчка, ни даже слабого шевеленья из чрева игуменья не дождалась.

– Вот и некого спасать. Знать, и теленочек задохнулся, – опершись на колени, матушка Варвара устало поднялась с земли. Лицо игуменьи было вновь, как обычно, непроницаемо, губы поджаты, скорбно и сурово. Она распорядилась:

– Ступай, Ефросинья, кликни Орину, да прихватите лом и заступ – Зорю прибрать. – И помолчав, со вздохом добавила: – Постояльца не ищи, он теперь от нас ещё далее, нежели когда-либо.

Монахиня беззвучно кивнула и, смахнув кончиком чёрного платка скупую слезу, неслышно удалилась в скит исполнять поручения настоятельницы.

Во вторую седмицу октября, отпев и похоронив накануне Орину, после-

днюю из монахинь, которые одна за другой стремительно угасли от неведомой, вероятно занесённой Утопленником в скит, скоротечной хворобы, матушка Варвара, собрав остатние силы, едва ли не волоком доставила к примеченному ранее потаённому затону, с возвышающейся на прибрежной луговине матёрой лиственницей, и утопила в нём церковную утварь из золота и серебра. На это ушло у неё два ущербного света дня. Старушка полагала немного отдохнуть, чтобы собраться со скудными силами, с духом и определить все святоотеческие книги под одну крышу – в молельню, а уже оттуда до снегов перенести реликвии в дальнюю, укрытую от мирских притязаний пещеру, однако немощь телесная и снедающая слабость не позволили осуществить чаемое.

Преставилась игуменья в завершение первой седмицы от Покрова Пресвятой Богородицы. Тихо и во сне...

Серые тучи, цепляясь за вершины облетевших вязов и лип, грузно и низко ползли по осеннему стылому небу с севера на юг. Вот и сюда, в Литву, добрались холода. Владимир поёжился и, пытаясь согреться, похлопал себя по бокам рваной фуфайки. Звякнула в заплечном вещмешке ржавая жестяная коробка из-под леденцов, в которой у Антропова хранился нарубленный мелко табак. Там же, в мешке, лежало несколько картофелин и горстка зёрен ржи. Кирзовые, видавшие виды сапоги явно «просили каши» и были подмотаны бечёвкой, брюки смяты и порваны, рубаха тоже давно не стирана. Владимир, заросший щетиной и безоружный, нет даже перочинного ножичка, с утра слонялся по разбитым улицам окружённого со всех сторон топями и опоясанного руслом болотистой реки городишка Рогово.

– Твоя задача, товарищ сержант, – напутствовал Антропова Берендеев промозглой ночью, на передовой, перед отправкой разведчика в немецкий тыл, – выявить мост или переправу, по которым в Рогово проходят фашистские танки. Будь аккуратен.

– Обязательно буду, товарищ командир! – весело ответил заросший Владимир. Он три дня до этого специально не брился и голодал для правдоподобия, и сейчас выглядел вполне подходяще. – Через двое суток ждите.

– С Богом, сержант!

Чтобы как-то согреться, Антропов решил развести небольшой костерок на обочине, у реки с заболоченными берегами, где кончалась городская грунтовая дорога. А спичек не было. Володя окинул цепким взглядом улицу, по одной стороне которой тянулся ряд деревянных домишек, а на противоположной – возвышался огороженный каменной оградой пятиглавый храм. Из стрельчатых ворот церкви в это время как раз выходил седобородый пожилой священник. Антропов скорым шагом пересёк улицу и, поклонившись, спросил у него спичек, а то, мол, промёрз до костей, а согреться нечем. Батюшка внимательно посмотрел на разведчика, молча кивнул и скрылся в дверях храма. Через минуту он вышел, неся в ладони спичечный коробок. Володя поблагодарил священника и вернулся на обочину, где, насобирав хвороста посуше, принялся разводить костёр.

Скрипнули тормоза, разведчик поднял голову. Рядом стоял тупоносый грузовик с шестью немецкими солдатами в кузове. Было видно, что они навеселе. Солдаты что-то прокричали в его сторону. Володя выпрямился и развёл руками: мол, не понимаю. Крики приняли угрожающий тон, и тут из кабины высунулся шофёр и спросил по-русски: «Что ты здесь делаешь?» – «Греюсь». Шофёр обернулся к солдатам и сказал пару фраз по-немецки. Те

сразу успокоились и забыли про оборванца на обочине. «Ну, ладно, земляк, грейся. На, вот – держи!» – подытожил разговор шофер и, прежде чем скрыться в кабине, бросил на обочину пачку сигарет. И машина поехала дальше, прямо через водный канал. Тогда-то Володя и заметил чуть притопленные, скреплённые между собой толстые хлысты деревьев, выложенные один к одному вдоль русла.

На вторую ночь после этого двенадцать разведчиков во главе со старшим сержантом Прокопом Загайновым и двумя ручными пулемётами пробрались в городок, заняли позиции у переправы и в каменной церковной ограде. На рассвете, после стремительных одновременных атак двух полков соседних фронтов с противоположных направлений, Рогово было освобождёно. Оба полка на два дня отдыха расквартировались в этом городке.

Если с окраин Рогова гарь и дым слабой потягой давно уж были утянуты на реку и растворены в сырых балтийских лесах, то в центре всё ещё чадили развалины немецкой комендатуры, разрушенные кирпичные казармы и развороченное прямым попаданием артиллерийского снаряда деревянное здание городской управы. Между тем, на самой площади едва ли не с утра вовсю шла раздача заправленной тушёнкой дымящейся горячей каши из трёх полевых кухонь. Бравые повара в колпаках и фартуках поверх гимнастёрок весело набрасывали в котелки, ведёрки и миски кашу выстроившимся в очередь старикам, женщинам и чумазым ребятишкам, жителям освобождённого Рогова. Напротив импровизированной походной столовой, в уцелевшем двухэтажном здании, над которым реяло атласом красное знамя, расположился штаб одного из полков. Из дверей этого штаба только что вышли Берендеев, Загайнов и Антропов. Разведчики были при орденах и медалях, начищенные хромовые сапоги блестели на осеннем, наконец-то проглянувшим из-за туч и обогревшим всё живое, ласковом солнышке. На суровых лицах играли добродушные улыбки.

– Ну что, товарищи, разрешите мне ещё раз, уже от себя лично поздравить вас с присвоением очередных воинских званий, – молодцеватый подполковник Берендеев обернулся и протянул свою жёсткую пятерню сначала Загайнову, которому сегодня было присвоено звание «старшина», а затем крепко пожал руку Антропову, ставшему накануне старшим сержантом. Берендеев ещё раз по-отечески улыбнулся и вздохнул: – Вам бы доучиться малость, тогда бы можно было похлопотать и об офицерском чине. Да только не могу я вас, ребята, сейчас отпустить никуда, вы мне здесь как воздух нужны. Вот добьём фрица, помозгуем и на эту тему.

– Спасибо, товарищ подполковник, за заботу, – Прокоп на минуту задумался и продолжил: – Но мы люди не военные. Вы же знаете наши главные звания: Володя – бергал, потомственный горняк, а я – кержак. И я думаю, как покончим с фашистской заразой, мы ни на какие курсы не поедем, а вернёмся, он – к себе на алтайский рудник, а я в саянскую тайгу-матушку. Больно часто сниться стала она мне. Ночи не проходит, чтоб не поглядел во сне ручьи наши студёные, кедрачи кудрявые на исполинских кряжах, белки со снежными вершинами. Вот, правда, что охочусь, добываю зверя, ни разу не видел. Вернусь, надобно заново обвыкать на промысле.

Берендеев только собрался что-то сказать в ответ, как перед ним вырос стройный сержант с лучистыми синими глазами.

– Товарищ подполковник, разрешите обратиться к товарищу сержанту Антропову!

– Обращайся, – Берендееву на мгновенье показалось, что он где-то раньше встречал этого паренька.

– Здравствуй, братка! – незнакомый сержант радостно шагнул к Владимиру.

– Валерка! Ты ли это! Вот так встреча! – Антропов крепко обнял незнакомца, а когда вновь повернулся к боевым сослуживцам, то на лице его они прочли глуповатую от негаданной встречи и растерянную улыбку. – Товарищ подполковник! Это Валерий – мой младший брат.

– Да мы уж поняли, что не сестра. Давайте, отдыхайте. Старшина, разрешаю отметить все события разом, но, как заведено у разведчиков, чтоб глаз был чистый! А я иду к себе. Дела, ребята, – и подполковник круто завернул и скрылся в ближайшем мощёном переулке с уцелевшими аккуратными бревенчатыми домами.

– Имеется у меня к вам, братья, разговор, – Прокоп пристально посмотрел своим пронзительным взглядом на примостившихся на перилах высокого крыльца Владимира и Валерия. Дом, в котором расположились на постой разведчики, был просторным, под черепичной крышей. Остальные бойцы после плотного обеда и чарки водки отдыхали, а Антроповым какой же покой, ведь не виделись около четырёх лет. Валерий за годы войны не только повзрослел, но и возмужал, и потому-то Володя при встрече около штаба не сразу узнал брата. Сколько было переговорено за эти два часа, и о скольком ещё хотелось им рассказать друг другу. Прокоп кашлянул: – Я понимаю, что не к сроку, однако Валерий через час должен ступать в свой полк, а когда ишо свидимся, то неведомо. Разговор этот я долго берёг, но вижу – время пришло обсказать вам одну просьбу, на случай, ежли с кем из нас чё случится, другие донесут её до наших в Хакасию, иль на Алтай, до тамошних кержаков. Так что слушайте, вникайте и крепко запоминайте. Тогда, в начале тридцатых, незадолго перед уходом из благодатной долины, кликнул меня дедушка Петро к себе и поведал, указал, где, в каком месте будут схоронены монастырские реликвии, коль разыщут и доберутся до скита чоновцы. Матушкой было замыслено так: пущай единоверцы обживутся в Саянах, оглядятся, а годиков через пять вернутся обозом с конями, дабы перевезти монахинь со всем скарбом и древними книгами на воссоединенье с братьями по вере. Оно бы и быть тому, однако, когда в тридцать седьмом пришли мы со Степаном Раскатовым и шестью конями в поводу к реке и пробовали одолеть белок, то под самым верхом, где в леднике раньше была узкая перевалочная тропа, наткнулись на сплошную отвесную широченную скалу, которую не обойти и не облезть ни с какой стороны. Потоптались, покружили повдоль Быструхи, даже в створ-туннель, куда река уныривает, сунулись было, да раздумали: обратного-то пути из долины не будет. Решили повременить, ехать снова в Хакасию, разжиться там динамитом, да опосля, через год-другой, вернуться и подорвать эту скалу, чтоб расчистить былую тропу и вызволить монахинь из невольного заточения. Однако покуль сбирали по крохам взрывчатку, готовили новый обоз, всё же ладилось в великой тайне, – сами помните, какие годы стояли на дворе! – тут и грянула война. Всё и разладилось. А загвоздка ишо и в том, что окромя моего деда Петра, сторожа Северьяна Акинфыча, убиенного Степана, меня и матушки-настоятельницы Варвары место, куда в случае опасности будут упрятаны наши реликвии, никому другому не ведомо. А долина-то огромная! – Прокоп с минуту помолчал. – С тобой, Володя, мы не один пуд соли умяли, я тебе верю, как

себе. Валерий мне тоже глянется – наш парень. Потому я вам и открылся. Рисовать карту долины я намеренно не стал, мало ли чё может приключиться, война ить. Обскажу на словах. Быструху отыскать пущай и мудрено, однако ж, можно. Пройти берегом по реке и, не доходя до створа, где она пропадает в белку, взять в гору и под снегами упрётесь в этот самый скальный утёс. Там надобно будет крепко подумать, как его развалить, чтоб тропу в долину наладить. А в самой долине, коль монастырь найдёте порушенным, уйдёте к востоку. Там в средине лета солнце всходит как раз из-за глубокого седёлка, лежащего меж двух острых, с вечными снегами, пиков. У изножья левой вершины есть потаённая сухая пещера, укрытая от постороннего взгляда старым разлапистым кедром. Отвалите плиту и найдёте наши, древлего благочестия, реликвии. Однако одни, без кержаков, не вздумайте отыскивать и касаться старообрядческой утвари и раскрывать наших книг. Трогать мирскими нечистыми руками наши святыни, как нам внушают старцы и пресвитеры, – великий грех. Поэтому, вы уж, ежели окажитесь в долине, не обижайте наших древних обычаев. Но это к слову. Первое же и главное для вас – донести, в случае чего, поведанное мной до верных людей, – закончил Прокоп и, дружески приобняв обоих братьев, потрепал их своими широкими, как лопата, ладонями поочерёдно по мускулистым плечам. – Не унывайте тока, земляки! Я, как старый разведчик и не последний в тайге промысловик, чую, что фрицам мы не по зубам, и опосля победы вы мне пособите пройти в долину. Однако ж, бережёного Бог бережёт! – Прокоп отошёл от братьев, согнул мощные руки в локтях, потянутся так, что хрустнули косточки, и, уходя, молвил: – Ладно, бывайте, посплю чуток. А ты, Валерий, выдастся оказия – наведывайся к нам, всегда тебе рады.

Канула в кровавое небытиё последняя военная зима. Промозглый тёплый ветер с Балтики давно уже вылизал влажным языком остатки ноздреватых серых огрузлых сугробов не только с песчаных дюн вдоль морского побережья, но и из ощетинившихся ветвистыми кронами в низкое свинцовое небо лесов за обрывистыми отмелями. Лишь в сосновых борах, в глубоких складках с бронзовыми оголёнными узлами корней по уклонам, ещё кое-где можно было встретить спёкшийся в грязные линзы льда последний снег. Серо-зелёная игольчатая пена сосновых боров разбавлялась теперь по лесному горизонту влажными, поблескивающими изумрудами апрельской листвы дубрав и смешанных перелесков.

Виталий Сазонов и Валерий Антропов возвращались просёлочной дорогой из штаба полка, куда относили срочное донесение за сургучной печатью по поручению командира батальона. День был тёплым, сухим, лучился не частым в этих местах солнечным светом. Где-то там за лесами возвышалась неприступная цитадель гитлеровцев Кёнигсберг, обложенный плотными кольцами наших глубоко эшелонированных войск. Здесь, в лесу, было полно брошенной бежавшими солдатами вермахта военной техники, причём некоторая была даже не покорёжена, целёхонька, будто только с конвейера. Как, к примеру, вот эта любопытная, ни разу не встречаемая прежде лёгкая пушечка, вон даже и кассета с миниатюрными снарядами заправлена, и сиденье, да такое удобное, имеется.

– Подержи-ка Валера, автомат, я сейчас испробую эту штучку на скорострельность! – мгновенье, и Виталий уже давит на гашетку. В лес, подвывая, уносятся бездымные снаряды. – Глянь, сержант, прямо как молния. Вот это трофей! Давай откатим пушечку в кусты, может, ещё сгодится.

– Дело говоришь, Виталя! Раз-два, взяли! Поехала, кулёма!

Парни, забросав пушечку ветвями, спрятали трофей в густой ольховник и, довольные, отправились дальше. Но не прошли и десяти шагов, как их окружили запыхавшиеся от быстрого бега автоматчики из комендантского взвода. Почти все ребята были им знакомы, а со старшиной не далее третьего дня Виталий бражничал. Однако сейчас на лице старшины не было и следа всегдашнего его добродушия, да и у всех солдат автоматы были наизготовку к бою.

– Валера, не вздумай отдавать свой автомат! – только и успел шепнуть Антропову уже догадавшийся, что к чему, Сазонов. – В случае чего будем отбиваться!

Валерий согласно кивнул и тоже приготовил свой ППШ к бою.

– Бросай оружие, мужики! – старшина перевёл дыхание и угрожающе добавил: – Мы не намерены шутить. Не выполните команды, как воробьёв постреляем.

– В чём, собственно, дело, земляки? – Виталий не хотел терять лицо. – Мы идём себе спокойно из штаба полка, как вдруг ни с того, ни с сего налетаете вы. Что, старшина, пострелять захотелось?

– Это ещё надо посмотреть, кому и чего захотелось! Бойцы, обшарить все кусты и найти пушку, из которой эти стрелки чуть не разворошили весь командный пункт батальона! – парни ошарашено переглянулись, а старшина устало усмехнулся: – Теперь понятно – что вы натворили!

– Товарищ старшина, есть! Нашёл! – из ольховника, сзади ощетинившихся автоматами Сазонова и Антропова, вылез юркий солдатик и призывно помахал рукой старшине. – Из этой пушки пуляли. Ещё и ствол не остыл.

– Понятно, рядовой Петров. Оставь на заметку ориентир и бегом сюда. А вы, голубчики, всё-таки сдайте оружие. Позже зачтётся.

– Не ты, старшина, нам его вручал, не тебе изымать, – Валерий посмотрел тому прямо в прищуренные глаза. – Веди к командиру, но предупреждаю – без вольностей. Стрелять мы тоже умеем. Верно говорю, Виталя?

– Конечно, и, заметь, старшина, всегда в десятку!

Перед самым командным пунктом батальона, располагавшимся в добротном каменном доме лесного хутора, уже часовые попытались ещё раз отнять автоматы у Сазонова и Антропова. Однако те ни в какую не согласились расставаться со своим боевым оружием. Более того, разгорячённые перепалкой с часовыми, парни сдёрнули ППШ с предохранителей. Неизвестно, чем бы всё закончилось, но тут из дома вышел замполит батальона Цисельский, мгновенно оценил обстановку и резко бросил часовым: «Пропустить задержанных ко мне!».

– Вы что же, ребята, развоевались со своими? – капитан прошёл за стол, но им не предложил ни подойти ближе, ни присесть на скамью у двери. Ординарец комбата и сержант так и переминались с ноги на ногу у косячного проёма. – Вы хоть понимаете, что я сейчас здесь, не отходя от стола, напишу рапорт о вашей преднамеренной стрельбе по расположению батальона и последующим за этим вопиющем неподчинении старшим по званию, отягчённом угрозой применения оружия против своих сослуживцев. После этого штрафбат для вас будет самым лучшим вариантом из всего того, что предложит вам особый отдел полка! А то и придётся самим рыть себе могилы перед строем и умереть позорной смертью от пуль своих же бывших товарищей!

– Я думаю, до этого всё-таки не дойдёт, – в дверях вырос сутуловатый комбат, майор Анкудинов и, кивнув посторонившимся нарушителям, прошёл к столу и громко, чтобы все слышали, даже и там, в сенях за открытыми дверями, сказал, обращаясь к Цисельскому: – Мы, товарищ капитан, поступим несколько иначе. Ребята молодые, и как показало недавнее происшествие, довольно бестолковые и дерзкие не в меру. Будем исходить из того, что прежде ни в чём подобном они не были замечены, оба активные комсомольцы, и потом, боевых заслуг у них хоть отбавляй, – здесь комбат явно преувеличивал, разом подумали встретившиеся быстрыми взглядами оба распекаемых, хотя, справедливости ради надо отметить, что и они не последние по храбрости в батальоне. Но к чему клонит командир? – Давайте, товарищ замполит, отложим разбирательства по этому нелепому случаю со стрельбой до завершения операции. И к большому счастью молодых людей от их пальбы никто не пострадал. Завтра с утра – наступление. Вот я и предлагаю: направить провинившихся бойцов на самый ответственный участок, чтобы ребята своим героизмом в бою смыли с себя все подозрения и подтвердили тот факт, что они настоящие комсомольцы и смелые воины Красной армии. Так ведь, товарищи бойцы?

– Так точно, товарищ майор!

– Пусть тогда идут в свое подразделение готовиться к завтрашнему дню.

– Товарищ майор, зачем откладывать на завтра, что можно сделать сегодня? – было видно, что и замполит отошёл, помягчел. – Пусть они немедленно выдвигаются с пулемётом на большак, что за лесистым болотцем, в полутора километрах отсюда. Там стоит каменная большая рига, на чердаке которой нужно оборудовать огневые гнёзда. И держать под контролем большак со стороны фронта. Один расчёт уже там. С ним налажена телефонная связь. Недавно они сообщили, что противника пока не наблюдается, но неплохо бы укрепить позицию. Вот я и подумал, товарищ майор, направить провинившихся туда. Пусть возьмут дополнительно гранат, боеприпасов. Да, ещё вот что. Это уже к тебе относится, сержант Антропов, – капитан подошёл к застеклённому шкафу и вынул из него сложенное вчетверо красное знамя с оттиснутыми золотисто на верхней открытой его части серпом и молотом. – Я доверяю именно тебе, товарищ сержант, прикрепить знамя на крыше риги. Фашисты должны знать, что это советская земля!

На песчаной тропинке, когда они свернули за куст и не было поблизости посторонних глаз, Валерий повертел в руках свёрток со знаменем, не зная, куда его девать. В карман гимнастёрки не вместится, вещмешок под завязку набит патронами и гранатами, сунуть за ремень – можно потерять по дороге. Постой-ка, а если его обмотать вокруг тела на поясе – уже тогда-то точно ни за что не выронишь, да и пояснице теплей. Зря что ли сказано: голь на выдумки хитра! Это и про нас с тобой, разжалованный гражданин ординарец, любитель стрельбы в штабное молоко, и вообще, замечательный ты мой боевой друг, Виталий Сазонов. Снимай пулемёт со станин, что нам его по болоту, что ли, катить? Так обойдёмся.

Отыскав по линии телефонного провода ригу, ребята крикнули настороженно выглянувшему при их появлении из слухового окна расчёту, чтобы помогли поднять «максим» на чердак. Те сбросили толстую верёвку, и спустя пару минут пулемёт был наверху.

Апрельская звёздная ночь прошла без происшествий. Расчёты попарно, меняясь через три часа, дежурили у широкого слухового окна, из которого хорошо было видно, как сумрачно белела широкая открытая поляна перед

ригой и дальше, к западу, едва угадывался большак, обрамлённый с обеих сторон тёмными грудами дремучего леса. Поверх этого смутного пейзажа простиралось иссиня-чёрное бархатистое, щедро расшитое причудливыми узорами ярких и отчётливых созвездий, атлантическое небо.

– Посмотри, Валера, какая вокруг красота и величие, а мы этого либо не замечаем вообще, либо, увидев, вольно или невольно, но стараемся сгубить, сделать побольнее окружающему нас живому миру, – вполголоса, чтобы не беспокоить отдыхающих на сене в глубине чердака бойцов соседнего расчёта, сказал Виталий. По необычной интонации, с которой друг произнёс эти слова, Антропов предположил, что сейчас будет сказано что-то важное. И он не ошибся. Сазонов неожиданно признался: – Ты вот меня знаешь как бывшего беспризорника. А как я им стал, по какой причине – это не только тебе, но и другим, неизвестно. Помнишь, в прошлом году меня принимали в комсомол? Тогда на вопрос: кто мои родители? – я ответил, что сирота, и не помню ни отца, ни матери. Я – солгал. Мой отец был командиром моторизованного корпуса в Приволжском военном округе. Мать из дворян, но это тщательно скрывалось. А вот отец своего прошлого не таил, он, по-моему, даже гордился, что уйдя в четырнадцатом году на Первую Мировую войну рядовым он к революции дослужился до штабс-капитана и являлся полным Георгиевским кавалером. И кресты свои не выбросил, как это делали тогда многие из тех, кто перешёл в гражданскую на сторону красных: все царские награды его хранились в кожаном, обитом изнутри тёмно-малиновым бархатом, футляре. Мне на всю жизнь врезалось в память, когда в июне тридцать седьмого в нашу квартиру нагрянуло НКВД и перевернуло весь дом, чекисты тогда нашли этот футляр и, злорадно хохоча, вытряхнули кресты на паркет. Отец, безучастно стоявший до этого у стола, вдруг подскочил к чекистам, которые все, как один, были одеты в гражданские серые костюмы и, расшвыряв их по комнате, нагнулся, чтобы собрать свои награды. Тогда один из них, я эту мразь запомнил навсегда, лощёный весь такой, с колечками бабьих кудрей, выглядывающих из-под широкой шляпы, подбежал к отцу сзади и рукояткой револьвера ударил его в затылок. Отец потерял сознанье. Тут же к нему подлетели все остальные и, отталкивая друг друга, стали топтать и пинать ногами. Мама, горько плача, обняла нас с младшей сестрёнкой, и старалась своими тёплыми ладонями прикрыть нам глаза, чтобы мы не видели всего этого ужаса. Я вырвался из рук матери и, ревя от отчаянья и обиды, набросился на ближнего к нам чекиста. Им оказался тот самый, в бабьих колечках. Я успел дотянуться пальцами до его лощёной хари и расцарапать её до крови. Но, получив по лицу удар волосатого кулака, кубарём укатился к книжному шкафу. Взбешённый чекист наверняка бы меня застрелил, он, грязно матерясь, уже и револьвер навёл, однако сухощавый латыш на ломаном русском резко приказал ему не пугать выстрелами соседей. Затем тот же латыш скомандовал стоявшим в прихожей коменданту дома и дворнику отнести арестованного врага народа в машину у подъезда, и, подойдя к матери, взял её двумя пальцами за подбородок, сумрачно посмотрел в лицо и сухо процедил: «Эту тожэ в машэну». Напоследок я расслышал, как уже в дверях он, похлопав по спине идущего рядом моего обидчика, всё тем же резким, усмешливым тоном негромко сказал ему: «Сопляки твои, вэрнёшься и забэрэшь их утром». Мы жили на втором этаже, поэтому я, кое-как успокоив плачущую сестру, сказал, чтобы она взяла самое нужное из одежды и вещей, а сам, набив сумку продуктами, найденными на кухне, и сунув в карман брюк все отысканные деньги и документы, принялся вязать

из простыней верёвку, чтобы по ней спуститься из окна в цветущий палисадник. Мне было уже тринадцать лет и я понимал, что через парадные двери нам из дома не выйти. Дома, в которых живут военные, всегда имеют охрану, а кроме того комендант и дворник видели, как я накинулся на чекиста, и наверняка были предупреждены о том, чтобы не сводили с нас глаз. Под утро мы были на вокзале и садились в первый проходящий поезд. Я заставил свою одиннадцатилетнюю сестрёнку назубок выучить её новое, придуманное мной, имя и фамилию, и как ей отвечать, если вдруг взрослые спросят, почему, мол, вы едете одни, а где ж ваши родители? И потом, когда любопытные попутчики интересовались, что да как, Оля бойко отвечала: мы такие-то, едем к бабушке в деревню, в Подмосковье. Папа и мама нас посадили в вагон, а бабушка на станции встретит. Отъехали мы от Волги прилично, а тут вдруг – раз, и милиция. Как оказалось, какой-то бдительный пассажир сообщил сопровождающему наряду, что, вот, дескать, разъезжают малыши без родителей, а вы куда смотрите? Мы хотели убежать, но Олю поймал один милиционер, меня за шиворот схватил другой, пожилой, задышливый, с пузцом. Вот в это пузо я и торкнул своим лбом, да, видно, удачно угодил толстяку в солнечное сплетенье, он осел и выпустил меня из рук. Я крутнулся и толкнул второго, того, что держал сестру. Он от неожиданности разжал захват, Оля тоже вырвалась, и мы побежали из вагона к выходу. В тамбуре дверь наружу была не заперта, видимо, проводник забыл её закрыть, как это обычно делается, на ключ, я быстро распахнул эту дверь и, обернувшись, крикнул сестре: «Прыгай за мной!». Поезд как раз замедлял ход перед очередным разъездом, откос был не крутым и травянистым, поэтому я и был уверен, что сестра, не раздумывая, прыгнет за мной следом. Но то ли она испугалась, то ли подоспевшие милиционеры успели схватить её в последнюю секунду, однако, сколько потом я ни бегал вдоль насыпи, ни кричал сестру, никто не откликнулся. Пешком приковылял на ближайшую станцию (несколько остыв от пережитого, я обнаружил, что при падении сильно ушиблено колено, и мне ещё с неделю, пока оно не зажило, пришлось ходить, прихрамывая) и там стал осторожно расспрашивать у пассажиров на перроне и в зале ожидания, не выходили ли здесь с недавнего поезда два милиционера с девочкой-подростком. Люди пожимали плечами и отрицательно покачивали головой. Узнал я и адрес местного детского дома. С неделю пасся вокруг него, выглядывая, нет ли моей сестрёнки среди ребятишек, строем идущих в город или играющих среди огромных сосен за оградой, но никого даже близко похожего на мою сестрёнку Олю я не высмотрел, – Виталий помолчал. Светало. Звёзды таяли, небо бледнело. Просёлочный тракт и лес по обочинам принимали дневные очертания. Не беспокоил друга никакими дополнительными расспросами и Валерий. Вот тебе и рубаха-беспризорник! Выходит, что судьба-то у парня костоломная. Да мало ли нынче таких вот по Советскому Союзу! Но ведь не озлобился, не переметнулся к врагу, мстя за свою исковерканную юность и гибель родных. Сазонов, словно прочитав мысли товарища, усмехнулся и продолжил: – Ты, небось, думаешь, почему ты, Сазонов, здесь, а не там, по ту сторону фронта? Видишь ли, Валера, я очень люблю своих родителей, а они беззаветно любили Россию. И я, предав Родину, предам и оскверню память отца и матери. А сестру Ольгу, как только набьём морду фашистам, я опять буду искать. Я думаю, она жива. Теперь для полной ясности ещё пару слов обо мне, а потом я закончу свою исповедь одним интересным случаем, рассказать раньше о котором было всё недосуг. Так вот, около двух лет я бродяжил, но метрик

своих – я их забрал из дома с собой – не потерял, и поэтому в тридцать девятом поступил в Перми в ФЗУ. С началом войны работал токарем на заводе по изготовлению снарядов, ну а дальше ты всё знаешь.

Виталий приподнялся, обхватил ладонями стропилу и с хрустом потянулся. После этого опять присел на прежнее место у пулемёта, предварительно оглянувшись на спящих в глуби чердака ребят из второго расчёта, и начал свой рассказ.

– Помнишь, зимой, в начале сорок четвёртого, под Витебском, соединившись с соседней армией, взяли мы немца в котёл. Там у них ещё блиндажи были как с иголочки, ни пылинки, ни снежинки. Они ж тогда не думали, что мы проломаем всё и вся и выйдем через болота к ним в тылы. Так вот, врываемся мы с Колькой Шабалиным после рукопашной в один такой игрушечный блиндажик, добиваем в полумраке двух дёрнувшихся немчиков, выбрасываем их наружу и начинаем приводить в порядок своё жилище. Ты же знаешь наш фронтовой неписаный закон: кто первый занял землянку или блиндаж врага, тот и хозяин. Только мы осмотрелись в помещенье, только поправили застеленные добрыми суконными одеялами нары, врывается к нам капитан с малиновыми погонами энкэвэдэшника на полушубке, и давай размахивать пистолетом у нас перед носом: выметайтесь, мол, немедленно из моего блиндажа, а то – пристрелю на месте. Мы ему: а как же, товарищ капитан, закон фронтовиков? Иди, мол, ищи свободную землянку. А он в ответ резко наводит ствол на нас, и палец уже на спуске. А у меня в правой ударной руке, как на грех, саперная лопатка. Я ему в секунду, сам не понял как, а полчерепа-то, с затылка, снизу вверх, и снёс. Что ж, думаю, ты ирод, под горячую руку лезешь. Он на нары и завалился, каска-то скатилась, и вот они окровавленные колечки бабьих кудрей. Прямо как те, что мне годы спать не давали. Пригляделся, и обличье-то памятное того самого чекиста, что отца убивал. У меня даже лопатка выпала из рук, и я, разом обессилев, присел на противоположные нары. А Колька мне кричит: надо быстро убирать капитана, а то вдруг кто явится. Потом не отмажешься. Я собрался с духом, и мы тут же оттащили труп по ходу сообщения подальше от нашего блиндажа и бросили рядом с убитыми фашистами. Вот уж действительно, неисповедимы пути человека в земной юдоли.

– Да-а, брат Виталий, занятная и даже поучительная история вышла у тебя. Захочешь такую сам придумать, а ума-то и не хватит, – Валерий улыбнулся каким-то своим мыслям и закруглил разговор. – А всё равно, хороших людей на свете больше, чем всякой сволочи. Иначе бы и мы не сидели здесь, а были бы теперь уж точно в особом отделе, ждали трибунала. И не факт, что нас бы оттуда выпустили живыми и здоровыми. Что ни говори, а везунчики мы с тобой, брат Виталий.

– А вот и гости пожаловали, – обыденным голосом спокойно вымолвил сидевший лицом к слуховому окну Сазонов и обернулся к Валерию. – Буди ребят, пусть живо готовят пулемёт! А я пока подпущу их поближе.

Валерий, прежде чем уползти вглубь чердака, на мгновенье бросил взгляд на просёлок. По нему с запада двигалась большая колонна немецких пехотинцев. Шли они уверенно, особо не соблюдая строя, заполняя собой всё пространство большака. Было до них примерно метров сто. Так что время подпустить их ещё метров на тридцать, а потом ударить наверняка, пока имелось. Однако ползти Антропову не пришлось – бойцы соседнего расчёта, видимо почуяв опасность, давно уже сами проснулись и сейчас подползали к своей огневой точки. И хотя до немцев расстояние было немалым, и

услышать их те не смогли бы даже при большом желании, пулемётчики разговаривали меж собой шёпотом.

– Ребята, огонь откроём, как только немцы минуют вон ту кривую ольху на опушке и первые ряды выйдут на поляну, – Валерий, как сержант, принял на себя обязанности командира. – Виталий, звони на КП, доложи обстановку. Скажи, что мы вступаем в бой с батальоном противника. Пусть шлют подкрепление.

– КП не отвечает, командир, – после нервного кручения ручки полевого телефонного аппарата громким шёпотом ответил Виталий. Сазонов был серьёзен, как никогда. – Наверное, провод где-то на линии повреждён.

– К бою, ребята! – и Валерий, припав к станкачу, пустил длинную очередь в самую гущу немецких солдат. Через мгновенье застрочил и другой станкач, обильно поливая свинцом опешивших от неожиданности немецких пехотинцев. Человек двадцать сразу полегло, перегородив дорогу, остальные бросились врассыпную в спасительный лес.

– Что, выкусили, уроды! – азартно кричал Виталий, искусно поправляя пулемётную ленту, и, как только выдавалась свободная минутка, он хватал автомат и сыпал короткими очередями по наступающим из леса гитлеровцам. Широкую душу парня затопил непередаваемый восторг боя. – Мы здесь, как в доте, каменные стены, два пулемёта, автоматы, гранаты! – радостно орал, стараясь перекричать треск и вой стрельбы, Виталий, и поворачивался на миг к соседнему расчёту: – Братцы, не пускайте их на поляну, валите всех на опушке!

Под ураганным огнём с чердака риги выступившие было из леса гитлеровцы вынуждены были, неся потери, опять отступить в лесную чащу и там затаиться. Над полем боя воцарилась мёртвая тишина.

Валерий расстегнул бушлат и стал поправлять гимнастёрку. Ещё во время стрельбы ему постоянно что-то мешало, сковывало движения. И это что-то находилось под гимнастёркой, на животе. Да это же то самое знамя, что вчера навялил замполит! Надо же, а я совсем про него забыл! Валерий выпростал полотнище, расправил на досках, и стал искать глазами рядом что-нибудь такое, что пригодилось бы в качестве древка для новенького красного знамени. Ага, вот эта жердь нам как раз и подойдёт. Бойцы, заметив действия сержанта, подползли к нему и помогли привязать полотнище к тонкому концу жерди. Затем один из них, прихватив автомат, по стропилам вскарабкался под крышу, где, приловчившись, проломил прикладом снизу черепицу и расчистил отверстие, в которое сразу же заглянуло пасмурное небо. Антропов с Сазоновым подали сидящему на стропилах бойцу конец с флагом, он просунул древко в дырку на крыше, и над ригой простёрлось красное знамя с серпом и молотом.

Фашисты, увидев это, словно взбесились. Снова попёрли из леса злобными волнами, но не меньше злости было и у защитников сельской риги. К тому же все четверо были пока что даже не ранены, а вот запас патронов к пулемётам иссякал на глазах. Но держать оборону можно и гранатами, да и запасные диски к автоматам лежали у каждого наготове. Ещё бойцы надеялись, что бой услышат на КП и пришлют подкрепленье. Однако минут через пятнадцать и Валерий принял решение всё-таки отослать Виталия с донесением в батальон. Сазонов поначалу взбрыкнулся: друзей в бою не бросаю, но сержант так глянул на него, что тот спустя мгновенье, успев с лестницы крикнуть: без меня не умирать!, уже мчался в болотистый перелесок. Один из бойцов тут же опять задраил чердачный люк и вернулся к пулемёту.

Прошло с полчаса после того, как Виталий исчез из вида и случилось то, чего больше всего опасался Антропов: на большаке показался тяжёлый немецкий танк. Приблизившись метров на пятьдесят, он направил жерло башенного орудия прямо на чердак. Раздался оглушительный выстрел. Чердак разметало. Снаряд угодил в огневое гнездо соседнего расчёта, и, может быть, поэтому Антропов остался в живых. Оглушённого, потерявшего сознанье, его отбросило в угол и присыпало пылью. Валерий не знал, сколько он пролежал без памяти, но, когда пришёл в себя, первое, что он услышал – это громкий разговор внизу, за развороченным чердачным окном. Говорили по-немецки. Валерий пошевелил пальцами – целые, тогда он неслышно ощупал ими всего себя, тихонько перевернулся на бок и осмотрелся. Пыль уже осела, справа, около разбитой огневой точки лежал покорёженным стволом вверх пулемёт, а чуть в стороне два окровавленных тела в искромсанных бушлатах, в которых сейчас бы никто не узнал бойцов соседнего расчёта. Валерий горько вздохнул и перевёл взгляд ближе к поперечной матке – толстому бревну, у которого раньше лежали гранаты. Как ни странно, но они почти все были целы, так, присыпаны осевшей пыльной крошкой, будто для большей маскировки от чужих глаз, а свои – пожалуйста, подползай, бери, сколько душе угодно. А Валериной запёкшейся, контуженой душе теперь требовалось лишь одного: подороже отдать свою жизнь. Он сразу понял, что кругом немцы, но вот только почему они не проверили чердак, или понадеялись на то, что если всё разворотило, то и в живых-то уж точно не может быть никого. Нет, господа фашисты, мы ещё повоюем. Валерий, прихватив с собой несколько гранат, подполз к закрайке разбитого оконного проёма и осторожно выглянул наружу. Внизу, прямо под ним стоял этот зловещий пятнистый танк, люк его был открыт, в отсеке кто-то копошился.

– Это вам, суки, за вашу беззаботность! – Валерий на миг высунулся из чердака, почти одновременно сорвал чеки с двух гранат, и, аккуратно уронив прямёхонько в широкое отверстие люка одну за другой обе гранаты, быстро отпрянул внутрь. Взрывы слились в один гулкий грохот, а Антропов, ни секунды не мешкая, подхватил автомат и, прислонившись к каменному косяку, начал методично расстреливать мечущихся по двору солдат в мышиных шинелях.

Весь сосредоточенный на стрельбе, Валерий не сразу расслышал, доносящееся из болотистого перелеска раскатистое русское «Ур-ра», а когда понял, что спасён, прижался спиной к уцелевшей стене, плечи у парня задрожали, и он обессилено сполз на пыльные доски чердачного настила.

Часть третья

1.

Капли падали в овальную тёмную лунку, выбитую на сколотом дне подземного штрека, монотонно, через равные промежутки времени, и Владимир уже к ним привык. Он ещё раз проверил капсюли, осмотрел все соединения проводов и взрывчатки, и, разматывая катушку, пятясь, медленно направился по слабо освещенному карбидными и крохотными электрическими лампочками туннелю к выходу. Сейчас электрики уберут со стен освещение, людей с горизонта выведут, и можно спокойно взрывать этот обуренный слепой штрек.

Вот уже четыре года минуло, как после Победы и демобилизации из армии Владимир Антропов устроился взрывником на один из полиметаллических рудников Талова. Работа, как шутят горняки, не шибко пыльная, но зато опасная, требует исключительной грамотности и слаженности всех твоих действий, однако за годы войны Владимир обрёл такие навыки, которые многим и не снились. Внешне казавшийся медлительным, он, тем не менее, все учебные нормативы на межбригадных соревнованиях взрывников выполнял намного быстрее остальных участников. Сначала и руководство не могло понять, за счёт чего этот увалень всегда секунд на тридцать, а то и на целую минуту раньше других, управляется с данным заданием. Пока, наконец, не догадались: у бывалого разведчика каждое движение отработано до автоматизма, каждый жест выверен, скуп, ни единого лишнего шевеления даже и мизинцем.

Проведя отпалку руды, Антропов поднялся на-гора, сдал в ламповой фонарь и по галерее прошёл в бытовку, принять после смены тёплый душ. Сегодня вечером в одной из уютных комнат шахтёрского клуба очередные уроки кружка самодеятельных альпинистов. Занятия в нём ведёт бывший капитан горно-стрелкового полка Сергей Владиславович Самсонов, воевавший на Кавказе, а сюда, на Рудный Алтай, попавший в сорок седьмом, когда завербовался на один из Таловских рудников. Работал он главным энергетиком, а вечерами, три раза в неделю, учил желающих навыкам лазанья по отвесным скалам и покорению заснеженных пиков. Здесь, за тесными школьными партами, велись теоретические занятия, а знакомство с альпенштоком, ледорубом, работа в связке проходили на двух отвесных скалистых утёсах, громоздящихся на выезде из города, у изножья Ивановского хребта.

Владимир с братом Валерием, который трудился проходчиком на соседнем горизонте, прочитав на стене шахтёрской столовой объявление, приглашающее всех любителей гор записаться в спортивный кружок альпинизма, одними из первых пришли в клуб. Здесь они неожиданно столкнулись в дверях с Натальей и Сашкой Грушаковыми, когда те, оживлённо беседуя, покидали комнату. Наталья весело поздоровалась с братьями. Валерий, улыбаясь, задорно ответил на приветствие и восхищёнными глазами окинул девушку с головы до ног. В лёгком платьице, с тугой русой косой на плече, вьющимся локоном на виске, статная Наталья показалась парню необычайно красивой и привлекательной. Владимир тоже улыбнулся, но сдержанно, кивнул девушке и повернулся, чтобы идти дальше. Наталья звонко застучала каблучками по крашеным доскам поблескивающего пола, направляясь к выходу. Сашку, оба брата сделали вид, что не заметили. Он холодно обошёл их и поспешил за сестрой.

У Грушакова, когда их пополнение выгрузили во фронтовой полосе, вдруг открылся такой жуткий понос с кровью, что его с подозрением на дизентерию немедленно отправили в медсанбат, а в подразделении, с которым он прибыл, в срочном порядке провели дезинфекцию. Хотя эти меры предосторожности были и ни к чему, так как никакой заразы у Сашки не было и в помине. Просто он всё умно предусмотрел, когда в ночь перед отправкой на фронт тайно посетил известную в Талове ведунью и знахарку бабку Мотю-травницу. Та, сразу сообразив, что к чему, насыпала в махонький тряпочный мешочек буро-серого снадобья, растолковала, как надобно употреблять, чтобы копыта не отбросить, и, Грушаков, сунув в полумраке бабке в костлявую сморщенную ладонь смятые ассигнации, довольный, растаял в ночи.

Две недели провалялся Сашка на больничной койке. На календаре был конец ноября сорок третьего. Советские войска наступали по всем фронтам. А Грушаков тем временем исподтишка, но зорко высматривал щель, куда бы засунуть своё тугое, в последние дни почему-то постоянно мелко подрагивающее тело, чтобы не замели его на передовую. И высмотрел-таки. Доктора, приостановив Сашке понос и бегло обследовав его внутренности, то ли пожалели этого с виду глуповатого парня, то ли пришли к выводу, что негоже такому дурню гадить в окопах на передовой, и дали ему годность к нестроевой службе. А затем уже само тыловое начальство определило здоровяка, страдающего хроническим недержанием, прямиком в похоронную команду. Только и усмехнулись цинично напоследок, что уж там-то рядовой Грушаков точно никого не заразит. Теперь, если и встречался Сашка с врагом, то тот всегда был таким мёртвым, что мертвее не бывает. И он никогда не забывал обшарить карманы, заглянуть в рот – на предмет наличия золотых коронок – окровавленного бездыханного противника. Всё это проворачивалось тайком, как бы невзначай, не приведи, заметит старшина или комвзвода – сразу под трибунал. Но руки-то чесались! И почто добро должно пропадать! Эти изверги нашу землю жгли, грабили, и мы просто обязаны ответить им тем же. Примерно такие вот разговоры вели они с проверенными ребятами где-нибудь на дне глубокой воронки, во время перекуров между скорбными трудами по захоронению погибших.

Как всё-таки удачно пригодилась ему пара золотых колец и коронок из жёлтого благородного металла, когда, возвращаясь с войны с пустой грудью, Сашка в одной привокзальной пивнушке обменял их у испитого безногого инвалида на медаль «За отвагу» и орден Красной звезды. Тот, поначалу, правда, разглядев опухшими, в кровавых прожилках, мутными глазами, что за вещицы ему вместе с цацками сует этот мордатый, в новом обмундировании солдат, скрипнул в ярости зубами и с отвращением оттолкнул локтём протянутую руку присевшего рядом Грушакова. Но Сашка горячо зашептал, что это фашистские зубы и даже, не моргнув глазом, приврал, что он выбил их у эсэсовцев в рукопашной схватке. Пьяный инвалид недоверчиво посмотрел снизу вверх на приподнявшегося над заплёванным полом Сашку, ещё раз скрежетнул зубами, мотнул чубатой головой на крепкой шее и начал расстёгивать засаленную гимнастёрку, чтобы открутить привинченный орден. Сделав это, он отцепил медаль и поцеловал, прощаясь с наградами, силуэт красноармейца с винтовкой на тёмно-вишнёвой эмали Красной звезды и серебряный круг медали, затем бросил их под ноги Грушакову. Тот быстро ссыпал в широкую и сильную, в мозолистых трещинах ладонь калеки золото, живо стрельнул блудливыми зыркалами по шумящему пивному залу и подобрал награды с пола.

Минут через десять, стоя на перроне, он облегчённо вдыхал полной грудью свежий вечерний привокзальный воздух. Оно, конечно, можно бы и раньше, ещё в войну, на поле боя, где они собирали и сволакивали в братские могилы павших красноармейцев, разжиться орденом-другим, однако, если бы кто застал за мародёрством над своими, сразу бы шлёпнул без суда и следствия. А на небе звёздочка б зажглась, как говаривали в таких случаях бывалые фронтовики. Так что, как подмечено издавна, бережёного и меч не рубит. Теперь же, другое дело: немца свалили, все довольны, счастливы. И Александр Никифорович тоже не в стороне! И не беда, что так ловко приобретённые награды пока всё ещё греются в боковом кармане, времени навалом, прицеплю их, подальше от греха, перед самым домом. Если кто спросит про наградные книжки, скажу: по дороге, мол, с фронта украли вместе с

продуктовыми карточками; почему именно вместе с ними, – задумался на миг и тут же самодовольно ухмыльнулся Сашка, – да для того, чтобы всё выглядело убедительней. Тем более что сами эти карточки к тому моменту будут давно все отоварены. Зато уж я-то явлюсь домой не лыком шит, а как истинный фронтовик – с орденами. Так что, знай, деревня, наших!

Конфуз случился едва ли не сразу, как только Грушаков наведался в военкомат вставать на воинский учёт. Сашка сдуру припёрся в кабинет военкома при дутых своих наградах. Седой майор, воробей стреляный, у него на лацкане кителя тоже красовался среди других боевых отличий и орден Красной звезды, внимательно ознакомился со всеми Грушаковскими документами. Повертев их в руках, отложил на сукно стола и, выслушав сбивчивое объяснение Сашки о том, как у него якобы были украдены наградные книжки, предложил тому снять орден, там, дескать, на обратной стороне выбит номерной знак. Мы по нему сделаем запрос в Москву, и тебе восстановят украденные книжки. Сашке ничего не оставалось, как отвинчивать Красную звезду, к которой он уже привык и начинал считать заслуженной и своей. Отвинтив кругляшок закрепки, Грушаков, опасливо, будто это был паук с ядом, придерживая звезду в подрагивающих пальцах, передал орден через стол седому майору. Майор списал номерной знак, загадочно усмехнулся и, отвернув лацкан, отвинтил свою Красную звезду. Положа её эмалью на сукно, взял карандаш, пододвинул к себе лист бумаги с записанным номером и ниже подписал цифры своего номерного знака. После этого поднял глаза на Грушакова. Взгляд его не обещал мгновенно перетрусившему бывшему рядовому похоронной команды ничего хорошего. Сашка почувствовал, как по хребту вниз покатились липкие капли пота.

– Отвечай, рядовой запаса, когда ты был призван в действующую армию?

– В сентябре 1943-го, товарищ майор.

– Тамбовский волк тебе товарищ, – у потемневшего лицом майора выступила испарина на лбу, он из последних сил сдерживал себя, пытаясь не дать воли своим чувствам. – Да я тебя, щенок, перед строем расстрелял бы за твоё мародёрство. Подойди ко мне, не бойся, бить не буду. Глянь на бумагу. Видишь цифры, грамотный, сравни. Все они совпадают, и лишь последние: у меня единица, а на ордене, что ты украл, – цифра пять. Так вот, гадёныш, свой орден я получил за бои под Ржевом в сорок первом. И тот воин, чью Красную звезду ты нацепил на себя, был в той страшной мясорубке где-то близко от меня, – седой майор тяжело, с горьким сожалением смерил жёстким взглядом съёжившегося Сашку. – Выметайся из моего кабинета, мразь тыловая. Возьмёшь у секретаря лист бумаги и напишешь, где и при каких обстоятельствах ты украл медаль и орден. Да не юли, хуже будет. Награды я забираю. Твою судьбу решит суд. Пшёл вон, мерзавец!

До суда, однако, дело доводить не стали. Орден и медаль в опечатанном кожаном мешочке отправили в столицу, на хранение в центральный военный архив. Авось, да протрезвеет и отыщется настоящий хозяин этих боевых наград. А сам вопиющий случай был предан в городе широкой огласке. Ещё долго потом знакомые фронтовики при встрече не подавали Грушакову руки. Но со временем происшествие стало забываться, народ наш по природе своей незлопамятен и жалостлив, за исключением разве что таких вот выродков и мародёров, как Сашка Грушаков и присные.

Занятия кружка закончились, когда на город и его окрестности опустилась майская ночь. В небе, пригашивая созвездья, висела яркая луна. По-

блёскивали ледники на далёких вершинах белков. Слабое дуновенье ветерка с гор, несущее в себе запахи цветущей черёмухи и чистого рассыпчатого снега, освежало улочки и обсаженную елями тесную площадь с административными по периметру зданиями Талова. Мостовая, по которой шли братья, была освещена лунным светом так, что действительно, как поётся в песне: хоть иголки собирай.

– Нынче было письмо от Прокопа, – Владимир шёл, стараясь не сбиваться с лунной, на булыжниках, дорожки. – Сообщает, что этим летом намерен проведать известные нам места. После демобилизации из Германии до Новосибирска мы ехали вместе. Там, в вагоне, и придумали обозначения хребтов, нужных таёжных уголков и необходимых предметов. К примеру, Сучью дыру назвали затоном, Быструху – речкой, монастырскую долину – заимкой, взрывчатке дали имя – картошка. Вот Загайнов и пишет, что на Петров День будет ждать нас у затона, а если туда не поспеем, то через неделю – на речке. Картошку, мол, можете не брать, своей навалом. Спрашивает: как у нас с работой? Можно ли подмениться или взять хотя бы отпуск недели на две?

– Мой отпуск по графику как раз в июле, – не раздумывая, сразу ответил Валерий, сворачивая с мостовой на гаревую тропинку сквера. – Так что я всегда готов.

– И я переговорю с начальством, думаю на пару-тройку недель разрешат подмениться. Виктор Немчинов согласен в свой отпуск поработать за меня. Ему в сентябре надо несколько дней – на открытие утиной охоты. Завтра же встречусь с Виктором, напишем и отнесём директору заявления, – шедший рядом старший брат подождал, пока они выйдут из затенённого хвойного сквера, со скамейками, расставленными по бокам дороги, на открытый, более освещённый рассеянным лунным сияньем участок, приблизил к Валерию своё лицо, заглянул в глаза и неожиданно спросил: – Брат, у тебя с Натальей Грушаковой всё серьезно, или так, дань весеннему настроению?

– Одним словом и не ответить, – хоть Валерий и ждал этого разговора, однако столь резкая смена темы заставили его в первые мгновенья даже несколько растеряться. Вот уж точно: разведчик он и есть разведчик – умеет выбрать момент, чтобы огорошить. – Да, мы встречаемся с Наташей, ходим вместе смотреть кинокартины в летний клуб. Мне по душе её самостоятельное, особое мнение на окружающий мир. И потом, Володя, она мне и как девушка очень нравится.

– Ну-ну, не кипятись, братишка, – примирительно молвил Владимир. – Просто семейка у них гнилая. Про Кишку и его безобразия ты слышал не меньше, чем я, сдаётся, что и Сашка не далёко от батьки ушёл. Семья – это, как я думаю, раз – и навсегда. Корову на базаре и то не сразу покупают, а пока ни присмотрятся да ни приценятся. Ты же помнишь, тётка Марфа рассказывала нам, как раньше подбирали невест: сначала зашлют ушлых свах в ту деревню, где живёт девушка. Те вызнают всю родову, изъяны и достоинства, и только после этого едут или уже не едут сватать невесту. Я считаю, это делалось очень правильно, такой пристальный отбор сохраняет и улучшает породу. Взять наших сестрёнок, у всех, слава Богу, мужья – ребята проверенные, надёжные, рабочая кость. Прошли фронт. Или вот, к примеру, мой случай. Я со всей роднёй своей Светланы за три года, что мы женаты, перезнакомился, присмотрелся к ним. И скажу: порода у них крепкая, сибирская, на таких всегда можно положиться, не подведут.

– Ты мне ещё и про яблоню с яблоком, которое от неё недалеко падает,

для пущей убедительности расскажи. А я тогда тебе напомню известные слова товарища Сталина: дети за родителей не отвечают.

– Ну, да. Коль пошли сыпать поговорками – можно ввернуть и такую, в которой сказано, что в семье не без урода.

– Я не понял, ты кого имеешь в виду? – чувствовалось, что Валерий распаляется и начинает терять контроль над собой.

– Давай ещё подерёмся из-за какого-то пустяка, вроде: любишь, не любишь, – Владимир, чтобы замять неловкость, возникшую между ними, приобнял разгорячённого младшего брата. – Успокойся, Валера. Ты парень взрослый, сам решишь, как быть. Да и я хорош: уже и войну прошли, а я нет-нет, да снова берусь тебя воспитывать, как в детстве. – Владимир тепло посмотрел на остывающего брата. – Я думаю, тебе будет легче, если я скажу, что чувствую себя после нашего разговора слоном в посудной лавке.

– Да нет, брат. Всё ты сказал, в общем-то, правильно. Я тоже знаю, какую отвратительную роль, пускай и косвенно, сыграл чоновец Никифор Грушаков в трагической судьбе нашего отца и многих других ни в чём не повинных людей. И я на дух не переношу Сашку Гусёнка. Однако мне кажется, Наташа совсем другая. И когда её нет рядом, я себе места не нахожу. Доходит до того, что я ловлю себя на мысли, что готов всё вокруг сокрушить, только чтобы увидеться с ней. И если б кто-то мне сказал: твоя Наташа замерзает в горах, или не может спуститься, ну, хотя бы с нашего Ивановского белка, я бы, не дослушав до конца, уже бежал туда, карабкался к ледникам без остановки, спасать мою Наташу. А иногда, брат, я прихожу в себя и осознаю, что нахожусь всего в каком-то шаге от помешательства. Прямо хоть к бабкам шагай, чтобы отшептали это наважденье.

– Будь поспокойней, Валера. Вот уйдём в горы, там будет время подумать, а по возвращенью, коль решишь, и сватов зашлём к твоей Наталье.

– Как скажешь, братка!

2.

В сердцевине расщеплённого молнией ствола разветвлённой, со срезанной кроной сосны, в сумерках напоминающей миниатюрный стрельчатый готический замок, в центре причудливых башенок-щеп, на высоте полутора метров от земли приютилось гнездо алтайской иволги. На исходе первой недели мая к четырём, тесно прижатым друг к другу крапчатым тёплым яичкам, в то время, когда самка отлучилась на минутку из гнезда, серая кукушка, осторожно раздвинув их клювом, подложила своё, крупное и овальное яйцо. Провернув это дельце, кукушка отлетела к недальней берёзке и оттуда сквозь молодую листву стала напряжённо наблюдать, примет ли иволга подкидыша или же, учуяв не свое, расклюёт его вдребезги, а скорлупу выкинет из гнезда. Но всё обошлось, и чрезвычайно довольная собой кукушка улетела в кедрач на скалистом берегу безымянного таёжного ручейка, и оттуда на всю окрестность принялась радостно накукукивать всему живому дополнительные щедрые года. Ладно, хоть на это годится, видимо, ни капли не тоскующая по материнству кукушка. Зато кукушонок, едва только вылупился и, опережая всех жёлторотых собратьев по гнезду, вкусил из клюва заботливой иволги сладчайшую букашку, тут же с ужасом заметил, как подлетевший следом за матерью отец кормит не его, а остальную мелюзгу, и моментально сообразил, что одному в уютном гнезде будет значительно лучше.

Так что к следующему подлёту новоиспечённых родителей он уже один тянул к ним желтовато-розовый, с чёрным волосатым окоёмом ромбик сво-

ей пищащей прожорливой глотки. И не смогли красивые птицы, счастливо увлечённые кормёжкой рослого дитяти, да и, в общем-то, некогда им было это делать, разглядеть в траве вокруг сосны четыре неоперённых и бездыханных тельца своих родных птенцов.

Прокоп раздумчиво провел ладонью над гнездом иволги. Окрепший к началу июля кукушонок, учуяв тепло руки, мгновенно проснулся, задрал вверх раскрытый клюв, и не получив ожидаемого червяка, стал, пронзительно и жалобно попискивая, бесноваться в гнезде.

– Ишь, какой баловень. Занял чужое, истребил коренных, а уже привык и наловчился распоряжаться гнездом, ровно своим. И кто же теперь ему укажет, что он, дьяволёнок и захватчик, да вдобавок ишо присвоивший себе чужих родителей! – Прокоп брезгливо убрал руку от расщепы. – Свернуть бы ему шею, да иволгу жалко: примется нанова нести яйца, да высиживать листопадников, которые, ишо бабка надвоё сказала, што выживут, а вот сама-то птичка наверняка все силы утеряет и в зиму пропадёт. – Загайнов вернулся к низкорослой мохнатой своей лошадке, поправил торока, подтянул подпруги и ловко вспрыгнул в седло. – Ну, чё, ребята, привал закончен. Держитесь меня, отправляемся дале.

Братья Антроповы, тоже взобрались в сёдла, поправили ремни двустволок за плечами и, слегка понуживая каблуками лошадей, пристроились в след Прокопу. Жители города, они были не привычны к езде верхом. Валера уже даже и мозоли набил. По первости он вообще трясся как пестик в ступе, но за пару дней обвык, и теперь приноровился при скачке рысью, опираясь носками сапог на железные, в пупырышках, подошвы стремян и приподнимаясь в седле, попадать в такт конского бега. Лошадей с собой привёл из Хакасии Прокоп. Они были сменные и, по соображениям Загайнова, в обратный путь их можно нагрузить кое-какой утварью, а покуль пущай повозят друзей. Не бить же ноги мужикам об острые каменья, когда имеется гужевой транспорт под седлами!

Ещё при встрече на скалистой дороге у створа Сучьей дыры, Прокоп поведал братьям о цели этого похода. Она была проста: узнать о судьбе монастыря и его насельников. И ежели всё обстоит благополучно, люди живы и способны к передвиженью, то к осени вернуться большим обозом и забрать монахинь в Хакасию. И получается, что эта летняя поездка своеобразная разведка боем. Почему именно боем? Да потому что в тороках полно динамита для подрыва перегородившего тропу утёса.

Антроповы сообщили другу, что и они времени даром не теряли, обретя за эти годы навыки горного туризма и лазанья в альпинистской связке по отвесным скалам. Всё снаряженье: верёвки, крючья, молотки, ледоруб – с ними, в рюкзаках. Прокоп, услышав это, одобрительно покивал головой: очень даже, мол, пригодятся эти ваши обезьяньи навыки, ежли надобно будет произвести зарядку на труднодоступной высоте, а то и вообще с тыла, со стороны закупоренной долины Теремков.

К вечеру таёжные путешественники выехали на обрывистый берег Быструхи. Вода в реке упала, и поэтому брод перешли сходу, не подмочив ног, сидя верхом на нимало не уставших за день мохнатых монголках.

Темень, истыканная поверху оловянными звёздами, стояла стеной вкруговую. С ней слились и тайга, и горы. Оранжевых языков пламени, несмотря на всю их яркость, хватало лишь на то, чтобы осветить до двух метров от костра, да бросить переменчивые отблески на лица неспешно бесе-

дующих двух бергалов и старообрядца. Прокоп по возвращению с фронта как отрастил раз бороду, так и не сбривал её более. Так, лишь иногда аккуратно уберёт ножницами лезущий в рот и ноздри волос, да заодно и подровняет по краям широкую лопату своей, с редкой проседью, бороды, чтоб уж совсем-то не быть схожим с фольклорным лешим; и ходит себе, в ус не дуя. Вот и сейчас он разгладил крупной жилистой ладонью усы и бороду, помолчал и продолжил:

– Много наших, кого взяли на фронт, побило. Ивашка Егоров пропал без вести. Никиту Лямкина убили под Сталинградом. Степан Раскатов, вы знаете, погиб в сорок втором. Минька, брат его, осенью сорок четвёртого вернулся с войны инвалидом, кисть левой руки оторвало. Стал председателем промысловой артели. Парень – молодец, не тока наладил хозяйство, но и вдовам, у коих по трое и больше малых ребятишек на руках, определил дополнительный паёк: зайца ли, глухаря, рябчика в суп раз в неделю охотники по очереди приносят к сиротскому столу. Минька и сам, не гляди, что кисти-то нет, промысловик фартовый. Он ишо в войну ездил в город Абакан к хирургу, потребовал у того, чтобы увечную культю ему расклешили надвое. Ишо и рана с операции не зажила, а он уж, говорят, матёрого сохатого взял в одиночку, опосля прибёг в деревню, скликал баб, стариков и ребятишек с салазками, чтобы пособили вывезть мясо. Так вот и обманули мои земляки тую, перед Победой, зиму. Он и теперь сберегает всеми силами наш старообрядческий народ. Меня-то, думаете, кто нонче снарядил сюда, дал коней, с провизией помог? – Да, никто другой, как он, наш председатель Михаил Ларионович Раскатов.

– Я до лета сорок третьего работал в забое, – вступил в разговор Валерий. – Добывали свинец для фронта. Работали так, что после смены, только доберешься до постели, кажется и успел-то лишь прикрыть глаза, а уже тётка Марфа теребит за плечо, будит: вставай, сынок, утро на дворе, в шахту пора. Но с продуктами в городе до осени сорок второго было сносно. Спокойно меняли ведро картошки на тушку домашней наваристой курицы. А как привезли беженцев – одесситов и с юга России, так буквально через неделю цены на базаре полезли в такую гору, что и не одолеть. За ту же курицу теперь надо было отдавать уже не ведро, а целый мешок картошки. Тогда-то таловцы и узнали нехватку еды, а кое-кто даже и голод. Были у нас и другие беженцы. Ещё раньше, в сорок первом, с Москвы пришло два эшелона. Людей разобрали по домам, устроили работать. Вот эти самые москвичи и страдали больше нас, местных. Мы брали с огорода, с реки и тайги, а эти люди не были приучены к нашим условиям – всё с магазина да базара несли. Пока было недорого, никто не роптал. Но прибывшие второй волной начали сразу скупать чохом сначала мясо и птицу, а потом и все овощи, да и другие продукты, и перепродавать по своей, сильно завышенной цене. Когда надо было хапнуть больше, товар придерживали, как покупатель созревал, выбрасывали продукты на прилавки, то есть просто всю торговлю в Талове негласно прибрали к своим рукам. Жители недоумевали: и откуда только у приезжих людей такие деньжищи брались?

– Оттуда и брались, – Прокоп нашарил в прикостровой полутьме толстый сухой кедровый сук и аккуратно положил его поверх горящих дров. – Обскажу, ребята, такой случай, он произошёл с нами на юге-востоке Украины ранней весной сорок второго. Я тогда был после госпиталя. Немец наступал. И вот, на одной крупной узловой станции наш взвод направили на поддержку порядка при погрузке беженцев в вагоны. Старики, бабы бестол-

ково суетятся, детишки ревут, все хотят скорее сесть в теплушку. Мы стоим вдоль трапа и не даём никому, чтобы кто пролез в вагон сбоку. Замполит и особист наблюдают со стороны. Вдруг толпа расступается, вернее её прикладами расчищают четверо энкэвэдешников, и на перрон выходит группа рослых чернявых мужчин в утеплённых меховых тужурках и бобриковых шапках. В руках у каждого по тугому портфелю. Сопровождающий офицер размахивает какими-то бумагами и громко орёт: «Разойтись! У меня приказ: пропустить инженеров-конструкторов в первую очередь! Разойдись! Иначе прикажу открывать огонь на поражение!». Люди испуганно отпрянули от трапа. Мы стоим. Эти холёные дородные мужики, чем-то схожие с осанистыми персидскими купцами, не торопясь, гуськом поднимаются в теплушку. На лицах почти у всех из них полупрезрительные ухмылки. А у нас кулаки чешутся дать им в сытые рожи. Особливо, как глянем на растерянные фигурки стариков и детишек. Однако приказы не обсуждаются. И тут, надобно же такому случиться, у одного из этих «инженеров» ни с того, ни с сего – возьми да и раскройся пузатый портфель! И посыпались на дощатый трап и стылую землицу туго перевязанные пачки советских ассигнаций. Самый дородный из «купцов» по-змеиному как зашипит на растяпу, а мы стоим рядышком, всё слышим: «Ты почему, Зяма, застёжки-то не проверил?!». Наш замполит и особист быстро переглянулись, руки у них одновременно потянулись к кобурам на боку шинелей, они крикнули: «Задержать!». Не стоит говорить, что такую команду мы исполнили почти мгновенно. Всех этих «беженцев» с мешками денег тут же вытряхнули из теплушки и отвели за пакгауз, попутно разоружив и энкэвэдешников с ихним прытким офицером. Через полчаса на двух крытых брезентом полуторках примчались уже настоящие энкэвэдешники и забрали всю эту компанию. Чё уж они сделали с ними, не ведаю. Может, просто вывезли в укромное местечко и шлёпнули без лишнего шума. Немец-то наседал, и церемонии разводить было некогда.

– Да-а, война. Чего только не испытал наш советский народ, – говоря это, Владимир немигающими глазами смотрел на ярко пылающую желтовато-белым пламенем лесину, уложеную поперёк сидящих у костра ночёвщиков. – Где прошли бои, там почти всё выжжено и разорёно, но и у нас, здесь в Сибири, казалось бы, в таком глубоком тылу, некоторые деревни, сам, проезжая по делам в областной центр, не единожды видел, обезлюдели. Одни старики да бабы жилятся из последних сил, поднимая детишек. Люди всякими правдами и неправдами убегают из колхозов, которые всегда почему-то в долгах, как в шелках. Вот уполномоченные и выгребают весь урожай подчистую. Задавили крестьян такими налогами, что хоть в петлю лезь. Кто может, выправляет себе паспорт, приезжает к нам, в город, и устраивается на рудники. Я разговаривал с беглецами, все они в один голос твердят, что даже под землёй, среди заколов лучше, чем в родном послевоенном колхозе. Это ж какие головы надо иметь, чтобы кормильцу не оставлять и куска хлеба!

– Выходит, мы в своей промысловой артели живём посноснее вашего, – Прокоп опять огладил бороду. – Соболёк у нас ладный, разнарядку на беличьи шкурки тоже перевыполняем; волка, медведя, лисиц промышляем, орех кедровый сдаём. Хлебушко по луговым низинам сеем. Я же говорю, у нас Михаил Раскатов – хозяин не тока башковитый, но и совестливый, своих в обиду не даёт. Ну чё, мужики, на боковую? Посты выставлять без надобности: чай ить, своя землица, мать-тайга не выдаст!

Примерно в те же часы, в сорока верстах к западу от Быструхи, на широких, потемневших от времени нарах в охотничьей избушке укладывались спать на постеленные спальники брат и сестра Грушаковы. Догорала, оплавляясь прозрачным парафином, свеча в медной кружке на тёсаном столе, выхватывая неверным светом то печурку в углу, то тёмное, будто вдавленное в звёздный закраек ночного неба, обмазанное глиной оконце в бревенчатой стене, то рюкзаки с походным снаряжением, с прислонённым к ним пятизарядным карабином. Его весной, готовясь к вылазке в тайгу за кержацкими сокровищами, Сашка выменял на барахолке у одного юркого неприметного типа на последние золотые коронки, давно уже тайно переплавленные им на задах сестринского огорода в один, граммов на двадцать, слиток. Когда барыге этого показалось мало, Грушаков, скрепя сердце, вытащил из тайника в нагрудном карманчике пиджака три серебряные печатки с перекрещёнными костями черепами, снятые им в разное время с убитых эсэсовцев. А за дополнительную пригоршню патронов Сашке пришлось ещё доплатить, но уже деньгами, двумя смятыми сиреневыми сотенными. На том и расстались они в подворотне. Напоследок, прежде чем растаять в апрельских сумерках, неприметный, со стёршейся физиономией мужичок, зловеще посмеиваясь, изрёк: мол, эта английская машина никогда ещё не подводила ни одного хозяина. Сашка встрепенулся, хотел язвительно спросить: а ты-то, дескать, откуда всё это знаешь? Или карабин всегда непременно к тебе возвращался от каждого нового хозяина? А позволь узнать, загадочный ты мой: по какой такой причине это всё происходило?

Но не успел Сашка произнести и половины задуманной остроумной, как ему мнилось, фразы, а продавца уже и след простыл. Сашка пожал плечами и сунул оружие под мышку распахнутого пальто. Карабин удобно лёг вдоль пиджака и брюк, и когда Сашка запахнул пальто, то из-под полы внизу торчал лишь рифлёный край приклада.

Перед тем как занять на нарах своё место, Грушаков открыл чугунную дверцу печки и положил на догорающие угли берёзовое полешко: оно, хоть и лето, но, как известно, жар костей не ломит. И уж что-что, а комфорт и уют, это у него, наверное, в крови. Только вот от кого передались эти барские замашки? Они, правда, и прорезались-то у него, как это ни странно, поздновато, во время войны, когда Сашка с другими сволакивал в траншеи и воронки хоронить убитых однополчан и шерстил разлагающиеся трупы врагов. Тогда-то он и приучился сначала мыть руки, чтобы не подхватить какую заразу, а потом и к бане приохотился. Батя, так тот, по всегдашней мамкиной ругани, вообще не мылся никогда, воды боялся, как огня. Да и мать, она, если и затевала когда уборку в доме, так хоть святых выноси: крики, рёв до потолка, посуда, обмылки, тряпки летят в тебя, только успевай уворачиваться. Да, маманя, как вспомнишь тебя, так и вздрогнешь. А вот жену себе Грушаков выбрал под стать. Людмила, дочка старого чекиста Василия Митрофановича Ширяева, – хоть и далеко не красавица, зато чистюля, ходит по квартире всегда с влажной тряпочкой в руках, и, если не протирает мебель, то сдувает с него, с Александра Никифоровича, пылинки, окажись он в эти часы дома. А уж как она готовит! Пальчики оближешь! Сашка проглотил обильную слюну, наполнившую весь рот от столь приятных воспоминаний, поплевал на пальцы, погасил свечу и улёгся на своё место на лежанке, сбоку от уснувшей у стены Натальи. «Ничего, вот отыщем кержацкое добро, по-умному сбудем, Людочка родит мне сына, и мы съедем из этой горняцкой дыры в областной центр, поближе к цивилизации и подальше от

этих долбанных бергалов. Тесть, старый хрыч, никуда не денется – подсобит, как миленький! – уже засыпая, мечтательно и бессвязно бормотал Сашка. Но перед тем как окончательно погрузиться в объятья Морфея, Сашка вдруг беспричинно обозлился: – Зазря што ли я это несуразное комиссарское отродье брюхатил!».

Ещё один полный световой день потратили Наталья и грузноватый Сашка на лазанье по горным перемычкам и седёлкам, да утомительную ходьбу по едва угадываемой в густом дурбее тропинке, вдоль извилистых русел таёжных обмелевших ручьёв, а всего-то приблизились к заветной долине километров на двадцать пять. Ночевку разбили на каменистой площадке у обрывистой, увитой диким хмелем скалы, из-под которой бил прозрачный родник, а чуть в сторонке к мшистой отвесной стене была прислонена сухая ель с вывернутым и тоже уже давно высохшим до звона корневищем. Сашка, поднапрягшись, толкнул плечом ствол, сушина грохнулась, перегородив поверху неширокое ложе ключа. Костёр запалили у толстого комля, метрах в трёх от костра постелили ватные спальники. Эти новомодные мешки в количестве десяти штук недавно привёз в Талов из командировки в Москву руководитель кружка альпинистов Сергей Владиславович Самсонов. Наталья упросила его дать спальники Грушаковым в их недельный поход: дескать, заодно и проверим пригодность и надежность новых спальных мешков в условиях наших суровых гор. Самсонов согласился, но при одном условии: по возвращении подробно, желательно в письменном виде, изложить все достоинства и недостатки спальника, и потом всё это обсудить за чашкой чая. Наталья в ответ лишь кокетливо улыбнулась и кивнула своей прелестной головкой, изящно обрамлённой на затылке собранными в корзину тугими золотисто-русыми косами.

От брезентовой палатки, что навяливал им до комплекта взять с собой неизвестно отчего вдруг расщедрившийся Самсонов, Сашка наотрез отказался. Она и тяжела, да и чрезвычайно громоздка. Если закапает или польёт с небес, укрыться можно и под любой пихтой, коих здесь такие зелёные ленты и массивы, что не вырубить и за сто лет. А вместо палатки лучше лишнюю банку тушёнки или на худой конец консервов пару-тройку, да холщовый мешочек макарон бросить в рюкзак. Так ведь, Наталья Никифоровна? Сестра рассеянно кивнула, и они, наскоро попрощавшись с руководителем, ушли из клуба.

Радужным от обильно выпавшей росы утром, плотно позавтракав и залив остатками чая костёр, Грушаковы начали подъём на очередной лесистый перевал. Уже выбравшись на вершину, но ещё не успев скинуть рюкзаки, чтобы размять затёкшие плечи, услышали они отдалённый взрыв. Раскатистое эхо этого взрыва колесом прокатилось по хребтам и распадкам, пока не рассыпалось и в конец не истаяло у ребристого горизонта. Сашка и Наталья настороженно переглянулись.

– Насколько я знаю, вольфрамовый рудник в другой стороне. Примерно там, – Сашка энергично махнул рукой влево, указывая на синюю гряду отдалённых белков. – А взрыв грохнул прямо по направлению нашего пути. Неужели и там этот Недовесов что-то отыскал? А вдруг?.. – у Гусёнка внезапно перехватило дыханье. Он поперхнулся, отплёвываясь, прокашлялся и треснутым голосом выдавил из себя: – Вдруг кто-то опередил нас и теперь взрывами пробивает скалистый затор? И тогда все наши хлопоты коту под хвост! – Сашка побледнел и с силой бросил карабин и рюкзак наземь.

– Успокойся, Саша. Не выдумывай себе всяких небылиц, – голос у сестры был ровным, а тон убедительным. – Скорее всего, это твой неугомонный Недовесов что-то новое бурит и взрывает в горах. И кто тебе сказал, что именно в нашем направлении идут работы. Отсюда тебе что, конкретно всё видать: и белки, и тот утёс? Я, например, ничего, кроме дальней, в туманной дымке, заснеженной гряды не вижу. Давай-ка отдохнём чуть-чуть, и ты, будь добр, веди меня дальше к реке.

Ближе к полудню следующего дня, перебредя по перекатам обмелевшую Быструху, с лежащими по руслу поверх течения плоскими белыми плитами, Грушаковы выбрались на берег как раз рядом с местом ночёвки группы Прокопа Загайнова. Сашка тщательно осмотрел давно остывший очаг костра, исследовал всю примятую траву вокруг него, а после того, как у черёмуховых кустов под горой нашёл светло-коричневые груды конского помёта, расстроился и совсем пал духом.

– Ох, опоздали мы, Натка! – Сашка обессилено присел на замшелый валун и свесил вихрастую голову. Так, застыв, без движения, он пробыл до пяти минут. Наталья не стала тревожить брата и отошла на берег, где по осыпчатому суглинку откоса роскошно разрослись бело-голубые колокольцы водосбора – троецветок. Девушка нарвала букет этих несказанных цветов и вернулась к брату. При её приближении Сашка поднял голову, отсутствующим взглядом окинул фигуру сестры. Наталья, несмотря на то что была одета в мужские шаровары и клетчатую рубаху с засученными по локоть рукавами, а на голове её возвышалась островерхая панамка, с подвязанными на изящном подбородке тесёмками, на фоне летней реки и пихтача со скромным букетом небесных троецветок смотрелась такой лесной красавицей, что глаз не отвести. Однако Сашка ничего этого не замечал, и потому его следующие слова были такими: – Они думают, что оставили Александра Никифоровича Грушакова в дураках! А это мы ещё посмотрим – кто кого! Запомни, Натка: наша цель – кержацкие сокровища! И мы её достигнем! Зря, что ли, судьба сунула меня в эту чертову долину, показала все богатства, отвела от пули на фронте? Нетушки-и! Сокровища принадлежат только мне! – выпалив эту тираду, Сашка, казалось бы, окончательно пришёл в себя. – Сейчас, сестрёнка, мы пообедаем, я ещё раз проверю оружие, и потихоньку, аки тати в нощи, как твердят мракобесы, мы проберёмся в лагерь захватчиков. И я постреляю этих воров, как бешеных собак, всех до одного, сколь бы их там не было.

– Одумайся, Саша! А если они нас убьют? Да и потом, я ведь не приспособлена стрелять по людям. И карабин у нас всего один на двоих. Плюнь ты на эти богатства, проживём и без них. Другие ведь живут. Я просто боюсь. Давай, пока не поздно, вернёмся в город. Будем считать, что сходили в тайгу, отдохнули. Можем даже на обратном пути свернуть к Оструншонку, там, я заметила, когда шли сюда, на вершинах такие высокие скалы, мы бы могли поупражняться в альпинизме. А по возвращению в Талов всё бы рассказали Сергею Владиславовичу.

– Да пошла ты со своим Сергеем Владиславовичем! И альпинизм этот треклятый засунь себе, сама знаешь куда! – Сашка в ярости пнул сапогом подвернувшийся рюкзак со снаряжением. – Пойдёшь со мной. Будешь делать всё, как я скажу. – Сашка перевёл дыханье. – Ты, Натка, не переживай: всё будет в ажуре, потому как на нашей стороне – внезапность. Сейчас взберёмся на белок вот по этой тропинке, видишь, трава примята по направле-

нию к россыпям. Это наш путь, – неожиданно высокопарно закончил разговор, похоже, вернувшийся в своё обыкновение Сашка.

Заряды, заложенные с двух противоположных сторон под подошву заторной скалы, для этого Валерию пришлось применить все полученные в кружке альпинизма навыки, при взрыве сделали своё главное дело: развалили монолит огромной скалы надвое, выкрошив подобие ступеней и вполне проходимых базальтовых уступов, взобраться и спуститься через которые по силам и мохнатым монгольским лошадкам. Поэтому, когда осела пыль и был изучен путь, Прокоп и Валерий, не мешкая ни минуты, спустились обратно на гранитную площадку у подножья белка, где Владимир всё это время сторожил и укрывал от опасных неожиданностей трёх лошадок, этих умных и чрезвычайно сообразительных друзей и помощников человека. Теперь можно было всем вместе, не откладывая, перебраться в благословенную долину Теремков.

За почти двадцать лет, что минули с тех пор, когда молодой Прокоп Загайнов с кержацким обозом покинул эту, огороженную вкруговую вертикальными циклопическими пиками во льдах, обширную местность, здесь мало что изменилось. Тем не менее, Прокопа смутило то, что когда они спустились в пихтовый подлесок, он не обнаружил и следа от былой тропы. Хотя, успокаивал себя Загайнов: ходить к завалу насельникам скита не было никакой надобности. Разве что дедушка Северьян мог прибежать сюда, к скалам, поставить капканы на сурков. Опять же, на что ему это: сбыть ценные шкурки всё одно некому, а монахиням они ни к чему. Истовая молитва и суровый пост не совершаются в роскошных и тёплых мехах. Лишь долгая и осмысленная аскеза души и бренного тела споспешествуют достижению той умилительной и бесконечной благодати, что даётся отнюдь не каждому даже из числа монастырских насельников.

Вот и знакомый протяжённый скалистый утёс-останец, обогнув который, выезжаешь прямо к поскотине. Однако, что же это? Изгородь, хоть и видна, но во многих местах жерди второго порядка либо отсутствуют вообще, либо одним концом лежат в высокой и, как видно, не один год уже не кошеной, траве. Да и все луга вокруг скита девственно нетронуты. Ох, давненько же не гуляли здесь ни серпы, ни острые косы! Прокоп спешился и, не дожидаясь, пока сделают то же самое его спутники, скорым шагом побежал к укрытым в кедровнике монастырским кельям и молельному дому. Рассохшиеся, никогда не знавшие ни щеколды, ни замка дверки в кое-каких кельях были приоткрыты, некоторые подпёрты истлевшими рогульками. Буйно разросшаяся полынь и крапива лезли в подслеповатые оконца, где, казалось, даже и стекло умерло. Несмотря на то, что день вокруг струился солнечный и лучи сквозь просветы в кедровых лапах ласково ощупывали, освещая их, тёмные потрескавшиеся брёвна внешних стен, но едва лишь стоило им коснуться стекла, лучи неминуемо гасли. Было такое впечатление, что они, даже не блеснув напоследок ни разу, поглощались, проглатывались чем-то таким, чему не было ни объяснения, ни разгадки.

Прокоп трижды, с глубоким земным поклоном, осенил себя двуперстным крестным знамением и осторожно переступил порог молельни. Воздух в полутёмном помещенье не был ни спёртым, ни затхлым. Дышалось так же легко, как и за дверями дома. Перед иконостасом, занимавшим всю восточную стену, на широкой добротной лавке, сработанной когда-то Северьяном Акинфычем из цельного кедрового спила, возвышалась выдолбленная из

сосны домовина. Крышка гроба была у изголовья чуть сдвинута. Размашисто перекрестившись, Прокоп поднял двумя руками крышку и бережно отнёс к простенку. Вернувшись к гробу, он внимательно всмотрелся в ту, что лежала внутри. Худенькое, невесомое тело усопшей хоть и было мумифицировано, но по иссохшим очертаньям лица под чёрным, низко облегающим лоб платком Прокоп признал настоятельницу скита игуменью Варвару. Можно было смело предположить, что червь смердящий не касался ничего в сухой сосновой домовине. Да и откуда ему быть в этом намоленном уголке аскезы и схимы, коль с самых первых веков доподлинно известно: грешники по окончании дней своих гниют и смердят, праведники – источают мирру. Прокоп ещё раз окинул взглядом образа на иконостасе, троекратно перекрестил свой лоб и с поклоном вышел вон из молельного дома. На улице его с любопытством поджидали братья Антроповы.

– Я думаю, никого из живых в монастыре мы не найдём, – Прокоп подавил тяжкий вздох. – В храме останки настоятельницы, матушки Варвары. Полагаю, она была последней, посколь, кабы кто был ишо, то и домовина находилась бы прибранной, и крышка у изголовья не сдвинута на сторону. Видимо, в остатние дни своей жизни матушка, чуя скорое свое предстояние пред Господом нашим Исусом Христом и зная, что некому будет её обиходить, спать укладывалась в домовину, под крышку, а когда настал срок отходить, матушке игуменье не хватило сил задвинуть крышку гроба до конца. Сейчас я обойду остальные кельи: нет ли в них кого ишо из почивших, опосля надобно сходить на погост, глянуть на тех, кто там упокоен, да определить место, куда положим настоятельницу, – Прокоп помолчал и дополнил: – Завтрева с утра, покуль вы будете копать могилку, я совершу обряд отпевания рабы Божьей Варвары. Опосля похорон пройдём до пещеры, до той, о коей я сказывал ишо на фронте. Посколь в молельне, окромя образов в окладах и святоотеческих книг, ни креста, ни подсвечников, ни серебряных колоколов я не увидел. Стало быть, искать эту утварь надобно в указанном тайнике.

Как и предполагал Прокоп, все монахини покоились под восьмиконечными кержацкими крестами на погосте. Но если насыпь на могиле Северьяна Акинфыча была правильной прямоугольной формы, и чувствовалось, что за последним пристанищем монастырского сторожа хоть какое-то время присматривали, то на двух могилах рядом кресты стояли наклонёнными вперёд и в сторону, а поросшие таёжным разнотравьем бугорки имели неровности и даже провалы. Что могло означать лишь одно – эти осевшие могилы после похорон уже никто и никогда не поправлял. Найдя в сторожке неплохо сохранившиеся лопаты, мужики до темноты успели поправить и прибрать не только эти две могилы, но и прополоть траву на бугорке, под которым покоился Северьян Акинфыч.

На другой день, соблюдя все заповеданные исстари отцами церкви правила и обряды, останки матушки Варвары предали земле. После этого верхом на отдохнувших монголках Прокоп Загайнов повёл братьев Антроповых к потаённой в скалах пещере. Однако, отвалив плиту, мужики ничего в ней, кроме сухого щебня под ногами, не обнаружили.

Когда выбрались из пещеры на свежий воздух, Владимир высказал предположение, что реликвии старообрядцев закопаны где-нибудь поблизости от монастыря, так как старушки вероятнее всего были в немощи, и крест, подсвечники и колокола в силу этого оказались для них неподъёмными, поэтому было решено закопать реликвии там, куда смогли их донести. Про-

коп и Валерий согласились со здравыми доводами Владимира, и, вернувшись в скит, принялись обшаривать все укромные углы не только на его территории, но и заглянули в сторожку под скалой и осмотрели всё вокруг неё. Однако поиски не принесли никакого результата. Да и сами поисковики делали это больше для успокоения совести, потому что понимали: легче отыскать иголку в стоге сена, чем спрятанную монахинями часть монастырских реликвий.

Единственно, о чём можно было сказать уверенно: золотой крест, серебряные колокола и прочая церковная утварь из металла находятся не на поверхности земли, а где-то закопаны, причём второпях. Об этом свидетельствовало и то, что инкрустированные алмазами и жемчугом книги, иконы в золочёных окладах, по всей вероятности, и не пытались прятать. Делалось всё спешно, об этом наглядно говорило и то обстоятельство, что они были оставлены там, где находились всегда. А почему? Да просто потому, что бумага и дерево в земле через какое-то время истлеют и сгниют. Больше того, размышляли вслух друзья, видимо, у монахинь не оставалось ни времени, ни сил спрятать иконы и книги даже и здесь, на поверхности. Они ведь не снесены, не собраны в одно место. И лишь всего каких-то полчаса назад Прокоп быстренько прошёл по кельям и снёс все находящиеся в них образа и молитвенники сюда, в молельню.

– Вот такая, ребята, вырисовывается картина, – Прокоп огладил шершавой и широкой, схожей с лопатой ладонью жёсткий и выпуклый переплёт «Нового Завета», обложка коего изготовлена века четыре тому назад из выдубленной телячьей кожи, а застёжки и углы обложки – из червонного золота. – Ладно, книги да образа сбереглись. Сподобит Господь, привезу их на радость и успокоенье старикам. Золото да серебро – дело наживное. Да и потом, меня ить посылали не за ними, а за Праведным Словом. Нынче обночуем, а утром, помолясь, и наладимся в возвратную дорогу.

Позиция, выбранная Сашкой на козырьке утёса, была – лучше и не отыщешь. Она представляла собой удобное каменистое ложе, заканчивающееся выщербленным посерёдке и от этого напоминающим амбразуру скалистым выступом. За передвижениями в лагере противника Грушаков наблюдал ещё с вечера, да всё никак не подворачивался случай, чтобы все трое таёжников попадали одновременно на линию огня. А рисковать, расстреливая их поодиночке, Сашка не решался. Он буквально с первых минут наблюдения узнал в двух мужиках, через некоторый промежуток времени переходящих через открытую для выстрела поляну, Володьку Командира и его меньшого брата Валерку. Узнал и возрадовался: «Ничё, братаны, здесь-таки и сочтёмся! Так вот зачем вам, кулацкое отродье, понадобился кружок альпинизма! Думаю, долина моя не даст меня в обиду и в этот раз. Я вас, уроды, непременно закопаю рядышком с дедком!». А вот третьего, высокого и широкоплечего бородатого мужика, пересёкшего опушку чуть позже, Сашка видел впервые. И тот почему-то сразу не понравился Грушакову: то ли своей мягкой, как у зверя, походкой, то ли фигурой, от которой даже и сюда наверх веяло уверенностью и первобытной силой. Поэтому Сашка, ещё и не столкнувшись с ним ни разу, сам не осознавая за что, но уже ненавидел незнакомца и решил, что кончать первым будет именно его.

Притихшая Наталья посиживала себе рядышком и поминутно бросала украдкой робкий взгляд на брата. Иногда, пока багровое остывающее солнце медленно скатывалось к ребристому небосклону, она поглядывала на ок-

ружённую пластинчатыми пирамидками скал и кряжистыми кедрами опушку внизу, но делала это без видимого любопытства. Лишь единственный раз пунцово вспыхнули её матовые щечки, когда в торопящемся куда-то через поляну стройном парне девушка узнала Валерия. Она опасливо скосила глаза на Сашку, однако тот был настолько поглощён своими наблюдениями за намеченой линией огня, что всё остальное его не занимало. Наталья облегчённо перевела дыханье и неслышно ретировалась за косогор, где накануне днём на пологой площадке между двух базальтовых останцев они разбили свой бивуак. Там Наталья уселась на расстеленный спальник и стала рассеянно рассматривать поблескивающие в лучах заката снежники на пиках белка Недоступного.

Рано утром, едва только стало отбеливать, Грушаков бесцеремонно растолкал спящую сестру и шепотом приказал ей следовать за ним на позицию. Сонно протирая глаза и зябко подергивая плечами, Наталья молча поплелась за решительно шагающим на вершину утёса Сашкой. Улёгшись удобней на влажные от росы прохладные плиты, Сашка стал терпеливо ждать, когда на поляну выйдут люди. Что-то подсказывало Грушакову, что этим утром он увидит на опушке всех троих одновременно. Ничего, в карабине пять, да в запасной обойме ещё столько же патронов, стрелять Сашке не впервой: в юности несколько раз бывал в тайге на охоте, а на фронте, так даже из трофейных винтовок старшина позволял, покуда не было рядом никого из начальства, пару раз шмальнуть на очищаемом поле боя по дохлым фрицам. Так что навыки имеются неплохие – настраивал и подзадоривал себя Грушаков, воинственно выставив вперёд дуло карабина. Наталья безучастно присела с левого края, сбоку, лицом к брату и прислонившись статной спиной к замшелой скале, вертикально торчащей внешней стороной над обрывом.

Когда трое верховых в лучах восходящего солнца последовательно друг за другом выехали из кедрача на опушку, Сашка на мгновенье опешил и даже прикрякнул от неожиданности, но быстро взял себя в руки и начал хладнокровно ловить на мушку плечистого незнакомца, чья лошадь с двумя тороками, привьюченными впереди луки седла, шла первой.

– Видишь, Натка, наши сокровища повезли, гады! – возмущённый Сашка зашевелился и заёрзал животом по плитам, а носки сапог упёр в скальный скол позади своего лежбища. – Сейчас, голубчики, я реквизирую награбленое у простого народа! – Сашка передёрнул затвор, тщательно прицелился, поймал в прорезь, направленную на широкое туловище незнакомца, мушку и указательным пальцем правой руки начал мягко давить на спусковой крючок. За какую-то долю секунду, перед тем, как прозвучать выстрелу, Наталья неожиданно для самой себя резко подалась вперёд и толкнула Сашку в плечо. Карабин в руках у брата дёрнулся, и пуля ушла не к намеченной цели, а зацепила едущему следом Валерию, поправляющему в момент выстрела левой рукой козырёк фуражки, мякоть ниже локтя.

– Ты что, зараза! Страхолюда своего хочешь спасти! – Сашка в бешенстве оттолкнул Наталью, дослал второй патрон в казенную часть карабина и лихорадочно начал искать глазами попрятавшихся в высокой траве противников, которых после выстрела как ветром сдуло с лошадей. Приученные монголки ничуть не испугались стрельбы, а всё так же продолжали стоять, как вкопанные, равнодушно уставясь в хвост друг другу.

– Ага, вот он, миленький! – увидев, как что-то шевельнулось в траве, с диким восторгом прокричал Сашка и почти не целясь, нажал на спусковой

крючок. Но кроме щелчка, он ничего не услышал. Наверное, патрон заклинило. И сколько Сашка в отчаянье ни давил на крючок, выстрела больше не последовало. Он попробовал перезарядить карабин, но затвор не поддавался.

– Ах ты, сука торгашеская! Подсунул, паскуда, брак! – Грушаков в ярости приподнялся, отбросил от себя бесполезный карабин и, пятясь, раком пополз, вихляя толстым задом, прочь от своей нагретой лежанки. Отползя к тыльному уклону, он резво вскочил и, петляя не хуже зайца, понёсся к подножию утёса, а уже оттуда ноги сами понесли его к реке. Сашка понимал, что сунься он на тропу, разъярённые мужики верхом на конях в два счёта его догонят. А вот в нише, невдалеке от бушующего створа, есть шанс притаиться и спокойно переждать, пока всё не уляжется. «Врёшь – не возьмёшь!» – стучало горячими молоточками в висках, когда Сашка, перепрыгивая с плиты на плиту, мчался по кромке берега вниз по реке.

Он помнил, что вот сейчас будет поворот, сразу за ним, в ответвлённом рукаве, глубокий, со стоячей глянцевой водой затон и громадная лиственница на лужку метрах в десяти от берега, а там и до ниши рукой подать. Сашка ретиво взбежал на покатый приречный косогор, с растущими на нём кривыми кустами дикой акации, быстро продрался сквозь них. И уже на выходе Сашку на миг охватила оторопь, когда он боковым зрением, как ему померещилось, зафиксировал мчащуюся на него с луга, из-за лиственницы, с грозно опущенными острыми рогами окровавленную Зорьку, ту самую корову, которой он много лет назад смертельно распорол вымя. Запыхавшийся Грушаков в страхе зажмурил глаза, а когда вновь открыл, то жуткого виденья как не бывало. Сашка в досаде смачно сплюнул в сторону лиственницы, крутнулся на месте и рванул дальше по берегу, но, зацепившись за гибкий, оттопырившийся над землёй корень, не удержал свой корпус на весу и со всего маху плюхнулся животом на торчащий сук, который и вошёл в Сашкины внутренности, как нож в масло. Однако под тяжестью тела деревяшка сломалась, и Грушаков завалился набок. Адская боль пронзила всё существо беглеца, но у него хватило сил вырвать алый от крови заострённый сук из горящего, будто кто засыпал туда углей, чрева. Уже не осознавая от дикой боли, что он делает, Сашка дёрнулся всем своим грузным, обильно забрызганным кровью, телом, и, покачиваясь из стороны в сторону, силился идти снова вперёд, балансируя по краю косогора. Но всего через несколько слабых шагов он вдруг начал отчаянно клониться влево, ступил ещё раз на зыбкую кромку травянистого обрыва и, разбивая гладь воды, плашмя полетел на дно затона. Последнее, что гаснущим взором различил Александр Никифорович Грушаков сквозь поднимающиеся вверх пузырьки и донное прозрачно-преломляющееся течение, – это поблескивающий золотом на плоских плитах дна огромный восьмиконечный крест и лежащие рядом на боку серебряные колокола. «Вот я вас и нашёл!» – успел выдохнуть уже не чувствующий боли Сашка, прежде чем в рот ему хлынула студёная горная вода.

Через некоторое время, вволю поволочив перед этим остывающее тело по затону, течение вытолкнуло утопленника на стремнину, где он тут же был подхвачен весёлой волной, и на её гребне выброшен в клокочущий створ свирепой Быструхи.

Ещё не растаяло эхо прозвучавшего с верхушки утёса выстрела, а разведчики с охотничьими ружьями короткими перебежками и перекатами в траве уже достигли спасительного кедрача. Прокоп пробирался к правому склону утёса, Владимир – к левому, чтобы с двух сторон взять в клещи и обезору-

жить или подстрелить неведомого стрелка. Легко раненый Валерий отполз от коней и замер с ружьём наизготовку в естественной ложбинке, под широким зонтом отцветающего дягеля.

На тыльный уклон разведчики выбежали почти одновременно и, показав знаками, кому куда, бесшумно начали подъём к скалистой вершине. Минуты через три они уже профессионально изучали Сашкино лежбище. Прокоп поднял со щебня карабин, умело извлёк из ствола заклинивший патрон и покачал головой. Владимир присел рядом с горько плачущей у скалы Натальей. Она испуганно отодвинулась от него.

– Володенька, не стреляйте, пожалуйста, Сашу! Я знаю, что он не в себе. Он одумался, а то бы разве бросил свой карабин и унёсся куда-то сломя голову?

– Ты, девонька, не реви так, не убивайся. Все ведь, слава Богу, живы. Сейчас походим по долине и братца твоего отыщем. Не бойся, мы ничего плохого Гусёнку не сделаем. Так, может, поучим малость, да вразумим, что нельзя по людям палить. Да ты, Наташа, успокойся. Глянь-ка, вон и Валера поднимается сюда. Вот ты ему и расскажи, какими судьбами вы здесь очутились, и почему Сашка открыл по нам пальбу.

Валерий с обмотанной наскоро рукой и ружьём на плече, как только увидел Наталью, даже несколько растерялся и ничего не понимающим взглядом обвёл всех, дольше задержался на карабине в руке Прокопа, и только потом недоумённо и как-то виновато обратился к девушке:

– Наташа, за что ты так с нами? И как ты нас нашла?

Наталья ничего не сказала в ответ, только, захлюпав носом, ещё громче зарыдала. А Прокоп и Владимир, услышав этот неожиданный вопрос, как по команде одновременно открыли рты и удивлённо переглянулись.

– Ну, ты даёшь, братишка! Это сроду не она, а братец её распрекрасный, Гусёнок. Теперь он в бегах, а нам его искать, время терять. Ладно, разбирайтесь тут сами, а мы с Прокопом к лошадям, да проедем, поищем, куда сбежал Сашка. И найдём, если только он не ушёл через перевал. Тогда уже, наверное, в Талове и свидимся.

День поисков не дал ничего, Прокоп и Владимир, а позже и присоединившийся к ним Валерий объездили всю долину, вскарабкивались на предгорья, заглядывали и на берег. Для очистки совести походили, попрыгали по плитам и валунам вдоль реки, издали глянули на заросший акацией косогор, с темнеющей поодаль лиственницей, и решили, что сюда, на открытый и отовсюду просматриваемый участок, Сашка вряд ли бы сунулся. Скорее всего, парень трусливо бежал из долины тем же путём, как и попал в неё, и, перебредя Быструху, притаился где-нибудь в тайге, а может, уже давно и чешет во все лопатки в город.

Поэтому к вечеру поиски свернули, переночевали в сторожке, а утром, с восходом солнца, начали подъём на перевал. Через двое суток на выбитой в базальте в незапамятные века тропе у белопенного створа Сучьей дыры, крепко обнявшись на прощанье, друзья расстались. Прокоп, верхом на мохнатой монголке, ведя в поводу навьюченных кожаными непромокаемыми торбами двух других лошадей, уехал вниз по течению. А два брата Антроповых и немного успокоившаяся, но по-прежнему безучастная ко всему Наталья, с рюкзаками за плечами отправились вверх по течению, чтобы за недальним лесистым утёсом свернуть в гору, а оттуда и до Талова рукой подать.

Зимой, в канун нового 1950 года, в горняцком городке Талове играли пышную свадьбу. Наталья Никифоровна Грушакова выходила замуж за Сер-

гея Владиславовича Самсонова. О судьбе её брата Александра, пропавшего летом в горах во время альпинистского похода, ни невеста, ни гости разговора не заводили. То ли не хотели портить торжества, то ли отболело.

Эпилог

Черный как смоль, с двумя желтыми продолговатыми заклёпками выше холодных радужных глаз, блестяще-кольчатый уж распрямил закрученное в спираль гибкое длинное тулово-чулок и, предостерегающе шипя, поминутно выбрасывая свой раздвоенный влажный язычок, медленно отполз под широкие и шершавые, в беловатых прожилках по тыльной стороне, листья репейника.

– Ишь ты, какой смелый! Не боится, гадина, людей, – Василий Грушаков осторожно обошёл то место на тропинке, где только что лежал уползший уж. – Раздавить бы заразу каблуком, и дело с концом.

– А кто тебе мешал? Ты же первым идёшь, – Вадим Самсонов, двоюродный брат Василия, поправил лямки рюкзака и продолжил: – Вообще-то уж – змея безвредная и добродушная, главное, не наступать ей на хвост.

– Да знаю я, а будь это гадюка, давно бы размазал по тропинке.

– Вот опять и понесло тебя, Вася, за дальние моря и синие горы, – подала голос шедшая третьей Катя Шахворостова, однокурсница и девушка Вадима.

– Ладно, проехали, – Василий был старшим по возрасту и поэтому полагал, что он автоматически является и лидером их небольшой, для посторонних – туристической, а по их с Вадимом замыслу – поисковой группы. – Сейчас мы, ребята, спустимся в ту самую долину, где по рассказам тётки Натальи пропал мой отец. Разобьём лагерь, сегодня отдохнём, а завтра с утра начнём обследовать всю эту чёртову местность. Отсюда хорошо видать, какая она безразмерная! Да ещё, наверно, за эти годы всё позарастало дурбеем и стало непролазно.

– Дорогу, Вася, как говаривает наш преподаватель по истмату Рафаил Казбекович, осилит идущий. Вот и пойдём вперёд. Чего на неё пялиться, на эту долину? Всё равно она будет нашей, да, Катюша?

– Что-то вы, мужчины, не в меру разболтались. Меньше бы языками чесали – давно бы на месте были.

За четверть века в долину Теремков, как скоро сообразили ребята, ни разу не ступала нога человека. Тропинка оборвалась, как только группа спустилась со скалистого склона в пихтовый подлесок, и здесь уже пришлось продираться вниз сквозь заросли и дебри валёжника, ориентируясь на вековые деревья, возле них и трава пониже, и просветы пошире, и буреломы реже попадались. А когда, наконец, наткнулись в складках очередного лога на ручей, то и вовсе повеселели: теперь-то точно выйдут в низменность долины, так как бежать вверх заставить воду ещё никому и никогда не удавалось. И верно, минут через пятнадцать дебри начали светлеть, и впереди открылась обширная лощина неописуемого своеобразия и красоты. Схожие и по числу, и по очертаниям с дружиной былинных витязей, что отдыхая после битвы, бесцельно разбрелись по крепости, пластинчатые скалистые утёсы-останцы были, как все вместе, так и каждый в отдельности, изумительны в своей богатырской неповторимости.

– Ребята, я вот что подумала, – Катя красиво прищурила свои серые с

поволокой глаза. – Сейчас обследуем эту сказочную долину, а когда вернёмся в город, я пойду в горком комсомола, в отдел туризма и спорта и там официально застолблю это место за собой. А что? Удостоверение инструктора по туризму у меня есть, опыт кое-какой, как вам известно, тоже имеется. Составлю карту маршрута, вы мне поможете расчистить две-три опушки под стоянки. В дальнейшем можно строить планы и на размещение здесь полноценной туристической базы.

– Погляжу я на тебя, Катюша, так ты вылитый Наполеон в юбке, – Василий Грушаков быстро пригасил усмешку. – Пришла. Увидела. Победила. И вообще, ты здесь планируешь прямо Нью-Васюки какие-то!

– Предположим, что вовсе и не Наполеон, а Юлий Цезарь произнёс эту крылатую фразу, – без тени раздражения в голосе перебил Грушакова Вадим. – Но главное в другом – мне, например, Катина идея нравится, и мыслит она вполне даже масштабно. Почему вся эта красота должна пропадать вдали от человека, когда можно и нужно обратить эти природные богатства на пользу людям. Я первый записываюсь под твои созидательные знамёна, Катюша.

– Вот вы уже и вдвоём запели одну песню, – недовольно проворчал Грушаков. – Я так и знал, что этим кончится. Ты, брат, хочешь обижайся или нет, но я скажу тебе без обиняков – не рановато ли ты устраиваешься под каблуком у Кати? – Василий бросил косой взгляд в сторону девушки и опять как-то непонятно ухмыльнулся. – Как бы ненароком она тебя не раздавила! И тогда – прощай все наши грандиозные планы и дела! Ты хоть предупредил бы заранее, я бы заказал в нашей заколоченной церкви службу за упокой свободного сердца комсомольца Вадима Самсонова, – попробовал напоследок всё обратить в шутку Грушаков, однако попытка эта не возымела должного эффекта.

Вадим и Катя насупились и молча начали развязывать свои рюкзаки и выкладывать содержимое рядом с толстыми, узловатыми, шершавыми надземными корнями кедра-великана – надо было готовиться к ночлегу. Грушаков обиженно пожал плечами и, не проронив больше ни слова, взял туристический топорик с пластмассовой ручкой и отправился к ближайшему тальнику нарубить пару жёрдочек и дюжину колышков для закрепления палатки.

Когда Василий проснулся и выбрался из палатки, солнце щедро осыпало жаркими июльскими лучами овальную, поросшую вереском полянку около их предгорного кедра, а другие, раструбом уходящие в долину зелёные опушки, с причудливыми пирамидками скалистых останцев, так вообще залило своим целебным космическим светом. Грушаков сладко, с хрустом в костях, потянулся, и направился к костру, возле которого Катя с половником в руке хлопотала над булькающим, видимо только что снятым с рогульки котелком с походным варевом. Что завтрак будет вкусным, Василий понял, едва втянул через ноздри в себя ароматный запах, идущий от костра.

– А мы только что собрались тебя будить, – Вадим приветливо улыбнулся подошедшему брату и продолжил раскладывать на постеленном в тени кедровых лап одеяльце капроновые миски, медные кружки и алюминиевые ложки. Уже нарезанный крупными ломтями хлеб и свежие, в пупырышках, огурцы лежали посредине походного стола-дастархана. – Что-то ты, Василий, нынче разоспался.

– Да если бы так, – откликнулся Грушаков. – Это вы сопели в две ноздри

на всю палатку, а я полночи ворочался, как на сковородке, никак не мог уснуть. Вроде и не душно было, но чёрт его знает, таких ночей я и не припомню в жизни. А потом ещё и страх какой-то наполз, противный, липкий, что-то будто надавило на грудь, вот тогда-то я неожиданно и заснул. – Василий укоризненно покачал вихрастой головой. – Но лучше бы я этого не делал. Представляете, я сразу очутился, как я понял, где-то здесь, в этой чёртовой долине-пропастине, но только не в том месте, где мы сейчас готовимся завтракать, а дальше, внизу, неподалёку от реки, куда мы пока что не дошли и где, как сами понимаете, никогда прежде не бывали. А сон такой чёткий, как явь, и причём – яркий, цветной. Я стою посреди поляны, а мимо меня какие-то тени мрачных старух в чёрном одеянии туда-сюда шастают. Проходят чуть ли не сквозь меня, а как бы и не замечают, что человек стоит на их пути. В платках укутаны, думаю, дай загляну в лицо им, наклонился к одной, когда она мимо шествовала, глянул – а глазницы-то пустые, вроде и кожа дряблая на скулах имеется, и нос проглядывается, худой и заострённый, а вот глаз нет! Пока я рот-то свой раззявил, то ли от изумления, то ли от испуга, она – шасть сквозь меня, и нет её. А внутри у меня, чувствую, всё пообрывалось, и так похолодало, пооблипло, как будто кто за шиворот воды ледяной плеснул. Но вдруг эти бабки разом пропали, мне как-то сразу полегчало, и я отправился на берег реки. Подошёл, сел на большой камень и начал любоваться чистой прозрачной водой, из которой вверх выпрыгивали блестящие рыбы разного калибра. Мне захотелось поймать хоть одну, и я, не снимая брюк, вошёл в воду, но не успел даже подставить ладони, чтобы схватить рыбёшку, как вдруг из речной глубины на поверхность выступил какой-то тощий дед с жидкой сивой бородкой. Он выходил из воды, а одежда на нём, я это хорошо рассмотрел, была почему-то сухая. Старик посмотрел на меня строго так, погрозил, помахал кривым пальцем с тёмным ногтем перед самым моим носом, и так же как старухи, прошёл сквозь меня. Я оторопел, а пока приходил в себя, деда и след простыл. Но в отличие от безглазых старушенций, глаза-то у него были, и они такие, что не сразу и забудешь. Голубые, ясные, как у молодого, вот только холодные, и какие-то с укором, что ли. Короче, мне опять стало не по себе и расхотелось смотреть на воду, я выбрался от берега на поросшую травой полянку и пошёл вдоль реки вниз по течению. Иду себе, посматриваю по сторонам и вижу – корова бусая пасётся на продолговатом бугорке. Я подхожу ближе, она меня не пугается, а всё также щиплет зелёную травку, мирно так и беззаботно. А мне опять что-то не по себе. Пригляделся к корове, и меня как ошпарило: здоровое, как подушка, вымя у неё разодрано. Она двигается по бугру, а из раны на вымени вместо крови и потрохов выпадают на землю и катятся в мою сторону золотые подсвечники, цепочки, кресты. Мне бы нет – их подобрать, да за пазуху спрятать, а я, наоборот, изо всех сил бегу от этой набитой драгоценностями коровы. И такая паника вдруг обрушивается меня, что я тут же и прохватываюсь, лежу в темноте, прихожу в себя, рядом вы сопите. Я успокаиваюсь и снова засыпаю, но сплю уже безо всяких кошмарных сновидений, – Василий помолчал, а потом усмехнулся своим мыслям и закончил: – Как там тётка Наталья любит выражаться, что-то наподобие того, что на новом месте приснись жениху невеста. Вот мне и наснилось: и невесты, и жених, да ещё и приданое в придачу.

– Да, странный сон. Прямо тени забытых предков какие-то, – Вадим серьезно посмотрел на замолчавшего брата. – Ты сам-то как всё это можешь объяснить?

В ответ Василий только передёрнул плечами и развёл руками. Зато Катя быстро нашла объяснение этому загадочному сну, и было оно будто бы понятным и доступным, как прибрежная плоская, поскобленная и отполированная водой плита, но вместе с тем образным и любопытным.

– Просто ты вчера, Вася, сильно утомился в дороге. Вечером ни с того, ни с сего на нас с Вадимом взъелся, наехидничал, а совесть твоя и выдала тебе за это такой художественно-поэтический сон. Я тебе его легко растолкую: бабки и дед – это твои мысли о нас, корова – это лежащая перед нами долина, а золотые украшения – это Вадим и я, твои драгоценные друзья, – Катя добродушно улыбнулась. – Так что не бегай от нас – и всё наладится.

– Твоя версия, Катюша, конечно же, симпатичная, – вроде как согласился Грушаков. – Но весьма неубедительная. Сравнить бабок и деда с моими мыслями – это ещё куда ни шло, а вот прекрасная, по твоим же словам, долина в образе коровы с разодранным выменем – это ни в какие ворота не лезет. Да и про драгоценности надо ещё крепко подумать. Зато Вадимовы «тени забытых предков» – над этим стоит поразмышлять. И без дураков.

Василий подобрал раздвоенный на конце толстый сук и поворошил им затухающий костёр. Угли дружно вспыхнули, и ярко-оранжевое пламя сделало костёр похожим на миниатюрный осколок, отпавший от жаркого солнца на голубом, без единого облачка, небе.

– Вадим, может быть, мать тебе ещё о чём-то отдельно рассказывала, кроме того, как они очутились в этих Теремках и в сильную грозу потеряли здесь друг друга? – Василий бросил сук в костёр и повернулся к брату. – Зачем они с отцом вообще сюда пошли? Что здесь забыли? Не клад ли какой кержацкий искали?

– Ты, Василий, не хуже меня знаешь историю о том, как дядю Сашу снесло течением, и старообрядцы его спасли...

– Да, но только в общих чертах. Ты же в курсе, что мать твоя на эту тему не любит шибко распространяться. Всю информацию из тётки Натальи приходится едва ли не клещами вытягивать, как говорится, в час по чайной ложке.

– Вот я и полагаю, что они сюда отправились, скорее всего, поблагодарить кержаков за спасение твоего отца. Так, по крайней мере, намекала мама. Один раз она проговорилась о какой-то самодельной карте, но когда я переспросил её, она сказала, что оговорилась, что никакой карты и в помине нет, и никогда не было. Будто бы по памяти дядя Саша привёл её в эту долину.

– А кержаков-то хоть нашли кого?

– Нет, мол, к тому времени те перебрались уже куда-то дальше в горы. А когда я ненароком спросил маму про клад, она отшутилась, что ты, дескать, для нас с отцом самый ценный клад и других нам и на дух не надо.

– А что? Наталья Никифоровна права, – с весёлыми интонациями в голосе вмешалась в разговор братьев Катя. – Ты, Вадим, не просто какой-то там клад, ты – моё сокровище. А если серьезно, то хватит уже, наверное, ребята, вести на протяжении всего нашего похода одни и те же разговоры: как да что было, или не было. Мы уже в долине, давайте обследуем её, осмотрим все потаённые уголки. Если повезёт, Василий, может, и отыщем что из вещей, связанных с твоим отцом, – примирительно закончила Катя.

Глянцево-зелёные заросли одичавшей крапивы венчали изжёлта-серые султаны созревающих мохнатых семенников. Скоро август, время, когда разлетятся парашютики семян уже не только по монастырскому заросшему по плечо человеку двору, но и за сгнившую поскотину, от которой и остались-

то напоминающие корни обломанных зубов редкие лиственные столбики. Буйные заросли крапивы, сибирской полыни и чертополоха давно и надёжно спрятали в себя и кельи, и хлев с сараями поодаль от них. Одни лишь тесовые крыши, как перевёрнутые лодки, казалось, легонько покачивались от знойного ветерка, или это просто шевелились в мареве волнообразно, то наплывая на кровли, то откатывая от них изумрудные озёрца высокой густой и переливчатой травы. Вадим перевёл свой взгляд выше, на кедровые раскидистые кроны. Все они были щедро усыпаны светло-коричневыми смолистыми шишками.

– Эх, братцы, рановато мы сюда нагрянули, – в голосе Василия прочитывалось неподдельное сожаление. Он тоже внимательно оглядывал этот будущий знатный урожай кедровых орехов. – Пока что шишка – голимая смола, а вот через месяц бы, так и намолотить можно кулей по десять на каждого.

– Намолотить-то намолотишь, а вывезти как? – Вадим был, как всегда, серьезен. – Ни машина, ни телега через горловину, ту, что наверху, не пройдёт. А на себе – так до морковкиной заговни не управишься.

– Да это я так, к слову. Когда нам заниматься этой шишкой? Но ты же меня знаешь – не могу я пройти мимо, если увижу, что рядом что-то плохо лежит и спокойно можно взять. Сколько себя за это ломаю, но пока с переменным успехом.

– Вот это по-нашему, по-комсомольски, – подала голос стоявшая на утоптанном пятачке позади ребят Катя. – Самокритика – это, Василий, верный путь к моральному выздоровлению.

– Ну, ты загнула, Катюша. Где ты видишь больного? Да будет тебе известно – я не люблю самокопанья. Это у меня так, случайно вырвалось, и адресовалось, заметь, отнюдь не для твоих красивых ушек, а моему двоюродному брату.

– Ты, Вася, как из зоопарка, ни дать, ни взять – настоящий ёжик, – девушка хоть и не обиделась, но чувствовалось, что близка к этому. – Ни по иголкам не погладить, не провести ладошкой против твоих колючек.

– Что вы, ребята, опять сцепились! Пойдёмте-ка лучше тропы пробивать к этим строениям. Может, чего ценного там отыщем, – и Вадим, подняв руки над головой, чтобы не обжечься, первым принялся уминать кирзовыми ботинками крапиву перед собой.

Обследование всех сохранившихся монастырских строений не дало ничего, что бы приблизило ребят к раскрытию тайны пропажи Александра Грушакова. На это ушёл почти весь день, и надо бы позаботиться о ночлеге. Катя предложила было расположиться в одной из келий, но парни сомнительному отдыху в тесной, к тому же полуистлевшей от времени и заброшенности комнатке предпочли, как выразился невозмутимый Вадим, здоровый сон в палатке на лоне природы.

Всю ночь в той стороне, откуда ребята спустились в долину Теремков, погрохатывало, тусклые сполохи дальних молний освещали тыльную, направленную на юго-восток, к коренному Ивановскому хребту, стенку палатки. Однако разбуженным грозой Вадиму и Кате, – на Грушакова раскаты грома никак не подействовали, разве что парень стал ещё громче храпеть в своём углу, – так и не удалось дождаться барабанной дроби первых капель по брезенту палатки. Видимо, ливень так и застрял где-то, зацепясь тяжёлыми, неповоротливыми тучами за острые пики белоснежных вершин, да там весь и иссяк, скатившись мутными потоками в поймы горных ручейков и речек.

Утром Василий наметил для себя поход вниз по течению стремительной Быструхи. Вадим и Катя решили составить ему компанию. За два с лишним десятилетия капризная, вырвавшаяся из узкой теснины туннеля в горе на относительную равнину река не раз меняла своё русло, о чём свидетельствовали подсохшие, поблескивающие на солнце крупинками кварца, каменные борозды и песчаные проплешины на той, противоположной от ребят, стороне, и намытые течением галечные продолговатые островки, разбросанные по Быструхе там и сям; да и этот берег был обрывистым и даже опасным, стоило только посмотреть на очередной береговой изгиб своенравного движения взбаламученного и вспученного ночной грозой потока, где зелёный дёрн и плети засохших корней нависали над промоинами-нишами под берегами наподобие косматых землистых козырьков. Недаром ведь в народе подмечено, что и мельницу вода ломает, особенно если она такая неуправляемая и пронырливая, как в реке Быструхе.

Могучая лиственница, что когда-то возвышалась на поляне метрах в десяти от берега, и годовые древесные кольца которой никому не сосчитать, теперь достаивала свои последние сроки. Река вплотную подобралась и к ней. Корни, нависающие над бешеным потоком и поминутно окунающиеся в проносящиеся волны, уже давно были отшлифованы до блеска и растереблены до косичек. Те же, что по-паучьи вцепились в размываемый берег, с каждым часом подмокали, хватка ослабевала, неумолимая вода подплёскивала и уносила на стремнину не только песчинки, но и мелкий разноцветный галечник, очищая и делая беспомощным уже и само стержневое матёрое корневище.

– Ребята, вы бы держались подальше от берега, – Катя смахнула набок изящной ладошкой прядь вьющихся, выбившихся из-под цветной панамки золотисто-русых волос, другой рукой поправила сползшую с хрупких девичьих ключиц лямку рюкзачка и продолжила: – Видите, какие буруны! Слизнут в мутную водичку, и – поминай, как звали!

– Не будь перестраховщицей, Катюша. Мы и так метрах в трёх от береговой кромки идём, – выспавшийся Василий чувствовал себя так превосходно, как никогда, шаг его был твёрд и пружинист. – Сами мы в воду, как ты понимаешь, ни за что не полезем, а стряхнуть с этой полянки в речные объятья нас сможет одно только семибальное землятрясение, которого, как ты замечаешь, пока что не ожидается!

– Да ты, брат, поэт! – широко улыбнулся Вадим. – Что-то раньше я подобного высокого слога за тобой не замечал, или на тебя так подействовала вся эта первозданная красота?

– Ну, красота не красота, а вот общение с тобой и с Катюшей мне как дополнительный стакан парного молока, которое, ты же знаешь, как я обожаю.

– Я ушам своим не верю! Вадим, ущипни меня, только не больно, – или всё, что я здесь слышу, действительно – не сон? Наш ёжик наконец-то осыпает все свои колючие иголки и на глазах превращается в необыкновенного лапочку, да такого, что у меня и слов нет!

– А вот такие мы с братом, – Вадим помолчал, подыскивая необходимое слово, и произнёс раздельно по слогам. – Не-пред-ска-зу-е-мы-е! – И шутливым тоном закончил. – Так что прошу любить и жаловать нас, уважаемая и даже горячо любимая Екатерина Станиславовна!

Вадим весело пробежал вперёд, обернулся, согнул правую руку в локте, кулак упёр себе в бок, чтобы получился этакий крендель, подбоченился, и подставил его нагнавшей Кате, приглашая её просунуть тонкую загорелую

ручку в полое пространство этого мускулистого кренделя. Василий, наблюдая за их дурачествами, чуть приотстал, доброе расположение духа, с которым он сегодня выбрался из своего ватного спальника, так и не покидало парня. Что-то необъяснимое происходило в эти два дня с ним, оно и радовало, и пугало одновременно. Радовало тем, что недовольство и раздражение, с которыми он жил не один год, незаметно таяли в его душе. Пугало тем, что если так будет продолжаться и дальше, он, как ему казалось, в какой-то момент потеряет всю твёрдость характера, и тогда любой сможет вытирать свои ноги об него. Но что-то внутри подсказывало парню, что опасения его несколько преувеличены и твёрдость характера а, тем более воля, от того, что он будет больше радоваться и идти навстречу людям, сильно-то и не пострадают. Василий мысленно одёрнул себя и по привычке усмехнулся: ну, вот, мол, дожил – уже и в самокопаниях погряз, как курица в апрельской грязи!

Между тем Вадим и Катя ещё более отдалились от Василия. «Пусть резвятся, нагоню попозже, что мне им мешать», – парень подобрал плоский голубой камешек и запустил его крутой дугой вверх. Камешек без брызг вошёл в воду у противоположного, относительно спокойного берега. Василий удовлетворённо хмыкнул. Этому приёму бросания камней в реку он научился в детстве, когда они с соседскими мальчишками днями пропадали на городской речке. А назывался этот метод, хоть и простенько, да не совсем понятно – замок. Ладно, замок так замок, главное, что навыки не забыл. Настроения у Грушакова прибавилось, он даже замурлыкал какой-то популярный мотив, когда где-то рядом вдруг страшно ухнуло, затрещало. Боковым зрением Василий, только что залюбовавшийся игрой стремительных волн, машинально зафиксировал неестественную подвижку могучей лиственницы на фоне горного гребня и синего неба, когда та как бы нехотя провернулась вокруг своей оси и, ускоряясь, начала заваливаться, но не поперёк реки, а вдоль берега, прямо навстречу их весёлой группе.

То, что произошло дальше, поначалу повергло Василия в оторопь, ноги будто вросли в землю, голова сделалась пустой и звонкой, во рту пересохло. Падающая лиственница с треском ломаемых веток гулко ударилась о землю, спружинила, ствол подпрыгнул над поляной и резко отвалился к травянистой кромке берега. Шедшие впереди Вадим и Катя кустистой, растопыренной кроной были тут же сметены в несущейся поток. Василия обдало горьковатым запахом хвои, однако ни одна светло-зелёная мягкая лапа не достала до его лица, зато это разом привело парня в себя, и он, не думая, скинул с плеч рюкзак и бросился с берега в пучину. Вода была прохладной, волны дробно искрились тысячами маленьких солнц, но это не помешало подхваченному стремниной Василию почти сразу отыскать глазами метрах в семи перед собой, то пропадающую, то снова выныривающую из волн мокрую, уже без панамки, растрёпанную голову Кати. Василий, плывя вразмашку саженками, устремился к девушке. Когда до Кати оставалось совсем немного и можно было протянуть руку, голова её вдруг исчезла с поверхности реки. Парень набрал полные лёгкие воздуха и нырнул. Вода хоть и прояснела по сравнению с той, какой она была утром, но до всегдашней прозрачности её было ещё ох как далеко. Василий скорее почувствовал, нежели различил перед собой уносимый течением тёмный и уже безвольный, будто тряпичный, силуэт захлебнувшейся девушки.

Силы его удесятерились, парень в один миг под водой настиг Катю, подхватил её левой рукой, привлёк к себе и, оттолкнувшись от неглубокого каменистого дна, выплыл на поверхность. Ближе всего к нему, наискосок, ниже

по реке виднелся небольшой галечный островок, туда, уверенно борясь с течением, Василий и направился, удерживая на плаву лишившуюся чувств Катю. Выбравшись на сушу, он, присев на одно колено, на другое, согнутое, переложил девушку животом вниз, сдвинул набок её рюкзачок и легонько надавил ладонями ей на спину ниже лопаток. Изо рта девушки на песок вылилось со стакан жидкости, Катя закашлялась, прерывисто задышала и, наконец, пришла в себя. Василий осторожно снял с девичьих плеч намокший, потяжелевший рюкзачок, отложил его в сторону и бережно перенёс девушку на широкую плоскую плиту. Катя приподняла голову и недоумённо обвела глазами вокруг. Взгляд её был хоть и растерянным, но уже вполне осмысленным.

– Васенька, а где же Вадим? – в слабом дрожащем голосе девушки слышались нотки отчаянья.

– А вон он, бежит по берегу, волосы на себе рвёт. Тебя, наверняка, ищет, – Василий небрежно указал рукой в ту самую сторону, откуда их несколько минут назад сбросило в реку, и где, раскорячившись, на краю лежала виновница их рискованного купания, поверженная, с вывернутыми корнями лиственница. За напускной небрежностью Грушаков пытался скрыть внезапно окативший его страх. Едва схлынула горячка, как он по-настоящему испугался и за девушку, и за себя, и уже не очень-то верил, что это он сам, без чьего-либо понуждения, сиганул в бурлящий поток и спас человека. «Ну, ты парень, даёшь! – мысленно похвалил свои действия Грушаков и усилием воли взял себя в руки. Страх пропал, и Василий вернулся в обычное своё состояние. – Скажи кто другой про меня такое – в жизнь бы не поверил!».

В это время Катя самостоятельно встала с плиты и принялась размахивать руками и звать Вадима, стараясь перекричать шум несущихся волн. Тот в ответ, сложив ладони рупором, тоже что-то кричал, однако слов было не разобрать. Наконец, Вадим не выдержал, помахал правой рукой – дескать, ждите, сейчас буду! – и прямо с обрывчика щучкой нырнул в реку. Катя невольно бросилась к воде, но увидев вынырнувшего и уверенно плывущего к ним Вадима, успокоилась и вновь присела на тёплую плиту.

– Катенька, ты цела? – едва достигнув островка, обратился к подбежавшей девушке Вадим. Он ласково приобнял плачущую Катю. – Ну, не надо реветь, всё же обошлось. Мы живы, здоровы. Я вижу только, что у тебя плечо поцарапано. Ничего страшного, вернёмся в лагерь, надо йодом из аптечки прижечь. А ты, Василий, как, не побился о камни? Нет. Ну, вот и хорошо. Спасибо тебе за Катю. Я всегда знал, что мой брат – парень что надо!

– Хватит меня нахваливать, не то сейчас покраснею, – Василий был явно польщён словами Вадима. – Ты лучше расскажи, что с тобой произошло? Ведь после того, как вас сбросило в Быструху, я с берега увидел только тонущую Катюшу, а тебя нигде не заметил. Вот я сразу и кинулся спасать её, хорошо хоть успел. А ты-то где был?

– В том-то и дело, что меня бы ты в любом случае не нашёл на поверхности, – после этих слов Вадим осторожно потрогал свой затылок. – Как саданул по темечку – вон какая шишка набухла! – так я и вырубился. От сильной боли, наверное, в последний миг я так плотно стиснул зубы, что вода, пока я какие-то мгновения находился без сознанья, даже не попала мне в горло. Правда, когда пришёл в себя, хлебанул маленько, но это мне и помогло моментально сообразить, какая опасность меня поджидала, не вернись я вовремя в сознанье. А выбраться из реки – это было, как говорится, делом техники. Вот только снесло меня аж вон к тому повороту. Как вылез на берег,

осмотрелся, и давай шарить вверх и вниз по течению, вас искать. – Вадим помолчал и закончил: – Теперь надо думать, как нам на большую землю вернуться, не будем же мы на этом каменном островке куковать до темноты. Обед мы проплавали, поспеть бы к ужину! – напоседок попробовал пошутить Вадим.

– Ты что, брат, первый раз в тайге что ли? – Василий укоризненно покачал вихрастой головой. – Или не знаешь, что вода в Быструхе вот-вот спадёт. Видишь, небо везде синее, ни тучки на нём, ни облачка, а это значит, что там, в верховьях, пополнять водный запас нечем. Так что я думаю, через час другой ночной приток жидкости иссякнет, и мы спокойно переправимся на берег. Вон гляньте – выше по течению на перекатах уже и камни начали проступать из воды. По ним-то мы и перейдём. Пока есть время, давайте осмотримся на этом островке и позагораем, – Василий усмехнулся, но както по-доброму. – А вот на купании, по известным нам всем обстоятельствам, я категорически не настаиваю.

Оплёскиваемый отовсюду волнами островок был сравнительно небольшой, продолговатый, как бы сдвинутый боком к противоположному берегу, сверху и внизу по течению заострённый. Та сторона, где находились ребята, пологая, разноцветные окатыши будто сложены в причудливую мозаику; другая сторона наоборот была крутой и обрывистой, наверное, из-за того, что волны бились в подвёрнутый бок островка, норовя отковырнуть и уволочь мокрый галечник на подвижную глубину. Было понятно, что век у данного, нагребённого водой кусочка суши недолог – ещё две-три обильные грозы, и Быструха растворит в себе этот не самый маленький из речных островков. Эх, если бы эти мозаичные камни умели поведать, или хотя бы намекнуть молодым людям, которые лежали сейчас на плоских плитах, приходя в себя после пережитого, – что сокрыто вот уже много лет среди спрессованной галечной толщи!

Пёстрые кедровки, поклёктывая и резкими вскриками огрызаясь друг на друга, летали вокруг разлапистой кроны исполина кедра. Созревали шишки, и птицы ревниво делили территорию. Ребята только недавно поднялись сюда из долины, скинули с плеч рюкзаки и сейчас отдыхали, сидя на толстых корнях в хвоистой тени и негромко переговариваясь. Пять дней назад это место послужило им первой ночёвкой в Теремках. А теперь это был их последний привал перед крутым подъёмом на перевал.

Вадим, Катя и Василий, как и свойственно большинству молодых людей, быстро оправились от происшествия с поваленной лиственницей, и за оставшиеся дни неплохо исследовали почти все уголки несказанной долины, прошли по руслу Быструхи, побывав и около громокипящего створа на выходе реки из Теремков; а когда совершенно случайно наткнулись в дебрях на монастырский погост, Грушаков буквально на коленках исползал всё вокруг высоких, почерневших от времени, восьмиугольных крестов, тщательно изучая любую малейшую трещинку, и пытаясь отыскать хотя бы слабый намёк, дающий спасительную ниточку к поискам пропавшего много лет назад, ещё до рождения Василия, отца. Однако на суровых монастырских крестах не сохранилось ни одной не то что таблички, а и просто какой-либо надписи. Правда, на двух ближних к дремучему лесу могилах, в перекрестьях были вырезаны квадратные углубления, и в этих нишах можно хоть и с трудом, но угадать образки, а вот что за святые запечатлены на них – этого уже не различить и самому зоркому следопыту. После посещения погоста у Вадима и Кати сложилось впечатление, что Василий потерял всякий инте-

рес к дальнейшим поискам, да он и сам как-то раз печально обмолвился, что, мол, ясности в пропаже отца так никогда и не будет.

Поздне-июльское солнышко грело щедро, но не пекло. Накануне ночью в горах и над долиной прогромыхала очередная кратковременная гроза, она больше освежила, чем вымочила землю. И сейчас дышалось необыкновенно легко. Воздух был насыщен хвойным запахом, густо замешанном на сладком аромате главного таёжного медоноса, василькового цвета кисточки-белковки, что привольно разрослась на склонах белка Непроходимого. Прежде чем идти дальше, ребята в последний раз оглянулись на расстилающиеся внизу Теремки. Теперь, когда они узнали поближе это удивительное место, у них возникло единодушное чувство, и об этом был разговор на привале, что они не просто побывали здесь, испытав опасное приключение, а и проведя в окружении первозданной природы несколько замечательных дней, как бы породнились с укрытой от чужих глаз долиной. И даже всегда и во всём сомневающийся Василий согласился с тем, что лучшие, чем эти, условия для создания туристической базы, да и лагеря для начинающих альпинистов, в любом другом месте надо ещё долго поискать.

– Ой, ребята, смотрите, что-то блеснуло! – Катя показала рукой на хоть и удалённый расстоянием, однако хорошо видимый со склона изгиб реки. – Вон там, в воде, рядом с нашей поваленной лиственницей.

– Да, я тоже вижу, – откликнулся Вадим. – И луч такой слепящий, как у мощного прожектора!

– Вы за его направлением следите, – восторженно подхватил Василий. – Прямо в зенит метит! Не иначе, как Быструха со дна вымыла огромный кусок слюдяного кварца.

Повеселевшие и ободрённые этим добрым знаком ребята продолжили подъём на перевал. А внизу, на месте размытого островка, в кристально чистую воду соскальзывал по наклонной гладкой плите вынесенный на какое-то мгновение на поверхность восьмиконечный золотой крест. Быстрое течение поворачивало его гранями, словно подставляя на прощанье благодатным солнечным лучам, перед тем, как окончательно погрузить эту монастырскую реликвию в недосягаемую светом глубину.

Сестра Лида в санках, отец и я. 1961 год

***

Я рос в бараках коммунизма,
Полынь, промышленная грязь.
Моя привязанность к отчизне
Здесь тихой звёздочкой зажглась.

Отцы, кто с фронта, кто из тюрем,
Рассказы, водка, песни, смех,
Я никого не помню хмурым,
Хотя я крепко помню всех.

Медали звякали, и сила
Была такая в мужиках!
И где их только не носило,
В каких югах и северах!

Да, это были люди жизни.
Сейчас вокруг снуют не те...
Где ж вы, бараки коммунизма,
В своей нетленной доброте?!

1998 год

НЕ ЗАМУТИТЬ КОЛОДЦА НЕПОГОДЕ
Повесть об отце

ПРОЛОГ

Как сейчас помню теплый солнечный майский день 1965 года – праздник Победы. Около чугунной литой ограды отцы нашей дворовой ребятни. Кто стоит на асфальтовой дорожке, кто сидит на решетчатой изогнутой скамейке. Все веселы, смеются, позвякивают медалями, посверкивают орденами. И только у моего отца на клетчатой рубахе кроме нагрудного кармана и светлых пуговичек – ничего. Помню, как я побежал тогда домой, потому что не мог этого вынести, забился в угол между диваном и окном, где стояли в ряд мои оловянные солдатики и пластмассовые пушки и танки, и заревел как последняя девчонка. Мама не могла понять, откуда мои слёзы – рос я упрямым, среди ровни был коноводом, слезу из меня вышибить не умели и старшие ребята, а здесь вдруг – плачу навзрыд. И только когда в комнату вошел отец, видимо, уловивший что-то неладное в моём поведении во дворе и вернувшийся домой, меня прорвало.

– Папка, а где твои медали, папка? – кричал я на всю квартиру. – У других есть, а у тебя почему нету, папка?

Помню, как отец потемнел лицом, растерянно заморгал, отвернулся и ушёл из дома. Вернулся он вечером крепко выпивший. Пошатываясь, молча прошёл к себе и затих.

Часть первая. РОДНЯ

Глава первая. КОСМАКИ

Сельская бревенчатая школа-четырёхлетка, добротный крестовик раскулаченного и сосланного на север Урала крепкого хозяина и несговорчивого мужика Андрея Ильича Коростина. Светлое помещение с окрашенными белилами стенами и резными окнами оборудовано под классы. Уроки в две смены ведёт одна учительница: с утра скрипят перьями, обмакивая их в чернильницы-непроливашки, первый и третий классы; с обеда второй и четвёртый. Третьеклашкам намедни выдали новые тетрадки в сиреневых обложках, и теперь ребятишки старательно выводят слова диктанта. Учительница, сухонькая старушка в пенсне, занесённая в эту берёзовую и озёрную глухомань в первые годы революционного слома, да так и прижившаяся здесь, медленно прохаживается между партами, диктуя. Тишина такая, что слышно как осенние мухи с разлёта бьются в оконные стёкла; но тут начинается возня и шум у первоклашек за перегородкой. Учительница спешит узнать что там, у малышей.

Чернильница рядом, места на полях чистенькой страницы вдоволь, чтобы нарисовать смешных человечков, можно сюда же поместить галок и сорок. Кустистые их гнёзда не так уж и давно, по весне, они с соседскими ребятами зорили, набирая полные шапки крапчатых яиц, чтобы потом сдать это богатство в обмен на леденцы и рыболовные крючки деду-заготовителю, что всегда в ту пору на старенькой телеге пригромыхивал в деревню. Сёмка так размечтался, что опомнился, лишь когда подошедшая сбоку учительница попыталась вырвать из рук его, а он, намертво вцепясь и сминая сиреневую обложку, не желал отдать свою тетрадку. Чтобы проучить своевольного мальчишку, учительница недели две не выдавала ему тетради ни в линейку, ни в клетку. Сёмка расчертил поля старых газет и на этих клочках решал примеры и записывал предложения.

Как-то под вечер, когда слабый ветерок доносит через раструбы улочек, сбегающих к озеру, голоса мужиков, выбирающих в лодки неводы с дневным уловом сазанов, карпов и карасей, посиживал Сёма на бревнышке и прутиком расчерчивал тёплую пыль.

– Сём, знаешь, что есть у меня? – подсел рядышком верный товарищ Алёшка Пичугов. Шмыгнув конопатым носом, он стрельнул глазёнками на две стороны улицы и заговорщески прошептал: – Чекушка! Тятька уснул, а она укатилась под крышку голбца, я её и стянул. Айда, попробуем.

Горькую тепловатую жидкость Сёмка сглотнул, обжигаясь, разом; и спустя некоторое время – пил-то первый раз за свою десятилетнюю житуху – опьянел. Ближние избы, заборы, жёлтолистые березки, багряные клёны и яблоньки осветились каким-то нездешним, но всё равно родным и чуть-чуть, ну, самую малость, грустным светом. И надо же такому случиться, по преображённой муравушке на противоположной стороне улицы идет злюка-учителка.

– Ах, вот ты где! – Сёмка неверным шагом пересёк дорогу и сходу выбил из рук растерявшейся женщины стопку тетрадей, исступленно выкрикивая: – Хочу учиться, хочу чиркать, где хочу!

Очнулся он дома, на полатях. Попробовал пошевелиться, звякнуло железо. Осмотрелся, понял, что приковали его, покуда был он в беспамятстве, к толстому поперечному брусу, уходящему от русской печи в паз бревенчатой стены, и одному, самостоятельно из этих оков не выпростаться. Сёмка глянул с полатей вниз, в избу, там было безлюдно; оконца, выходящие в палисад, приоткрыты. Мохнатые, словно плюшевые, георгины и штакетник, отгораживающий усадьбу от деревенской улицы, освещены солнечными лучами слева, значит, утро. Свесив всклоченную голову с полатей, стал Сёмка ждать, не пройдёт ли кто из знакомцев. Минут пятнадцать улица была пустынна, и вот, озираясь, будто выискивая кого-то, показался Алёшка Пичугов. Сёмка радостно окликнул дружка, и когда тот опасливо перешагнул через порожек в избу, растолковал, где в сенях лежит топор, надобный для перерубки цепи. Били по звеньям так старательно, что щепа от бруса летела, и лунку надолбили с ладошку-лодочку, пока не смекнули: надо хотя бы кусок никудышной железяки под цепь подсунуть. Как догадались, перерубили в три удара. Однако с рук-то оковы, не отворив ключом, не сдернуть. Похлопал Сёмка по накладным карманам висевшей в горнице на венском плетёном стуле материнской кофточки, вытащил гранёный ключ с полым отверстием и освободил кисти рук от замка и цепей. Закопав повреждённую цепь и замок на пустырьке за огородом, отправились друзья через деревню в березовый колок полакомиться сентябрьской костяникой. Дорога лежала мимо детских яслей, где работала воспитательницей тётка Капитолина, Сёмкина мать. Как она поглянула в окошко, всплеснула руками, да и обро-

нила нянечкам: «Посмотрите-ка, я его на цепь приковала, а он с неё сорвался». И пошла эта присказка гулять по деревне. И стар и млад остановят, бывало, Сёмку и ну его расспрашивать, как, дескать, ты с цепи-то сорвался? А тому лестно такое внимание, да и ум детский прост и ясен, Сёмка и ответствовал, горделиво подбоченившись: «Меня и в тюрьме в цепи закуют, так я всё равно сорвусь и убегу!». Эх, знал бы малец, что судьбу свою проговаривает, да вот близок локоток, а не укусишь.

Как бы там ни было, но с этого случая так и покатилось по деревне: кто бы где чего не отчебучил, какую прокуду не сотворил, все шишки Сёмке. Правда, и он хаживал с удалью да молодечеством в обнимку. То парни постарше подучат его: «коль уж ты у нас такой бедовый, вымажи ворота дёгтем вон той неотдатливой девахе». Ей – известная слава, Сёмке – почёт.

А то в сеноуборочную страду, проходя ватагой мимо сельского погоста с полевого стана, опять же старшие подначат мальцов: «а не слабо ли кому из мелюзги притаранить на похожалую дорогу крест с могилок? Кто не сдрейфит, получит пачку махорки нераспечатанную». Ребятишки робеют, жмутся друг к дружке. Один Сёмка, не страшась ни темени, ни жутких уханьев ночной неведомой птицы, смело продирается сквозь заросли акации и волчатника и вскоре возвращается, волоча потемневший деревянный крест. «А не хочешь ли, Сёма, заработать коробку первосортных папирос? Принеси ещё один крест, но только чтобы с врезанной иконкой. Ну, шагай, ждём!».

С первым светом, подоив коров и накормив ребятишек, топают на стан деревенские бабы. И вдруг, посреди дороги, обложенные дёрном и рыхлыми комьями суглинка, их встречают кресты. Бабы бежать обратно в деревню, но на полпути, запыхавшись, останавливаются, торопливо крестятся и раздумывают вслух – что, мол, это было, неужто мертвяки с космака убегли. Тут одна и вспоминает, как приметила уже по темноте на задах своего огорода, что кто-то, схожий обличьем с Сёмкой, промышлял на морковных и огуречных грядках. Знать, и здесь его работа бедокурная!

Между тем, парни постарше и мальцы полеживают на полевом стане в шелковистой тени берёз, покуривают себе и посмеиваются: что-то, дескать, долгонько баб с деревни нет. Но вот на просёлке показываются возбуждённые женщины. Перед бригадиром выступает известная своей крикливостью Маланья.

– Что бы ты подумал, Петр Игнатьич, ведь нонешней ночью с космака сбежали упокойники, скучно им там, в этой яме-то, народу живого не видят и не слышат. Так они даже и кресты с собой прихватили, и на чистом поле при дороженьке и поустроились.

После кощунственного номера с крестами Сёмку наказали штрафом на пять трудодней. Заработок подростка тогда, в середине тридцатых годов, составлял за день примерно 0,35-0,50 трудодня взрослых колхозников.

Глава вторая. ПОПУТЧИК

– Сёма, поглянь-ка, машина к конторе катит, небось, из района, – глаза Алёшки Пичугова восторженно горят, да и есть от чего: автомобиль в деревне в диковину. – Бежим туда, поди, разживёмся резиной на рогатки!

По хрустящей под валенками дорожке мальчишки выскочили со школьного двора и сноровисто обследовали со всех сторон полуторку-АМО. Сёмке повезло, слева под деревянным кузовом он обнаружил металлический ящичек, ловко развязал медную проволочку, приподнял крышку и перебрал

гаечные ключи, болты, монтировку, но заветной резины в ящичке не оказалось; а из колхозной управы уже выходят незнакомые мужики в овчинных тёплых полушубках и направляются к полуторке. Сёмка, прихватив из багажника три электролампочки, отбежал за угол и там притаился. Взревел мотор, и грузовик, взвихривая снежную пыль, укатил из деревни.

Назавтра в школе на переменке Сёмка дал одноклассникам одну из лампочек: вот, мол, глядите, что у меня есть. Ребятишки сбились в кружок, а тут незаметно подошла учительница и приказала им немедля отдать ей эту вещицу. На что Сёмка махнул рукой – у меня, ребята, еще две есть.

Утром следующего дня к Сёмке домой прибежал посыльный и потребовал, чтобы они с матерью срочно явились в сельсовет.

– Что же ты, Капитолина Андреевна, такого сорвиголову ростишь? – не поздоровавшись, начал неласково председатель Михаил Евстафьевич. – Давеча сообщили с МТС, что из машины, она третьего дня была у нас, на возвратном пути все инструменты и ключи из ящика повываливались, а ночью буран сугробов таких намел, не отыщешь теперь ничего, не сберешь. Да и сдается мне, Сёмка твой очистил этот ящик, да испужался, что найдут-де у него эти железяки и поскидал их на озере в пролубь. А вещи ой какие ценные, на МТС позарез нужные, насчитают столь, ты за жизнь не расплатишься.

Дома получил Сёмка от матери добрую взбучку. Пока его пороли ремнем, он, стиснув зубы, молчал, когда же Капитолина Андреевна обессилено опустилась на табуретку у обеденного стола и, обхватив руками голову с выбившейся из-под ситцевого платка седой прядью, приглушенно всхлипнула, Сёмка зло, по-взрослому, бросил, что из дома он всё равно сбежит. Тогда-то и была определена ему в сторожа нанятая матерью деревенская побирушка Анка Шубенка. Теперь Сёмка лишь в ее сопровождении шествовал в школу. Там она караулила в коридорчике на низенькой скамейке, греясь у печи-голландки. В обед под тем же присмотром – домой. Старушка оказалась цепкая, глазастая, репей, да и только. Но и Сёмка – не промах, удумал, как избавиться от охраны. Январским морозным вечером, лишь стемнело, он попросился у матери сходить «на двор», а уборная находилась в теплом пригоне, где зимовала домашняя скотина и птица. Анка Шубенка осталась за порогом хлева; подмораживало, она прохаживалась, был слышен скрип её стареньких валенок. Сёмка быстро пробежал к противоположной стене, где, отогнув висевшую на оконце металлическую сетку от веялки, вынул раму и ящерицей выскользнул наружу. Их огород примыкал к озеру, по льду которого он перешёл в соседнюю деревню Пески, где первый год учительствовала старшая сестра Мария.

– Что-то ты, Сёма, поздновато нынче. Мама, говоришь, отправила тебя за валенками в Могильное к пимокату, и деньгами наказала снабдить; да ты грейся, вот уже и чай из душицы и смородиновых листьев поспел. Почаёвничаем, и будем укладываться спать, путь-то неблизкий, двадцать вёрст, да ты у нас ходок известный. Помнишь ли, как мальцом в Скоблино ходил? – сестра нежно погладила подростка по вихрастым волосам. – Наделал ты нам переполоху. Тятя тогда еще жив был, он всю округу взял на Гнедке, коня запалил.

* * *

Через открытое в палисадник окошко в горенку струился мятный запах дозревающего лета. Пётр, русобородый ширококостный мужик пятидесяти лет, сидел за столом, убранным белёной холстиной, и водил узловатым пальцем по странице, усыпанной церковно-славянской вязью. Марфа, дородная жена Петра, негромко постукивала деревянной и берестяной посудой за пе-

регородкой в кути. Был полдень. Вдруг эти обыденные звуки вытеснило частое звяканье. Кто-то неумело и настойчиво бил бронзовым кольцом в окованные железом ворота. «Марфа, глянь, кто долбит с улицы?». Та, обсушив о передник руки, подалась во двор. «Кто там?» – спросила через ворота. «Тён Тич Ков», – донесся сквозь толщу дерева и железа детский голос. Женщина отворила. На деревенской улочке, босой, с ботинками через плечо, стоял их пятилетний племянник и ясными серыми глазами смотрел на Марфу. Она вышла на дорогу и глянула по сторонам: «Сёма, дак это ты у нас Тён Тич Ков – Семён Лукич Манаков? А тятя-то с мамкой у кого из наших опнулись?». Мальчуган замотал русой головкой: «Я один, тётя, сам пишел». «Как сам! Двадцать вёрст лесом!». «Я доёгу знаю». Тётка всполошилась, подхватила ребенка на руки и бегом в избу. «Петруша, запрягай Карьку, поедешь в Вишнёвку к Луке, там, небось, уж с ног сбились, мальчонку утеряли. А я покуль Сёму накормлю да выведаю у него поболе, как это по глухомани он к нам добрался, ведь и поселья в этаких чащобах не единого не сыскать. Ох, Сёмушка, бедовый ты у Капитолины! Да ты ешь, оголодал за дорогу-то, дитятко». «Здоровы ли тятька с мамкой? – переменила было разговор Марфа, но не утерпела и снова: – Ты, Сёмушка, нас-то как отыскал, был ведь единожды с родителями на Троицын день, а, поди ж ты, прибрал в память. Не боязно идти-то было. Небось, лешаки да ведьмаки из-под всякого кустика стращались? Тьфу ты, что ж я старая с языком своим!». Мальчуган в ответ лишь весело кивал, уминая густо заправленную домашним коровьим маслом пшенную кашу, запивая её молоком из деревянного долблённого узорного стаканчика.

Меж тем Пётр приготовил бричку и вернулся в избу. Он сел на лавку сбоку от устья печи напротив племянника и постарался придать своему широкому лицу суровое и строгое выражение. Но тут же тепло и с любовью глянул на Сёмку: «Варнак ты, Сёмушка, однако ж. Как знал, что мы с Карькой застоялись да засиделись, давно пора промяться. Ты, Сёмушка, вожжами-то распоряжаться могёшь? – как с равным пошутил Пётр. – Марфа, управляйся нонче одна, что, дак сынов кликни, пособят. Я буду завтра к обеду, коль вышел случай родню проведать. Идём, удалец».

– Маша, не расстилай мне, я ухожу, ночь ясная, не так морозно, до света буду в Могильном. Там, у дяди Васи обогреюсь. – Сестра знала, что старший брат их матери всегда рад племянникам; а еще Марии, как и всем деревенским, было известно, что лучше Сёмушки никто не знаком с окрестными сёлами и дорогами к каждому из них. Потому она спокойно завернула в чистенькую тряпицу деньги, и, накинув на плечи шаль, проводила брата до калитки.

Отгостив день в Могильном у дяди, Василия Андреевича, Сёмка на попутных санных подводах, под скрип полозьев, доехал до железнодорожной станции.

Тамбур, куда пробрался Сёмка, был хоть и прохладный, зато безопасный, в хвостовом, последнем вагоне пассажирского поезда. В протаявших пятнышках заиндевелого дверного оконца убегали в морозную даль стальные рельсы, и уж сюда-то точно никакой контролёр не сунет носа – что себя знобить лишний раз. Однако одиночество было недолгим. На одной из остановок разжился Сёмка новым товарищем, да таким, что еще поискать. Горбоносый и лопоухий, с круглыми чёрными глазами, Дамир захватывающе поведал Сёмке о своих многочисленных поездках и приключениях и так расположил того к себе, что дальше странствовать они решили вместе.

– Теперь у нас зима, холод собачий, поэтому, Сёма, давай-ка, мы поедем в Ташкент. Я ведь там уже бывал, теплынь, на базарах можно запросто стиб-

рить хоть тебе арбузы, хоть дыни. А про абрикосы ты, поди, и не слыхивал в своей деревне? – Дамир покровительственно усмехнулся. – Ничего, скоро я тебя угощу всякими фруктами. Держись меня – не пропадёшь!

Поезд начал сбавлять ход, вагоны дернулись и остановились. Путешественники прильнули к боковому оттаявшему окну. Огромный вокзал, каменные станционные постройки, ларьки со всякой снедью, парнишки догадались, что они прибыли в какой-то большой город.

– Сёма, я лучше тебя разбираюсь в этих делах вокзальных, меня никто не проведёт. Но ты же видишь, какая на мне одежонка, давай поменяемся, и тогда не один лягавый ко мне не пристанет. Жрать-то хочется страсть. Где там у тебя деньги-то? Потом, как добудем, я тебе всё верну.

Когда товарищ в овчинном полушубке, добротных, подшитых валенках и утеплённых холщовых штанах растворился в привокзальной толпе, Сёмка бегло оглядел свой «новый» живописный наряд: пальтишко в лохмотьях, шапка засаленная, с надорванным ухом, стоптанные ботинки на одну ногу, причём разные: один 41-го, второй – 43 размера. Минут через десять вернулся Дамир, принёс в кульках конфет, пряников, булочек, карман оттопыривался пачкой дорогих папирос.

– Живём, братка! Вперед, в Ташкент!

В эту ночь впервые за дорогу Сёмка хорошо выспался. А разбудили его пронзительные паровозные гудки и громкий женский казенный голос, объявляющий по репродуктору о прибытии какого-то поезда. Сёмка открыл глаза, но товарища в углу тамбура, где тот с вечера устроился на ночлег, не увидел. «Наверно, снова ушёл купить чего-нибудь», – Сёмка сладко потянулся, сел на пол и стал ждать Дамира. Однако вместо закадычного дружка через некоторое время в тамбур вошли два сердитых проводника: «Всё, шпана, приехали, станция конечная», и вытолкнули мальчишку на заснеженный перрон, где его тут же на привокзальной площади Свердловска заприметил дежурный милиционер и отвёл в детскую комнату. А уже оттуда с группой таких же малолетних оборванцев Сёмка был отвезен в детский приемник.

До мартовских оттепелей прожил Сёмка в кельях с овальными каменными сводами. Еще недавно, при царском режиме, здесь был женский монастырь, теперь же в этих намоленных стенах обитали, чуть ли не с самой революции, – беспризорники. Их вот уже вторую пятилетку отлавливали и определяли в эти пенаты с толстыми стенами и высокой оградой. Мыли, уничтожали насекомых, кишащих в грязных лохмотьях, кормили; узнавали адреса родных, если таковые имелись, и с одним из воспитателей отправляли юных пилигримов к местам прежнего проживания. Сёмка еще при задержании фамилию назвал не свою, по бумагам он значился Иваном Петровичем Смирновым; а вот откуда он родом, от него выведали только спустя полтора месяца. Пожилая воспитательница с добрым русским лицом, чем-то неуловимо похожая на мать, терпеливо и непринужденно вела долгие беседы с Сёмкой. Он охотно отвечал на всякие вопросы, но о доме молчал.

Однажды Пелагея Филипповна, так звали воспитательницу, вдруг начала рассказывать о своих детских годах. Оказалось, что она тоже из деревни, и больше всего тронуло сердце мальчишки то, что деревня этой доброй женщины так похожа на его родную Вишневку, и на глаза сами собой набежали слезы. Он решил рассказать Пелагеи Филипповне о старшем брате Андрее, служившем в рабоче-крестьянской красной армии здесь недалеко, в Челябинске и дать ей адрес воинской части брата.

– Как мне увидеть красноармейца Андрея Лукича Манакова? – обратился к дежурному на КПП сопровождающий, пожилой мужчина в драповом пальто и шапке-мерлушке и усмехнулся: – Вот гостинец ему привез.

Мужчина кивнул в сторону жавшегося в углу подростка в лохмотьях, правда, теперь это одеяние было чистым и подштопанным, но ботинки-то попрежнему смотрели носками в одном направлении. Дежурный отдал распоряжение посыльному. И вот уже через расчищенный от снега плац к пропускному пункту в долгополой шинели и островерхой буденовке торопится рослый и статный Андрей.

– Брат, ты как здесь и что это с тобой? – растерянно проговорил он, окидывая недоуменным взглядом Сёмку. Вперед выступил сопровождающий и пояснил, откуда они прибыли и с какой целью. Андрей, оставив их на вахте, ушел к командиру доложить о том, что произошло и посоветоваться, как быть в этой необычной ситуации. Вернулся он не скоро, но с радостным результатом: Сёмке разрешено побыть некоторое время в части при брате. Однако здесь случилось непредвиденное. В бумагах, что при сопровождающем, о Семёне Лукиче Манакове нет и буковки единой, а Андрей настаивает, что перед ним именно он, его младший брат. Долго они рылись в документах, пока Сёмка не догадался и не сказал, что-де по записям, я, мол, Иван Петрович Смирнов. Напротив этой фамилии и расписался Андрей.

Служба, что продолжалась для Сёмки неполных три дня, запомнилась ему на всю оставшуюся жизнь. Поселили его в небольшом кабинете, где из мебели стояли: широкий стол, и в углу – массивный шкаф. К вечеру брат приносил, постелить в голова и укрыться, три полушубка. В столовую Сёмка не ходил, паек дневальный доставлял прямо сюда. Кормежка пареньку понравилась, еще, наверное, и потому, что дома, в деревне, этого ничего не было. Днем Сёмка слонялся по расположению воинской части, иногда солдаты брали его с собой на стрельбище. Там он из безопасного укрытия наблюдал, как старший брат с товарищами поражали звучными выстрелами из винтовок фанерные мишени. Ту затрапезную одежонку, в которой он прибыл, сразу же сожгли в армейской кочегарке, теперь он щеголял во всем новом и добротном; где уж военные отыскали такие опрятные штаны, рубашку, свитер и меховую борчатку, шапку-ушанку и серые, подшитые рифленой резиной, пимы, в которых ногам уютно и тепло, об этом Сёмке никто не докладывал. Но то, что он в центре всеобщего доброжелательного внимания, это мальчишка ощущал все дни и ночи, пока они с братом не уехали в деревню. Андрею был дан пятидневный отпуск, чтобы доставить Сёмку домой, к матери, которая уже, наверное, все глаза себе выплакала, ожидаючи вестей о сгинувшем в зиму сыночке.

И опять Сёмка у всей деревне на слуху. Взрослые посмеиваются да подначивают мальцов, у которых старшие братья тоже служат в армии: «Видите, Сёмка поехал и брата в отпуск привез. Теперь вам очередь, спросите у него, как до части быстрее добраться. Иль кишка тонка?».

От брата Андрея Сёмке досталось лишь однажды. Как только они переступили порог дома, мать, сидевшая на стульчике у окошка, выронила из рук прялку, глубоко вздохнула и, закатив глаза, повалилась на бок. Андрей в последний момент успел подхватить Капитолину Андреевну на руки. Он бережно проводил мать в горницу, там усадил на деревянную кровать и подложил под спину подушку. Сёмке приказал зачерпнуть воды и дать попить матери. У опамятавшей Капитолины Андреевны по щекам бежали слезы. Андрей вышел в сени, снял со стены кожаный ремень, вернулся в избу и, подозвав младшего брата, больно стеганул его. Это случилось в первый и последний раз, когда Андрей, а был он старше Сёмки почти на тринадцать лет, применил силу к младшему брату.

Глава третья. ИЗ ИСТОРИИ РОДА

Пращур рода Манаковых пришел в Вишневку на берег округлого и рыбного озера в пору, когда доблестный и трагический 18 век добирал свои остатние годки. Допрежь Василий Максимыч жег древесный уголь для демидовских плавильных печей в дремучих лесах у подножия Уральского Камня. Светло-русый волос, взятый в скобку, серые ясные глаза, косая сажень в плечах, приветливость, но никак не угодливость в речах, словом, глянулся пришелец селянам. Община отвела молодому мужику место под избу и нарезала у березовых заливов земельки под хлебушко. Недолго походил холостым Василий, отыскалась ему и пара – статная и серьезная не по годам Настасья из Песков, избы этой деревни исстари гнездились на другом берегу. Сыграли свадьбу, родились сыновья: Максим, Варвасей и Захар. Род Манаковых деловито пускал корни и взращивал свое генеалогическое древо в южноуральской глуши. Сын Варвасея, Петр с женой Екатериной подняли и определили в жизнь восьмерых деток. Вот они в порядке рождения: Иван, Василий, Александра, Марфа, Настасья, Лука, Ефим и Михаил. Некоторым из них судьба выпала трагическая. Василия убили в 1906 году, убили подло двумя выстрелами из ружья, встретив его на стыке улиц у подворотни, когда возвращался он с вечерок. Накануне, отвергнутый разбитной зазнобушкой, местный богатей Баев застал восемнадцатилетнего парня у этой самой девицы, пробовал схватить Василия за грудки. Тот, не шибко размышляя, сгреб соперника и выбросил в распахнутое окно, прямо на прохожую дорожку, рядышком с цветущей и благоухающей черемухой.

От сурового и справедливого срока богатей-убийца откупился и уже через два года вернулся в Вишневку. Подпив, ввалился к тетке Катерине, ползал по полу, хватал ее за натруженные, разбитые извечной крестьянской работой пальцы, винился; крестясь, клал поклоны перед божницей, умолял отпустить ему тяжкий грех. Женщина, молвив неслышно: «Бог простит», выпроводила убийцу сына, и в тот вечер уже более не проронила ни слова.

Однако подросший Лука решил все по-своему. Первый раз он встретил Баева у той самой подворотни. Мужик, опустив голову, хотел было прошмыгнуть незамеченным, но Лука, преградив путь, наотмашь ударил того в переносицу с бегающими под густыми бровями плутоватыми глазками. Баев кулем рухнул в пыль. Лука перешагнул через поверженного и ушел, ни разу не обернувшись. Теперь Баев стал панически бояться деревенских улиц, везде ему мерещился Лука, потому как любая встреча с ним заканчивалась для Баева кровавым падением в пыль. Отчаявшись, надумал Баев застрелить непреклонного Луку. Вызнал тропку меж плакучих берез у озера, по ней Лука обычно возвращался от песчанских товарищей, прилег за расщепленным корневищем и стал поджидать парня. Любовно поглаживая отполированное цевье, он предвкушал, с каким наслаждением всадит в ненавистного Луку весь заряд двустволки, а потом размозжит прикладом череп. И тут-то на него обрушилось сверху нечто, свет померк, ружье куда-то уплыло из ватных безвольных рук, а следом поплыл по воздуху и он сам. Правда, плыл он чуть более секунды, пока не ударился о ствол березы-вековухи; страшная, нечеловеческая боль пронзила все его тело, затрещали ребра и, корчась, примял Баев мягкую, волнистую траву под собой. Разлепив с трудом, в кровавой пелене, глаза, он усмотрел стоящего над ним и недобро усмехающегося Луку: «Кровь убитого тобой брата меня ведет. Так что не балуй!». Обезумевший Баев заметил в руках у парня свое ружье; сердце, торкнувшись, упало куда-

то на сломанные, дико ноющие ребра, поверженный мужик последним усилием сомкнул веки и стал ждать выстрела. Но раздался лишь сухой треск ломаемой древесины. Лука, взяв стволы в руки, разбил ружье о березовое корневище и бросил погнутые железки прямо Баеву в бороду. Затем он перешагнул через поверженного и ушел, как всегда, ни разу не обернувшись.

Если Василий похоронен на родовом погосте, где окрест лежат все свои, то чья земля приняла и упокоила косточки меньшого брата, Михаила, неведомо. Да, может, и вовсе не земная твердь, а морская пучина предстала пред очами воина-отрока колчаковского ополчения в тот маняще-пугающий миг, когда душа оставляет бренное тело и возносится ли в несказанные выси, либо же обрушается на адовы уголья. Как ушел он в 1919 году, с пылкой мечтой о единой и неделимой России, так и канул. Единственная весточка была от Михаила из-под Кургана. Вернувшиеся в деревню мобилизованные Колчаком обозники обсказали тетке Катерине, что сын жив-здоров и кланяется ей, тяте, сестрам и братовьям. А более этого из непросматриваемых по причине жуткой задымленности далей гражданской войны ни голоса, ни крохотного лучика надежды. Мир праху твоему, Михаил, бескорыстный воин Белого движения!

Лука действительную воинскую службу проходил в Санкт-Петербурге в лейб-гвардии Семеновском полку, ибо он соответствовал всем предъявляемым условиям: был грамотен, высокого роста, имел светлый цвет волос и пригожее лицо. Вероисповедание у Манаковых православное, старого обряда, относили себя они к беспоповцам двоеданского толка. Однако в делах веры не все здесь гладко и кругло как на пасхальном яичке, и поэтому без пояснения повествование будет неполным.

Молельное каменное здание без каких-либо архитектурных излишеств возвышалось между околицами и напоминало скрепляющую пряжку, если деревни, облегающие озеро, представить в виде двух широких и неровных ремней. Хотя жили рядом и православные нового обряда, так называемые «мирские», но их здесь было считанные дворы, а высоченный кирпичный пятиглавый храм их находился в селе Таловка, в пяти верстах отсюда. Вообще-то, Манаковы: и пришелец Василий, и сын его Варвасей – определяли себя сторонниками новой православной веры и даже приняли посильное участие в возведении храма в Таловке, в частности, оно заключилось в заготовке на сосновых делянах и подвозе на своих лошадях бревен на строительную поляну в центре села. Поручали вожжи и малолетнему Петруше, и он, подражая взрослым, покрикивал на тройку каурых, правя порожнюю подводу в сосновый бор. Но вырос Петр, полюбил Екатерину, дочь Федора Тельманова, девушку с тугой русой косой и открытым и ласковым взглядом. Празднично одетые, с рушниками, лентами, дорогими подарками переступили порог дома Федора Мартыновича сваты, начали было распевно и торжественно: «Вот купец наш молодец...», но хозяин резко оборвал запев и сурово молвил: «Перейдет Петр в нашу, древлего благочестия, веру, будет ему Катерина женой. Нет, дак и мой ответ также нет! Вот Бог, а вот порог». И круто поворотясь могучим корпусом, удалился Федор Мартынович в горницу изучать далее псалтырь.

Так и перешел Петр с никонианской щепоти на исконное двуперстие.

Первенец Иван, Лука и Ефим, предпоследний из детей Петра и Катерины, хлебнули лиха отступления и торжества блистательных побед, а Иван еще и задыхался при немецкой газовой атаке, на полях Первой мировой, называемой в народе также второй Отечественной войной, а промеж боль-

шевиков и другого деклассированного элемента, презрительно именуемой «империалистической». Напомню, что первой Отечественной русский народ назвал войну с Наполеоном в 1812 году. Ефиму посчастливилось участвовать в знаменитом Брусиловском прорыве и, хотя он служил писарем, так как был не только грамотным, но и обладал каллиграфическим почерком, ему тоже пришлось в той мясорубке брать в руки трехлинейку и штыком и прикладом отбивать атаки осатаневших австрияков.

Вскоре после февральской, суматошной революции, весной 17-го, сельчане избрали вернувшегося с фронта Луку Петровича председателем сельского совета Вишневки. Сынишке Андрюше шел тогда шестой годок. Капа, как ласково называл жену Лука, подрабатывала белошвейкой, времена-то зыбкие, то война, то смута. В председателях Лука не засиделся. По натуре крутой, прямодушный, думал он наладить жизнь в деревне; было у земляков к нему уважение еще с прежних времен: несколько лет учил деревенских ребятишек в местной церковно-приходской школе, в свое время фрунт держал пред самим государем, в Первую мировую ходил в штыковую на швабов. А теперь вот надо бы направить в твердое и надежное русло вскипевшее бучило житья-бытья земляков. Однако народишко уже крепко избаловался. Поначалу баламутили по деревням пришлые смутьяны и шныри; местные голодранцы, потершись среди засаленных тулупов залетных пролетариев, чуть позже, после октябрьского переворота, сами вошли в темную и безнаказанную силу, а войдя, перво-наперво переизбрали в председатели своего, кровного, с кем перепито и наворовано столь, что никакого застолья не хватит, чтоб все, смакуя, вспомнить. Не такой власти чаяли крестьяне, да плетью обуха не перешибешь, тем паче, что и топорище, ручка коего упёрта в златоглавую, не простое, а самое разжелезно-безжалостное. Да и лезвие острое, лишь глянешь – обрежешься, а уж попадешь в круг его взмаха, не токмо своей головушки не сносишь, но и деток малых, и близких родичей не сбережёшь.

Отстранился Лука от общественной коловерти, дни и ночи пропадал на летнем займище, что пригородил еще до смутных времен у лесного, обросшего прямым и звонким камышом, рыбного озера. Здесь он холил и лелеял свой табунок, насчитывающий породистого, с мускулистой грудью и высокими беспокойными ногами вожака-жеребца, трех кобылиц, двух покладистых меринов и трех игривых стригунков. Управлялся Лука в одиночку, изредка прибегал из деревни быстроногий Андрюша порыбачить с плоскодонки в камышах да когда подсобить тятьке сгрести подсохшее сено. Силы Лука имел запас изрядный. Так, он единственный на несколько окрестных деревень мог без особой натуги перебросить двухпудовую гирю поверх въездных ворот, под перекладиной которых свободно проезжала лошадь с возом сена. Или в хлебоуборку, когда крестьяне ссыпали некоторое количество своего зерна в общий амбар, и, чтобы доверху заполнить хранилище, затворяли широкие двери и приставляли пологую деревянную лестницу с перилами к высокому чердаку с просторным входом, Луке клали на спину крест-накрест три мешка с пшеницей, и он легко взбирался с этой 10-12 пудовой поклажей на чердак. Это не было бахвальством, просто ему так сподручней, да и разгрузка шла быстрее, а значит, и подъезжающим на подводах сельчанам меньше томиться, ожидая своей очереди на сдачу резервного зерна.

Или еще случай, свидетелями которому стали мужики, вывозившие в тот сентябрьский день сено. Известно, что весной два ведра воды – ложка гря-

зи, а осенью: ложка воды – два ведра грязи. Проселок развезло. Крестьяне правили своих лошадей с возами ближе к обочине, где потравенистей и меньше глины наматывалось на тележные колеса. Уже показались за березовыми стволами крайние овины, обозу осталось сделать последний нырок в пологий ложок, и – дома. Но в этой-то впадине и крылась опасность: мутная растекшаяся лывина неопределенной глубины, а коли возьмешься ее объехать, крюк надобно давать версты в полторы. Мужики заробели спускаться в злополучный лог, один Лука спрыгнул с воза и, ступая сбоку, стал вожжами править солового мерина вниз по дороге. Конь уже почти протащил воз через лывину, Лука правил, перескакивая с одной подсохшей кочки на другую, и вот он – взгорок и долгожданная сушь, но здесь-то и увязли выше втулки тележные колеса. Мерин, приседая и шарахаясь в оглоблях, пытался вырвать воз из хлюпающей и чавкающей грязи, но не тут-то было. Тогда Лука, разувшись, поставил в сторонке бутылы, заскал повыше портки, и босиком зашел в студеную воду. Быстро распряг и вывел из оглобель мерина, привязал к одинокой ветле и вернулся к возу. Взяв оглобли в руки, он попробовал качнуть телегу, она подалась сначала вглубь лужи, потом Лука, напрягшись всем корпусом и нащупав босыми ступнями дно потверже, рванул воз вперед, и напряженно переступая ногами, медленно повлек телегу с сеном за собой, на сухое место; там он вновь поставил мерина в оглобли, бормоча себе под нос: «О, бедный, ты мой конек, вишь, как тебе оно, коль и я-то еле вытащил». Вообще, коней он любил до беспамятства, ростил их, нянчился, знал и норов, и повадки; когда наступала пора объезжать молодого жеребца, привязывал того к вкопанному намертво посередке загона столбу и сбоку подходил с попоной и седлом. Ежели конь брыкался, не давал накинуть на круп попону, Лука откладывал сбрую, заходил к упрямцу спереди и, резко взмахнув рукой, наносил тяжелый удар кулаком по плоскому покатому лбу жеребца. Животное падало на передние ноги. Лука стоял рядом. Через минуту конь приходил в себя, отфыркиваясь, он недоуменно вращал сливовыми глазами, которые постепенно наполнялись не только слезами, но и осмыслением того, что детство кончилось, хозяин теперь вовсе не шутит, и лучше будет, если все его действия и команды станут непреложным законом. Обычно после этого жестокого урока коня можно было спокойно седлать и ехать, хоть по деревне, хоть в березовые заливы, но только Луке. У остальных – как получится.

Бои братоубийственной войны не опалили смрадным дымом ни Вишневки, ни Песков. Наезжали конные казачьи разъезды, реквизировали часть продовольствия и гужевого транспорта для нужд белой армии; спустя неделю-две вламывались красные, добирали, что сплоховали спрятать понадежней крестьяне и, пьяненькие, с новыми революционными песнями, перекроенными из старинных, народных, отбывали восвояси. Большого урона не принесла и мобилизация. Деревни зажиточные, откупались, кто как мог, и от красных и от белых. Однако не сумели матери отговорить, а отцы убедить некоторую часть деревенской молодежи: подались самые горячие и нетерпеливые на обе стороны фронта гражданской междуусобицы, да и поскладали многие там свои буйные головушки.

Когда настал конец войне, не пришло замиренье в кровоточащие сердца насельников российских. Коль образовалась трещинка в народе – будет и полынья, да такая ненасытная и охочая до людских судеб; расползаясь, она поглотит и пожрет не только несогласных и чужеродных, а и тех, кто эту самую полынью-воронку промыслил и выпестовал. К последним можно

отнести вылупившихся из лона кровавой распри коммунаров и комбедовцев. Недобрая слава о них долго чадила горелой головешкой. Им вменялось, что позарившись на чужое добро, они стряпали дела на неугодных и несговорчивых, раскулачивали и середняков, и многодетных; им не простили односельчане, как в разгар экспроприаций, сведя с разоренных дворов 18 крепких рабочих лошадей и заперев их без какого-либо корма в огромном амбаре, эти горлопаны и активисты по своему революционному обыкновению организовали грандиозную пьянку. Пока они без памяти безобразничали в большом, похожем на терем с высоким крыльцом, доме арестованного и высланного на днях в Нарым вместе с женой и четырьмя детишками Пантелея Николаевича Четина, бедные запертые животные сгрызли в амбаре дощатые полы, но без воды долго не прожить, и кони пали. Слезы наворачивались на глаза у мужиков, проходящих мимо этого страшного узилища, когда слышали они жалобное ржание обреченных. Замок на дубовых дверях висел пудовый – не сорвать, к коммунарам сунешься – устыдить, пристрелят спьяну. Уже и без того в доме палили, вон стекла побиты, на одном оконце рама свисает наружу. Услыхав стрельбу, бабы опасливо, но с потаенной радостью, перекрестились, думали, всё, аспиды порешили-таки себя, ан, нет, выяснилось позже, комбеды просто состязались в стрельбе из наганов по божнице, да разве поразишь цель, коль руки хотят ходуном, а вся твердость выблевана на узорчатые половицы! Спустя неделю очухалась, протрезвела до той поры, чтобы без поддержки выйти во двор, окаянная новая власть и, пошатываясь, наведалась к амбару. Распахнули дубовые двустворчатые двери, в заросшие опухшие рожи пахнуло спертым запахом тухлого мяса. Власть поморщилась, выматерилась, и, приказав крутившимся тут же прихлебателям очистить помещение от падали, пошла догуливать. Там, за стаканчиком-другим она принялась с азартом обмозговывать, как, чем и с каких дворов восстанавливать эти непредвиденные потери.

Луки к упомянутым событиям в деревне не было, полгода, как с семьей он выехал на заработки. Надо сказать, что и до отъезда Лука давненько был уж безлошадным: свой табунок он, скрепя сердце, распродал, насмотревшись еще в первые, после октябрьского переворота, годы на выкрутасы ошалевшей от неслыханного фарта голытьбы. Такой удачи – раскулачить самого Луку Петровича – он коммунарским в их прилипчивые руки не дал. Когда хмельной, вольной походкой шел он по деревне, калитки на нижнем, бахметовском, краю Вишневки – там обитали в кануны раскулачиванья активисты – как по команде захлопывались и запирались на крепкие и надежные засовы. Все знали тяжелый и гвоздящий кулачище Луки Петровича, ведомо им было и то, что от пули он заговоренный еще с младых лет. Но все-таки исхитрились собачьи дети, отыскали способ, как избавиться от непокорного земляка.

Зачин лета. Троицын день – этот православный праздник в Вишневке престольный. С окрестных деревень, по старой, еще с царских времен, навычке съезжаются сюда не только вся родня, а и просто веселые и разные люди. За овинами и полоской зеленеющей пшеницы, в березовом колке устраиваются игрища, молодежь водит хороводы, мужики состязаются в силе и ловкости – это и бег наперегонки в мешках, и борьба на поясах, и кулачные бои до первой крови, и подъем и перенос тяжестей. Призами победителям, в лучшие, доколхозные годы, отдельно в уголку поляны богатым ворохом посверкивали на солнышке новые хромовые и яловые сапоги,

тюки с шелковыми и атласными отрезами и ворсистым сукном, лагушки либо с медом, либо с пивом. Да и позже, даже когда уже опутал, но еще не удушил деревни зудящий чертополох недобрых перемен, люди старались держаться старины. Новая власть, хотя сама и не принимала участия в праздниках, но сквозь пальцы наблюдала издаля за этими старорежимными потехами.

Лука и друг его закадычный Лабазуха, силач и гуляка, напротив, не проходили мимо ни одного состязания, откалывали такие представления, что долго потом вспоминались в округе. Однажды, даже и не доходя до праздничной поляны, заработали они лагун медовухи. У околицы, на обочине, с оных времен лежала, невесть кем забытая, неподъемная сосновая, кондовая лесина. Толпа мужиков, что с песнями да прибаутками шествовала на березовую поляну, решила размяться и перенести могучее бревно на другую сторону дороги. И установили приз: как всегда он был щедрым – двухведерный бочонок с крепким пивом. Разделились на команды, по шесть человек в каждой. Пока рядились, кому первому тащить, подошли подвыпившие Лука и Лабазуха. Узнав условия состязаний, вызвались вдвоем перенести лесину, и добавили для затравки, что, мол, ежели не управимся, – лагушок с нас. Мужики одобрительно усмехнулись и согласно закивали головами: кому лишняя выпивка, да еще в праздник, помешает. Ударили по рукам. Лука зашел с комля, Лабазуха с другого края, крякнули, взвалили лесину на плечи, пошатываясь, перенесли ее на противоположную обочину и бросили в пыльную крапиву. Мужики оторопели, однако обещанный лагун выставили.

После одного из таких праздников, Петрова дня, маялся Лука похмельем, лежа на топчане в прохладном тенечке под навесом за избой. От калитки окликнули. Лука вяло отозвался. Лабазуха, поблескивая хмельными очами, подъедая окончания слов, сбивчиво сообщил, что коммунарские с утра заходили к нему домой, угостили вот самогонкой, предложили мировую, чтоде им все волками ходить по одной улице. Давай, мол, сходи за Лукой, а мы покуда столы накроем у Вавилы Игнатьича. Закрепим, как положено, наше примирение.

Пока толковали, выискивая подвоха в предложении активистов, через двор прошел в избу Андрей. Теперь это был крепкий плечистый парень с внимательным взглядом широко посаженных спокойных глаз. Он поздоровался с Лабазухой и скрылся в дверном проеме. Лука махнул жилистой рукой: «Что с нами сбудется, того не миновать, пойдем уж, Михал Митрич. Отбиться всегда отобьемся!».

Их ждали. На завалинке сидели и курили, оживленно разговаривая, шестеро мужиков. Завидев приближающихся, они радостно и возбужденно поднялись навстречу Луке и Лабазухе: проходите, мол, в горницу, мы вас заждались, и, приглашая жестами гостей, первыми ступили на крыльцо. Стол действительно ломился от закусок и угощений, в запотелых графинчиках томилась холодная водка, в центре возвышалась граненая четверть самогона-первача.

– Ну что, Лука, выпьем за мир в нашей деревне, – с чувством произнес главарь комбедовских Евген Бахметенок, когда все расселись, и стаканы наполнились горькой и прозрачной, как слеза, жидкостью. – Кто старое помянет, тому глаз вон, да и худой мир, сам знаешь, лучше доброй войны. Ну, будем!

Настороженность, с которой Лука переступил порог этого дома, посте-

пенно таяла. Разговоры велись за столом как бы и ни о чем, так, о видах на урожай, о дождях, коим бы сейчас не время – страда вот-вот, потом разговор соскользнул на больную для крестьян тему объединения в коллективные товарищества и хозяйства, но все это толковалось невнятно и как-то вяло. И вдруг Лука приметил, что с каждой выпитой чаркой глаза хозяев наливаются не только хмельной поволокой, но и злобой. Он пробовал ногой придавить сапог сидящего рядом Лабазухи, чтоб тот хоть глянул в его сторону, но товарищ так увлеченно доказывал что-то соседу заплетающимся языком, что Лука понял: Лабазуха ему не помощник. И точно, спустя минут пять напарник уронил чубатую голову свою в миску с недоеденным студнем и сладко захрапел. Тут и началось. Сидящий справа Евген вроде как потянулся за пузатым графинчиком, чтобы наполнить опустевшие стаканы, но над столом перехватил графин за горлышко и попытался ударить им Луку по голове. Но Лука опередил. Наотмашь ребром правой ладони он врезал Евгену промеж глаз, тот рухнул, опрокидывая лавку. Через стол Луку хотел достать Сашка Кривой, но его Лука успокоил, резко выбросив вперед кулак левой руки. Алешку Красного, что подвернулся тут же, он сгреб и легко перебросил через широкий стол прямо на расписной сундук у стены. «В избе тесно, надо во двор, уж там они попляшут!» – мелькнула бесшабашная мысль.

Лука перевернул стол, краем глаза он увидел, как спящий Лабазуха отвалился под оконный проём, там он не на глазах, может, его и не тронут; а вот и выход в сени, темновато, но, вперед, к свету. Однако в этот миг Лука почувствовал, что кто-то сзади бросил лавку под колени, ноги сами собой подломились, он потерял равновесие, и здесь враги навалились, стали топтать и бить коваными каблуками сапог, а низкорослый Витька Хлыщ изловчился и дважды ударил обухом топора по коленям лежащего. Последним усилием воли Лука приподнял свое избитое туловище над полом, перехватил чей-то метящий ему в лицо кулак, резко, двумя руками, рванул его на себя и тут же круто вывернул. Хруст ломаемых костей и визгливый истошный вопль слились воедино.

Не обращая внимания на сыплющиеся сверху и с боков удары, Лука пополз к дверям, выходящим на крыльцо. Теперь его били припрятанными заранее скалками и железными курками от тележных колес, метя в окровавленную голову. Лука уже почти терял сознание, когда двери распахнулись, и летний свет хлынул в сени, удары ослабли, и сквозь пелену Лука услышал звонкие голоса Андрея и Федора, одногодка и верного друга сына. Перевалясь на бок, Лука Петрович утер рукавом залитые кровью глаза и стал лихорадочно наблюдать, как парни, сноровисто орудуя увесистыми колами, роняли на пол комбедовских. Загнав противников в избу, Андрей и Федор подперли дверь одним из колов, подошли к пытающемуся сесть Луке Петровичу, осмотрели, целы ли кости, и, бережно подняв избитого, повели его домой.

Целебными лесными травами и народными снадобьями отпаивала Капитолина Андреевна своего мужа. И наверняка поставила бы на ноги его, кабы не открылся у Луки Петровича туберкулез. Отбитые легкие его и без того были повреждены, когда в конце двадцатых выезжал он с семьей на заработки в Казахстан, на железнорудные карьеры. Восемь месяцев катал Лука Петрович тачку с рудой, работал в непродуваемой пыли на дробилке. Капитолина Андреевна определилась в прачки, перестирывала горняцкую

робу, Андрей и Мария ходили в школу, что находилась здесь же в рабочем поселке, прямо за бараком, в котором их семье отгородили угол. Четырехлетний Сёмка сразу по приезду перезнакомился со всеми жильцами не только в своем бараке, но и в двух соседних, и чувствовал себя здесь как рыба в воде. Однако Капитолина Андреевна и сама не спускала с младшенького глаз, и старшим детям строго наказала приглядывать за Сёмкой в оба. А причиной тому был случай, приключившийся с ними на чугунке, по дороге сюда, в Казахстан. Тогда на вокзале в Кургане сидели они всей семьей в многолюдном зале ожидания, коротая время до прибытия поезда. И вдруг по вокзальному репродуктору сообщают о том, что потерялся маленький мальчик, и родителей просят зайти в отделение милиции.

– И куда только смотрят такие вот нерадивые мамаши,– громко, с нотками негодования в грудном красивом голосе, обратилась к соседке справа, но так, чтобы слышали и остальные, Капитолина Андреевна. – Сама, небось, дрыхнет где-нибудь на узлах, а ребенок в милиции. Ой-люшки, а где же мой-то Сёмушка?

Капитолина Андреевна вскочила со скамьи, потерянно прижала сцепленные руки к груди и беспомощно обвела взглядом вокруг себя.

– Андрюша, Мария, бегите, найдите тятю. Нет, беги ты, Мария, а ты, Андрюша постереги вещи, покуль я сбегаю к милиционерам. А вдруг это наш Сёмушка у них?

В отделении милиции пожурили заплаканную мамашу, наказали впредь не отпускать мальца от себя, а тут и их поезд объявили.

Работа на руднике была хоть и тяжелая, но денежная, все бы ничего, да изболелась душа и у Луки, и у Капитолины по родимой сторонушке; всякую ноченьку снились им гладь озерная, избы с резными наличниками, а в чистых просторных березовых колках алые грозди спелых ягод на кустах дикой вишни. Намаявшись сновиденьями, собрались они однажды, да и вернулись на родину. А там как раз в эту пору затевалось и набирало дьявольские обороты невиданное от веку злодеяние: обобществление, нивелировка, а затем и угробление самобытности, да и просто уничтожение, физическое, хлебороба – мужика, подмена русского кормильца интернационалистом-пролетарием.

За год угас могучий некогда Лука Петрович. Прознав, что он безнадежно болен, наведались к нему и вчерашние коммунары, заправилы колхозных новшеств и экспериментов. Дыша перегаром, просили активисты прощения у больного: дескать, бес попутал нас, Лука. Повинились мужики и сидящей тут же, в изголовье у умирающего сына, бабке Катерине. Старуха лишь скорбно и внимательно оглядела топчущихся у порога активистов и, тяжело вздохнув, отвернулась к окну, ничего не промолвив. Лука же в ответ слабо приподнял лежащую поверх одеяла правую руку и кивнул покоящейся на подушке седой головой: Бог, мол, простит, я вам не судья.

Но были, оказывается, судьи помимо небесного престола и в земной юдоли. Спустя пять лет Федор, верный друг Андрея, посреди деревенской, широкой улицы, принародно, средь бела дня расправился с главарем и организатором избиения отца своего друга Евгеном Бахметенком. Ударами в лоб и в небритую скулу он сбил активиста с ног, и когда тот начал подниматься, потряхивая свалявшимися космами и выплевывая выбитые зубы, Федор извлек из-за голенища тележный курок и стал наносить сокрушительные

удары Евгену по голове, спине и плечам, громко приговаривая при этом: «Это тебе за дядю Луку!». Пять раз ударил Федор, за каждый год, прожитый Евгеном после расправы над Лукой, поквитался. На десять лет лагерей за убийство осудили его. В последнем слове на суде Федор не просил снисхождения, а только обронил: «Я приму любой приговор. Пусть дядя Лука спит спокойно, он отомщен».

Глава четвёртая. УХОД С ВОЕННОГО ЗАВОДА

Федор поквитался с Евгеном в июле, а осенью вернулся из армии Андрей. Службу закончил он младшим командиром. Жизнь к тому времени в деревне пусть и со скрипом, но налаживалась, руководящие активисты либо замерзли по пьяному делу в предзимних лужах, либо за перегибы и по доносам товарищей по оружию были увезены в наглухо закрытых автомобилях НКВД в невозвратную ночь. Сельские пролетарии мелкого пошиба вроде Алешки Красного, что прославился при раскулачивании своей неслыханной жадностью, когда он вырывал из-под сухоньких седовласых старушек, по их немощи пристроенных на подводы, стеганые одеяльца и простенькие подушки, эти тоже притихли, оттесненные выравнивающейся властью на обочину. Ни хлебной должности тебе, ни почестей.

Андрея приняли секретарем в сельсовет, а спустя полгода, видя его расторопность, открытость и старание, назначили председателем. Весной, в пору черемухового и яблоневого цвета Андрей привел в дом молодую жену Антонину. Постаревшая Капитолина Андреевна, всплакнув, перекрестила и благословила молодых. Сёмка под присмотром старшего брата подтянулся в учебе, в восьмом классе вместе с ровесниками вступил в комсомол; не сказать, что уж сделался подросток паинькой, но озорничать стал меньше, за что первым в Вишневке среди сверстников был поощрен новеньким велосипедом с деревянной рамой. Для этого Андрей подкопил деньжат и специально съездил в райцентр Юргамыш за диковинной покупкой. По субботам, ближе к вечеру, из Песков приходила Мария, поспевала на остатний жар в семейной баньке, ее еще покойный Лука Петрович поставил на бережку озера, под вековыми ивами. Знатно после ядреной парной с духовитым березовым веничком и с хлебным кваском, наплесканным на раскаленную каменку, броситься с дощатых платцев в озерную глубь, широко раскинув невесомые руки; знатно после помывки, уже в ограде, чаевничать до первых звезд, вспыхивающих в голубовато-сумеречном небе, и вести задушевные беседы с родней, а потом как сладко идти в избу по мягкой, щекочущей босые ноги, муравушке.

Зимой Капитолина Андреевна слегла. Андрей Лукич привозил докторов из райцентра, те посоветовали отвезти больную в Юргамыш, там, дескать, при больнице больше возможностей остановить съедающую мать хворь. Полтора месяца лечили Капитолину Андреевну районные доктора, уже и дыхание стало ровней и даже, пусть бледный, но румянец обрела больная, обесцветшие было глаза вернули свою прежнюю живую голубизну. В каждый приезд сына мать умоляла Андрея забрать ее с собой в деревню, так ей опостылели и палата, и микстуры, и томительное лежание в то время, когда за окном ликовала расцветающая весна и заневестившаяся земля звала Капитолину, дочь крестьянскую, чтобы та, как всегда, обиходила кормилицу, определила своей умелой рукой место под солнцем и зерну, и семени, и клубню.

В первый же день по возвращению домой попросила Капитолина Андреевна Марию и Сёму проводить ее в палисадник к цветочным клумбам. Там она присела на крохотную табуреточку и попробовала ножичком взрыхливать земельку вокруг пионов и лилий; но минуты через три у нее на лбу, под выбившейся из-под платка седой прядью, выступила крупная испарина. Она слабым голосом окликнула детей, и те проводили мать обратно в избу.

Капитолину Андреевну похоронили в конце октября, а спустя месяц у Андрея родился сын. До того времени, покуда племянник, которого назвали Юрой, не перебрался из зыбки на пол и не стал ползать и протягивать ручки к находящимся в горнице взрослым, Сёма его будто и не замечал. Но все изменилось, когда сноха Антонина вернулась в фельдшерский пункт, где она работала до родов, и теперь Сёма остаток дня после школы нянчился с младенцем. Первый шажок Юра сделал под доглядом Сёмы; да и сам Сёма уже с нетерпением ждал окончания уроков, чтобы забрать малыша из яслей и с весело лопочущим Юрой идти по затравевшей тропинке домой. Общий язык они нашли скоро, понимая друг друга с полуслова; да вдобавок Сёма обрел еще и навыки толмача, переводя в понятную родителям плоскость детский лепет племянника, когда «анти» – это всего лишь сахар, «кынки» – конфеты, а «бынди» – любимые Юрой семечки.

– Тоня, война! – таким взволнованным и растерянным Андрея жена видела впервые за все послесвадебные годы. Она разогнула поясницу и выпрямилась над грядкой с редиской: это солнечное, июньское воскресенье Антонина решила посвятить прополке. – Я сейчас из сельсовета, там репродуктор не смолкает. Немцы бомбят наши города на западных границах. Я на минутку, меня к ужину не ждите, если что, пусть Сёма принесет в контору к вечеру чего-нибудь горячего.

Андрей приобнял жену, поцеловал русый завиток у нее на виске и размашисто, по-военному четко выдерживая шаг, пошел от калитки по направлению к сельсовету.

Навсегда запомнил Сёма тот октябрьский, блеклый денек, пересыпанный частым и нудным дождем. Притихшая родня провожала Андрея Лукича на фронт. Накануне он добился в военкомате, чтобы с него как советского работника была снята бронь. И вот теперь он во главе команды из десятка новобранцев со станции Юргамыш уезжал в Челябинск, чтобы уже оттуда в эшелоне отправиться на защиту Москвы. Перед отправкой зашли в столовую Дома колхозника, где мужчины выпили по стопке водки, а женщины пригубили по рюмке вина. Налили и семнадцатилетнему Семёну. Когда вышли на перрон, Андрей, ласково взглянул на жену и запел свою любимую:

Что затуманилась зоренька ясная,
Пала на землю росой?
Что припечалилась девица важная,
Очи блеснули слезой.
Жаль мне спокинуть тебя одинокую,
Жаль мне забыть про тебя.
Чару мне, чару мне, чару глубокую
Лей поскорее вина.

Андрей Лукич взял еще стопку, молча выпил. Мария и сродные сестры

заплакали, Семён насупился, сродные братья: сын Ивана Василий и сын Ефима Александр, потупили взоры. У них уже тоже были повестки на руках, через два-три дня проводы. Антонина упала на грудь мужу и надрывно закричала: «Андрюшенька, зачем ты нас покидаешь?». Андрей Лукич обнял жену, погладил по голове и, тяжело вздохнув, обронил: «Ничего, Тоня, вы с Марией проживете, ну, а ты, Сема, горя хватишь». И снова все в слезы. Один маленький Юранька, которого отец к тому времени подхватил на руки, смотрел на взрослых растерянными глазенками, не понимая, в чем же здесь дело, вроде и не больно, а все плачут.

В начале декабря 41-го вызвали повзрослевшего Семёна в райком комсомола и предложили поехать по комсомольской путевке в городок Копейск на спешно возводимый военный завод. Пятнадцать добровольцев из Юргамышского района разместили в двух землянках, где в углу печь-лежанка, а на столбе, подпирающем продольную потолочную матку посредине низкого помещения, на штырьке подвешена керосиновая лампа со стеклянным колпаком; по обе стороны от столба восемь, заправленных лоскутными одеялами, кроватей; противоположную от утепленных, оббитых войлоком, дверей стену венчает подслеповатое оконце, с толстым слоем наросшего инея: на дворе редкий даже для этих мест мороз в сорок – сорок пять градусов.

– Братцы, там опять мертвяков из соседней землянки вытаскивают и загружают в сани, на кладбище повезут! – прямо от двери, еще в клубах морозного пара, взволнованно и торопливо проговорил Петька Романов, щуплый парнишка, тоже доброволец из соседнего с Вишневкой села Петровского. – Опять армяне, азербайжаны и грузины из трудармии померзли. Ох же, неспособные они здесь быть, одежонку-то видели, какая она у них, легкая да дырявая. Итак черные, а поморозились, дак и глянуть страшно – как покоробило да изъязвило их! Они и землянку свою за ночь выстудили страсть как. Ох, ребяты, как оно дале-то будет! Мы-то будем ли живы?

Сидевшие полукругом у жаркой печи парни невесело переглянулись, но разговора никто не поддержал, все сосредоточенно курили и смотрели как Семён, открыв железную дверцу, шуровал в печке кочергой, расчищая место для новых березовых поленьев. Всего неделя, как прибыли сюда, а уже столь повидали, так тошно на душе, что хоть волком вой. И разве ж это подвиг: с утра до ночи катать тачки с комьями мерзлой земли или бесконечно перекладывать штабеля стылого теса, – то ли дело в теплушке мчаться на фронт, а там уж так задать проклятым фашистам, чтоб пятки сверкали у них аж до самого, что ни есть, Берлина! А что, рожденных в 1923-ем уже берут в армию, весной и нам, 24-му году, идти. А покуда давайте-ка по деревням обратно. Даже если поймают и осудят – так это всего на три-четыре месяца. Отбудем – и в армию!

Уходить решились трое. А здесь и случай подоспел: начальство ожидало со дня на день какую-то важную комиссию; трудармейцы и комсомольцы отдалбливали лед с небольшого плаца с красным знаменем на флагштоке, подметали и расчищали территорию около землянок. Как стемнело, их построили и повели в баню на окраине Копейска – негоже обовшивевших показывать высокому начальству. Ночь хоть выколи глаз – ничего не видать. Вышли за ограду военного завода, позади остались КПП и вышки по периметру забора. Улучив момент, Семён тронул за рукав телогрейки Петьку Романова, тот коснулся плеча Николая Выходцева, и все трое канули в темень.

Глава пятая. ТЮРЬМА

На третий день, наморозившись в открытых тамбурах товарняков, достигли беглецы Юргамыша, а уж отсюда и до родных деревень рукой подать. В Таловку въехали на попутной подводе, здесь и простились, в три стороны разошлись заснеженные проселки, самая дальняя дорога в пять верст – у Семёна. С последними лучами скупого декабрьского солнца переступил он подоткнутый ворсистой дерюжкой порожек отчего дома. В жарко натопленной избе, застеленной толстыми домоткаными цветными половиками, у заиндевелого оконца на узорно окованном медью плоском сундуке, в теплых носках и шерстяной детской безрукавке сидел маленький Юра. Рядом с ним лежала на боку деревянная раскрашенная лошадка и выструганный Семёном, незадолго до его отъезда в Копейск, солдатик. Сноха Антонина, услышав, как хлопнула в сенях дверь, выглянула из кути, где готовила ужин, узнать, кто пришел, и изумленно всплеснула руками, перепачканными мукой: «Сёма, как же ты? Кто тебя отпустил? Никак убежал – это с военного-то завода? О-ох, Сёмушка, а у нас ведь горе! Горюшко-то какое!». Антонина, тяжело и прерывисто всхлипнув, застонала и подалась вперед, не успей подхватить Семён сноху на руки, она бы рухнула на пол. У парня в груди вдруг что-то лопнуло и оборвалось. Семён все понял. Он бережно провел рыдающую Антонину в передний угол к накрытому цветастой клеенкой столу и осторожно усадил ее на табурет. Быстро зачерпнул ковшиком свекольного кваса из бочонка у дверей и заставил сноху сделать несколько глотков, чтоб успокоиться и прийти в себя. Маленький Юра так обрадовался появлению любимого дяди, что слез с сундука на пол и побежал было навстречу тому, но все, что произошло только что, повергло мальчика сперва в растерянность, а потом и в слезы. Семён поднял плачущего племянника на руки и прижал к себе. Глаза у него повлажнели.

Придя в себя, Антонина поднялась с табурета, прошла в горницу, где взяла с верхней полки ажурной этажерки сложенный вдвое листок казенной серой бумаги и, вернувшись к столу, протянула этот листок деверю. Семён опустил с рук племянника и развернул письмо. «Командование части сообщает вам, что ваш муж Андрей Лукич Манаков геройски погиб под Волоколамском, защищая подступы к столице нашей Родины г. Москве» – с трудом, сквозь туман слез, разобрал написанное на похоронке Семён. И такая пустота образовалась в душе, так все немило стало парню, глаза высохли, но взгляд потух. С этим потухшим взглядом и ходил он неприкаянно по деревне все последующие дни. Придет, бывало, в контору, где у печки-голандки коротают долгие зимние вечера, обсуждая последние известия с фронта, старики, а возле них колготится и зеленая молодежь; председатель колхоза, припозднившийся здесь же, хромой Алексей Степанович Кокорин сразу к Семёну с вопросом: когда, мол, Сёмка, ты на работу выйдешь? На что парень равнодушно ответствовал: не колхозник я, дескать, и в колхоз никогда не вернусь. Поворачивался к дверям и уходил в сумрачную морозную ночь.

Однажды вот так же бесцельно пробродил он до полуночи по утонувшей в сугробах Вишневке; наведался и в Пески, и лишь потом, уставший, вернулся в дом, и тут же уснул без сновидений. Очнулся Семён оттого, что кто-то, хоть и не больно, но настойчиво, теребит его за уши: «Дядя Сёма, вставай, на, кури». Открыл глаза, а это Юра, племянник, сидит у изголовья и протягивает ручонку, где в пальчиках что-то скрученное из бумаги наподобие папироски. Семён окончательно проснулся, бросил взгляд на пол, а там валя-

ется комсомольский билет с вырванными страницами, одну из которых Юра, желая угодить любимому дяде, уже свернул в самокрутку. Семён быстро поднялся, собрал вырванные листки, расправил и вложил обратно в билет. Теперь надо ехать в райком комсомола, рассказать, как все было, поди, поймут и обменят испорченный билет на новый.

Однако в этот же день, ближе к обеду, на пороге появляется посыльный и сообщает Семёну, что его срочно вызывают по какому-то неотложному делу в контору. Открыв дверь в председательский кабинет, и увидев за массивным, покрытым зеленым сукном, столом самого Алексея Степановича и сидящего рядом пожилого мужчину в милицейской шинели и шапке-ушанке с кокардой, парень обо всем догадался.

– Ну, что Сёмка, в колхозе не схотел работать, так в тюрьме тебя заставят! Ужо не отвертишься! – председатель самодовольно хохотнул. – Вот он, огурчик наш малосольный, товарищ милиционер. Берите, он ваш. Давай, арестант, грузись в подводу.

– Хорошо. Но и ты, председатель, запомни: я ведь когда-нибудь освобожусь, приеду, и вторую ногу тебе вырву, – Семён широко улыбнулся. – Так что до встречи, Алексей Степаныч!

В камере предварительного заключения юргамышского райотдела Семёна встретили сникшие Петр Романов и Николай Выходцев.

– Слышь, Сёма, по-нашему-то не вышло: срок теперь – так меня следователь стращал – за побег с военного завода не четыре месяца, а от четырех до шести лет, – Петька сокрушенно покачал короткоостриженной головой. – Мы убежали 27-го, а указ вышел накануне – 26 декабря. Вот вляпались дак вляпались! Как выкарабкиваться будем? Еще следователь говорил, что судить нас будут показательным судом, чтобы другим неповадно было.

– Не переживай, Петруха, на суде мы попросим отправки на фронт, хоть в штрафную роту, скажем, что кровью искупим свою вину, – успокоил друга Семён. – Тем более с первых чисел января уже наш год призывают. Так что держи хвост пистолетом, слабаков на войну не берут!

Но судьи в глухих френчах – дело рассматривалось в открытом суде, но чрезвычайной тройкой – не вняли детскому лепету подсудимых. Слушание проходило недолго, но сурово. Когда Семён попытался было вставить словцо о том, что вину свою они осознали и готовы искупить ее кровью на фронте, один из военных, с изможденным лицом и запавшими, то ли от бессонницы, то ли от хворобы какой, глазами, зло усмехнулся: мы, мол, тебя и здесь помучаем. В ответ парень запальчиво бросил: посмотрим, кто кого, и вместо покаяния в последнем слове попросил у судей папироску. Зачитывал приговор все тот же изможденный: исприкаявшимся, потерянным Петру и Николаю дали по четыре года, а Семёна осудили на шесть лет лагерей, припомнив ему и дерзкое поведение в суде, и истрепанный комсомольский билет с вырванными страницами. Всю троицу по этапу увезли в Курган.

Глава шестая. ПЕРВЫЙ ПОБЕГ

В тесной, переполненной заключенными, схожей с каменным мешком, воняющей никогда не стиранными портянками, камере старой пересыльной тюрьмы на берегу Тобола Семён находился недолго. Его с группой таких же только что осужденных, в колонне, под усиленной охраной, пешком провели на одну из городских окраин, где на пустыре готовилась стройпло-

щадка для очередного эвакуированного с запада военного завода. Рядом, огороженная свежим высоким забором, с колючей проволокой поверху и с бдительными автоматчиками на вышках, серела правильными рядами палаток наспех сварганенная лагерная зона.

Работа здесь мало чем отличалась от той декабрьской в Копейске, только, если там кормежка была сносная даже для военного лихолетья, то здешняя пустая баланда с плавающей сморщенной долькой мороженой свеклы в миске и мерзлой краюхой хлеба, испеченного пополам со жмыхом, ничего кроме головокружения и поноса не вызывала. Одно хорошо, зима заканчивалась, и морозы не так донимали, правда, и тепло в брезентовых палатках сберечь за ночь было мудрено, спали зеки в телогрейках, ушанках, обувь тоже старались не снимать. Утром осторожно, хоть и поспешно, опасаясь поскользнуться в проходе меж нар на льду пролитой с вечера баланды, пробирались к выходу на лагерное построение. Все страшно чесались – неуловимые, так называемые окопные блохи одолевали заключенных, мучили людей даже, наверное, больше, чем голод. Днем, во время изнурительной работы, как ни странно, зудящий натиск насекомых ослабевал, тогда хоть можно было дух перевести.

В середине марта начальство лагеря смилостивилось над зеками, договорилось с администрацией одной из близлежащих городских бань на помывку арестантов. Мыться водили партиями по десять человек, под охраной двух вооруженных карабинами конвоиров. Семён попал в предпоследнюю партию, уже когда на улице стемнело. Усилив конвойных третьим, решили все же закончить помывку в один день. Утомленные однообразием, конвоиры лениво покрикивали на сгрудившихся у входа заключенных, объясняя им, что, де, баня общественная, в ней сейчас моются, кроме нас, и вольные; ваше место в раздевалке в углу, одежку с насекомыми складывать отдельно в специально припасенные кули; после прожарки, что здесь же, в кочегарке, сделают банщики, пока вы моетесь, разберете, каждый свою; и чтобы с гражданскими ни-ни.. «Шаг влево, шаг вправо – считается побегом», – размягчено пошутил самый молодой из конвойных. Конвоиры сдвинули лавки у входной двери, здесь и свету от лампочки побольше и никто незамеченным не прошмыгнет, посредине поставили табурет, достали потрепанную колоду карт и принялись резаться в подкидного.

Секунды хватило вышедшему в предбанник, отдохнуть после парной, Семёну оценить свои шансы на побег. В тамбуре у входа охрана так распалилась игрой, что и голов не повертывала узнать, как там их подопечные; на скамье, ближе к выходу из предбанника, покуривал седобородый дед, поминутно утирая капельки чистого пота мохнатым полотенцем, сбоку от деда лежала холщовая сумка с бельишком, поверх нее покоился влажный березовый веник. Рядом, на деревянной вешалке, прибитой к стене, висели полушубки, штаны, пиджаки, рубахи, а на крашеном, в мокрых разводьях полу стояли в ряд кирзовые сапоги и ботинки моющихся сейчас вольных. Семён неслышно проскользнул к вешалке, натянул на голое тело первые попавшиеся брюки, босыми ногами влез в подходящие по размеру сапоги, водрузил на мокрые, едва отросшие волосы чью-то шапку, набросил на голые плечи овчинный полушубок, ловко и быстро похватал и запихнул в штаны скомканные свитер и ситцевую рубашку. Стараясь придать своей походке легкость и беспечность, он подошел к деду, уже собравшемуся уходить, небрежно подхватил правой рукой сумку, переложил веник в левую, и с мольбой посмотрел деду в глаза. Тот понимающе кивнул, и они гуськом: дед впереди,

Семён след в след, прошли мимо конвоиров. Те, увлеченные картежной игрой, даже и не посмотрели в сторону этих вольняшек в кургузых полушубках. На дворе подмораживало. Семён торопливо сунул деду банные принадлежности, благодарно кивнул и растворился в мартовской темноте.

В этот субботний день Мария пораньше отпустила ребятишек с уроков: в интернате топили баню, и перед тем, как идти домой, решила забежать к завучу за расписанием на неделю. В кабинете, кроме Анастасии Федоровны, на стуле сбоку от стола сидел незнакомец в милицейской форме. Сразу закололо сердце.

– Мария Лукинична, с вами все в порядке? – заметив, как побледнела вошедшая учительница, обратилась к ней завуч, и быстро переглянулась с худощавым милиционером, что-то внимательно изучавшим в бумагах на столе.

– Ничего страшного, Анастасия Федоровна, просто я, видимо, переутомилась сегодня, – рассеянно ответила Мария. – Пойду домой, отдохну, и все пройдет.

По раскисшей деревенской улице летела Мария, не чуя под собой ног. Вот и аккуратная избушка ее однокомнатная. Распахнула дверь, и – точно ведь: у печи сидит младший брат и курит, пуская кольца дыма в приоткрытую чугунную дверцу.

– Сёма, ты как пришел? Сбежал опять? – с плачем кинулась на грудь Семёну сестра.

– Да, сбежал.

– Куда ж я тебя дену? Ведь здесь, в Песках, милиция. Тебя они ищут, больше-то кого! – только и успела прокричать сквозь слезы Мария, как в дверях вырос тот самый, из интерната, милиционер и отрывисто бросил растерявшемуся Семёну: «Все парень, отбегал, я тебя арестовываю!».

После долгих уговоров согласился Никита Алексеевич Лятин, как отрекомендовался мужчина, лишь только улеглось всеобщее возбуждение, произведенное арестом Семёна, оставить ночевать арестанта у сестры, взяв с Марии расписку о том, что, если Семён сбежит за ночь, сидеть за него будет она. Ночевать Лятин отправился в помещение сельсовета. Мария сходила в интернат, взяла у сторожа ключ от неостывшей еще бани, Семён помылся и переоделся в чистое белье. Поужинав картошкой с хлебом, легли спать. Впервые за два месяца Семён лежал на чистых хрустящих простынях в уютной кровати. Мария постелила себе на полатях. Однако за всю долгую ночь ни разу не сомкнули они глаз. Мария, всхлипывая, уговаривала и умоляла брата не убегать из тюрьмы, обещала регулярно навещать его в заключение, приносить передачи, только ты уж, Сёмушка, терпи, может и послабление какое выйдет тебе, ты же работящий, будь послушней, выполняй все приказы начальства. Я тебя никогда не оставлю.

Утром Мария охлопотала у директора интерната подводу, чтобы отвезти Лятина и брата до станции. Уже смеркалось, когда возвратила Мария уставшую лошадь с повозкой на конный двор.

Скопив за несколько недель матерчатый мешок сухарей, прикупив на последние деньги свежего хлеба, и выправив отпуск на неделю, отправилась Мария пешком, с котомкой за плечами, за 80 километров, в Курган. Там отыскала тюрьму, спросила в окошечко у дежурного, нет ли среди заключенных Семёна Лукича Манакова. Тот куда-то сходил, вернулся и сказал

через оконце, что, мол, был, да вот недавно отправлен по этапу на север. Слезы навернулись на глаза Марии, не разбирая дороги, вышла она за тюремную ограду и, обессиленная, присела на прогретый апрельский бугорок с краю широкого большака. Чуть в стороне от ограды человек двадцать заключенных, под недремлющим оком вооруженных конвойных, копали траншею. Мария развязала котомку, достала хлеб и стала, отламывая от буханки ломти, подавать их тем зекам, что были поближе к ней. Конвоиры только поглядывали, не препятствуя Марии кормить людей. Вдруг от них отделился, показавшийся ей знакомым, сухощавый милиционер, и прямехонько направился к Марии. Это был Лятин.

– Здравствуйте! Вы, я вижу, к брату пришли?

– Да, но его здесь, говорят, уже нет.

– Как нет! Я только сегодня его видел. Пойдемте-ка со мной.

Лятин привел Марию в тесное помещенье, где стоял продолговатый стол и две лавки, это была комната свиданий, и ушел. Через некоторое время молчаливый солдат привел грязного, оборванного Семёна.

– Сёма, а твоя одежда, что я тебе давала, она где?

– Сняли в первый же день.

– Братик, я вот здесь принесла тебе хлебца и сухариков. Поешь хоть.

– Маша, я возьму, поем немного, остальное ты отдай Лятину. Пусть он мне помаленьку выдает, а то, если в камеру понесу всю передачу, то её у меня тут же отберут. Там такое шакальё, не отбиться.

– Так и сделаю, Сёмушка, как ты скажешь, только уж не убегай больше, поймают ведь, хуже будет.

Семён молча кивал в ответ, но в глубине серых затравленных глаз брата она уловила какую-то отчаянную решимость и заплакала, всё поняв и испугавшись этого своего понимания. Всё равно, значит, уйдет, но ведь и подстрелить могут.

Глава седьмая. ВТОРОЙ ПОБЕГ

Весна 42-го на Южном Урале выдалась теплая, солнечная, она будто извинялась за лютую, с жестокими морозами и буранами зиму. Ласковое солнце щедро отогревало не одну лишь промерзшую землю, но и озябшие от худых вестей с фронта, надорванные потерей близких на войне людские души. В начале мая Семён опять в колонне заключенных был препровожден из тюрьмы в знакомый уже лагерь на окраине Кургана. Рядом с их зоной возвышались заводские почти достроенные корпуса, из которых был хорошо слышен шум работающих станков, а над широкими дверями каждого отдельного цеха висели красные транспаранты, и даже с лагерной вахты Семён мог, не напрягая зрения, прочитать известный лозунг: «Все для фронта, все для победы». Однако заключенных теперь на территорию завода не допускали, они, как и зимой, продолжали рыть траншеи и котлованы, сегодня работы велись как раз в промежутке между заводской оградой и нефтебазой невдалеке, пузатые стальные емкости и резервуары которой, окрашенные в серебристый цвет, хищно поблескивали на солнце.

Траншея копалась легко, углубление было уже по колено, на бруствере росла светло-коричневая россыпь сухого суглинка. Время к обеду. Сомлевший от безделья конвойный, стоящий метрах в десяти от Семёна, чтоб разогнать полуденную дрему, решил покурить. Он присел, поставил автомат

прикладом на землю, сжав его для удобства коленями, достал кисет с табаком, листок бумаги. Любовно завернув «козью ножку», сунул ее в щербатый рот под пшеничными усами, и, отвернувшись от ветерка, что дул как раз со стороны Семёна, принялся чиркать о коробок спичку. Именно этого мига ждал Семён. Он резко выпрыгнул из мелкой траншеи и, что есть мочи, побежал, петляя, по направлению к нестерпимо сверкающим и слепящим глаза резервуарам с горючим. Всего единственную автоматную очередь успел выпустить вслед беглецу оплошавший конвоир, одна из пуль, чиркнув, обожгла мякоть обеих рук повыше кистей, боли в горячке сумасшедшего бега Семён не ощутил, еще пару петляющих прыжков и – он в безопасности, в мёртвой зоне. Теперь уж наверняка выстрелов вдогонку не будет: ёмкости запросто могут взлететь на воздух, а тогда не поздоровится ни лагерю, ни заводу, взрыв будет такой, что мало не покажется!

Обогнув неогороженную пока нефтебазу, Семён, не сбавляя бега, пересёк измочаленный тракторными гусеницами пустырь и пропал в спасительном, заболоченном березняке. Погоня с собаками пометалась на кочках этого болотца и потеряла след беглеца.

Глава восьмая. ГОРНО-ТАЁЖНЫЙ ГОРОДОК

Тетка Лизавета, крупная и подвижная старуха, подвязанная тёмным старообрядческим платком по самые острые и строгие глаза, только что выгнала подоенную корову с бусой тёлочкой за поскотину поселья Шаравка на сочный алтайский лужок пастись. Теперь надо процедить парное молочко в прохладные глиняные кринки и отнести их в погребок под разлапистой пихтой. Вскоре из-за скалистых пиков Ивановского белка взойдёт солнышко, и с первыми его лучами подъедет на бричке Еремей и как обычно заберёт молоко да плетёную из дранки пестерюху, доверху наполненную матовыми свежими куриными яйцами, и отвезёт на городской базар на берегу говорливой Быструхи.

Вот уже десятый годок минул, как в одну из кромешных ночей погрузила Лизавета своих детей-подростков и узлы с немудреным скарбом на подводу, коей тайно снабдил ее младший брат покойного мужа Ивана, сельсоветский писарь Ефим. Он же накануне и оповестил потаённо, что со дня на день должны придти активисты, раскулачивать ее, больно уж глянулся пролетариям крепкий сосновый пятистенок, что срубили братья в канун мировой войны. Рассовав по родне, распродав за бесценок сытую и ухоженную свою живность, бежали они на Алтай, где, по слухам давно уже и прочно обосновались единоверцы. Здесь, среди таёжных отрогов, в предместье рудничного городишка Риддера, выросли и повзрослели дети, всё же город – это тебе не раздолбанная комбедовцами несчастная русская деревня. Здесь и заработки, – да и хозяйство личное, для своего достатка и удовольствия власти дозволяют держать. Не ленись, не валяйся на боку, и будешь жить. Эх, кабы не война проклятая! Где-то сейчас Васенька? Отписывал, что, де, под Ленинградом воюет. Как он там? Уехал-таки перед войной на Урал: на родину, сказывал, хочу, в деревню свою, к родне. И ведь какой боевой да настырный: дом у активистов отсудил, мы, говорит, не кулаки, и нас никто не раскулачивал, сами уехали с мамой за лучшей долей. И даже дом, как положено, заколотили досками крест накрест и замок на дверь повесили. Всё ведь помнит,– а как же не помнить? – в тот чёрный год было ему, слава Богу, без

малого пятнадцать. Старуха горестно вздохнула своим мыслям: «ох, же война ты проклятущая».

Взлаял цепной лохматый Музгар, тётка Лизавета выглянула из летней повети, посмотреть, кого там несёт. У калитки плечистый парень, улыбается, правда, улыбка настороженно-выжидательная.

– Здравствуй, тётя Лизавета.

– Будь здоров, коль не шутишь.

– Не признаёшь?

– Может, где и встречались, да не припомню где ,– что-то было неуловимо знакомое в круглом, с близко посаженными серыми глазами, лице парня. Тётка Лизавета напрямки и рубанула: – Сказывай, чей будешь, что игры со мной играть!?

– Семён я, Манаков, сын Луки Петровича.

– Да неужли ты уж так вырос, Сёмушка? Сейчас-то откуль, не с московского ли ночного? А нас-то как отыскал? Язык до Киева доведет, говоришь? Отворяй воротца, да заходи. Что, так и будем через забор вести переговоры, – тётка Лизавета, обтерев о фартук влажные руки, радостно обняла племянника.

Вечером в Лизаветинской светелке собрались все оповещённые родственники. За столом главенствовала Лизавета, по лавкам и на мягком диванчике сидели её дети, старшие сродные сёстры Семёна: Агрипина с мужем Перфилием, Стюра и Катя. Разговор шёл о том, как помочь Семёну с документами. Двадцатитрёхлетняя Катя, работавшая секретарём Пригородного сельсовета, обнадёжила брата, пообещав достать чистый бланк под паспорт и вписать туда все данные Семёна, но коль его теперь уж, наверное, ищут по всему Советскому Союзу, то надо в этих, новых, документах, изменить хотя бы фамилию. Семён из кринки налил себе стакан холодного молока. Выпил залпом и весело произнёс: «Что ж, вот и стану с сегодняшнего дня Молоковым». Сёстры одобрительно улыбнулись.

Так и выправила родня Семену новый документ. Была небольшая заминка с печатью, что недоступно хранилась в сейфе у председателя, и все операции Катя делала только в его присутствии, но умелец Перфилий, лишь единожды глянув на оттиск в своем паспорте, вырезал в срезе твёрдой картофелины и буковки, и циферки, и двойной кружок – залюбуешься. Обмакнул изделие в чёрную тушь и наложил оттиск на бланк. Комар носа не подточит. Спустя неделю носил Семён в кармане пиджака новенький паспорт. А здесь подоспели и экзамены в горный техникум, двухэтажное каменное здание которого занимало часть парковой усадьбы в междуречье Филипповки и Быструхи. Купили в базарной толчее чистый аттестат о девятилетнем образовании, внесли в него оценки и новую фамилию владельца; и, сдав успешно вступительные экзамены, поступил Семён на горняцкое отделение техникума. Сёстры написали Марии на Урал письмо, где между строк, намёками, оповестили, что брат здесь, у них, и у него всё ладом. В конце августа Мария была уже в Риддере. Устроившись воспитательницей в местный детдом, она сняла на окраине, в частном секторе, домик на две комнаты и кухоньку с аккуратным, но маленьким огородом, стиснутым с трёх сторон глухими заборами соседей.

Семёну учиться нравилось, задачи он решал, как семечки щёлкал, быстро и в основном правильно. Времени хватало и на то, чтобы дать списать

менее сообразительным товарищам. Лишь один из однокурсников не уступал Семёну в учёбе – это Илюша Ананьин. Хоть и был он годами помоложе, но ум имел цепкий, живой. Наверное, это и способствовало их сближению. Парни крепко подружились, Илюша был местный, из бергалов, так здесь называли потомственных горняков-рудознатцев, знал все тропки к заповеданным ягодным и грибным уголкам в труднопроходимой буреломной горной тайге. А Семён едва ли не с пеленок приохотился к собиранию, да так проворно и быстро это у него получалось; когда кто-нибудь другой рядом только-только отбарабанит по дну ароматной клубникой ли, упругой ли смородиной, а у него уже посуда наполовину полна. И, ведь собирая, ни разу единого не опустится на колени, не присядет, не приляжет облегчённо на призывную травушку, чтобы обобрать всё вокруг, сминая кусты. Перегибаясь пополам, на ходу, он ловко срывал, как правило, самые крупные ягоды, и вот он уже, продравшись сквозь древесные сплетения дикой акации, на другом, заросшем дурбеем склоне, и оттуда перекликается с отставшими ягодниками.

В марте 43-го, отработав практику в забое шахты одного из рудников, некоторые из студентов получили повестки на врачебную призывную комиссию. Вручили повестку и обрадованному Семёну. Всё, наконец-то, настал срок поквитаться с фашистами за Андрея!

Мария обменяла на базаре свою новую шерстяную кофточку на внушительную куриную тушку, и к возвращению брата с военной комиссии приготовила наваристую, с жёлтыми плавающими кружками жира лапшу, достала из подпола ядреных солёных огурчиков, хрустящей капустки, и стала поджидать Семёна, изредка поглядывая поверх ситцевых занавесок через кухонное оконце на улицу. Она не заметила, как Семён прошёл по двору, лишь услыхала скрип двери в сенцах, и в избу ввалился мрачный и какой-то весь взъерошенный брат.

– Маша, милая сестричка ты моя! Не берут меня на фронт, не годен я, видите ли, бить фашистов. Докторам не нравится, что я не слышу на левое ухо, дак я одним правым услышу больше, чем кто другой двумя сразу. Жил, нормальным был, в тюрьме сидеть годен, а за брата отомстить, так, вишь ли, не годен, – Семён прошёл к накрытому столу, сел, отодвинул от себя снедь, и, обхватив голову руками, застонал. Шести лет отроду простудился он, когда по недосмотру взрослых упал со сходен в студеные воды ноябрьского озера; случилось осложнение, и вот теперь левое ухо не слышит, и больше того, при малейшей простуде из уха сочится тёмно-зелёная липкая жидкая масса. И поэтому у Семёна в раковине левого уха почти всегда неприметная ватка.

– Я уж просился и в нестроевые подразделения, но доктор, гад, только посмеялся: учись, мол, студент, и в тылу люди нужны.

– Ничего, Сёмушка, не горюй и не убивайся ты так. Оно ведь, действительно, и в тылу работать кому-то надо. Жалко, ой как жалко Андрюшу нашего, – Мария утёрла платком набежавшие слезы, и, горестно вздохнув, продолжала: – А вдруг и тебя бы там убили! Я-то куда тогда одна-одинешенька. Тоня с Юранькой теперь от нас далеко: она, я ведь тебе говорила, перебралась в Кособродск, ближе к Челябинску, там с работой проще и родственники есть. Так что, Сёмушка, поешь лапшички и успокойся. Окончишь техникум, пойдёшь на свинцовый завод работать, пули-то, которыми наши бойцы разят проклятых фашистов, они почти все отлиты из алтайского свинца. Большая победа, она всегда складывается из таких вот крохотных час-

тей, а ты будешь, я в этом уверена, работать обязательно по-ударному, ты же по-другому не умеешь, и врага мы сломим. И Андрюше нашему, там, где он сейчас пребывает, наверное, тогда будет хоть на немного, но легче.

В садах у бергалов, по лощинам и гребням окрестных сопок закипала белопенная пьянящая черёмуха, в городке этот запах смешивался со сладковато-удушливым дымом, валившим из труб свинцового завода и устилавшим тесные переулки и подворотни ближних к кирпичной заводской ограде городских районов. Вечерело. Семён поднимался на горушку по булыжной мостовой, ещё с десяток метров – и свороток в их переулок. От черёмухового куста, что через плотный забор свешивался из огорода на улицу, отделилась фигура и взволнованным голосом Илюши Ананьина окликнула Семёна по имени. Парень свернул с мостовой и по траве направился к другу.

– Семён, я тебя уже больше часа караулю здесь. Нельзя тебе домой, там милицейская засада. Я когда подходил к вашей калитке, заметил, как один в окно выглядывал. Пришлось, чтобы не заподозрили и не привязались следом, попетлять по городку. Уезжай, пока они не спохватились.

– Да куда же я теперь без документов, эти-то засветились, можно хоть сейчас выбросить.

– Не паникуй раньше времени. Давай-ка, сделаем так, идём ко мне, ты подождешь за изгородью, у ветлы, я вынесу тебе свой паспорт. Фотографию сдерешь со своего, и мы её подклеим заместо моей. Лады, брат?

Утром следующего дня, рискуя быть пойманным, Семён подстерёг на дорожке, ведущей через сосновый бор к массивному одноэтажному зданию, в котором располагался детский дом, понуро бредущую сестру, тихо окликнул её из-за толстого, в обхват, ствола. Мария встрепенулась, испуганно озираясь вокруг, подошла и прислонилась к сосне с другой стороны.

– Сегодня я ухожу из города, где буду, не знаю, – раздался из-за дерева глухой голос брата. – Как появится возможность, дам о себе знать. Прощай, Маша. Даст Бог, свидимся ещё.

– Береги себя, брат, – сестра судорожно хватила воздуха, но сдержала рвущиеся из горла рыдания. – Я буду молить Богородицу, чтоб ты был жив. До свидания, Сёма. Уходи, кто-то незнакомый идёт от ограды. Беги, Семён!

– Что это вы, гражданочка, никак с деревом беседуете, – запыхавшийся мужчина в гимнастёрке, галифе и блестящих хромовых сапогах быстро обежал вокруг сосны, шнырнул острым взглядом по цветущим кустам черёмухи у забора и вернулся к Марии. – Или с братцем беглым общались, Мария Лукинична?

– Да полно вам, закружилась голова, вот я и прислонилась к дереву, дух перевести.

– Вот что я вам скажу: брата вашего неуловимого мы всё равно не сегодня-завтра арестуем. Срок у него теперь ба-альшущий, за побеги набежало ещё годков эдак с десяток. Так что теперь не скоро свидеться доведётся. А вам из города не уезжать, мы уж за вами, Мария Лукинична, для пущей верности – присмотрим.

И незнакомец, круто развернувшись, заторопился к воротам. Мария осталась одна стоять на посыпанной мелким гравием дорожке. Слёзы ручьем текли по её щекам.

Глава девятая. РУБЦОВСКИЙ ТАНКОВЫЙ

Этот завод стал третьим военным, после двух на Урале, в судьбе Семёна. Приняли парня на работу легко, документы, едва глянув и переписав что-то из них в карточку, тут же вернули. Мария ничуть не преувеличивала, говоря о том, что спустя рукава Семён просто не умеет работать. Уже через месяц его назначили мастером участка сборочного цеха, а спустя полгода – мастером смены. С конвейера этого завода, бывшего в мирное время тракторным, ежедневно сходили и тут же грузились на железнодорожные платформы и мчались на пожиравший все живое и рукотворное советско-германский фронт танки Т-34.

Жил Семён – правда, для окружающих он был теперь Ильёй Васильевичем Ананьиным – в общежитии при заводе, да оно так было и удобнее: цех рядом, в Рубцовске всё равно ни родных, ни близких. На свой страх и риск побывал он однажды на вокзале, подгадал к прибытию поезда на Риддер. Потолкался по перрону среди пассажиров, поезд здесь стоит сорок пять минут, поинтересовался, едет ли кто до конечной станции, до того самого таёжного городка, в котором его едва не взяли оперативники. Едущие до конца среди пассажиров были. Он отвёл мужчину в годах, вызвавшего своим бесхитростным обличьем наибольшее доверие, в сторонку и попросил того передать по означенному адресу письмо. Для верности Семён достал из кармана ассигнации и отсчитал несколько купюр. Мужчина запротестовал было, дескать, доставлю и без всякой оплаты. Тогда Семён сложил все деньги в одну пачку и сунул пассажиру в руки со словами: «здесь хорошая сумма, возьмёте себе, сколько посчитаете нужным, а остальные отдайте женщине вместе с письмом». Недели через полторы в общежитие пришёл ответ на имя Ананьина. Мария писала, что все живы и здоровы, всё хорошо, наказывала Илюше беречь себя. Ещё одно письмецо от сестры спустя месяц получил Семён. А потом всё оборвалось.

До пересменка оставалось четверть часа. Только что из цеха своим ходом прогрохотали по бетонному полу три новеньких, тёмно-зелёного защитного цвета, танка, сейчас водители-испытатели сделают несколько кругов на площадке полигона, и боевые машины погрузят на платформы. Настроение у Семёна было отменное, приятная усталость разливалась по телу, после смены надо обязательно зайти в душ и – спать. И вот тут-то он увидел приближающихся к нему начальника цеха в сопровождении незнакомого подтянутого мужчины в штатском. «А выправка-то военная», – машинально отметил Семён. И перевёл взгляд на своего начальника. «Но почему же лицо-то, Николай Прокопьич, у тебя такое белое? Да это ж по мою душу пришли!» – опалила сознание запоздалая обвальная мысль. Бежать было некуда. Щеголеватый опер не стал марать свои руки обшариванием карманов задержанного, лишь ловко щёлкнул наручниками на запястьях, своём и Семёновом, так оно будет надёжней.

Районное отделение милиции, куда опер доставил Семёна, располагалось недалеко от завода и находилось в состоянии затянувшейся долгостройки. К недоогороженной территории райотдела примыкал полуразрушенный квартал с ветхими лачугами, видимо, эта была очередная расчищаемая площадка, предназначенная для новых корпусов расширяющегося танкового завода. Семён глянул в маленькое зарешеченное окошко камеры предварительного заключения, и в голове пронеслась шалая

идея. Он подошел к железной двери с круглым глазком, прикрытым снаружи, и постучал кулаком.

– Эй, кто там есть! Откройте, на двор надо, мочи нет. Что ж это у вас параши в камере не имеется? Открывайте, а то прямо под дверями схожу!

Загремел засов, дверь, противно лязгнув, отворилась.

– Давай, живо, времени нет тут вас разваживать, – сонный увалень, с румянцем во всю щеку, сапоги гармошкой, гимнастёрка сидит мешком, пропустил арестанта вперед и забросил карабин за плечо. – Смотри, дёрнешься – уложу на месте!

Покосившаяся уборная притулилась на заднике милицейского дворика. На середине пути к ней, метрах в пятнадцати от тропинки, по которой сейчас часовой в развалку вёл арестанта, зияла внушительная дыра, размыкающая деревянный забор. Семён внутренне весь подобрался, чутко прислушался к ровному дыханию беспечного конвоира, шедшего в шаге позади, резко присел на корточки и молниеносно выпрямился, отбрасывая своё тело назад, и попадая затылком в толстые губы конвоира. Удар головой был настолько неожиданным и сильным, что увалень растянулся вдоль тропинки, придавив собой карабин. Пока он, ошарашенный, приходил в себя и грузно подымался с земли, Семён был уже далеко за забором. Причем, и документы, целёхоньки, лежали во внутреннем кармане пиджака, так как Семёна второпях впихнули в камеру, даже не сняв с него брючного ремня и не изъяв шнурков с ботинок, а про обыск и вообще речи не было. Видно, начальство полагало в течение часа-другого переправить задержанного в тюрьму, да только вот арестант оказался больно прыткий, хотя, впрочем, и в розыскных бумагах особо подчеркивалось, что субъект этот, несмотря на молодость, непредсказуем в своих действиях и склонен к побегам.

Глава десятая. ТАШКЕНТ – ХЛЕБНЫЙ ГОРОД БАСМАЧЕЙ

Пыльная, прокалённая безжалостным азиатским солнцем, стиснутая высокими глинобитными стенами, улица старого Ташкента. Августовский оплавленный день клонится к закату. От духоты не спасает и тень, отбрасываемая справа на узкую пешеходную дорожку вдоль стены. Впереди Семёна, укутанная с ног до головы в чёрное одеяние, семенит, мелко перебирая невидимыми из-за длинного подола башмачками, женщина. На плече она несёт кувшин с водой, придерживая ношу ладонями изящных смуглых рук. Метрах в десяти перед женщиной, лениво переговариваясь, неспешно идут три дехканина в длиннополых полосатых халатах, подпоясанных кушаками. Навстречу им от поворота, поскрипывая огромными колёсами о мостовую, катится арба, в которую запряжён серый ослик. На плоском сиденье сгорбился, перевязанный верёвками, седоусый и меднолицый узбек в тюбетейке. Осликом правит, идя перед животным с поводьями в руках, молоденький узбек-солдат в выгоревшей гимнастёрке и с винтовкой, переброшенной за спину. Позади повозки, с карабином наперевес, шагает, напряженно всматриваясь в лица встречных, пожилой красноармеец с жёлтыми сержантскими лычками на малиновых тряпичных погонах. Едва арба миновала трёх дехкан, как началась беспорядочная стрельба. Пожилой сержант, споткнувшись, на какое-то мгновенье опёрся на дуло карабина и ткнулся лицом в пыльную мостовую. Парень бросил поводья и побежал вперед, на ходу пытаясь достать из-за спины винтовку, но, не пробежав и пяти метров,

упал, сражённый револьверными выстрелами. Опешивший было Семён, быстро пришёл в себя и вжался в крошечный выступ в стене. Мимо него прогромыхала арба. Теперь на ней сидели двое. Один из нападавших, разрезая путы, освобождал связанного. Двое других бежали за арбой, что-то яростно и радостно выкрикивая на птичьем своём языке. На Семёна никто из них даже и не глянул. Он постоял еще с минуту и устремился в противоположную сторону, мимо расстрелянных басмачами охранников, мимо лежавшей в луже собственной крови и растёкшейся из разбитого кувшина воды, женщины, убитой шальной пулей наповал. «Что-то везёт мне в последнее время на покойников», – нервно усмехнулся Семён, сворачивая в первый пустынный проулок.

Третьего дня, усталый и голодный, шел он из глинобитного Чимкента сюда по утопающим в песке шпалам прославленного Турксиба. Силы иссякали, жутко хотелось есть, Семён шарил горящими глазами по железнодорожным откосам, в надежде отыскать хоть чего-нибудь съестного, выброшенного из проезжающих иногда здесь пассажирских поездов. Однако ничего, кроме лоскутков обёрточной бумаги, блестящих и ржавых смятых пустых банок из-под консервов и тушёнки, да серых колких шаров верблюжьей колючки на волнистых жёлтых барханах, на глаза не попадалось. И вдруг впереди, в ложбинке между железнодорожной насыпью и нависающим над ней крутым песчаным козырьком, что-то обнадёживающе забелело. Семён ускорил шаг, а потом и побежал, перескакивая через две шпалы, тратя последние силы, и предвкушая скорый и сытный обед. Расстояние между Семёном и белеющим пакетом, видимо, случайно выпавшим из проходящего состава, резко сокращалось и вот уже можно различить, что же это за предмет и сослужит ли службу какую голодному бродяге. Не добежав метров десяти до места, Семён резко сбавил обороты и, осторожно, как бы крадучись, стал приближаться к лежащей в неестественной позе мёртвой обнажённой женщине. Лицо убитой было прикрыто густой, выпачканной в крови, белокурой прядью роскошных волос, молодое тело, как у брошенной куклы, переломлено пополам. Судя по тому, что зелёные блестящие мухи еще только делали первые пробные круги над трупом, можно было с уверенностью предположить, что женщину выбросили из поезда не позднее, чем сегодняшней ночью. Грохот не этого ли состава слышал под утро Семён, отдыхая и набираясь сил для дальнейшей ходьбы, в медленно остывающих складках недальних барханов? Минутная оторопь мгновенно улетучилась, когда парень мысленно посмотрел на себя со стороны. Это же верная вышка! Жертва, и убийца, застигнутый на месте преступления. Семён, ни разу не обернувшись на страшную находку, ускорил шаг, чутко прислушиваясь, не гудит ли где поблизости паровоз, чтобы вовремя и незамеченным укрыться в барханах.

Пошатываясь от голода и нестерпимой жажды, прошёл он почти весь день, миновал волнистые барханы и выбрался на местность с редкой, колючей травой и кривыми чахлыми саксаулами по горизонту. Идёт Семён по шпалам, глаза в знойной пелене, и вдруг – ну не мираж ли! – видит, метрах в пяти от насыпи, вытянувшись во всю свою богатырскую мощь, подогнув,– коленом в небо, левую ногу в кирзаче, спит, сладко похрапывая, мордастый обходчик. Рядом лежат в чехле два флажка, красный и жёлтый, два огромных гаечных ключа. Под головой вместо подушки – торбочка, наверняка с харчами. В метре от обходчика забит колышек, от него тянется верёвка к пасущемуся в колючках ишаку. Семён бесшумно подкрался и, сняв верёвку с колышка, привязал её на два узла к ноге обходчика, который всё также гром-

ко храпел. Зайдя тому за голову, Семён резко вырвал торбу из-под спящего и отбежал к насыпи. Обходчик подскочил и тут же упал, петля затянулась на ноге. Перепуганный ишак бросился в степь, волоча за собой отборно матерящегося железнодорожника. Давненько так вкусно не едал Семён: в торбе были большая лепёшка и баклага кислого молока.

В Ташкенте Семён обосновался в подворотнях вблизи галдящего на всю вселенную днём и пустого и необычайно тихого ночью восточного базара. Купить здесь можно было всё, украсть, подрезать поясную косынку с деньгами у степенных узбеков в роскошных халатах – тоже, ежели ты сам парень не промах, а чумазые и разноплемённые дружки все твои команды улавливают с полувзгляда. Шайка, которую организовал и возглавил после двух кровавых потасовок с претендентами на лидерство Семён, состояла из полутора десятков оборванцев и занималась тем, что тащила всё, что плохо и без присмотра лежит. Одно, но жесткое условие поставил вожак босякам: бедно одетых эвакуированных не обманывать, и ничего у них не красть. Зато уж отыгрывались ребята, когда совершали дерзкие налёты на фруктовые и овощные прилавки жирных, с заплывшими щелками глаз, и обладавших фантастической жадностью торговцев в цветных богатых чапанах и халатах. Катились по межрядным проходам полосатые, круглые арбузы и желтые овальные дыни, рассыпались и лопались спелые персики, абрикосы, груши и гранаты. Милиционеры, как подметил наблюдательный Семён, прибегали, свистя пронзительно в свои особенные свистки, как правило, в тот момент, когда у юных разбойников карманы были забиты до отказа всякими фруктами, а рассыпанные на земле и раскатившиеся по базару плоды были незаметно подобраны худенькими и стеснительными женщинами и подростками из эвакуированных. При виде синих с малиновым кантом фуражек, парнишки растворялись в толпе; лягавые терпеливо выслушивали сбивчивый и крикливый гвалт потерпевших, приглашали их пройти в отделение, что в двух кварталах от базара, чтобы там по всем правилам и согласно закону написать заявление и составить протокол о причинённом ущербе. Потерпевшие отмахивались пухлыми ручками: пока мы туда-сюда ходи, кто за товар смотреть будет, всё укради. Нет, начальник, мы тебе фрукта давай, ты бумага здеся пиши. Вора хватай, тюрьма сажай.

Милиционеры сразу делались строгими и неприступными: да как вы смеете власть подкупать! В кутузку захотели! А сами как бы ненароком поворачивались к взяточнику боком и указательным пальцем тыкали в глубокий карман своего галифе. Перепуганные и растерянные торговцы торопливо совали смятые рубли, куда было указано, и, кланяясь, пятились и ретировались к своим разорённым прилавкам.

До весны хозяйничала шайка на городском базаре, изредка вступая в драки с местными узбеками, однако хорошо организованная и бесстрашная в своей сплоченности, она всегда бивала трусоватых противников и отгоняла от хлебной и наваристой территории.

Однажды светлым апрельским вечером сидел Семён на шершавом корневище древнего саксаула у журчащего арыка. Базар, находящийся рядом, уже угомонился. Прохладный, освежающий воздух поднимался от поверхности желтоватой воды и растекался по окрестности. Тишина напитывалась ароматами близких садов. Умиротворение снизошло на раскалённую за день местность. Неожиданно до слуха парня донеслось с высоких тёмно-синих небес журавлиное протяжное курлыканье. Семён вскинул вихрастую

голову к небу. Там, в вышине, серый птичий клин тянулся по направлению к северу, к уже различимо мерцающей Полярной звезде.

С этого вечера Семён затосковал и засобирался в дорогу. Купил подходящий неброский костюм, аккуратный портфель-балетку под сменное бельишко, мыльные принадлежности. Только вот прибор для бритья не стал покупать: опасную складную бритву парень, как приобрел после бегства из Рубцовска на барахолке в Семипалатинске, так и не расставался с ней. Правда, и в дело ни разу не пускал, хотя передряги случались и в притонах с разношерстными блатняками, и на пёстрых и неизменно грязных азиатских вокзалах с быстроглазыми и плосколицыми аборигенами. Всегда обходился жилистыми кулаками, а в драках с сильными противниками применял удары головой. Этим сокрушительным и чисто зековским приемам Семёна еще в курганской тюрьме обучил один старый арестант. Видя, как мордуют деревенского парня камерные шакалы, старик выбрал минутку затишья, подозвал Семёна к себе, расспросил о родне, о Вишнёвке, а потом, хитро прищурясь, молвил, что, дескать, голова у тебя, парень большая и, по всей видимости, крепкая, а вот использовать это свое преимущество ты как-то всё не догадаешься. Показываю один раз, и старик ловко крутнулся на месте и лбом сбил Семёна с ног. Потом он в несколько слов объяснил парню, как сшибить головой врага в ближнем бою, как действовать, если противников двое или трое. Вечером этого же дня под одобрительный гул сокамерников разбросал Семён по углам ошалевших от неслыханного отпора шакалов. И отстали шестёрки от парня.

– Все, братцы, прощайте, уезжаю в Россию, – неслышно подошедший Семён обвел внимательным взглядом разноплеменных своих корешей, сидящих вокруг очага в глухом дворике с высоким глиняным забором и маленькой неприметной дверцей наружу. – С собой не зову – знаю, не пойдёте, от добра добра не ищут: здесь тепло и сытно. С местными держите ухо востро, но не поддавайтесь, иначе стопчут. С лягавыми старайтесь жить в мире, а жирных басмачей требушите, пусть учатся делиться, или страна у нас не рабоче-крестьянская? Так что, бывайте, ребята, к холодам, может, и вернусь.

Глава одиннадцатая. ОДЕССА, ПРИТОНЫ, КАРТЫ

Полтора года минули, как, бросив балетку под голову, уехал на третьей багажной полке общего вагона Семён из Ташкента. Уже отгремели салюты Победы, схлынула ошеломительная новизна мирной жизни. Устроиться легально где-нибудь на работу, такая крамольная при теперешней его жизни мысль ни разу не ворохнулась в сознании у парня. Он давно уже стал своим в том невидимом, параллельном мире, что давно и справедливо у рядовых обывателей окрещен как преступный. Приходилось Семёну подламывать ларьки и магазины, среди них попадались и ювелирные, опустошать кассы, но никогда не покушался он на личное имущество обыкновенных граждан. Брать у государства – это одно, обирать простых людей – совсем другое. Еще ему несказанно везло в картах, хоть в буру, хоть в «двадцать одно». Играли, как правило, на хатах, игра шла честно. За шулерство спокойно могли и на ножи поднять, и опустить. Законы в этом параллельном мире были написаны едва ли не в средние века, иерархия блюлась непререкаемая, если ты вор в законе, то ты умрёшь от голода у чужого изобильного стола, но не

притронешься к яствам, если тебя, конечно, не пригласит разделить с ним трапезу кто-нибудь достойный. Кусок хлеба, даже и с чёрной икрой, из поганых рук вор в законе не примет и под страхом смерти. Это как раз тот случай, когда авторитет превыше самой жизни. И для настоящего вора потеря авторитета страшнее во стократ, нежели для правоверного фанатика-коммуниста исключение его из пламенных рядов горячо любимой партии. Урки, жулики, ссучившиеся, красные шапочки, шестерки – вот далеко не полный перечень обитателей этого внегеографического мира. А были еще и – мужики, те, кто уходил на зону по так называемым бытовым статьям, частью вливаясь спустя какое-то время в мутный поток рецидивистов. Однако самыми бесправными и прокаженными в лагерях и тюрьмах, как главных составляющих и своеобразных питомниках преступного сообщества, были тогда пресловутые «враги народа». Это довольно-таки пестрая публика, намешанная из бывших яростных и несгибаемых ленинцев, троцкистов, сталинистов, власовцев и прочих фашистских прихвостней и шпионов, а также из бедолаг, попавших за колючую проволоку по любимой поговорке вождя: лес рубят – щепки летят. Их по закону революционного абсурда вымела из рядов строителей светлого будущего железная и неумолимая сталинская метла.

Никаких обрядов посвящения Семён не проходил, числил себя мужиком, но с ворами ладил, их понятия уважал, и к нему урки относились спокойно. За годы странствий заглядывал Семён и в первопрестольную; где проехал, а где и протопал ходкими ногами по освобожденным и лежащим в руинах городам средней полосы и юга России, побывал в Киеве. Но самое страшное впечатление оставил в душе у парня Симферополь. Казалось, в нём не осталось ни одного целого дома, он был практически стёрт с лица земли. Даже Севастополь, где по рассказам местных жителей шли наиболее ожесточённые и кровопролитные бои, сохранился лучше, здесь хотя бы некоторые здания уцелели, а наши разведчики, вырезав финками взвод немецких сапёров, не дали тем взорвать заминированный морской порт.

Послеобеденный лёгкий бриз гонит через прибрежные отмели белые барашки волн, однозвучно шелестит прибой. Семён, разувшись и сладко вытянув ноги к морю, сидит на тёплом песке. Вокруг него ходит, размахивая руками, черноволосый крепыш в остроносых лакированных туфлях и брюках клёш. По леву руку от приятелей покатое побережье бугрится пирсом одесского порта, над которым металлическими цаплями громоздятся гигантские портовые краны. У причала идёт погрузка-разгрузка сухогрузов и баржей. На рейде дымят пароходы торгового флота, как под советскими, красными, так и под флагами зарубежных стран. Восстановленный одесский порт имеет чин международного.

– Ты пойми, Илья, удача сама прёт к нам в руки. Мы при деньгах. С командой я договорился, люди проверенные. Завтра, как стемнеет, нас проведут на пароход. В трюме, в кочегарке, у них там есть специально оборудованное место, куда нас положат и дадут каждому по резиновой трубке для того, чтоб можно было дышать, когда присыплют сверху углём. Через день будем в нейтральных водах, там нас откопают. Отдышимся, перекусим, и та же процедура уже в Италии, где тоже есть верные люди, главное, чтоб деньги и цацки были, а они у нас, как ты знаешь, имеются. Так что, решай: либо здесь тебя сцапают и закатают в лагеря, либо в загранке будешь человеком, пусть и капиталистическим, зато свободным! – весело закончил крепыш.

– Да я уже всё давно решил, Коля, – Семён был серьёзен как никогда. –

Видишь ли, мне и здесь-то, в России, деревня чуть ли не каждую ночь снится: озеро наше, берёзовые заливы и колки, ребята, с которыми рос, родня. Ты знаешь, сколь у меня родни: половину Южного Урала, а теперь вот и на Алтае укореняется наша родова. Уедь я к твоим буржуям хвалёным, кто меня обратно пустит? Да я там со всеми этими цацками твоими сдохну от тоски. Нет, уж пусть лучше здесь, дома, что будет, то и будет. Бог не выдаст, свинья не съест. Я, Коленька, родину не меняю.

Крепыш в сердцах сплюнул на прибрежный, переливающийся перламутром от сбежавшей только что волны, песок и досадливо махнув напоследок мускулистой рукой, энергично зашагал в направлении порта.

Глава двенадцатая. ЗДРАВСТВУЙ, БРАТ!

Мартовская теплынь основательно подъела серые, отёкшие, ноздреватые сумёты по обочинам просёлка. Вокруг белоствольных, с розоватым налетом на тонких упругих ветках, нераспустившихся берёз уже вытаяла земля, и получалось, что деревья стояли как бы в живых и пахнущих осенней прелью лунках. Сама дорога подсохла, лишь кое-где, в широких колеях, в стоячей талой воде отражалось синее промытое небо, подёрнутое с краю алым закатом. Рядом тенькали невидимые весёлые синички; дорожная, мелкая галька в такт пичужьему пенью позвякивала под утеплёнными американскими ботинками на толстой каучуковой подошве, выигранными Семёном еще зимой в «буру» у порывистого армянина. Тогда, в Крыму, в одной белёной хате проигрался этот невесть как очутившийся среди матёрых уголовников торговец в пух и прах, до исподнего шёлкового белья. Поначалу карта ему шла, горка смятых купюр возвышалась на столе перед ним. Она была чуть меньше, чем та, что лежала в центре, на кону в банке. Всё складывалось так, что и эти деньги азартный армянин вот-вот сгребёт нервной волосатой рукой в свою сторону. Но карта Семёна перебила армянские козыри. Торговец буквально взвился над карточным столом, потом сник, успокоился и начал методично просаживать деньги, потом извлёк из внутреннего кармана дорогого костюма пригоршню драгоценностей, затем на стол были последовательно брошены роскошное пальто с каракулевым воротником, кашне и бобриковая легкая шапка, костюм, ботинки. Кончилось тем, что босой, щуплый горбоносый человечек, покрытый, как кольчугой, блестящими кольцами волос на груди и спине, ходил в кальсонах по накуренной комнате и выпрашивал у нелюдимых блатарей пистолет, чтобы пустить пулю в свой, в седых завитках, висок. Но ему накинули на плечи какую-то рваную дерюжку, дали стоптанные тапочки и вытолкали за двери в крымскую, усыпанную звёздами, декабрьскую ночь.

Семён поднялся на косогор, с которого открывался великолепный вид на весенние родимые окрестности. Дорога в две колеи спускалась на равнину и, петляя, бежала через берёзовые колки прямо к двум деревням, обнимающим красноватое от заката, подёрнутое лёгкой рябью, озеро. Вдохнув полной грудью родного, пахнущего талой водой воздуха, Семён свернул с просёлка и направился к рощице, где кривые вётлы перемешивались с нарядными расцветшими вербами. Здесь он решил дождаться сумерек, чтобы неузнанным войти в деревню.

Александр, или Шуретка, как ласково и по привычке с детства называли его близкие, только что вернулся из Скоблино, куда ездил договориться на завтра с печником перебрать некстати задымившую в горнице печь-лежанку. Он распряг Мухортого, набросил на взмыленную спину тому сухое одеяльце, и, проводив коня в стойло, вышел во двор.

– Шуретка, иди на два слова, – негромко позвала его от калитки тетка Лизавета, в конце войны вернувшаяся с Алтая в родную деревню.

– Случилось чего, што ли, тетушка?

– Ступай до Василия, да только тихо. Семён там. Пришёл, откуль неведомо. Вестимо, скрывается он. Велел тебя кликнуть.

– Спасибо, тётушка, бегу!

И Александр, ломая сапогами схватившийся в лужах ледок, заторопился на соседнюю, вторую от озера, улицу, где в добротной, но тесной избушке жил Василий с молодой женой Катей.

– Здравствуй, брат! Живой, целый, ну и, слава Богу. – Александр, едва переступив порог, стиснул в железных своих объятиях Семёна. – Это ж сколь мы не видались? Да ведь шесть лет! Ого-гошеньки! Мы с Василием уже почти два года, как с войны пришли. Женатые оба теперь. А ты-то как, откуда?

– Да я, можно сказать, проездом. Истосковался по вам всем. Думал заночевать, а утром раненько уйти, да, видимо, не получится. Шёл-то я улицей, надеялся, стемнело, никого не встречу. Но сдаётся мне, одна бабёночка, обличьем вроде знакома, а фамилии не припомню, так вот она, когда столкнулась со мной нос к носу, так зыркнула, так блеснули глазки её в сумерках, что лучше мне здесь не задерживаться до утра, а то неровен час, облаву объявят. Я ведь уже шестой год, как в бегах.

Василий, старший из сродных братьев, пригласил Александра и Семёна к накрытому столу, где среди отваренной картошки в мундирах, солёной капусты, шматков розоватого сала и ломтей ржаного хлеба стояла, запечатанная тёмным сургучом, поллитровая бутылка водки, припасённая Василием для такого вот именно случая. Братья сдвинули гранёные стаканы над столом и, встав, выпили до дна. Похрустели капусткой, закусили.

– Теперь-то ты, брат, куда путь держишь?

– На восток, на Алтай постараюсь пробраться. Там Мария, она ведь тоже без вестей обо мне.

Братья, прислушиваясь к редкому, ленивому тявканью собак в уснувшей деревне, проговорили до полуночи. Но лишь настенные ходики пробили двенадцатый удар, Семён поднялся из-за стола, взял с вешалки свою двубортную тужурку-москвичку, оделся, крепко обнял поочерёдно Василия и Александра, и, сказав, чтоб не провожали, вышел в сени. Здесь он нахлобучил на лоб, почти до самых повлажневших не ко времени глаз, шапку и исчез в ночи.

Светало, когда Семён, одолев двадцать вёрст, вышел на Куртамышский большак. Еще каких-то три километра и – вот она станция Юргамыш, где, если даже и не останавливаются, то всегда притормаживают что пассажирские поезда, что товарняки. И тут парень сначала почувствовал на себе чьи-то пристальные взгляды, а потом, еще даже не обернувшись, услышал мягкий на земляной дороге топот конских копыт. Семён повернул голову и увидел выезжающих с просёлка на большак двух верховых в милицейских синих шапках и длиннополых, подоткнутых к портупеям, шинелях. Кони шли бодрой переступью, вот-вот верховые нагонят, уходить куда-либо с большака поздно: разом настигнут, собьют лошадями, и – прощай моя воля! Милици-

онеры по-хозяйски подъехали к Семёну с двух сторон, так, что он оказался между ними, посередине. Молодые весёлые ребята, скорее всего даже ровесники его, были так близко, что в ноздри ударил острый запах дёгтя от смазанных накануне сапог, перемешанный с характерным запахом разгорячённых коней.

– Откуда и куда в такую рань? Предъявите ваши документы! – ровным голосом произнёс тот из служивых, что был крупнее. И было трудно понять: просто ли это дежурная проверка, либо же им что-то уже известно о Семёне. Поэтому раздумывать стало некогда. Семён разбросил руки, пружинисто подпрыгнул, поймал не ожидавших подобных действий милиционеров за тугие воротники и с усилием свёл руки над собой. Милиционеры звонко стукнулись лбами, шапки слетели наземь, а затем и они сами грузно сползли с сёдел. Семён оттащил с дороги в кусты обесчувственных противников, одного на правую, другого на левую обочину. Там крепко связал им руки и ноги брючными ремнями, поймал лошадей, вынул у них из пасти удила и отогнал пастись на вытаявшие проталины. На всё это ушло минут восемь. Большак по-прежнему оставался пустынным. Почти бегом достиг Семён станции. Наудачу на путях попыхивал под парами товарный состав. Семён пробежал вдоль вагонов, нашел один с открытой платформой, только взобрался и пристроился в уголке, где меньше задувало, как состав тронулся на восток, в сторону Кургана.

Утром, чуть свет, вывел Александр запряженного в бричку Мухортого и уже занёс ногу, чтобы влезть на сиденье, как его окликнули. Шуретка обернулся: по тропинке рядом с разбитой уличной дорогой к нему спешил участковый, придерживая левой рукой полевую кожаную сумку сбоку синей шинели.

– Доброе утро, Александр Ефимыч. Давненько не виделись. А тут, иду мимо, гляжу, сбираешься раненько куда-то ехать. Может, по дороге нам?

– Не знаю, мне надобно в Скоблино, печника привести, печь худая, дымит. – Александр беззаботно скосился в сторону участкового.

– Да нет, мне в Таловку надо бы. Живешь-то хорошо? Родня как? Семёна-то Лукича когда видывал? Говорят, бывал он у вас здесь недавно? – как бы между прочим бросил пробный, неуклюжий камешек милиционер.

– Что ты, Яков Сидорыч! Как простились мы с Сёмой в Юргамыше осенью 41-го, когда уходил я на фронт, так, почитай, уже шесть годков ни слуху от него, ни духу. Присаживайся в бричку, или уж не обессудь, тороплюсь я, печник ждать не будет.

И Александр, взяв в одну руку вожжи, в другую длинный ивовый прут, стегнул Мухортого. И тот резво зарысил от раздумчиво покачивающего головой участкового.

Глава тринадцатая. СЕНОКОСНАЯ ПОРА НА РУДНОМ АЛТАЕ

Паровоз, пыхтя, дал протяжный гудок, и пассажирские вагоны, лязгнув, остановились. Старая кержацкая деревенька Бутаково томилась в июльском знойном мареве, лежа в межгорье, по обе стороны железнодорожной насыпи. Семён спрыгнул на низкий перрон, сбитый из листвяжного теса, и огляделся. Было малолюдно, это и хорошо, хотя в неприветливой деревне, где, если и дадут тебе в жаркий полдень напиться студёной водички, то ковшик выбросят за ограду следом, у Семёна знакомцев не водилось. Но, учась

в техникуме, приезжал парень с группой студентов в этот колхоз, в двадцати пяти вёрстах от Риддера, на уборку свеклы и моркови. Жили тогда ребята в бревенчатом клубе; с местной, неразговорчивой и застенчивой молодежью городские, разбитные студенты так и не нашли общего языка. Назревали неизбежные стычки, но всё обошлось, потому что вскоре студентов отозвали в город: их молодые и свежие силы понадобились для работы в шахте. А вот обычай этот суровый, когда на тебя смотрят даже не как на просто растение, а как на сорняк, и взгляд, направленный исподлобья, таит затаённое в глубине презрение и превосходство кондового старовера по отношению к отошедшему от истинной веры никонианину, этот обычай Семёну запомнился. Хотел как-то он сказать вечно насупленному клубному сторожу, с бородой до пупа, что вы, мол, носы-то воротите, мы одного корня, просто вы – алтайские самодуры и федосеевцы, а я уральский двоедан. Похотел, да раздумал, к чему набиваться в родню, да и не растопить разговорами эти синие льдинки холодных цепких взглядов из-под кустистых бровей. И потом, какой ты, Сёма, блюститель древлего благочестия, когда обряды и обычаи тебе известны понаслышке, а школьные годы твои выпали на самый, что ни на есть, адов пожар жидовского мракобесия, их зловещего натиска на русское православие! Да, истовые старухи и несгибаемые, спокойные старики не отступили ни на йоту, порой ценой жизни сберегали заветы и предания, но их считанные ряды, тогда как осатаневших легионы, и правит ими мистическая, покоящаяся в мраморном саркофаге на заглавной площади советского государства, не погребенная мумия. И перед ней отчитываются, на нее равняют свою разрушительную поступь разнокалиберные вожди и вождята.

Скорым шагом Семён миновал деревню. Вот и поскотина. Теперь по каменистой дороге, повторяющей все изгибы таёжной, прозрачной и всегда студёной Бутачихи, вверх, в ущелье, где на карнизах скал растут могучие сосны-одиночки и кудрявые, бесстрашные березки, а тесные распадки забиты островерхими пирамидками темно-зелёных пихт. Обогнув урочище Марьиной речки, парень вскарабкался на заросшее шелестящим осинником седёлко, что круто переходит в трёхглавую, в зазубринах остроконечных скал, вершину горы Теремка. Отсюда, с высоты, отчётливо видны крыши, огороды и единственная улица селеньица Большая Луговатка. Где-то здесь, как объяснили Василий и Александр, живёт крепкая кержацкая семья Поляковых. За их младшим сыном Иваном, фронтовиком и инвалидом войны, а также одногодком Семёна, вот уже год как замужем сестра Мария.

Последние лучи заходящего солнца еще золотили издырявленные ветрами скалы Вострушки. Здесь же, в долине, уже легла через всю деревню широкая, свежая и прохладная тень. Мария весело гремела ведрами, управляя вернувшихся с лугов коров. Настроение было такое, что хотелось петь и плясать. Причины женщина не доискивалась, коль хорошо на душе, так и ладно. Мария процедила парное молочко, сполоснула посуду, накрошила в молочные ополоски разваренных картофелин, намяла тюрю и понесла Дозору, радостно вставшему на цепи на задние, мощные и упругие лапы. Вывалив в миску похлёбку, Мария развернулась и пошла по выложенной плоским скальником дорожке к крыльцу, но тут ее остановил яростный собачий лай. Она поворотила голову и, обмерев, душа ее, сначала рухнула куда-то вниз живота, и здесь же, восторженно и ликуя, вознеслась вверх. Не помня себя, Мария бросилась к запертой калитке, распахнула её и без чувств упала на грудь возмужавшего брата.

– Ну, что ты, Машенька, не плачь. Вот мы и свиделись, – успокаивал растроганный Семён сестру. – Веди, хозяйка, в дом, а то вон уже соседи из-за заборов выглядывают. Мне же лишние глаза ни к чему. Да и на ваше крыльцо какой-то свирепый бородач вышел, и вид у него такой, будто раздумывает: сейчас сбегать за топором и вилами, али погодить. Никак это свёкор твой, сестрёнка. Пойдём, познакомишь. Меня представь так: что вот, мол, брат мой, с родины приехал проведать, как живу, ну, и погостить маленько. Новые родственники-то хоть слышали обо мне чего? Так, краем уха, и не знают, что я в розыске. Это хорошо. Пусть, Мария, всё так и остается. Я побуду у вас, осмотрюсь, а там и решу, как быть дальше.

Семён пропустил сестру вперед, и следом, степенно и не торопясь, поднялся по устелённым половичками широким ступеням на высокое и просторное крыльцо с резными перилами.

– Папа – это Семён, мой младший брат с Урала, – почему-то заробев, промолвила Мария. И отступила в сторонку, к стоящей в бревенчатом, побелённом простенке узенькой лавке.

– Добрый вечер и крепкого здоровья вам, вот приехал к сестренке. Не прогоните? – попробовал пошутить слегка потерявшийся под изучающим, показавшимся парню недружелюбным, взглядом старообрядца Семён. – Да вы не беспокойтесь, если вам устав не позволяет, и посуду боитесь замарать, так я могу пожить и в баньке. Буду всегда чистым и не на глазах.

– Не ершись, парень, – басом, с расстановкой, произнес суровый дед. – Мария, проводи гостя к рукомойнику, пусть ополоснётся с дороги. И давайте в дом. Там на столе, прикрытый рушником хлебушко испечённый, еще должон горячим быть, да парным молочком попотчуй. А я покуль баню затоплю. В аккурат к возвращению Ванюши из Риддера поспеет, вот и попаримся.

После жаркой баньки вечерять сели в ограде, за круглый, с выгнутыми ножками стол под раскидистой, усыпанной зелёными ранетками яблонькой. Григорий Григорьич в честь гостя выставил графин доброй, из погребка, настоявшейся медовухи.

– Отведай, Сёма, нашего алтайского целебного напитка. Оцени. Но сразу говорю, будь с ним начеку, ежели навыка не имеешь, – дед лукаво ухмыльнулся в седую окладистую бороду. – Не встречал я покуль мужика, кто бы устоял апосля моей-то медовушки. Проверим, каков будешь ты.

Выпили. Напиток Семёну понравился, тягучий, кисловато-терпкий, отдающий медком, он благостно растёкся по телу, но в голову не ударил. Наоборот, сознание, казалось, прояснело, мысли преобразились. Сидящий по праву руку Иван, большелобый, с ранними залысинами муж Марии, понимающе глянул на Семёна и предложил еще по чарочке. Женщины, Мария и тетка Авдотья, мать Ивана, отказались, а мужики чокнулись и выпили еще по стаканчику.

– А я ведь, Ваня, нонче устыдил-таки Митюху Бутакана, носом ткнул горлохвата, – Григорий Григорьич весело откинулся на высокую спинку ладно сработанного стула. – Я тебе не сказывал, как удумал одну штучку, штоб разоблачить его воровок-пчёл. Вот и слушай. Вчерась, на утренней зорьке, насыпал я на порожки летков беленькой мучки, а то ведь, вижу, близь ульев в траве битой пчёлки изрядно. Наши-то смирные, работящие. Знамо дело, повадились воровитые, со стороны, а откуль, как не от Митюхи, здесь и лёту через горочку, да и они, как и сам хозяин, на даровое падки. Я уже и прежде схватывался с Митюхой: угомони, мол, своих диверсантов, таскают они мой медок; пчёлку, што за свое вступается, не хочет отдавать, насмерть бьют. Так

вот. Как отметил я мучкой-то свои ульи, живо оседлал Серка и к Митюхе. А он как раз на пчельнике меж колодок прохаживается, довольнёхонький, рожа лоснится. Я к нему: давай, мол, сообща будем вести наблюдение, как твои воровки мой мёд сюда притаскивают. Он взвился свечкой: чё ты, старый, напраслину на моих тружениц наводишь, проваливай отсюдова, покуль собак не спустил. А я в ответ: охолони, Митя, пойдём, в тенечек присядем, всё обскажу и удостоверю. А потом, говорю, сам решай, чем рассчитываться будешь. И выложил Митюхе про свою удумку. Он сначала взъерепенился, растопорщился на весь тачок, даже сват его, Митюхин-то, из дому прибёг, чё это у вас, дескать, за мировая война здесь открылась, рёв стоит на всю округу. Я и его просветил. Опнулись мы чуток в тенёчке, да и вышли на тачок, глянуть на летки: чисты они, аль замараны мукой. И што вы думаете, не только на дощатых порожках белые полосы сплошь да рядом, а и подлетающая пчела через одну, как вывалянная в мушице. Сошлись на том, што осенью доставит мне Митюха флягу мёда, погасить ущерб, нанесённый его диверсантами. А вот как отвадить Митюхиных пчёл пакостить на моём тачке, здесь надобно крепко подумать.

Семёну легли на сердце добродушие, с нарочитой суровостью, и житейская сметка Григория Григорьича, молчаливость и умные внимательные глаза Ивана, да и само это нечаянное застолье в таёжной глуши, с соловьями в ближних зарослях черемухи и щедрой на обещания многих и безоблачных лет кукушкой в пихтаче на той стороне говорливой Луговатки. К тому времени, когда настала минута идти спать, парень уже знал, что он среди своих, и на душе было тихо и благостно, наверное, впервые за многие годы. Однако подняться самостоятельно из-за стола Семён, недоумевая и посмеиваясь над своей беспомощностью, не смог. Ноги, его ходкие, прошедшие пешком пол-России, ноженьки, стали бессильными и невесомыми. Больше того, было ощущение, что они вот-вот сплетутся, перекрутятся в такой узел, что и не развяжешь! Ай да медовуха! Опираясь на костистые, выступающие плечи старика и поддерживаемый Иваном, Семён добрался до приготовленной для гостя в горнице деревянной кровати. Григорий Григорьич, молвив, что, дескать, к утру ноги будут как новенькие, и пожелав добрых снов, ушел, а Иван присел на краешек постели и они разговорились.

Еще за столом Семён приметил, что новоиспеченный зять и чарку, и ложку держал левой рукой. Правая, пальцы которой были прижаты к ладони, покоилась на столе. Семён с расспросами не лез. А сейчас Иван сам, неторопливо и как-то обыденно даже, поведал шурину, как был призван и направлен на краткосрочные офицерские курсы на самую южную точку Советского Союза – в гарнизон Кушки; как оттуда попал в страшную мясорубку Курской дуги, в пехоту, командиром взвода, а уже через неделю боев командовал ротой, «потому что людей выбивало ежедневно и ежечасно столько, что и до сих пор ни единой ноченьки не сплю спокойно. Чуть больше месяца отвоевал, фрица тогда переломили и погнали, и вот, в одной из атак, мы уже почти ворвались в окопы, чтоб там схватиться в рукопашной, как меня подрезала очередь. Одна пуля расщепила приклад моего автомата, а две впились в правую руку, выше кисти и под локоть. Приклад, я так думаю, спас мне жизнь: та пуля шла точно в печёнку. Я еще по инерции пробежал несколько метров и выронил разбитый автомат, вот тогда-то мне и стало по-настоящему нестерпимо больно. Санитары тут же перевязали меня, а в санбат дошёл своими ногами, крови-то не успел много потерять. Пули извлекли, но рука от локтя теперь бесполезная, все нервы перебиты. Видишь, и

пальцы-то как сжимали автомат, так и сжимают, скрюченные, до сих пор. Ну ничего, я освоился левой, как правой всё делать. Даже пишу, только вот интересный наклон букв – в другую сторону, чем если бы писал правой. Я, кстати, еще в войну выучился на бухгалтера, и теперь работаю на горном комбинате здесь, в Риддере. Обещали комнату дать нам с Марией. Тогда проще будет, а то ведь я неделю там, она здесь, у стариков живет. Как определимся с жильем, заберу в город. Уже из интерната спрашивали, когда Мария Лукинична вернется на работу, ждут её там».

Семёна разбудил птичий гомон, лившийся в раскрытые окошки, выходящие в огород. Парень оторвал голову от подушки, сел на постели и стал смотреть на гору, что круто начиналась сразу за изгородью. Было такое впечатление, что гора живая и приветливая именно многоголосием певчих пернатых. Подумалось: гора-то поющая. Как, впрочем, и другие лесистые сопки вокруг просыпающейся деревеньки. Неслышно вошел в горницу Григорий Григорьич.

– Как самочувствие, Сёма? Крепко ли спалось?

– Доброе утро! Я вроде как вновь родился. Такая лёгкость и сила. Гору бы свернул!

– Вот-вот, это ты верно сказываешь. Там Авдотьюшка уже на стол собрала, подкрепимся и – на покос. Покуль доберёмся, сено в валках подсохнет, в самый раз копны ставить. Ванюша на ключ побежал, он завсегда студёной водичкой с утра освежается. Коли што, дак тропка одна, от бани и в низа, отыскать по глазам любому.

Пока парни плескались, дед запряг Серка в оплетённый упругой лозой ивняка, с высокими бортами ходок, и поставил лошадь у ворот на улице. Позавтракали. И стали усаживаться на повозку. Григорий Григорьич взялся за вожжи, и в это время в ограде напротив скрипнула калитка и на дорогу выступила живописная старушка в старомодном сарафане поверх шерстяной кофты и повязанная тёмным платком по самые брови. Однако не одежка обращала на себя внимание: старушка вокруг пояса была обвешана десятком миниатюрных плетёных корзинок. Она кивнула в полупоклоне соседям и уже было повернулась идти, как вышедшая проводить мужиков Авдотья брякнула через улицу: «Хавроньюшка, ты куды в этакую рань-то?». Старушка вмиг опала с лица и в сердцах бросила: «На кудыкину гору, кукушек щупать. Ох, Дуня, пошто дороженьку-то мне закудыкала?». И старушка, поворотясь, исчезла в своей ограде. Григорий Григорьич и Иван заулыбались, а Авдотья сокрушенно обронила: «Чё же я, старая, в толк не возьму – говорить-то надобно: далеко ли, Хавронья, путь держишь, а я опеть на те же грабли да лаптями брякнулась! И оставила без ягодок и целебных травок соседушку». Просмеявшийся Иван объяснил Семену, что эта старушка известная на весь околоток травница и ведунья, даже и риддерские горняки тайно лечатся у нее, однако есть у знахарки такая вот странность. И теперь уж сегодня она никуда не пойдёт и ничегошеньки с земельки не возьмёт, хоть ты рассыпь у порога вагон ягод и грибов, ни самой малости не подымет и не уложит в свои заветные, отдельные для каждого цветочка и клубники, малинки ли плетеные, изящные корзиночки. Потому как – дорога и добыча закудыканы.

Обогнув выступающий в лощину и заросший непролазной акацией утёс, ходок въехал на широкую, овальную поляну, подрезанную с одной стороны прозрачной Луговаткой. Правильными рядами от предгорных черёмуховых

зарослей к речному, обрывистому берегу уходили пахучие валки скошенного вручную сена, перечёркнутые лишь двумя пыльными колеями петляющей дальше в сопки просёлочной дороги. Григорий Григорьич убрал ходок под гору, в тень, вывел из оглобель коня, спутал передние ноги и пустил того пастись к реке; окликнул Ивана и Семёна, и они по довольно-таки просторному, утоптанному коридору углубились в дебри. Там, в своеобразном древесном гроте, зелёные своды которого переплетены черёмуховыми ветвями со свисающими с них кистями бурой, неспелой еще ягоды, вокруг толстого, с обрубленными понизу сучьями, потрескавшегося от возраста ствола, черенками вниз стояли вилы и грабли. Мужики взяли этот первейший на уборке инструмент и вернулись на луг, где сразу же принялись сгребать подсохшее сено и складывать навильниками в копны. Семён, отвлекшись на минутку, невольно залюбовался, как сноровисто управлялся Иван с сенными пластами. Гладкий черенок вил был накрепко примотан холщовой тряпицей к покалеченной правой руке, теперь и вилы, и рука составляли как бы одно целое. Левой рукой Иван давал направление вилам, после чего рычагом правой подворачивал внушительный пласт и забрасывал его на закругляющуюся копёшку. Мария уже сходила на речку, принесла ведро холодной воды и, накрыв от слепней и оводов чистой холстинкой, поставила его под ходок, в место, недосягаемое для солнечных жарких лучей в течение всего долгого июльского дня, а сама, выбрав лёгкие грабельки с деревянными зубьями, присоединилась к мужчинам.

К обеду вся поляна бугрилась частыми копёшками. Сухое, светло-зелёное с жёлтыми соцветьями пижмы, красно-фиолетовыми кистями клевера и розовыми подвяленными колокольчиками цветков кипрея сено хорошо бралось пластами, не рассыпалось на вилах; сгребать и складывать его мужикам было просто в охотку. Мария шла следом и подчищала отаву, собирая редкие сенные осыпи и клочки в аккуратные кучки. Потом, когда дед поймает Серка и приладит его в сделанные из двух слег с поперечными жердями волокуши, эти кучки также будут подобраны и найдут себе место в круглых и высоких копнах.

Пообедали, когда солнечный диск упёрся в зенит, прямо перпендикулярно поляне. Смотреть на него было невмоготу. Семён, прикрыв глаза, подумал, что это уже вовсе и не солнце, а открытый зев вселенской печи, через который вытекает расплавленная лава и сжигает все живое на земле. Но тут тебе не Средняя Азия, можно и уползти в тень, под черёмуху! Так что живем, Сёма! Через часок жара спадет, и дометаем оставшиеся копны. Хорошо-то как, так бы и убирал это скошенное алтайское сено всю жизнь, и ничего, ну ничегошеньки не надо больше! Сестра рядом, и по всему видно, что счастливы они с Иваном, поди уж скоро и детишки пойдут. А я бы деду на пасеке помогал, да и скотину управить умею. Вялые мысли слипались, как дремотные глаза.

– Гляньте-ка, никак участковый верхом на Карюхе скачет,– издалека, сквозь дрёму, услыхал Семён голос Ивана. – А едет-то, как пестик в ступе толчется. Уж на что Карюха смирная да покладистая, а, гляди ж ты, и с ней совладать не может. Вот что значит – городской.

Пока Иван выдавал эту несвойственную ему по колкости тираду, Семён успел откатиться от расстеленного на манер походного стола старого одеяла с остатками недоеденной снеди под стоящий рядом ходок и замер там, прикинувшись уснувшим после сытного обеда. Уходить в тайгу было поздно, всадник в выгоревшей гимнастерке, в милицейской фуражке с ре-

мешком через подбородок и кобурой на боку уже останавливал возле покосников лошадь.

– Хлеб с сахаром вам и доброго здравия! Как нынче сено? На зиму-то хватит скотине, Григорий Григорьич? – понятно было, что служивый, бессознательно или же с умыслом, хотел быть своим, и для этого даже пробовал упростить речь.

– И тебе, Афанасий, чаю с мёдом! Што касаемо сена, мы только первые копны складаем. Трава нонче отменная. До сеногнойных дожжей поспеем убрать, будем зиму с молоком. А ты, далёко ли путь дёржишь?

– Да вот надо бы заглянуть на Марьину речку, к Варфоломеичу. Медведь у него шалил, говорит, три корпуса с пчелами раскурочил, а пасека-то колхозная, осмотрю, и акт составлю, чтоб всё по закону. А ну как вредительство! Мне же первому головы не сносить! Так-то, Григорий Григорьич! Смотрю, вы гуртом сегодня на покосе. И молодые при деле, а под телегой-то кто, что-то не признаю?

– Шурин, Марьин брат. Наведался к нам погостить, а в страду, известно, лишних рук не бывает. Да, видно, пристал парень с непривычки, сморило, пущай отдохнёт. Жара схлынет, у нас работы, сам вишь сколь.

– Ну, бывайте! Но-о, Карюха, но-о, заветная моя! – участковый, подпрыгивая в седле не в ход конской рыси, ускакал, поднимая фонтанчики пыли, к расщелью лесистых утёсов.

Вечером, когда возвратились с покоса, Семён выбрал минутку и сообщил сестре, что, вот, мол, «картина опять вырисовывается не ахти какая. А никудышность её в том, что даже, если сегодня участковый, выпив медовушки с Варфоломеичем, останется ночевать на пасеке, то уж назавтра-то точно милицейская труба или долг ищейки призовёт его обратно на службу. И пусть он лица моего не разглядел, я нарочно отвернулся и отполз так, чтобы голова находилась за ведёрком с водой, но справки навести о приезжем незнакомце – это святой долг и почетная обязанность каждого, даже самого зачуханного, лягавого. Так что, Мария, делать нечего, надо уходить. Вижу, новая родня у нас хорошая, ты им скажи, что, мол, брат вспомнил о каких-то неотлагательных делах своих и вынужден был срочно, не попрощавшись, иначе опоздает на московский поезд, уйти отсюда прямо на вокзал. Или уж, не знаю, не говори ничего. Прощай, сестренка, даст Бог, свидимся еще».

– Мария, зови брата вечерять, мне не по глазам, сутемень, вишь ли, – настрой у свекра, ополоснувшегося только что тёплой, нагретой за день в кадке водой и смывшего всю сенную труху и былинки с тела, был благостным. – Мать сготовила, как вчерась, под яблонькой. Али Сёма с Ванюшей на ключ убёгли? Ох, молодёжь, молодёжь. Да на тебе, девонька, пошто лица-то нет? – с тревогой в голосе обратился Григорий Григорьич к вышедшей из тени сарая Марии. – Стряслось ли чего?

– Простите меня, папа! – Мария заплакала и прижала кончики белого ситцевого платочка к глазам. – Брат мой в розыске, его вся милиция Советского Союза ищет.

И Мария сбивчиво, но внятно, рассказала Григорию Григорьичу и подошедшему Ивану всё об изломанной судьбе Семёна. Иван, как только она дошла в рассказе до приезда брата сюда и, не выдержав, вновь разрыдалась, подошёл к жене и сочувственно обнял её. Григорий Григорьич принял известие о том, что новый родственник беглый арестант, спокойно. Помолчал. А потом негромко, но твердо и с расстановкой молвил: «Зря парень ушёл.

Мы бы его и здесь, подальше в тайге, на Убинских перекатах так укрыли, што ни единой ищейки не сыскать. И паспорт такой бы выправили, што хоть к самому Сталину на приём, без очереди определят. Э-х-хе! Сёмушка ты, Сёма, голова бедовая...».

Глава четырнадцатая. ДОНЕЦКАЯ ЗАПАДНЯ

По многолюдной улице осеннего шахтерского Донецка Семён шел вразвалочку, спешить ему было некуда. Новый кожаный реглан, бостоновый тёмно-синий костюм, лакированные колхики-туфли. Накануне он на весёлой хавире удачно откатал в «двадцать одно», теперь денек-другой освежиться и – на юга, к незамерзающему морю, к закрытию бархатного сезона поспеть, на зиму где-нибудь среди крымских олеандров гнездышко свить под боком у чернобровой хохлушки. А что? Бабки есть, да и отвернуть угол на балочке-базаре у барыги-спекулянта дело минутное. Парень победно поглядывал на встречных прохожих: женщины с озабоченными, как бы стёртыми лицами, сосредоточенные мужчины, предстоящая зима уже явственно проступала не только в сиротливых облетевших тополях и серых от сумрачного неба стенах каменных зданий, но и на лицах спешащих куда-то людей.

Наверное, эта вот беззаботность и фраерская расслабуха и стали причиной того, что удар по голове рукояткой пистолета Семён пропустил. Однако на ногах он устоял и даже успел обернуть лицо к своему обидчику, парню примерно его лет, в элегантном длиннополом плаще и фетровой шляпе. И тут же на темечко Семёну обрушился еще один удар, и тоже рукояткой ТТ, но с другой стороны. Ноги подкосились, Семён упал навзничь, но сознание не потерял. Он видел, как над ним склонились двое, причем и второй был в шляпе и плаще, вот разве что выражением скуластой физиономии свирепей. Они подняли безвольные ватные руки Семёна, соединили кисти и щелкнули наручниками. После этого оперы, а это были, безусловно, они, подхватили задержанного под мышки и поволокли через толпу зевак к стоящей в сторонке машине.

– Ну что, Илья Васильевич, будем рассказывать, с кем вскрывали кассу ремонтно-механического завода? – моложавый следователь, сидящий за столом напротив Семёна, повертел в руках потрепанный паспорт задержанного, отложил его и поднялся со стула. – Тебя мы взяли тёпленьким, подельников твоих тоже возьмем. Что ж это вы у трудового народа кровное отнимаете? Вон какой мордоворот, шел бы работать, глядишь, и в передовики бы выбился!

Следователь не спеша прохаживался по кабинету, был он явно в настроении и, наверное, поэтому склонен к плоскому философствованию.

– Начальник, ты бы распорядился браслетики с меня снять, руки так затекли, спасу нет, – Семён поерзал на прикрученном к полу табурете.

– Нет, гражданин задержанный, не распоряжусь. Ты ведь у нас непредсказуемый. Да, Илько? – следователь зашел как раз за спину Семёну. Парень теперь слышал только вкрадчивый, убаюкивающий голос да равномерное поскрипывание портупеи и яловых сапог. Некстати подумалось, – под такую монотонную болтовню хорошо погружаться в сладкий сон где-нибудь в мягкой постели. И вдруг резко, как ослепительная молния в кромешной ночи, безнадежно и обрывисто, как горный камнепад: – Всё, Се-

мён Лукич, добегался! Теперь ты наш! Сколько верёвочки ни виться, а конец всегда у нас!

Следователь хохотнул и, потирая потные ладони, вернулся за стол, открыл ящичек и выложил серую папку, перечеркнутую по диагонали жирной красной линией. Линия эта предупреждала, что тот, чья биография хранится здесь, опасен своей склонностью к побегам. Всего-то три дня, как взяли, а гляди ты, уже не только докопались, а и личное дело из Москвы успели пригнать. Да-а, работает система, не зря лягавые свой хлебушко с маслицем жуют. Семён, опешивший в первые секунды, сейчас подобрался и неожиданно даже для себя, успокоился и мысленно махнул рукой: будь что будет!

Суд проходил закрытым. Семёна, как привели в зал в наручниках, так и оставили в них до зачитывания приговора. По совокупности прежних «заслуг», побегов и взлома заводской кассы Семён был осужден на 20 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительных трудовых лагерях; и первым этапом, также в наручниках, отправлен в старую, мрачную, похожую на средневековую рыцарскую крепость, с каменными стенами метровой толщины, харьковскую тюрьму ждать своего покупателя.

Глава пятнадцатая. ПЕСНИ ХАРЬКОВСКОЙ ТЮРЬМЫ

Просторной, с тремя зарешеченными окнами-амбразурами и двумя рядами двухъярусных нар, а также каменным мешком-карцером в глубине, была камера, в которой Семён перекантовал зимнюю стужу в ожидании, когда румяные краснопогонники-покупатели наконец снизойдут до него. Почти каждую неделю кого-нибудь из сокамерников выгребали на этап и определяли на исправление в недальние лагеря. Но красная жирная полоса в личном деле Семёна была подобна невидимой, зловещей стене, за которую покупателям даже и заглядывать-то не хотелось. Этот неуправляемый арестант, как правильно думали они, ничего, кроме подмоченных показателей, им не даст, да и зачем возиться, когда можно эту серую папку небрежно и брезгливо отбросить в сторону, благо выбирать есть из чего.

Но жизнь, она везде жизнь. Семён и здесь неплохо отмазался в карты. Харч, курево, тряпки – все это под рукой, бери, не хочу. Да и народ подобрался в основном подходящий: у окна, недалеко от Семёна скучал задумчивый вор в законе, около – неспешная свита; по вызову подлетали и, получив указания, исчезали шестерки с бегающими беспощадными глазками; мужики кучковались по своим углам.

– Давай, дядя, делись с парнями, здесь тебе не твое министерство, – услышал Семён шум на шконке у дверей и обернулся от окна, в котором с любопытством только что разглядывал крыши и окна жилых домов за тюремной, высокой, с кольцами колючей проволоки поверху, оградой. Тюрьма располагалась в черте города. – Ты, врубись, дядя, хата у кума – это не курорт, и хозяева здесь – мы. Это там, на воле, ты был замминистра. Да наслышаны мы, решил стибрить у родного государства ткани. И подумайте только, люди добрые, не какой-то завалящийся отрез, а самые что ни на есть километры первосортного ситца, шелка и крепдешина! – шестерки плотным кольцом обступили сутуловатого, с благородным, породистым, но каким-то потерянным лицом мужчину средних лет. И самый бойкий из них, долговязый малый по кличке Нюхач вдохновенно витийствовал:

– И что же провернул этот дядя? Он приказал своим подельникам-директорам гнать тканевые ленты на фабриках легкой промышленности нашей славной Украины всего-то на один-единственный, не учтенный нигде, сантиметр поуже, чем положено. А какой навар этим расхитителям социалистической собственности давал этот самый сантиметр с многих километров выпущенной ткани, мы можем судить по крайне скромному сроку в 25 годков, что ему отвесило наше родное правосудие. Забирай, братва, всю посылку, нечего народному врагу жрать колбаску да балык.

– Сгинь, шушера, – Семён был уже рядом. Шакальё расступилось. Семён обвел тяжёлым взглядом прячущих от него глаза шестёрок и, остановившись на сутулой фигуре бывшего замминистра легкой промышленности Украины, сказал тому негромко, но твёрдо: – Возьми посылку, она ведь твоя.

После чего неторопливо вернулся к окну с широким и углублённым подоконником, разглядывать дальше весенние блики на чисто вымытых к первомайскому празднику стёклах соседних вольных домов. Блатные тоже наблюдали за всем происходящим; когда Семён отошел к окошку, они переглянулись с вором, тот слегка покачал седой головой, мол, мужик правильный, не трогать.

Воспрянувший духом замминистра разложил на своем одеяльце снедь и пригласил сокамерников отведать гостинца с воли. История эта имела последствием один, весьма положительный факт для арестантов. Теперь в камеру еженедельно подкупленные вертухаи доставляли увесистую посылку с деликатесами для вельможного сидельца, и он щедро делился продуктами с Семёном, мужиками и блатными. Иногда крохи перепадали и шестёркам, но весьма редко.

Сидел в их камере за доведение неверной жены до попытки самоубийства оперный певец. Это был молчаливый красивый мужчина с изысканными манерами, которым, здесь, конечно, не было абсолютно никакого применения. Но породу в карман не спрячешь. Камера относилась к нему не только с сочувствием и пониманием, но присутствовала в этом отношении и немалая доля уважения. А дело у певца и вправду было необычным. Случай, казалось бы, банальный: ну, застал муж жену с любовником, а там уж всё зависит от степени любви и темперамента рогоносца. Певец жену, надо полагать, любил. Но и честолюбия, видимо, тоже лишён не был. Убивать голого, перепуганного, в одном носке, с дыркой на пятке, сопляка, зав. литературной частью их театра, он не стал. А приказал тому одеться и привести себя в порядок. Укрывшейся же под одеялом обнажённой жене металлическим, ровным голосом посоветовал лежать смирно и не вздумать трепыхаться: сразу, мол, убью. Вышел на минутку в ванную комнату и вернулся оттуда с бритвенным прибором, мыльницей и кисточкой. Все это торжественно вручил трясущемуся любовнику, рывком сорвал с жены верблюжье, пышное одеяло и кинул себе под ноги. Растелешенная по кровати голая жена слабым движением лишь прикрыла длинными точёными пальчиками пианистки малую часть упругой своей груди с крупными, в тёмно-коричневых кружках, сосцами. В глазах у женщины застыл ужас, слезы текли по матовым соблазнительным щёчкам и с влажного подбородка скатывались в ложбинки ключиц. Певец отвёл взгляд от жены, жестом подозвал к себе любовника, указал литератору на тёмноволосый пушок внизу пупырчатого, подрагивающего живота неверной супруги и приказал тщательно выбрить это место. Когда дело было сделано, он достал из кармана портмоне, раскрыл его, извлёк оттуда

десятирублевую ассигнацию и вручил окончательно потерявшему возможность что-то соображать любовнику: это тебе за хорошо выполненную парикмахерскую работу. Пошёл прочь, цирюльник! И вышвырнул того за двери. Воротясь в спальню, он снял со стены их свадебную, помещённую в изящную рамочку, фотографию, вытащил её и, порвав на мелкие кусочки, высыпал на плачущую жену. А под стекло рамки втиснул разглаженный червонец и повесил этот новый символ их семейного благополучия на прежнее место, тихо сказав при этом: снимешь – убью. С этого дня певец перебрался спать на роскошный диван в зал, но каждое утро начиналось с того, что он входил в спальню, мягким прикосновением руки будил жену, вручал ей сухую тряпку и заставлял тщательно протирать стекло на рамке. Всё это он делал спокойно, не проронив ни слова, он вообще с женой теперь не разговаривал, но и развода не давал. Так продолжалось полгода. Однажды вечером, певец в это время был в театре, по какому-то незначительному пустяку к ним наведалась теща. У нее имелся свой ключ, она отворила дверь и прошла в апартаменты, окликнула дочь, ответа не было. Старушка заглянула на кухню, и через полутемный коридор направилась в спальню, где горел слабый ночник. Дочь, одетая в дорогое платье с глухим, по тогдашней моде, великолепным воротом и с брошью с сапфирами на груди слева, разметавшись на смятой постели, лежала уже без сознания. На полу рядом валялись коробочки от таблеток и пакетики из-под порошков. Дочь спасли, а зятя осудили на пять лет. И теперь он, как и многие из арестантов, ждал отправки в лагерь.

В мае в камере стало душно, и тюремное начальство разрешило открывать массивные, зарешеченные окна. Вечерами, на закате, певец садился на каменный подоконник поперёк окна, обращал свое лицо на волю и начинал петь. А как он пел! Мощный баритон звучал не только над квадратным двориком для прогулок заключенных, не только часовые на вышках по углам забора поворачивали головы в синих, с малиновым кантом фуражках; распахивались окна, люди выходили на балконы многоэтажных домов близлежащих городских кварталов и слушали пушкинское:

Сижу за решеткой в темнице сырой,
Вскормлённый в неволе орёл молодой.
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюёт под окном.

Клюёт и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!»

Заканчивалась песня, и в наступившей, звонкой тишине вдруг раздавались отдалённые, приглушённые расстоянием аплодисменты и слышалось с воли, с балконов и окон восторженное женское «браво!».

Этого кругленького, похожего на бочонок, с пухлыми ручками и короткими, косолапо подвернутыми ножками, мужичка арестанты ждали. Одна-

ко два дюжих охранника, втолкнувшие того в камеру, провели затравленно озирающегося мужичка сразу в кандей и заперли на внутренний, проворачивающийся со скрежетом, замок. Выходя из камеры, один из конвойных бросил: что, мол, братва, не выгорело, он нам до суда нужен живым. Арестанты понимающе закивали стрижеными головами.

Спустя полчаса после ужина камера запела. Открылся глазок на внешней железной двери, недоумённый надзиратель оглядел стоящих посреди камеры и сидящих на шконках и подоконниках поющих заключенных, хмыкнул и защелкнул глазок. Распевка так распевка, абы не бузили!

Накануне днём, через растворённое окошко по верёвочной повеле из камеры с нижнего этажа прислали маляву. В ней кратко сообщалось, что к ним направляют одного типа, зверски изнасиловавшего и затем убившего свою 11-летнюю падчерицу. И сейчас, под пение бодрых советских маршей зеки вершили свой суд. Просунув в тесный каменный мешок, метр в ширину и два в длину, через объемистый глазок в двери метлу на прочном деревянном черенке, она всегда стояла у стены рядом с парашей, арестанты, периодически меняясь, щекотали жестким веником забившегося в угол насильника. Идиотские, истеричные, душераздирающие хохот и хрюканье, доносящиеся из карцера, гасило громкое хоровое пение. Так продолжалось, пока за дверью кандея всё не стихло. Зеки вытащили метлу и вернули её к бачку с парашей. Переполох, вызванный смертью насильника, быстро улегся: дверь в кандей заперта, замок цел, тюремный врач констатировал разрыв сердца, решили, что негодяй кончился от угрызений вдруг проснувшейся совести. И дело закрыли.

А в первых числах июня нашлись покупатели и для Семёна. И не только для него, а и для других сокамерников, у кого срок от десяти лет и выше. Поздно ночью всех их, предварительно подвергнув жесточайшему, до узелка и нитки, шмону, погрузили в глухие «воронки» и увезли на харьковский товарный перрон. Там, при слепящих огнях прожекторов и злобном лае натасканных овчарок, их сначала посадили на корточки, пересчитали, а потом, отрывисто выкрикивая фамилии, через двойную цепочку автоматчиков бегом погнали в вагон-заки. Дошла очередь и до Семёна.

– Заключенный Семён Лукич Манаков, он же Семён Лукич Молоков, он же Илья Васильевич Ананьин!

– Здесь!

– Бегом марш в вагон!

Под утро, когда в узенькие продолговатые зарешёченные щелки-оконца под потолком стал просачиваться снаружи серо-молочный свет, и в приснопамятном столыпинском вагоне проступили очертания трехъярусных нар, лязгнула сцепка и состав, дёрнувшись, выровнялся и потянулся на восток.

Часть вторая. КОЛЫМА

Глава первая. «Я ПОМНЮ ТОТ ВАНИНСКИЙ ПОРТ»

Месяц везли их этап через всю Россию, то загоняя в тупики, то открывая зеленый свет. Везли, пока не кончились, причем в самом буквальном смысле, рельсы. Жарким июльским днем вытянул трудяга паровозик, пыхтя и посвистывая на крутых таежных поворотах, из кудрявых, поросших дальневосточной березой и темным игольчатым ельником невысоких сопок на

прибрежную полоску Татарского пролива десяток вагон-заков. Побережье было изрезано скалистыми, выступающими в море, безлесыми, с выгоревшим редким кустарником косогорами; в пологих, зигзагообразных складках которых лежали, огороженные глухими заборами с колючей проволокой и вышками по углам, лагеря Дальстроя. Всего их здесь насчитывалось 15, и в каждом до десятка тысяч заключенных. Жизнь, и какая жизнь кипела здесь, на одной из самых гигантских пересылок Советского Союза. Ниже, в овальной, вытянувшейся на несколько миль глубоководной бухте, в море были выдвинуты бетонные причалы Ванинского порта. Рядышком деловито сновали юркие буксиры, а на рейде поодаль дымили циклопические океанские лайнеры – плавучие тюрьмы, каждая вместимостью до пяти тысяч арестантов.

Только через две недели подошла очередь Семёнову этапу грузиться в гулкие и глубокие трюмы огромного корабля с многозначительным названием «Дзержинский». В трюмы зеки спускались по крутым металлическим лестницам с отполированными поручнями. Как только последний заключенный ступил на клепанный железный пол, лестницы подняли и люки задраили. Но в трюмах было относительно светло, свет давали круглые иллюминаторы, расположенные по бортам, выше ватерлинии. Пять тысяч арестантов, втиснутых в четыре автономных отсека, по одной тысяче двести пятьдесят человек в каждый, были на время плавания до магаданской бухты Ногаево предоставлены сами себе. Те же деревянные многоярусные нары, только от материковских они отличались тем, что вдоль края нар были прибиты широкие доски, чтобы во время качки либо шторма люди не вываливались со своих лежанок. Посредине трюмов, как раз напротив люков, стояли огромные чаны. Назначение этой ёмкости из нержавеющей стали в своем отсеке Семён поначалу никак не мог понять. Однако вскоре все выяснилось.

Вечером открылся люк, и на веревках были спущены в трюм несколько десятков бумажных мешков. Сверху прокричали: «Получите ужин! Да смотрите там, делите поровну – каждому ломоть хлеба и кусок горбуши». И люк задраили. Заключенные самоорганизовались. Еда была поделена примерно поровну, хватило практически всем. Смущало только одно: почему рыба крепко соленая, а ни баланды, ни воды не дают. Утром процедура с пищей повторилась. А к обеду люди зароптали и, чтоб их услышали наверху, на палубе, стали яростно стучать и бить чем попало по бортам, по порожнему железному чану и кричать в тысячи пересохших глоток: воды, воды! Вновь открылся люк, и в него метра на два вниз был спущен пожарный шланг. И полилась, забрызгала по стенам чана живительная влага. Да ведь это всего лишь ничтожная капля на такое количество жаждущих! Люди, давя друг друга, бросились к чану, кто-то с заветной алюминиевой кружкой, кто-то срывал на ходу с ноги ботинок и норовил зачерпнуть в него побольше воды, а кто-то уже даже не стонал, раздавленный товарищами по несчастью и лежащий теперь с выпученными, потухшими глазами на полу. Он и мёртвый помогал тем, кто невольно стал причиной его гибели, потому что на его истерзанное тело вставали, чтобы ловчее дотянуться до воды и утолить нестерпимую жажду. Конвойные, состоящие в основном из широкоскулых и узкоглазых казахов и мешковатых, с продолговатыми носатыми физиономиями, азербайджанцев, сверху наблюдали эту апокалипсическую картину, изредка на ломаном русском весело комментируя и отпуская шуточки в адрес обезумевших арестантов. Но не все из охраны были такими. Вот подошел к веселящейся группе рослый голубоглазый сержант-славянин, бесцеремонно отодвинул сослуживцев от люка, подтянул шланг и стал поматы-

вать им из стороны в сторону. Вода полетела вниз, рассыпаясь на мириады пресных дождинок. Сдавленные, смятые в невообразимую кучу, люди в трюме, словно птенцы, подняли лица вверх и раскрыли пересохшие рты. Капли попадали на измождённые, заросшие щетиной лица, в запавшие слезящиеся глаза, а некоторым везло, и они судорожно и счастливо сглатывали эти капельки жизни.

На третий день плавания Семён почувствовал, что его меньше стала мучить жажда, а сам паёк с куском солёной горбуши и ломтем чёрствого хлеба с каждым разом становился почему-то вкусней и вкусней. Видимо, включились резервы молодого организма, и он, как это не парадоксально, освоился и в этих диких обстоятельствах. А здесь еще, когда «Дзержинский», обогнув Сахалин, выбрался на коварные просторы Тихого океана, обрушился на них семибальный шторм. Это был уже второй апокалипсис за неделю. Людей выворачивало, весь пол в трюме был заблёван. Для сорока трёх арестантов этот первый шторм стал и последним. Когда океан улёгся, умерших отволокли в дальний и весьма холодный угол трюма и положили рядом с десятком скрюченных тел: жертв давки, качки и неизбежной при таком скоплении отпетых зеков поножовщине.

Глава вторая. «ГЛЯНЬТЕ-КА, ЗДЕСЬ ДАЖЕ ПЧЁЛ ДЕРЖАТ»

В бухту Ногаево «Дзержинский» вошел на следующий день за своим предшественником, тоже плавучей тюрьмой, пароходом «Ногиным». Когда два мощных буксира подтягивали «Дзержинский» к пирсу, на «Ногине» давно уже завершилась выгрузка заключенных, сейчас из трюма извлекали мертвых, а их из пяти тысяч живых и здоровых, погруженных в Ванинском порту, оказалось шесть сотен. Позже, когда были подсчитаны потери на «Дзержинском», и начальство «Дальстроя» сравнило ущерб, то корабль, носящий фамилию «железного Феликса» предстал в более выгодном свете: здесь до пункта назначения живыми не довезли всего-то четыре сотни заключенных.

На причале стояли в ряд, открытыми бортами к морю, грузовики, на которые штабелями зеки складывали своих погибших товарищей. Эти похоронные автомобили курсировали между портом и кладбищем в отдаленных от города сопках. Чуть в сторонке от этой невеселой процессии виднелся еще один ряд студебеккеров с нарощенными бортами. Внушительная колонна машин была предназначена для доставки живых в пересыльный лагерь на окраине Магадана.

Жаль было Семёну расставаться со своим синим бостоновым костюмом, да ведь его особо-то никто и не спрашивал, просто их группу, выгрузив в глухом дворике пересылки, загнали в просторный предбанник и заставили раздеться донага. Быстро скинув с себя одежду и ожидая, пока разденутся другие, Семён смотрел по сторонам. В углу помещения стоял широкий сосновый чурбан. Рядом с ним возвышалась пестрая горка порубленной в лоскуты одежды. Невысокий солдатик острым топориком тюкал по подтаскиваемым другим служивым брюкам, пиджакам, рубашкам.

Помывочная, с душевыми у стен, была, если можно так выразиться, сквозной, поскольку арестанты вошли в одни двери, а, наскоро сполоснувшись, вышли в противоположные, где вертухаи пошвыряли им перетянутые жидкой веревочкой комплекты с серой робой из грубой ткани и летними, тоже грязновато-серыми кальсонами и нижней рубашкой. Дали еще пять минут,

чтобы зеки подобрали себе по ноге обувь, твердые кирзовые ботинки. После этого их выгнали на улицу, где, проведя перекличку, погрузили в кузова все тех же студебеккеров, впритык друг к другу так, что кто-то пошутил: набили, как селедку в бочку. Заскрежетав, раскрылись огромные ворота пересылки, и колонна в несколько десятков машин, с атоматчиками в кабинах и в сопровождении взвода вооруженной охраны, выползла из Магадана на сусуманскую трассу.

Семён, прижатый к борту, с любопытством поглядывал на невысокие сопки с редким леском, на зеленеющие и поблескивающие водой на солнце необширные болотца, на хибарки-времянки за обочинами трассы.

– Гляньте-ка, братцы, пасечники, – Семён мотнул головой, поскольку руками, вытянутыми по швам, и прижатыми, одна к шершавой бортовой доске, другую придавил сосед справа, не шевельнуть. У хибарок действительно копошились какие-то люди в сетках, напоминающих те, что всегда используют пчеловоды в своей работе. – Вот только ульев что-то не видать.

Все объяснилось, когда колонна километров через десять сделала вынужденную остановку. Вот тогда-то зеки и взвыли: руки прижаты, освободить их совсем не просто, а гнус, не сдуваемый встречным ветром, так облепил лица, что живого места не осталось. Да мало того, эти крохотные кровососущие проникли и под робу, вонзили свои хоботки, вызывающие страшный зуд, во все открытые участки тел горемык. Теперь эти люди на своей шкуре удостоверились, что разговоры на этапах о том, как за одну ночь эта гнусная тварь объедает привязанного к дереву в тайге человека до костей, вовсе не какие-то досужие байки, а так оно и есть. Благо, заминка их на дороге длилась недолго, а то бы неизвестно, что с ними стало, может быть, в отчаянье даже и на автоматы кинулись. Таков он был, этот первый урок Колымы.

Глава третья. «ЗВЕЗДА УРАЛА» УВЯЛА

В Сусумане арестантов поместили в тесные от большого наплыва вновь прибывших пересыльные бараки. Шмон проводился неожиданно и часто, перетряхивали нехитрый зековский скарб и шмотки и днем, и ночью. На третий день, под утро, в слепящих огнях прожекторов, под остервенелый лай рослых овчарок загнали большую партию заключенных в оборудованные для перевозки людей грузовики, и те, урча, поползли по зыбкому, в оттаявшей вечной мерзлоте, большаку в отдаленный лагпункт на берег своенравной Колымы.

Еще на пересылке мужики условились держаться вместе, все-таки их почти два этапа, и при входе в лагерные бараки не подчиняться, а биться со старожилами до последнего. Стоит дать слабину, прогнуться, и ты останешься бесправным рабом, в лучшем случае до прибытия следующего этапа. И ничего, что после тотальных шмонов у нас нет ни финок, ни заточек, но если мы встанем стеной, нас будет сбить нелегко.

Грузовики остановились снаружи, перед вахтой, огороженной высоким забором зоны, что угрюмо громоздилась в лощине меж поросших причудливо изогнутыми карликовыми березками пологих сопок. Прибывших построили в колонну и под дулами автоматов провели на территорию лагеря. Там их разбили на группы и определили, кому идти в какой барак. Грело северное солнышко. Здесь, внутри лагеря, не было ни гнуса, ни мошкары, стой да напитывайся солнечной силой. Но вот дошла очередь и до Семёна.

Его направили в группу из пятнадцати человек, среди которых и похудевший замминистра, и знакомый еще по плаванию на «Дзержинском» земляк-уралец Толик, отпетый урка и никогда не унывающий весельчак. До барака, второго от глухого закалюченного забора, их проводил вертухай с красной широкой повязкой на рукаве добротного серого пиджачка. Указал на дверь и исчез. Мужики подобрались, переглянулись и, распахнув двери, ступили в сумрак плохо освещаемого помещения. Прямо за тамбуром был свободный, метра четыре окружностью, промежуток, дальше вглубь шел неширокий проход между двухъярусными нарами.

Их ждали. Только они переступили порог, как двери захлопнулись, и сзади выросли угрюмые бугаи, с хищно поблескивающими заточками в руках.

– На середину, – хрипло скомандовал один из них. Прибывшие невольно подались вперед от темных дверей к тусклому свету на свободной площадке и оказались прямо перед двухъярусными нарами, которые в тот же миг ощетинились двумя десятками зеков с перекошенными в неверном свете и озлобленными физиономиями. В руках у этих было что-то наподобие дротиков с прикрученными веревками и проволокой ножами, виднелись два-три зловещих лезвия топора.

– Я – «Звезда Урала». Поздравляю вас с прибытием на чудную планету под названием «Колыма», – в проходе, на безопасном расстоянии от прибывших стоял плотный, среднего роста азиат. – Мы будем к вам благосклонны, если вы безоговорочно нам подчинитесь. Что нужно делать, вы знаете. Иначе – смерть! – И сверкнув в тусклом свете раскосыми глазками-буравчиками, татарин резко и громко бросил: – Покоряйтесь!

Что тут началось! Спутники неуклюже, с шумом, попадали, ткнувшись испуганными лицами в пыльный пол, и покорно вытянули вперед безвольные руки. И лишь Семён и Толик остались стоять. Толик был ближе к нарам. Семён в какие-то доли секунды краем глаз зафиксировал, как тело земляка, в которое одновременно вонзилось десятка полтора ножей, барачные зеки на самодельных дротиках подняли и, пронеся по воздуху над замеревшими на полу этапниками, бросили в угол. И тут же над головой Семёна сверкнуло широкое лезвие прикрученного к деревянному черенку топора. В последний миг парень успел отшатнуться, чтобы топор не раскроил пополам ему череп, но все же скользящий удар пришелся в висок. И Семён потерял сознание.

Первое, что, очнувшись, и еще не открыв глаза, почувствовал Семён, это запах больницы и чистых простыней, а еще необыкновенную легкость в теле и какую-то отдаленную тупую боль в виске. Потом он открыл глаза. Белые стены, белые простыни, белесый цвет неба в оконном проеме и приглушенный шум и шорох рядом. Семён повернул на подушке голову набок, чтобы получше рассмотреть, что же это за шум. Из просторной палаты выходила, в окружении военных с накинутыми на плечи белыми халатами, женщина, чье лицо показалось Семёну родным и знакомым. Он слабым голосом спросил соседа, сидящего на кровати напротив, кто, мол, это? – Лидия Руслановa, – последовал ответ. Семён приподнял голову, чтобы еще раз увидеть прославленную русскую певицу и народную любимицу, тоже, как он слышал еще на материке, зечку, но свита уже покинула палату.

– Душевная женщина, – уловив, что Семён смотрит вопросительно на него, сказал сосед. – У неё тоже срок. От мужа своего, генерала, не отказалась, не предала, вот и влепили ей, как соучастнице. А в чём вина-то? В том, что трофеев из Германии привезли. Дак все везли. И правильно делали. Они,

гады, у нас полстраны пожгли, сколько людей безвинных угробили, осиротили. Надо бы всю эту Германию разобрать по кирпичику и нам – на восстановление. Чтоб неповадно было в другой раз так пакостить. А у Лидии Руслановой теперь негласные гастроли по Колыме. Начальство-то сразу, как ей огласили приговор и привезли на Дальний Восток, смекнуло, какая может быть выгода от известной на всю страну сиделицы. И втихаря поставило дело это на лад. А Лидия, она по-настоящему народная, и здесь тоже с народом. Нас вот проведать не побрезговала, пришла. Поздно ты очнулся, браток, а то бы услыхал, как она здесь распоряжалась. Оно ведь и то, как узнало начальство, что знаменитость наш лазарет посетит, так такой шмон здесь устроили, простыни, наволочки, матрацы вонючие обменили, бельишко наше тоже. Видишь, и ты в свеженьком в этот бренный мир вернулся. Жалко, что на концерт её не попадем. Её ведь, Лидию-то нашу, – продолжал словоохотливый сосед, – возят теперь по лагерям, где она выступает со своими песнями не только перед краснопогонниками, а и нам, горемычным, толика радости перепадает. Слышал я, это её, Руслановой, такое условие, а она бабёнка крутая. Ну да ладно, песен не послушали, но хоть её живьем, воочию, узрели. Вот и ты сподобился очухаться в самый раз. А хоть знаешь, сколько ты был без памяти, на волосок от смерти? Больше месяца с тобой здесь экспериментировали, жил-то на глюкозах и системах. Сам врач, он у нас добрый, гадал: выживет парень, иль нет. Сначала большое сомнение у него имелось, а потом, понаблюдав, сказал: жить будет, организм не только молодой, но и такой, что дай бог каждому. Да, забыл представиться – Шарик.

– Как Шарик? Имя, ты извини, земляк, собачье какое-то, – Семён чувствовал, что сидящий перед ним невысокий, сухощавый зек средних лет не такой уж и простой, каким прикидывается. Какова его игра? – подумал про себя, а вслух произнес: – Прозвище-то больно обидное.

– Ничего подобного, браток, – сосед весело рассмеялся. – Сам посуди, что такое шарик? Это предмет, который катится туда, куда ему заблагорассудится, он и взлететь может, да так высоко, что не достать никаким вертухаям золотушным. Кстати, тобой здесь недавно интересовались, как, мол, ожил или саван шить. И знаешь кто – твой крестный, тот, что всю бодягу тогда в бараке замутил, – «Звезда Урала», как помпезно он себя величает. Ему, ссучившемуся вору, надо свой авторитет подмоченный утверждать, как он полагает, вот и сколачивает лагерную кодлу, ломает мужиков. А ты, видишь, не сломался. Так что жди скоро гостей, браток.

И точно, через день, Семён только прикемарил после обеда, как его кто-то осторожно тронул за плечо. Семён машинально сунул руку под подушку, где лежала припрятанная, подаренная словоохотливым соседом заточка, и настороженно открыл глаза. Над ним склонился мутноватый мужичонка и, воняя гнилым щербатым ртом, прошепелявил, что к нему, к Семёну, сейчас наведается сам «Звезда Урала». Готовься, мол, парень, но дергаться не вздумай, враз добьем. Окончательно проснувшийся Семён обвел напряженным взглядом палату. У окон стояли в накинутых на плечи халатах трое субъектов с характерными красными рожами. Обитатели палаты занимались каждый своим незначительным делом: кто штопал дырку на больничной пижаме, кто читал помятую газетку, кто делал вид, что спит, укрывшись от назревающих событий стеганым одеяльцем. Словоохотливый сосед, накрывшись с головой простынкой, тоже будто бы дремал.

Однако никаких особых событий не произошло. Подошедший через

минуты три татарин цыкнул на шестерок, чтоб слиняли к дверям, присел на краешек кровати и вполголоса обратился к Семёну. Со стороны казалось, что говорить урке было трудно, слова он как бы через силу выдавливал из себя.

– Жив, значит. Ну, что ж, выздоравливай. Я тут тебе гостинец принес, яблочки с материка нонешние, папиросы «Казбек», сгущенку. Ешь, поправляйся, а про старое забудь. Осечка вышла у нас с тобой, – Семён не мог уразуметь, жалеет что ли посетитель о том, что не убили сразу Семёна, или что-то другое, совсем уж непонятное имеет в виду этот черноволосый, с бегающими прищуренными буркалами, землячок. А дальше случилось то, чего Семён ну никак не ожидал. Татарин скрипучим тяжелым голосом продолжил: – Ты уж прости меня, Сёма, за всё. Давай дальше будем рука об руку. Твоя настырность и моя власть, все нам покорятся, зоной править станем вместе. Заживем, как у аллаха за пазухой.

– Не-эт. Говоришь, ты – «Звезда Урала», – Семён нехорошо усмехнулся. – А я скажу так: «Звезда Урала» увяла! – парень еле сдержался, чтоб не пырнуть посетителя в жирную бочину зажатой в правой руке под одеялом заточкой. Поэтому он, приподнявшись на подушке, демонстративно отвернулся от растерявшегося татарина и стал смотреть в окно на разноцветные осенние сопки, показывая тем, что разговор окончен. Ярость душила его, выходило так, что, ежели не получилось убрать сразу, значит, будем дружбу водить да совместно авторитет нагуливать до первого удобного случая, чтоб тишком где-нибудь, после того, как в лагере уляжется буза и ропот на блатных за их беспредел, пришить Семёна. Он слышал, как тяжело поднялся и, громко топоча каучуковыми, толстыми подошвами американских ботинок, ушел «Звезда Урала» из палаты.

– Что же ты с ним так невежливо, – раздался над ухом еще не остывшего от встречи Семёна голос Шарика. – Авторитет надо уважать, а ты его по шапке да мордой в грязь. Да, забыл тебе, Сёма, сказать: выписывают завтра меня. Хватит, говорят, жирком обрастать, бронхи будто бы чище стали. А ты набирайся сил, и не о чем печальном не думай. Всё в руках всевышнего и кума!

Спустя неделю к ним в палату привезли покалеченного драгмашиной зека, он оказался из того же лагеря, что и Семён. Среди негустых новостей одна впрямую касалась Семёна. Два дня назад утром, отправляясь в общую уборную справить нужду, зеки наткнулись на сидящего на очке мертвого ссучившегося вора с помпезной кличкой «Звезда Урала». Он был убит одним ударом ножа прямо в сердце.

Глава четвертая. ПЕРВАЯ ЗИМА

Вернувшись из лазарета в барак, Семён задурел. Бригадир и отрядный жаловались лагерному начальству на неподчинение приказам упрямого зека.

– Ты почему отказываешься от работы? – наседало на Семёна начальство, – ведь ты же мужик, а не блатной. Будешь норму выполнять, тебе срок скостят, досрочно освободишься. У тебя нет поражения в правах, можешь сразу уехать на материк. Так что давай в строй и на прииск, колонна ждать не будет.

– Нет, гражданин начальник, мне беречь себя надобно, – дерзко отвечал мешковатому, с капитанскими золотистыми погонами замполиту Семён. – Пройдут годы. Ты, выслужив свои северные, будешь где-нибудь на солнечном Кавказе, среди минеральных источников беспечно прогуливаться с ру-

мяными внуками, а я все еще здесь буду колупать стылый грунт да мыть песок, отыскивая камешки желтоватого цвета на благо нашей Родины. Так что, по-всякому, мне нужно набираться сил, чтобы потом, когда окончательно окрепну, работать только по-ударному.

– Ну что ж, будь по твоему, – в тон Семёну произносил едва сдерживающий себя замполит, – на своем веку мы здесь и не таких артистов видывали и обламывали. Охрана, препроводите заключенного в барак усиленного режима, пусть он там, на ледяном полу и без пайки обдумает с такими же весельчаками, как и за счет чего будет повышать свою производительность при добыче необходимого стране золота. Кстати, уж в БУРе-то с тобой цацкаться не будут. Так что, оздоравливай дальше, парень.

Сентябрь на Колыме – первый месяц зимы, и если общие бараки хоть как-то отапливались печами, в БУРах этого предусмотрено не было. Бунтари и провинившиеся долгими северными ночами спасались, кто как мог. Уркам подкупленные конвойные тайно передавали тушенку, хлеб, спирт. Мужики перебивались мерзлыми сухарями да тепловатой бурдой, которую вертухаи, ставя ржавый бачок с этим пойлом один раз, в полдень, в тамбуре барака, насмешливо называли чаем.

И вот однажды конвойный негромко окликнул Семёна. Парень подошел. Тот, отвернув овчину теплого полушубка, извлек холщовый мешочек, и зорко поглядывая по сторонам, сунул его Семёну: это тебе, мол, от друзей. – От каких друзей? – хотел спросить заключенный, да вспомнив старую народную мудрость: дают – бери, молча спрятал гостинец под телогрейку. В своем углу, выбрав минутку, когда рядом поменьше глаз, Семён осторожно развязал гостинец и поочередно вытащил на свет три банки говяжьей тушенки, фляжку спирта и десяток запашистых поджаристых сухариков.

В этот вечер наконец-то попировали, расположившись на дальних от входа в барак нарах, и мужики. Семён угощал, да и сами приглашенные пришли не с пустыми руками. Кто-то принес неведомо как раздобытую банку сгущёнки, кто-то сэкономленные сухарики, в крошках махорки, а один даже выложил на импровизированный столик слегка подмороженную головку, невесть как попавшего сюда, репчатого лука. Это был поистине экзотический для подобных географических широт продукт. И как нельзя кстати, потому что кое у кого из заключенных уже начиналась цинга. Лук бережно разрезали самодельным, из расплющенного гвоздя, ножичком на равные дольки, и пиршество началось. Урки хоть и косились, но не рыпались.

К концу первой зимы на Колыме Семён, изведав все «прелести» местных БУРов и ЗУРов (уже не бараков, а зон усиленного режима), стал втягиваться в однообразную и бесцветную, как холодное январское колымское небо, жизнь зека – долгосрочника. В марте получил посылку с Урала от брата Александра. Еще осенью Семён написал ему письмо, где просил выслать дефицитного на севере репчатого лука. Больше трех месяцев тащилась через страну посылка, но хоть дошла в целости, думал Семён, под приглядом охраны отдирая взятыми у барачного сапожника старенькими пассатижами гвоздики на крышке и разворачивая оберточную серую бумагу. Куски сала, в крупицах крупной соли и с дольками чеснока, прилипшими к розоватой, в прослойках мяса, мякоти, выглядели аппетитно и были целехоньки. А вот ядреные и тугие с виду головки репчатого лука, рассыпанные по ящику, на поверку оказались мягкими и дряблыми. Наверное, где-то по дороге сюда посылка была подморожена. Но даже и такой лук – это все равно витамины. Десны и зубы в эту первую зиму Семёну удалось сохранить.

Глава пятая. ШАРИК

– Давненько мы не виделись, Сёма, – Шарик открыто и весело ощерился в улыбке, бросая свой тощий сидор на нижние нары напротив, через проход, и подсаживаясь на заправленную стеганым одеялом постель, рядом с только что разувшимся и приготовившимся ложиться, Семёном. – Будем соседями. Вишь ли, на дальних приисках не нужен я стал, сюда этапировали, к вам. А по мне, дак оно без разницы, абы срок шел. Я уж где только и не побывал, чуть ни до Якутии по зимнику возили. А ты-то как, освоил колымские заповеди? Обвыкся?

– Да вот жив, как видишь, – Семён был рад встрече с этим таинственным человеком. Они разговорились. Выбрав момент, Семён решил задать Шарику тот вопрос, что еще с лазарета не давал ему покоя: – Дело прошлое, Шарик, но ответь мне на одну закавыку. Хотя я, кажется, и сам знаю ответ, но все же: это ты, опередив меня, завалил «Звезду Урала»?

– Догадливый ты, Сёма. Да, я убрал эту нечисть с лица земли.

– Но тебе-то какой резон? Ты его, может, и знать не знал!

– Ошибаешься, брат. Я не первый год на Колыме, да и до этого жил тоже не на луне. Просто гадов этих не выношу, и все тут. Чем больше я отправлю этой заразы к праотцам, тем людям будет дышать свободнее.

– Ты, конечно, можешь не отвечать, но все-таки любопытно: кто за тобой стоит? Насколько я слышал, ты не законник, хотя и живешь по понятиям? И с блатными, и с мужиками ты свой. Меня вот упредил.

– Больно ты, Сёма, любознательный и открытый для той клоаки, в которой мы нынче с тобой обитаем. Здесь ведь лишнее слово стоит жизни. Ну, да ладно, нравишься ты мне, младшего братишку моего незабвенного шибко напоминаешь. Царствие ему небесное. Убили его в сорок третьем под Орлом. Вот ты спрашиваешь, под кем я хожу? А не под кем и никогда. Я здесь всякой мрази сам и судья, сам и палач. Я ведь, Сёма, тоже воевал, и не где-нибудь, а в полковой разведке, с сорок второго и до Победы.

И Шарик, он же кавалер многих, отобранных позже, при аресте, орденов и боевых медалей, старший лейтенант Пётр Никандрович Ермаков, поведал Семёну о своей, закрученной в тугую спираль, жизни. Рассказал он, как, вернувшись с войны в родной городок в низовьях Волги, не застал в живых своей любимой красавицы-жены, честно ждавшей его все годы, и буквально перед приездом Петра Никандровича наложившей на себя руки.

Работала Татьяна Михайловна бухгалтером в военкомате, на ухаживания разбитных щеголеватых офицериков-тыловиков не реагировала. Военком, демобилизованный по ранению молчаливый майор, видно было, что держал ее сторону, урезонивал, как мог этих, по связям где-то наверху увильнувших от фронта, жеребчиков. Бывало, не выдержит, вспылит и, прихрамывая, бросится к сейфу, где хранился его именной браунинг, да те, нахально похохатывая, разбегутся по своим кабинетам. Так вот и жили до того майского дня, когда изнуренная долгим лихолетьем огромная наша страна, наконец-то взликовала победными салютами и праздничными застольями. Соорудили к вечеру славного дня под белоснежными цветущими яблонями и вишнями во дворике военкомата сдвинутые столы с выпивкой и закусками и работники этого учреждения.

Были искрометные тосты, были танцы, была неописуемая радость оттого, что все мрачное и страшное позади, а впереди ясное и счастливое завтра. Но не оказалось этого завтра у побывшей за общим столом и решившей по-

раньше уйти домой Татьяны. Молоденькие шустряки, распаленные выпитым, подстерегли женщину в темном проулке, зажали рот и уволокли на глухую полянку, на берег мутной городской речушки. Было их трое, тех, что, вдосталь поизмывавшись над обезумевшей жертвой, уже за полночь оставили истерзанную женщину одну, а сами, смыв грязь и кровь с рук, как ни в чем не бывало, вернулись к полуопустевшему к этому часу столу, освещенному специально подвешенными над ним фонарями.

Утром пришедшие поставить на пескарей мордушки подростки остолбенели, увидев мертвую женщину с растрепанными волосами и в изорванном платье, висевшую на толстом суку старого расщепленного тополя в углу поляны. Следствие виновных особо не искало: налицо факт самоубийства, хотя военком и изложил даже в письменном виде свои соображения по данному прискорбному случаю, однако никакого хода этому дано не было, знать, крепкая поддержка наверху имелась у этих сопливых нелюдей.

С трудом опамятовав от жуткого и тягостного, раздавившего всё живое в душе известия, Петр Никандрович на третий день по прибытию в город сходил на кладбище, посидел у свежего холмика, под которым покоилось все самое любимое, что оставалось у него в этой жизни. Вечером того же дня заглянул на огонек к одиноко живущему майору-военкому, где молча выложил на стол фляжку спирта. О чем проговорили почти до утра два фронтовика, это неведомо никому, но с восходом солнца Пётр Никандрович, свежий и подтянутый, гладко выбритый, бодро, будто бы и не было бессонной ночи, появился у каменной ограды военкомата. На груди его поблескивали в два ряда ордена и боевые медали, при ходьбе поскрипывали ремни портупеи: демобилизованный лихой разведчик-офицер явился вставать на учет по месту приписки.

Первого насильника он зарезал своей финкой, когда тот, смертельно побледневший, приподнялся из-за стола навстречу вошедшему. Второго молниеносным ударом в сердце прикончил прямо в дверях. Третий, опрокидывая столы и переворачивая стулья, пробовал уйти через окно, но окна в подобных учреждениях, как правило, зарешечены. Вот и сполз он с подоконника на пол, с аккуратной дырочкой под левой лопаткой на коричневом кителе из дорогого сукна. После этого, отбросив финку с окровавленным лезвием в угол, вышел Пётр Никандрович в общий коридор навстречу военкому, спешащему к нему с двумя автоматчиками, но рук вверх не поднял. И поэтому бойцы вскинули оружие, готовясь в любую секунду сразить старшего лейтенанта очередью, но военком резко скомандовал: отставить, и сам проводил до карцера в конце коридора и там запер на ключ спокойного и равнодушного ко всему случившемуся Ермакова.

Статья Шарику корячилась расстрельная, но, учитывая прежние боевые заслуги и блестящую характеристику, присланную в суд из воинской части, в составе которой он воевал, а также приобщенные к делу письменные показания военкома, расстрел заменили двадцатью пятью годами Колымы.

В этот апрельский солнечный, но с морозцем, день выпала Семёну поблажка: работа не с бригадой в карьере, а при зоне, на одном из строящихся двухэтажных бараков. Сидел он себе на стропилах под крышей и выковыривал топором пазы в сосновых ошкуренных матках. Сквозь оконные, еще без рам, проемы хорошо была видна заснеженная, с расчищенными подходами площадка перед бараком. Вот на тропинке показался бригадир-еврей в добротной двубортной москвичке, известный в лагере стукач, из ссучившихся, как говорят, блатных. Деловитой походкой, похрустывая по насту подши-

тыми черными валенками, этот пухлый здоровяк, видно было, что спешил куда-то. Однако чей-то невидимый дружеский окрик остановил его. Секунд через тридцать Семён увидел приближающегося к еврею Шарика. Следом семенил конвойный в полушубке и с карабином за плечом. Шарик что-то весело сказал бригадиру, они оба засмеялись и вошли в помещение. Теперь еврей и Шарик оказались в пролете между этажами, прямо под отложившим в сторону топор и затихшим Семёном. Его они, естественно, не видели, какой интерес им задирать головы вверх, а они перед ним – как на ладони. Тучный бригадир был почти в два раза крупнее Шарика. Видно было, как он со снисходительным презрением поглядывает на что-то увлеченно доказывающего ему Шарика. Но высота мешала разобрать смысл того, о чем говорили внизу. Да, собственно, Семён и не прислушивался, меньше знаешь – крепче спишь. И вдруг краем глаза Семён отметил нечто интересное. Шарик, всё еще продолжая что-то весело рассказывать великану, жестом указал на оконный проем. Тот лениво повернул свое сытое, с крючковатым, типичным носом лицо в направлении указанного. А Шарик тем временем неуловимым движением выхватил стилет, свободной рукой отогнул меховой левый ворот москвички. И вот уже из бригадирской груди торчит наборная рукоятка. Гигант пошатнулся и, тяжело ступая, пошел к выходу. Не дойдя до порога двух шагов, он грузно рухнул на свой неохватный живот, головой на улицу. Встрепенувшийся конвойный живо передернул затвор и направил дуло на показавшегося следом в дверях Шарика. Тот громко крикнул:

– Не пали, служивый, попусту. Видишь, сдаюсь.

– Лягай на снег и руки за голову, – истошно расхорохорился конвойный. – И не шевелись, враз стрельну.

От недалекой вахты на шум прибежали охранники. Шарика увели. Вскоре пришла команда бесконвойных заключенных с носилками, и с едкой руганью погрузила громадный, еще не остывший труп и, также с остервененьем матерясь, утащила его в лагерный ледник, примостившийся в хибаре на задах зоны. Семёна никто не заметил.

Позже он узнал, что Шарика судили, а поскольку срок и так под завязку, дополнительных годков уже некуда лепить, то единственное, что смогли сделать шишки в золотых погонах, – это сослать его еще выше, вернее, ближе к Ледовитому океану. И если уж даже здесь, на средней Колыме, лето куцее и бледное, то там оно вообще с мышиный глазок. Наверное, этого несломленного искателя и вершителя справедливости в другое, да хоть бы и в недавнее, время, скорее всего без долгих разговоров и в назидание остальным просто шлепнули бы, а дело бывшего разведчика списали в архив, но конец сороковых двадцатого столетия – это два-три года так называемой «эры милосердия». Тогда рябоватый усач высочайшим своим повелением отменил смертную казнь на шестой части земли, потом, правда, спохватился, и карающий, не успевший размякнуть бронепоезд продолжил свою давильню. Однако этого чудного промежутка хватило, чтобы Шарик остался жить.

Глава шестая. ОТОРВАННАЯ ПОДОШВА

Колымские будни – это изнурительная, однообразная каторжная работа в сереньких сопках, обкусанных неглубокими карьерами с золотоносными жилами или рытье в мерзлоте поисковых шурфов. Орудия механизации – тачка, лом, кайло, лопата. Экскаваторы и бульдозеры не везде и не всем.

В те годы население Колымы колебалось по численности от 2,5 до 3 миллионов человек. Теперь уж никогда, наверное, такого уровня заселенности этих нелюдимых северных широт не достичь. Это тогда, в начале тридцатых, еще не остывшую и не опомнившуюся от горячки гражданской междуусобицы, а уже подброшенную на штыки сомнительного, добровольно-принудительного энтузиазма и обстрелянную кинжальным огнем всеобщей подозрительности и доносительства страну можно было под улюлюканье да истошные вопли: «распни» и максим-горьковское «кто не с нами, тот против нас!», – сворачивать в любой бараний рог и вытворять с ней всё, что только мог наслюнявить в маниакальные и мохнатые уши новых правителей небезызвестный персонаж библейских сюжетов. Кровавое эхо того партийного зачина раскатывалось здесь до середины пятидесятых. Оно и в последующие годы не смолкло, но звук его и прежний эффект увяли.

А сегодня в России и таких людских ресурсов не сыскать, да и запасов золота в подобных масштабах не наблюдается, они в основном, увы, уже вычерпаны. Может быть, где-то у кромки Ледовитого океана есть богатые жилы. Да ведь и страна за полста лет, прошедших со времен, описываемых в этой не придуманной повести, убавилась не в одних лишь территориях, а и народ, к прискорбью, поубавился, да вдобавок и поизмельчал, избалованный порочными достижениями прогресса, давно уже прорвавшего все плотины и дамбы совестливого и необходимого. Справедливости ради надо сказать, что и в упоминаемые костоломные годы натиск на то сокровенное, что, собственно, и делает разрозненное сообщество цельным и нравственным народом, был необычайной силы и давления (стоит вспомнить одно лишь разорение православной церкви, или истребление крестьян при насаждении колхозов). Но в ядре народном, у простых людей еще сохранялся дух общины, понятия святости и стыда.

Однако вернемся в русло нашего повествования. Большинство, причем самое подневольное, колымскому народу давали заключенные. Вторыми по численности шли те, кто бдительно стерег первых. Третьим, негустым сословием здесь значились вольнонаемные, то есть те, кто прибыл сюда заработать, или как тогда говаривали – «за длинным северным рублем». Жили эти люди в поселках, в домах из бруса, среди семей лагерного начальства и прочей челяди.

Отношения между этими тремя категориями складывались по-разному. Например, Семён не раз, выиграв в «буру» за ночь граммов по сто золотого песка, обменивал по договоренности его у вольнонаемных на спирт, тушенку и табак. И все стороны оставались довольны. Куда уж пристраивали это «рыжье» вольняшки, Семёна мало интересовало, зато, освобождаясь от золота, он выходил из опасной черты, когда кто-нибудь из алчных товарищей по неволи мог, позарившись на металл, прирезать где-нибудь в укромном уголку, либо когда при неожиданном шмоне вертухаи могли найти мешочек с золотым песком. А это уже, в лучшем случае, добавочные года в твое пухлое, личное дело. А в худшем – об этом и думать не хотелось! Буквально на днях, вымотанный работой, Семён, как рухнул после вечерней поверки и отбоя на свои нары, так и проспал мертвецким сном почти до утра, лишь однажды ворохнулся он, потревоженный капелью с верхних нар, но, сонно проведя ладонью по лицу, повернулся набок и снова провалился в забытье. Проснувшись утром, он глянул на свои ладони – они были в засохшей крови. Сосед с правых нижних нар сначала молча и понимающе указал рукой Семёну на его испачканное кровью лицо, а потом перевел свой угрюмый

взгляд на верхние нары. Семён встал во весь рост и, уже примерно зная, что там есть, осмотрел постель соседа сверху. Этот недавно пришедший по очередному этапу урка, вчера удачливо откатал в «двадцать одно», сорвал приличный банк «рыжья», а сейчас вот лежал окоченевший, с отрезанной, покоящейся отдельно на окровавленной подушке стриженой головой. Долго потом пришлось Семёну отмывать студёной водой из бочки в умывальном углу барака бурые пятна со лба и щеки. Конечно, как всегда бывает в таких случаях, вертухаи подняли шухер, прошла волна шмонов и допросов заключенных, кто что видел, кто что слышал. Но все в эту ночь спали на удивление крепко и даже без сновидений. А что касается «рыжья», то никакого золота в перетряхнутых на сто раз матраце и скарбе убитого и в помине не было.

Вторую свою колымскую зиму Семён почти до половины отмантулил в бригаде на карьере, что недавно начали разрабатывать за лесистыми сопками недалеко от их лагеря. Это, в общем-то, сказывалось на производительности: расстояние близкое, люди не так уставали от ходьбы, сбереженные силы правильно тратились при выемки породы в карьере. Может быть, Семён на этом участке и весну встретил бы, да вмешался, как всегда, господин случай.

Колонна заключенных, прибыв к дощатой раскомандировке, как обычно поутру, была ознакомлена с нарядом. Семён, услышав, что он сегодня трудится на отколке и погрузке породы в тачки, расписался у бригадира в засаленной тетрадке в получении кирки и лома, и весело оглядев конвойных, расставленных через равное расстояние друг от друга по верху карьерного среза, стал спускаться к своему рабочему месту. В этот день ему выпало нагружать в тачки среди других заключенных и своему старому знакомцу по харьковской тюрьме – бывшему замминистра легкой промышленности Украины. Работа только закипала, когда тот, выбрав минуту, что никого не было рядом, торопливо и сбивчиво обратился к Семёну.

– Нет моих сил больше тачку вверх толкать, чую, не выдержу, упаду. Что делать, Сёма? Может, я подошву у ботинка оторву, и меня заменят на тачке? Кайлить-то я бы смог. Это же не ходить, а стоять на месте. А норму не выполню, баланды лишат, да могут и в карцер упрятать! Как быть, друг?

– Какие здесь могут быть друзья, Валентин! Каждый сам по себе. Да и я тебе какой советчик? Решай сам.

Еще одну ходку сделал Валентин. Пошатываясь, скатил он тачку и прислонил ее к скале. Сел на стылую землю и, стянув правый ботинок, поддел ветхую подошву острым базальтовым осколком, затем рукой надорвал ее и опять обулся. Заключенные тачечники, задержанные этой заминкой, недовольно покрикивали на сходнях уступа. Расталкивая их, подбежал сверху мордатый бригадир.

– Что за дела? Почему сбой в работе, саботажники? Ты чего, министр, расселся?

– Да вот, гражданин бригадир, подошва совсем оторвалась, ступать нету мочи. Вы меня замените кем-нибудь другим, а я бы встал на кайлу.

– Ты что, собака, хитрее всех, што ли. На вот тебе, вражина! – и бригадир наотмашь врезал вытянувшемуся в струнку бывшему замминистра в ухо, да так, что у того слетела шапка-ушанка с головы и сам он, ударившись о скалистый выступ затылком, медленно сполз на землю.

В то же мгновенье стоящий рядом Семён перехватил в руках тяжелый лом, и со всей силы припечатал разгоряченного бригадира вдоль спины этой

восьмигранной железякой. Сипло ойкнув, бригадир ткнулся сытой мордой аккурат в оторванную подошву Валентина и затих. В карьере воцарилась звенящая тишина, которую вскоре нарушило характерное клацанье винтовочного затвора. Это конвойный наверху, метрах в пяти, прямо над Семёном изготовил свое оружие к бою. Семён поднял руки и сцепил на темечке пальцы. Рукавицы и лом лежали перед ним около брошенной тачки. Рискуя получить пулю, он разнял пальцы, быстро наклонился и подхватил теплые верхонки. Конвойный, безусый срочник из вологодских, угрожающе провел дулом от Семёна к верхнему срезу карьера, давай, мол, выбирайся, пока не пристрелил. Семён, с руками за головой, перешагнул через лежащего без памяти бригадира, прошествовал мимо пришедшего в себя и испуганно озирающегося вокруг Валентина, мимо посторонившихся молчаливых тачечников. Но едва лишь он выбрался из карьера, как подбежавший запыхавшийся старший конвойных, с револьвером в руке, скомандовал Семёну: лечь на снег, лицом вниз и руки за голову.

Так и пролежал Семён около трех часов на колымской мерзлоте в телогрейке и ватных штанах, примерзших к обеду к снегу. Когда колонна выстроилась идти обедать в лагерь, Семён с большим усилием оторвал свое окоченевшее бесчувственное тело от земли, и с трудом передвигая затекшие ноги, встал в хвост колонны. Размявшись в ходьбе, Семён окончательно пришел в себя, вроде бы ничего не поморозил, тёплой баландой отогреюсь. Но в хозблок попасть в этот день ему было не суждено. Только прошли вахту, как конвойные отделили Семёна от строя и увели в БУР. Но и в этом ледяном бараке Семён забузил, и его за постоянное нарушение режима продержали на черствых сухарях и воде почти до первых оттепелей. Такой запомнилась Манакову-Молокову-Ананьину вторая колымская зима.

Глава седьмая. ДВА ВЕДРА БРУСНИКИ

Пусть и короткое, ощипанное заморозками с обеих сторон северное лето, однако щедрое оно на грибы, но больше все-таки на сладчайшие россыпи голубики, черники, морошки, и особенно, рубиновой брусники. Это третье колымское лето Семёна выдалось, как никогда, урожайным. Окрестные сопки переливались в лучах янтарного солнца несказанным обилием переспевающих ягод. Да вот только арестантам, уныло топающим мимо этого богатства в серых колоннах под дулами карабинов, эту роскошь можно было пожирать лишь голодными глазами, жадно сглатывая при ходьбе табачную слюну. Шаг влево, шаг вправо считается побегом, а с беглецами здесь разговор один: девять граммов.

Еще не стёрся в памяти переживших зиму зеков апрельский случай. Морозным ясным утром после монотонной переклички с металлическим скрипом отворились широкие ворота на вахте, и колонна привычно потянулась из лагеря на прииск. Но как только последняя шеренга заключенных вышла за ворота, прозвучала резкая команда: «Колонна, стой! Направо!». На очищенном от снега пятачке около двух лежащих в ватниках и добротных телогрейках с незакрытыми изумленными глазами мертвецов бодро прохаживался, поскрипывая меховыми бурками и удовлетворенно похлопывая кожаными, утепленными перчатками себя по бокам, сам кум – начальник лагеря. Вот он остановился и повернул свое тяжёлое и строгое, со шрамом через всю левую щеку, лицо и хрипло и отрывисто бросил: «Так

будет с каждым, кто задумает бежать из вверенного мне лагеря! Колонна налево! Шагом марш!».

Вечером до самых потаённых шконок дошелестели подробности того, как всё произошло. Побег готовился скрытно, знали о нем всего несколько человек. Сначала уходить вызвались четверо блатных, но в последний момент двое отказались, упирая на то, что в распутицу, которая грянет со дня на день, якобы и до трассы, не говоря уж о материке, не дойти. Дескать, отложим до лета, когда и света вдоволь, да и тайга прокормит. Однако двое отчаюг, заручившись молчанием подельников, все же ушли вчера после вечерней поверки через тайно прорубленный лаз в заборе на задах, за лагерной санчастью. Воодушевленные удачным началом, беглецы успели обогнуть лишь одну сопку, за второй они попали в яркие снопы автомобильных фар, ослепившие их неожиданно и сокрушающе. «Всё, начальник, сдаемся. Бери нас!» – прокричали в ночь арестанты. Из темноты выступили настороженные автоматчики, следом показался и загадочно улыбающийся кум. В правой руке его поблескивал вальтер. Продолжая улыбаться, начальник лагеря громко, чтобы слышали все, крикнул: «А вы мне живыми и не нужны!». Хлопнули два выстрела, откинувшие зеков на заснеженную обочину. Начальник лагеря, посмеиваясь, повернулся и направился пешком в сторону зоны. Вертухаи, пропустив под мышками длинную веревку, обвязали убитых и, прицепив к заднему борту грузовика, подвезли остывающие тела зеков к вахте, где и уложили их на расчищенном участке.

Больше двух недель лежали несчастные на вечной мерзлоте, лица их окостенели и покрылись инеем. Ежедневно утром, идя на прииск, в полдень, перед обедом и после него, и вечером, по возвращению с работ, арестантов на этом месте ждала одна и та же канитель: самодовольная рожа и хриплый рык кума, и два закоченевших трупа. А вот подельники, те почти в это же время нацепили на рукава красные повязки и перебрались в барак к вертухаям, обнадеясь, что бережёного кум сбережет. Любопытна и поучительна судьба этих двух стукачей, но о них позже. А пока вернемся в колымское, плодоносное лето.

Настоящей мукой было для Семёна ежедневное хождение мимо ягодных полей, и вовсе не потому, что докучал голод. Это-то как раз для молодого и выносливого организма было, пусть и не самой приятной, но всего лишь деталью. Семёна съедала его врожденная страсть к собиранию ягод ли, грибов ли. В колонне он проходил как бы по кромке ликующей природы, а все его естество желало одного: погрузиться в нее, пройти по пружинистому, мшистому ягелю; в счастливом порыве нагнуться над зовущими, провисшими под спелой тяжестью ягодами, подставить снизу пригоршню и, касаясь большим пальцем каждой ягодки по отдельности, сдаивать их в ладонь, наблюдая, как благодарно расправляются освобожденные упругие стебли и продолговатые темно-зеленые листики. Усилием воли он обуздывал это желание, старался не смотреть по сторонам, тушил свой взгляд на серых кепках и стриженых затылках впереди идущих. Но кто бы знал, как скорбела в эти минуты его мятежная душа!

Вольнонаемные и лагерная обслуга в благодатные деньки все свободное от службы и работы время паслись с разнокалиберной посудой на ягодных плантациях. Шла кипучая заготовка впрок витаминных даров севера.

В начале августа Семёна наконец-то расконвоировали. «Рыжье» и спирт, переданные через вертких людишек в нужные руки, чрезмерно способствовали этим самым рукам вывести правильные слова на характеристике трехфамильного заключенного. И стал-таки авторитетный лагерный мужик бес-

конвойным. Теперь он ходил, что за колючкой, что по другую сторону ограды, на прииски без дышащего в спину охранника. И пусть иллюзорная воля была четко ограничена лагерем, прииском и каменистой дорогой между ними, но все равно это был глоток свежего воздуха после череды затхлых лет, спрессованных и кандальных.

– Слышал я, Сеня, умелец ты по сбору разных ягод, – рябоватый конвоир явно старался придать своему грубому, прокуренному голосу мягкую, доверительную интонацию. – У меня есть к тебе предложение. Завтра группа заключенных под моим присмотром отправляется на заготовку дров. Я похлопочу, чтоб и тебя включили в нее. Но у меня два условия. Первое – я даю тебе два ведра под бруснику, ты набираешь: одно тебе, только потом посуду верни, второе мое. Другое условие – коль ты попадаешься за сбором ягоды начальству, – я тебя не посылал, отмазывайся, как сумеешь сам. Идет? Вот и ладушки, будем считать, что столковались.

Наутро так и вышло. Шагал Семён в колонне зеков с пилами и топорами, за спиной у него во вместительном вещмешке позвякивали пустые ведра. От деляны в лесистой лощине до брусничника на солнцепеке хоть и рукой подать, да только ведь это уже запретка, даже и для бесконвойных. Ну, да где наша не пропадала! А ягодка-то рясная, отборная! Вот она забарабанила дробью по дюралевому дну первого ведерка, да так мелодично и звонко, что душа Семена радостно подхватила этот извечный, бесхитростный мотив, и он стал тихонько напевать старинную русскую ямщицкую песню, сюжет которой хоть и драматичен, но вместе с тем и светел:

– Почему ты ямщик перестал песни петь,
Приумолк и какой-то угрюмый.
Колокольчик вдали продолжает звенеть,
Но тебя не слыхать, друг мой милый?

– Это было давно, год примерно назад,
Вез я девушку трактом почтовым.
Круглолица она и как тополь стройна,
И покрыта платочком шелковым.

Попросила она, чтоб я песню ей спел,
Я запел, и она подхватила.
Кони мчали стрелой по дороге степной,
Словно гнала нечистая сила.

Вдруг жандармский разъезд перерезал нам путь.
Тройка наша, как вкопана, встала.
Кто-то выстрелил вдруг прямо в девичью грудь.
И она, как дитя, зарыдала...

Только допел этот куплет забывший о том, где он находится, Семён, как и впрямь грянул гулкий выстрел. И второе, свободное пока ведро, стоящее в траве, выше того места, где он еще секунду назад сбирал спелую ягоду, сбитое пулей, покатилось по склону. Семён вжался телом в землю, а мысль чиркнула сознанье: бесполезно всё, коль ты как на ладони на этой злополучной брусничной поляне, видно, вторая пуля уж точно будет твоей. Однако вместо выстрела раздался зычный и хриплый рёв все того же кума со шрамом

через щеку: «Руки за голову! И медленно спускайся ко мне!». Семён прошел мимо перевернутого, с рассыпанной брусникой ведерка и стал спускаться по склону, сцепив руки на затылке и глядя прямо в свирепые глаза начальника лагеря. Странно, но чувства страха Семён не испытывал. Было жалко потоптанной, помятой ягоды и незадачливого конвоира, потеряно стоящего рядом с кумом.

– Кто позволил тебе на вверенной мне территории самовольничать? – начальник сверлил своими безжалостными глазами подошедшего зека. – Или это надо понимать как репетицию побега?! Так знай: от моей пули еще никто не уходил! Марш в карцер! А вам, сержант, на первый раз я делаю устное замечание. И впредь, чтобы подобного не повторялось. Бдительность не терять!

Начальник лагеря еще раз окинул свирепым взглядом Семёна, стоящего теперь между двумя автоматчиками, круто повернулся и бодро зашагал по дороге в сторону лагеря, вышки которого торчали вдали, над невысокими елями и осинами.

Глава восьмая. «А ТЫ ЗНАЕШЬ, НА АЛТАЕ-ТО РЕЗНЯ!»

Этого рослого горбоносого чеченца Семён знал еще по сусуманской пересылке. Тогда в неспешном разговоре за карточной игрой выяснилось, что они будто бы даже и земляки: только вот Семён ушёл в свое время от риддерских ищеек, а Иса судом этого городка был приговорен к восьми годам лагерей за драку и поножовщину.

В конце войны самонадеянный Сталин решил-таки, как он полагал, вековечную кавказскую сумятицу – взял и вырвал с корнем целые народы, которых не без определенной прозорливости еще Лев Толстой сравнивал с колючим, в ярких цветках, татарником при дороге. А «мудрый Иосиф» мановением великодержавной руки не нашел ничего более умного, как развеять живучие и злые семена упомянутого растения по всей России-матушке. Так, к примеру, во всех мало-мальски приспособленных к быту местах Рудного Алтая: в горной тайге на лесозаготовках, в рудничных поселках и городках под пристальным оком военных комендатур и отделов милиции теперь расселились изгнанные из родных гор общины чеченцев. Жили они вначале замкнуто, скреплённые между собой прежде всего суровым уставом горцев, ну и, конечно, горькой участью невольников режима. После войны им дали послабление, выразившееся в свободном перемещении по населенным пунктам, где они находились под надзором. Вот тут-то и вышел на передний план тот неприглядный и отталкивающий образ переселенцев, заключающий в себя наглость, вероломство и жестокость. Простые русские доверчивые люди, поначалу с сочувствием и состраданием отнесшиеся к привезенным во вшивых теплушках чеченцам, после того, как участились грабежи и разбои на улицах городков и сёл, а через те кварталы, где обосновались переселенцы, стало опасно проходить даже среди белого дня, эти коренные жители в ужасе отпрянули от пришельцев.

– Земляк, отойдем в сторонку, базар есть, – в черных глазах Исы Семён прочитал напряженное смятение, чего раньше с чеченцем никогда не случалось. Отошли под навес барака, и тут Иса тяжело выдохнул: – Резня у нас на Алтае неделю назад была. Один знакомый телефонист из охраны шепнул. Войска вводили, говорит. Что там сейчас творится? Кто жив, кто нет?

А случилось следующее. Напряжение между чеченцами и местными с каждым годом нарастало. Безжалостные горцы пытались установить свой, незримый для властей, но непререкаемый и обязательный для обычных людей беспредел. Уважая своих старцев, они ни во что не ставили ни женщин, ни стариков приютившего их народа. В магазинах молодые чеченцы расталкивали очередь и, нагло ухмыляясь, брали себе товары и продукты.

Схожее произошло и теплым июльским днем в привокзальном пивном павильоне Риддера. Эта пивная была на хорошем счету у любителей «жигулевского», поскольку находилась недалеко от пивзавода, снабжавшего ее всегда свежим и холодным напитком. Вот и сегодня только что поменяли бочки, из-за этой заминки наросла очередь, но мужики, а были здесь в основном навербованные со всего Союза на риддерские рудники бывшие фронтовики, терпеливо ждали открытия долгожданного окошечка, чтоб наконец-то получить из пухлых ручек разбитной и румяной Надюшки пару пенистых гранёных кружек. Окошко распахнулось и, первые счастливцы начали отходить к стойкам, торжественно пронося мимо очередных вожделенное пиво и сушёную рыбку в бумажных свертках. Безмятежную картину отдыха горняков после рабочей смены сломала группа задиристых чеченцев, с гоготом и выкриками ввалившаяся в павильон. Самый дерзкий из них сразу направился к окошечку, уверенно отодвинул стоящего первым низкорослого мужичка и ослепительно осклабился, наклоняясь к продавщице.

– Надюша, мнэ как всэгда. Только, дэвушка, болшэ пива, мэншэ пэны!

Очередь зашумела. Кавказец поднял свою шевелюру с кольцами черных вьющихся густых волос и отрывисто гаркнул:

– Цыц, или мигом пёрышком пощэкочу. Ну, кто пэрвый? Дава-ай!

Вперед вышел крепкий дядька с проседью в русых волосах и якорем, выколотым на сжатом кулаке правой руки.

– Встань в очередь, герой! – голос мужика был спокоен и тверд. – Людей надобно уважать, сынок.

– Ах ты, старая баржа, – чеченец мгновенно вскипел, – да я тэбя на кусочки парэжу и шакалам скормлю!

И он, чуть сбоку, метя в печень противнику, ударил ножом. Но в последнюю секунду неуловимым движением перехватив волосатую руку, крепыш мгновенно подвернул её лезвием в живот чеченцу и вдавил нож в подрагивающую плоть врага. Чеченец взвизгнул и, обмякнув, рухнул на заплеванный пол. Группа, пришедшая с ним, ощетинилась ножами и стилетами и бросилась на невозмутимого мужика. Но не тут-то было.

Разъяренные фронтовики, видавшие в своей жизни и не такое, дружно похватали кто кружки, кто стулья, а некоторые извлекли из карманов ножи. Резня в павильоне была скоротечной, лишь один из чеченцев сумел вырваться из кольца фронтовиков, пораненный, он, с выкриками на своем гортанном языке, добежал до двух станционных бараков, в одном из которых по горькой иронии судьбы жили русские семьи, в другом – чеченские. Что уж там накричал своим соплеменникам этот истекающий кровью чеченец, неизвестно. Но через несколько минут мужское население чеченского барака, лет от четырнадцати до шестидесяти, с топорами, кухонными ножами, один даже с чугунным, на углях, утюгом, ворвались в подъезды ничего не подозревающего русского барака и порезали, и растерзали всех попавшихся им на глаза, оказавшихся в квартирах в этот роковой час жильцов. Правда, недолго ликовали убийцы детей, стариков и женщин. Подоспевшие вербованные свершили свою расправу над чеченским бараком не менее жестоко.

В этот же день кровавые волны резни прокатились и по областному центру Усть-Каменогорску, где далеко не все из чеченцев ушли от преследователей вплавь по Иртышу, оставляя обагрённой картофельную ботву на прибрежной пашне. Полыхнули горняцкий Зыряновск и хлеборобная Шемонаиха. Ночью во все эти города были введены войска и объявлен комендантский час. Результатом стихийного бунта стали заполненные изувеченными телами городские морги, десятки осужденных с обеих сторон, и, кроме того, местное население дало понять, что и оно имеет предел терпению, и русский бунт бывает тоже страшным. В течение нескольких последующих лет, вплоть до хрущевской амнистии, когда многие чеченцы вернулись на Кавказ, таких кровавых разборок уже не случалось. К счастью для Семёна, никто из родни во время жуткой и замалчиваемой властями резни не пострадал.

Глава девятая. ЛАГЕРНАЯ ПОЛИТГРАМОТА

И еще одну лютую колымскую зиму перемог Семён со товарищи по золотоносной каторге. Теперь он числился в прочных старожилах. Ничего особенного в эти суровые снеговеи не случилось в их лагере, если не брать во внимание февральское противостояние мужиков с урками.

Изрядно обесцветилось сословие блатных за последние несколько лет. Кто-то из авторитетов отошел в мир иной, кто-то ссучился. У всех на памяти было недавнее событие, когда двое бывших воров в законе – Иван Костыль и чеченец Ваха – якобы встали на путь исправления. Эта широкая рекламная кампания была организована политотделом Дальстроя. А суть ее заключалась в том, что двое ссучившихся воров под усиленной охраной ездили по разбросанным аж до тундры лагерным пунктам и агитировали блатных немедленно рвать со своим прошлым, сулили бывшим корешам молочные реки с кисельными берегами, если те, конечно, перейдут на их, правильную, сторону. Но как поется в одной полузабытой песенке: «недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...». В конце четвёртой недели пропагандистского турне нашли активистов в комнате одной из поселковых гостиниц с отрезанными головами. Причем, и двое часовых при дверях, и отдыхающая смена охранников в соседней комнате во главе с политруком, отвечающим за это агитационное мероприятие, ничего не заподозрили и никого не заметили. А ларец открывался просто. Чрезвычайную комиссию, перещупавшую и перебравшую буквально все, до чего могли дотянуться руки, вдруг осенило проверить на надёжность не только окна и стены, а и деревянные, из сосновых досок, полы. Две широкие струганные плахи легко поддались, и членам комиссии открылся сухой и тесный лаз, который вел к дальней завалинке, в ней-то и находилась дощатая задвижка, искусно присыпанная снаружи, со стороны леса, снегом. Умельцев, как не тщились, не отыскали.

Однако брожение среди блатных расползалось по лагпунктам, уже и сявки лезли в рулевые, и шестёрки, которым здесь, на северах, имя было – «двенадцать пополам», мордовали теперь не только политических, а и доходяг-мужиков, чтобы те выполняли норму уже и за них. Схожая обстановка царила и в том лагере, где зимовал Семён. Шакальё зверело, урки проигрывали в карты не только телогрейки мужиков, но даже ватники и нижнее бельё соседей по бараку.

Два раза в неделю, после обеда, зекам выпадала краткая передышка. Либо замполит, либо сам начальник отряда проводил с ними политзанятия, где вслух прочитывались статьи из партийной газеты «Правда».

– ТАСС сообщает... – торжественным громким голосом начинает попка-замполит, окидывая самодовольным взглядом стриженную под ноль аудиторию, и с чувством продолжает: – Заключённые одной из американских тюрем в знак протеста против нечеловеческого обращения с ними охраны, объявили голодовку. Вся прогрессивная общественность Америки глубоко возмущена вскрытыми фактами издевательств тюремной администрации над бедными заключенными. Советский фонд мира выражает солидарность с голодающими и клеймит американских наймитов империализма.

Колымские зеки, которых попка-замполит приглашает проявить пролетарскую солидарность с заокеанскими «коллегами» по неволе, угрюмо отмалчиваются. Но замполит настаивает, и тут не выдерживает, поднимается со своей лавки Семён.

– Дорогой наш гражданин начальник, – также торжественно начинает он. С аудитории будто невидимая рука снимает воздушное покрывало легкой дремоты, зеки переглядываются: что-то отчебучит сейчас их неуёмный товарищ, – мы тоже, как и советский фонд мира, глубоко скорбим за наших друзей по несчастью в Америке, мы с ними во всем солидарны, так и запишите, гражданин начальник. А еще впишите, ежели вас не затруднит, нашу просьбу: пусть в знак пролетарской солидарности все те пайки, от которых отказываются американские зеки, они перешлют нам сюда, на Колыму. – Семён перевел дух и закончил: – А то ведь мы уже семнадцатый день не видим даже мёрзлого хлеба, одна пустая баланда с сушёной картошкой.

– Ты что себе позволяешь! – замполит властно поднял правую руку, чтобы перекрыть гул недовольства, прокатившийся по бараку. – Ты почему заостряешь вопрос на наших временных задержках с доставкой продуктов в лагерь. Всем известно – зимники перемело, бури-то какие ломали здесь всё! Через день-другой дорогу расчистят и всё уладится. А ты, Манаков, льёшь воду на мельницу врага, это тебе даром не пройдет.

Но, видимо, остатки совести где-то на донышке замполитовской души еще поплескивались. Это дерзкое, по сути антисоветское выступление Семёна дальше лагеря не ушло.

А быть может, разверстке политического дела помешали события, начавшиеся в зоне на другой день. С какой оказией и кто передал блатным из недалёкого вольного поселка фляжки со спиртом, тушёнку, галеты, осталось тайной, но к вечеру урки были навеселе, ну, а весёлых да сытых хлебом не корми, а дай порезвиться.

– Лапотники! Выходь на средину барака, – щербатый ухорез Чекмарь, пьяно пошатываясь, пробовал построить мужиков для одному ему известного спектакля. Подходил к нарам, стаскивал и сбрасывал на пол недавно пришедших с прииска зеков. Оголодавшие от пустой баланды, уставшие от кайлы мужики покорно сгрудились под тусклой лампочкой. – Я предлагаю вам честную игру в «очко», с каждым отдельно. Условия такие: мой выигрыш – ваша жизнь, если кто из вас обыграет меня – кружка спирта тому. Я как честный вор даю вам фору: можете бросить жребий, кто первый со мной сразится. Время пошло!

Блатные, рассевшись на ближних нарах, одобрительно загудели: мы, де, тоже имеем желание поучаствовать, и нам бы тоже по мужику для игры!

Семён уже укладывался спать, когда к нему подбежал запыхавшийся Валентин и сбивчиво рассказал о том, что творится в их, соседнем с Семёновым, бараке. Раздумывать было некогда. Значит, последней капле быть кро-

вавой. Семён собрал мужиков, послал троих оповестить в другие бараки, сказал, чтобы брали в руки всё, чем можно резать и бить, и злые и решительные мужики ворвались в барак, где уже начали разыгрывать жизни доходяг. Большое дело – единый порыв. Через десять минут все лагерные урки, избитые, без шапок, в разорванных кофтёнках и пиджаках были вытолканы на мороз. Зачинщик Чекмарь окровавленным мешком остался лежать посредине опустевшего барака.

Всполошилась охрана. Ослепительные лучи прожекторов расчерчивали стылое пространство, озлобленно лаяли овчарки. Огромная толпа мужиков, подгоняя пинками и тычками ополоумевших блатных, гнала их прямо на хорошо освещенную вахту, к воротам, у которых густой цепью встали автоматчики во главе с позеленевшим от злости кумом.

– Гражданин начальник! Отворяй ворота! Дай нам выбросить из лагеря эту поганую нечисть! И не вздумай стрелять! Нас тыща, все сметём! Даём тебе минуту на размышление, а потом всех урок мочим прямо здесь!

Нехотя, с тяжёлым скрежетом раскрылись ворота, и блатные сломя голову бросились прочь из зоны, туда, где хоть и лютый мороз, да есть шанс выжить.

Два дня бузила зона. Два дня урки стыли на снегу, согреваясь горячим пойлом в наспех натянутых палатках. Ультиматум мужиков был прост: любого блатного, вернувшегося на территорию лагеря, сразу же и кончат. На третий день подъехала колонна грузовиков, обмороженных блатных погрузили и развезли по другим лагерным пунктам.

Глава десятая. ШИЛА В МЕШКЕ НЕ УТАИШЬ

Пришло время поведать и о судьбе двух стукачей, скостивших себе сроки ценой жизни бывших подельников.

Март 53-го года. Утро. Морозный воздух настолько разряжен, что при выдохе глухо звенит пространство, а плевки замерзают на лету и о наст стучат уже окатышами. Сумрачная колонна заключенных угрюмо переминается на обледеневшем плацу, исподлобья наблюдая как не менее сумрачное – у многих почему-то припухшие и заплаканные глаза – руководство лагеря стягивается к низенькой, припорошенной снегом трибуне. Зеки с недоумением замечают, что даже сам свирепый кум в какой-то необъяснимой растерянности. Напряжение нарастает. Начальник лагеря выходит вперед и нерешительно стягивает шапку с кокардой. Вслед за ним обнажают свои головы и остальные офицеры.

– 5 марта перестало биться сердце вождя всех времен и народов великого нашего учителя Иосифа Виссарионовича... – куму не хватило дыхания, он всхлипнул, собрался с силами и почти выкрикнул: – Сталина!

Ошеломляющая тишина длилась секунд пятнадцать и неожиданно лопнула мощным рёвом «Ура-а!», слышимым далеко за лагерной высокой оградой. Помятые ушанки заключённых дружно полетели вверх. Люди ликовали. У опешивших потерянных офицеров вытянулись лица. Они еще с пяток минут помялись на плацу, и кум прорычал, что «сегодня в связи с кончиной вождя первого в мире социалистического государства объявлен всесоюзный траур, работ никаких не будет, дисциплинированно расходитесь по баракам».

Ветры перемен коснулись и этой, казалось бы, давно и бесповоротно закоченевшей от боли и смертей неласковой северной земли. К лету подгадала первая, бериевская, амнистия. Затем начали пересматриваться дела так называемых «врагов народа». Репрессивная пролетарская машина, как всегда увешанная крикливыми лозунгами и призывами, стала давать задний ход, выплёвывая на волю заглоченных ранее, да покуда уцелевших, как еще не так давно говаривал почивший намедни вождь: «временно изолированных». Так он выразился однажды в ответ на дотошный вопрос одного из иностранных корреспондентов, когда тот запальчиво спросил: сколько, мол, миллионов советских людей томится в тюрьмах и лагерях? Сталин ухмыльнулся в свои знаменитые усы и как всегда мудро и с расстановкой ответствовал: «Господин журналист должен бы знать, что в победившем фашизм СССР нет заключенных, а есть только временно изолированные граждане». И пожурил того, что, дескать, надо бы более дружелюбно относиться к стране-союзнице. И все присутствующие на пресс-конференции отодвинулись от этого корреспондента, как бы осудив тем самым незадачливого выскочку. По крайней мере, так растолковывал колымчанам уже известный нам попка-замполит.

Бурливая речка Быструшка, к середине лета мелея, отступала от обрывистых, подъеденных паводками берегов. В успокоившихся омутах, будто в глубоких тёмно-синих блюдцах с неровным окоёмом серого галечника, на дне ворочались тяжёлые налимы и таймени, по серебристым, переливчатым стремнинам, соединяющим эти омута, взмывали вверх по речке проворные хариусы. Заядлые рыбаки из вольнонаемных днями пропадали на Быструшке. И вот как-то под вечер трое из них перебрались через шивера по перекату и вылезли на мелкотравчатую прибрежную полянку, в глубине которой, перед светло-зелёной стеной листвяжного подлеска стояла могучая сосна. На одной из нижних, толстых веток её, хорошо видимые от реки, висели два мешка. Рыбаки заинтересовались, что бы это могло быть в столь отдаленном и нелюдимом месте. Подошли, глянули и в ужасе отпрянули: мешки были в тёмных пятнах от засохшей крови и густо облеплены жирными мухами. Да вдобавок от них пованивало так, что не каждый выстоит рядышком.

Прибывшие наутро из лагеря замполит, фельдшер и охранники с командой заключенных обрезали веревки, осторожно положили мешки на траву и раскрыли их. Окровавленные тела были голыми и исколоты, скорее всего, шилом, потому что раны мелкие, частые, напоминающие сито в бурых подтёках. Однако распухшие лица с обкусанными лиловыми губами были узнаваемы – ни одного укола шила на них не видать. Замполит, когда пригляделся к убитым, в сердцах матюгнулся, сплюнул, отошёл в сторонку, и уже больше не приближался, похаживая по-над речкой и временами досадливо сбивая прутиком головки скупых северных цветков. В трупах он признал тех двух «красных шапочек», что так тщательно оберегались лагерным начальством на протяжении полутора последних лет. И ведь освобождены-то они были чуть ли не втайне, и зону покидали вроде бы без особой огласки, подгадывали так, чтобы никого в этот день из освободившихся не выпускали из лагеря, под разными предлогами перенеся им день выхода на волю. Но все равно варначье как-то вызнало и подкараулило. И где сейчас искать убийц, когда сегодня по бесчисленным, хреновым амнистиям зеки пачками покидают лагеря. Да, жалко ребят, такими преданными псами служили и так зорко углядывали всякую мелочь в зоне, так красиво рапортовали, видно,

такой страх сидел в печёнках за предательство и смерть своих подельников, что лучше и не придумаешь. Верили, надеясь, что огородим и спасем их от расплаты, да вот не уберегли. Э-хе-хе. И замполит, ожесточенно сбив очередной цветок, вернулся к сосне, где заключенные уже прихлопывали лопатками небольшой холмик, под которым в мелкой могиле – мерзлота не дала вырыть яму на положенную глубину – нашли последний приют двое бывших блатных.

Глава одиннадцатая. «Я ЭТОГО ГАДА ЗНАЮ»

Прошёл еще один год послабухи. На Колыме теперь бывало различных комиссий и делегаций, наверное, больше, чем назойливых мух в вонючих хозблоках. Зимой Семёна перевели из их отдалённого от трассы лагеря в лагерь ближе к Сусуману, что означало по неписанным колымским законам грядущий пересмотр личного дела и возможное досрочное освобождение. Еще с осени закончил он при зоне краткосрочные курсы бульдозеристов, пригодился опыт работы с механизмами на Рубцовском танковом, опробовал на карьере, вгрызаясь стальным ножом в подорванную тротилом мерзлоту, силу гусеничного Т-50. Тогда же чуть было из-за этой железной громадины не отдал богу душу.

В негаданную декабрьскую оттепель они с напарником меняли лопнувшую звездочку на тракторе. Домкратом приподняли махину, подложили под ось деревянные колодки, и Семён заполз под днище, откуда сподручнее выбивать заклинившую переднюю звёздочку. Лишь два раза успел он ударить кувалдой с короткой ручкой. Звёздочка вроде бы подалась, но тут же накренился и весь бульдозер – вытаяла земля под одной из колодок – катки вдавились в рыхлый снег, и угол днища больно вжал через ватную телогрейку грудь Семёна в подтаявшую мерзлоту. Затрещали ребра. Перехватило дыхание. Если бы и дальше трактор продолжил свое сползание с колодок, Семёна бы раздавило как щепку. Но махина замерла. Перепуганный не на шутку напарник с минуту бестолково бегал вокруг бульдозера. Семён, пересиливая боль, прохрипел: «Давай за подмогой, не выдержу!». Парень убежал к бревенчатому гаражу, и скоро подъехал допотопный кран, место происшествия заполнили бесконвойные заключенные. Они деловито пропустили под днищем предусмотрительно захваченное с собой толстое бревно, чтобы трактор не смог вдруг продолжить сползание, после этого продёрнули трос под обеими наклоненными осями, и кран осторожно начал выравнивать бульдозер. Как только стало возможным, мужики бережно извлекли Семёна из-под нависшей над ним громадины и на куске брезента вчетвером понесли его в санчасть. Врач определил: месяц находиться Семёну в лазарете на голых досках без подушки и матраца – кроме ссадин и синяков были сломаны два ребра слева, а чтобы кости правильно срослись, нужна была жесткая постель.

Тягомотно вылеживать такому человеку, как Семён, без дела, и он, как только почувствовал, что вроде бы что-то там внутри срослось, сгрёб в сидор манатки и вернулся в барак. Вопросительно глянувшему на него отрядному он небрежно бросил: в лазарете, мол, мне скверно, жутко тошнит от запаха карболки, так что принимай назад, командир. Отрядный кивнул и поставил Семёна на довольствие. Он знал, что этот настырный зек все делает по-своему. Так, пару зим назад был с ним чудной случай, о котором потом с некото-

рым удивлением рассказывали в лагере. Возвращался однажды поздно вечером из поселка Семён, а ходил он тогда расконвоированным. Путь лежал через участок, где только что нарыли глубоких разведывательных шурфов – метр в ширину, два в длину, и до десятка метров вниз. Ночь тёмная, хоть выколи глаз. Семён понадеялся на свою зрительную память, да и в лагерь надо было успеть до вечерней поверки, поэтому не до бдительности, а лишь топай да топай подшитыми пимами по хрустящему снегу. Вот и рухнул камнем, как в пропасть, в свежий шурф, только свистнуло в ушах. Но в последнюю долю секунды инстинктивно успел Семён распереться по отвесным и стылым глиняным стенам локтями и коленками. Пока доехал до дна, стёр новые ватники на ногах и телогрейку в рукавах до дыр, а локти и колени прожёг до костей. Зато остался жив, правда, ночь протомился внизу, поминутно прикладывая иззябшие ладони то к нестерпимо ноющим и кровоточащим локтям, то к подкашивающимся онемевшим коленям. Утром зеки, приготовившиеся к спуску в шурф для продолжения рытья, ахнули, конвойные лишь покачивали изумленно головами, увидев вытащенного на верёвках из земли арестанта, которого уже успели объявить сбежавшим. Дивились, как он остался, низвергнувшись с такой высоты, жив, может, поэтому даже и в карцер не поместили, а от лазарета, после того, как были перевязаны бинтами раны, Семён и сам наотрез отказался.

Приходилось Семёну здесь, на севере, самому себе вырывать больные зубы. На четвёртый год одолела его цинга. Зубы гнили, выкрашивались, выпадали. А этот коренной вверху справа, вроде бы и разрушился, да, видно, корень оказался крепким, а вот нерв оголился. До того стало Семёну невмоготу, что хоть лезь на стенку, да кабы помогло! Промаялся день, к ночи думал, с ума сойдёт. Наконец собрался с силами и доковылял до соседнего, не жилого барака, приспособленного под сапожную мастерскую. На северах так заведено: сапожники днем спят, ночью, покуда зеки отсыпаются, чинят им обувь. Семён поздоровался с мужиками и попросил у одного из них плоскогубцы. Отошел в тень, достал из кармана початую бутылку спирта, полил горько напахнувшей жидкости на инструмент, давясь, отхлебнул большой глоток и сунул рифленые концы в десны. Нащупав и захватив корень, сдавил обмотанные липкой чёрной изолентой ручки плоскогубцев и резко дёрнул их изо рта. Боль вспышкой ударила в голову, полость рта наполнилась солоноватой слюной, зато корень вместе с волокнами дёсен можно было рассмотреть теперь под жестяным абажуром тусклого ночника. Остаток спирта выпили с сапожниками за здоровье всех присутствующих. Через неделю ранка во рту затянулась.

В придорожных перламутровых майских сопках с самого солнечного утра неведомая пичуга выводила простенький напев, мелодия которого напоминала звонкую и однотонную фразу: «скоро домой, скоро домой!». Семён и двое бесконвойных мужиков распиливали на деляне сучковатый сушняк на чурки. Стаскивали валежник и разделывали, уже выросла внушительная горка дров. Мужики были малознакомые, но вроде от работы не отлынивали. Раскряжевав очередную лесину, присели покурить, и вот оно начальство лагерное. Мужикам было известно, что в зоне сменился кум, но в лицо нового начальника лагеря до сегодняшнего дня никто не видывал. А он сразу взял быка за рога – начал с обхода приисков и прилагерных делян. Мужики встали, сдернули кепки с голов, цигарки подвернули в горсти. Но кум со свитой прошествовали мимо, лишь мельком глянув на вытянувшихся зеков, началь-

ство торопилось на карьер, что в метрах пятидесяти, за болотистой лощиной. Только они миновали зеков, у Семёна невольно вырвалось: «А ведь я этого гада знаю! Нелюдь!». Да и как было забыть ему того свирепого, со шрамом во всю щёку, офицера, что когда-то расстрелял порожнее ведерко на брусничном склоне. Соседи по деляне молча переглянулись и взялись за пилы.

Вечером в барак пришёл дневальный из срочников и велел Семёну следовать за ним.

– Ну, что? Видно, зря я тогда пожалел тебя, надо бы пристрелить. Ягодник хренов! – хрипло прорычал кум, лишь только Семён переступил порог его кабинета. Жесткое лицо начальника налилось кровью, безжалостные глаза так и сверлили заключенного, спокойно встретившего эти пустые молнии – времена на дворе нынче не те, и об этом знали они оба. – Ты думаешь, руки у меня сегодня коротки? Ох как же ты ошибаешься! Эти либеральные игры скоро закончатся, и уж тогда-то я тебя найду! От меня еще никто не уходил! А теперь пошёл вон!

Семён смерил долгим взглядом взбешенного кума и вышел из кабинета.

Утром Семёна упекли на самый отдалённый лагпункт, где он пробыл в северной тайге безвылазно восемь месяцев, пока в январе 1955 года прокурорские о нем не вспомнили. Был пересмотр дела, суд, амнистия, а коль нет поражения в правах, то хоть сейчас езжай на материк. Ты свободен!

Кто из двух пильщиков вперед донес на него куму, этого Семён не узнал никогда.

Глава двенадцатая. ХОРОША ТЫ КАЧКА В РЕСТОРАНЕ

У юркого ходкого буксира, на который устроился Семён матросом, работы в магаданском порту всегда хватало: то надо срочно вывести в море сухогруз, то проводить до пирса пассажирский лайнер. Иногда буксиру выпадало тянуть баржи в отдалённые посёлки вдоль колымского, скалистого побережья. Две цели определил для себя Семён, идя в матросы. Первая – заработать денег, поскольку тех, что при освобождении дали в лагере на дорогу до материка, давно уже и след простыл. Вторая, и основная, цель заключалась в том, чтобы всякими правдами и неправдами попасть в закрытый режимный город Владивосток, а там каких-то пару часов до Находки, где еще в тридцатых годах нашла себе приют раскулаченная семья старшего брата матери, Семёнова дяди, Константина Андреевича Лукиных. Их адрес сообщила Мария в одном из своих писем на Колыму.

Экипаж из десятка матросов, в просоленных бушлатах и тельняшках, с весёлым капитаном и молчаливым, требовательным боцманом Семёну пришелся по душе. Люди были разные, некоторые, как и он, недавно из-за колючки, в работе настырные, в гульбе бесшабашные.

Как-то выпала их буксиру передышка. А коли есть окошко в деле, айда, братва, кому очередь на берег. Сборы недолги, шлюпка ждать не будет. Гоните, братцы: ты, Петро – штиблеты, они у тебя лакированные, ты, Серега – пиджак свой твидовый, а ты, Сёма – брюки клеш. В городских кабаках фасонистым особый фарт! Знатно – вдрызг! – гуляли матросы магаданского пароходства. Команда буксира, покачивающегося на приливной, ночной волне, вполголоса переговариваясь, ходила по палубе и завистливо вздыхала, не ложась спать. И не только их экипаж, а и остальные суда, ночующие у

причала, тоже бодрствовали. Потому что главное действо начиналось за полночь, когда на освещённый фонарями пирс выезжал долгожданный грузовик-самосвал, кузов которого под завязку был набит пьяными до бесчувствия мореходами. Их по всем ресторанам Магадана собирала милиция и везла к тому месту, где они несколько часов назад твердым и жаждущим приключений шагом сходили на берег. Из кабины самосвала высовывался старшина и в рупор прокрикивал: «Капитаны! Разбирай каждый своих! Пока не померзли!». И повернувшись к шоферу, кивал: давай, мол, выгружай. Кузов медленно поднимался, и пьяные в стельку матросы кулями шмякались на пирс. Шлюпки от всех пароходов скользили к берегу, каждый экипаж отыскивал в шевелящейся куче своих бедолаг и доставлял на борт. Закон морского братства всегда исполнялся неукоснительно. Ведь в следующий раз увольнительная в город может осчастливить и тебя. И тогда уже тебе будут вручены все лучшие вещи, что имеются в личных чемоданчиках у экипажа. Тот, кто сходит на берег, одет должен быть с иголочки. И это тоже святое правило морских бродяг.

До мая проходил Семён на буксире. Получил приличные деньги, переговорил с капитаном сухогруза, идущего во Владивосток, и, несмотря на то, что ему, как недавнему зеку, въезд в режимные города был заказан, тот согласился взять Семёна матросом в рейс.

Глава тринадцатая. НАХОДКИНСКАЯ РОДНЯ

Дом за глухим забором, на одной из улиц Находки, уходящих в распадки субтропических сопок, Семён отыскал без труда. Постучал бронзовым кольцом в обитые железом ворота. Долго никто не выходил. Семён уж было решил перейти улицу и посидеть на лавочке, прилаженной снаружи у соседей напротив. Но внутри двора что-то звякнуло, громыхнул засов и ворота чуть приоткрылись. В широкую щель выглянул седобородый дед и негромко спросил: «Чего тебе надобно, парень?». Семён по синим глазам, высокому лбу и прямому носу узнал постаревшего дядю, у которого он часто с матерью гостил в детстве. «Не узнаешь меня, дядя Костя? Манаков я – Семён, сын Луки и Капитолины».

«Погоди, погоди, парень. Андрея у Луки знаю, Марию – помню. А вот тебя не признаю». «Да меньшой я самый. Вас когда ссылали, я пешком под стол еще ходил». «Погоди, погоди, обличье-то вроде наше. Капы и Луки сынок, говоришь, што ли? Ну, коли так, проходи в избу, гостем будешь».

Вечером, когда из грузового порта вернулись работающие там докерами два сродных брата Семёна Иван и Николай, в горнице уже был собран хороший стол. На домотканой скатерти, среди диковинных салатов из морской капусты и трепанга грудились салаты из редиски в сметане, возлёживали зелёные пучки лука с белыми, очищенными головками, рядом с мисками красной, зернистой кетовой икры соседствовали деревянные, долблёные корчажки с дымящимися, изящными, ручной лепки, пельменями. Нарезанный кусками, сочащийся каплями вкусного жира палтус горячего копчения был для куража переложен золотисто-обжаренной корюшкой-зубаткой. В ладных берестяных туесах, возвышавшихся рядом с запотелыми графинчиками с холодной, остуженной в голбце водкой, томился такой же студёный брусничный морс. Узорная, плетёная из тала плоская тарелочка полнилась ломтями домашнего пористого хлеба. Его накануне испекла тетка

Лукерья в русской печи, массивный шесток которой был виден в проём двустворчатой резной двери из горницы в куть.

– Со свиданьицем, Сёма, – Константин Андреевич в правой руке поднял гранёную на толстой матовой ножке рюмку, при этом левой торжественно оглаживая седую пышную бороду. – Выпьем за то, что как бы нас ни хотели угробить, а мы живы. Страшное колесо проехало по нашей родове: нет Луки, нет сестры, Андрей погиб под Москвой. Царствие им небесное и вечный покой. Где-то в Красноярском крае прижился брат Василий с семьей – не схотел глядеть, как переделывают, разоряют родимую деревню. А мы сколь хлебнули, когда с малолетними Коленькой и Ванюшей, в чем были, нас утолкали в товарняк и три голодных недели везли, как скот, а потом выгрузили в болота под Уссурийском. Чаяли, нехристи, – сгинем, пропадем. Не вышло по-ихнему. Все мы, слава Богу, сохранились. К концу тридцатых гнёт ослаб, и мы, почуяв это, перебрались сюда, к океану. Оно здесь и сытнее – море кормит, и паспорта выправили себе. А Николай наш, – дед кивнул в сторону внимательно слушающего отца чубатого синеглазого крепыша, – даже и японцев колошматил на Курильских островах. Ване не хватило лет, а то бы тоже помстил косоглазым за русско-японскую 1905 года, когда они отхапали у нас пол-Сахалина с островами. Я хоть и мальцом тогда был, да помню, как ревели бабы, оплакивая убиенных в Мукдене и Порт-Артуре мужей, сынов и братьев своих. Еще раз, Сёма, со свиданьицем, и – будем здравы!

Спустя неделю, крепко обняв напоследок вышедших проводить его прослезившегося дядю Костю, тётку Лукерью и братьев с их женами, Семён на попутном грузовике, обогнув по объездной дороге Владивосток, добрался до ближайшей железнодорожной станции. Там купил билет в плацкартный вагон до Новосибирска на скорый поезд «Владивосток – Москва», и вот уже колеса выстукивают на стыках немудрёную, но такую душевную мелодию: «Вперёд – домой! Вперёд – домой!».

Сразу проехать в Вишневую Семён решил погодить, а для начала посетить родню на Рудном Алтае.

ЭПИЛОГ

Минуло несколько лет. За это время отец съездил на Южный Урал, где продал родительский дом, а вырученные деньги поделил поровну с сыном Андрея, Юрием, превратившимся за эти полтора десятка лет в высокого плечистого парня. Тётя Мария, которую мы с младшей сестрой впоследствии звали только Лёлей, потому что она была нашей крестной, от причитающейся ей доли отказалась, сославшись на то, что у них с Иваном есть свой дом, и деньги брату и племяннику сейчас нужнее. Сродная сестра отца тётя Стюра познакомила его с нашей будущей мамой, Ниной Алексеевной, с которой она вместе тогда работала на хлебозаводе.

В первый год семейной жизни отец устроился бульдозеристом в геологоразведочную экспедицию, работал по заездам в тайге. А потом, присмотревшись поближе к новому родственнику, родной дядя матери Михаил Григорьевич Лямкин, в прошлом герой-партизан Белорусского полесья, а ныне командир отделения военизированного горноспасательного отряда при риддерском полиметаллическом комбинате, крепко похлопотал, и отца взяли в отряд бойцом. И это несмотря на то, что судимость еще не была снята, и на левое ухо отец был, как известно, глух с детства. Всё, однако, объяснялось

просто. У отца, прошедшего колымские лагеря, полностью отсутствовало чувство страха. Завалы в те годы и аварии на шахте случались едва ли не еженедельно. Породы слабые, осыпи, заколы. В штреке либо на подэтаже в камере обрушение, горняк придавлен кусками породы, надо спасать, нависают, готовые в любую секунду рухнуть многотонные расшевеленные каменные плиты. В этот ад добровольно вызывались идти бывший армейский разведчик Василий Федорович Антропов и бывший заключённый, мой отец Семён Лукич Манаков. Не один десяток человек спасли эти двое повидавших в жизни всякого горноспасателей. Наверное, поэтому на судимости и глухоту отца начальство закрывало глаза. И все восемнадцать лет, что проработал до ухода на пенсию, сначала бойцом, а затем и командиром отделения, отец, комиссию по слуху за него ежегодно на профилактических осмотрах проходил, в конце сороковых перебравшийся из Вишнёвой сюда, на Рудный Алтай, старший сродный брат Василий.

Сегодня я сам далеко уже не молодой человек. Посмотрел мир, пожил в нём, кое-что пережил. Что-то стёрлось в памяти, забылось, что-то хочется забыть, но есть и такое, при воспоминании о котором ком подступает к горлу, так жаль того, чего уже никогда не вернуть. А есть и одна, особенная картина в моей душе.

Мы жили в пятиэтажном доме в рабочем горняцком поселке на склоне, заросшем черёмухой и берёзами и заканчивающимся крутым обрывом, под которым грохотала горная белопенная река. За нашим домом и рядами кирпичных гаражей, по самой кромке яра предприимчивые горняки понастроили дощатых и шлаколитых сараев. В них держали кроликов, кур, поросят. Был такой сарайчик и у нас. Окна одной из комнат нашей квартиры выходили как раз на эти гаражи и дорогу к ним. Не однажды, не видимый отцу, я наблюдал через стёкла, как папка идёт по этой земляной, укатанной машинами и мотоциклами дороге с ведром наваристого пойла для наших поросят. Идёт он своей лёгкой походкой, а за ним, весело повиливая хвостом, бежит лохматый бездомный любимец дворовой ребятни, пёс Дружок. Отец, конечно же, останавливается, ставит на землю ведро, вылавливает из него куски каши и кладет рядом. Дружок подбегает и, не жадничая, аккуратно подъедает. А в это время из подвала нашего дома, через квадратные отдушины, каким-то своим сверхъестественным чутьем уловив, что их благодетель на дороге, выбираются живущие там кошки и, задрав к небу хвосты, радостно бегут к отцу. Он и им кладет отдельно на травку по кусочку. Поднимает ведро и продолжает свой путь к сараю, но теперь уже отец не один, а в окружении почётного эскорта из братьев наших меньших.

И вот именно эту картинку я считаю одной из самых трогательных и светлых, из всех тех, что хранятся в моей памяти.

Риддер, Рудный Алтай

Встреча в Находке. 1955 г.

Стоят слева направо: отец, мама, я, А. Мартынов. Сидят: А. и В. Тарановы, М. Лямкин, К. Лямкина (моя бабушка), Ф.Лямкина. 24 апреля 1966 г.

С родителями после службы в ракетных войсках.

ЦВЕТОК МОЙ ЛАЗОРЕВЫЙ

Глава первая

Чёрное бархатное небо с крупными вкраплениями алмазных, игольчатых от мороза созвездий было узорчато обрамлено заснеженными пологими крышами двухэтажных, взятых в просторный квадрат, бревенчатых бараков, свет из окон которых раструбами ниспадал на расчищенную трактором и уже обледенелую дорогу. На ногах у Егорки поскрипывали подшитые дратвой, хоть и старенькие, но тёплые валенки. Подошвы к ним отец его, Алексей Петрович Лукиных, сработал, обрезав высокие голенища своих толсто сваленных пимов. И теперь Егорка, едва поспевая за матерью, Галиной Георгиевной, одетой в стёганую фуфайку и нёсшей на коромысле по неполному ведру пойла для полуторагодовалой нетели и двух поросят, смело ступал на поблескивающий наст, не боясь поскользнуться и пролить дюралевый бидончик с похлёбкой, предназначенной лохматому, с разорванным надвое висячим ухом, Байкалу.

Пёс был помесь сибирской лайки с дворнягой. Егорка нашёл его ранней весной позапрошлого года щенком, жалобно скулящим в прорехе под завалинкой их барака. Кто ли его туда подбросил или пёсик сам пролез в сухие опилки, но, приложив немалые усилия, Егорка вытащил из потёмок на свет упирающегося щенка, ухватив того выше задних худющих лап за мягкий, с выступающими хрящиками ребер, неопушённый тёплый живот. Принесенного в квартиру щенка отпоили молоком, и отец в тот же день с одобрения Егорки дал сосунку звучную кличку – Байкал, и сколотил маленький, почти игрушечный, дощатый уютный домик с вырезанным круглым лазом, установив его у калитки внутри пригона рядом с большой пустующей собачьей будкой. На щенка сразу же надели кожаный лёгкий ошейник. Тяжёлую, кое-где проржавевшую цепь, оставшуюся от околевшего минувшей осенью от старости добрейшего Музгара, решили пока не трогать – дабы щенок, таская по пригону эти неподъёмные для него вериги, не надорвался, – а привязали Байкала на прочную капроновую верёвку.

За лето Байкал вырос в некрупного, но мускулистого бесстрашного пса, с широким торсом. Хвост его, торчащий над спиной, напоминал вздёрнутую вверх растеребленную запятую, уши мохнатыми треугольниками возвышались над умными глазами и несколько удлинённой мордой с влажным носом.

Однажды, уже сидя на цепи, Байкал изловчился и лапами через голову стянул с себя ошейник. Три долгих дня он где-то пропадал. Егорка обегал все ближние и дальние улицы и подворотни, сорвал голос, призывая своего лохматого любимца. Отец и мать как могли, успокаивали мальчугана: поносится, дескать, порезвится, да голод не тётка, никуда не денется наш Байкал – вернётся домой. И точно, на четвёртые сутки рано утром Алексей Петрович разбудил Егорку, радостно тронув его за голое, выпростанное из-под одеяла плечо:

– Будет тебе дрыхнуть, сынок, идём скорей в сарай – Байкал нашёлся!

Егорка спросонья аж подпрыгнул на постели и наверняка бы свалился

на пол, не подхвати его вовремя отец на свои мощные, в красиво перекрученных узлах мышц, руки.

Мальчишка быстро просунул ноги в штаны, набросил на плечи рубаху и, прежде чем последовать на улицу за отцом, возбуждённо пробежал через комнату к своему углу. Там среди детских машинок, деревянного раскрашенного самолёта с малиновыми звёздами на крыльях, пластмассовых солдатиков и пушек Егорка вот уже три дня скапливал для своего пса разные сладости: кусочки сахара-рафинада, ломтики халвы, леденцы. Все эти лакомства были аккуратно завёрнуты в ситцевый лоскуток. Спрятав его в карман штанов, Егорка вприпрыжку догнал широко шагающего Алексея Петровича.

Уже посаженный на цепь Байкал лежал в пригоне прямо на дорожке, натоптанной в траве-мураве поперёк калитки. Вид собаки выражал полное безучастие к окружающему миру. Глаза были прикрыты, пёс, казалось, дремал. Но тут он услышал детский крик:

– Байкал, миленький, – живой – дружочек!!!

Пёс встрепенулся, вскочил на лапы и – не простояв секунды, снова рухнул в пыль.

– Что с тобой, Байкальчик? Кто тебя так?! – Егорка, глотая слёзы, уже ползал по траве и пыли вокруг любимого пса, порываясь и одновременно боясь притронуться к кровоточащему, располосованному едва ли не до шерсти на лбу левому уху. Остальных ран на теле собаки не было заметно, но то, что они не только существовали, но и были глубокими, – об этом свидетельствовала невольная влага в печальных и виноватых глазах Байкала.

– Полно нюнить. Слезами горю, сынок, не поможешь, – отец присел рядом и, видя, как Егорка, утерев рукавом рубахи заплаканные глаза и щёки, но, всё ещё шмыгая носом, достал из кармана, развернул и бережно выложил перед мордой раненого пса ситцевую тряпочку со своими вкусными припасами, дружелюбно потрепал сына по вихрастой голове: – Вот это, Егор, правильно. Нашему драчуну для восстановления сил сладости в самую пору. А пока давай-ка я ещё раз осмотрю Байкала – не повреждены ли у него кости, да и раны надо обработать мазью дёгтя со сметаной. Принеси-ка из стайки – там, в ящичке на стене найдёшь – пузырёк с этим снадобьём. Я его с вечера, как знал, приготовил.

Байкал оклемался тогда дней через пять, но что примечательно, стал даже подвижнее: окрестных собак, коли выдавался случай, трепал так, что Алексею Петровичу, окажись он рядом, приходилось с усилием оттаскивать Байкала от обречённо хрипящих противников, вот только ухо, к великому сожалению Егорки, не удалось ни срастить, ни придать ему прежний вид. Так отныне и бегал Байкал: одно ухо торчком, а другое – раздвоено вися над зрачком.

Галина Георгиевна, не снимая с плеча коромысла, поджидала, пока сын нащупает и сдёрнет с калитки наброшенную алюминиевую петельку и распахнёт дверцу в пригон. Байкал радостно взлаивал из темноты, и Егорке угадывалось, как тот, забавно наклонив на бок свою удлинённую, с раскрытой пастью морду, скалится и сучит по морозному воздуху мохнатыми передними, стоя на натянутой цепи на задних лапах. Егорка на ощупь прошёл под навес и щелкнул выключателем. Вспыхнула лампочка под круглым жестяным абажуром на столбе и осветила тусклым светом не только их пригон, но и вырвала из мрака справа и слева два соседних, бросила неяркий свет на часть сплошной крыши общих сараев и заснеженную кров-

лю с печными трубами и редкими телевизионными антеннами только что обойдённого ими барака. Воображение мальчишки на миг живо дорисовало уходящую дальше вдоль штакетин расчищенную от снега дорожку, с просыпанной сенной трухой на обочинах, пологий спуск на прибрежную поляну, где до самого обрыва к реке громоздились смётанные с осени, похожие на припорошенные шлемы сказочных богатырей, стога пахучего зелёного сена. К каждому из них тянулась протоптанная санная тропка.

Не далее как в обед Егорка пособлял отцу нагружать широкие, с витыми берёзовыми полозьями рабочие салазки сенными пластами. Алексей Петрович ещё в августе, отыскав в черемушнике за рекой подходящую рогатулину, смастерил подросшему сыну лёгонькие деревянные вильцы – тройчатки, и теперь Егорка, наравне с отцом, перетаскивал от початого стога к саням пласты сена с фиолетовыми кисточками клевера и жёлтыми кнопками собранной в плотные розетки пижмы. Нагрузив салазки с шапкой, отец, прежде чем взяться за лямки, уминал и стягивал вывозимую копну верёвкой крест-накрест, а там уж впрягался, и весело перебирая ногами в стареньких, с подвёрнутыми голенищами серых бурках, выволакивал этот воз на дорожку, и тащил его, покряхтывая, вверх к сараям. Егорка, уперев вильцы сзади в копну и вкладывая в это все свои детские силы, помогал отцу вытаскивать воз с поляны. За три поездки к стогу наготовили отец с сыном сена рослой нетели на неделю. Вон оно, прикрытое брезентовой палаткой, покоится теперь на дощатом настиле в углу пригона.

– Егорушка, сынок, на вот – держи верёвку, – мать протянула, свитый в петлю, конец пеньковой верви. – Прогуляй Милку по улице, пусть промнётся перед сном, а я пока сена ей, сиротиночке, в ясли натаскаю.

То, что смиренная, игреневой масти, с белой звёздочкой во лбу, их нетель Милка – сирота, об этом Егорке было известно ещё с того промозглого сентябрьского дня, когда отец с другими мужиками, хозяевами соседних сараев, выводили из загонов жалобно мычащих коров, тёлок и быков.

Мужики угрюмо поглядывали на окружающих исподлобья, кое-кто, матюгаясь, в сердцах подхлёстывал бичами и прутьями сопротивляющихся и упирающихся животных. Дорога обречённым предстояла недальняя: городской мясокомбинат располагался на яру, за речной поймой. Иногда, когда ветер был с той стороны, до их улицы долетал сладковато-приторный и удушливый запах жжёных костей, а то и палёной шерсти.

Накануне этого невесёлого события, вечером, Егорка почему-то долго ворочался в кровати, не мог уснуть, и невольно стал свидетелем разговора между отцом и матерью, приглушённо доносящегося в спальню из-за кухонной перегородки. Егорка бы и не обратил никакого внимания на голоса из кухни, так как раньше наоборот шелест вечерних родительских бесед всегда ласково убаюкивал парнишку, и потом Егорке всю ночь снились разноцветные фантастические сны. Но сейчас он уловил в голосе матери всхлипы, это насторожило мальчугана, и он переполз на тот край постели, что был ближе к прикрытому плотными шторами дверному проёму на кухню.

– Плетью, Галя, обуха не перешибёшь, – донёсся до Егорки глухой, будто надсаженный, голос отца. – Надоел давно уже всем хуже горькой редьки со своими выкрутасами этот Никитка-клоун. Какой поганой волной вынесло его на властные вершины! Как могли доверить этому плясуну и прощелыге такую серьезную державу как наш Советский Союз! Я ведь, мать, знаком с

Хрущёвым ещё с фронта. Ну, не то чтобы лично встречался там с ним, а так, заочно – мы на передовой, а он в тылу в штабах отирался. Никитка был членом военного совета нашего фронта. И молва о нём катилась по окопам, не хуже дыроватой побрякушки.

– Да неужели, Алёша? Ты мне никогда об этом не говорил...

– А теперь вот, видишь, представился случай.

На кухне помолчали. Егорка лежал на постели с открытыми глазами и, хотя ему многое было непонятно, с интересом ждал продолжения отцовского рассказа. Послышалось, как Алексей Петрович кашлянул в кулак и негромко начал:

– Ребята в окопах, посмеиваясь, пересказывали о том, как загремел Никитка из Кремля на фронт в члены совета. Он же долгое время был приближённым Сталина, и чуть ли не впервые прославился на всю страну тем, что, когда хозяйничал на Украине, в коллективизацию устроил там жуткий голод. Это сейчас Никитка разоблачает культ личности, но всем известно, что у него самого руки по локоть в крови тридцать седьмого года, да и не только. А тогда, по словам однополчан, где-то году в 42-м, на одном из заседаний комитета обороны Хрущёв, когда к нему обратился по какому-то военному вопросу Сталин, в ответ такое сморозил, что генералы пришли в оторопь, а Иосиф Виссарионович помолчал, попыхтел своей знаменитой трубкой, да и выбил пепел из неё об лысую голову Никитки. Тогда-то Сталин якобы и изрёк: засиделся ты, дескать, Никитка в тылу, давай-ка немедленно отправляйся на передовую, да там ума-разума наберись. Так ли, не так ли было всё на самом деле, не буду утверждать, но этот кукурузник прославился у нас в войсках тем, что устраивал по штабам с тыловыми генералами такие пьянки-гулянки с плясками, что недобрый слух о них далёко раскатывался. Видимо, дошло и до Верховного, тот опять вызвал Никитку, устроил ему очередной разнос и убрал от нас. Тогда и наши генералы вздохнули облегчённо, а то ведь грешным делом записной скоморох чуть не споил многих. А как откажешься, коль у некоторых тыловых имелась такая слабина, да и начальство приказывает! В этой истории, по-моему, и Сталин оказался не шибко дальновидным. Нет бы – разом прибить, глядишь, и нам бы намного легче стало жить без хрущёвских вывертов, и не надо было бы сегодня голову ломать, куда девать лишнюю скотину. Ишь, удумал чего: кормилицы – и лишние!

Было слышно, как отец встал из-за стола, скрипнули покрытые домотканными половиками крашеные доски пола, это означало, что он нервничает, а когда так бывает, то Егорка знал, что отец сейчас будет несколько минут прохаживаться по кухне от порога до окна, пока не успокоится. Но вот до чуткого детского уха донеслось, как под весом усаживающегося заскрипел огранёнными ножками табурет, значит, всё, папка взял себя в руки и вернулся к застеленному цветастой клеёнкой столу.

– Это ж надо так распорядиться: оставить каждому, кто занимается домашним хозяйством, всего лишь по одной голове крупного рогатого скота, не больше двух поросят и пяти куриц! А всё поголовье лошадей, что имеется у колхозников и жителей городов, – вообще пустить под нож, на колбасу. Никак в толк не возьму: чем уж эти-то трудяги не угодили Никитке? А в деревнях чего натворил! Помнишь, тётка Катерина весной гостила у Фёдора из пятой квартиры? Она, оказывается, из Гольцовки, что от вашей Черепановки в сорока верстах. Так вот, старуха жаловалась – нет, мол, житья в деревне никакого. Раньше-то они там жили больше не на трудодни, а каждый со своего огорода, всё-таки пятнадцать личных соток – хорошее подспорье

в хозяйстве. Никитка, мало того, что колхозы превратил в совхозы, так он ещё умудрился урезать эти сотки до двух на семью, зато обязал всех разбивать перед избами палисадники со скамейками. Для того, якобы, чтобы у селян повышался культурный уровень. Теперь будем ждать, чего ещё отчебучит этот плясун неугомонный!

Егорка скорее почувствовал, нежели расслышал, как отец горько усмехнулся и после короткой паузы с нажимом добавил:

– Так что, мать, по всему выходит, что топать нам до обещанного партией скорого коммунизма с пустыми животами! Вот деятель так деятель – другой раз подумаешь: а не точно ли он, как говорят – с луны свалился.

Отец ещё раз глубоко вздохнул, и в кухне опять воцарилась тишина. Однако этот любопытный разговор пока что не прояснил для Егорки главного – из-за чего же всё-таки всхлипывала мать, но уж, наверное, точно не оттого, что, по словам папки, топать им до непонятного коммунизма непременно с пустыми животами. В то, что может такое случиться, Егорка не сильно-то и верил, потому что он, как никто другой, знал, что у них с младшей сестрёнкой Алёнкой, сладко посапывающей в своей кроватке у противоположной стенки, папка и мамка самые трудолюбивые и заботливые из всех больших людей, известных им с сестрой. И поэтому мальчуган для себя твёрдо решил, что хоть и нехорошо подслушивать разговор взрослых, но он всё равно дослушает родителей до конца и обязательно узнает причину материного плача.

– А нам-то что делать, Алёша? – тихим голосом прервала затянувшееся молчание мать. – Кого из скотины оставим – Красулю или Милку? И куда девать Буяна? Его и колоть рано – неделю назад всего пять месяцев исполнилось. И оставить, скорее всего, не дадут. Вчера в магазине, в очереди за хлебом слышала, как бабы сказывали, дескать, кто не отбавит скотину по Указу, придут уполномоченные с милицией, отсчитают при хозяевах сколь положено оставить, а прочих всех постреляют прямо в ограде. И тогда уж, мол, думайте сами – куда убоину девать. Хоть бы дали сроку до холодов, пусть бы и до Октябрьских праздников, пока снег не упадёт, и морозы не встанут. А то сейчас-то, по теплу, ума не приложу – куда определять мясо, у нас же нет ни холодильника, ни даже ледника в ямке.

– Оставлять надо Милку, она по моим подсчётам должна в начале марта отелиться. Как-нибудь перезимуем без молока. Красуля уже восьмым телком ходит, вроде и не старая ещё, однако напор у неё слабеет, да и у нас особого выбора нет. Буяна хочешь, не хочешь, а тоже придётся свести на скотобойню. Сама же говоришь: иначе постреляют. Излишки сена продадим, но думаю, большого барыша с продажи иметь не будем – таких, как мы, сейчас пруд пруди.

Егорка, как услышал, что они останутся в зиму без молока, так ему сразу сделалось ещё грустней, потому что без этой вкуснятины он и за стол-то не садился. И даже если случалось, что ничего не было в доме поесть кроме молока и куска хлеба, то и тогда Егорка не горюнился. Он крошил в кружку хлебный мякиш и корочку и маленькой ложкой с причмокиванием выхлебывал досуха эту сытную тюрю.

Отец и корову-то, по рассказам матери, купил, едва ли не в тот же день, когда придя в каменный трехэтажный роддом, прочитал в приёмном покое в списке, вложенном в рамку за стекло, что у роженицы Лукиных – сын. Вес – 3 килограмма 800 граммов, рост – 52 сантиметра. Ошарашенный Алексей Петрович минуты три перечитывал эту будто горящую, написанную торопливым, но вполне разборчивым почерком строчку в середине списка. Неиз-

вестно, сколько бы это продолжалось, если бы не замешкавшийся на крыльце, и вошедший следом старший брат Филипп. Едва пробежав глазами по списку, он дружески сгрёб брата в охапку и закружил по кафелю приёмного покоя. Дежурившей за столиком у окошка медицинской сестре с трудом удалось остановить этот медвежий танец двух огромных, и, видимо, совсем потерявших рассудок от счастья мужиков. Из переданной тут же от жены записки молодой отец узнал, что сынишка здоров, аппетит у него отменный, и что малыш как две капли воды похож на папку.

– Слушай, брат, я здесь вот о чём подумал, – обратился к Филиппу новоиспечённый отец, когда братья вышли на живописный, с фонтаном и скамейками между цветочных клумб, дворик при больнице. – Нет ли у тебя знакомых, кто бы продавал дойную корову?

– Почему нет. У нас в смене работает мастером Феклистов Александр Иванович. Да ты его должен знать. Он живёт на Гавани. У его тестя на Луговатке пасека и скотины полный хлев. Можно с ним поговорить.

Алексею, конечно же, был знаком Феклистов, да и Гавань от их улицы не так далеко, всего лишь миновать депо и, обогнув гору Каменушку, с километр пройти по тропинке на откосе вдоль поблескивающих рельс и просмолённых шпал узкоколейной железной дороги.

Странное это, отдающее морским солёным прибоем, название северо-восточной окраины их горно-таёжного городка Феденёва объяснялось довольно просто. Зимами в верховьях реки Журавлихи бригады лесорубов заготавливали древесину для нужд горно-обогатительного комбината, в том числе и на рудничную стойку. Весной, в паводок, лесорубы сталкивали брёвна в реку. Те молем катились по бурным волнам вниз по ущелью. Верстах в семи Журавлиха выбивалась на равнину и сбавляла своё бешеное течение. Здесь-то, на очередном изгибе своенравного, слегка успокоившегося потока, были установлены бревенчатые, набитые валунами срубы ряжей, и наполовину перегораживала реку запань. По дощатым, на высоких сваях мосткам, брошенным между берегом, ряжами и запанью, в весеннюю и летнюю страду весь световой день бегали крепкие мужики в резиновых болотниках, вылавливая баграми сплавленные брёвна и направляя их в вырытый рядом и заполненный стоячей водой спокойный затон, который всем своим видом напоминал тихую гавань. На берегу, оснащённый лебёдкой, конвейером с транспортёрной лентой, погрузочным краном и штабелями раскряжёванной древесины, располагался нижний склад.

Со временем, сначала рядом со складским забором, а позже и заползая сараями и огородами в ближайшие черёмуховые лога, как грибы после дождя стали вокруг склада и по направлению к городку вырастать добротные усадьбы работников леспромхоза.

Надобность в молевом сплаве отпала после того, как пленными немцами и навербованными со всего Советского Союза добровольцами из Феденёва, на сорок километров по ущельям и плато дальше в горы, была проложена узкоколейная железная дорога. С её постройкой появилась возможность брать лес из отдалённых и труднодоступных мест и доставлять его на платформах с высокими ригелями прямо на лесозавод, от которого до рудников рукой подать. Нижний склад и запань разобрали, однако люди, обжившие приречную долину, не снялись с места, а, наоборот, с каждым годом окраина эта всё больше и краше разрасталась. Наиболее предприимчивые из жителей столбили себе в недальней тайге участки, где разводили пчёл, выпасали скотину.

Вот оттуда-то и привёл Алексей Петрович на выхлопотанное накануне у городского земельного начальства подворье их первую корову – Жданку. Осваивать ведение домашнего хозяйства чете Лукиных долго не пришлось. Галина Георгиевна знала подход к корове, ведь она родилась и до семнадцати годов прожила в деревне. Отец её, крепкий крестьянин предгорной алтайской равнины, как и многие его ровесники-земляки, погиб на фронте. В их небольшом колхозе, где председательствовал непутёвый младший брат гремевшего в годы войны на всю Сибирь руководителя огромного животноводческого хозяйства «Заветы Ильича» Шумакова, дела шли ни шатко, ни валко. Тимошка, так за глаза называли разухабистого братца, больше занимался тем, что заигрывал и гулеванил с некоторыми податливыми и озорными вдовами и солдатками. Времени на то, чтобы жилы рвать, поднимая урожайность зерновых и повышая привес и удои бурёнок, не оставалось. Колхоз хирел, люди всякими правдами и неправдами разбегались кто куда.

Старший брат мужик был нрава крутого, дважды принародно прямо в конторе Тимошке расквашивал нос, трижды выкидывал его вместе с полупьяными товарками из расписных дрожек в жирную грязь, да разбрасывал их настолько хлёстко, что шарахался мерин в оглоблях, но всё это слабо помогало. Больно сладка была вольная жизнь на колхозные денежки.

Гулянки и развеселые похождения Тимофея закончились ранним мартовским утром, когда его чуть тёпленького, в одних кальсонах, из перин очередной пассии два молчаливых милиционера, хрустя и ломая коваными каблуками хромовых сапог настывшие за ночь корочки льда, проволокли от избы до прибывшего из района воронка. Старший брат или не захотел, либо не смог, но не отвёл Тимошку от пяти лет лагерей. Где тот, впрочем, скоро и сгинул.

Однако к описываемым событиям Галины уже в деревне не было. Годом раньше девушка через двоюродную сестру, работавшую в сельсовете, тайно выправила себе паспорт и перебралась в горняцкий Феденёв, где к тому времени обитало немало сбежавших ещё раньше из деревни односельчан. Они-то и поспособствовали устроиться Галине зарядчицей в ламповую на одну из шахт. Там, у копра, она и познакомилась с улыбчивым проходчиком Алексеем Лукиных.

Долго ещё в тот памятный сентябрьский вечер проговорили на кухне родители, но сон сморил-таки мальца, и Егорка не заметил, как растворился, но не как обычно в разноцветных и фантастических видениях, а в чём-то ватном, бесцветном и вязком, похожем на огрузлый мартовский сугроб в подворотне, из которого так трудно выпрастывать свои, забитые мокрым снегом, валенки. И на следующее утро отец еле добудился Егорки. Начавшийся пасмурный день, когда над их рабочим околотком стоял трубный рёв и из соседских сараев сводили изо всех сил упирающихся коров и быков, мальчик шатался по пригону вялый, будто сам не свой. В другой раз мать бы непременно всплеснула руками: уж не захворал ли наш сыночек? Но сегодня, как заметил Егорка, – родителям было не до него. И поэтому он походил, побродил по подворью, да и пристроился на брёвнышке рядом с Байкалом.

Пёс лежал, положив морду на передние лапы, и посматривал умными и печальными глазами на происходящее вокруг. За те дневные часы, в которые случился исход изрядной половины бессловесных соседей по подворьям, Байкал, словно придавленный непостижимым для человека пониманием и предвосхищением развернувшихся событий и перемен, ни разу не вскинулся на цепи, ни на кого не залаял, ни на людей, ни на обречённых живот-

ных. Единственный раз у собаки вздыбилась шерсть на загривке, и она пружинисто подскочила со своего места – это когда отец с матерью вывели из сарая Красулю с Буяном, и, подстёгивая прутом, погнали их мимо пса к открытой калитке. Егорка испуганно встрепенулся, ему вдруг показалось, что Байкал сейчас ухватит корову или телка за ногу и прокусит им сухожилия. Однако произошло нечто удивительное: Байкал дотянулся до правой передней ноги коровы и лизнул той мохнатые бабки чуть выше матового, в чёрных разводьях копыта. Несмотря на то, что Алексей Петрович держал верёвку в натяг, Красуля сумела наклонить голову и успела в ответ провести своим шершавым языком по шерсти на собачьей спине. Животные словно прощались. Видевший всё это отец ещё крепче стиснул зубы и на широких скулах его заходили желваки.

Этим же вечером, но ещё засветло, помогая Галине Георгиевне управляться в хлеву, Егорка впервые и услышал, как мать, подставив ведёрко с пойлом, привязанной за рога к яслям на пеньковую верёвку Милке, обмакнула кончиком ситцевого платка влажные глаза и тихо обронила:

– Сиротиночка ты наша...

После этого, подавив тяжёлый вздох, мать погладила уткнувшуюся в ведро нетель по завитку шерстистого льна ниже широкого основания рогов. Словно почуяв состояние хозяйки, Милка оторвалась от пойла, подняла голову, взглянула на неё сбоку и неожиданно доверчиво ткнулась горячим своим носом Галине Георгиевне в подол. Мать присела, обхватила нетель руками за шею и прижала голову Милки к груди. По материнским щекам ручьём катились слёзы. Увидев это, Егорка в первый миг так и замер, но уже через несколько секунд он был рядом с матерью, и одной рукой обнимая её, другой, оглаживая бок нетели, звонким срывающимся детским тенорком приговаривал:

– Мамочка, миленькая, не плачь! Всё будет хорошо. Зимой наша Милка принесёт нам маленького телёночка, и мы с Алёнкой будем любить его больше всех на свете! Мамочка родненькая, не надо так сильно плакать.

И вот сейчас, под игольчатой роскошной люстрой январского куполообразного неба, которая особенно хорошо и объёмисто смотрелась со спуска к стогам, Егорка, вспоминая и заново переживая те осенние события, бережно водил по дорожке заметно отяжелевшую за последние дни Милку от сараев до обрывистого берега скованной льдом Хайриузовки. Мальчик решительно уминал ногами упавшие с бордюров на прохожую часть спрессованные снежные комки, а в голове у него, подобно раскатам колокола, с каким-то обвальным и восторженным вызовом звучали пронзительные слова одной из самых любимых и часто исполняемых в их семье песен отца:

Врагу не сдаётся наш гордый Варяг,
Пощады никто не желает!..

Глава вторая

Заканчивались зимние школьные каникулы. Через два дня за парты, снова дисциплина, уроки, словом, жизнь по расписанию. А пока что можно целый день носиться с клюшкой, гоняя с соседскими ребятами на коньках-снегурках по накатанной до блеска дороге вместо шайбы отполированные

куски льда, и забрасывать их друг другу в ворота, обозначенные комками стылого снега.

Вот и сегодня всего только раз за день забежал Егорка домой, выпил из охлаждаемой на окне литровой банки всё молоко, приносимое по утрам соседкой, выловил кусок мяса из кастрюли с борщом, прихватил корочку хлеба, и опять на улицу, где он ну никак не мог пропустить очередную хоккейную баталию. Едва Егорка торопливо дожевал хлеб с мясом, и только они разбились на две команды, чтобы сразиться на клюшках, как из-за барака вышла ватага ребят постарше. Малышня насторожилась, потому как все знали, что от этих больших пацанов всегда можно ждать какого-нибудь очередного неприятного подвоха.

– Ну что, шпана, играть-то бросили? Небось, нас испугались? – отшвырнув в сугроб щелчком окурок, громко обратился к сбившимся в кучу хоккеистам долговязый, с прыщами по скулам, ватажный верховода Васька Богомол. Прозвище это он получил за свой рост, худобу и нескладность. А ещё за то, что всех, кто слабее его, Васька постоянно старался поддеть и обсмеять, а то и одарить обжигающим подзатыльником. – Не бойтесь, мы сегодня добрые. Верно, братва?

Ватажники в ответ дружно, как по команде, хохотнули и придвинулись ближе к игрокам.

– По закону военного времени мы конфискуем всё ваше оружие! – продолжал витийствовать Васька словами одного из героев недавно показанной в местном клубе кинокартины про революцию, в то время как дружки его, обступив юных хоккеистов, пробовали вырвать у тех клюшки. – За сопротивление – расстрел на месте! Отдавайте по-хорошему, поиграем – вернём. Не хотите по-хорошему, пожалеете, – переломаем эти палки об ваши же сутулые хребты!

В Егоркину клюшку, которую он сам выстругал из берёзовой гнутой ветки и обмотал на изгибе черной липкой изолентой, вцепился Сашка Сундук. Паренёк этот учился на класс старше и до недавних пор они даже, бывало, вместе ходили по обсаженной по обочинам яблонями-дичками бетонке в школу. И если выпадало перед уроками свободных несколько минут, то один из них обезьянкой вскарабкивался по стволу вверх за ранетками, другой сторожил внизу портфели и стаскивал в одно место сбрасываемые из ветвей кисло-сладкие яблочки. Потом ребята делили всё поровну, рассовывали добычу по карманам и вприпрыжку бежали в школу.

Но после первой четверти Сундук перестал утрами дожидаться Егорку на скамейке у сворота с их улицы на бетонку, у Сашки теперь появились другие друзья – ребята постарше. И хотя он был там пока что всего лишь на побегушках, но разве кто нормальный вернётся из школы назад в детский садик? Вот и Сундук стал поглядывать на своих прежних товарищей свысока, а сейчас так даже и принял участие в отъёме у бывшего друга клюшки. Набычившись, они стояли друг против друга, и некоторое время тяжело сопели, перетягивая клюшку каждый к себе. Первым не выдержал Сашка Сундук:

– Не жмись ты, Егорка, дай поиграть! – видно было, что с новой своей ролью – одного из полновластных хозяев их улицы – Сундук пока не вполне освоился, что-то в нём ещё оставалось от того лопоухого крепыша, который бесстрашно лазал по тонким и хрупким ветках кривых яблонь. – Не трухай – не сломаю!

– Что, Сундук, кишка тонка! – Васька Богомол цвикнул сквозь зубы на

дорогу длинной слюной. – А ты, мелюзга сопливая, чего ардыбачишься? Ну-кось, давай свою палку сюда!

Васька ловко ухватился за черенок и резко рванул его на себя. Сундук успел вовремя разжать пальцы и отскочить в сторону, а Егорка всё также намертво вцепившись в клюшку, полетел прямо на Богомола, сходу больно ткнулся лбом тому в подбородок, и они вдвоём растянулись на снегу. Васька прикусил язык, выпустил из рук черенок клюшки, нервно столкнул с себя пыхтящего Егорку и, взбешённый, вскочил на свои ноги-ходули.

– Ах ты, червяк навозный! Счас ты у меня схлопочешь!

Богомол, у которого с губы на подбородок струйкой сочилась сукровица, приготовился точным ударом в лицо сшибить с ног поднимающегося Егорку, однако тот разгадал намерения противника, быстро отпрыгнул в сторону и, защищаясь, отчаянно выставил перед собой так и не отданную никому клюшку.

– Только попробуй, сунься, всю морду клюшкой расквашу!

Васька невольно попятился, сглотнул смешанную с сукровицей слюну, посмотрел на стоящих сбоку ватажников, и неожиданно его угрястая физиономия расплылась в широкой улыбке.

– Ещё бы я руки свои не марал об мелюзгу. Мы сделаем по-другому.

Богомол поискал взглядом в толпе Сундука и, найдя, выбросил в его сторону правую, облачённую в потёртую кожаную перчатку, худую руку.

– Сундук, а не слабо тебе потренироваться на этом духарном психе? Заодно и ребятам покажешь, как ты умеешь махаться. Да и весовые категории, я вижу, у вас одинаковые? Верно ведь, пацаны?

Братва одобрительно загудела и захмыкала.

– Да уж точно, Васёк, один к одному.

– Покажи, Сундук, духарному кузькину мать!

Егорка всё также стоял, ощетинившись клюшкой, но сейчас он был один против всей ватаги. Соседские ребята, боясь, что и их начнут стравливать между собой большие пацаны, незаметно, один за другим разъехались на своих снегурках по домам. Ещё раньше привлечённая ссорой братва оставила на время в покое и их самих, и их клюшки. Однако, по неписанным законам улицы бить гурьбой одного было категорически запрещено. Это среди детей фронтовиков считалось самым несмываемым позором, и приравниваясь по дворовому кодексу к предательству, клеймилось обидным словом – «фашист». Точно также улица не одобряла, когда били лежачего.

Братва в предвкушении зрелища, всё больше задирала стоявшего с клюшкой наизготовку Егорку.

– Слабак ты, малый! Брось клюшку и выходи на честный бой с Сундуком!

– Да он тебя в два счёта размажет по дороге!

– Не-е, пацаны, Егорка парень крепкий. Спорим, он Саньку накостыляет!

Это изворотливый Богомол, чтобы раззадорить противников, сделал вид, что будто бы принял сторону Егорки:

– Надо помочь пацану снять с валенок снегурки. Не должен же он пинаться коньками. Эй, кто-нибудь расшнуруйте!

– Вот так-то лучше. Сундук, ты готов?

– А то как же! Счас намылю шею этому духарному!

Чувствовалось, что Сашка слегка неуверен в себе перед боем, но не драться уже нельзя: мало того, что откажись он сейчас – после изведут насмешками, запросто могут ещё и отлупить, перед тем как вышвырнут навсегда из

своей команды. Поэтому Сундук, сделав стойку, на ватных ногах стал приближаться к исподлобья глядящему на него Егорке. Коньки и клюшка которого бесприютно лежали с краю дороги на снежном бруствере. Ожидалась драка, и никому до них теперь не было дела.

Не доходя метра до противника, Сундук неожиданно ударил правой ногой Егорку в бок. Егорка пошатнулся, но устоял. А вот второй пинок он ловко перехватил снизу рукой и, задрав ногу Сундука вверх, опрокинул того на снег. Здесь нет бы навалиться на лежащего Саньку всем телом, придавить к насту и удержать, но Егорка ничего этого не сделал – ведь лежачего не бьют! – а остался стоять и ждать, пока тот не поднимется на ноги.

Ватажники, взяв драчунов в широкий круг, весело улюлюкали, подначивая Сундука показать всю свою силушку и отомстить духарному за унижение. Мальчишки ходили по кругу и молотили друг друга кулаками, куда попало. У Егорки уже горела щека и набухала разбитая губа. У Саньки текла кровь из разбитого конопатого носа и саднила скула. Силы были примерно равными, и поэтому конца драки пришлось бы дожидаться не скоро, если бы Богомол вдруг не выставил свою ходулю позади Егорки и тот, пятясь, не запнулся за неё и не опрокинулся навзничь. Сундук великодушия проявлять не стал, прыгнул на лежачего противника, и давай валтузить Егорку почём зря. Ватажники аж заплясали от удовольствия, бурно одобряя явную победу своего товарища. А Егорка только и успевал уворачивать разбитое лицо от безжалостных кулаков Сундука, пока нахлынувшие от обиды и несправедливости слезы не застили ему весь белый свет.

– Всё, Сундук, слазь с духарного! – из какого-то туманного далёка донёсся до Егорки покровительственный голос Богомола, удары прекратились, и он почувствовал, как Саньку оттаскивают в сторону и ему становится легче дышать. – А то ещё ненароком убьёшь сопляка, а нам потом отвечать! Пошли, пацаны, здесь ловить больше нечего.

Напоследок, когда остальные уже сворачивали с улицы на дорожку к баракам, Васька Богомол, словно вспомнив что-то, вернулся к отползшему к бордюру Егорке и, нагнувшись, приблизил своё угрястое лицо к его голове так близко, что мальчугану ударил в нос запах табака, смешанный с вонью гнилых зубов.

– Что, гадёныш, получил?! Ишь, как зырит! Так бы и сожрал всех! Ты зенки-то притуши, не то так врежу по лбу, что в воздухе переобуешься!

Однако Егорка, не обращая никакого внимания на угрозы, продолжал смотреть Богомолу прямо в глаза, не моргая и, наверное, во взгляде его было столько ненависти, что Васька смешался, отвёл свой взгляд и, сплюнув себе под ноги, побежал догонять ватажников.

Егорка поднялся, набрал в пригоршню снега и приложил к горящим щёкам. Через минуту, когда немного полегчало, он подхватил коньки и клюшку и шаркающей походкой направился домой. На лестничной площадке между этажами Егорка разбитыми пальцами снял щеколду с дощатых крашеных дверок их кладовки и бросил вовнутрь коньки и клюшку. Прикрыв дверки, мальчуган подошёл к высокому окну, из-за частых горизонтальных перегородок похожему на развёрнутую и поставленную стоймя гармошку, и уткнулся лбом в холодное стекло. Успокоившись, Егорка поднялся по лестнице на второй этаж и взялся за фигурную ручку, утеплённой ватой и обитой чёрным блестящим дерматином, двери своей квартиры.

Отец сидел за столом спиной к окну и ужинал, мать хлопотала у печи. Она обернулась на шум открываемой входной двери.

– Вот и Егор поспел как раз к столу. Сынок, лапши набрать?

– Не, мама, не хочу.

Между тем Егорка разулся и шагнул из тени штор на свет кухни.

– Ой, да что это у тебя с лицом? Кто тебя так? Отец, посмотри-ка сюда!

Галина Георгиевна осторожно взяла Егорку за плечи и подвела к Алексею Петровичу. Отец внимательно оглядел побитого сына, отложил в сторону расписную деревянную ложку, отодвинул порожнюю тарелку на середину стола и грузно поднялся.

– Ну, рассказывай, воин, кто тебя и за что так разукрасил?

– Никто, папка. Мы с ребятами с горки катались, я на ногах хотел проехать, да поскользнулся и лицом ударился об лёд.

Эту маленькую ложь он произнёс, с трудом шевеля распухшими губами. О том, что его избили, пускай и в нечестном бою, – сказать об этом, значит, пожаловаться, наябедничать. А к этому Егорка не приучен. Сам виноват – не сумел постоять за себя. В смятённой голове всплыла любимая шутка дяди Филиппа: сам кашу заварил – сам и расхлёбывай. Мальчуган вдруг всхлипнул и горько вздохнул. Мать обняла его и запричитала.

– Ничего, Егорушка, сейчас я йодом все ссадины тебе помажу. До свадьбы заживёт!

Отец ещё раз пристально посмотрел на понуро стоящего сына, на его разбитые в драке казанки на пальцах и, как показалось Егорке, даже с некоторым одобрением промолвил:

– Не горюй, Егор. Заживёт как на собаке. Только уж в другой раз, сынок, смотри, куда падаешь.

И в интонации произнесённого, а больше в тёплом, отечески сочувственном взгляде Егорка уловил оттенки какой-то, пока не очень понятной ему гордости отца за своего, пусть и побитого, сына.

В первое воскресенье новой четверти погода выдалась, хоть и морозная, но день был искристый и солнечный. На ледяной горке-катушке, что взрослые с началом зимы возвели на детской площадке между бараков, яблоку негде упасть. Малышня, радостно визжа, слетала вниз по накатанному лотку на фанерных листах. Скорость была такая, что многих ребятишек выбрасывало на покатый снежный бруствер, предусмотрительно насыпанный метрах в десяти перед горкой. Мальчишки и девчонки постарше, показывая свою удаль и ловкость, неслись по скользкому льду, балансируя, на ногах. Самые отчаянные, крепко ухватив стоящего впереди товарища за плечи, составляли целые поезда. Но здесь уж стоило хоть одному поскользнуться, как все летели кубарем к изножью горки, и там вмиг образовывалась весёлая куча-мала из хохочущих полушубков, пальтишек, лохматых шапок и разноцветных шерстяных платков.

Егорка, как самый старший среди катающихся ребят, коноводил: возглавлял поезда, не давал в обиду малышей, следил за тем, чтобы никто не пытался проскочить на катушку без очереди. Вот Стёпка Фёдоров, скуластый и быстроглазый сосед Егорки по подъезду в бараке, как бы невзначай оттолкнул локтём какого-то перевязанного крест на крест ворсистым шарфом карапуза и полез по снежным ступеням вверх. Егорка в два прыжка настиг соседа, и резко дёрнув того за рукав стёганой фуфайки, сверзил Стёпку со ступенек.

– Стёпка, не балуй! Давай-ка лучше помоги подняться малышу, а то видишь, он вот-вот разревётся от обиды. Мы же все с одного двора!

Стёпка хотел было огрызнуться, но Егорка и старше на два года, да и он, Степан, как ни крути, а не прав, поэтому, шмыгнув носом, мальчишка живо присел и, подхватив растерявшегося карапуза одной рукой под мышки, другой за воротник, поставил того на ноги:

– Шагай вперёд, а я уж за тобой, – при этом на румяных от мороза щёках у Стёпки проступили две характерные миловидные ямочки, так происходило всегда, когда он улыбался. И уже поставив валенок на ступень, он неожиданно обернулся к стоящему в сторонке Егорке: – Ты не обижайся на меня, я просто заигрался, да и страсть как захотелось быть первым наверху.

– Да, ничего, Стёпа, всё нормалёк. Я сейчас тоже поднимусь, и мы поездом скатимся. Вон и Катька с Олей тоже будут с нами. Верно, девчонки?

Однако осуществить намеченное не удалось: неизвестно откуда появившийся Сашка Сундук победителем прошествовал мимо слегка растерявшегося от неожиданной встречи Егорки и, окатив его презрительным взглядом, начал взбираться на катушку к замершему наверху, у лотка, Стёпке. Хоть и не рассказывал Егорка никому о случившейся драке, и никто из младших мальчишек не видел, как его лежачего бил Сундук, но ничего из того, что происходило на их улице, долго не могло быть тайной. Ребята, каждый по-своему, сочувствовали Егорке, но, как известно со слов взрослых: плетью обуха не перешибёшь. Да и Богомол, даже если они сейчас навалятся всей гурьбой и побьют Сундука, переловит их после по одному и таких щелбанов надаёт, что ни одна примочка не поможет! И как-то сразу вдруг и солнце померкло, и снежные искорки потускнели. Многие ребятишки, не сговариваясь, засобирались домой.

А между тем Сундук взошёл наверх и со словами: «Ты что тут растопырился!» столкнул с горки Стёпку, больно торкнув того в бок. После этого, лихо заломив шапку-ушанку на затылок, с ветерком скатился вниз. Рубаха-парень, да и только!

– Ты, Сундук, чего здесь руки распускаешь? – Сундук ещё и дух не успел перевести, а Егорка уже стоял рядом и сверлил Сашку тяжёлым взглядом исподлобья. – Ты попробуй меня толкни!

– Духарной, тебе что, мало я ввалил?! Счас повторю! – И Сашка демонстративно сбросил с правой ладошки мохнатую шубинку, собрал пальцы в кулак и согнул руку в локте, готовясь нанести противнику сокрушительный удар по челюсти, чтобы этим окончательно закрепить свое превосходство над Егоркой, да и в назидание всей этой мелюзге, робко жмущейся к горке в сторонке от них. Однако Егорка успел сбросить с рук варежки, ловко уклонился от удара и, не мешкая, так врезал кулаком левой Сундуку в нос, что у того слетела в снег заломленная на затылок шапка, а из носа ручьём потекла алая кровь. Выбитый из равновесия Сашка принялся вслепую махать руками, Егорка же напротив бил хладнокровно и расчётливо, мстя обидчику за то вечернее своё унижение. Больших пацанов рядом не было, поддержки ждать не от кого, и Сундук, закрывая рукавом разбитое лицо, лихорадочно соображал, как ему с наименьшим позором поскорее ретироваться с поля боя. Ребятишки, из тех, что вначале заварухи оробели, но так и не успели добраться до своих подъездов, быстро сбежалась назад, и теперь, воодушевлённые победой своего коновода, восторженно улюлюкали, правда, с почтительного от дерущихся расстояния. Сашка уже дважды падал на снег, то ли поскальзываясь, то ли от очередного хорошего тумака противника. Егорка каждый раз ждал, пока тот поднимется, и снова начинал дубасить Сашку. Скажи Сундук три слова: «Сдаюсь! Ты побе-

дил!», и Егорка бы сразу оставил его в покое. Но Сашка тоже рос на улице, и произнести такое его распухший в разбитом рту язык никогда бы не повернулся. Пусть уж будет что будет!

– Егорка, сынок, ты что же это делаешь? – неизвестно откуда возникшая мать в пимах с подрезанными голяшками и лёгкой стёганой фуфайке, наспех застегнутой на две нижние пуговицы и накинутой поверх тёплого цветастого халата, больно дёрнула Егорку за плечо, поворачивая парнишку к себе. – Оставь Сашу! Видишь, у него всё лицо в крови. Разве можно вам драться? Какой пример малышам показываете? – Галина Георгиевна перевела дух. – Спасибо Ляле Кукарцевой, забежала к нам, сообщила, что ты здесь вытворяешь. Марш домой!

Егорке уже и самому надоела драка – он победитель, злость и обида на Сундука истаяли. В его возбуждённой душе даже шевельнулось что-то похожее на чувство жалости к противнику. Он бы, честно, без дураков, подошёл сейчас к Сашке и протянул ему в знак примирения руку. Но только вот Сундук этот жест наверняка истолковал бы по-другому, а именно, как дополнительное к синякам и ссадинам на лице, но более изощрённое и обидное унижение. Поэтому Егорка, махнув напоследок рукой стоящему у ступенек улыбнувшемуся в ответ Стёпке, вяло поплёлся вслед за матерью домой.

– Алёша, ты бы угомонил сына-то! – с порога начала мать, едва втолкнув Егорку в кухню. – А то ведь он средь бела дня да при людях в кровь измолотил соседского парнишку! Насилу отняла!

Отец отложил в сторону свежую городскую газету, поднялся с дивана и подошёл к сыну, который так и продолжал стоять у двери возле задёрнутой цветастой занавеской вешалки. Алексей Петрович взял Егорку за плечи, повернул его так, чтобы свет от окна падал тому на лицо, цепко вгляделся в зелёные глаза сына. Егорка хоть и поёжился, но взгляда не отвёл.

– Из-за чего и с кем подрался, сынок?

– С Сашкой Сундуком. Он Стёпку больно столкнул с горки.

– Так вы же вроде друзья с Сашкой?

– Давно уже нет. С самой осени. Как он с большими пацанами стал ходить.

– Понятно. Ты, мать, шибко не волнуйся. Наш парень поступил как надо.

И Алексей Петрович широкой своей твёрдой ладонью дружелюбно потрепал сына по русым вихрам.

– Ступай, Егор, к умывальнику, сполосни лицо. Ишь, Аника-воин!

В эту минуту снежок стукнулся в оконное стекло, и с улицы, приглушённые двойными утеплёнными рамами, раздались подростковые голоса.

– Егорка, ты где?

– Духарной, выходи!

– Что, струсил?!

Егорка было дернулся к двери, но отец повелительно остановил его.

– Ты, сынок, уже сделал свое дело, поквитался с обидчиком. А сейчас я им скажу пару напутственных слов.

Отец скорым шагом приблизился к окну, глянул вниз, где на тропинке, во главе с долговязым Богомолом, толпилось человек семь подростков и чуть поодаль стоял побитый и потерянный Сундук, открыл обе форточки и зычным голосом пробасил:

– Как я понял, вам сильно хочется свежего кровавого зрелища. Однако этого не будет. По новой стравливать ребят я вам не позволю. Хотите драться, вон вас сколько, так и устраивайте, коль чешутся кулаки, бои между со-

бой. А ты, да, вот ты, длинный, отныне будешь у меня под особым присмотром. Если что, то я тебя быстро укорочу. Живо разошлись по домам!

И отец аккуратно притворил обе форточки, после чего повернулся к Егорке:

–Так то, сынок, будет лучше. Иди всё-таки умойся. А ты пока, мать, собери чего-нибудь на стол. Видишь, парень наш умаялся и, должно быть, крепко проголодался.

Глава третья

Апрельское ласковое солнышко, такое уместное на синем небе, будто растянутом неведомой, но доброй рукой между остроконечных снежных вершин вокруг Феденёва, особенно щедро осыпало своими лучами бревенчатую, отвесную, потемневшую от времени стену и завалинку, на оструганных наклонных досках которой сидели дед Аким из барака напротив и Егорка. На электрическом, провисающем между домами изолированном проводе покачивался серенький воробышек и весело чирикал.

– Слышь, малец, как энта пичуга уважительно навеличивает меня? – дед Аким положил худой, поросший жидкой сивой щетинкой подбородок на сцепленные на рукоятке костыля костлявые пальцы и скосился на повернувшегося к нему с любопытством Егорку. – Вроде чирик, чирик, а в самом деле – вслушайся – чекист, чекист! Вишь ты, какое уваженье старому бойцу революции оказывает энта птичка-невеличка! А разобраться: она ведь тоже из нашего рабоче-крестьянского сословья происходит. Всегда среди простых людей полётывает, обыкновенной пищи не гнушается, на зиму в тёплые края не дезертирует.

Егорка, соглашаясь, покивал вихрастой русой головой. Мальчуган тоже любил этих сереньких проворных птичек, как, впрочем, и остальных пернатых, порхающих в небе над их улицей: изящных и стремительных белогрудых ласточек с раздвоенными хвостиками, вездесущих любопытных синичек, жёлтобрюхих трясогузок, что весь белый день весело вздёргивали упругие хвосты на песчаных отмелях речки Филипповки. Вот только к иногда залетающим поживиться отбросами и объедками на помойные дощатые, густо обсыпанные хлоркой ящики возле общественной уборной лохматым и неопрятным воронам мальчишки их улицы относились как к пособникам разгромленных отцами фашистов. По рассказам фронтовиков на полях сражений от прожорливых стай этих стервятников не было отбоя. Разжиревшие, обнаглевшие от безнаказанности серые птицы со своими железными, с засохшей кровью клювами, случалось, расклёвывали не только изувеченные трупы солдат с обеих сторон, но и нападали на ещё живых беспомощных раненых. Кроме того, был у мальчишек и личный счёт к воронам – эти бессовестные хищницы постоянно разоряли отысканные в траве или под карнизами и в других застрехах домов и сараев гнёзда синиц и воробьёв, беспощадно расклёвывая крапчатые тёплые яйца отлетевших на минутку птиц. И хотя мальчишками были замечены в точно таких же неблаговидных поступках и длиннохвостые стрекотуньи-сороки, но к ним у ребят отношение складывалось несколько иное. Так, спугнут проказниц, пошвыряют вдогонку камнями, на том и успокоятся, наверное, потому что про этих птиц отцы ничего дурного не вспоминали.

На ворон же окрестная ребятня устраивала настоящие облавы, стараясь незаметно подкрасться со всех сторон, чтобы острым галечником подбить

хищницу наверняка, однако опытные и осторожные птицы редко кого подпускали к себе ближе, чем на десяток метров, и почти никогда не получали сполна за свои злодеянья. Самый удачный бросок и меткое попадание совершил прошлым летом Стёпка Фёдоров, когда неожиданно для двух ворон, расклёвывавших ржавую рыбью голову на помойном коробе с открытой крышкой, Стёпка встал из полыни в пяти шагах и ловко метнул копьецо с острым сплющенным наконечником из консервной банки, поранив и сбив одну из товарок в вонючий люк. Правда, перед этим Стёпке пришлось более четверти часа пролежать, ни разу не пошевельнувшись, в зарослях горькой полыни, чем он тут же заслужил несомненное уважение всей дворовой малышни, наблюдавшей за его охотой из-за угла барака. И даже событие, последовавшее почти сразу же после его ловкого броска, когда Стёпка и подоспевшие на такую неслыханную охотничью удачу соседские ребята подбежали к коробу с проплешинами хлорки, а оттуда, шумно хлопая крыльями, вылетела и укрылась в густой кроне высокого клёна раненая ворона, даже и этот конфуз никак не повлиял на признание улицей за Стёпкой звания самого меткого стрелка. Не подбил в этот раз, повезёт в другой, главное, копьёто какое – как настоящее! После этого случая многие мальчишки обзавелись подобным оружием с жестяными наконечниками и днями напролёт пропадали в зарослях полыни и под шатрами лопухов, карауля ворон. Но то ли мальчишки слабо соблюдали правила маскировки, и птицы их легко замечали с высоты, то ли не выбрасывали на помойку ничего аппетитного, что могло бы заставить ворон забыть осторожность и самозабвенно пикировать на вожделенный короб, то ли хитрые пернатые выжидали, пока мальчишек позовут домой обедать, и те, пусть и неохотно, но покинут свои засады, – так вот, как бы то ни было, но больше такой счастливой охоты ребятне ни разу не представилось.

Обрывки цветных картинок ещё роились перед глазами задумавшегося на минутку Егорки, когда его в реальность вернул надтреснутый старческий голос.

– Батьку твоего ить Алёшкой кличут? – из-под косматых седых бровей в паренька уставились серые холодные, вовсе не старческие глаза морщинистого деда Акима.

Егорке в интонации, с какой это было сказано, послышалось что-то угрожающее, и он непроизвольно отодвинулся от старика, но при этом согласно кивнув вихрастой головой.

– Да ты не боись, малец, – дед Аким покровительственно усмехнулся тонкими губами, но глаза всё также оставались холодными. – Энто я так, для себя уточняю. Батя твой – мужик видный, здоровый, чем и схож с дружком моим революционным Петрухой Перфилёнком. Много мы с ним контры порешили. Могли бы ещё более, да белобандиты в двадцать втором подло закололи вилами соратника моего верного, покуль он реквизировал у ихнего отродья излишки пшеницы из анбаров.

Дед Аким умолк, поковырял острым, приспособленным для безопасной зимней ходьбы наконечником костыля робкие побеги спорыша-травы и не глядя на Егорку, неожиданно вопросил:

– Уж не родня ль вы Петрухина?

– Да у нас вроде с такой фамилией нет никого, – Егорка задумался, и даже щеки покраснели, когда паренёк, перебрав в памяти всю близкую и дальнюю родню, не нашёл никого, кто бы участвовал в гражданской войне. В Отечественную воевал отец и почти все дядья, даже тётка Ефросинья те-

лефонисткой в штабе служила, это Егорка крепко знал, а о революции и гражданской войне взрослые разговоров как-то не заводили. Вот разве что только баба Ксенья, мамина мать. И Егорка вспомнил. – Был у моей бабушки старший брат, звали дядей Ваней. Так вот, бабушка рассказывала, что его взяли в армию и в шестнадцатом году, ещё до революции, в Семипалатном убили взбунтовавшиеся киргизы. А был он совсем молоденький, не женатый, почти всегда сквозь слёзы говорила бабушка, всего-то восемнадцати годков. – Егорка остановился, перевёл дух, и прямо посмотрел деду Акиму в глаза. – А за кого были киргизы в гражданскую – за красных или за белых, и почему они убивали наших, русских?

– Это как посмотреть – за кого! Ежели ты, к примеру, байских кровей, так тебя живо к стенке, али пузо жирное вскроют, как банку консервов. Коли ты наш пролетарский – вступай к нам в ряды. Таким мы завсегда были рады. А уж киргизы-то пощады к врагам не ведали – резали буржуев, как баранов. И не глядели, какой ты нации, русский там али ихних кровей, своих-то, помнится, ещё пуще. А твой дядя Ваня, по всему выходит, был за буржуев, вот его и кокнули, – почему-то весело закончил свою речь дед Аким и опять поковырял острием костыля нежно-зелёный спорыш.

– Злой ты, дед, и чекист ты ненастоящий, – неожиданно для себя самого звонко вырвалось у Егорки. Здесь нет бы обеими ладошками зажать себе рот, но вместо этого мальчишка выпалил прямо в лицо опешившему старику: – Когда ты на прошлой неделе свою бабку Марусю пьяный гонял вокруг барака и лупил костылём, помнишь, как она тебя обзывала шкуродёром и паршивым обозником? Вся улица слышала! – мстительно закончил Егорка и резво отпрыгнул с завалинки на лужайку, иначе рассвирепевший дед Аким точно бы сломал костыль о его вихрастую голову.

– Я найду на тебя управу! Недобитое отродье белогвардейское! Всех раскулачу и сотру в порошок! – сиплым голосом ревел не на шутку расходившийся дед Аким, тыча костылём в сторону замершего в двух шагах от завалинки Егорки, ноги которого теперь будто вросли в талую лужайку – убегать мальчишка вообще не умел. – Ишь, зверёныш, как зыркает! Так бы и сожрал меня глазищами своими! Но мы, бывало, и не таким рога обламывали! У-у, контрик!

Дед Аким орал так громко, что воробушек, чирикающий на проводах свои простенькие гимны весне, испуганно умолк и тут же спорхнул в кусты распускающейся сирени, подальше от греха.

– Ты что это, старый хрыч, разбушевался? – На крыльце соседнего барака стояла бабка Маруся с корзиной выстиранного и отжатого белья, видно, только что вышла развесить его на верёвках, натянутых за домом между двумя тополями. Старуха поставила корзину и подпёрла бока влажными, в фиолетовых прожилках, пухлыми руками. – Говорю тебе – оставь парнишку в покое! Нашёл с кем воевать! Ступай в хату, обедать пора, щи стынут. А ты, Егорушка, не серчай на старика, контуженный он ишо в Гражданскую. Теперь вот обостряется. Ты уж давай, беги к ровне своей, там играйте, а к дедам с расспросами, пожалуй что, больше и не льни. Не тереби им душу.

– Егорка, идём на поляну, все наши пацаны там. – От расположенных Т-образно между бараками и речкой кирпичных гаражей и сараев по бетонной дорожке скорым шагом к ним спешил Сашка Сундук. После зимней стычки мальчишки давно уже помирились – живут-то на одной улице, да и какие-никакие, а друзья, сколько помнят себя с детства. Сашка дёрнул Егорку за рукав вельветовой курточки и повлёк за собой, а когда они отошли на доста-

точное расстояние, чтобы их не могли услышать ни бабка Маруся, ни дед Аким, горячо зашептал: – Я на завалинке грелся за углом и всё видел и слышал, как дед хотел тебя костылём огреть! Ишь ты – чекист выискался! Я поэтому специально, чтоб тебя выручить, отбежал к гаражам, как вроде я не причём, просто случайно шёл мимо, и вот видишь, оттащил-таки тебя от этого сумасшедшего старикана. – Сундук перевёл дыхание, поозирался по сторонам и злорадно закончил: – Ничего, сегодня вечером мы ему стукалку устроим! Он у нас попляшет, старый хрыч!

Егорка хотел было возразить Сашке, что зла на деда Акима не держит, но Сундук не дал ему и рта раскрыть, перескочив на другую более близкую тему.

– Глянь-ка, Егорша, какой лянгой я разжился! – Сашка вытащил из кармана штанов и подбросил на ладони мохнатый кусок овчины с прикреплённым медной проволочкой на выделанной её части куском сплющенного свинца. – Видел – лёгкая, как парашют! Теперь всех пацанов обыграем!

– Слушай, Саш, а это не из той ли шкуры, что ты выменял у деда Акумбая за школьный звонок? – Егорка и сам не понял, зачем спросил это, и он несколько сконфужено посмотрел на друга. – Ты не подумай чего, я без всякого ехидства.

– Да я знаю, что ты не такой, – беззаботно отмахнулся Сундук. – Эту я выстриг из другой шкуры. А ту пришлось вернуть деду Акумбаю.

История эта случилась месяц назад, на весенних каникулах. Каждое утро через их улицу на подтаявшие и подсохшие сопки пожилой казах с посохом в узловатой руке, в длиннополом плюшевом чапане и косматом малахае прогонял десятка полтора овец. Весь день их пас, и как только садилось солнце, гнал овец обратно. Аксакал этот с семьёй жил в переулке, в небольшой избушке-мазанке с пригороженным крохотным огородиком, одновременно служившим загоном для овец и скота. Для жителей их околотка было загадкой: как его немалое семейство – сам он, его жена и двенадцать их ребятишек, старшему из которых семнадцать, а младший посапывал в зыбке, – умещалось на таком крохотном пятачке. Однако казахи жили не тужили. Едва вытаивали лунки во дворике, как аксакал вытаскивал из мазанки закопченый ведёрный казан, ставил его посреди огорода на треногу и почти ежедневно морщинистая, со слезящимися щелками узких глаз жена Акумбая в овчинном жупане и цветастом платке хлопотала у костра, вываривая жирную баранину и готовя душистый бешбармак. Сам Акумбай был молчалив и сумрачен, то ли оттого, что плохо говорил по-русски, то ли оттого, что был постоянно погружён в свои загадочные степные думы. Как-то случайно Егорка услышал в разговоре взрослых о том, что редкие в их городке казахи попадали сюда чаще всего по вербовке на шахты, однако вольным кочевникам под землёй приходилось не сладко и они всяческими способами выбирались на поверхность, оставляли работу и возвращались, кто обратно в степи за Иртыш, кто, оседая здесь, обзаводился хозяйством. И тогда же кто-то из взрослых обронил, что вот, мол, прошлой осенью у всех скотину порешили, а у деда Акумбая вся живность целая, не может же этого быть из-за его большого семейства. Хотя кто его знает...

В последний учебный день перед весенними каникулами дежурить по школе выпало пятому «А» классу. Кроме того, что ребята с утра стояли при массивных дубовых дверях на входе и в гардеробе, смотрели, чтобы обувь у входящих была чиста и помыта, а пальто и куртки повешены на крючки, на большой перемене они помогали уборщицам наводить порядок в просторных коридорах, занимались другими мелкими хозяйственными делами по

школе. А Сашке Сундуку, как самому бойкому и быстрому, завуч Анна Григорьевна доверила колокольчик, чтобы подросток, когда подходило время, бегал по двум этажам их каменной школы и весёлым перезвоном оповещал об окончании или начале урока. Дело в том, что электрический звонок накануне перегорел, замену пока не подвезли, поэтому и вспомнили о старом хромированном гранёном колокольчике с деревянной ручкой и медным язычком. Вообще-то звонить должна была старшая уборщица тётя Клава, но она занемогла ногами, на первой перемене пожаловалась об этом завучу, а Сашка оказался поблизости и сам напросился быть добровольным помощником. Привилегией ему стало ещё и то, что теперь учителя за пять минут до звонка отпускали Сашку с урока, и он со всех ног нёсся в подвал, в подсобку, где на топчане охала грузная тётя Клава, хватал с тумбочки колокольчик и счастливый мчался по этажам. Отзвонив окончание последнего урока перед уходом школы на долгожданные каникулы, Сашка спустился в подсобку отдать колокольчик тёте Клаве, но уборщицы на месте не оказалось, в запертой двери торчала сложенная вдвое записка. Сундук развернул бумажку и разобрал каракули: «Саша ушла к директору меня дождись». Сашка постоял, покрутил головой, да махнув рукой, резво побежал наверх: там в раздевалке его, поди уж, совсем заждались ребята с их улицы, чтобы вместе идти домой.

Предстоящие дни отдыха для ребятишек были таким праздником, рядом с которым не поставить никакое другое событие, пусть даже и самое примечательное. Конец марта в Сибири и на Алтае – это дружное, искристое таяние снегов, тёплое и ласковое солнышко, звонкие, мутные ручьи, пробивающие себе путь сквозь, казалось бы, намертво спёкшиеся наледи и осевшие снежные брустверы по обочинам дорог. Это – величавый ледоход на горных и равнинных реках, дающий волю не только полой воде, но будящий и очищающий уснувшие на зиму души береговых насельников. А для местных ребятишек – это игры на подсыхающих полянах в круг-осла, в лапту, в двенадцать палочек и, конечно же, азартные состязания в лянгу, когда носком, коленкой, пяточкой выбиваешь себе очки, да ещё надо так изловчиться, чтобы ни разу не уронить наземь эту самую мохнатую, отягчённую свинцом лоскутинку. И естественно, каждому мальчишке хотелось иметь свою собственную лянгу, чтобы не стоять в очереди, не заглядывать робко владельцу этого сокровища в глаза и не выклянчивать: дай, хоть раз сыграну, хоть по однёрам? Сашка Сундук, широкая душа и натура предприимчивая, решил обеспечить раз и навсегда, если и не всю улицу, то большинство страждущих этими овчинными лоскутками! Утром он не поленился, встал пораньше, подкараулил аксакала, встрял между ним и его немногочисленной отарой, без лишних слов вытащил из-за пазухи заветный колокольчик и зазвенел им перед носом опешившего старика. Однако замешательство у того продолжалось от силы секунды три, и вот уже коричневые морщины разглаживаются в приветливой щербатой улыбке, одновременно дед протягивает скрюченную длань к приподнятой над чубатой головой руке Сундука с колокольчиком: «Сё просись за иё, малес?». Сашка приосанился: «Выделанную овечью шкуру. Да чтоб по лохматее!». «Завтра здеся зди». И старик опустил длань и величественно прошествовал мимо удовлетворённо хмыкнувшего Сундука.

Назавтра, как и условились, произошёл обмен. Счастливый Сашка побежал домой перекусить, чтобы потом уже ничего не отвлекало его от удовольствия дележа овечьей шкуры между ребятами. Стёпка Фёдоров принёс ог-

ромные и остро наточенные ножницы, стащил на время у отца, известного в городке сапожника; Егорка прихватил в сарае шило с деревянной ручкой – дырки в свинце ковырять. Свинца наплющили и нарубили заранее. Так что всё было готово к почти серийному выпуску вожделенных лянг. Прибежал Сашка, и работа на закруглённых сиденьях под дощатым раскрашенным грибком закипела. Однако бурлила она недолго: неизвестно откуда перед ребятнёй вдруг вырос огромный, как барак на краю детской площадки, Николай Феоктистович, отец Сундука, подпёр своими мощными ручищами бока и грозно пробасил: «Тэк-с!». Ребятишки, хоть и не поняли пока ничего, но невольно теснее прижались друг к дружке и все вместе к синему столбу – ножке грибка. Из-за широченной спины дяди Коли выглянуло озабоченное лицо завуча, а потом показалась и вся Анна Григорьевна, сухощавая и строгая.

– Доброе утро, дети. Нехорошо, Александр, обманывать взрослых и подводить ребят, – назидательно, как на педсовете, начала завуч. Анна Григорьевна опасливо покосилась на Сундукова-старшего и продолжила: – Я не думаю, что у тебя был умысел украсть школьное имущество, – голос завуча смягчился. – Ты просто забыл вернуть колокольчик вовремя. Заигрался, так сказать. И сейчас мы исправим это недоразумение. Ты передашь мне звонок, я отнесу его в школу. Дело будет улажено, – Анна Григорьевна обернулась к Сашкиному отцу и как-то виновато и ласково обронила: – А то ведь уборщица наша Клавдия Ларионовна из-за этого происшествия даже слегла. Вот и пришлось мне самой идти к вам разбираться. Ну что, Саша, неси колокольчик, да я верну его на место.

На некоторое время над грибком нависла звенящая тишина. Подростки шмыгали носами и молчали, дядя Коля так и стоял неподвижно, как монумент, и только страшно вращал своими круглыми карими глазищами, которые постепенно наливались кровью. Заметив это, Анна Григорьевна как-то даже преобразилась внешне, передёрнула худыми плечиками, что-то похожее на усмешку скользнуло по тонким губам её, и завуч вперилась безжалостным взглядом в нечёсаные вихры стоявшего понуро Сундука.

– Александр, мы ждём! Не задерживай отца.

– Я ему, пожалуй, задержу! – Сундуков-старший положил свою бугристую, перевитую толстыми жилами клешню Сашке на плечо, отчего тот сразу скособочился и просел на скамье, и повернул сына лицом к себе. – Ботало-то поди уже сбагрил кому? По глазам вижу, шельмец! Сказывай, у кого звонок?

– Папаня, не дави так на плечо, больно ведь! – Сашка шмыгнул носом и продолжил, как бы оправдываясь: – Мы с дедом Акумбаем поменялись почестному: он мне вот эту шкурку, а я ему колокольчик на время наших каникул. А потом бы дед его мне вернул, а я бы в школу отнёс, – начал сочинять на ходу Сундук.

– Ты, парень, ври да не завирайся – вернул бы тебе! Теперь, пожалуй, дождёшься, как у моря погоды.

– А как же быть школе? – робко подала голос завуч. – Это же государственное имущество, на подотчёте у завхоза находится, – Анна Григорьевна глубоко вздохнула, что-то внутри её щёлкнуло, лицо стало постепенно покрываться бурыми пятнами, глаза посуровели, завуч обрела себя. – Николай Феоктистович, я буду ставить вопрос об исключении вашего сына-хулигана из нашего учебного заведения, – разошедшаяся не на шутку учительница в запале совсем перестала бояться Сундукова-старшего и металличес-

ким голосом припечатала: – Я вижу, вы не занимаетесь воспитанием сына. Что ж, в свете случившегося школа имеет полное право обратиться в соответствующие органы с ходатайством по определению вашего сына в детскую колонию.

Мальчишки увидели, как тут уж растерялся и обмяк Сундуков-старший.

– Дорогая вы наша Анна Григорьевна, не надо, как говорится, выносить сор из избы. Не горячитесь вы так, я всё улажу. Сейчас этот лоботряс возьмёт овчину и отправится прямиком домой к деду Акумбаю. Я же провожу вас к хозяйке, супруге моей Акулине Ильиничне, тут недалеко, она вас чайком попотчует, а я тем временем схожу удостовериться в возврате колокольчика. Давай, Саша, ступай немедленно к деду Акумбаю. Учительница ждать долго не будет. Шагай, я догоню.

Дед Акумбай и слушать не пожелал ни хныканья перепуганного Сашки, ни доводов подоспевшего отца юного коробейника. В сердцах Сундуков-старший дал хорошего подзатыльника сыну, швырнул под ноги невозмутимому казаху кусок злополучной овчины и напоследок, уходя со двора, так хлопнул ветхой калиткой, что та слетела с петель. Завучу же дядя Коля сказал, что старика не оказалось дома, он якобы пасёт овец на горе, будет вечером, вы уж, Анна Григорьевна, ступайте спокойно домой, а завтра, ну, не позднее послезавтра, сын сам принесёт колокольчик в школу.

Вечером Сашке была такая порка ремнём, что вопли слышали соседи за стенкой. Наутро отец, уходя на работу, закрыл Сундука на ключ до возвращения Акулины Ильиничны с ночной смены с ремонтного завода, где мать работала токарем. Однако Сашка отколупнул со вторых, вставленных на зиму, рам замазку, содрал наклеенные полоски бумаги и, распахнув настежь окна, вылез по подоконнику, свесивши ноги вперёд, и по старым крючьям-изоляторам, вбитым в потрескавшиеся от времени брёвна стен, ловко, как обезьянка, спустился со второго этажа вниз, во двор. И во все лопатки пустился к соседнему бараку, где в одной из квартир жила семья Лукиных. Вызвал Егорку в коридор и, сбиваясь от волненья, изложил тому план возврата колокольчика. Сейчас, мол, мы с тобой в ивняке на берегу Филипповки выломаем ствол потолще, в стайке у меня есть кусок туристической верёвки, сделаем аркан, проберёмся на гору, изловим барана с нашим боталом, и тогда папаня мне всё простит. Дескать, и деда Акумбая бояться нечего, я давеча из окна наблюдал, как он по дороге костылял с горы в свой аул. Надо успеть всё провернуть, пока он будет свой бешбармак чавкать.

Барана с витыми рогами и кучерявой чёлкой на узком лбу ребята увидели сразу, как только подползли из голых колючих кустов шиповника к зазеленевшей на солнцепёке плоской полянке у покатой вершины горы, с торчащими там и сям зубьями скал. Он в горделивой позе стоял на одной из наклонных плит и зорко следил за пасущимися овцами. Мальчишек он, конечно же, давно заметил, но всем своим видом выказывал полное презрение к этим жалким существам, копошащимся в колючках с какой-то длинной оглоблей. Свисающее с мохнатой шеи ботало позванивало в такт поворачивающейся рогатой голове вожака.

– Егорка, глянь, – этот грёбаный аксакал ручку-то у звонка вырвал! – возмущённо прошептал Сашка на ухо другу. – Наверно, для того чтобы в дырку удобней было просовывать верёвку. Ишь ты, какой сообразительный! Ну, мы сейчас ему покажем – кто в доме хозяин! Будь здесь! – Сашка проворно поднялся с земли и пробежал с толстым ивовым удилищем в другую от невозмутимо стоящего барана сторону массивной скалы. Едва он скрылся за

косо торчащими в небо базальтовыми иззубринами, Егор понял весь план товарища по охоте: тот решил подкрасться к гордому барану с тыла, и хотя у животных глаза располагаются сбоку, и это позволяет им в отличие от человека видеть почти всё, что происходит сзади, однако, если Сашка неожиданно выскочит из-за верхней скалы-глыбы, то у него есть возможность успеть накинуть на шею барана аркан, пока тот сообразит – что к чему. А ему, Егору, надо полагать, в этой операции отводится роль отвлекающей внимание предполагаемой жертвы. Молодец, Сундук. Только и успел паренёк это подумать, а из-за скалы ястребком вылетает Сашка и в одну секунду набрасывает широкую петлю аркана через лобастую морду барана тому на шею. Ошеломлённый таким неслыханным вероломством баран как взвился свечой на плите да как сиганёт с неё на поляну, в гущу перепуганных овец, которые вмиг разбежались в разные стороны! Как уж удержал прогнувшееся удилище Сашка, непонятно, но тут на спину упирающегося барана вспрыгнул подоспевший Егор; обезумевшее животное взбрыкнуло и перебросило мальчишку через рогатую голову; однако Егор за мгновенье до этого успел вцепиться двумя руками в пеньковую верёвку, дёрнуть её на себя и одновременно вверх, что позволило ей не зацепиться за витые рога. Больно приземлившись на мелкую щебёнку, Егор тут же почувствовал, что какой-то неумолимой силой его начинает стягивать в заросли шиповника, оттого что в ладонях у него по-прежнему крепко зажата злосчастная верёвка, на которой, жалобно позванивая, болтается освобождённое ботало, но сама верёвка сплелась с туго натянутым жгутом аркана.

– Сашка, бросай аркан! Барана нам не удержать!

– Не боись! Я удилище сунул между двух скал – теперь и держать никого не надо! Побрыкается, обессилит, мы его и возьмём голыми руками, – Сундук уже отдышался и победно поставил правую ногу в потрепанном старом ботинке, просившим каши расклеившимся тупым носком, на то же место, где всего несколько минут назад величественно возвышался самонадеянный баран, который теперь отчаянно кувыркался и изворачивался на поляне.

– Кого брать голыми руками? – Егор уже встал на колени, всё также крепко сжимая в кулаках верёвку. – Разуй глаза, Сашок, – ботало-то у меня! Ты лучше достань складень да обрежь аркан, пусть этот чертов баран убегает с хлястиком, зато уж точно не утащит нас в колючки.

В этот же день незадолго до темноты Сашкин отец, мурлыкая себе под нос мелодию из какого-то бравурного марша, отыскал в сарае, в ящичке с инструментами, отполированную ручку от лобзика, прикрепил её на место вырванной и, с торжественной ноткой в своём надтреснутом басе, вручил Сундуку школьный звонок: держи, мол, сынок, да более не балуй, а то, гляди вон – мамка вся извелась! И с минуту помолчав, добавил: «Однако ж, в эти дни остерегайся попадать на глаза старому казаху, неровен час – прибьёт».

Накануне, передавая вырученный звонок отцу, Сашка сбивчиво поведал, как им с Егоркой удалось перехитрить заносчивого барана. Николай Феоктистович на это лишь покачал своей огромной, посаженной прямо на мощные плечи, головой и с расстановкой обронил: «Однако ж, удал ты, сынок. Весь в меня. Только гляди, ничего матери не сказывай. А то будет нам с тобой хорошая выволочка за наши подвиги».

Вот это-то происшествие и вспоминали весело ребята, направляясь от бараков на поляну, где у жёлтоватой от фабричного концентрата Филипповки, ближе к береговому ивняку собрались в кружок подростки с их улицы. То, что здесь замышляется что-то необычное, Егор и Сундук поняли сразу, как только сбежали от моста с дороги на утоптанную тропинку и рассмотрели через спины товарищей, что творится в середине круга. А там происходило следующее. Богомол, сидя на корточках с непокрытой головой, заправлял стоящую перед ним стеклянную бутылку мелкими кусочками серого карбида, лежащего горкой на гофрированной картонке рядом на песке. Вот он осторожно опустил последний комочек через зеленоватое горлышко бутылки, удовлетворённо крякнул, распрямился во весь свой нескладной рост, молча сплюнул себе под ноги и достал из кармана помятых брюк потрёпанный газетный листок и оструганную, с острым концом палочку, обернул её бумагой, примеряя – туго ли входит эта самодельная пробка в горлышко, и, провожаемый любопытными и настороженными взглядами подростков, вразвалку направился к реке. Лишь здесь он позволил себе прервать молчание, бросив через худое вздёрнутое плечо коротко: «Прячьтесь, пацаны, в промоину. Счас начнётся». Два раза повторять не требовалось – ребятню вмиг сдуло с поляны в старое, с торчащими по кромкам сухими стеблями прошлогодней полыни, русло, откуда можно было с безопасного расстояния наблюдать, как Васька подходит к реке, наполняет бутылку мутной водой, ставит её на песок и обломком кирпича заколачивает пробку. Дважды взбалтывает бутылку, бросает её в заранее выкопанную ямку на берегу и, столкнув своим кирзовым сапогом горку песка, присыпает этот самопальный карбидный заряд. Через несколько секунд Богомол уже в промоине, и отдышавшись от бега, прикуривает папироску и ждёт со всеми, когда звучно рванёт на берегу, и осколки стекла посекут молодой ивняк. Однако взрыва всё нет и нет. Подростки начинают недоумённо переглядываться. Васька, затянувшись в последний разок, передаёт окурок Сундуку, встаёт и не спеша направляется к присыпанной ямке.

– Васёк, не ходи! Рванёт, костей не соберёшь! – раздаётся ему вдогонку. Богомол, не оборачиваясь, лишь поднимает вверх правую руку и ладонью даёт решительную отмашку: не мешайте, дескать, минёру заканчивать своё дело. Из промоины хорошо видно, как Васька раскапывает ямку, вот уже и бутылка в руках, он её зачем-то взбалтывает и вновь наклоняется, чтобы вернуть заряд на место. Сашку Сундука в этот миг будто кто подтолкнул под микитки, он выскочил из укрытия и во всё горло заорал:

– Васё-ок! Ложись!

Богомол невольно обернулся на этот истошный крик, и вовремя – бутылка с карбидом с треском взорвалась у него в руках, осколки посекли в клочья пиджак, один впился в бок. Ваську всего обдало вонючей ядовитой жидкостью, однако, побелевшее угреватое лицо, как и руки, в которых остались разбитое горлышко и днище, не задели ни стекло, ни крошки карбида – лишь клок русых волнистых волос на затылке как бритвой срезало и разметало над яйцевидной бесшабашной головой. Визжащая то ли от восторга, то ли от опасения за жизнь Богомола ребятня со всех ног понеслась к раненому уличному заводиле. Между тем Васька отбросил осколки стекла и, стянув с себя пиджак, задрал окровавленную клетчатую рубашку и дрожащими худыми пальцами начал ощупывать горящий, как от раскалённых углей, левый бок. Вот пальцы его наткнулись на острый осколок. На счастье основная часть стекла торчала наружи, и Богомол, пересиливая боль, большим и

указательным пальцами сжал осколок и резко выдернул его. За всем этим процессом сострадательно наблюдали подбежавшие и обступившие Ваську подростки и мальчишки.

– Мужики! Есть у кого чистая тряпка – рану заткнуть? Рвать рубаху неохота. Да и маманя, если чё, потом проходу не даст. – Богомол обвёл просительным взглядом ребят и скосил глаза на прикрытую окровавленной ладошкой рану на боку.

Егор выступил вперёд и полез в накладной карман своей вельветовой курточки:

– На вот, Васёк, носовой платок. Ты не бойся, он ещё не пользованный. Мама утром дала его мне.

Богомол быстрым, с промельком благодарности взглядом окинул Егорку, подхватил измазанными кровью пальцами сложенный квадратиком платок и бережно прижал его к ране, через пяток секунд облегчённо вздохнул, цвикнул слюной себе под ноги, поднял голову и озорно, с чёртиками в уголках серых глаз, оглядел толпу:

– Ничё, пацаны, жить буду!

Вечером, ближе к ночи, как и настаивал угрозливо Сашка Сундук, ребятня устроила деду Акиму стуколку. Собравшись в кружок под уличным фонарём, где света больше, не без усилия проткнули мелкую овальную картофелину иголкой со вдёрнутой толстой ниткой, пропустили сантиметров на двадцать, опробовав, подёргали на весу, после чего Сашка, довольно хмыкнув, вручил иголку и картофелину Стёпке Фёдорову, оставив юрок с нитками у себя.

– Проберись, Стёпа, тенью к акимовским окнам, там найдёшь зазор в раме. Туда и втыкай. Да проверь, чтоб не сорвалась.

– Не учи учёного, Сашок! Сам же знаешь, что не в первый раз. Кто, пацаны, со мной?

– Иди один – так незаметней, – это уже стоящий чуть в сторонке и не принимающий участия в подготовке мальчишеской проделки Егорка подал свой голос. – А мы пока спрячемся в канаве за дорогой, там темно, оттуда наблюдать лучше, да и дед Аким, хоть из подъезда, хоть из окна ни за что не заметит. Давай, Стёпа, по-тихому – мы ждём. Саша, начинай распускать нитку.

Минут через пять запыхавшийся от быстрого бега Стёпка спрыгнул с бетонки в канаву.

– Всё, ребята, готово. Сашок, натягивай нитку. Повеселим деда!

Сундук сначала подобрал нитку в натяг, а затем полегоньку принялся её то ослаблять, то опять натягивать. Отсюда, из укрытия, было хорошо слышно, как картофелина стала равномерно ударять в стекло, будто кто-то запоздалый костяшками пальцев стучит старикам в закрытое окно. Почти сразу загорелся свет, простоволосая бабка в ночной рубашке отдёрнула шторку и приложила пухлую ладонь ко лбу, загораживая глаза от лампы и чтобы лучше рассмотреть, кого же это в столь поздний час принесло? За секунду до этого Сундук ослабил натяг, и картофелина провалилась вниз на завалинку. В окне рядом с растрёпанной головой жены появилась заспанная физиономия деда Акима. Он что-то сказал, резко взмахнул сухонькой рукой и задёрнул шторку. Лампу погасили. Сундук быстро повторил дробь стукотка. Но свет теперь не зажигали, зато из подъезда осторожно пробралась бледная тень – это, как поняли ребятишки, сообразительный дед в одном исподнем

решил накрыть неведомого озорника с поличным. Однако пошарив растопыренными руками под тёмным окошком и рядом вдоль стен, дед Аким уже сам нервно забарабанил в стекло. Опять загорелся свет, и старуха проворно отдёрнула шторку. Дед, стоя в пучке света, недоумённо развёл руками, глянул в одну и другую стороны и пошаркал в квартиру. Минут через десять, когда старики уж наверняка улеглись, а может, даже и задремали, Сундук вновь потихоньку выбрал нитку до натяга и обернулся к Егору.

– Счас уж точняком добьём этого старого козла! Чтоб впредь не рыпался!

– Хватит с деда, Сашок! – Егор положил свою ладонь на зажатый в кулаке Сундука юрок. – Поквитались – и будет, что мы – фашисты какие, беспомощных стариков изводить!

– Ты что, забыл, как он тебя утром чуть костылём не прибил? – Егор промолчал, а Сундук посмотрел ему прямо в глаза и уже примирительно проворчал: – Ну давай хоть разок ещё стукотнём? Пусть попрыгает!

– Ну нет, вы как хотите, а я пойду тогда.

– Да ты что, мне больше всех, что ли надо? И мы с тобой. Ну его, этого Акима, пусть себе дрыхнет. Стёпа, сбегай, вынь аккуратненько иголку с картошкой, чтоб деду утром не расстраиваться, – Сашка на секунду замолчал и тут же просветлел лицом. – А ты видел, Егорка, у соседского барака с той стороны на углу фонарь повесили? Теперь на нашей площадке под грибком и ночью видно как днём. Айда, братва, туда. Стёпа, догонишь!

Глава четвёртая

Ещё пребывая в полусне, Егорка выпростал руки из-под одеяла, забросил их за голову на высокую подушку, сладко потянулся и свесил ноги на домотканый половик. Только сев на кровати, и откинув от себя одеяло, он открыл наконец глаза и вдохнул полной грудью комнатный воздух, пахнущий не только чистым, проглаженным постельным бельём, как это было всегда в детской спальне, потому что у окна стояли гладильная доска и утюг, а мать никогда не упускала случая отгладить все вещи, вплоть до носовых платков, но сейчас из кухни сюда струился необыкновенный запах свежеиспечённых куличей и невесомых, с золотистой корочкой сдобных булочек, шанег и кренделей, которые отец в шутку называл «безделушками» и которые мать из сладкого теста выпекала в духовке. Наверное, на кухонном столе, на широком подоконнике, что заставлены печёным, – подумал Егор, – отдельно возвышаются и огромные сдобные же пироги-корзины, начинённые толчёной черемухой с сахаром и украшенные поверху, между румяных, причудливо переплетённых, хрустящих решеток малиновым или клубничным вареньем. И на столе же, в самом центре, в глубокой вазе грудятся крашеные, вываренные в луковой шелухе и других красителях, куриные яйца. А на газовой плите, в огромной эмалированной кастрюле с роскошным красным пионом на боку, доходит наваристый борщ, который мама сготовила глубокой ночью накануне, как это бывало всегда перед красным днём календаря или не отмеченными в советских численниках, но особо чтимыми бывшими крестьянами, выходцами из патриархальных русских деревень, православными праздниками. Запах борща тоже ощущался в насыщенном ароматами воздухе спальни, и он совсем не мешал, а даже, наоборот делал комнатную атмосферу ещё более уютной и родной. Вообще-то борщ в их семье относился к самым желанным первым блюдам, особенно если его

щедро заправить домашней сметаной, а если ещё и отец садился за стол, так Егор с сестрой непременно с ложками пристраивались рядом – так они любили хлебать отцову тюрю: крепко поперчённый борщ с накрошенным в него хлебом. И запивать это несказанное лакомство надо было обязательно холодным молочком. А вот сваренный к празднику борщ у матери всегда получался таким необыкновенно вкусным, как, впрочем, и завёрнутые в капустные листы и щедро политые сметаной голубцы, что гости после первой и второй рюмки выскребали тарелки досуха и весёлыми голосами требовали добавки. Как это у неё выходило, Галина Георгиевна объяснить не умела, но слава об её борщах, аппетитных голубцах и воздушных, тающих во рту сдобах бежала далеко впереди по всему околотку. И когда у кого-либо из родни или соседей намечалось торжество, то люди приходили к ней, договаривались заранее, чтобы в такой-то день Галина Георгиевна наварила и наготовила им своих особенных блюд и напекла ватрушек, а то и пирогов-корзинок с ягодной начинкой.

Егор через комнату прошёл к стоящему у стены плетёному венскому стулу, на спинке которого аккуратно убранные висели его брюки и рубашка. Одевшись, он направился в кухню, где мать в цветастом фартуке, повязанном поверх платья, хлопотала у печи.

– Доброе утро, мама!

– Доброе, сынок! Христос Воскресе!

Паренёк радостно кивнул вихрастой головой, но ничего не сказал.

– Егорушка, сегодня Светлое Христово Воскресенье. И надо отвечать: Воистину Воскресе!

– Воистину Воскресе, мама!

– Ну, иди, умывайся, да к столу. Сейчас отец вернётся из стайки. И будем завтракать. Кстати, Алёнка, щебетунья наша, за папкой увязалась. Встала нынче ни свет ни заря. Пособила и мне управиться с кренделями, наносила кисточкой глазурь на булочки.

Не успела Галина Георгиевна закончить фразу, как входная дверь распахнулась, и в квартиру ввалился, пропуская вперёди себя дочь, Алексей Петрович, неся в обеих руках по внушительной, округло выпирающей по бокам матерчатой сумке. Похристосовались, и отец принялся извлекать из сумок стеклянные трёхлитровые банки с солёными огурцами, помидорами, квашеной капустой, мочёными яблоками.

– Вчера припозднился с работы, – как бы оправдываясь перед сыном за то, что в праздник пришлось делать то, что обычно делается накануне, говорил отец, разбирая соленья, – вот и полез сегодня в погреб. Ну, да лучше поздно, чем никогда, – шутливо закончил Алексей Петрович и направился к расположенному в простенке между дверью и газовой плитой умывальнику сполоснуть руки.

За праздничным столом взрослые разговелись рюмкой домашней настойки, а Егор и Алёнка устроили состязание: у кого крепче биток. Ребятишки выбирали в вазе самые прочные, на их взгляд, яйца, всеми пятью пальцами обхватывали и ударяли их носик об носик. Чьё яичко трескалось или раскалывалось, тот вынужден был отдавать его, как трофей, сопернику. Таково неписаное правило подобных сражений. Уж кто его установил, неизвестно, но на их улице оно выполнялось безоговорочно.

– Везёт же Сундуку! Уже полную авоську набил яиц, – навстречу Егору с дощатого решётчатого сиденья под грибком поднялся расстроенный Стёп-

ка Федоров и махнул рукой в сторону уходящего по бетонной дорожке Сашки. – Ободрал нас, как лытку. Видишь, добычу домой понёс.

Малышня под грибком нестройным звоном детских тенорков поддержала Стёпкины слова.

– Сашок! Погоди! – громко на всю улицу закричал Егорка. – Давай сразимся! У меня такой биток, что любого победит!

На крик Сундук обернулся, приветливо кивнул и, недолго думая, заспешил назад к грибку.

– Моё условие – бьёмся на все!

– Добро, Сашок. Вот мои шесть штук, – Егор бережно извлёк из глубоких карманов пиджачка крашеные яйца и разложил их на столике ближе к столбу. – Начали!

Биток у Сундука был ярко красного цвета, он хищно поблескивал на апрельском солнышке, весь будто выточенный, носик заострён, словом, – настоящий боец. Не прошло и двух минут, как Егор проиграл вчистую, и всё его разноцветное богатство пополнило авоську Сундука. Довольный Сашка от избытка чувств, дурачась, даже чмокнул в носик своё непобедимое яичко, прежде чем сунуть его в карман курточки. Да видно, заигрался паренёк, вместо правого кармана, опустил его в левый, а там дырка точь-в-точь по размеру яйца. Оно возьми да вывались на бетонку. Некоторые из мальчишек ойкнули и даже зажмурились, ожидая треска расколотого яйца. Однако оно, дважды подпрыгнув, невредимо и весело укатилось с бетонки в пробивающуюся зелень травки-муравки. Так вот оно в чём дело!

– «Победитель»!

– Деревянным яичком, конечно, можно биться!

– Гони назад, всё что выиграл!

– Ребята, разбирай, каждый свои! Да и Сашкины поделим как трофеи! – ватага сбилась вокруг обескураженного Сундука, и кое-кто уже нерешительно теребил серую материю его бугрящейся от добычи сумки.

– Да вы чё! Это моя военная хитрость, – пробовал отбиться от наседающей ребятни Сундук. – Если б у вас папки работали столярами, я бы посмотрел, что вы бы навытворяли! Ладно, свои берите, мои только попробуйте взять, мало не покажется!

– Сашок, да ты просто жулик! – кровь, прихлынувшая к лицу Егора, как только он понял, что Сундук их одурачил и биток у него небьющийся, искусно выточенный из брусочка на деревообрабатывающем станке, теперь отлила от висков, и ему почему-то стало весело. – Как говорится, сколь верёвочки не виться, а конец всегда один! Разбирай, братва, свои трофеи, – говоря это, Егор наклонился и нашарил рукой в траве злополучное яйцо. – Приглашаю всех на речку, сейчас мы будем топить вражеский корабль. Собирайте по дороге камни, они станут нашими снарядами. – Егор обернулся к стоящему понуро в сторонке с опустошённой сумкой провинившемуся другу. – Сашок, а ты с нами?

В ответ Сундук передёрнул плечами, с вызовом глянул в лицо Егору, отвёл глаза, рука его медленно начала подниматься вверх, видимо, для того, чтоб отмахнуться: «да пошли вы!», но уже через пару секунд Сашка беззаботно растянул рот в широкой улыбке и опять прямо посмотрел в глаза другу:

– А почему бы и нет? Ещё увидим, кто первый попадёт!

Стоя на изгибе обрывистого берега Филипповки, Егор размахнулся и запустил деревянное яйцо как можно дальше вверх по течению. Снега в горах ещё не таяли, и поэтому речка текла спокойная, только неделю как освобо-

дившаяся от ледяного покрова. Яйцо красным поплавком плыло навстречу ребячьей ватаге. Что тут началось! Самые нетерпеливые уже швыряли камешки, те, не долетая до цели, плюхались, пузыря речную гладь. Егорка и Сашка, изредка поглядывая друг на друга, пока выжидали. Но вот яйцо оказалось на расстоянии верного броска. Окатыш, который метнул Егор, ушёл в воду в полуметре от беззаботно плывущего яйца, зато плиточка, плоская синяя галька, направленная ловкой рукой Сундука по-над водной гладью, спекла три «блинчика», а в четвёртое свое касание поверхности реки подсекла и подбросила высоко в воздух безмятежное яичко. Ребятня от восторга захлопала в ладоши.

– Да, Сашок, – это надо суметь. Ты победил, – примирительно промолвил Егор, обращаясь к другу и одновременно наблюдая, как мальчишки продолжают бомбардировать камнями удаляющееся по реке деревянное яйцо. С минуту помолчал и заключил: – Видишь, заодно и размялись.

– Пацаны, сегодня же праздник. Побежали в церковь, там вот-вот у бабок закончится служба, – Сашка перевёл дыхание. – Надо успеть, пока другие не заняли места вдоль забора. Вот разживёмся!

Ребятня одобрительно загудела, только трое мальчуганов, боявшихся, что за самовольный уход за пределы улицы их накажут родители, потихоньку отошли в сторонку, а остальные весёлой гурьбой, минуя бараки, отправились за железнодорожные пути в переулок Алтайский, где вблизи насыпи в одной из рубленных добротных изб располагалась православная церквушка. Егорка слышал от стариков, что когда-то в их Феденеве невдалеке от теперешнего городского базара возвышались деревянный Успенский храм и колокольня из лиственницы, и по праздникам с их высоты на улицы городка и предместья лился исцеляющий душу перезвон благовеста. Но в тридцатых годах, по рассказам стариков, в дни гонений на церковь храм и колокольню разобрали, брёвна и доски пошли на строительство овощехранилища, певучие колокола частью разбили и отправили на переплавку, частью прихожане успели снять до прихода активистов из общества пламенных безбожников и спрятать до лучших времён. После Великой Отечественной войны со стороны властей якобы наступило послабление в притеснении верующих, снова открывались храмы, в основном те, что не доломали неистовые борцы с религией. В Феденеве горисполком тоже не стал препятствовать новым веяньям и разрешил православной общине выкупить какой-нибудь дом, но только не в центре города, а где-нибудь на окраине, и там отправлять свои культы и прочие предрассудки. Прихожане тайно принесли во вновь обретённый храм сохранённые иконы и припрятанные от недобрых глаз колокола. Верующие, а это в большинстве своём люди преклонного и среднего возраста, потянулись в Алтайский переулок; те же из горожан, кто моложе, ещё в детстве хлебнули безбожного варева, и в головах у многих из них была такая каша, что некогда было заглянуть к себе в сердце, разобраться в своей душе. А некоторым застил глаза лукавый хрущовский лозунг о том, что скоро мы, дескать, построим полный коммунизм, а он, как известно, – рай на Земле. Так что незачем обивать церковный порог, вымаливая у какого-то сказочного Бога лучшую долю, всё и так скоро прибудет само, да ещё и на блюдечке с золотой каёмочкой. Но на Егоркиной улице обитало немало семей, чьи корни тянулись в русскую деревню, и даже когда в местном клубе перед началом кино с лекцией о пережитках прошлого и мракобесах выступал кто-либо из работников исполкома или горкома и просил проявить активность, люди сидели и помалкивали. Помалкивали и Егорки-

ны отец и мать, а сам он, если его брали с собой родители, посиживал, поёрзывал на обтянутом кожей кресле, да ждал с нетерпеньем, когда этот причёсанный дядька в костюме и галстуке закончит трепаться, спустится со сцены, мужики отнесут в нишу трибуну, раздёрнут шторы, открывая белое полотно экрана, в зале погаснет свет, и наконец-то начнётся фильм про войну или какая-нибудь весёлая комедия. Сказать, что все в их околотке были набожными, Егорка бы не смог, но вот баба Лена Воробьёва из второй секции, что находилась прямо под Егоркиной квартирой, на первом этаже, так та денно и нощно пропадала, по словам её мужа деда Арсения, в этой своей богадельне. Дед, когда подвыпьет, бывало, пошумливал, и весь подъезд был вынужден выслушивать его бессвязные пьяные крики о том, что, мол, мы не затем кровушку свою проливали, чтобы нами опять попы командовали. Однако бабушка, тёмный платок которой всегда был подвязан на подбородке и надвинут низко на лоб, никогда не повышала своего мягкого вкрадчивого голоса не только на расходившегося мужа, но и на соседей и их детей. А ещё она умела заговаривать всякие недуги и хворости. Почитает молитву, побормочет что-то над болящим, выльет воск в святую водичку, накажет пить по три раза в день, глядишь, и ребёнок перестал заикаться, прудить по ночам в кроватку. Помогала баба Лена и взрослым от сглаза, от худых привычек, только одно условие – приговаривала богомольная, – чтобы ты был крещёным, и в тебе теплилась хоть капелька веры.

Про себя Егорка, хоть и был он во младенчестве крещён, а в одном из ящичков серванта в жестяной коробке из-под леденцов среди прочих мелочей лежал и его медный крестик, не смог бы точно сказать – крепко он верит или нет, но к двум старым, давно уже выцветшим бумажным иконам в тёмном окладе за стеклом (они, задёрнутые прозрачной занавеской, возвышались на полочке-божнице под потолком в правом углу кухни) подросток относился с тихим трепетом и втайне даже побаивался седобородого босого мускулистого деда в хитоне на одной из них, замахивающегося тяжёлым посохом на испуганно жмущихся к скале обнажённых кудрявых малышей и мужчин и женщин в светлых одеяниях. И было непонятно, то ли грозный старик хочет прибить кого из этих перепуганных людей, то ли указывает страшным изогнутым посохом путь своим соплеменникам. На заднем плане этой живописной иконы, обрамлённой по верхним углам чем-то похожим на грозди спелого винограда, и с крылатыми ангелами ниже этих гроздьев, каменистая дорога, уходящая к утёсам, за которыми просматривалось синее библейское небо.

Когда ребятня свернула в церковный переулок, все поняли, что не они первые: у распахнутых настежь ворот, увитых и украшенных свежими пихтовыми лапками, бумажными гирляндами и цветами, и расписанных по дуге верхней перекладины праздничными словами «Христос Воскресе», вдоль дощатого забора стояло человек шесть мальчишек.

– Гляди ты, алтайские опередили нас! – Сашка сплюнул себе под ноги, и бесшабашно прикрикнул: – Пацаны, счас будет махаловка за место под солнцем! Нас больше – бей алтайских!

Но боевой клич Сундука никто из ватаги не поддержал, да и сами алтайские, видя численное преимущество пришедших, а может, ещё и осознавая, что у церковной ограды драться как-то не по-людски, молча потеснились. Сундук бесцеремонно встал первым у ворот, откуда вот-вот должны были показаться богомольные старушки с разными сладостями в своих кошёлках, остальные ребята растянулись по всему переулку вдоль забора. Едва стихли

последние звуки праздничного колокольного звона, как паперть и дворик наполнились выходящими со службы прихожанами, лица которых казались Егорке если и не одухотворёнными, то уж точно какими-то необыкновенно прояснёнными. Трижды осенив себя крестным знамением с поясным поклоном, люди не спеша выходили за ворота, старушки останавливались перед мнущимися у забора мальчишками, что-то искали в своих сумочках и кошёлках, и одаривали ребят кто конфеткой, кто пряником или ватрушкой. А некоторые доставали глубокие мисочки с кутьёй и заставляли съедать с ложечки сладкий рис, варёный с изюмом. Кто-то из мальчишек и морщился, но ел, потому что не хотелось задеть старых богомолок, чтобы те, обидевшись, в сердцах не лишили их других пасхальных милостыней.

С полными карманами добычи возвращались ребята в свой околоток, когда Егорку осенило.

– Побежали на гору костры жечь! Еда у нас есть, спички тоже. Я сейчас – на полянку, отец наказывал поглядывать, как там наш сосунок Мартик, чтоб не запутался в верёвке, оттуда – в сарай, отцеплю Байкала, пусть и он на горе помышкует. Там нор нарыто, знаете, сколь! Повезёт, то и крота добудем.

– А я так и быть, забегу домой, – поддержал Егорку Сашка. – Нагребу в кладовке из ларя картохи, славно запечём в углях!

Костёр наладили под вершиной, невдалеке от плоской наклонной скалы, на метр вылезшей из земли – здесь меньше задувало свежим, окрепшим к обеду ветерком, и дрова не надо было таскать издалека: чуть ниже по склону зеленели первыми резными пучками клейких листочков заросли акации. Благодаря этой зелени мальчишкам легче было отыскивать и выдирать из кустарника сухие, жарко пылающие в костре хворостинки: увидел ветку голую, да ещё и с кое-где содранной и отшелушенной корой, ту и бери, не прогадаешь, она и сломится в один хруст, а не будет упрямо выгибаться и вырываться из рук, как, например, живой упругий стебель. Байкал носился по горе как угорелый, нарезал петли и круги, лапами разрывал овальные кучи прошлогодних кротороин, просовывал мокрый, испачканный землёй нос в слежалую траву и сухие листья, что-то там вынюхав, подпрыгивал на месте и энергично бросался в кусты за убегающей полёвкой. Настигнет, даванёт мышку, проглотит, почти не жуя, и опять, счастливый, носится по склону. Егорка улыбнулся, отвёл глаза от пса и палкой поворошил алые угли. Ещё минут пять, и можно закладывать в прогорающий костёр приготовленный картофель.

– Глянь, Егор, какая красота! – подошедший Стёпка Фёдоров бросил охапку хвороста рядом с костром и показал рукой вниз, на их улицу, отчёркнутую шоссейной дорогой у подножия от депо с узкоколейными тепловозами и вагонами.

Частные, как их называли взрослые – «свои», дома, в пригожих квадратиках садов и огородов вдоль извилистой поймы реки Филипповки, взбитые кущи ивняка по обрывистым берегам, автомобильный мост с деревянными перилами, покатые шиферные крыши двухэтажных бревенчатых бараков, дружелюбно обступивших со всех сторон детскую площадку с песочницами, волейбольным полем, качелями и грибками, чуть дальше широкие железнодорожные пути с вереницами вагонов и цистерн, под парами маневровый паровоз-кукушка, за полотном поблескивает золочёный купол церковки – всё это такое милое, родное и, кажется, до краёв наполнено беззаботными, сродными весенним, ароматами детства. Однако что-то тёплое

ответить другу Егорке помешала толпа алтайских, неожиданно появившаяся с противоположного склона горы. Видно было, что подростки, среди которых Егорка узнал и тех, кто стоял утром с ними у церковного забора, настроены воинственно. Мгновенно оценив обстановку, он понял – сила на стороне алтайских: они и числом превышают, да и больших пацанов среди них немало. Подбежал запыхавшийся Сашка Сундук, в руках он крепко держал сухую толстую ветку черёмухи, которую только что выломал на костёр под горой, в ложбинке.

– Чё, пацаны, будем махаться!

– Да ведь их больше!

– Побьют!

– Не бздите! Иль забыли, что воюют не числом, а умением, – к месту вспомнил Сашка яркую фразу из неделю назад показанного в клубе фильма «Суворов». – Главное: держитесь вместе и спин врагу не открывайте. Вооружайтесь камнями. Биться, так биться!

– Может, ещё и обойдётся, – нерешительно вставил Стёпка, оглядываясь и ища вокруг себя что-нибудь такое, чем можно защититься.

Между тем алтайские уже приблизились и взяли в оборот стоящих вокруг костра Егорку и его друзей. Курносый крепыш, с крохотным шрамом над губой, в стёганой фуфайке и клетчатой модной кепке надвинулся на Сашку Сундука, и фасонисто цвикнул слюной себе под ноги.

– Этот, что ли, пацаны, на вас буровил?

– Он самый!

– Меня так толкнул, что я чуть штаны не порвал об гвоздь в заборе!

– Чё ты врёшь! Кого я толкал? Так, подвинул маленько. Да вы ведь и сами были не против потесниться!

– Ты ещё побазарь мне, гусь чернявый!

– Да пусть он не гундосит! Вломи ему, Кольша, чтоб больше не рыпался!

Егорка пока не вступал в перепалку, но чувствовал, как сохнет в горле, наливаются силой, тяжелеют кулаки и внутри у него сжимается какая-то жёсткая пружина, ещё немного – она распрямится, и тогда он за себя не отвечает. И тут краем глаза он отметил, как долговязый паренёк с велосипедной цепью в руке норовит зайти Сашке за спину, чтобы оттуда неожиданно перетянуть Сундука этой цепью вдоль хребта. Раздумывать было некогда, и Егорка прыгнул на долговязого сбоку, сбивая того прямо в костёр. Сашка тоже не зевал: заметив, как у крепыша из рукава фуфайки в ладонь скользнул трёхгранный напильник, Сундук так боднул толстым концом своей палки тому в солнечное сплетение живота, что крепыш упал и скрючился на земле, судорожно хватая воздух широко раскрытым ртом. Сашка подбросил в руках сушину и принялся молотить ею налево и направо. Алтайские отступили, закружились вокруг него, выжидая момент, чтобы как-то угомонить разошедшегося Сундука. Стёпка тоже отчаянно тыкал своими кулаками в перекошенные лица и тёмные куртки нападавших, от полученных тумаков у него уже вовсю горели щёки, нос и скулы, но сбить его с ног у алтайских никак не получалось. Остальные ребята с их улицы держали оборону кто как мог. Егорка ловко уворачивался от ударов палок и цепей, лавировал между противниками, чувствительно торкая тех в бока, ловил руками пинки и, задирая пойманные ботинки и сапоги как можно выше, отбрасывал алтайских подальше от себя. И хотя он пропустил несколько хлёстких затрещин по затылку и в подбородок, азарт драки у Егорки только нарастал. Но вдруг стало так тихо кругом, что зазвенело в ушах, или это только показа-

лось, когда он увидел в двух метрах перед собой прущего на него Кольшу с направленным прямо в грудь Егорке трёхгранным напильником. Ещё шаг, и от удара не увернёшься! Егорка замер, ноги стали ватными, и в этот миг откуда-то сбоку по воздуху пронёсся яростно рычащий лохматый комок, клацнули собачьи зубы, прежде чем впились в оголённую кисть вытянутой руки с поблескивающим холодным оружием. Кольша выронил напильник и заорал благим матом, свободной рукой пытаясь сбросить Байкала с себя, однако запнулся за кочку и навзничь грохнулся на щебенку. Пёс, разжав челюсти, уже перебирал мощными лапами по задравшейся фуфайке, и тянул свою продолговатую морду с раскрытой пастью к напряжённому горлу заходящегося в истошном крике паренька. Егорка, не раздумывая, упал на Байкала, обхватил подрагивающий корпус пса обеими руками, перевернулся с ним по склону и прижал вырывающегося пса к земле. Драка к этому времени приостановилась. Алтайские в первые минуты нападения пса растерялись, они были ошарашены участью своего вожака, друзья Егорки, тяжело и прерывисто дыша, сходились, образуя вокруг него и Байкала живое кольцо. Между тем Кольша поднялся со щебёнки, и покачивая-понянчивая прокушенную кисть, бросил в сторону противников:

– Чё, салаги, победили?! Пацаны – хватай камни и бей проклятого пса. Счас мы его прикончим, а заодно и всю эту мелюзгу!

Дело обретало крутой поворот. Алтайских было раза в полтора больше, и если б каждый из них метнул хоть по несколько окатышей или скальных плиток с зазубринами, то Егоркиной команде крепко бы не поздоровилось. И как назло, на том месте, где столпились они с прижатым к земле Байкалом, кроме редкой серой прошлогодней травы ничего не лежало. Хоть бы камушек какой подобрать, чтобы ответить на ожидаемую бомбардировку алтайских! Мало того, даже и укрыться-то негде.

– Что за шум, а драки нет! – в напряжённой до звона тишине железом по стеклу прозвучал хрипловатый голос Васьки Богомола. – Братва, никак наших бьют!

Старшие пацаны весёлой ватагой вывалили из-за вертикальных скал у вершины, поигрывая надёрганным где-то по дороге сюда штакетником.

– Вот теперь всё по чесняку! Силы примерно равные.

Богомолу явно нравилась роль командующего на предстоящем побоище. С их прибытием алтайские оказывались зажаты в клещи с двух сторон. Егор крепко держал Байкала за кожаный ошейник, да и пёс, почуяв, что теперь маленькому хозяину ничего не угрожает, немного успокоился, и хотя дрожь по шерсти утихла, но он всё равно, навострив свое стоячее ухо, с предельной настороженностью наблюдал за происходящим, готовый в любую секунду ринуться в бой. Растерянный Кольша и его друзья, сбившись в бесформенную кучу, незаметно побросали заготовленные гальку и осколки скал наземь, и теперь, чтобы выказать всё своё миролюбие, прятали за спины колья и велосипедные цепи.

– Я даю вам, алтайская шпана, право выбора, – глазастый Васька упёр один конец своей штакетины в щебень, а на второй положил худые ладони – ни дать, ни взять – справедливый и мудрый вождь индейцев! – и с расстановкой продолжил: – Либо вы сдаёте всё оружие, и мы вас отпускаем, если нет, то мы вас счас же и начнём лупасить, как дед Аким свои матрасы по субботам!

От последних слов вся ватага покатилась со смеху, живо припомнив деда Акима, и то, как он яростно колошматил толстой, вырезанной наподобие

весла, палкой вывешенный на турнике матрас до тех пор, пока тот не сваливался деду на голову и не сбивал старика с ног.

– К сдаче оружия приступить! – Богомол указал штакетиной на ворох хвороста слева от себя: сюда, мол, складывать трофеи. Алтайские понуро потянулись мимо него, освобождая руки от палок и цепей. Васька хохотнул: – Гляди, пацаны, сколь дров на костёр накандычили! А всё спасибо этой пигалице – Ляльке Кукарцевой. Мы на полянке в камушки играли, она бежит, квохчет, – Васька, передразнивая девочку, затараторил тонким писклявым голоском, с плаксивыми нотками: – «Стою я, значит, на мосту, разглядываю волны, а тут чужие мальчишки идут, да так их много, много, что я вся обмерла и оробела, но одним ушком всё равно слушаю, чё они брешуть. А они хвастают промеж собой, как счас будут охаживать колами мальчиков с нашей улицы, что, дескать, так неосторожно без спросу взрослых пошли на гору жечь какие-то костры. Ну, я сразу к вам и припустила, так мне жалко стало бедных наших ребят! Убьют ведь их, проклятые хулиганы!» – Богомол переждал смех друзей и закончил уже своим голосом с характерной хрипотцой: – Теперь, Егорка и Сашок, вы должны килограмм карамелек или подушечек «дунькиной радости» подарить вашей спасительнице, ну, а мужикам, так и быть, разоритесь на пачку «Беломора». – Васька подавил смешок. – Мы вас не торопим – можно и с первой получки.

– Конечно, Васёк, замётано! – Сундук вытащил из изрядно подросшей кучи дров парочку самых сухих хворостин, одну подбросил в притухший костёр, другой поворошил уголья, которые мгновенно вспыхнули весёлым оранжевым пламенем. – А пока что рассаживайтесь по бугру, минут двадцать – и я угощу вас печёной картохой. Отпразднуем нашу победу.

Егор тоже пододвинулся ближе к огню. Как только алтайские утекли вниз по склону, растворившись в кустах акации, паренёк опять отпустил Байкала побегать.

– Ребята, неси на круг свои авоськи! – У Егорки загорелись глаза, словно он вспомнил что-то хорошее. – Давайте, выберем место, да вон хоть на траве, где поровнее, и устроим пир на весь мир. А то с этими драками и про праздник забыли.

– Правильно. Война войной – обед по расписанию, – видно было, что у Богомола настроение превосходное. – Мы с братвой у вас как вроде почётными гостями будем.

После сытных пасхальных варёных яиц, кренделей и ватрушек, ароматной, испеченной в углях картошки и прочих вкусностей, приправленных свежим апрельским воздухом и запитых студёной водичкой из бьющего ниже по склону родника, подростки разбрелись по горе кто куда. Богомол с ватагой спустились опять к Филипповке на поляну доигрывать в свои камушки, некоторые из ребят ушли с ними, кто-то, вооружившись палками и камнями, перебрался на вершинку рядом, поохотиться – там будто бы водились суслики и хомяки. Егорка свистнул Байкала и, огибая колючие заросли шиповника, направился в южный лог, где на солнцепёке всегда первыми прорастали, похожие на изящные колокольчики, лазоревые, с фиолетовым налётом кандыки. Коль сегодня праздник, то и букет полевых цветов в зале на застеленном бархатной скатертью с кисточками круглом столе с фигурными ножками будет в самый раз. Наклоняясь в пояс и ухватывая двумя пальцами стебельки за основание, Егорка ловко надёргал десятка полтора кандыков вместе с длинными прозрачно-матовыми корешками. После этого уселся поудобнее на присыпанную щебнем коряжку, отделил цветки от кор-

ней, уложил кандыки в хорошенький букетик, а корешки один за другим принялся есть, со вкусом пережёвывая сладкие и сочные растения. Сидящий рядом Байкал, не скрывая своего любопытства, наблюдал за тем, как его любимый хозяин расправляется с корешками. Егорка, заметив внимание пса, дружелюбно кивнул и бросил тому несколько корешков. Байкал благодарно вильнул хвостом, обнюхал необычный гостинец и поднял на паренька свои умные глаза, в которых нетрудно было прочитать что-то схожее со снисходительным упрёком: «ты что ж, хозяин, забыл, что мы, псы, – хищники, а не какие-то там травоядные! Уж лучше я побегу поохочусь». Байкал пружинисто подпрыгнул на месте и через секунду исчез в ближайших кустах акации. Егорка доел нехитрые горные витамины и поднялся с коряги на ноги. Ему пришло в голову взобраться на скалистый боковой гребень и там поискать слизуна, ядрёного, с широкими сплющенными зелёными перьями, то ли дикого лука, то ли чеснока. Мать рассказывала, как в годы войны он выручал их в деревне. Девчонками, ранней весной, едва только сходил снег, они собирали на окрестных сопках слизун охапками, приносили домой, и бабушка, мелко нарезав эту целебную зелень, смешивала её с мукой, добавляла мякоти прошлогодней тыквы, и заводила тесто, чтобы напечь в русской печи оладушек, слаще и вкусней которых в те суровые годы, по словам матери, ничего и не придумать. Егорка, слушая мать, всегда живо представлял себе и ворох слизуна, и разломленную жёлтую тыкву, и даже никогда не виденную им прабабушку Марью Андреевну, слывшую на всю округу отменной травницей и знахаркой, но, однако, сладость оладушек из горького слизуна – это ну никак не укладывалось у него в голове. Паренёк мягко улыбнулся своим мыслям и продолжил сбор даров горы. В двух шагах, в осыпях уже проклюнулась и успела округлиться, привлекая взгляд налитыми тугими лепестками, схожая с воткнутыми в землю бутонами георгинов, только вот несвойственного им светло-зелёного цвета, заячья капуста, тоже ребячий деликатес, с водянисто-кисловатым вкусом.

Возвращался домой Егорка с полными карманами дикой зелени, и бережно неся в руках букет лазоревых кандыков. Байкал, высунув влажный алый язык, бежал сбоку. Брать пса на поводок не было нужды: лайки такие удивительно незлобивые собаки, что в некоторых обстоятельствах об их мягкую шерсть хоть ноги вытирай, однако же и при этом не вздумай как-то не так задеть или причинить им боль – хватка у лаек мёртвая. То ли от ходьбы, то ли от солнечного апрельского дня, но настроение у Егорки было отменное. Тропинка весело петляла по склону, пока резко вдруг не обрывалась перед самым подножьем: там в своё время брали щебень, и теперь надо было быть предельно внимательным, чтобы по кромке уступа спуститься вниз, и не сорваться. Но Егорка знал здесь каждый камешек и выступ – на эту гору он с друзьями лазал ещё карапузом. Пройдя опасный участок, паренёк остановился, на минутку задумался и, подозвав Байкала, потрепал пса по загривку и, подражая взрослым, сказал:

– Ну, что, брат Байкал, по краю мы с тобой ходить умеем, теперь сбежим вниз к депо, а там широкая дорога. Главное, друг ты мой лучший, скоро лето! И, знаешь, сколько впереди нас ждёт хорошего да интересного!

Байкал в ответ вильнул хвостом, поднял свою продолговатую морду, внимательно всмотрелся в лицо хозяина, и в умных глазах мохнатого друга Егорка прочитал не только преданность и любовь, но и понимание всего того, что только что ему было сказано.

На земле ликовала весна 1963 года.

ПУДОВЫЕ ЯКОРЯ

Широкая и бледно-жёлтая полоса суши у прибоя была утрамбована, как асфальт. Да и как могло быть иначе, если в течение тысячелетий морские волны ежесекундно набегали на вдавленное в лесистые сопки побережье пологой бухты, подгоняя крохотные песчинки одну к другой так плотно, что не то что волосок ни просунуть меж ними, но и даже невидимый микрон не пролез бы. Иногда по побережью грохотали многотонные танки – расплывчатые контуры воинской части маячили посреди юго-восточной побережной дуги, подковой охватывающей Охотское море. Но и Т-62 не оставляли ни рельефных отпечатков гусениц, не отбрасывали ошмётков мокрого песка по сторонам, прогрохочут, подойдёшь глянуть, – а ничего кроме гладенького песочка и нет. Выше этой полосы, исчезающей под водой во время прилива и обнажающейся при отливе, до самой дощатой сплошной ограды бугрились рыхлые песчаные барханы, в которые мы зарывали повреждённую при ловле или объеденную крабами рыбу, поскольку на рыбозаводе, что громоздился кирпичными корпусами чуть дальше, у нас никто бы её не принял. Оставлять не закопанными рваные и потрёпанные тушки чайкам и воронам, что тучами кружили здесь, – означало приваживать этих пернатых разбойников, от их налётов и так приходилось отбиваться чуть ли ни ежедневно. Здесь стоит упомянуть об одном любопытном эпизоде, коему стала свидетелем вся немногочисленная наша бригада.

На зорьке, по тихой воде ходили мы на кунгасе с острым вздёрнутым носом, высокими бортами и подвесным мотором выбирать сети-ставники с серебристой корюшкой-зубаткой. Промышляли мы, правда, в меньшем количестве и морским линем-краснопёркой, мойвой и тихоокеанской сельдью. Обратно возвращались, нагруженные доверху ещё трепещущей рыбой. Как ни странно, но корюшка пахнет свежими огурцами, да так явственно, что стоит прикрыть глаза, и ты ощущаешь себя не покачивающимся в лодке на море, а стоящим посреди недавно политых навозных грядок и мысленно видишь мохнатые переплетённые стебли и лопушистые изумрудные листья с жёлтыми колокольчиками завязи и свисающими пупырчатыми огурцами.

Причалив, мы лебёдкой вытягивали кунгас на берег и перегружали в плоские деревянные ящики наш улов. Обычно это происходило часов в 9-10 утра. Туман, если он бывал, к тому времени уносило в море, зеленовато-прозрачная на изгибах прибоя вода начинала играть и пениться, словно вся эта неподвижная гладь, уходящая в бесконечность, лениво просыпалась. Солнечный диск на востоке медленно очищался от матовой поволоки испарений, и море вспыхивало золотистыми мириадами искристых бликов. Наступивший день преображался, принимал свои окончательные объёмы, освещая переливчатым тёплым светом горку ящиков с корюшкой и другой попутной рыбой, полувычерпанное чрево кунгаса и человечьи фигурки в оранжевых рыбацких робах, суетящиеся рядом.

Тут-то всё и случилось. Оказывается, чайки бывают настырными не только при рыбалке непосредственно на море. Они и на берегу не отличаются скромным поведением. И чем крупнее птица, тем наглее. Находясь метрах в трёх от нас, чайки, беспокойно переваливаясь с боку на бок, стерегут все наши

движения. Едва только какая-то рыбёшка проскользнёт мимо ящика, они наперегонки и бесстрашно подлетают, кто-то из них подхватывает добычу, и счастливица под завистливые крики товарок принимается жадно расклёвывать серебристую тушку корюшки, не подпуская к пище остальных чаек. И всегда в эти минуты поодаль вышагивают серые вороны, опасливо, но зорко поглядывая в сторону происходящего.

Однако в этот раз одна из них смело подскочила к огромной, вдвое превосходящей её по размеру чайке, которая только что уворовала жирную зубатку и уже занесла свой клюв над рыбой, прижав ту когтистыми лапами к песку. Ворона изловчилась и ухватила чайку железным клювом за крахмально-радужное крыло и потянула её, хоть и с изрядной натугой, пытаясь стащить с рыбного места. Чайка же не желала расставаться со своим лакомством. Она подобрала в клюв корюшку и упёрлась освободившимися когтями в спрессованный песок. Но и у вороны сила имелась. Чайка, едва не потеряв равновесие, выронила рыбу, и ну давай остервенело щипать соперницу, злобно поклёктывая, и всё больше входя в раж.

Между тем другая ворона подкралась к полю боя, подхватила брошенную рыбу и с добычей отлетела в сторонку. Первая ворона мгновенно отпустила крыло чайки и, удовлетворённо покаркивая, полетела к своей напарнице, где спокойно присоединилась к пиршеству, отрывая сладкую мякоть от порядком истрёпанной зубатки. А чайка, казалось бы, самая могущественная среди прочих участников этого импровизированного птичьего базара, ещё долго бегала вперевалку по побережью и пронзительно и жалобно кричала, ища и не находя сочувствия у своих пернатых соплеменниц.

В рыбацкую бригаду я устроился в середине мая, начиналась путина, и мои руки были как нельзя кстати. Новое место работы мне полюбилось с первого взгляда. Одноэтажное кирпичное многооконное общежитие стояло перпендикулярно к морю, отгороженное от него не только высоким забором, но и выложенными рядами вверх дощатыми столитровыми, стянутыми железными пластинчатыми обручами, кадками под засолку горбуши и сельди. Песчаный, слегка покатый двор перед крыльцом общежития, будто мощная грудь бывалого моряка шерстью, зарос редкой, сцепленной между собой ярко-зелёной травкой-муравкой.

Кривая тропинка отслаивалась от дорожной колеи метрах в пяти от крыльца и дугой тянулась к производственной базе рыбаков, что сразу узнавалась по темнеющим рядом с внутренними воротами, перевёрнутым, просмолённым, и оттого сильно смахивающим на чёрные пилотки подводников, кунгасам и по впившемуся загнутой стрелой в бархан ржавому якорю.

Сама база включала в себя ютящуюся в тыльном правом углу будку с самодельной сушилкой, сработанной из асбестовой трубы с намотанной толстой спиралью, и развешенными над ней просоленными тельняшками и портянками, рыбацкими комбинезонами и куртками, брюками и свитерами. Напротив будки громоздился просторный сарай, приспособленный под склад, а дальше вдоль забора на жердях были разброшены напоминающие маскировочные, не однажды штопаные сети. Посреди базы, прикрытый от дождя кожухом, стоял движок лебёдки, и от него натянутой струной под внешние ворота уходил к побережью трос, с помощью которого после работы сюда затаскивали кунгасы.

Первый мой выплыв в море к сетям-ставникам случился на зорьке ветреного майского денька. Старший нашей миниатюрной – всего-то три ры-

бака – бригады, усатый и смуглый, с жёлтыми холодными глазами, сухощавый мужик, со странною, нерусской фамилией Исихара и красивым именем Виктор с первого раза завёл движок, мотор ровно затарахтел, и бригадир направил кунгас к ставникам, белеющим цепочками пластмассовых и пробковых наплавов метрах в ста от берега. Боковая волна подплёскивала под борта, кунгас проваливался вниз, почти касаясь водной поверхности бортовой набойкой с закреплённым вдоль веслом, и, казалось, что следующая, кудреватая по кромке, волна непременно накроет своей упругой мощью лодку и затопит её. Однако этого не происходило, наш кунгас, как подвижный поплавок, который будто кто-то на невидимой леске тянул в море, уверенно скользил среди бесчисленных чешуйчатых солнечных блёсток, то и дело падая в пучину и мгновенно взмывая из неё.

Причалили к ставнику. Григорий, чернявый, гибкий и улыбчивый молдаванин лет двадцати трёх от роду, перевесился через борт и поймал капроновый фал, к которому были крепко привязаны шёлковые ячеи сети. Ещё на берегу, когда я из любопытства принялся дотошно расспрашивать правящих на воду кунгас бригадира и Григория о предназначении той или иной рыбацкой принадлежности, ребята переглянулись, и Виктор, шевеля щетинкой своих редких японских усов, усмехнулся:

– Никто ничему здесь тебя учить не намерен. Не лови ворон, а следи за тем, что и как мы делаем и повторяй. Захочешь – научишься.

От той бесцеремонности, с какой это было сказано, я даже опешил, вспыхнул и хотел тут же бросить в ответ что-то резкое и обидное, но в последние мгновение сдержал себя, и, махнув рукой, принялся заворачивать лодку носом в море. После этого случая я больше ни о чём никого не расспрашивал, а только внимательно следил и старался запомнить всё, что делали мои новые товарищи по работе.

Между тем Григорий, перебирая в руках фал, по краю прошёл к корме кунгаса. Виктор привалился оранжевой робой к борту рядом с уключиной и подхватил выглянувшую из воды часть капроновой верёвки. Стоя на носу, я понял, что и мне необходимо сделать то же самое. Перегнувшись к сети, ухватился за фал и вытянул его на борт. На ячеях дружно лопалась радужная плёнка, когда мы одновременно сушили сети, сгоняя мечущийся косяк корюшки к горловине, за которой начиналась такая же, густо обрамлённая наплавами из пенопласта и напоминающая увеличенный до гигантских размеров детский сачок для ловли бабочек, ловушка. А этот, растянутый на пудовых якорях квадратный и крупный участок, который мы, перебирая ячеи, сейчас проходили, у рыбаков назывался двором.

Спустя какое-то время я понял – почему: четырёхметровая в высоту, намертво привязанная к тугому фалу и снабжённая понизу частыми свинцовыми грузилами, сеть от берега уходила в море, перегораживая его. Табуны рыб, ночью подплывая к побережью, торкались в сети и начинали скользить вдоль них, намереваясь вернуться обратно на глубину. Казалось бы, ещё одно движение плавника да взмах упругого хвоста и – вот он, морской простор! Но вместо этого их ждали округло распятые отверстия сетчатых подкрылок, приглашая в сетчатый же сачок упомянутого двора. Коварные подкрылки были изготовлены по принципу знакомых многим из нас горловин речных мордушек, когда рыба, попав в плетёный из ивняка сосуд, обратно выбраться уже не всегда умела.

Пропуская под днище кунгаса сеть, мы прогнали тучный косяк зубатки к садку, отделённому от ловушки продольными и лёгкими поплавками, кото-

рые по мере приближения к ним стали тонуть и вскоре скрылись в воде под тяжестью напирающей рыбы. Бригадир довольно цокнул языком и обронил:

– Не меньше полтонны будет.

– Как и вчера, – подал голос Григорий и ещё энергичней стал перебирать сеть, стравливая её под лодку. Хоть я и молчал, но азарт рыбалки захватил и меня. Так и подмывало сказать тоже что-нибудь стоящее и ёмкое, однако слов, подобающих моменту, в голову не приходило, и поэтому я, стараясь не отставать от товарищей по бригаде, вытягивал и сбрасывал мокрые ячеи, не давая своему участку ослабнуть, а значит, прогнуться и дать возможность корюшке уйти из нашего загона.

Душа моя наполнялась ликованием, неожиданно для себя я замурлыкал какой-то трогательный мотив. Исихара услыхал, поднял недоумённо бровь и так посмотрел на меня, что я должен бы был провалиться на дно, с треском проломив под собой дощатое просмоленное днище кунгаса. Но я даже и взгляда не отвёл, лишь усмехнулся, примерно так же как он давеча, когда на берегу отбил мне всякую охоту о чём-то его расспрашивать. Бригадир нехотя отвёл свой колючий взгляд. Так-то лучше. Рыба в садке, теперь наверняка можно передохнуть и осмотреться.

Рябь улеглась, морская гладь перед нами, ровная, как стол, простиралась до тех пор, пока вдали ни сливалась с небом; по левую руку от нас оконечность лесистой подковы залива венчали бугристые строения городка Корсакова, террасами уходящие в ажурные скалистые сопки. Между жилыми пятиэтажками у подножия и рельефными силуэтами кораблей на рейде цаплями возвышались портовые краны. Чистый воздух, подобно увеличительному стеклу, скрадывал расстояние и обманчиво приближал этот приморский пейзаж, но в действительности – об этом я узнал позже – до Корсакова по прямой было не менее двадцати миль. По правую руку от нас можно было хорошо разглядеть невдалеке Аниву, с высыпанными на побережье одноэтажными домишками и блестящими на солнце овальными крышами вытянутых складов и ангаров. Где-то там же, за тополиными кущами скрывались казармы двух воинских частей. А вот пограничная застава на самом дальнем мысе отсюда почти не просматривалась, и лишь напрягая зрение, можно было с трудом угадать высоченную антенну на выпуклой сопке и белеющие пятна воинских строений. Дальше по морю на юго-восток не очень дружелюбная к нам Япония.

Их недружелюбие понять просто: столько островов на севере прошляпили во время оно, а всё потому, что изнежены больно, всё откладывали на потом освоение северных земель, думали – кому-де эти стылые, заваляющие широты нужны? А как продрались, пробились наши бесстрашные предки, землепроходцы и мореходы верхом на конях да на быстроходных и лёгких кочах в 17 веке через дремучую тайгу и кошмарные шторма на Сахалин да Курилы, срубили на новых землях остроги, тут и спохватились надменные японцы, да близок локоток, а не укусишь! Всё, ребята, по-честному: русская отвага и ваша нерасторопность дали возможность матушке-России прирасти благословенными островами. В этот миг размышления мои прервал резкий зык бригадира:

– Всё, кончай перекур! Начали перегрузку!

Обратно плыли осторожно. Мотор тихонько урчал, Исихара, не доверяя никому, сам сидел на корме, крепко держа рукоятку руля правой рукой и направляя перегруженный кунгас в наиболее спокойные места прибрежья. Мы с Гришей примостились, подобрав ноги под сиденье, по бортам посредине. Я выбирал из бурта шевелящейся зубатки пестреющих петушиным окрасом морских бычков, что значительно превосходили по размеру корюш-

ку и судорожно хватали воздух своими розовато-прозрачными ртами, обречённо раздувая при этом радужные, смахивающие на жабо средневековых придворных, разноцветные жабры. Подхвачу, стараясь не уколоться об ярко раскрашенные гребни спинных плавников, полюбуюсь на роскошную роспись узоров на чешуе и опускаю очередного бычка за борт, в проплывающие мимо волны. Лишь на миг освобождённая рыба замирает в уходящей зеленоватой воде белым брюхом кверху, и в одну секунду перевернувшись, исчезает в глуби, напоследок шлёпнув изящным хвостом по взрябленной глади моря.

– Ишь ты, какой жалостливый выискался! – Исихара растянул губы под редкими усами в едкой усмешке. – Давай, не ленись, выбирай и зубатку, ту, что крупней, – и за борт! Вот нарыбачим-то мы с тобой! Да, Гринь?

– Да пусть его, выбрасывает! Всё одно, закапывать этих бычков на берегу! Сам же знаешь, по штуке у нас не берут. Здесь другой вопрос: сумеют ли они помятые опять оклематься? И не станут ли теперь лёгкой добычей крабам?

Я молча смотрел на них и продолжал по одному спроваживать некондиционных морских бычков в их родную стихию. Вчера при первом знакомстве и скупом инструктаже я понял, что не всю выловленную рыбу у нас принимают, а только ту, что в прейскуранте, поэтому и полагал, что ничего страшного не случится, если я некоторых из обречённых давиться песком освобожу от этого, вернув их в бездонную горько-солёную юдоль.

День за днём осваивал я профессию «ловца прибрежного лова», именно такая новая запись, а не как я предполагал – «рыбак», появилась в моей трудовой книжке. Что ж – ловец, так ловец. За это время наша бригада пополнилась. Мой ровесник Сергей устроился на период путины, используя для этого свой законный отпуск. По разговору, он тренировал юных прыгунов с трамплина на детско-юношеской спортивной базе Южно-Сахалинска, был среднего телосложения, но жилист и вынослив, в чём я убедился, работая с ним в паре на одном из двух наших ставников, проброшенных в море метрах в восьмистах друг от друга.

– Мужики! Сегодня у нас праздник, – подошедший Гриша поправил провисшую между жердями сеть, которую мы чинили на базе, и весёлыми карими глазами окинул меня с Сергеем. – Идём на крабов. Это миль шесть прямо туда, – он махнул загорелой рукой в направлении открытого моря. – Поэтому тащите из сарая спасательные жилеты, вдруг рыбнадзор на катерах с проверкой нагрянет. Надо, чтоб всё было чика в чику. Да поторапливайтесь, а то бугор что-то не в духе.

Миновав обозначенные жёлтыми поплавками из пенопласта, хорошо просматриваемые в воде сетчатые и пузатые пустые краболовки, мы на вёслах отплыли мористее, и бригадир намётанным глазом определил место, где шарить глубь припасённым багром, чтобы подцепить утопленную сеть-путанку. Уже через минуту довольный Гриша вытягивал на борт пойманный толстый капроновый фал, который мы вчетвером, навалившись на борт, тут же принялись живо перебирать, придвигая лодку к всплывающей крупноячеистой сети. И вот он, первый бледно-коричневый с лакированным отливом панцирь камчатского, с длинными суставчатыми конечностями, краба. Бригадир ножом ловко обрезал шёлковые шнурки, впившиеся в сочленения выше клешни, освобождая добычу от пут, и перебросил краба в кунгас. С удвоенной силой мы продолжили пропускать вдоль лодки сеть, и через некоторое время чрево нашего кунгаса было устлано и поблескивало на солнце подсыхающими и шевелящимися пупырчатыми панцирями.

К берегу набитый под завязку выловленным крабом кунгас шёл не спе-

ша, напрямки через цепь жёлтых поплавков, с мерцающими из морской пучины пустыми краболовками. Как я догадался, они болтались в море для отвода глаз рыбной инспекции: мол, всё у рыбаков-прибрежников по закону, крабов добывают выданными на складе садками, и никаких запрещённых орудий лова здесь не бывало и в помине! Так бы оно так, да ведь только и краб не дурак переть напропалую в неуклюжие садки-ловушки, ему проще поднырнуть под них и дальше дрейфовать на вожделенную Камчатку! И где уж бедному обладателю цепких клешней знать, что ушлый и коварный человек просчитал всё наперёд и точно по ходу растянул неразличимые даже вблизи сети-путанки.

Залив был солнечным и пустынным, лишь вдали, напротив Корсаковского порта, на рейде поблескивали расплывчатые контуры двух сухогрузов, да у горизонта, где море сливалось с небом, застыл силуэт пограничного сторожевика. Припекало. Не сговариваясь, мы, все четверо, сложили на корму спасжилеты, скинули робу, а Гриша присел на скамью посреди лодки и стянул с себя и рыбацкий, на лямках, комбинезон, оставшись в свободных, в горошек, трусах и подвёрнутых болотниках.

–Ты бы, Григорий, аккуратней по кунгасу-то шастал, – не удержался я, видя как, не выбирая, куда ставить сапог, Гриша прямо по наползающим друг на друга крабам направился на корму к сидящему у руля бригадиру. – Неровен час, разворотят тебе эти бедолаги всю промежность своими железными клешнями!

Парень лишь снисходительно отмахнулся, подняв правую ладонь чуть выше плеча. И тут же поплатился за свою беззаботность. Огромный краб, через которого Гриша, расшаперив оголённые, поросшие тёмным волосом ноги, переступал в это мгновенье, неожиданно вскинул клешню и намертво сомкнул её в мошонке парня, прихватив вместе с подрагивающей смуглой кожей и часть материи в горошек. Гриша так взвыл, что у нас в ушах зазвенело. Бригадир бросил руль и, подскочив к корчащемуся напарнику, оторвал сустав по сочленению и отшвырнул искалеченного краба к борту. Подоспел и я, а Сергей в это время добрался до кормы и сел за брошенный бригадиром руль. Не теряя ни секунды, мы бережно усадили постанывающего Гришу на лавку у вёсел, Исихара достал складень и тихонько просунул лезвие между сжатыми конечностями оторванной клешни.

– Терпи, казак, атаманом будешь! Угораздило ж тебя, Гришаня!

– Да это новенький сглазил меня, – Гриша сморщился и попробовал улыбнуться, однако получилась гримаса, мало схожая с улыбкой. – Надо ж, под руку накаркал! Ну и язычок у тебя, Ванюша!

– И без того было видно, что добром твоя затея не кончится, – огрызнулся я, продолжая поддерживать Гришу за плечо, пока бригадир осторожно размыкал ножом мёртвую клешню.

Наконец это ему удалось, и освобождённый Григорий нерешительно притронулся к тому месту, куда несколько минут назад вцепился краб.

– Все жизненно важные органы целы, – в этот раз настоящая улыбка заиграла у парня на ямочках щёк, карие глаза повеселели. – Так что, парни, повоюем ещё на женском фронте!

– Братцы, а какого ляда сеть такая тяжелющая? Это ж надо – не поднять! – перегнувшись с кормы в заводь двора, Сергей жилистыми руками пробовал вытянуть дель из воды. – Слушайте, так и грыжу можно заработать!

Мы, каждый на своём месте, тоже выбросили ладони за борт и поймали по лоскуту, ставшей непривычно бугристой и скользкой, сети. С трудом, но нам

удалось общим рывком натащить и перевалить в чрево кунгаса бесформенное желеподобное месиво. Отдышавшись, ребята недоумённо переглянулись.

– Вот так подарочек! – криво усмехнулся Исихара и в сердцах добавил: – Не нашли лярвы другого места, где отнереститься.

– Хороший табунок селёдки погостил в нашем дворе, – Григорий тоже усмехнулся. – Теперь на весь день работы: они же не только отметали икру, но ещё и так прочно закрепили молокой, что надо, бригадир, ехать на базу за металлическими щётками, иначе не отскоблим.

– Сколько добра пропало, – с сожалением вставил и я, пытаясь, как это всегда делал при стирке рубахи вручную, отшоркать вспученную икрой сеть.

– Килограмм двести – это на первую прикидку, – Виктор уже успокоился и, сравнив мысленно тот кусок дворового желе, что мы сволокли в лодку и оставшийся под водой, досказал: – Сейчас сползутся сюда разные мелкие крабы да раки-отшельники.

– Так, может, нам и не дёргаться – пусть попируют. А мы пока другим чем займёмся.

– Нет, Серёжа, наше за нас никто не сделает, – за бригадира ответил Гриша. – Да и не выгодно, даже вредно оставлять такую уйму корма всяким морским тварям. Они ведь от жадности и халявы своими клешнями так искромсают сети, что потом и чинить-то будет нечего.

За очисткой и стиркой сетей день пролетел, как один час, но за этот пресловутый час мы вымотались, как никогда в другие дни. Вечером, за ужином, ребята сидели полусонные от усталости, и самое смешное было в том, что никто толком не мог поднести ложку с мясной кашей ко рту: так у всех болели плечи.

В начале июля, в ожидании подхода горбуши на нерест, мы пробавлялись ловлей неводом разнорыбицы. Обыкновенно ближе к полуночи, когда море замирало и сумрачной фольгой поблескивало в лунном свете, мы втроём на вёсельной лодке выплывали в залив, оставив на берегу четвёртого с шестом, за который был привязан один конец невода. Я, как правило, грёб, бригадир и Гриша стравливали с обтянутого куском палатки слипа в чернеющую за кормой воду, собранную днём на берегу аккуратной стопкой сеть, длина её составляла четыреста, а высота до четырёх метров. Посредине сети был вшит циклопический садок, вмещающий в себя до десяти тонн добычи и завязанный на конце на морской узел прочной шёлковой тесёмкой. Выгребали в залив до ста метров, там плавно поворачивали, и, пройдя ещё примерно столько же, круто брали к побережью. Вытащив лодку на песок, крепили второй конец фала к шесту и начинали сходиться с оставленным на берегу Сергеем. Теперь предстояло самое ответственное: выбрать без потерь невод из моря.

К этому времени из прибрежной деревни Песчанки, что располагалась в одну улицу сразу за внешним кирпичным рыбозаводским забором, подтягивались заспанные парни и мужики: поглазеть на ночную рыбалку, а где и чем-то подсобить. Из заводской ограды пригромыхивал гусеничный трактор с тележкой, забитой порожними дощатыми ящиками под свежую рыбу.

Вот и сегодня всё обстояло именно так. При свете фары, закреплённой на крыше кабины ДТ-шки, сеть выбиралась, как мне казалось, веселей, и даже всегда ворчливый и всем недовольный бригадир, не зудил над ухом, а деловито вытягивал невод, ловко притаптывая при этом низа со свинцовыми грузилами, чтобы кишащая рыба не смогла отыскать лазейку и ускользнуть из сетчатой ловушки. Видя богатый улов и уже не сдерживая рыбацкого

азарта, деревенские подбежали из темноты к берегу и сноровисто принялись помогать нам довершать ночную охоту на морских обитателей. Одни тянули невод, другие, войдя по колено в воду, сдёргивали с напряжённых ячей зацепившихся мелких гладко панцирных зеленоватых крабов, блестящие ленты морской капусты и клочья косматых водорослей, отшвыривая их за внешний урез, третьи подхватывали на берегу и складывали в две оплывающие пирамидки освобождённую сеть. Вода в сужающейся ловушке закипала.

– Глядите, мужики! – зычно и восторженно пробасил здоровенный парень в брезентовом плаще с капюшоном и подвёрнутых болотниках, сноровисто протягивая сеть к берегу. – Нонче, однако, вся мотня с рыбой под завязку будет! Ишь, как клокочет! Столь набилось, что можно по ей пешком ходить и в море не провалишься!

И в тот же миг вдруг всё вокруг стихло – и вода, и разговоры. Через полминуты морская поверхность в ловушке выровнялась. На отчётливо различимых лицах и рыбаков, и деревенских застыло недоумение: как, мол, такое могло случиться? Исихара, как был в подвёрнутых броднях, прошёл в море, черпая холодную воду в сапоги, и на глубине в пояс выловил конец мотни с болтающимися не завязанными тесёмками. Луч фары выхватил его скуластую физиономию с презрительно сжатыми тонкими губами под редкими усами и безжалостные жёлтые глаза, которые тут же, подобно двум колючкам, впились в меня.

– Ты, Ваня, и вправду повреждённый, или только прикидываешься. Почему мотню так плохо завязал?

Я оторопел, но в ответ даже рта раскрыть не успел, как со стороны Гриши, стоящего на кромке прибоя, раздражённо донеслось:

– Не гони, бригадир, гусей! Ты ж никогда и никому не дозволяешь вязать узлы. Всё только сам! Так что извини, но новенький здесь не при делах. – Неожиданно Гриша – это было видно в растекающемся тусклом свете фары – улыбнулся. – И вообще, чего после драки кулаками махать, давай собирать манатки. Хотелось бы ещё поспать хоть пару часов до света. – Гриша помолчал и закончил: – А рыбу уж в другой раз возьмём.

Исихара сверкнул своими лимонными раскосыми глазами, и никак не отвечая на реплику друга, принялся перегружать сети в покачивающуюся рядом лодку. Спустя пяток минут я сел за вёсла, чтобы перегнать её к лебедке на берегу перед нашей базой. Никто в эту ночь больше не проронил ни слова.

В десятых числах июля нагрянул праздник и на наше побережье – потяжелели невода, на нерест хлынула долгожданная горбуша. Дня за три до этого в ставники заплыли и заполошно забегали по обрамлённым наплавами подтопленным сетям разведчики, в основном, самцы лосося, с высокими горбатыми спинами, и, значительно превосходящие размером и весом более изящных, с округлёнными брюшками, самок.

– Гонцы на месте, – наблюдавший, как и все мы, с борта кунгаса за снующими в огромном сачке рыбинами, Исихара пронзительно глянул на меня и усмехнулся в редкие свои усы. – Не сегодня – завтра прибудет главное стадо горбуши, тогда и посмотрим: кто на что способен. Обещаю – спать на ставниках никому не дам!

– Да кто уснёт, когда она попрёт! – хохотнул Гриша. – Азарт, бригадир, в песок не зароешь, – парень обвёл весёлым взглядом нас с Сергеем. – Да и компаньоны у нас парни, что надо!

Ставники поделили так: бригадир и Григорий в кунгасе расположились на правом от берега, а мы с Сергеем прицепили свою лодку к фалу на левом.

С рассвета и до вечерней зорьки стерегли косяки и перегоняли их со двора через ловушку в садок. В сумерках подходили на моторе Исихара с напарником, ставили свой кунгас напротив нашего, сближались и вычерпывали каплёром и зюзгами-вилами, с напаянными на острия пластинами, пойманную горбушу в трёхтонную ёмкость лодки.

Мотор заводили, когда дневная добыча, засыпая, подплёскивала широкими и плоскими хвостами на уровне поперечного сидения. Если рыбы набиралось до краёв, я садился на вёсла и потихоньку грёб к побережью. Както вышло так, что эту осторожную обязанность я сразу взял в свои руки, и здесь даже бригадир не перечил, и казалось, что всегда колючие глаза его по отношению ко мне в такие минуты заметно смягчались. Скажу, не хвастая: за всю путину ни разу не зачерпнул я солёной водички лодочным бортом! А ведь приходилось грести и при отменной боковой волне.

Полуденное море едва шевелило глянцевой гладью: вблизи от ставника голубовато-зелёной, а по мере удаления сгущающейся до синевы. Мы с Сергеем уже четыре раза перегнали немалые косяки лосося в садок, где теперь его, по нашим прикидкам, скопилось около четырёх центнеров. Напарник прикорнул на корме, а я, сидя на скамье посреди лодки, вполголоса напевал новую песенку про велосипед и «ту девушку, которую люблю», услышанную из транзистора вчера вечером у костра, и сразу запомнившуюся и полюбившуюся.

Костры мы жгли по обыкновению ближе к полуночи, когда кунгасы уже затянуты в ограду, мокрая одежда развешена над включёнными козлами, добытая рыба сдана на склад. Переодевшись в чистое, самые стойкие из нас возвращались на берег, по пути наломав лопуха, листья которого здесь, на Сахалине, порой достигали таких размеров, что под ними можно было спокойно укрыться от дождя и взрослому. Этакие естественные тропические зонтики. Однако сейчас они нам нужны были для иных целей: запеканию в песке только что выловленной горбуши.

Когда-то в юности подростками мы озорничали: кто-то из друзей приносил из дома удочку с толстой леской и крючком на конце. Выкапывали жирного червяка из навозной кучи у сараек, прятались в кусты, а червяка, насаженного на крючок, выбрасывали на приогородную дорожку. Вездесущие куры наперегонки неслись к извивающейся в пыли добыче. И самая быстрая и ловкая уже через полчаса обмазывалась нами прямо с перьями сырой глиной, и закапывалась в свежую ямку. Стаскивали хворост, жгли костёр, разгребали угли и откапывали запечёную, будто в глиняном горшке, курицу. Не давая остыть, отколупывали обожжёные куски глины вместе с перьями и посыпали дымящуюся куриную мякоть солью. Вот это было пиршество! Правда, случалось, что хозяин пойманной и съеденной курицы накрывал нас в минуты трапезы. До драки дело не доводилось, мы ведь были уже лбами рослыми, но родителям нашим приходилось раскошеливаться, оплачивая это озорство.

Запекание горбуши в песке по своему действию весьма похоже. Только в этом случае рыба потрошится, промывается в морской воде, нашпиговывается чесноком, луком, солью, перцем и лавровым листом; заворачивается в лопух слоя на два, скрепляется на жабрах и по хвосту алюминиевой проволокой и кладётся на дно вырытой сантиметров на двадцать в песок лунки. Ямка засыпается, подтрамбовывается, запаливается жаркий костёр. Как правило, из темноты появляются ребята и девчата в штормовках – бойцы студенческого отряда, работающего здесь на рыбозаводе на разделке горбуши. Мы широким жестом приглашаем их к костру, ребята опять уходят в ночь, но ненадолго, минут через пять они волокут, кто дрова, а кто-то тол-

стые коряги и обрубки стволов деревьев, вынесенных на побережье прибоем и уже подсохших. Коряги и стволы выкладываем квадратом вокруг костра, все рассаживаются. За разговорами костёр прогорает, мерцающую золу отгребаем в сторонку и лопаткой раскапываем ямку с натомившейся в лопухах рыбой. Лакомимся горбушой прямо с развёрнутых и взопревших листьев. Чтобы понять, что это такое, нужно попробовать самому, и непременно вприкуску с морским, насыщенным йодом ночным ветерком, ласковым шумом волн прибоя и золотистыми созвездиями над головой!

Коль уж речь зашла о деликатесах, расскажу ещё об одном. В пору ожидания горбуши, когда мы процеживали прибрежную бухту раскидистым неводом, попадали в сеть и морские таймени, огромные, в тёмных крапинках от тяжёлой, приплюснутой головы до спинного плавника. Попадали они редко, по штуке или парой, поэтому мы их оставляли себе. И в эти же дни около одного из ставников из притопленной на полметра путанки мы извлекали за один раз штук по пять симы, что, как и горбуша, относилась к семейству лососевых, но с мясом более сочным и несказанно нежным на вкус. Кто из рыбаков и когда нащупал эту узенькую рыбную полоску, всего-то метров шесть по ширине и семьдесят от побережья, теперь уже никто не скажет, но только здесь и в упомянутом выше количестве мы брали эту сладкую симу.

Котлеты готовил Григорий. Он ловко отделял мякоть тайменей и симы от костей, складывал её в глубокую миску, прилаживал к столу мясорубку и прокручивал фарш. Добавлял разнообразных специй, как мне казалось, всех, какие имелись в кухонном шкафчике, круто замешивал, давал отстояться фаршу часа два, и начинал жарить ароматные котлеты. Вкуснее и сытнее этих котлет я в жизни не едал!

Голубоватая вода наплёскивала в просмоленый борт кунгаса. Солнце в зените, лёгкая качка, словно ты в шезлонге, потихонечку уводила в дрёму. Чтобы стряхнуть с себя сон, я надумал искупнуться. Разделся и вывалился за борт, оттуда саженками поплыл вдоль ставника, нырнул, достал пятками до дна и пулей вылетел на поверхность. У самого дна что-то так обожгло мой бок, будто кто-то калёным лезвием провёл с нажимом. Краем глаза я зафиксировал, как стоящий в серёдке кунгаса Сергей махал руками в мою сторону, указывая на что-то невидимое мной, но приводящее его в заметное беспокойство. А следом и расслышал.

– Ваня, скорей отплывай влево! Медузы! Целая стая!

Уже с борта кунгаса, отдышась, рассмотрел ту опасность, что поджидала меня, вынырни я немного правее: разноцветное желе, в разводьях, с чёрными и тёмно-коричневыми ядрышками внутри, слоисто растекалось трёхметровым овалом вдоль нашего ставника, и наверняка уходило вглубь не на один метр, иначе бы кто ошпарил мой бок!

– Вот и освежайся после этого!

– Дай осмотрю, Ванюша, будут волдыри или обойдётся!

– Ничего, Серёжа, прорвёмся! – я легонько потёр покрасневший бок. – Ты же знаешь, как морская вода ранки заживляет, а здесь и крови не выступило даже.

Усевшись на поперечную скамью, я блаженно вытянул босые ноги и прикрыл глаза. Но и с закрытыми глазами почувствовал, как набежала тень. Подумалось: или Серёга встал передо мной, или... ещё пять минут назад небо было без единого облачка и солнце жарило, как на юге. Громыхнуло, да с таким треском, что я распахнул глаза и обернулся в сторону грома. Тёмно-лиловая низкая туча, вывалившая из-за лесистых сопок на западе, располза-

лась по небу, как зловещая клякса, из которой сыпались и на сушу, и на взрябленную поверхность залива зигзаги огненных стрел.

– Вот влипли! – в голосе Сергея не было и намёка на испуг, а различались лишь нотки раздражения и досады. – И до берега далёко, и здесь укрыться негде!

– Можно попробовать под лодку поднырнуть, – пошутил я. – Меньше намочит!

– Как же! Ты погляди, медузы-то почти под борт поддрейфовали! Ждут не дождутся, когда ты к ним на обед объявишься собственной персоной.

Однако положение наше было не из лучших. Уже и сопок не видно за стеной ливня, и первые капли ужалили лоб и щёки; молнии стали бить в море реже, зато сами они утолщились и побагровели; но главное, что огненные вилы эти втыкались, как нам показалось, в одном направлении, а именно – в нашем. Никогда прежде я так остро не чувствовал свою беспомощность, как в эти минуты. Как ни крути, а мы были для молний выгодной, и едва ли не единственной на сотни метров вокруг мишенью. Но что-то щёлкнуло в сознаньи, я вдруг явственно посмотрел как бы со стороны и на полуодетого промокшего себя на скамье, и на товарища, так и стоящего упрямо посерёдке кунгаса, да и на сам кунгас, бесстрашно покачивающийся среди ливня. И как-то сразу успокоился, словно всё это происходит не со мной, а я всего лишь зритель из затемнённого зала, перед которым развёрнут широкий и яркий экран; и что скоро кино это закончится. Я, помнится, даже улыбнулся. Гроза, видимо, поняв, что запугать нас ей не удастся, круто отвернула от кунгаса и принялась, удаляясь, метать свои громы и молнии в сумрачное открытое море.

Через пару дней ещё одна напасть подкралась к нам, на этот раз в облике настырной и безжалостной нерпы. Ласковое солнышко, полуденный бриз, на горизонте всё тот же пограничный сторожевик. В садке с полтонны улова. Благодать. И вдруг из воды, метрах в десяти мористее нас, как струи из фонтана, возносятся ввысь и рассыпаются, подобно фейерверку, несколько гибких горбуш.

– Это же какая скорость и сила у них, если они без опоры, – а где ты в воде найдёшь на что опереться? – так высоко из моря взлетают! – восхищённо воскликнул Сергей и, помолчав, раздумчиво закончил: – Что-то там у них неладное приключилось. Кто их мог так шугануть?

И словно отвечая на вопрос моего напарника, в том же самом месте, откуда только что взмыли вверх перепуганные рыбы, появилась из воды довольная мордочка нерпы, внешне очень похожая на персонажа давней киносказки «Марья – Искусница»: лысоватого, с круглыми рыбьими глазами и торчащими на обе щёки усами. Тот, помнится, был верным слугой злого владыки подводного царства. Вот и мы сподобились наяву узреть нечто подобное! Нерпа пофыркала и уставилась на нас своими немигающими глазами, в которых ни любопытства, ни досады не читалось – она смотрела на кунгас и двух существ в оранжевых комбинезонах, как на пустое место. Мы ей крикнули что-то: даже не пошевелилась.

– Ах, так! Ну, получай тогда, чудище морское! – Сергей подхватил лежащую на дне лодки доску, что мы приспосабливали под сиденье на корме, и, перегнувшись через борт, плашмя и с силой ударил ей по поверхности моря.

Резкий удар прогремел как выстрел. Нерпа заполошно нырнула в сторону, обнажив на миг свое блестящее гладкое тулово и шлепнув тёмным рифлёным хвостом по взбаламученной воде.

Работы нам прибавилось: теперь мы караулили не только заходящую в ставник горбушу, но и охотящуюся на рыбу нерпу. Раза четыре ещё её гладкая голова, со стекающими блескучими полосками и топорщащимися мокрыми казацкими усами на продолговатой мордашке, высовывалась на периметре нашего ставника, Сергей хлёстко ударял по морю, нерпа уныривала. А потом всё это вдруг прекратилось. Зато отныне нам приходилось едва ли не после каждой переборки невода брать в руки пластмассовую, заострённую с одного конца и похожую на сплющенную стрелу, игличку с намотаной капроновой ниткой, и, перевесившись за борт, штопать прямо над водой разодранную сеть. Это весьма сообразительное морское животное просто и умно сменило тактику: скорее всего нерпа поплавала, покрутилась вокруг ставника, да и удумала следовать за горбушей через подкрылки в поплескивающий двор, или того больше, подплывала к неводу с внешней придонной стороны, тихонько распечатывала ячеи, и проскальзывала во двор. Тут она бесшумно выбирала самого жирного самца, ловила, и с добычей в пасти расширяла острыми когтями проход и была такова! И так она проделывала всё аккуратно и неслышно, что мы лишь однажды заметили, как взбучилась поверхность во дворе, и несколько горбуш хлестанули хвостами по поверхности воды.

– Давай-ка, Серёжа, и мы ответим нашей нерпушке, – предложил я напарнику после штопки очередной дыры, зияющей в ставнике, и через которую наверняка в морскую пучину вернулся не один десяток горбуши. – Хоть это и нудно, но мы будем теперь лупить доской по морю каждые полчаса. Так бы можно хоть какие-нибудь колокольчики иль ботала, как у коров, придумать и развесить по ставнику, да только в воде всё это бесполезно.

– А что, я согласен, – улыбнулся Сергей. – Мы ведь столько нитки сэкономим!

Как бы то ни было, но, промолотив дней пять по морской глади плоской доской, мы отвадили-таки эту проказницу от дармового лакомства нашей добычей. И до окончания путины больше нерпа нас не беспокоила. Что интересно, но и в те дни, когда она бесчинствовала у нас в ставнике, по утрам, причалив к нему и перебрав сети, проверяя их целость, мы ни разу не столкнулись с повреждённой ячеёй. Значит, охотилась нерпа только в световое время суток, по крайней мере – в наших угодьях.

На Исихаровском ставнике всё обстояло по-другому. Бригадир брал с собой ружьё – одностволку 28 калибра и несколько дней с борта высматривал нерпу. Раза три за это время до нас доносились отдалённые выстрелы. После одного из них, вечером при перегрузке рыбы из садка в кунгас, Виктор был непривычно оживлён, шутил. Когда я, выбрав момент, спросил вполголоса у Гриши: мол, какая сладкая муха укусила бугра, что он так развеселился? Григорий улыбнулся и повернулся к Исихаре: дескать, колись, Витёк, как ты нашу нерпу снял одним выстрелом. Поучи компаньонов!

– Да ничего особенного, – Исихара растянул в усмешке скуластое обветренное лицо и пошевелил редкими усами. – Опыт, ребята, не пропьёшь. Я этих нерп и тюленей лет пять назад на Камчатке столько пострелял, что в кунгас не влезут! Берёшь на мушку, щёлк – и всё! Вот они уже и кверху белым пузом. Подплываем, цепляем багром и в холодненький трюм эМРС-ки.

– А где же твой сегодняшний трофей? – я простодушно указал рукой на пустое чрево их кунгаса. – И незаметно, чтоб на прицепе вы его волоком по морю притащили.

Бригадир исподлобья глянул на меня, вновь усмехнулся, но уже как-то угрожающе. Однако Гриша опередил его с ответом.

–Ты, Ванюша, что – не видал, какая здесь пучина? А течения подводные кто отменял? Помнишь, как сам барахтался, когда сдуру поплыл от лодки на берег? То-то и оно. Унесло нашу добычу в море.

– Так бы сразу и сказали, – уронил я примирительно. – А случай с моим заплывом на тот свет я буду долго помнить.

Произошла эта оказия в начале июля, когда мы готовили ставники к приёму горбуши. Бригадир раненько поутру привёз наш кунгас на буксире, мы прицепились к наплавам, а он вернулся на базу. Договорились, что заберёт нас после двух часов дня, к тому времени по его прикидкам мы должны закончить всю ревизию и починку сетей; но мы отработали споро, и уже в двенадцать бездельно покачивались в лодке, развалясь по её бортам. Мне это быстро надоело. До берега метров сто, а до первой прибрежной косы и того меньше. Доплыву, – беззаботно решил я, и, разувшись, скинул рыбацкую робу.

– Ребята, – весело обратился я к Сергею и Григорию. – Присмотрите за барахлом, пока я сплаваю за Исихарой. Тесновато здесь киснуть втроём!

– А доплывёшь? Расстояние-то обманчивое, сам знаешь, – Гриша недоверчиво заглянул мне в глаза и добавил: – Если что, то тебе и помочь-то сразу не сумеем.

– Да я вообще-то, Григорий, вырос на горной речке. Плавать научился лет в семь. Пока не жалуюсь!

– Ну, ну! Наше дело – предупредить, – Григорий дружелюбно улыбнулся. – А твоё – барахтаться. Бригадиру скажи, чтоб не мешкал, а то мы здесь сопреем на солнышке.

И я, раздевшись до плавок, поплыл. Плыл и в размашку, и по-собачьи, и по-морскому, как говаривали у нас во дворе, да и на боку и спине. Метров сорок преодолел легко, а вот потом стало тянуть сначала правую ногу, следом левую. Нет бы, взять с собой предусмотрительно иголку, она у меня хранилась с намотанной ниткой на сгибе ворота рубашки, прикрепить её по шву на плавках, но я поторопился, уверенный в том, что если что и случается в жизни нелепого, то только не со мной! А ноги продолжало гнуть судорогой, особенно правую. До дна в этом месте не меньше пяти-шести метров; и даже если наблюдающие за мной и, как я заметил краем глаза, обеспокоенные моим нервным поведением ребята, отцепят лодку и на вёслах помчатся спасать мою дурную голову, то искать им придётся долго, может даже и протралить всю прибрежку; если, конечно, раньше то, что ещё недавно было мной, не вынесет и не прибьёт к берегу прибоем. Обрывки таких мыслей бередили сознание, когда я, держась на плаву, до крови прихватывал пальцами и царапал ногтями кожу чуть выше колен. Уже пощипывала горько-солёная вода в расцарапанных местах, смывая кровь в море и возвращая моим ногам чувствительность. Судороги отпустили. И последние десятки метров я, ободрённый, проплыл саженками, пока мои измученные ноги не нащупали дно, и я, пошатываясь от пережитого, не выбрался на мокрую полоску прибоя.

– Мужики, – отрывисто обратился к нам с Сергеем Исихара, когда мы по зорьке выводили на воду и цепляли кунгас к уключине бригадирской лодки. – Сейчас мы вас доставим на ставник, и сегодня, не вечером, как обычно, а в обед, соберём весь улов. Директор просил, там у них какая-то заминка с привозкой горбуши с другого побережья, а с него областное начальство требует свежей рыбы. Вот мы и поставим.

– Замётано, командир, – Сергей сладко потянулся. – Думал подремать малёхо на слипе, да теперь, ладно уж – отосплюсь после обеда.

– Ночью надо было спать, а не шариться по студенткам, – без тени упрё-

ка, а как-то по-свойски, понимающе включился в разговор Григорий. – Они девахи молодые. Любопытные. Ты им, небось, компаньон, всю ночь и травил небылицы про нашу рыбалку?

– Не было, Гриша, на это и минутки! Мне-то что? Я – разведённый, птица свободного полёта, где приземлюсь – там всё моё. А вот наш Ванюша окольцован – он в законном браке. Хотя уже и само это словечко «брак» – что-то несуразное. Вы же слышали о браке на производстве, когда все детали в мусорный ящик, а людям штраф. Недаром говорят: браком хорошее дело не назовут!

– Серёженька, не оправдывайся, – добродушно заметил я. – Просто ты брака, да ещё законного, одну лишь чуточку попробовал, а вот раскусить, насладиться этим вкусным блюдом тебе не посчастливилось. Мне вот, например, по нраву больше слово «женитьба». Брак – это для загса, а женитьба – для семьи.

– Ну, философы доморощенные, – ощерил тонкие губы в скупой улыбке бригадир и, заводя мотор, округлил беззлобно: – Так мы с вашей болтовнёй всю рыбу-то и проспим.

Черпать горбушу начали с нашего ставника. Улов впечатлил: как по заказу – за четыре часа полторы тонны. Григорий восторженно цокнул языком:

– Вишь, как попёрла, родимая! С нашего, я думаю, снимем не меньше! Да, Витёк?

– Мы, что – зря её всё утро прогоняли, – Исихара по обыкновению усмехнулся. – Здесь, Гришаня, цветочки – ягодки будут у нас!

Довольные, мы причалили к бригадирскому садку. Поставили лодки бортами друг против дружки и начали, сближаясь, выбирать невод. Он на удивление подался легко: ладно бы, с краёв, от поплавков; мы уже стянули кунгасы почти к середине, а сети пусты, хоть бы одна шалая рыбина всплыла с глубины, да изогнувшись, шлёпнула хвостом в отчаянье и брызгами смыла с наших лиц недоумение! Вот лодки торкнулись дощатыми кормами, а мы добрались до донных ячей садка, в которых зияла такая огромная дырища, что всё стало понятно и без слов. Непередаваемая досада и – гробовая тишина. И вдруг, в этой-то тишине, со стороны моря раздалось сытое и счастливое фырканье; мы дружно повернули головы – метров с десяти на нас уставилась своими круглыми глазами нерпа. Не могу поручиться, что это была та самая, что пару дней назад, по его словам, подстрелил наш бригадир, но взгляд у этой обитательницы морских угодий хозяйский, и в нём явно прочитывалось нечто на грани издёвки: ну, что, мол, горе-стрелки, выкусили! Тут уж Исихара взорвался.

– Да я тебя, отродье ты несчастное, из-под земли достану! – бригадир в бешенстве подхватил лежащую поверх уснувшей рыбы зюзгу и так швырнул её в нерпу, что точно бы снёс той усатую мордашку, не унырни за миг до этого животное в тёмно-синюю пучину.

– Не кипятись, командир. Прорвёмся, – негромко, но твёрдо сказал среди наступившей тишины Сергей. – Обойдёмся горбушей, что у нас есть. Её ведь немало.

– Да дело не в рыбе, – Исихара скрипнул зубами. – Я ведь её, сучку, сам видел, как подстрелил, она даже брюхо своё показала! А как ушла и выжила, ума не приложу!

Когда на следующее утро мы, распахнув высокие дощатые ворота, как обычно включили лебёдку и стали тросом стаскивать кунгасы в море, бригадир где-то замешкался и нагнал нас перед самой водой, небрежно бросив на слип своей лодки короткую, но широкую доску. Мы с Сергеем переглянулись и понятливо улыбнулись: вот, мол, и до бугра дошло, что наш-то метод надёжней. А сколько патронов можно было сберечь!

– Ваня, лови вон ту, которая под поплавок забилась! – азартно возвысил голос Сергей, перегнувшись за борт и удерживая двумя руками собранную в пучок и набитую горбушой сеть. – Точно вижу – самочка!

– Да я именно её и наметил. Сейчас подберусь поближе, – я перебежал к корме и, изловчась, подхватил зюзгой и перебросил в лодку продолговатую, блеснувшую на солнце, очередную тушку горбуши, – ещё парочку таких, и можно доставать ястыки.

– Никогда не думал, что буду так вот браконьерничать средь бела дня, да ещё и у всех на виду, – балагурил Сергей, усаживаясь посреди кунгаса и доставая из-под лавки полуведёрную эмалированную кастрюлю, после того, как мы объехали ставник и прикрепились бортом к толстому фалу на дворе. – Между прочим, мы с берега как на ладони.

– Вот и поглядывай чаще по сторонам. И вспоротые тушки не бросай в море крабам как попало, а тихонько – и чтоб даже без булька! – опускай за борт. Пусть, если кто и посмотрит, так увидит лишь то, что рыбаки сидят и как всегда караулят заход рыбы.

– А то я не знаю! Не впервой ведь, – Сергей уже раскрыл складень и попробовал подушечкой большого пальца лезвие на остроту. – Годится. Жаль, грохотку с собой не захватили, здесь бы и очистили икру от плёнки.

– Забыл что ли – бригадир настрого запретил её выносить за пределы базы, чтоб случайно не попасться кому на глаза.

– Да мы бы её в мешке пронесли.

– Сам же знаешь: бережёного Бог бережёт. А вообще-то, Серёжа, мы с тобой и не браконьеры вовсе, как ты мечтаешь, а всего лишь заурядные несуны. Тот же Исихара ещё по весне, когда мы корюшку тоннами сдавали на завод, а мешками при случае отвозили своим в Южно-Сахалинск, просветил меня и как всегда лаконично. Он поведал, что если нас даже с икрой накроет инспекция, мы пойдём на зону не как браконьеры, которым корячится и срок приличный, и полная конфискация, а как несуны, то есть, те, кто умыкнул кое-что со своего производства. А здесь и статья другая, и срок смешной в сравнении с тем, что дают за злостное браконьерство.

– Успокоил, однако, ты меня, Ванюша! Развеселил под руку – теперь и ножик хоть кидай в море вслед за рыбой, чтобы, как говорится, и концы в воду.

– Давно уже сказано, Серёжа: не тот вор, кто украл, а тот, кто попался. Так, помнится, в армии и наш доблестный замполит капитан Толмачов говаривал.

– Мне всегда были любопытны, хотя умом до конца и непостижимы лососевые, – переменил тему разговора Сергей. – Срок их жизни четыре года. Вот сейчас мы с тобой потрошим тех, которые уже почти закончили его. Не поймай их мы, они бы поднялись по пресным ручьям вверх, отнерестились там, и мятые, позеленевшие, начали опять скатываться по направлению к морю, чтобы где-то по пути окочуриться и застрять в водорослях или меж камней на дне. И ведь это тоже не случайно. Разложившиеся до рыбного тука горбуши станут хорошим кормом для вылупившихся из икры мальков по дороге тех к морю. Видишь, как всё продумано у матушки Природы, – напарник одобрительно покачал головой. – И вот ещё что. Представь себе, лосось, проплавав и прокормившись три года по разным морям и океанам за тысячи миль от своей родины, без всякого навигатора или компаса среди тысяч рек и ручьёв как-то ведь отыскивает свой родной уголок, и только туда по водопадам и шиверам летит отметать икру, оплодотворить её молокой и – погибнуть!

– Прямо камикадзе какие-то, заточенные на результат! – не удержался я

от реплики, опуская в кастрюлю очередной ястык: два соединённых между собой плёночных, туго набитых красной икрой, конусных мешочка. – А я тебе, Серёжа, поведаю про то, чему стал свидетелем три года назад. Помнишь, тогда у нас здесь, на Сахалине засуха была страшная – за всё лето один или два дождика. И вот едем мы со свояком на его УАЗике по побережью из Корсакова в Озерки. Начало августа, а берёзы по скалам уже почти все пожелтевшие, квёлые какие-то, дорога пыльная, трава жухлая, ручьи попадаются пересохшие, даже море, и то неподвижное, тёмное, и хотя солнце палит так, что все окна в машине открыты, а все одно – душно. Переезжаем очередную речку по мосту перед самым впадением её в море и – столько горбуши я потом только здесь, на рыбалке увидел! Но лучше б я тогда её и не видел. За мостом мы остановились и вышли из УАЗика размяться, а также и посмотреть, что стало с бедной рыбой. Склоны обоих берегов метра на три вверх от забитой горбушей речки были устелены дохлой и разложившейся рыбой. Вонь стояла несусветная, хоть зажимай носы! При нас несколько горбуш из плотной живой кишки в реке, из последних сил как-то сумели вырваться и свечами взмыть вверх. Ну, прямо как те, что, помнишь, взлетали перед нашим ставником перед нашествием нерпы. А с моря всё напирали и напирали новые косяки идущей на нерест красной рыбы. Однако же, не это самое ужасное, из всего, чему мы стали свидетелями в тот день. По спинам несчастных и зажатых горбуш, как по настеленным в болоте гатям, важно вышагивали сытые вороны и лениво выбирали себе рыбину по вкусу, чтобы – нет, не растеребить её тушку, а железным своим клювом извлечь из головы погибающей приглянувшийся глаз. Так эти стервятники деликатесничали! Мы со свояком подхватили по пригоршне камней с обочины, и давай пулять ими в этих жирных ворон. Они отлетели подальше на бугор и принялись так злобно каркать, что я не выдержал и побежал вдоль берега к ним, швыряя на ходу в них всем, что попадалось под руку. Птицы перебрались на вершины берёз поодаль, расселись там, и продолжили свой гвалт. – Я помолчал, глянул раза два на пустынное побережье и усмехнулся. – А вот спустись мы со свояком к реке, выберили себе несколько рыбок, да хотя бы даже одну – и всё, на въезде в город сам знаешь, пост, и ты, в лучшем случае, схлопочешь такой огромный штраф, что и дорогу забудешь к реке, а в худшем – получишь полную конфискацию и отсидку года на три.

Бригадир предполагал, что последний косяк горбуши, как это, по его словам, происходило и в прежние годы, уткнётся в ячеи нашего ставника в начале двадцатых чисел августа, и после этого можно смело выдёргивать пудовые якоря и собирать сети. Однако море иссякло на неделю раньше, когда мы с двух ставников за один день богато взяли горбуши. Виктор сказал, что заводить мотор рискованно – можем крепко черпануть, и будет лучше, если ты, Ваня, сядешь за вёсла, потому как играет боковая волна, а пятитонный кунгас заполнен тихо засыпающей рыбой аж до самых верхних бортовых набоек. Стемнело, когда мы аккуратно причалили и лебёдкой выволокли, поскрипывающий от перегруза, кунгас на берег и при свете прожектора стали расфасовывать улов по дощатым ящикам и набивать ими кузов объёмистой тележки. Трактористу пришлось совершить два рейса к рыбозаводскому холодильнику.

– Ещё хотя бы один такой же улов, – Исихара проводил долгим взглядом прицеп, доверху набитый ящиками с красной рыбой. – И всё будет в полном ажуре, – бригадир вдруг повернул к нам своё узкое лицо, глаза его в свете прожектора блеснули неожиданной теплотой, и чего не случалось ни

разу за всю путину, поблагодарил нас: – Молодцы, ребята! С вами можно и на сейнере в море ходить.

Мы с Сергеем быстро посмотрели друг на друга, улыбнулись и согласно кивнули в ответ.

Рыбозаводские общежития опустели, студенческий отряд улетел на материк. Штормило. В ожидании пока успокоятся волны, бригада занималась приборкой базы, подготовкой ловушек и плетением путанок к осеннему промыслу краба. А штиль нам был необходим, чтобы выпростать из моря ставники. И вот оно – долгожданное солнышко; залив гладкий, как синезелёная, осветлённая фольга, расправленная и придавленная по краям шершавыми валунами прибрежных сопок.

На моторе подъехали к нашему ставнику, Исихара приглушил двигатель, но выключать не стал. Григорий перегнулся через борт и вытянул уходящий на глубину толстый капроновый фал, надводный конец которого был наглухо привязан к углу садка. Ловко прикрепил его прочной тесёмкой к уключине, кивнул бригадиру. Тот дал полные обороты, лодка рванула, но Виктор тут же сбросил газ и вернулся к ставнику. Мы вчетвером подхватили фал, дружно выбрали из воды сдёрнутый с места якорь и бережно уложили на дно кунгаса. И тут, будто кто торкнул меня под микитки: а, не слабо, мол, мужики, если я руками, без раскачки мотором, выдерну все шестнадцать – тьфу, ты! – уже пятнадцать пудовых якорьков из донного ила и песка? А вы мне за это литр водки! Ребята недоверчиво глянули на меня, и перевели глаза на отстранённо стоящего Виктора; тот ухмыльнулся и обронил: сам, де, на грыжу напросился... И, перейдя на корму, заглушил мотор. Стало так тихо, что было слышно, как подплёскивает под борт слабая волна и где-то у берега покрикивают неунывающие чайки.

По наплавам вдоль ставника мы перебрались к очередному якорю. Я предложил всем для равновесия отойти к противоположному борту, а сам поймал в воде толстый фал, выбрал слабину, что позволило мне обмотать им левую руку от локтя и выше. Упёрся каблуками своих бродней в днище кунгаса, подхватил пятернёй правой руки фал у самой воды, подтянул и качнул его несколько раз из стороны в сторону; затем напрягся и рванул на себя, так же резко, как это делает рыбак с удочкой, подсекая невидимую добычу. Лодка качнулась, и я начал выбирать фал, вскоре показался и якорь со свисающими косматыми водорослями.

– Ну, ты, Ванёк, даёшь! – раздался за моей спиной голос Гриши. – И где тебя только этому научили? Якоря ведь на дне с самого апреля, занесены и утрамбованы песком так, что мама не горюй! Видел, бригадир, какой у нас компаньон? Теперь смело суши мотор!

– А ты не думаешь, Гришаня, что, может быть, случайно у новенького так получилось?

– Сейчас проверим, – я поймал кураж и уже сам страстно желал таскать и таскать эти заиленные якоря из моря. – Поехали к следующему. Уговор остаётся в силе. Решайте, кому за водкой в деревню бежать! А после – я всех угощаю по случаю успешного окончания путины!

За лето, при ежедневной болтанке на кунгасе и в результате бесчисленных переборок сетей и азартной сгонки корюшки и горбуши в садок руки мои стали хваткие и узловатые, пальцы будто железные. Я так подобрался телом, что уже и в редкие приезды в Южно-Сахалинск в автобусах мне не было надобности держаться за поручни: стоял, опустив руки, как вкопан-

ный. Оказывается, я обрёл такую морскую устойчивость, что никакие ухабы и колдобины уже не могли меня сбить с ног и уронить на пыльный пол.

Однажды, в середине июня приехали мы в город за полночь. Я с женой и дочуркой жил в угловой комнате коммунальной квартиры на первом этаже. Общая входная дверь была уже заперта, звонка нет, пока достучишься, всех соседей разбудишь. Прошёл я из подъезда к своему окну, а до него не достать, фундамент высокий, надо карабкаться. Во дворе на детской площадке под грибком молодёжь с гитарой. Ну, думаю, сейчас опозорюсь, ползя вверх по кирпичной стене: я ведь и подтягивался-то на турнике последний раз лет двенадцать назад, ещё служа в армии. Ухватился за кромку внешнего бетонного подоконника, и – сам не понял, как очутился перед оконной рамой, легко сделав физкультурный силовой выход на руках. На весу, поставив левую ступню на выступ в том месте, где кончается фундамент и начинается кладка, опираясь левой ладонью на прохладную плоскость подоконника, указательным пальцем правой руки тихонько побарабанил по стеклу. Жена, не зажигая света, одёрнула занавеску, кивнула мне и побежала открывать двери.

Словом, прибрежная рыбалка – это такой трудовой санаторий, находясь в котором не только сбрасываешь лишние килограммы, но и, как мне казалось тогда, молодеешь на годы.

– Будьте добры, выберите мне вот эту, эту и вон ту, что выглядывает стылой мордочкой из корзины, – я весело указывал пальцем молоденькой симпатичной продавщице на груду мороженой непотрошёной горбуши, что только что из подсобки сюда, в торговый зал, в никелированной объёмистой корзине на колёсиках вывез грузчик. – Вот и ладно. Сколько с меня? Возьмите, пожалуйста, деньги.

Я вышел из магазина. Забитая ледяной рыбой авоська оттягивала руку, но я был этому только рад: зайдя случайно в продуктовый отдел, я нежданно-негаданно разжился и, причём почти за бесценок, великолепными экземплярами крупных самок горбуши, с нетронутой икрой.

Минуло около двух лет после того, как я вернулся с дальневосточного острова в свою материковскую алтайскую глубинку. Гласность... Ускорение... Перестройка... Жужжало радио, кричал телевизор. В нашем медвежьем углу перемены обозначились тем, что людям дали возможность возводить отапливаемые дома на дачах и коттеджи на приусадебных участках, да на прилавках магазинов появилось много экзотических для наших мест морепродуктов: гребешков, красной рыбы, кальмаров, реже – осьминогов, трепангов и крабов. С некоторым сожалением отмечу, что больше мне такая неслыханная удача не улыбнулась ни разу, сколько бы я не бродил по продовольственным магазинам, намётанным глазом выискивая самок с оттянутыми брюшками: свежемороженая горбуша отныне везде лежала выпотрошенная и выскобленная до рёбрышек.

В квартире, пройдя на кухню, я вывалил в раковину содержимое авоськи и подошедшей жене обронил: доставай, мол, пустую двухлитровую банку и готовь соль и острый нож – будем ладить икру крупнозернистую! Оставив жену управляться с рыбой, сам прошёл в зал, сел в кресло и машинально включил цветной телевизор. К моему удивлению, на экране опостылевших говорящих голов не мелькнуло ни одной, зато во всю его ширину на фоне солнечно-голубого неба поплёскивало синее море. На мгновение сдавило виски, а сердцу в груди стало тесно.

...Неужели всё это было со мной?

КОНОКРАД

Историю эту рассказал дядя Костя, сродный брат матери, в один из моих приездов в Барнаул.

Дело было в начале тридцатых минувшего столетия. Повадился один дерзкий верзила-казах, по прозвищу Маяк, отбивать и угонять у мужиков рабочих коней. Нападал в поле либо в лесу на небольшие обозы, тянувшиеся в те времена по крестьянским надобностям из одного алтайского села в другое. Размахивая обрезом, Маяк заставлял оторопевших мужиков распрягать и выводить из оглобель лошадок и исчезал с ними в балках и лощинах. Какой уж он ещё магической силой обладал, умея как-то обезволивать в общем-то непугливых поселян, среди коих бывали и матёрые таёжники, это неведомо было, однако мелкими обозами по две-три подводы мужики ехать теперь не отваживались, а сбивали отряды самое малое в десять возниц, да и то, коли выпадало ночевать на степи, телеги ставили в круг, лагерем, и лошадей держали привязанными рядом. Так и оберегались. Но Маяк ухитрялся уводить коней и с поскотины, чуть ли не на виду у всей деревни. Такой он был бесшабашный и нахальный «барымташи», как прозывают воров вроде Маяка сами кайсаки.

Однажды летним вечером в Змеиногорск из Третьяково наладился добротный обоз. Только выбрались в поле, как обоз нагнал на повозке, запряженной тройкой добрых вороных, мужик, о котором знали, что он из Курьи и фамилию носит Калашников. Сбоку вольно трусил низенький мохнатый конёк-Горбунок. Калашников пристроился в хвост вереницы. Так они проехали до вечерней зорьки, выбрали место под ночлег в логу у безымянного ключика, обросшего ивняком и талом. Встали, по вынужденной привычке, круговым лагерем, спутали коней, принялись чаёвничать у оранжевых костров. Один лишь Калашников не стал путать своих вороных, пристроил телегу отдельно на пригорке, надо полагать, для лучшего обзора, хотя что увидишь в такой кромешной темени, окромя россыпи звёзд над головой, бросил кошму и безмятежно захрапел. Кони его преспокойно хрумкали чуть поодаль, и только конёк-Горбунок тёрся вблизи хозяина. Мужики обронили: увечный, дескать. А кто, беспечный ли курьинец или же низенький конёк его, никто растолковывать и не вознамерился; пробормотав напоследок, какие, мол, знатные коняги были у Калашникова, возницы задремали.

Короткая ночь испарилась молочным рассветом. И вдруг заржал Горбунок. Калашников вскочил с кошмы, в руках уздечка. Минута, и он уже верхом на коньке и правит того в лог, куда с вечера убрела тройка вороных. Мужики тоже повскакивали со своих ночлегов. Их разбирало любопытство с примесью жалости к проворонившему лошадей попутчику-упрямцу. Взбежали на пригорок, с которого открылась им занятная картина. На здоровенном жеребце восседал огромный с длинными узловатыми ручищами и чёрными полоска-

ми глаз на плоском, как сковородка, лице Маяк. Он снисходительно – что подчёркивала и вся его небрежная поза – посматривал то на приближающегося рысцой конька-Горбунка с Калашниковым на крупе, то на приарканенных коней у черёмушника. Вот Калашников поравнялся с Маяком, что-то крикнул тому, видно было, как Маяк рассвирепел, привстал на стременах и – тут случилось вовсе неожидаемое: калашниковский конёк грудью торкнул в бок гиганта-жеребца, да так, что тот покачнулся, а Калашников каким-то неуловимым движением ухватил Маяка и легко сбросил верзилу наземь. Ловко прыгнул вслед, сел на него верхом, выдернул у Маяка поясной ремень и связал того по рукам и ногам. Здесь же вытащил из-за голенища внушительный складной нож. Сверкнуло лезвие. Мужики спешно перекрестились. Однако того, чего ожидали, не произошло. Калашников с раскрытым ножом переступил через скрученного Маяка и направился к недальнему ивняку. Там он срезал ветвь в палец толщиной и вернулся к поверженному гиганту. Аккуратно очистив от коры упругий прут, он укоротил его до двадцати сантиметров, заострил с обоих концов и задрал Маяку рубаху на спине. Оголённое тело конокрада подрагивало, то ли от утренней свежести, то ли бесстрашный барымташи оробел от той силы, что исходила от кряжистого и неторопливого мужика. Между тем Калашников тремя пальцами оттянул смуглую, в мелких пупырышках, кожу конокрада повыше поясницы и молниеносно вогнал вверх по спине, словно занозу, заострённый прут ивняка. Маяк взвыл. Калашников хладнокровно развязал ремень и освободил конокрада от пут. Поднялся с земли, сунул нож за голенище, кликнул конька-Горбунка, подогнал вороных к возвышавшейся на пригорке повозке. Через некоторое время обоз продолжил путь в Змеиногорск.

Что стало с барымташи-конокрадом Маяком, никто не ведает. Одно доподлинно известно: с этого происшествия в степи можно было ездить вольно и большим обозом, и малым, да и даже одной-единственной подводой. Мир и покой вернулись на эту благословенную землю.

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА

Происшествие это имело место быть в середине XX века в горной тайге Западного Алтая. Там, где в мраморных и базальтовых теснинах радужные брызги своенравной Убы долетают до березовых крон и пихтовых верхушек, а острые, в скалистых зазубринах, пики гор прокалывают такую высоченную синь, что если задерешь голову глянуть на эти неправдоподобные каменные нагромождения, шапку уронишь.

Однажды июньским вечером, в час, когда остывающий воздух кристаллизуется в перламутровые шарики росы и скатывается по зеленым резным листьям к стеблям и корешкам таежного разнотравья, когда раскаленные за день луга и опушки утоляют свою жажду капельками живительной влаги, по едва обозначенной дороге проехал верхом бородатый всадник, Петр Нифантьич Еремеев. Жеребец под ним был рослый, матерый. Ноги высокие, мускулистые, бабки тонкие, ровные, с опушком понизу, словно выточены искусным мастером; темно-матовые копыта, как стаканы, лопатки мощные, с отливом по короткой шерсти; грудь широкая, в узлах мышц. Масть у коня чалая: седой, в крапинку, окрас, грива и хвост черные. Обогнув черемуховые заросли, они въехали на просторный луг, усыпанный оранжевыми жарка-

ми, среди которых пурпурными островками буйствовали марьины коренья – дикорастущие пионы. Луг напоминал гигантскую подкову, овалом обрамлявшую покатые склоны лесистых гор, задник был подрезан речным плёсом. Посредине луга возвышались рубленый дом-крестовик, добротные дровник, сарай для скота и, чуть в сторонке, ближе к реке низенькая банька с подслеповатым единственным оконцем и дверцей, подпертой рогулькой. Ограды не наблюдалось никакой, лишь участок у прикрылечья взят жердочками в квадрат, в коем сбоку стоял груботесаный стол со скамьями на две стороны, с противоположного края под легким навесом видна летняя печь, сложенная из скальника и обмазанная глиной в замесе с конским навозом. Двор был чист, убран травкой-муравкой, крыльцо высокое. Взлаяли собаки, три сибирских лайки, косматые, хвосты крючками, но, признав Петра Нифантьича, радостно завиляли и почетным караулом, одна впереди, поминутно оглядываясь, две по бокам в траве, проводили гостя до коновязи. На крыльцо вышел высокий, с бородой, прикрывающей полгруди, мужик, приветливо махнул Еремееву узловатой пятерней и спустился отворять калитку. Здесь они чинно поручкались.

– Никак, Петро, с новостями к нам, али проведать прибыл? – обратился к гостю хозяин, Савелий Егорыч Антропов. – Конь добрый у тебя, свой али колхозный? Штой-то ране такого я не знавал у наших-то убинских ни у кого.

Петр Нифантьич уже расседлал жеребца, развесил сохнуть на жердинку потник, спутал передние ноги коню и набросил тому на морду недоуздок.

– Да в Риддер надобно наведаться, кой-какие бумаги выправить. Выехал из дому опосля обеда, ноне все одно бы не поспел, конторы уж поди позакрылись, вот я и надумал сделать крюк небольшой да вас с Маланьей навестить, а то с зимы уж не бывал. По зорьке напрямки по ойротской тропе через Крольчатник часам к одиннадцати прибуду а город. А конь мой, он дорогого стоит. Гостинец это и привет из Сибири. От Макара Семеныча.

– Да неужли он жив?! Вот уж не чаял услыхать еще об нём. Сказывай толком, не таись, свои, чай.

Здесь нам придется отлистать еще пару десятков годков, ближе к революции и поведать одну злополучную историю. О ней сегодня уже редко кто помнит, даже из таежных старожилов, и времени утекло немало, и прежняя жизнь, обстоятельная, памятливая, давно распалась и погребена под плитами забвения.

На горном Алтае свирепствовала коллективизация. Жили в этих местах преимущественно старообрядцы, или как они сами себя навеличивали: «люди древлего благочестия», народ суровый, где-то даже угрюмый, но работящий, промеж собой дружный и потому не бедный. Шли их пращуры когда-то «встречь солнца», мыслили обрести заповеданное Беловодье, но приглянулись эти потаённые распадки да горные бурные реки, где серебристый хариус взмывает над белопенной стремниной, где в затонах ворочаются пудовые таймени, а в прибрежных камышах и осоке нагуливают добрый жирок метровые щуки; больно тучными да баскими были в этих местах заливные луга, девственная стояла тайга, разнокалиберный зверь, от сохатого, медведя, косули и кабарги до соболя, лисицы и барсука, прежде отродясь не видывал человека, дичь непуганая сама в расторопные ручищи влётывала. Трудись да благоденствуй. Обжились люди, расплодились, выросли в тайге на речных развилках и сливах крепкие кержацкие поселья. Сподобились, истово помолясь, возвести и монастырь. Быт, думалось, отладился на

века вперед. Однако сначала мировая война повыдергивала из этого добротного строения главные скрепы – мужиков, да некоторых так и пороняла в чужую землицу навеки, следом иродова революция опалила, а тут подоспела и разбойница-коллективизация.

Разъезжала на добрых, конфискованных у справных хозяев, конях чоновская ватага с картавым, в похрустывающей кожанке, человечком во главе, вершила такой правёж, после коего разорёнными и перевернутыми оставались не одни лишь улья на тачке, а и сами бывшие допрежь завидными поселья и заимки. Вот так однажды они и нагрянули в Стрежную Падь. Все взрослые мужики и парни, верстах в пяти отсюда, метали копны и зароды, страда горячая, не сегодня-завтра польют сеногнойные дожди, надо успевать. Бабы хлопотали во дворах, сосунки здесь же, кто в зыбке в тенечке, кто к мамке за подол уцепился. И вдруг запылила въезжая дорога у поскотины. Через минуту с гиканьем, развесёлые, хмельные, на поселье ворвались комбедовские – риддерская голь и пьянь – активисты. Лихо спешась, согнали всех баб и ребятишек на центральную поляну, и человечек в пенсне и кожанке в ярких красках обрисовал «темному населению» текущий момент. Человечек еще не округлил свою пламенную речь, а сотоварищи уже приступили со знанием дела к изыманию скопившихся у старообрядцев излишков. Тащили всё, что попадало на глаза, и складывали на подводы. Что не вмещалось, курочили и разбивали на месте. Изъяли прошлогодний засахаренный мёд из кладовок. Из погребов, что нарыты под горой, в тени пихт-вековух, выкатили бочата с солёным тайменем и медвежьим салом, сбили в стадо подвернувшихся коров, телят, овечек и ягнят; и богатый обоз с награбленным наладился восвояси. Попутно стеганули плетками толкущуюся под копытами малышню, а бабы, онемевшие от горя в сторонке, уже свое получили: у некоторых под заплаканными глазами напухали синяки и шишки, сатиновые блузки разорваны, платки и косы растрёпаны – так не хотелось поселянкам расставаться с нажитым.

Только осела обозная пыль, примчались с покоса мужики. Прикрикнув на запричитавших баб, потемневшие ликом, они сноровисто распечатали схорон, разобрали карабины с запасными обоймами и ускакали по тайной тропинке, известной лишь им одним, через хребет, наперерез чоновцам. Укрыв лошадей в лощине, мужики залегли на вереске в скалистых расщелинах и взяли на мушки узкую каменистую горловину дороги в убинском приторе. Ждали недолго. Впустили на притор и постреляли. Всего один из двенадцати сорвался с обрыва в Убу, пробовал уйти водой, но выплыла лишь обезумевшая лошадь. Мужики изловили выпростанных коней, вывели подводы из притора и вернулись на поселье. Бабы, встречая обоз с возвращенным скарбом и живностью, запричитали еще громче. Однако дело сделано, на родовом совете постановили: мужикам уходить окольными тропами вглубь Сибири, на север. Новая власть пощады не ведает, да и дюжину, пусть и пропащих, но ими загубленных душ никто не простит. И ушли мужики как в воду канули. А на поселье вскоре нагрянули красные каратели. Уж они поусердствовали: пожгли все, что горело, баб с ребятишками по неполной доказанности и уличенности – концов-то не сыскать, так, тыкали кровавым пальцем в небо – не тронули. Да и что об них руки марать, к зиме сами перемрут: ни крыши над головой, ни пропитания. Но погорельцев сердобольные люди на глухих отдаленных заимках приняли, отогрели, пособили, чем могли, хотя в ту лихую годину мало кто едал досыта.

Историю эту вслух долго не поминали, но жены ушедших, тайно мо-

лясь где-нибудь в укромном уголку, – время-то на дворе чадило атеистическое, безбожное – просили у Спасителя для своих горемычных здоровья и терпенья, да чтоб те успели глянуть в этой жизни на сиротинушек-чад. После кончины вождя, с приходом яйцеголового весельчака вышло будто бы послабление, когда вся та шнуровка, которой сурово была стянута страна, начала вдруг на глазах у изумленного народа гнить и рассыпаться, в сердцах уцелевших постаревших жён и давно уже взрослых сыновей и дочерей затеплились лампадки нечаянной надежды. Скоро вызналось, что двое из пяти горемык много лет как упокоились в стылой земельке на стыке тундры и таёжного приангарья, один обзавелся новой семьей и о былом не поминает, судьба четвертого безвестна, а вот последний, пятый, помышляет, как бы пробраться домой да повидаться с родиной и поредевшей родней. Макар Семеныч – а это именно он – и живет-то ноне недалече, в Хакассии. Знающему человеку рукой подать. Работает он там вроде бы в леспромхозе, должность распорядительная, связь с тамошними кержаками, нащупав некогда, не пресекает. Саянские старообрядцы преобладают там как охотники-промысловики при заготконторах. И образ жизни у них будто бы вольный. К месту молвить, дух древлего благочестия в те годы еще-таки присутствовал в этом упрямом народе: единоверца спрячут-укроют так, что никаким расчекистам-пройдохам не сыскать. Это уж последующие духовные вывихи в период победно-самозабвенного шествия советской власти истрепали и разъегорили целостную ткань несгибаемого на протяжении трех веков людского сообщества. Старцев повыбило неумолимое время и лихолетье, молодежь избаловалась да переметнулась к сладкому и удобному.

– Так, знать, подсобирывается Макар Семёныч в родимые палестины, поди ж, и насовсем. Али бегать ишо не пристал, – усмехнулся Савелий Егорыч. – Тогда ить никто и не дознал, што супостатов раскулачных угомонили они. Сторонний-то не увидал, как тех упрятывали. Мертвяков же выловили далеко ниже по Убе, у Чертовой дыры, на шиверах. И лошадок, расседлав, мужики тут же угнали подале. Мы, мальцы, едва ли не до снегов имали коняг тех по таежным укроминам. Поторкались, помню, риддерские следователи по заимкам, повыпытывали у наших, да што тем скажут немтыри, окромя как «не ведамо» да «темен я, батюшка, шибко темен».

Коль уж мы помянули Макара Семеныча, так обскажу я тебе, Петруша, што мне некогда покойный тятя поведал. Я только с Отечественной пришел, и мы белковали с ним у Тегерецкого хребта. Там избушка ишо ладная, теплая, с царских времен, деды рубили умеючи. Да мы там с тобой бывали не раз, она под скалой, в кедраче, на главной ойротской тропе. Ну, слушай. Как-то вечером, освежевав белок и накормив собачек, чаевничали мы с тятькой у печурки, ты должон ее помнить, она в углу от нар, дверца чугунная литая и заслонка особенная, вроде как с вензелями, чудили старики. Помню, тятька поправил тогда эти самые вензеля, усмехнулся с какой-то даже, я скажу, горчинкой ли чё ли, и молвил: «Да-а, не боялся Бога Макарушка, коль такое откалывал! Знать, трещинка имелась в душе глубокая, корыстолюбив бывал до затемнения разума. Ты же слыхал, Савелушка, да, небось, и сам захватил, как мы в прежние года соседствовали с ойротами, это советская власть переиначила в алтайцев их, а при государях у них всякому роду свое имя наречено было, но ойроты у них слыли за первых. Каждогодно в Карагужиху, в низовья Убы, сбирались все на ярмонку. Оно и село-то Кара-

гужиха прозвано так занятно: кара – у басурманов – «чёрный», а у нас – гуж, известно што. Так и вышло: гужом на чёрную, тайга там густая, издаля глянешь – черна. Ну, да я отвлекся, пойдем дале. Эти ойроты, тогда не переиначенные, выменивали там шкурки соболей, барсуков, белок, горностаев на порох, заряды, ружья, водку. А путь ихний лежал аккурат мимо заимки, где мы с тобой ноне вечеряем. И хозяйничал в ней завсегда Макарка. Она перешла ему от деда его Евлампия. С путниками, навялившимися на ночёвку, он обходился ласково, угощал вином изрядно. Доверчивые ойроты валились хмельными на нары. Макарка добавлял в печку угарных, вроде сырой осины, поленьев, закрывал заслонку, вот эту самую, с вензелями, выходил во двор и снаружи подпирал дверь толстым кедровым суком. К утру наведывался, выносил из избы торока с пушниной, прятал в скалах и отправлялся в деревню с горестной вестью: дескать, покуль я оглядывал капканы и кулёмы в дальних угодьях своих, заночевали на заимке какие-то приблудные ойроты-нехристи, отыскали-таки неведомо как мои винные запасы. Да штой-то пожадничали, и с перепою-то заслонку так хлопнули, что здесь и угорели. И сходило ведь эдакое душегубство и лиходейство Макарке с рук. Штучки эти он проворачивал не единожды». Такой вот грех водился за Макаром Семенычем, Петруша.

– Што ж, Савелий Егорыч, жадность – хворь труднолечимая, – отозвался раздумчиво Петр Нифантьич, – но, видимо, как-то одолел свою напасть Макар Семеныч. Поди ж и смягчился за годы мытарств, а то нешто послал бы мне такой знатный и нечаемый гостинец, как жеребца Чалушку, хотя, ежели глянуть со стороны, и в родне у него ноне ближе меня никто не стоит: сыны, Иван и Тимофей, в войну погибли, а я как никак родной племяш. По весне через Ермолаевку нашу проезжали верховые, путь держали на Усть-Коксу, к тамошним единоверцам-кержакам, скликнул меня один из них и вручил Чалого и письменную весточку. К осени должон объявиться на родине наш Макар Семеныч. Ты уж покуль помалкивай, дело, оно вроде и не тайное, однако ж, копальщиков ноне, сам ведаешь сколь.

Мужики повечеряли. Маланья постелила гостю в горнице, но Петр Нифантьич, сославшись на ранний и скорый подъем, упросил хозяйку бросить какую ни есть рухлядь на пол в прохладном чуланчике, где бы он, не снимая верхней одёжки, мог покемарить часок-другой до алой зорьки. На том и порешили. Маланья приволокла медвежью шкуру, расстелила и ушла к себе, проворчав напоследок, что вот, мол, в кои веки свиделись, а он и отдохнуть по-людски не пожелал.

Проворочался куцую июньскую ноченьку на пахучей медвежьей полости Петр Нифантьич, а как чуть забрезжило, встал потихоньку и, прихватив в сенцах сапоги, вышел на крыльцо. Обулся, снял с крашеного столбика наборную уздечку и пошагал на луг к жеребцу. Чалый пасся метрах в десяти от коновязи. Еремеев негромко окликнул его. Жеребец вскинул голову, тряхнул гривой и стал смотреть на приближающегося коренастого бородача, но тут же неожиданно взмотнул мордой, и Петр Нифантьич услышал в предутренней тиши как животное вдруг шумно и с тревогой стало всхрапывать и часто втягивать через подрагивающие ноздри в себя воздух. Мохнатые конские уши прижались к гриве. Петр Нифантьич вытянул руки с уздечкой перед собой, и ласково приговаривая: «ну что ты взволновался, это ж я, твой добрый хозяин», направился по росистой траве к жеребцу. Оставалось метра полтора, когда Чалый вдруг яростно вывернул губы, обнажив ряд ровных

продолговатых зубов, оскалился и, заржав, избоченился и, выбросив передние спутанные ноги в сторону, оказался задом к Еремееву. Можно было подумать, что животное, испугавшись чего-то невидимого, изготовилось к бегству. Однако Чалый, оттолкнувшись от сырой земли задними свободными от пут ногами, вознес свой мускулистый корпус над лугом и обрушил мощное подкованное копыто на Петра Нифантьича. Удар пришелся в грудь, сердце лопнуло. Меркнущее сознание Еремеева на долю секунды озарила картина бурой, пованивающей зверем, медвежьей шкуры на полу в чулане. И тьма сомкнулась.

Выбежавший на шум Савелий Егорыч увидел жеребца, ошалело загребающего спутанными ногами в сторону от какого-то серого предмета, лежащего среди оранжевых жарков и схожего со сброшенным с телеги кулем картошки. Из-за скалистых зубцов гряды поднималось тихое красное солнце.

МАМИН ХЛЕБ

Проводы молодых ребят в Советскую армию у нас на Алтае негласно были занесены в реестр особенных, то есть заглавных праздников и входили в почётный список официальных и народных, таких как – Первое Мая, День Победы, Октябрьские, Новый Год, Рождество, Пасха и Троица. И уж точно превосходили по значимости все профессиональные праздники, отмеченные красными датами календаря, поскольку на Проводины, так назывался у нас призыв в армию, в гости созывались родня, соседи и друзья, профессий разных и должностей всяких.

Настала пора и мне отдать долг Родине. В конце октября, когда ночами уже подмораживало, но снег еще не пал наземь, а так, временами пролетал в студёном воздухе, прошёл и я призывную комиссию, где был признан годным к службе в армии, и где мне вручили повестку на отправку в часть через четыре дня. Срок, в общем-то, малый для того, чтобы основательно подготовиться, настроить себя на коренную перемену своей жизни, да и я не очень надеялся, что успешно пройду медицинскую комиссию.

Так-то парнем я считал себя крепким, что было недалеко от правды, в молодёжных свалках и драках мог управиться даже и с тремя противниками, да вот преследовала меня одна несуразность – якобы повышенное давление – легшая на мою судьбу крестовой печатью аж с 14 лет, с того дня, когда в нашу поселковую бревенчатую восьмилетнюю школу приехали городские врачи обследовать учеников старших классов. Тогда-то, измерив мне первый раз в жизни давление, терапевт, полная женщина в очках с толстыми линзами, всплеснула руками и категорически заявила: «140 на 90 в таком юном возрасте! У мальчика – подозрение на порок сердца! Нужно срочно везти в город, показать кардиологу». А я, полнокровный бугай почти семидесяти килограммов, только что на перемене таскавший на своих плечах по неширокому коридору одновременно двух таких же недорослей, причём, один был намного полнее этой врачихи и весил под сотню, второй – гибкий и проворный – уж точно не менее сорока килограммов весом, так вот я, парняга, об лоб которого уже можно смело бить пятимесячных поросят, стоял и бестолково переминался с ноги на ногу, не понявший сразу, что речь идёт обо мне, и приговор этот смертельный выносит и сама-то, скорее всего, не шибко здоровая врачиха. По направлению съездил в город, где кардиолог обследовал меня, снял электрокардиограмму, прове-

рил глазное дно и дал заключение: парень здоров, но сердце сдвинуто чуть влево. От этого не умирают.

Так думал и я, пока не стукнуло восемнадцать лет, и не подкатила пора призывной комиссии. К тому времени я уже закончил десятилетку и работал на горнодобывающем руднике слесарем по ремонту тракторов. Причём, опытные слесари и бульдозеристы, от души покостерив меня после того, как я не столько от усердия, а больше из-за боязни, что прикрученные мною гайки на громоздких двигателях ДЭТов по дороге в карьер отвалятся, так заворачивал эти бедные гайки, что срывал резьбу, придумали мне такую работу, что все остались довольны. Теперь из смены в смену я с наслаждением ломом и кувалдой ворочал и подбивал тяжёлые гусеничные катки и звёздочки, менял увесистые железные башмаки. И ждал, как и все мои ровесники, повестки в армию. В середине апреля в отделе кадров её мне вручили.

Из всех врачебных кабинетов я выходил в приподнятом настроении, потому что везде в расчерченную и сложенную вдвое бумагу с моей фамилией вписывалось очередное – «годен». К терапевту, который должен был написать общее заключение, я, можно сказать, влетел на крыльях. Однако эти крылья мне здесь же и обломали: треклятое давление зашкаливало. Да оно и понятно, я ведь волновался, переживал. В общем, положили меня на обследование в заводскую больницу. И как только не прослушивали мой организм, не обстукивали грудную клетку, давление мерили не только на руках, но и на ногах, все анализы сдал, какие есть в природе – а давление всё одно – зашкаливает. Я и врачу, симпатичной и доброжелательной женщине, объясняю – весна, мол, солнце, кровь молодая кипит, в армию хочу. А она сокрушённо в ответ: и анализы хорошие, и кардиограмма нормальная, но давление-то 170 на 100! Неделю крутили-вертели меня и оставили-таки на гражданке до осени с диагнозом: дистония по гипертоническому типу. Что ты будешь делать – опять приговор. При выписке сунули в руки еще одну бумажку, чтобы я в течение 10 дней в рудничном медпункте перед работой и после смены измерял давление. А тут как раз первомайские праздники, проводы друзей на службу, словом, после четырёх дней отдыха я еще не окончательно протрезвевший являюсь утром в медпункт. Сестрица измеряет моё давление, а оно как у расшалившегося ребёнка 130 на 80. По окончании смены я, уже пришедший в себя, вновь подставляю медсестре обнажённую руку: 120 на 70. И так все десять дней. С этой справкой бегу в призывную комиссию, но терапевт лишь пожимает плечами: всё, мол, поезд ушёл, в очередной раз встретимся осенью.

Зато в конце октября всё прошло без сучка и задоринки – и вот они, мои проводины. Столы ломятся от угощений, водка, вино и настойка текут рекой, дядя Митя, татарин, муж двоюродной материной сестры тёти Зои, отчаянный драчун и гармонист, без умолку наяривает на своей двухрядке. Гости то пляшут, то кружатся в плавном ритме танго, то поют положенные при таких обстоятельствах песни «Последний нонешний денёчек» и «Как родная меня мать провожала». Я, слегка потерянный и ни капельки не захмелевший, хотя и опрокидываю рюмки со всеми вровень, сижу то с одного края сдвинутых на весь зал, покрытых цветастой клеёнкой и заставленных графинами и блюдами столов, то с другого и вполуха слушаю наставления друзей, что не так давно вернулись из армии. Надо заметить, что в те годы отправка призывников от массивных ворот военкомата осуществлялась в

пять утра, и поэтому гуляли – провожали всю ночь, а для тех, кто как я, жил в предместье, примерно в двадцати километрах от города, родные заказывали автобус, чтобы всё было чин по чину. Ближе к полуночи мама и отец позвали меня на кухню и вручили ладный такой вещмешок с утолщёнными лямками. «Мы здесь тебе, сынок, продукты положили, – отец кашлянул. – Мало ли чего в дороге до воинской части может случиться! Запас, он и есть запас». «Я там и каравай хлебушка своего домашнего, в духовке испеченного, завернула в тряпицу, – подала голос мама. – А вот спиртного, сынок, класть ничего не стали. В армии, говорят, с этим строго». «Пап, мам, да ничего не нужно – там должны позаботиться о нас. Но всё равно – спасибо, родные вы мои! Всё будет хорошо, – я с благодарностью обнял своих стариков и добавил: – всё будет, как в песне: «отслужу как надо – и вернусь!». А теперь идёмте к гостям, а то уж, поди, потеряли нас, еще подумают, что мы одни без них решили в военкомат уехать!».

На сборном пункте в областном центре наша призывная команда во главе с сопровождающим, майором горвоенкомата Бельковым застряла на три дня. Какие это были весёлые денёчки, стоит рассказать подробнее. Огромный спортивный зал ДОСААФ, вдоль трёх стен настелены борцовские маты. Когда нас выгрузили из автобусов и провели сюда, наше место оказалось у торцовой стены, две продольных стороны были густо заселены призывниками из соседних районов, с каждой человек по сто. Побросав на маты ближе к высоким окнам вещмешки, мы начали обживать свой угол. Бесшабашное, хмельное чувство, овладевшее мной, как только я у здания военкомата, перед тем как войти в высокие железные ворота с красными звёздами, наспех обнял на прощанье отца, мать и сестёр, за трёхчасовую дорогу сюда не только не остудилось, а, наоборот, с каждой минутой нарастало. Мне надо было что-то делать, действовать. Для начала я сорвал со стриженой наголо головы кроликовую шапку и бросил её на середину матов: «Ну что, мужики, будем ближе знакомиться! Шапка моя – это касса. По рублю, как говорится, и в школу не пойдём!». Два раза повторять не пришлось, уже через минуту шапка доверху наполнилась смятыми рублёвыми бумажками. Деньги пересчитали, оказалось пятьдесят целковых. Я пошутил, что вот, мол, мы и выяснили, сколько нас в команде – ровно полсотни душ. Определились с гонцами, некоторые были знакомы с местностью, отобрали трёх добровольцев и, вручив им два опростанных по такому случаю вещмешка и рубли, отправили парней в ближайший магазин.

Вылазка на гражданку удалась, ребята не только затарились под завязку, но и успешно миновали прапорщиков, дежуривших на входе в спортзал. И вот уже в широком кругу на импровизированном достархане льётся в эмалированные кружки вино, смачно поедается домашняя снедь, звучат зажигательные тосты. Гуляй, вольница. Однако и военные не дремали. После того как мы едва не разодрались из-за гармошки с такими же полупьяными призывниками из соседнего района, и майору с подоспевшими прапорщиками с трудом удалось растащить нас по своим углам, они придумали один неожиданный и вероломный ход. Внезапно объявлялось срочное построение во дворе, мы весёлой ватагой вываливались наружу, пошатываясь, вставали в шеренгу в три ряда, наш майор начинал что-то бубнить про «священные долг и обязанность», а тем временем из-за торца здания, сбоку, вроде бы невзначай выкатывал милицейский воронок, из него выбирались бодренькие сержанты и, закурив, безразлично поглядывали в нашу сторону. Через минуту-другую майор давал им знак, они гасили па-

пиросы и пружинистым шагом подходили к нашему нескладному отряду. Майор выбрасывал правую руку перед собой и повелительно приказывал: «Ты и ты, немедленно выйти из строя!». Ребята вынуждены были подчиняться, кто же не стоял на ногах, и кого поддерживали соседи по строю, тех дружно подхватывали под белые ручки милиционеры и утаскивали в распахнутый, зарешёченный зев воронка. Остальные сами на нетвёрдых ногах добирались до металлических ступенек угрюмой чёрной машины с двумя красными продольными полосами по бортам. Бедолаг увозили в медвытрезвитель, майор приказывал нам собирать деньги на отплату их ночлега. Опять я бросал кроличью шапку на середину, мы скидывались и передавали Белькову деньги на выкуп.

Утром наши потрёпанные собратья по будущему оружию возвращались на том же воронке. Нас снова строили и очередную партию из трёх-четырёх призывников шустрые сержанты грузили в свою машину, так как мы от безделья всё также продолжали глушить дешёвое вино. Наконец я не выдержал и подбил парней на ответное действие: в следующий раз, когда нас выведут на построение, чтобы выдернуть из наших рядов самых слабых в коленках, мы все в знак протеста одновременно сделаем шаг из строя. Пусть, мол, забирают всех, а по одному никого не отдадим. Все воодушевились, мы опрокинули еще по кружечке кислого винца и стали ждать. В скором времени опять построение на свежем воздухе, и снова чуть поодаль знакомые нам сержанты. На их всегда суровых лицах сейчас можно было рассмотреть что-то даже похожее на приветливость. А как же иначе: наши смятые рубли – это их выполнение, а может, и перевыполнение плана по собиранию и ловле пьяниц и выпивох на городских улицах! Тем более – и расчёт живыми деньгами сразу, как говорится, не отходя от кассы. Майор, как всегда, окинул цепким колючим взглядом нашу изломанную шеренгу и выбросил руку, указывая на кого-то в заднем ряду: «Ты, выйти из строя!». Я прохрипел: «Мужики!» и мы со стоящим рядом черноусым Шурой Мирошниченко делаем шаг вперёд. Никто из остальных даже не пошевельнулся. Бельков как рявкнет: «А вас кто звал? Встать в строй! Ишь, молодчики! Вот как напьётесь, так и оформим».

По приходу в закуток я оглядел своих боевых собутыльников – что ж, вы, ребята, струхнули, сказали же: всё делаем хором!? Один – да я не расслышал, другой отводит глаза, третий – я, дескать, Петьку поддерживал, чтоб не упал. Так Петьку же и забрали! Пока я шумел, Шура Мирошниченко посиживал в сторонке и, раскрыв свой вещмешок, делал вид, что ищет что-то в нём, было видно, что все эти разборки ему до лампочки. Я усмехнулся про себя, да и махнул рукой – всё, братва, базар окончен, как и пьянка, кстати. А то ведь так и до армии не доедем. Парни вразнобой закивали – хватит, мол, попили, покуражились, да и деньги кончаются, а впереди мало ли что еще будет!

На следующий день, ближе к подмороженному серому вечеру, на территорию сборного пункта подогнали десяток просторных Икарусов, нас построили, пересчитали, посадили в салоны и повезли из города куда-то в темнеющую степь. Там, на каком-то безымянном разъезде деловито и без суеты погрузили в зелёные пассажирские вагоны, стоящего на парах сцепленного из двух локомотивов поезда. Командовали нами теперь «покупатели» – немногословные старшие лейтенанты и бравые сержанты и ефрейторы из той воинской части, где нам предстояло служить. С этими не побалуешь! – ре-

шили мы и начали устраиваться на ночлег, занимая все полки, включая и третьи багажные под самым потолком вагона. Проснулся я на рассвете с ясной головой и долго лежал, слушая монотонный перестук колёс и ни о чём не думая. В душе сквозила опустошённость, но была она не безнадёжной, в ней чётко проступали контуры определённости: истаяли сомнения – а вдруг в последнюю минуту опять что-нибудь найдут и вернут домой до весны, всё, рубеж пройден, ведь вон даже колёса радостно настукивают: «скорее в часть... мы едем в часть...».

Утром деловитый сержант выдал всем сухие пайки. Он же и сообщил, поглядывая в окно на проплывающие мимо одинокие круглые войлочные юрты, редких всадников и отары овец в степи, где, надо полагать, и нам предстоит служить. Оказалось, что да, везут нас в Среднюю Азию, в ракетную бригаду. Служба почётная – сопка наша, сопка ваша. Пески, полупустыня. Ближайшая кошара в двенадцати километрах от нашей воинской части. Зимой – минус двадцать с сырыми, пробирающими до костей, ветрами, летом – плюс сорок в тени. Сержант усмехнулся – и самый злободневный летний лозунг: «дизентерия – болезнь грязных рук!». Это, мол, ребята, запомните крепко, иначе кровью изойдёте. «Вот тебе да, – подумал я. – Надо было гипертоника на полгода оставлять на гражданке, чтобы осенью сунуть в такое пекло, где и с нормальным-то давлением без определённых навыков не выжить! Ну да ладно – где наша не пропадала. Прорвёмся». И я, подхватив в руки банку тушёнки и пару банок концентрированной гречневой каши с мясом, отправился в своё купе в конце вагона. Там у откидного столика уже вовсю хлопотал Шура Мирошниченко, вскрывая складным ножом свой и сухие пайки соседей по купе. Что и говорить, пиршество нас ожидало отменное, ведь кое у кого еще оставались и домашние припасы – сало, вяленая рыба, была даже и, нарезанная аппетитными кружочками, копчёная колбаска, отдельной горкой лежали шоколадные конфеты. А вот хлеба – ни кусочка, ни ломтика. На наш вопрос: а как же есть без хлеба, всё тот же сержант пожал плечами: сухари, дескать, на складе в спешке забыли выдать, а хлеб в вашем городе не додумались купить, да, в общем-то, было и не до этого – вон какой эшелон загружали! Привыкайте, ребята, к трудностям армейской жизни. И вообще, бойцы, о чём разговор – мяса-то валом! Валом-то валом, но вот я, например, товарищ сержант, сколько и чего бы ни съел, а без хлеба не наемся, не буду чувствовать себя сытым, хоть что ты со мной делай. И я уже решил пробежаться по вагону, поспрашивать у земляков пшеничного или ржаного, да вдруг вспомнил, что мама мне положила в дорогу каравай.

Однако тут же меня одолели сомнения – ведь прошло уже больше пяти суток, хлеб, должно быть, давно засох и заплесневел. Ну, так и выброшу его, освобожу вещмешок от лишнего груза – размышлял я, доставая и выкладывая на край стола, бережно завёрнутый в холстину материнский каравай. Небрежно развернул, и все ахнули! Румяный, поджаристый хлеб был необыкновенно аппетитный, как будто его только что вынули из печи. И запах струился от него такой, что у нас слюнки потекли! Молчаливый Шура прямо на развёрнутой холстинке аккуратно нарезал ломтей, потом взял один из них, положил на ладонь, сжал в кулак и здесь же растопырил все пять пальцев – через пару секунд пористый и пахучий ломоть легко расправился и принял прежние формы. «Такой вот фокус», – обронил Шура и пояснил, что еще в детстве, часто бывая в деревне у бабушки в гостях, он видел, как подобным способом она всегда проверяла пропечёность вынутых из рус-

ской печи и остужённых караваев. А у тебя-то, мол, Юра, откуда взялся деревенский хлеб? «Мама позаботилась, в дорогу напекла. Я, сдуру, еще и брать сначала не хотел. Так, думаю, из уважения возьму. А видишь, как вышло». «Молодец у тебя мать, умелица!». «Она, Шура, тоже из деревни родом, также как и отец». «Тогда всё понятно».

Мелодично постукивали на стыках рельс колёса, в вагоне стоял мерный гомон моих земляков-новобранцев, а я тихонько вышел в тамбур и там, уткнувшись лбом в холодное стекло окна, впервые с момента расставания у ворот военкомата думал о наступившей долгой разлуке со своими родными – как там они без меня? Свидимся ли еще? И чувствовал, как невидимый, но цепкий паучок, вцепившись в левую сторону моей груди, давит на сердце, сжимая его своими мохнатыми безжалостными лапками.

Впереди было два года армейской службы в раскалённых песках и промозглых скалистых сопках.

НАБОРНЫЙ РЕМЕШОК

Под затенёнными укосами серых, в сиреневых разводьях лишайника, мареновых глыб, местами укутанных прелой прошлогодней ботвой лопушистой чемерицы ещё кое-где оплавлялись последние грязно-ноздреватые линзы сходящего снега. Там и сям звенели солнечные потоки талой воды, несущиеся радостно и как им заблагорассудится с вершины белка в расщелины, чтобы там, перетекая белопенными водопадами из одной гранитной чаши в другую, достичь наконец-то главного ручья этой горной гряды, названного нашими дедами за свой дикий, непредсказуемый нрав и коварные повадки Дурным. Ручей этот я люблю с отроческих лет. Может потому, что именно здесь, впервые ночуя без взрослых под открытым, расшитым сказочным узорьем созвездий, бархатистым небом отведал я из закопчёного котелка настоящего таёжного чая из листьев чёрной смородины, сорванных мной и закадычным другом здесь же, рядом, у изножья россыпей, с неведомых времён застывших раскрошенной каменистой оплывиной между двух скалистых утёсов, подпирающих лесистый хребет. А быть может и потому, что таких необычных, я бы сказал, богатырских ручьёв, да что там ручьёв, и рек-то, я встречал за свою жизнь не так уж и много. Стиснутый, сжатый с двух сторон почти отвесными склонами гор, он несётся не так стереотипно, как мы привыкли видеть большинство других ручьёв, грохочущих по дну скалистых ущелий. Особенностью Дурного является то, что перепад склонов на его пути непредсказуемо крут, местами почти вертикален, поток воды не течёт, а летит, с напором, как из пожарного шланга. Русло ручья состоит не из промытых и отшлифованных разноцветных камешков и золотоносного песочка, а громоздится такими глыбами и плитами, что не на каждую и вскарабкаешься. Весной, когда нераспустившиеся, полупрозрачные осиновые и берёзовые кущи, сбегающие по логам к Дурному, ещё не гасят зелёной и ворсистой занавесью листвы шума и грохота этого неуправляемого, кипучего сына наших белков, кажется, что гул разносится не только по всем ущельям и складкам гор, но и достигает самого солнца. К примеру, разговаривать в это время вблизи ручья бесполезно – собеседника всё равно не услышать. Надо только кричать, да так, что другой раз глаза из орбит вылезают!

Вот и сейчас, пусть я и находился в полутора километрах вверх от Дур-

ного, шум стоял такой густой, что радостную птичью разноголосицу, коей наполнена вся округа, можно было услышать только когда пернатые, увлечённые своими весенними брачными играми, не обращают на тебя никакого внимания, а перепархивают и рассаживаются на верхушки ближних тёмно-зелёных пихт, и пробуют свои сильные голоса на необыкновенные, переливчатые арии. Цель моего нынешнего прихода в эту ложбинку была двоякой: нарезать тугих стеблей молодой, необычайно сочной, напитанной талой благодатной влагой черемши и заодно насладиться непередаваемыми ощущениями причастности к пробуждению и освобождению от зимних обмороков родимой алтайской тайги. Перескакивая с кочки на корягу, поминутно наклоняясь и прихлёбывая из собранной в лодочку ладони сладкую студёную водичку, я уже обежал на раз оба покатых склона, когда вдруг приметил на берёзе-вековуше промеж чёрно-белых штрихов знаменательный развал с застывшей тёмно-коричневой накипью чаги. Он и находился-то удобно, метрах в полутора вверх по стволу от роскошного округлого муравейника. Я приблизился. День был солнечный, ласковый, деловитые муравьи живыми, поблескивающими струями обтекали в разных направлениях щедро усыпанную сухими иголками хвои полусферу своего поселения. Я зашёл с боку кучи и, стараясь не беспокоить насекомых, принялся ножом аккуратно отковыривать комочки чаги. Крошки её стали осыпаться на верхушку муравейника. Он встревожился, самые смелые муравьи тут же встали на задние лапки и воинственно задрали вверх свои продолговатые головки с длинными усиками и острыми челюстями, но поняв, что ничего страшного с неба на них не просыплется, а это всего лишь что-то наподобие манны небесной, они, энергично подталкивая друг дружку, начали ловить и подбирать эти самые крохи и утаскивать их в чуть приметные круглые норки. Уложив наготовленную чагу в кармашек рюкзака и, вскинув его на плечи, я напоследок провёл рукой по гладкому стволу берёзы – поблагодарил за целебный подарок, и начал спуск к каменистой дороге. Мне оставалось только осторожно спуститься по гравийной осыпи на эту дорогу, когда я невольно обратил внимание на возвышающийся справа на бугре огромный валун, похожий на старинный объёмистый купеческий сундук с достаточно плоским верхом. Сходство усиливалось ещё и тем, что все бока валуна до половины были опушены отмытым вешними дождями изумрудным мхом. На солнце мох поблёскивал, что придавало некоторую сказочность этому предмету. Валун заинтересовал меня, и я взобрался на бугор рассмотреть его поближе. Идеально ровные и безупречные углы – будто опытный каменотёс постарался, вкраплённые в базальт ленточные разводья яшмы и других алтайских самоцветов. А одна из ленточек так вообще, подобно замочной накладке живописно свисает с крышки сундука и так смахивает на брошенный кем-то из туристов наборный обрывок цветной страховочной верёвки, что рука моя непроизвольно потянулась потрогать её. Ярко-зелёный, ёлочкой, узор чередовался с коричневыми пятнышками и жёлтыми спиральками, – не взять такую себе на память мне просто не позволяла моя любознательная натура, тем более, что верёвка эта запросто и в хозяйстве бы пригодилась: на плоской крышке сундука-валуна она была свита ещё и в колечки. Я наклонился вперёд, и тут же всего меня прошил электрический заряд, я резко и вовремя отдёрнул протянутую руку: из колечек прямо мне в глаза, не мигая, смотрела приподнятая, слегка приплющенная – и тоже узорная! – змеиная голова с широко расставленными бусинками холодных глаз. Маленькая

пасть гадюки медленно разверзлась, и длинный раздвоенный язычок вырвался наружу и угрожающе завибрировал в воздухе. Вот раззява любопытная, подумал я о себе, но в сторону не отошёл, а продолжал настороженно наблюдать за действиями змеи, готовый в любую секунду сбить её сапогом с валуна. Гадюка, всё так же угрожающе шипя, подобрала свой хвост и пружинисто распрямляясь, но при этом не спуская с меня безжалостных глаз, начала боком отползать к другому краю валуна, и там, вдруг неожиданно и вся разом провалилась в бодылья прошлогодней травы, и только её и видели! Вот вам и наборный ремешок в мою коллекцию!

ГОРБАТЫЙ РАСПЛОД

Кто бы знал, как люблю я июльским погожим денёчком постоять на тачке сбоку улья и понаблюдать за работой пчёл. Светит нежаркое солнышко, иногда его закрывают проплывающие через небо лёгкие облачка, на минутку светлая тень наползает на огород с цветущей картофельной ботвой, на старую яблоню в углу усадьбы, раскинувшуюся рядом с двумя рядами ульев, расставленных вдоль забора. Труженицы деловито подлетают и по наклонной широкой дощечке, приставленной с земли к нижнему окоёму корпуса, заползают через леток в улей. Бывает, что приземлится их одновременно с десяток, а щель летка всего сантиметра три в ширину, здесь бы и устроить столпотворение с выяснением отношений: кто из них важнее и у кого нектар в хоботке слаще? Однако пчёлиная цивилизация – как я слышал от кого-то из бывалых пасечников – самая совершенная из трёх существующих в обозреваемом человечеством потоке истории. Следом, якобы, идут муравьи, они, как и пчёлы, дисциплинированные, но менее организованы. И замыкаем тройку мы, грешные люди. О том, какие мы примерные и сплочённые, я лучше промолчу.

Так вот, пчёлки, как я заметил, всегда вежливо уступают друг дружке дорожку, случается, что подлетит крупный трутень и растолкает их, чтобы без очереди пробраться к сотам. Труженицы и его вперёд пропустят: дескать, торопится, пусть идёт. Тем более, недалёк тот день, когда мы тебе, хаму эдакому, крылышки-то обкусим и в травку тебя со товарищи сбросим, поскольку будет вам кушать наши припасы на дармовщинку-то! И уж ползайте тогда сколь душе угодно, покуда не приберут ваши жирные мохнатые тушки проворные муравьи в свои прохладные подземные кладовые. Зная судьбу трутней, мне иногда даже бывало жаль этих нерасторопных ухажёров предводительницы улья – сосредоточенной и деловитой пчелиной матки. Однако эту жалостливость отодвинуло куда-то в недосягаемую глубь моего сознания одно необычайное событие, о котором я сейчас и расскажу.

Иногда, желательно в период между поддерживающим взятком, который выпадает на конец мая и начало июня, когда склоны и долины желты от цветущей акации, и главным, июльским, что случается в пору обильного цветения в горах синеголовой кисточки-белковки и зонтичного дягиля, пасечники проводят краткие ревизии своих ульев. Часто ворошить пчёл болезненным извлечением и осмотром рамок не рекомендуется знатоками, да и сам понимаешь, что каждое такое посещение напоминает происшествие, когда в твою ухоженную и прибранную квартиру вламываются непрошеные гости, всё коверкают, переворачивают и напоследок ещё так громко хлопают дверью, что со стен осыпается штукатурка. Но, не проводя бережного

осмотра, можно легко допустить такое нежелательное развитие сильной семьи, когда пчёлы, оттягивая ячейки, понастроят по низу вощины овальные и продолговатые, схожие с ракушками, маточники, выпестуют новую матку, и начнётся «разделение царства в себе». Тогда только и успевай подсчитывать улетевшие рои и потерянные килограммы мёда! Поэтому в таких случаях всегда надо быть бдительным и не ловить ртом ворон, однако в этот раз я как-то с неохотой принялся забивать железную ёмкость дымаря припасённой еще с осени древесной трухой и гнилушками, поджёг и бросил в неё лоскуток берёсты, и, захлопнув крышку, опробовал воздушные меха. Качали они на славу, дым из носика дымаря повалил что надо. Надел через голову сетку, поправил и подоткнул концы её под воротник халата и направился на пчелиное хозяйство.

Осмотрел один улей, второй. Золотисто поблескивал в незапечатанных ячеях свежий мёд, кое-где желтела и зеленела пыльца, называемая в наших местах хлебиной, коричневыми ромбовидными островками на некоторых рамках густо темнел запечатанный расплод. Дошла очередь до третьего корпуса. Снял крышку, убрал плошку, поддел стамеской верхнее крылышко средней рамки, извлёк её на свет и... обомлел. Почти вся площадь рамки с обеих сторон была усеяна крупными бугорками какого-то непонятного мне расплода. Вытащил вторую рамку, третью, четвёртую – то же самое: зловещих бугорков, как на болоте кочек! Колупнул стамеской дозревающую ячейку, вытащил оттуда мохнатое тельце трутня и понял, что улей мой обречён. И это всего за пару недель перед основным взятком! Что делать? Что предпринимать в такой аховой ситуации?

Здесь надо упомянуть о том, что на тачке кроме моих шести ульев, возвышалось ещё до полутора десятков хозяйских, а именно, моего доброго друга и старшего товарища Василия Николаевича и пяток его соседа по ограде. Я же со своими квартировал на задворках его огорода, поскольку моя усадьба располагалась на другом краю посёлка, между железной и автомобильной дорогами, что для пчёл крайне нежелательно: мало того, что они зачастую сбиваются с курса, да ещё и пыль, густо замешанная на вредных выбросах, так травит самозабвенных тружениц, что они быстро изнашиваются и погибают. Я уж не говорю о качестве получаемого мёда. А в ограде у Василия Николаевича благодать: прямо за забором раскинулся пёстро-зелёный цветочный лужок, дальше речка, за которой, щедро заросшие акацией, крушиной и прочими медоносными растениями, горы. Так вот, обнаружив в одной из самых сильных своих семей такую аварию, я бросился расспрашивать всех знакомых пасечников, и прежде всего Василия Николаевича: что же мне делать? Какими средствами оздоровить попавший в нехорошую переделку улей?

Мужики лишь пожимали плечами, разводили руками, и самое лучшее, что смогли мне посоветовать, так это – вынести улей на середину тачка и стряхнуть с заражённых рамок всех пчёл. Пускай, дескать, разлетаются, ищут себе новое пристанище и жильё в здоровых ульях, а что касается матки-трутовки и её приближённых пчёлок-паразитов, так они уже потеряли способность летать, им останется только поползать какое-то время возле развороченного улья, чтобы затем справедливо стать заслуженной добычей вездесущих муравьёв. А мёд из рамок, – добавляли мужики, – откачай. Что продашь, а что с чайком отшвыркаешь. Однако не такой уж я сладкоежка, чтобы так запросто, без боя сдавать целый улей, пускай и за самовар чая! Походил по тачку, поразмышлял и удумал одну любопытную вещицу.

Мысль оказалась простая, но стоящая, и как только мои знакомые опытные пчеловоды не додумались до неё! Я подготовил запасной корпус, тщательно выскоблил его стамеской, обжёг внутренние углы паяльной лампой, извлёк из других моих ульев несколько рамок с запечатанным расплодом и свежим, поблескивающим в ячейках мёдом, отыскал рамку с оттянутым дозревающим маточником, в общем, сформировал новый улей. Правда, пока без пчёл. Приготовленный улей с открытым летком принёс на тачок и опустил на травку-муравку рядышком с пропащим корпусом. Затем, не торопясь, закрыл у пропащего леток задвижкой и поменял ульи местами: свежий поставил на колышки, а старый обхватил руками и унёс через калитку подальше на лужок. Там аккуратно снял крышку и приступил к извлечению и стряхиванию встревоженных пчёл с рамок на цветы.

Что тут началось! Возмущённые труженицы светло-коричневыми жужжащими фонтанчиками, похожими на миниатюрные смерчи, со всех сторон окружили меня, однако, пошумев некоторое время, смерчи эти красиво вытягивались в воздухе по направлению к нашей пасеке и дружно исчезали. И я очень надеялся, что они, гонимые инстинктом и привычкой, летели сейчас не куда-нибудь в чужие корпуса, а приводить в порядок и обживать свой обновлённый дом. Через четверть часа лужок опустел, лишь из высокой травы выглядывал уголок покинутого корпуса с прислонённой к нему крашеной жестяной крышкой, да на притоптанном пятачке копошились десятка полтора трутней, и по ним растерянно ползала продолговатая, разучившаяся летать, матка-трутовка.

Спустя неделю, при осмотре восстановленной пчелосемьи, на двух рамках, извлечённых из середины улья, на дне ячеек я заметил крохотные тёмные точечки – личинки. Это означало, что молодая матка уже облеталась и приступила к работе – начала сеять расплод. Я улыбнулся, бережно водрузил на место крышку и отправился на тенистую веранду к Василию Николаевичу полакомиться чайком со свежим мёдом, только накануне откаченным нами из рамок с «горбатым расплодом».

ВЫ НЕ МОЙ КАПЕЛЬМЕЙСТЕР

По казарме гуляет лёгкий освежающий весенний ветерок – окна с двух противоположных сторон распахнуты настежь. Шевелятся вафельные полотенца на железных спинках в изголовье двухъярусных солдатских кроватей с никелированными дугами. Пол поблескивает и пахнет натёртой мастикой. Хорошо. Даже назойливые и злые мухи от этой классической чистоты и опрятности все повылетали прочь из окон через плац в овраг, ближе к пятидесятиметровому в длину, обрамлённому пирамидальными тополями, каменному общественно-бригадному белёному туалету с надписью аршинными красными буквами: «Дизентерия – болезнь грязных рук!».

На отрытом пространстве казармы, на расставленных дневальными в несколько рядов прикроватных табуретках сидят рядовые и ефрейторы нашей батареи; в первом ряду, как и полагается в армейском строю, расположились мы, сержанты. Надо заметить, что нас, младший командный состав ракетного дивизиона, на политзанятия собирают обычно отдельно от рядовых – при штабе, в Красном уголке, но сегодня особенный день – начало весенней проверки. Инспектировать и экзаменовать наши знания и боевую подготовку будут полковники и даже генерал из Среднеазиатского военного

округа, поэтому командир дивизиона отодвинул в сторону всяческие должностные расшаркивания и собрал всех воедино, чтобы отсюда после окончания политзанятий в две минуты уйти строем на стрельбище, поскольку именно нам оказана честь демонстрации отличной стрельбы из автоматов перед высокой окружной комиссией.

Политзанятия проводит сухощавый, с рыбьими глазами, лейтенант Мусорин, в среде офицеров слывущий мямлей и бесперспективным по службе, не гнушающийся наушничать на сослуживцев. Урок тянется вяло, лейтенант что-то невыразительно бубнит по книжке. Становится скучно, и, вспомнив, что у меня во внутреннем кармане гимнастёрки завалялся целковый, склоняю голову к сидящему рядом командиру отделения наводчиков сержанту Петру Немцеву с предложением выкроить после политзанятий минутку и в расположенной за казармой солдатской чайной потратить мой рубль на сладости, вроде глазурованных пряников. Так сказать, по пути на стрельбы подкрепиться, чтобы при сдаче нормативов не дрогнула рука. Мы улыбаемся. Это замечает оторвавший взгляд от книги лейтенант Мусорин, и громко, с вызовом бросает в нашу сторону.

– Я вижу – некоторым политика коммунистической партии и советского правительства по барабану, если они позволяют себе пренебрежительно относиться к таким серьёзным мероприятиям как политзанятия! Вы какой пример дисциплины подаёте своим подчинённым, разговаривая, когда старший по званию тут распинается перед вами?

Я и не думал, что мой тихий шепот кому-то мог помешать, вероятнее всего никто, кроме Мусорина, на нас и внимания-то не обратил, но коль вызов брошен, то получи товарищ лейтенант сдачу. Я и брякнул вслух, тоже с вызовом, да так неожиданно, что на секунду наступила гробовая тишина, и тут же все сидящие разразились хохотом.

– Я, товарищ лейтенант, не из вашего оркестра. И вы не мой капельмейстер!

Ещё и смех не стих, а лейтенант уже у кабинета командира батареи, что в коридоре, наискосок от нас. Через пару минут он возвращается и с победным видом приглашает меня проследовать за ним. В кабинете, мимо которого в обычные дни мы старались ходить чуть ли не на цыпочках и, затаив дыхание, сейчас находилось достаточно офицеров, и по их ледяным взорам я понял, что ничего хорошо меня здесь не ожидает.

– Ты что себе позволяешь, младший сержант? – грозным голосом рубанул суровый и всегда немногословный комбат Корягин, и крылья приплюснутого носа у него побелели, а у меня некстати мелькнула мысль: что вы все заладили сегодня – «позволяешь» да «позволяешь»! Ну, брякнул сдуру – кто бы и заметил, если б не ретивый лейтенант! Однако развить мысль не дали офицеры, дружно набросившиеся на меня с возбуждёнными криками, посыл которых сводился к угрозам, что, мол, этому зарвавшемуся сержантику гауптвахта уже не поможет, надо лейтенанту сейчас же составлять рапорт, мы-де все подпишемся и оформим распоясанного армейского дебошира в дисциплинарный батальон, ну, хотя бы на год. Я понимал, что все на нервах – весенняя проверка – но что уж такого я сделал, чтобы упекать меня в дисбат, в который попадать, как гласит солдатская молва, страшнее, чем на зону!

Комбат дал выговориться всем офицерам, зло зыркнул на меня, мельком глянул на свои командирские часы на запястье левой руки и жёстко бросил.

– Судьбу твою решим после стрельб. Иди пока, младший сержант, готовься к построению.

Весь пылающий, заскочил я в оружейную комнату, получил свой АКМ-47 с подсумками и выбежал на плац, где уже выстраивался в походную колонну наш дивизион.

На стрельбище я долго не задержался: вручили три катушки провода, полевой эбонитовый телефон в коробке с ремнём, дали в помощь рядового связиста из соседней батареи и отправили на самую дальнюю точку в скалистые сопки. Это была, как я понял, своеобразная репетиция будущего наказания, так как разматыванием катушек с телефонными проводами по уставу должны заниматься солдаты, а сержантам вменялась правильная организация и руководство всем этим процессом. И, конечно же, – это ни в какие ворота не лезло, когда командиру радиостанции приходилось сидеть где-то у чёрта на куличках, на пекле или раскалённом ветру, а то ещё и под колючим дождём, и следить, чтобы какой-нибудь задремавший в седле чабан не согнал с каменистых и щелястых склонов отару курчавых овечек к майской луговой траве на полосе огня, а то и прямо под пули. Делать всё, чтобы такого не происходило, полагалась, как правило, солдатам первогодкам, чтобы те глубже прочувствовали свинцовую прелесть «тягот и лишений воинской службы». Как бы там ни было, но минут через двадцать мы с помощником размотали и соединили между собой все три катушки, взобрались на указанную отметку с отличным круговым обзором, установили на плоском камне коробку с телефоном, прикрепили концы проводов на клеммы. Я перекинул через голову ремень своего автомата и положил оружие рядом с собой, затем крутанул рычажок и отрапортовал на КП – что «на участке №5 всё в порядке. Младший сержант такой-то приступил к наблюдению за вверенной местностью», и после дежурного ответа из трубки о том, что рапорт принят, отправил рядового назад, на стрельбище, а сам погрузился в невесёлые думки.

За полтора года службы я крепко усвоил, что мы все здесь лишь винтики и шестерёнки одной гигантской машины, часть из нас неукоснительно заменяется каждые полгода в дни призыва и увольнения в запас (солдаты и сержанты), а узловые и направляющие детали и компоненты этой машины переставляются и передвигаются внутри неё, всякая в течение двадцати пяти лет (офицеры). Так заведено издавна. И от слаженности и подчинённости всех упомянутых составных частей напрямую зависит жизнедеятельность этой циклопической машины, и если, не дай бог, где-то случится сбой, и хотя бы одна деталь или блок выйдут по каким-то причинам из строя, то и вся машина помчится вразнос. Словом, армия – это система. Порой доходящая до абсурда, недаром кто-то хоть и с долей иронии, но, в общем-то, верно подметил: здесь круглое – носят, а квадратное – катают. А что это так, я убедился почти сразу, на втором месяце службы, после прихода в подразделение из карантина.

Мы, молодые бойцы, назначенные старшиной уборщиками по казарме, натирали мастикой полы, выравнивали тумбочки и табуреты, поправляли подушки и отбивали стрелки специальными дощечками на заправленных кроватях. Работа кипела до тех пор, пока ближе к обеду из автопарка не вернулись солдаты второго года службы, называемые у нас подстарками, и не начали отвлекать молодых мелкими назойливыми просьбами, как говорится на суконном армейском языке «личного свойства и характера». Мы, кто неохотно, кто более ретиво, но подчинялись – курс молодого бойца трудно пройти заочно. И вот мне звучат две команды одновременно из разных углов

казармы от старослужащих рядовых Усенова и Байдельдинова. Один требует принести ему немедленно иголку, другому срочно понадобилась нитка. Я застопорился, где был, и резко бросил обоим:

– А не могли бы вы командовать по очереди? Я ж не могу разорваться на две части!

На свою беду я оказался ближе к более нервному плосколицему и угрястому Усенову. Тот ничего не говоря, шагнул ко мне и наотмашь ударил ладонью по щеке. И пощёчина-то так себе, но сработала реакция, я резко выбросил вперёд левый кулак, и вот уже Усенов, громко постанывая, сползает вниз по зелёным крашеным дужкам двухъярусной кровати на пол. Видя это, весь его призыв, находящийся в казарме, человек восемь, сбегается ко мне, и разъярённые подстарки пытаются взять меня в кольцо, чтобы, изловчившись, сбить с ног. А там – известное дело, что происходит дальше, вплоть до больничной койки. Однако я угрожающе размахиваю руками и никого за спину не пускаю, с боем отходя в угол. Парни всё больше злятся и пытаются пинками достать меня. Отбиваясь, краем глаза замечаю табурет, подхватываю его за ножку и перехожу в атаку. Ну что, мол, выкусили! Старослужащие как по команде отпрянули на безопасное расстояние, и оттуда давай мне угрожать:

– Всё, салага, – тебе не жить!

– Зашугаем!

– В нарядах сгноим!

Я тоже не отстаю:

– А погнали! С каждым из вас – один на один на кулаках – рожи-то пораскровавлю всем! – терять мне нечего, азарт драки полностью овладел мной, душа поднималась из руин – и теперь ей не до страхов, буду биться до конца, а там будь что будет!

– Из тебя, чё, ещё не все мамкины пирожки вылезли?

– Кому ты качаешь свои права? Запомни, пацан: здесь тебе – не гражданка!

– Рога-то быстро обломаем.

– А вы-то кто такие? – я вызывающе указал на чёрные погоны на плечах их гимнастёрок. – Рядовые. И я тоже рядовой. Тогда какого чёрта мне здесь приказываете: принеси то, сделай это...

– Тебе, что, сынок, сержанта подать? Захотел жить строго по уставу? Пожалуйста, – Байдельдинов замолк и поискал глазами по казарме. – Ну-ка, ты, сержант Русаков, давай-ка бегом сюда.

Мешковатый сержант Русаков, всего на призыв старше моего, командир отделения топографов, уже тут как тут и ждёт указаний, услужливо заглядывая в глаза старослужащим.

– Значит так, товарищ сержант, – видно, как Байдельдинов наслаждается своей властью. – С сегодняшнего дня можешь отложить все остальные дела – деды и подстарки шестой батареи тебе поручают ответственное задание: всё свободное время будешь заниматься индивидуально с этим борзым рядовым изучением устава внутренней службы. И, пожалуйста, сержант, обязательно теорию чередуй с практикой. Чтобы наш новобранец лучше усваивал все тонкости нашей армейской жизни. А мы, уж извини, будем тебя контролировать.

Подстарки весело захохотали. Улыбнулся и Русаков. Зато мне в ближайший месяц было не до улыбок. Всякую свободную минуту теперь я, вместо того, чтобы чиркнуть письмецо родителям или друзьям, должен был зубрить параграфы устава, да так, чтобы от зубов отскакивало, или до изне-

можения отбивать дощечками стрелки на плотных, с жёсткой шерстью, одеялах, либо чеканить шаг на расчерченном квадратами плацу. Проходящим мимо офицерам нашей батареи, интересующимся, что это мы тут делаем, сержант Русаков звонким голосов рапортовал: закрепляем на практике знание рядовым устава внутренней службы. Офицеры, как правило, в ответ хвалили сержанта за служебное рвение и, довольные, продолжали прерванный путь. За месяц я исхудал, ночами, кроме тезисов из устава, мне ничего не снилось, да и даже такие-то сны посещали редко, а чаще случалось так: только коснулся стриженой головой подушки, а уже гремит команда: «Батарея, подъём!». И вновь до отбоя крутись как белка в колесе. Старослужащие ходили по казарме, наблюдали, посмеивались. Наверное, ждали от меня покаяния, но, стиснув зубы, я молчал. Через месяц и сержант подустал бубнить мне одно и то же, да и подстаркам, скорее всего, надоело, они переключились на других молодых, а меня оставили в относительном покое. Одно хорошо – после случая с табуреткой, никто из дедов в батарее пальцем меня больше не тронул, значит, им тоже пошла на пользу та памятная драка.

Со дна долины, со стрельбища, в течение всего дня, преломляясь о выступы и иззубрины скал и рассыпаясь эхом, доносились сюда ко мне автоматные очереди. С наблюдательного пункта были отлично видны внизу то падающие, то вновь восстающие серые, в зелёном половодье степного разнотравья, мишени пулемётного гнезда, бегущего и стреляющего пехотинцев, а вот КП стрельбища закрывал, схожий с выгнутой спиной динозавра, каменистый склон. Зыбкий солнечный диск медленно опускался к выпуклому горизонту. Подёрнутые предзакатной дымкой, сопки остывали, давно уже остыл, успокоился и я. Правда, за весь день не прозвенело ни одного звонка, никто из начальства ни разу не поинтересовался – как тут, на самом отдалённом секрете, дела. В обед всё тот же связист прибежал с котелком каши, заправленной тушёнкой, и фляжкой подслащённого чая. На мой вопрос: ну, что там у вас со стрельбами, махнул неопределённо рукой – не знаю, мол, и вскоре, прихватив опростанную посуду, умчался обратно на КП.

Звонок загремел в ту минуту, когда я, утомлённый однообразием, прилёг на мелкий щебень, в изголовье облокотился на островок изумрудного, с распускающимися соцветьями, чабреца, подпёр кулаком щёку и, задрёмывая, начал терять связь с окружающим миром.

– Семёныч, как ты там? Всё в порядке у тебя? – хрипло раздалось в трубке. Я оторопел. Во-первых, от того, что заботливый голос принадлежал не кому иному, как нашему грозному комбату. И потом, прозвучавшее из его уст «Семёныч» было подобно грому среди ясного неба. Хотя всего через полгода службы ко мне обращались в дивизионе почти все именно так, но чтобы после утреннего разноса наш всегда суровый комбат вдруг резко переменил ко мне своё отношение, – это означало, что там внизу, на КП случилось нечто чрезвычайное.

– Так точно, товарищ капитан! За время моего дежурства никаких происшествий не произошло! – заучено отчеканил я в трубку.

– Сейчас тебя сменят. А ты давай, автомат в руки и бегом на КП!

И тотчас из-за скалы, с ядовито зелёным татарником у подножья, выскочил, как будто он там только и ждал команды, запыхавшийся всё тот же дневной связист, и сходу затараторил:

– Товарищ младший сержант, вас все заждались. Время к ужину. Ребята голодные. Все отстрелялись. Один вы остались не стрелявший. Мне приказали сказать, чтоб вы быстро прибыли на стрельбище. А мы с Тарасовым сами уберём телефон и смотаем катушки. Он работает...

Окончания фразы словоохотливого связиста я не расслышал, поскольку, что есть мочи уже нёсся по склону вниз. Из-за горы навстречу мне показалась слегка согнутая солдатская фигурка с бобиной катушки в левой руке. Кистью правой Тарасов энергично вращал рукоятку, наматывая провод перед собой. Мы поравнялись, я одобрительно кивнул бойцу и побежал дальше по гребню, выгадывая места, где почти не торчало из сухой земли острых камней.

Метров за тридцать перед КП сбавил бег и перешёл на скорый шаг, чтобы отдышаться и привести в порядок выбившуюся из-под ремня гимнастёрку и поправить съехавшую набок пилотку. Как-никак с минуты на минуту должен предстать пред грозными очами высокого начальства! А оно, в чём я убедился утром, разгильдяям спуску не даёт! Подавив усмешку, направился к командному пункту с обзорной вышкой, заполненной офицерами, многих из которых видел впервые. На подходе к открытым дверям меня перехватил Петро Немцев, сунул целых три письма от родных из дома и взволнованным голосом прошептал прямо в ухо:

– Это тебе почтарь просил передать. А главное в другом – всё стрельбище гудит: от того, как ты отстреляешься, зависит наша оценка. На *«хорошо»*, – и нам поставят проверяющие четвёрку, промажешь – всё, дивизиону – кранты, запорем весеннюю проверку. И тогда точно тебе дисбат светит, или на крайняк – дембель в новогоднюю ночь.

– Ты, Петро, больно-то не стращай! А то уже поджилки трясутся. Ты же знаешь, что стрелок я не ахти какой! – однако я чувствовал, как в груди закипает кураж, а мысли в голове яснеют, даже скорее, пульсирует одна единственная мысль, как перед дракой, – победить!

– Ну что, Семёныч, отдышался? – рядом, как из-под земли, вырос лейтенант Мусорин. Взгляд ласковый такой, почти отеческий, будто и не было кошмарной стычки поутру. – Ввожу в курс дела: оценка зависит...

– Да, товарищ лейтенант, я предупреждён – от моей стрельбы всем будет или очень хорошо, или шибко плохо. Так ведь?

Мусорин пожал плечами, снял фуражку и, достав из кармана носовой платок, протёр влажный лоб.

– Коль всё знаешь, идём получать патроны, и на огневой рубеж. Я буду контролировать стрельбу. Соберись, Семёныч, а то проверяющие злые.

Стрельба должна была вестись только из положения лёжа. На огневом рубеже я расположился поудобнее, передёрнул затвор и доложил стоящему сбоку Мусорину:

– Младший сержант такой-то к стрельбе готов!

– Короткими очередями – огонь!

Первым из густой травы поднялся жестяной пехотинец в круглой каске, в полный рост. Его я срезал двумя пулями. Почти сразу же чуть поодаль вырос и поехал параллельно огневому гнезду другой такой же силуэт. Но уехать далеко я ему не дал. Короткой очередью положил и его. А тут показался и пулемёт, мишень продольная, приземистая, широкая, зато, подумалось мне, и шансов сразить её больше. Что я и сделал в ту же секунду. Оставалось, как я подсчитал про себя, еще шесть патронов. Всё так же держа наизготовку автомат, доложил лейтенанту:

– Стрельбу закончил. Боезапас израсходован не полностью.

Слышу, Мусорин радостным фальцетом победно кричит поверх меня на КП.

– Товарищ комбат, что нам делать с оставшимися в магазине патронами?

– Пусть расстреливает!

И опять поднимались мишени, а я зло и поочерёдно клал их наземь, пока в рожке не кончились патроны. Это был мой неожиданный триумф. Я и представить не мог, что таким образом можно отвести свою душу. Первые минуты после возвращения с огневого рубежа всё происходило, как во сне. Выбежавшие с командного пункта офицеры наперебой поздравляли меня с отличной стрельбой, с тем, что я не подкачал боевых товарищей и проявил поистине солдатскую доблесть, чем резко повысил дивизионные показатели. Офицеры расступились, когда ко мне подбежал незнакомый чернявый майор, схватил мою правую руку и долго тряс её в своей, жарко приговаривая:

– Молодец! Какой ты, однако, сержант, молодец! Сейчас же дам распоряжение вашему комбату: пусть срочно пишет рапорт на твой отпуск! Заслужил! Ай, да молодец!

Сердце моё, хоть и с ноткой недоверия, но всё-таки радостно ёкнуло: а вдруг, да выгорит съездить домой! Повидаться с родителями и друзьями, сбегать в расцветающие горы за жарками. Встретить хорошую девчонку, а то до армии всё как-то не удавалось. Я и верил, и не верил своему счастью.

Между тем, возбуждённый майор также быстро исчез, как и появился, а я повернулся к так и не отходившему от меня Мусорину.

– Товарищ лейтенант, а кто такой этот майор?

– Это, Семёныч, большая шишка: заместитель командира нашей ракетной бригады по вооружению майор Селезнёв. Он многое может. Так что День Победы ты отметишь дома.

Пока мы становились в строй, чтобы отбыть в расположение части, я чувствовал себя именинником, настроение было приподнятым, кто только из ребят не поздравлял меня, сослуживцы горячо жали руки, кто-то из земляков даже просил уже передать приветы, заехать к их родным. Словом, было такое ощущение, будто я выхватил жар-птицу из огня и вмиг разбогател!

Червячок сомнения закрался в душу, когда мы прошагали пыльным большаком меж сопок и, колонна, миновав широкие ворота с часовым в пятнистой будке, втянулась в огороженный бетонным забором, с колючей проволокой поверху, оазис с одноэтажными казармами под пирамидальными тополями. Ещё при построении, комбат, перед тем, как дать батарее команду начать движение, встретился со мной взглядом и почему-то, как мне показалось, отвёл глаза. Я летал в облаках и тогда не придал этому никакого значения, а пройдя с километр, остыл, и в памяти всплыл холодный взгляд комбата. И понял я, не видать мне отпуска, как своих ушей. Эх, язык мой, неужто и вправду ты мне враг?

Дня три ещё теплилась надежда, что вот сейчас дневальный подбежит и обрадует: товарищ младший сержант, вас вызывает комбат! И закрутится предотпускная карусель с беготнёй, то в штаб, то на сборы в каптёрку, то в местный военторг за новыми шевронами и кокардами. Ан, нет. Кое-кто из ребят советовал где-нибудь у крыльца главного штаба подкараулить чернявого майора и как бы невзначай напомнить ему про пылкое его обещание, однако попрошайничать не в моём характере, да и через голову комбата это делать не хотелось: за полтора года службы воинскую иерархию я научился уважать. Так что в этот раз история с отпуском на родину сошла на нет. Но

буквально через неделю я вторично «прошляпил» – по словам начальника политотдела бригады полковника Понтуса – вожделенную поездку домой. Но всё по порядку.

Из цветущих кустов в палисаднике через распахнутые настежь окна лился мелодичный птичий гомон. Аккуратно заправив концы одеяла под матрас, и взбив ромбом подушку, я направился на улицу, где старшина Иван Пятов перед казармой строил наше подразделение на зарядку, на утреннюю пробежку. Я махнул рукой старшине, что, мол, с вами не побегу – нынче буду разминаться один, благо погода, хоть и солнечная, но пока не печёт, сгоняю на озеро, искупнусь. Рукотворный водоём располагался в полутора километрах южнее нашей части, и был обнесен выше пляжа вкруговую глухим забором; приподнятый над землёй на составленных кубами шлакоблоках, возвышался списанный кунг – будка дежурных. На ночь пляжные ворота на замок не запирались – до ближайшего гражданского населённого пункта топать да топать, да и дорога только через нашу часть; до первой кошары в бугрящейся каменными сопками степи чуть короче – 12 километров. Не знаю как офицерам, но вот солдатам это расстояние было хорошо известно: там по ночам приторговывали вином и водкой, и многие за два года службы, хоть разок, да посетили заветную чабанскую юрту.

По моим сведениям, озеро это придумал кто-то из прежних энергичных и находчивых комбригов, отыскав узкое место в обрывистой пойме степного арыка. Всего и надо-то было по переменке пригнать сюда пару дивизионов, чтобы бойцы кирками да лопатами округлили и немножко углубили подходящий овраг, затем ниже по склону сделать перемычку с выводной трубой-клапаном на дне, и запрудить арык. Говорят, даже рыбу пробовали запускать, да что-то не прижилась, или, может, предприимчивые солдаты в одну из кромешных ночей тайком протралили водоём, и обезрыбили его, но нельзя исключать и того, что немногочисленных подлещиков и окуньков выловили дежурившие здесь с апреля и до конца октября наряды, во главе с прапорщиками или лейтенантами.

Когда я подбегал к слегка приотворённым воротам, на моих ручных часах цифры показывали половину седьмого, значит, минут двадцать до прихода дневного наряда у меня есть. Можно не только искупнуться, но успею ещё и хорошенько обсохнуть, и чуток позагорать, – весело размышлял я, присев на тёплый песок и стягивая левый сапог. И надо ж было обернуться посмотреть, что там, в будке, находящейся за правым плечом от меня. Дверь в кунг широко распахнута, видно столик у окна, лежащая на боку табуретка. Что за беспорядок такой, совсем не по-офицерски... А это ещё что там за ступенями прикладной лестницы валяется под будкой? Солдатский вещмешок, что ли? Меня разбирало любопытство. В одном сапоге, пришлёпывая босой ступнёй по песочку, направился к будке, нагнулся, ощупал плотную материю мешка. Нечто, похожее на горлышки бутылок. Мелькнуло – уж не припрятал ли кто из сослуживцев пустую стеклотару, чтобы потом сдать на кошару, и, приплатив разницу, разжиться спиртным? Ухватив мешок за лямки, попробовал на вес – пустая тара намного легче. Развязал тесёмки, заглянул вовнутрь – и обомлел. Девять семисотграммовых бутылок первосортного «Акдама» с матовыми пластмассовыми пробками! Потрогал и, вздохнув, обратно завязал тесёмки: не мной кладено, не мне брать. Но купаться что-то расхотелось.

Я вернулся на пляж, намотал портянку, обулся, притопнул каблуком и

решил ещё пробежаться по степи. Выходя из ворот, заметил на дороге, метрах в пятидесяти перед собой, идущих сюда трёх военных. Наряд. Однако почему он какой-то необычный? Посредине всегда офицер в фуражке, вон и сейчас блеснула на солнце кокарда, да ведь и двое по бокам сегодня тоже не в пилотках, а в головных уборах с блестящими козырьками и высокими тульями. Идут и счастливо поблескивают на утреннем майском солнышке. Не ведая, что здесь их ожидает незаслуженный, но весьма приятный сюрприз. Так почему же всё-таки офицерский наряд? Да ведь всё проще пареной репы! На календаре воскресенье, – вспомнил я, а по выходным дежурить на озере дозволяется лишь нашим отцам-командирам, так как в эти дни отдохнуть на пляж приезжают свободные от службы офицеры со своими жёнами и детьми. И солдат, чтобы они не увидали чего лишнего, на озеро просто не пускают – ни в наряд, ни купаться. Что же мне-то делать теперь? Хозяева «Акдама» уже вряд ли успеют забрать свой вещмешок, попробуй только сунься – самоволку и пьянку сходу приляпают, да так, что и до дембеля не отмоешься, но и оставлять офицерам, которым этого добра хватает и дома, тоже не к лицу боевому сержанту. Мысленно попросив прощения у неизвестных мне хозяев «Акдама», вернулся к будке, и уже с вещмешком за плечами выскользнул из ворот, где свернув направо, вскоре уже плутал по кочкарнику и между разлапистых саксаулов, росших по обрыву вдоль сбегающего в лощину арыка.

Ближе к низине саксаул сменился колючими островками густого карагайника. Под буйно разросшимся кустом я и припрятал свою находку, предварительно слив одну бутылку в алюминиевую, в чехле, фляжку, перед этим выплеснув на суглинок хранящийся там чай. Средняя Азия, вечная жара и духота, редкие ручьи солоноваты – не напьёшься, да и во избежание дизентерии от употребления гнилой воды солдатам в обязательном порядке выдавались личные фляжки. С марта до ноября их носили на ремнях. Возле столовой неизменно полные стояли баки с кипячёной водой, закрашенной чайной заваркой. Вот и сгодилась, постоянно бьющая в поясницу, ёмкость. Бутылка вылилась в неё до капельки. Отбросив опустошённую тару подальше в кусты, я, напевая, заторопился в расположение бригады.

На асфальтовой дорожке, ведущей из спортивного городка к казармам, встретил двух сержантов-земляков из батареи управления Толика Елизарова и Шуру Мирошниченко. Остановились, разговорились о том, о сём. Выбрав минутку, я открепил фляжку с ремня и предложил ребятам отведать моего чайку. Те поначалу отмахнулись и похлопали ладошками по своим фляжкам: мол, этого пойла и у нас навалом.

– Навряд ли, братцы, – я хитро растянул губы в улыбке. – Ну, вы попробуйте сначала, а потом сравним – у кого вкуснее!

– Что ж, Семёныч, давай уж уважим тебя – отвинчивай крышку.

Первым отхлебнул Шура, глаза у него изумлённо полезли наверх, он сглотнул, но вида не подал, и протянул фляжку другу.

– Ничего вроде чаёк. Оцени, Анатолий.

Елизаров нехотя отхлебнул и от неожиданности поперхнулся. Я участливо похлопал его по гимнастёрке на спине.

– Видишь, как пробрало с моего знатного чайку.

– Ну и шутки у тебя, Семёныч! – откашлявшийся Толик покачал коротко стриженой, посаженой на крепкую шею, головой. – Однако я не прочь ещё отведать этого божественного напитка.

– Стоп, ребята, – потерпите до отбоя. Ваша закуска, выпивка за мной.

Встречаемся вон у той беседки, оттуда легче незамеченными спуститься в овраг. Там я давно уж присмотрел тихий уголок, из которого ты видишь всех, а тебя никто. Так что до вечернего достархана, мужики.

Весёлые, мы разошлись по своим казармам. В течение дня о своей нечаянной находке я сообщил ещё двум землякам, пригласил и старшину Пятова. Гулять, так гулять.

Пиршество под тёмным, бархатистым небом, с жёлтыми звёздами, и выглянувшей, как по заказу, яркой полной луной, мы устроили замечательное. Перед каждым из пирующих стояли, как минимум, две вскрытых банки тушёнки, лежало по буханке белого пшеничного хлеба, на газетке в россыпь бугрились зелёные солёные помидоры, осыпавшимися пирамидками возвышалась аппетитная квашеная капуста, в котелках остывали куски варёного мяса, взятого у поваров в столовой. Ближе к центру этой скатерти-самобранки прямо в развёрнутых кульках поблёскивали глазурью пряники и посверкивали золотистой обёрткой конфеты, купленные ребятами днём в солдатской чайной. Пили из эмалированных кружек, кто сколько хотел. Песен не пели. Старшина затянул было про дикие степи Забайкалья, но его нетвёрдыми голосами резонно оборвали: мы, мол, здесь как в тылу противника, обнаружат – пощады не жди! Иван успел согласно кивнуть лобастой головой, прежде чем уронить её на широкую свою грудь. Расходились ближе к полночи, старшину вели под руки, остальные передвигались, пусть и не строевым, но всё-таки военным шагом, наверное, поэтому никто ни разу и в кусты не спикировал.

Спать меня, в отличие от старшины, не тянуло, и я отправился в соседнее крыло казармы, в пятую батарею, пошушукаться с земляками. Проходя мимо дневального у тумбочки, предупредил того, чтобы, если вдруг зайдёт дежурный по части, рядовой оповестил меня, громко крикнув: «Дивизион, смирно! Дежурный – на выход!». Он кивнул, хотя знал, что ночью, когда казарма спит, вслух команды подавать уставом запрещено.

И вот сидим мы на кровати в уголке, тихо беседуем, вспоминаем дом, строим планы на после армейское будущее. Из открытых окон несет ночной свежестью. И вдруг: «Дивизион, смирно!». Я щучкой в окно, приземляюсь на толстые узлы тополиных корней, заворачиваю за угол, расстегиваю верхние пуговицы на гимнастёрке, и, стараясь идти ровнее, направляюсь к парадному входу в казарму. На крыльце меня встречает капитан с красной повязкой дежурного по части на рукаве. Я пытаюсь козырнуть и прошмыгнуть мимо него.

– Товарищ сержант, остановитесь! Вы откуда?

– Не видно, что ли? В туалет ходил.

– А ну, дыхните?

Я понял, что спалился, и потому, ухмыльнувшись, обрезал:

– Я дыхну, товарищ капитан, – ты упадёшь.

– Ну что ж, тогда следуй за мной на гауптвахту.

Снаружи холодно лязгнул засов, высокая, обитая железом, дверь со скрипом отворилась и в камеру зашли два молодцеватых старших лейтенанта. Как я догадался, происходит смена караула. У одного в руках раскрытый журнал. Вот он проводит указательным пальцем по расчерченной и исписанной странице и громко объявляет:

– Этот младший сержант арестован за пьяный дебош в казарме. Доставлен ночью. Срок отбывания наказания пять суток.

Бравый старлей оборачивается к раскрытой двери.

– Рядовой Курсиков, ко мне! Убрать и пристегнуть на замок нары.

И офицеры, вежливо уступая друг другу дорогу, покинули камеру. У зашедшего следом знакомого караульного из второго дивизиона, пока он на день крепил к стене откидные нары, я успел спросить: кто ещё со мной залетел на губу? Ответ был: никто. Старшину, мол, хотели забрать, да не смогли поднять с постели. Я облегчённо вздохнул: так-то лучше. И стал ждать, что будет дальше. Ещё раз оглядел своё узилище. Продолговатое, метров шесть в длину, помещение, крашеные в серый цвет, сыроватые стены, с прикрученными четырьмя откидными нарами, одинокая тусклая лампочка, на полосатом, пыльном шнуре свисающая с недосягаемого, плохо пробелённого потолка, на дальней торцовой стене, под самым верхом, узкая створка зарешёченного, лет сто не мытого оконца. Зато полы мрачно отблескивают свежей тёмно-коричневой краской.

До обеда судьбой моей никто не интересовался. Однако, начиная с полдня, железный засов только и успевал лязгать, впуская в камеру и выпуская в коридор разнокалиберные армейские чины. Я стал популярен, наверное, даже больше, чем неделю назад после успешных стрельб. А всё объяснялось просто. Весенняя проверка ракетной бригады продолжалась. И надо же было одному настырному подполковнику из округа раненько с утра приняться за исследование, изрытых оврагами, окрестностей. Чем выше должность, тем нос длинней. Донюхался он и до нашего вчерашнего логова. Пустые, разбросанные бутылки, куски подсохшего хлеба, надкушенные солёные помидоры, эмалированные кружки с недопитым вином так впечатлили проверяющего, что спустя десять минут об этом вопиющем случае знал заместитель командующего округа по ракетным войскам и артиллерии в Алма-Ате.

– Рассказывай, арестованный, – с нажимом на втором слове ко мне обратился замполит с любопытной фамилией Дуля, невысокий, темноволосый и дотошный хохол. – Кто тебе дал право позорить наш боевой дивизион? С кем и по какому поводу так нажрался? На вот – пиши. И чтобы всех перечислил, каждого по фамилии, – замполит небрежно передал мне чистый листок бумаги и шариковую ручку. – Чтоб через десять минут всё было готово!

– А где прикажете писать – на неровном полу? Сами ж видите, ни стола, ни табурета, нары, и те намертво пристёгнуты к стене. Вы ведь потом мои каракули ни за что не разберёте.

– Я распоряжусь выдать тебе табурет на время твоей исповеди, – замполит зло усмехнулся и покинул камеру.

Хватило страницы, чтобы изложить весь вчерашний день вплоть до полуночного моего задержания. Здесь же и приписал, что проклятое вино мы распили вдвоём со старшиной. Вернувшийся замполит бегло прочёл и молча начал сверлить меня своими карими, безжалостными глазами. Наверняка кто-то и когда-то ему сказал, что таким образом можно, если и не испепелить врага, то хотя бы загнать того под стол. Взгляда я не отводил, наблюдая, как медленно наливаются кровью бешеные глаза замполита. Наконец его прорвало.

– Да я тебя сгною в этой камере! Сейчас же прикажу, чтоб тебе запретили не то что прогулку, но и в туалет не пойдёшь, пока не напишешь настоящих признательных показаний! Восемь бутылок вдвоём никому не одолеть! Выкладывай всё и про всех!

Я пожал плечами.

– Хотите – верьте, хотите – нет, а пили мы вдвоём. И не надо меня туалетом пугать – буду справлять нужду у дверей, а сам отходить в другой угол, поближе к окошку. Благо – камера-то большая, не задохнусь.

Испитое по щекам мелкими оспинками лицо замполита стало багровым, он сжал кулаки и, захлопнув со скрежетом массивную дверь, выскочил в коридор. А я остался ждать очередных посетителей-разоблачителей. С перерывом примерно в полчаса в камеру, ну точно как в зверинец, перезаглядывало почти всё дивизионное и кое-какое бригадное начальство. Караульные недоумевали – чем же особенным я их приманиваю? А часов в пять вечера наведался начальник штаба нашего дивизиона майор Батурин. Этого офицера я уважал, считая, – впрочем, и не я один – его образцом истинного военного. Рассказывали, что в Великую Отечественную войну он, лет шести от роду, попал в застенки гестапо вместе с отцом, сподвижником известного белорусского партизана Константина Заслонова. Отца, после зверских пыток, фашисты повесили, а мальчугану каким-то образом удалось спастись. Поджарый сорокалетний майор всегда был подтянут, гладко выбрит, яловые сапоги и на учениях в пыли чисто блестели, на отглаженном кителе ни пушинки. Взгляд острый, проницательный. Сам немногословен, утренний развод проводил в пять минут, дисциплину и уважение к старшим по званию чтил. Даже внешне выглядел всегда суровым и сосредоточенным. Дивизионные деды, и те его побаивались.

Не далее, как в марте случилась одна история, после которой солдаты его ещё больше полюбили. Упомянутый выше Русаков, к этому времени уже старший сержант, и по армейской терминологии почти гражданский – до дембеля всего-то два, с небольшим, месяца, человек, кстати, женатый, свесив голову, понуро шёл по плацу от КП в сторону казармы. Навстречу Батурин. Русаков не отдал майору честь, не козырнул. Тот разгневанным голосом остановил разболтанного старшего сержанта:

– Что за детский сад? Кто мне будет честь отдавать?

– Простите, товарищ майор! Задумался.

Батурин внимательно посмотрел потерянному Русакову в глаза.

– Рассказывайте, что у вас стряслось, товарищ старший сержант?

– Я был в увольнении в Сары-Озеке, на переговорах с домом, старший брат звонил. Жена моя, говорит, загуляла. Дочу Катю, малышку жалко. Вот и задумался я.

– Так. Времени два часа на сборы – и к штабу. Я распоряжусь насчёт десятидневного отпуска.

История тогда закончилась благополучно. Русаков съездил домой, разобрался, там больше сплетен было, чем правды, словом, семья сохранилась.

Скажу честно, пусть я и махнул на всё рукой, но смотреть в глаза зашедшему майору мне было совестно. Однако и отводить глаз я за свою двадцатилетнюю жизнь так и не научился. Поэтому, хоть и виновато, но прямо посмотрел Батурину в его мужественное лицо.

– Излагайте всё по порядку, младший сержант. Я слушаю, – голос майора был сух и бесстрастен.

Так же ровно, без каких-либо эмоций прозвучал и мой уже заученный наизусть ответ. Нашёл на озере вещмешок с вином, тайком пронёс на территорию части, впервые за полтора года захотелось расслабиться, вечером со старшиной напились.

– Напомни, сколько бутылок выпили?

– Восемь, товарищ майор.

– Да вы что – лошади что ли? Такое количество одолеть!

– Закуска хорошая была. Сытная.

Майор внимательно посмотрел мне прямо в глаза. И я прочитал в его суровом взгляде, где-то по второму плану, нечто, схожее с одобрением. И только когда он, усмехнувшись напоследок, покинул мою камеру, я до конца понял этот взгляд. Натворил ты дел, сержант, выше крыши. Сгорел дотла. Попался – отвечай! А вот что товарищей не сдаёшь – молодец! Это невысказанное вслух понимание для меня дорогого стоило.

Следующим визитёром в моё узилище оказался сам начальник политотдела бригады, полковник Понтус. По слухам, к нам его перевели из дисбата, где он, опять же по слухам, лютовал по-страшному. Блестящая лысина, хрящеватые уши, серые, навыкате, глаза, тяжёлый подбородок, толстая, в жировых складках, шея – персонаж ещё тот! Он и здесь поначалу пробовал установить свои порядки, но комбриг, полковник Мартиросов жёстко осадил: тюремные замашки забудьте – бригада у нас передовая, образцовая, боевые задачи выполняем на отлично. Молодёжь к нам приходит не глупая, в основном со средне-техническим, а то и высшим образованием. Ваше дело – повышение сознательности у бойцов, или как там у вас! Вот и повышайте, но гуманными методами. И полковник несколько утих.

И опять я, как попугай, пересказывал всё, что со мной произошло. Понтус внимательно слушал и ласково, даже больше того – сочувственно, смотрел на меня.

– Лучше бы ты, гражданин, то есть, товарищ младший сержант, обнаруженный вещмешок с бутылками сразу же принёс в штаб, ко мне в кабинет, и я даю слово офицера – уже вечером того же дня, не позже, ты бы уехал в отпуск. Ты хоть понимаешь, какую возможность побывать дома ты прошляпил!?

Стоя навытяжку перед словоохотливым полковником, я обречённо и согласно кивал стриженой головой, и в висках крохотными молоточками постукивало: вот и съездил парень в отпуск, да не раз, а целых – два! А во рту не станет слаще, хоть сто раз скажи халва. Ну, в общем, всё для меня, пропащего, было понятно.

За оставшиеся полгода службы отпусков мне больше ни разу не сулили. Разобраться, оно и к лучшему. Зато уволился я в первую партию. Но это уже совсем другой рассказ.

P.S. После освобождения с гауптвахты гоняли мы чаи со старшиной в его каптёрке. Он между делом и поведал – откуда завалялись под кунгом бутылки с вином, и о том, кто же сдал меня дежурному по части. На кошару за спиртным посылали москвичей-новобранцев из карантина два образцово-показательных сержанта из батареи управления бригадой. Столичные-то недотёпы сами и додумались до времени спрятать вещмешок, а места надёжней, чем будка дневальных, не нашли. Вино же приобреталось на деньги других новобранцев, призванных из солнечной Грузии, по разговорам, у тех червонцев не меряно, будто бы родичи снабжали их приличными суммами на подкуп и откуп от непредвиденных армейских притеснений.

– Так что, Семёныч, не переживай. Получилось, что мы буржуев пощипали. Сержанты, узнав про нас, даже и не вякнули, они до конца карантина

ещё надоят своего, – Пятов отпил цейлонского ароматного чая и продолжил: – А заложил нас бывший каптёрщик из пятой батареи Дрыкин. Ты же в курсе, что он остался на сверхсрочную. Оказывается, до отъезда в школу прапорщиков он решил перекантоваться в своей каптёрке, ну, в той самой, где генерал из округа зимой отыскал у него среди противогазов кружки с засохшим вином. Так вот, этот Дрыкин ночью услышал тебя, потихоньку слинял в штаб. И колесо завертелось. Давай, чайку подолью горячего, да налегай на карамельки. Бают, глюкоза для мозга полезна, а то на губе ты больно отощал...

ГУРТОПРАВ

Вот и в нынешнюю весну наладился я перегонять скот из деревни Весёлая в горы, на летнее стойбище. Гнали по обыкновению голов двадцать-двадцать пять. Мой друг, зачинщик всего этого мероприятия, заранее сговаривался с теми жителями окрестных посёлков и деревень, кто соглашался за определённую плату отдавать на выпас свой домашний скот: тёлок, бычков, нетелей. В назначенный день на поляне, выше ограды Александрова двора, собирали скотину. Живущие неподалёку приводили её на веревках, привязывали у тына; из отдалённых деревень быков и тёлок подвозили, как правило, на бортовых ЗИЛках. По приезду пробрасывали настил из сколоченных между собой неотёсанных толстых досок от плоского пригорка на борт и осторожно сводили упирающихся животных на землю.

Кроме помощи другу, в этой затее меня привлекала еще и редкая в наше время возможность провести почти двое суток в седле: расстояние до отгона около сорока километров, пешком сопровождать не обвыкшийся друг к дружке скот не только затруднительно, а и просто невыполнимо. Попробуй-ка, побегай по крутым склонам и непролазным чащобам за своевольными быками и недисциплинированными тёлками! Здесь и верхом-то почти ежеминутно приходится пришпоривать лошадь, нагоняя норовящих пойти своим особенным путём рогатых пилигримов, а уж на своих двоих носиться за ними – никаких ног не хватит!

Утром, выбрав время, Александр отвёз меня на своей «Ниве» в деревню Тарханку, что вольготно раскинула дворы на каменистом берегу Ульбы, километрах в семи от Весёлой на пути предстоящего перегона, чтобы там пересадить меня на коня. Лошадь мне досталась, как и в минувшем году, Чернушка. Эта стройная лошадка была вынослива, легка в ходу, но при этом обладала и своеобразными особенностями. Она могла запросто, если седок замешкался, завалиться набок, и тут уж успевай выпрастывать сапог из стремени, прежде чем кубарем скатишься в весеннее благоухающее разнотравье!

В прошлом же году у меня с ней приключилась история, о которой стоит здесь упомянуть. Тогда мы едва сформировали стадо и только выгнали его на поляну за мост, как одна тёлка месяцев трёх так заартачилась, что совладать с её дурью не могли и опытные табунщики. Мало того, что она как ужаленная носилась по лугу, так еще и сломя голову рухнула с обрыва к реке; как-то обошлось, что не переломала свои мохнатые копыта, и по быстрой шивере устремилась к середине Ульбы, где бы её точно перемяло до смерти в бурном потоке. Александр вовремя направил своего Серка наперерез и завернул обе-

зумевшую скотинку к берегу. Там он спешился, взял обессилевшую тёлку на руки и вынес на лужок. Мокрая шерсть её мелко подрагивала, большие сливовые глаза налились кровью. Гурт наладился в дорогу, поникшая и смирившаяся тёлочка поплелась в хвосте, где бодро вышагивали полуторамесячные сосунки.

Дотемна мы успели догнать скот до заброшенной пасеки у Обдерихинских гор. Уже в потёмках поужинали и привалились кто где, подремать. С первым светом, наскоро перекусив, мы снова в седле. И здесь-то началось нечто неожиданное. Своенравная тёлка принялась уросить. Но бегать сил не было, тогда она просто ложилась посреди дороги, и не сдвинуть. На руках её 30 вёрст тоже не пронесёшь. Промаялись с ней, часа два потеряли, она в конце вообще легла под распустившимся кустом шиповника. Там её и решено было оставить. Места безлюдные, сама теперь далёко не уйдёт, опасения, что какой шалый медведь наткнётся на тёлку, нами вслух не проговаривались. Приметили место, а скот погнали дальше. В урочище Пихтовка мы разделились. Александр направил меня напрямки через Худяков отрог по старой крутой тропе на своё поселье, чтобы я наказал одному из его работников запрячь арбу и ехать навстречу гурту – с тёлкой надо было что-то делать. А сами они продолжили путь с подуставшим скотом в распадок Матющиха в обход белка.

Я перевалил верхом через отрог и через час уже передавал на поселье Легоново просьбу Александра расторопному работнику Володе. Спустя десять минут он, погромыхивая на кочках, исчез на арбе за поворотом. На поселье остались я со своей Чернушкой, седобородый работник Юрий Иванович, в очках с толстыми линзами, да пасущийся на лугу у изгиба таёжной речки Сержихи спутанный жеребец Гром. Еще в Тарханке хозяин Чернушки предупреждал меня, что двухгодовалая дочь его кобылицы тоже на Александровом отгоне, только заведёна туда раньше, еще по снегу, в конце апреля. Жеребушки пока не наблюдалось, и это меня радовало – не надо было лишний раз спешиваться, чтобы ловить и вести в загон точно бы увязавшуюся за мамкой молодую лошадку. Только радость моя оказалась преждевременной.

Видимо, учуяв материнский запах, из тайги галопом примчалась резвая и статная кобылка, и сходу, не обращая ни малейшего внимания на седока в седле, принялась ласкаться к Чернушке. Кобыла отвечала довольным пофыркиваньем и поминутно облизывала шершавым языком счастливые глаза и породистую шею дочери. В другой раз я бы обязательно растрогался, расседлал лошадь, и пускай себе пасутся обе вместе, да хоть всю ночь! Но сейчас мне необходимо было ехать навстречу гурту, чтобы там передать Чернушку на руки Александру, а самому пешком идти через плато Гладкое домой, в посёлок. Моя часть похода так и была обговорена. Пришлось спешиться, привязать кобылу накрепко к коновязи, и мы вдвоём с подслеповатым Юрием Ивановичем принялись заталкивать возбуждённую жеребку в огороженный жердями пригон. Не с первого раза, но это у нас получилось, и я, не мешкая, взобрался в седло и дал Чернушке хорошего шенкеля! Однако припоздал.

С луга, вероятно учуяв кобылицу, уже вовсю грёб, высоко выбрасывая в траве перед собой мощные передние спутанные ноги, жеребец Гром. То-то более опытные ребята еще на переходе высказывали опасения, что, мол, у Чернушки вроде как признаки течки, да, дескать, хорошо, что поблизости нет табунов, а своих жеребцов, мы, если что, вмиг обломаем. Намереваясь

избежать встречи с разохотившимся жеребцом, я направил Чернушку к утёсу, густо заросшему сплетённой акацией, чтобы по осыпавшейся тропинке понизу проскочить на скрытый утёсом лужок, а там и до спасительного сосняка рукой подать. Но жеребец разгадал мою уловку и прямо через заболоченный овраг ломанулся нам наперерез. Мы пронеслись перед самым носом выгребающего из оврага Грома и ринулись через кусты на лужок. Надо отдать должное Чернушке: она ни разу не споткнулась и вынесла меня на поляну. Но и спутанный жеребец не дремал. Уже через несколько секунд он был у нас на хвосте, и мало того, пристраивался к кобыле, вскидывая свои мощные передние ноги. И не беда, что они были стянуты прочными путами – пританцовывая от страсти, выбрасывая из-под копыт комки и ошмётки дёрна, Гром вставал на дыбы и молотил ногами воздух. Раза два эти копыта со свистом пролетали у меня над головой. Но, должно быть, кобылица еще не дозрела, или же ей был не по душе нахрап ухажёра, она искусно маневрировала, стараясь не попасть в объятия распалённого жеребца. А у меня в руке ни бича, ни кола, ни малой хворостинки, чтобы хлестануть Грома по налитым кровью глазам!

Не раздумывая, я выдернул левый сапог из стремени, завернул лошадь поперёк хода жеребца и, метя кованым каблуком тому в забрызганную пеной морду, резко выпрямил ногу. Удар пришёлся вскользь по лбу и ворсистому уху, жеребец непроизвольно шарахнулся в сторону, этого нам хватило, чтобы нырнуть в молодой сосняк, и, оцарапавшись о нижние сухие ветки, выбраться на тропинку, петляющую меж сосен к скалистому притору. Жеребец не рискнул лезть в дебри, а решил обежать сосняк низом понад речкой и встретить нас на выходе из бора. Мне этого только и надо было: развернув Чернушку, я вернулся назад на лужок, где мы быстро спустились к руслу Сержихи, перебрели её, по обрывистому берегу поднялись в ивняк и скрылись в таёжной чаще. Пока Гром нас хватился, мы были уже в недосягаемости его чутких ноздрей, да и весенний ветерок дул с горы в нашу сторону, что исключало саму возможность жеребцу уловить призывный запах кобылицы.

Сейчас, вспомнив о наших прошлогодних приключениях, я наклонился в седле вперёд, потрепал Чернушке гриву и похлопал её по шее. Лошадь настороженно спряла ушами, но поняв, что это всего лишь ласка седока, расслабилась и довольная затрусила дальше по деревне. На выезде из Тарханки, за мостом, мы свернули с дороги на зелёный, поблескивающий на солнце, луг, чтобы здесь дождаться гурта. Я спешился, перекинул уздечку через голову лошади – держать конец в руках, дабы она случайно не взбрыкнула и не сбежала от меня.

С полчаса всё протекало замечательно: Чернушка, наклоняясь, обрывала подвижными влажными губами сочные побеги лопухов, осота, вязеля и аппетитно их хрумкала, побрякивая удилами и поминутно переходя с места на место; я, то ослабляя, то подтягивая повод, любовался цветущими окрестностями. Но вот послышались щелчки и удары бичей, нестройное мычание бычков, и, пыля, на мост из-за поворота выкатился табун. Значит, надо и мне в седло. Я подобрал ослабленную уздечку с намерением перекинуть её обратно через уши и гриву к седлу, и в это мгновенье произошло то, чего уж я никак не ожидал. Чернушка рванулась назад, встала на дыбы и обрушила на меня свои передние копыта. Как же я позабыл про то, о чём не раз предупреждал хозяин лошади – она любит бить исподтишка спереди! Удар правого копыта пришёлся в левый висок, но получился

смазанным – сработала реакция, и в последний миг я успел уклонить голову от прямого попадания, что, в общем-то, и спасло меня. Левым копытом Чернушка достала меня по печёнке, однако я устоял на ногах, но вот уздечку выронил из рук. Лошадь отбежала и, как ни в чём не бывало, принялась опять уминать свежие побеги травы. Я был взбешён. Мой лоб горел, чувствовалось, что под глазом наплывает синяк.

Подъехали ребята и помогли мне отловить Чернушку. Пока Александр туго держал её под уздцы, я взобрался в седло, намотал на одну руку повод, а кулаком другой – Александр уже вернулся к Серку – начал от души охаживать свою обидчицу по загривку, поскольку знал, что наказывать провинившееся животное необходимо сразу, по горячим следам, а если вспомнишь через день-два и станешь дубиной учить его жизни, приговаривая: «а ты не забыл, как вчера лягнул или там, укусил меня...», то это ничего, кроме досады и злобного раздражения у наказуемого не вызовет. Поскольку причина хозяйской немилости им давно забыта! Как говорится: дорога ложка к обеду. Несколько вразумив тумаками лошадь, дал ей каблуками под пах и понёсся галопом вкруговую по лугу. Минут через двадцать Чернушка взмокла, серо-жёлтая пена загрязнела на шее ниже разметавшейся гривы, тогда я сбавил бег, и мы, перейдя на рысь, подскакали к наблюдавшим за нами всё это время гуртовщикам. На их замечание: что ты, мол, Юра, чересчур сурово обошёлся с лошадью, уже успокоившийся, я резонно ответил, что мне на этой кобылице ехать еще два дня, а ждать, какой очередной фортель она выкинет или в какой обрыв меня сбросит, я не намерен. Мужики согласно покивали головами и мы, согнав телят в походное стадо, продолжили свой путь в горы.

Александр определил мне место впереди – гуртоправом. Мы с Чернушкой стали направляющими, остальные гуртовщики рассеялись по бокам и сзади пылящих по просёлку телят, образуя собой крепкую и надёжную подкову.

Следующие полтора суток вплоть до прибытия на поселье обошлись у нас без каких-либо приключений.

«ПРЕДАТЕЛЬ» ФУНТИК

Что-то в подвижном, молодом коте было от сиамской породы, то ли серо-желтоватый, по гибкой и продолговатой спине, окрас, то ли выразительные светло-голубые глаза. При первой встрече, когда он еще котёнком крутился у нас под ногами, а я пришёл в гости к старшей дочери повозиться с внуками, я отнёсся к появлению в их семье, по моему предположению, этого непредсказуемого и опасного сиамца, крайне настороженно. Дети маленькие, вдруг уронят, не так заденут котёнка или случайно защемят его межкомнатной дверью, а сиамцы, как известно, мстительны и злопамятны, ожидать от них можно всего, поэтому я и стал настаивать, чтобы котёнка, пока он не вырос и к нему не привыкли, отнесли кому-нибудь из друзей, у кого ребятишки постарше, те при нападении хоть смогут увернуться от острых когтей сиамца, да и просто постоять за себя. Надо отдать должное дочери, она не вняла моим требованиям, лишь пожала плечами и сказала, что не чувствует в этом котёнке никакой угрозы. В следующее моё посещение дочь между делом пояснила, что заглядывала в интернет, отыскала там фотографии котов, похожих на Фунти-

ка (такую кличку дали котёнку), и оказалось, что он никакой не сиамец, а что-то в нём есть от одной старинной английской породы, «да и вообще, папа, после тогдашнего твоего ухода, я взяла пилочку и подпилила котёнку когти. Фунтик сначала сопротивлялся, а когда понял, что это не больно, успокоился и стал с интересом наблюдать, как я ухаживаю за его коготками». Словом, прижился котёнок в семье дочери, мало того, оказался таким добродушным и безобидным существом, каких еще поискать!

Однажды домовничаю с Глебом, моим четырёхлетним внуком, надоело ему слушать сказки, он начал ёрзать и капризничать. Тогда-то я и предложил ему поиграть в прятки, благо квартира трёхкомнатная, диван, кресла, столы, шифоньеры, места вволю, чтобы спрятаться ребенку. Глеб с радостью согласился и тут же, не успел я прикрыть глаза ладонями и начать счёт, убежал и растворился в домашних предметах. Я медленно досчитал до двадцати и отправился на поиски своего внука. Заглянул в спальню – нет его, прошёл в кухню, обследовал все закутки, включая и промежуток между газовой плитой и подоконником – тоже нет, вернулся назад в зал и оттуда направился в детскую. Там вроде тоже пусто, и я уже собрался уходить, однако в последнюю минуту обратил внимание на Фунтика. Кот сидел на ворсистом цветном коврике перед заправленной кроваткой и, видно было, что он, то ли ждёт кого-то, то ли охраняет. Я лёг на пол для того, чтобы посмотреть, кого там охраняет верный Фунтик, и, конечно же, увидел и «зачикал» забившегося в дальний подкроватный угол Глеба. И в другой раз, когда пришла очередь прятаться моему внуку, его опять выдал Фунтик. Теперь уж Глеб забрался в бельевой отдел просторного шифоньера и зарылся в сложенных стопкой цветастых простынях и пододеяльниках, да так это ловко у него получилось, что если бы не наводка кота, усевшегося напротив дверок и напряжённо поглядывающего в приоткрытую щелку бельевого отдела, я бы на поиски внука потратил значительно больше времени. Чтобы честно соблюдать все правила нашей игры, мне пришлось поделиться с Глебом своими мыслями о том, что Фунтик его выдаёт, и тем самым кот является вольно или невольно, но предателем. Однако у нас сейчас время не военное, когда предателей ссылают рабами на галеры, и поэтому мы ограничимся тем, что изолируем на период нашей игры кота куда-нибудь, ну, скажет, в ванную, запрём его там в темноте. Это и станет Фунтику не только заслуженным наказанием, но и уроком на будущее, чтобы впредь неповадно было выдавать своих друзей. Глеб не только бурно поддержал мою идею, но более того, сам поймал кота и запер его, жалобно мяукающего, в ванной.

После этого мы продолжили нашу игру в прятки. Опять «вадил» я. И снова мне надо было обследовать зал, взрослую и детскую спальни, кухню, прихожую. Но нигде внука моего я не нашёл. Поразмышляв вслух, где бы мог прятаться неуловимый Глеб, я начал обход квартиры по второму кругу. И вот в детской снова натыкаюсь на Фунтика, которому, видимо, как-то удалось приоткрыть дверь в ванной, может, лапку просунул, царапнул, да мохнатым плечиком надавил, она и подалась! Как бы то ни было, но кот сидел на коврике, только теперь у огромной плетёной корзины, набитой доверху разнокалиберными игрушками, что мягкими, тряпочными, что пластмассовыми и металлическими.

Так вот, Глеб изловчился свить себе маленькое гнёздышко среди пожарных и полицейских автомобилей, оседлал крышу автобуса и прикрылся сверху тремя растрёпанными куклами Ангелины, своей старшей сестры-

школьницы. Когда я его «зачикал», Глеб встал из игрушек и серьёзным голосом промолвил: «А плохо, дед, что у нас не военное время!». Я даже как-то растерялся: «Почему, внук?». «Мы тогда предателя Фунтика уж точно бы сослали на галеры!».

Мне стало жаль простодушного Фунтика, который из-за своей любви к Глебу мог потерять его дружбу, и поэтому нашу игру в прятки мы решили на время приостановить.

ЁЖИК ГЕОРГИЙ

Оставалось дослуживать три месяца, когда во время командно-штабных учений степной ёжик можно сказать сам прибежал в мои руки. Колонна наша встала по какой-то неведомой мне причине на пыльной дороге посреди барханов в полупустыне, я выбрался из кабины размять затёкшие ноги, успел пару раз присесть, а тут прямо из-под колёс ракетной установки, за которой по предписанию мы следовали, выкатывается серый колючий комок, и, пофыркивая, набегает на меня. То ли в глаза что-то попало ёжику, то ли случайно давануло его протектором колеса установки, но зверёк был шалый, и, скорее всего, потерявший всякую ориентацию. А то бы разве он торкнулся в мои запылённые кирзачи, да еще с лёту пытался бы взобраться по ним вверх на оттопыренное на коленках х/б. Я молниеносно сдёрнул со стриженой головы пилотку и поймал в неё, как в сачок, заполошного ушастого ёжика. Придерживая пальцами одной руки сомкнутые края пилотки, другой забарабанил в дверцу кунга, где у радиостанций дежурил ефрейтор Полетаев. Дверь резко распахнулась, я скомандовал ефрейтору опростать и подать мой вещмешок, и уже через минуту мешок этот подпрыгивал по обитому железом полу кунга.

Семь дней ёжик, обвыкая к человеку, прожил среди радиостанций на боевой машине, в гараже автопарка. Ответственным за кормёжку я назначил водителя, рязанского парня, рядового Топоркова, хотя и сам не чурался ловить ящериц – варанчиков на песчаном пустыре за казармами, а также соскабливать вечерами с фонарных столбов, обильно налипших на них мохнатых мотыльков с толстыми коленчатыми брюшками. Понемножку начал приучать ёжика и к тем продуктам, что прихватывал с собой из солдатской столовой: то кусочек варёного мяса, то ложку другую гречневой каши, то ломоть подсохшего хлеба. Через неделю перенёс гостинец пустыни в казарму, заранее обговорив со старшиной, где мне устроить своему колючему подопечному гнездо. Сошлись на сушилке. Заканчивался август, плавилась среднеазиатская жара, случалось так, что командование разрешало в воскресенье отдохнуть после обеда часок-другой, все окна настежь, однако духота не даёт заснуть, тогда берёшь простынь, идёшь в умывальник, намачиваешь, укутываешься ею с головой и погружаешься в сладкую влажную дрёму, но спустя полчаса простынь опять сухая. И снова надо тащиться в умывальник, чтобы подремать ещё хоть минут сорок. Также и портянки, подвёрнутые на ночь на голенища сапог, к утру высыхали до шороха. Поэтому-то и сушилка пустовала, и в неё редко кто заглядывал.

Сколотил я из дощечек глубокий ящик, на технической территории нашёл кусок стальной сетки, накрыл сверху новое жильё моего ёжика, и потекли красно-жёлтые осенние денёчки в ожидании скорого увольнения в запас. Сослуживцы одного со мной призыва начищали кокарды, бляхи на рем-

нях, сдували пыль с шевронов и погон с вензелями, в который уже раз разглаживали бахрому своих дембельских альбомов, а я всё возился с диковатым ёжиком, приручая и располагая того к себе. Имя своему питомцу я дал звучное – Георгий. Задумка у меня была: привести его домой, там подрастала племянница Лена. Когда уходил в армию, ей только исполнилось девять месяцев, теперь же она наверняка бегает вовсю. Вот это и будет подарок от родного дяди!

Промелькнула пара первых вольных суток в плацкартном вагоне скорого пассажирского поезда, и ранним ноябрьским утром вышел я в шинели при параде и с чёрным кожаным портфелем на родимом полустанке. В одном отделение моего дембельского портфеля уложенные аккуратной стопкой подарки домочадцам, а во втором – гнёздышко ёжика. Надо отдать должное – Георгий за всю дорогу ни разу не нагадил, терпеливо ждал, когда я подхвачу его и снесу в тамбур, в отсек с углём. Он опростается, я его, уже в купе, накормлю, напою и снова опущу в обжитое за день гнёздышко.

И вот она, родная пятиэтажка, наш второй подъезд, первый этаж, утеплённая дверь, заветная кнопка звонка. Увольняли нас вечером, в вагон сели ночью, при пересадке на разъезде до почтового отделения, чтобы отбить телеграмму, идти да идти, а времени между поездами в обрез, так и прибыл я после двух лет разлуки к отчему порогу подмороженным утром как снег на голову. Звоню. Слышу шаги, дверь открывается, и появившаяся в проёме, постаревшая мама секунды три смотрит на меня широко раскрытыми глазами, что-то силится сказать, я вижу, как ей перехватило дыхание, не хватает воздуха, и едва успеваю подхватить и прижать к груди свою теряющую чувства от неожиданной встречи мамочку. Минут пять она лишь всхлипывает от радости, не в силах произнести ни слова. Я поглаживаю её по седеющим волосам и подрагивающим плечам, растерянно оправдываюсь.

– Ну что ты, мама, миленькая, успокойся – я ведь вернулся. Живой ведь и здоровый. А позвонить или дать телеграмму было неоткуда. Сама же знаешь, служил в песках на точке. Папка-то где?

– На работу вот только что, перед тобой, ушёл, – мама несколько успокоилась и слегка отстранилась от меня. – Дай хоть я погляжу, какой ты стал, сынок.

– Мам, я мигом сбегаю за отцом, – так и не пройдя в комнаты, я только бережно поставил свой застёгнутый портфель в прихожей, и уже из коридора на ходу бросил: – Вернусь с папкой, и тогда уж раздам армейские гостинцы.

На Октябрьские, на третий день после приезда, праздновалось, как и было повсеместно принято в те благословенные годы, моё возвращение из рядов Советской Армии, отмечались встречины. Гостей набралось как всегда – на всю квартиру, своих столов не хватало, принесли от соседей большой, раздвижной, и составили все в один общий, прерываемый коридором, на две комнаты. Плясали и танцевали на кухне и в промежутке между персидским ковром на стене и ломящимся от блюд и настоек, сдвинутом столе. Щемяще и заливисто звучали аккорды гармони-двухрядки, когда же дядя Митя присаживался перевести дыхание да опрокинуть рюмку, из радиолы у окна в углу нёсся зажигательный то ли твист, то ли шейк, или текла плавная музыка лирического танго. Мне, отвыкшему за два года от гражданки, всё было внове и всё так радостно прикипало к захмелевшему сердцу.

Гости разошлись поздно, те из родни, кому ехать далеко, по давней традиции остались ночевать у нас. Разнесли по соседям столы, лавки и стулья, высвободили пространство. Тем, кому не достало места на кроватях и разобранном диване, постелили на чисто помытом перед этим и укрытым толстыми дорожками полу в обеих комнатах. В первом часу ночи квартира утихла, и только из разных углов поминутно доносился то храп, то сонное хмельное бормотанье кого-нибудь из моих дядьёв или тётушек. Взбив кулаком большую перьевую подушку, медленно начал проваливаться в сон и я. Вот я вхожу с плаца в казарму, мне почему-то, как офицеру, отдаёт честь дневальный и уже раскрывает рот, чтобы звонко крикнуть: «Дивизион, смирно!», но вместо этого в уши вонзается тётин Катин истошный вопль: «Матушки мои! Вася-а! На меня чёрт колючий нападает! Вася, спаси!». Я вскакиваю с кровати и – к выключателю. Нахожу на ощупь, отмечаю машинально: не забыл, значит, что и где находится в доме, щёлкаю, загорается люстра, и комнату наполняют недовольные полусонные голоса: «Что случилось? Давайте уж спать! Чё, кому-то приспичило? Не можете дождаться утра!». Поворочались, опять улеглись, и одна лишь тётя Катя, жена отцова сродного брата Василия, так и сидит на полу, на своём смятом матрасе и водит по сторонам испуганными глазами, громко шепча при этом: «Чёрт колючий так фыркал ужасно, что даже сердце оборвалось!». Полупьяный дядя Вася, в трусах и майке, жилистый, с редкими седыми волосами на голове и груди, успокаивая жену, ласково приговаривает: «Катюша, не бойся, я рядом, если что – дак я ему, чёрту лысому, все колючки повыдергаю! Ты только, Катюша, укажи, где его прячешь. Уж ты-то меня знаешь, в гробину тя язви!». Из соседней комнаты на шум заглянула заспанная мама и недоумённо обвела нас взглядом: «Что за пожар тут у вас?». Я, уже догадавшийся – что явилось причиной ночного переполоха – полушёпотом разъясняю всем, кто не спит: «Тётю Катю напугал наш Георгий». Дядя Вася услышав это, встрепенулся, мускулы на его голых руках дёрнулись и напряглись: «А ну-ка, племяш, покажь этого Георгия! Я ему живо все зубы пересчитаю!». «Дядь Вась, да это же всего лишь мой армейский ёжик. Он теперь, небось, забился где-нибудь под кровать и с перепугу пятый угол ищет». «Какой ещё ёжик? А кто тогда к Катюхе приставал!? Не темни, племяш! Ты же знаешь, в гробину тя язви, не один фашист от меня не ушёл!». Дядя Вася воевал в Великую Отечественную на Волховском фронте, по праздникам на пиджаке его красовались боевые ордена и медали. Трезвый он был молчалив, про таких говорят: каждое слово у них надобно выкупать; но если попала стопка, то хоть святых выноси – смолоду дрался со всеми без разбору, крушил всё, что попадало под руку. Его ловили, вязали верёвками, укладывали где-нибудь в затишке до той поры, пока дядя Вася не опамятует, не придёт в себя. С годами буянства в нём поубавилось, однако и теперь ещё иногда в дяде Васе просыпался бесстрашный синеглазый пехотинец, удалец рукопашного боя, и тогда уж в ход шли припасённые накануне верёвки. Оно ведь, и другие мои дядья, редко кто мимо фронта или тюремной зоны прошёл, народ боевой и бесшабашный, долго церемониться не привыкший, спеленать любого могут в два счёта. Хотя трезвого дядю Васю все уважали.

Недовольно фыркнувшего и свернувшегося в подпрыгивающий колючий клубок Георгия после недолгого поиска я извлёк из-под кровати и, дав его поближе рассмотреть пришедшей в себя после пережитого тёте Кате и немного унявшемуся дяде Васе, отнёс, завёрнутого в полотенце, в

ванную комнату, где и выпустил ёжика на кафельный пол. Утром, за столом, разговевшиеся гости весело обсуждали ночное происшествие, а выпущенный из ванной Георгий топотал из комнаты в зал, принюхивался к углам, да как всегда пофыркивал, только теперь уже с какими-то хозяйскими, что ли, интонациями: тише вы, дескать, а то своей болтовнёй всех мышей мне распугаете.

Со временем прижился и обвыкся степной ёжик в нашей квартире. Племянница Лена, девочка живая и сообразительная, быстро сошлась с Георгием характерами. Он как-то сразу проникся к ребёнку и даже давал ей погладить себя, ослабляя и укладывая в одну сторону свои тёмно-серые, с проседью, иголки. Они тогда не кололись, и Лена не только осторожно проводила пухленькими ладошками вдоль спины ёжика, но и перебирала пальчиками прилёгшие иглы. Я выстрогал палочку, привязал метровый шнурок с растрёпанным мотком цветных ниток на конце, вручил всё это Лене, и теперь она бегала по комнатам, волочила за собой по ковровым дорожкам моток, а ёжик притаивался где-нибудь за диваном или под сервантом, и, выждав подходящий момент, набрасывался из своего укрытия на – в его понимании – раскрашенную пробегающую мимо мышку. Нам всем это ужасно нравилось.

Ещё одна любопытная особенность была у нашего ёжика. Если Лена находилась в детском садике или у себя дома, а не у деда с бабой, значит, Георгию играть не с кем, и он тогда прятался и дремал под кроватью или диваном. Но стоило ему услышать металлический стукоток раскладываемых на кухонном столе ложек и вилок, когда мама накрывала обед, ёжик, как обычно, мелодично топоча четырьмя лапками по полу, прибегал на кухню, и, сделав своеобразный «круг почёта» на половиках, вероятно для того, чтобы обозначить таким образом своё присутствие, укрывался между батареей отопления у стены и холодильником. Мы улыбались, отец поднимался с табурета, доставал с нижней полки холодильника припасённый кусок подстывшего мясного фарша, и крошил его в стоящую на полу миску. Не сразу, а, видимо, выждав для показа своего ежиного приличия минуту другую, Георгий с достоинством выкатывался из-под батареи и начинал неторопливо поглощать перекрученное сырое мясо. Наблюдать за ним в эти мгновения доставляло нам такое непередаваемое удовольствие, что мы прерывали свою трапезу, и молча, боясь неуместным разговором спугнуть ёжика, наслаждались тем, с каким благородством Георгий управляется с пищей. Кстати, под место опрастывания наш ёжик выбрал укромный уголок между шифоньером и кладовкой, мы это заметили и пододвинули туда коробку с песком, он это принял, и все проблемы с помётом решились раз и навсегда.

А вот с другой напастью – линькой ёжика – дело складывалось из ряда вон. Ближе к апрелю мама, при уборке в доме, а особенно во время мытья полов, когда отжимала мокрую тряпку, стала часто накалывать, иногда до крови, пальцы рук. Да и мы теперь опасались ходить босиком по квартире. Никогда до этого я бы ни поверил, что ежи, как, например, зайцы или те же лисы и волки, меняют по весне часть своего покрытия. Ладно, там шерсть, она может вполне безболезненно выцвести, сваляться в клочья и, в конце концов, где-нибудь в колючем кустарнике повиснуть на задиристых ветках. Иголки же прорастают из тельца, и, наверное, ёжику страшно больно их терять, так думал я, жалея нашего линяющего квартиранта. Однако сам Ге-

оргий, даже если ему и было больно, то виду не показывал, а бегал себе, топотал по комнатам, заглядывал во все углы, охотился на кого-то одному ему известного, и почему-то любил это делать по вечерам, в те часы, когда мы выключали свет и укладывались спать. Причём топот раздавался гулко и звучно, и чем-то напоминал мне знаменитые шаги легендарного Командора. Но к этому неудобству все скоро привыкли и смирились, мы с Леной даже нашли в ритме топота что-то схожее с мелодией финальной песенки из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».

Чтобы обезопасить маме мытьё полов, я взял на себя обязанность по утрам подметать в комнатах, и как можно чаще перетрясать во дворе половики и дорожки. Но все равно это, когда на улице потеплело, не спасло Георгия от высылки на дачу. Наши дачные четыре сотки находились в одном из садоводческих обществ выше посёлка на склоне горы. Прямо за домиком в тенёчке под кустом сливы сколотил я из широких досок короб размером метр на метр. Вкопал его сантиметров на десять в землю, по внешнему периметру отсыпал что-то наподобие завалинки, притоптал плотно грунт, и накрыл короб сверху частой, обтянутой полиэтиленом, дощатой решёткой. Георгий побегал по своему новому узилищу, пофыркал, пообнюхал все четыре угла и, угомонившись, свернулся в клубок на приготовленной заранее матерчатой подстилке. Ни к чистой воде в глубокой миске, ни к пище, любимому мясному фаршу, на картонке, он в этот день так и не притронулся. Ничего, голод не тётка, покапризничает немного, да никуда не денется: всё съест, решили мы, а я, на всякий случай, остался ночевать на старом диване в домике.

Едва рассвело, вышел глянуть, как там освоился наш ссыльный ёж, приоткрыл крышку, а в коробе пусто, лишь под одной из досок видна аккуратная норка, и рядом с ней горка свежей сырой землицы. Растяпа, что ж я не додумался сделать для надёжности деревянные полы в коробе – ведь хоть в лесу, хоть в пустыне, а живут-то ежи в норах, и, значит, рыть их в любую сторону – ещё как обучены!

Так вот и ушёл на волю наш Георгий. А я, расстроенный, весь день пробегал, прошарил по кустам и вдоль штакетника, разглядывал каждую травинку, раскапывал попадающиеся мне норы и трещины в земле, спрашивал у соседей: не видели ли случайно они ежа на своих участках. Люди недоумённо пожимали плечами и разводили руками, в наших местах в те годы ещё не водилось диких ежей, разве что в школьных живых уголках.

Через много лет, поскитавшись по белу свету, вернулся я домой. Старая наша дача давно уже была продана. Мы с женой купили себе садовый участок в этом же обществе, только не в логу, где располагался отцовский сад, а чуть в стороне, на бугре. И вот однажды весной вскапываю грядки под морковь, жена что-то готовит на столике под яблоней, внуки рыщут по вишнёвым зарослям. Слышу звонкое:

– Деда, баба, идите скорей к нам! Мы ёжика в кустах поймали!

Нам интересно, мы спешим на голоса ребятишек. Под коряжистой древней вишней, у плотного забора, в поисках дырки, чтоб выскользнуть прочь, бегает серый ёжик. Остановится, зыркнет в нашу сторону бусинками глаз, фыркнет, и опять, приминая остатки прошлогодней жухлой листвы, топочет туда, сюда. Я пригляделся к нему. Как он всё-таки похож на давнишнего нашего Георгия! Те же серые, по кончикам седые, иголки, те же светлые, мохнатые, будто перепончатые лапки, да и фырканье

ну точь-в-точь как у нашего степняка. Мне показалось, что и уши такие же продольные и большие, как у Георгия. Неужели наш беглец каким-то образом отыскал тогда свою пару, сдружился с такой же сбежавшей от юннатов ежихой, и они здесь обжились, а потом и потомство после себя оставили? А вдруг?

Я улыбнулся и посоветовал внукам, чтобы не сильно докучали перепуганному ежу: пусть уходит.

– А разве мы не возьмём его себе, деда?

– Зачем? Вы с ним наиграетесь, он вам надоест. Надо будет его отпускать на волю, а вдруг да осень на дворе. Чтобы перезимовать, ежу надо нору рыть, припасы себе на зиму готовить, а не из чего. Ни ягод, ни орешек, ни корешков – все урожаи собраны. Холодина кругом. И голо, примерно как сейчас. Но сегодня-то весна, тепло, и скоро всё распустится и зацветёт, еды для ёжика будет навалом. А осенью что впереди?

– Снег, деда, и морозы.

– Вот и подумайте сами, каково ему будет одному и на морозе. Точно пропадёт.

– А знаешь что, деда, пусть ёжик живёт в нашем саду. А мы ему конфеты с печеньем будем носить, пока не зацветёт его еда.

– Я тоже полагаю, что так будет правильней. А пока идёмте все под яблоньку, к столу, пусть ёжик отдохнёт и придёт в себя от испуга.

После этого случая ёжик никому из нас больше не попадался на глаза, но что он жил и охотился где-то рядом, возможно и среди наших грядок, фруктовых деревьев и кустов – это неоспоримый факт, так как все прошлогодние, осыпавшиеся норки и извилистые земляные ходы мышек-полёвок, нынче не подновлялись и не было видно, чтобы кто-либо по ним передвигался. А позже, в августе – ни подъеденной сбоку моркови в гряде, ни высохших из-за подточенных корней бутонов цветов, ни вышелушенных стручков пригнутого к земле гороха, ни растеребленных подушек в домике, ни прогрызенных лазов на стыках досок в стенах сеней. И за это особая благодарность негаданно объявившемуся в нашем саду ежику, тому самому, которого я втайне до сих пор продолжаю считать потомком моего армейского нечаянного гостинца.

ЛЮБОПЫТНЫЙ СОБОЛЁК

Дорога в гору была каменистой и относительно широкой, вся в солнечных пятнах. Подниматься по ней для меня всегда неизъяснимое удовольствие. С обеих сторон, нагорной и подгорной, возвышался, соединяясь вверху в тенистую, с синими лоскутками неба, светло-зелёную крышу, смешанный стройный лес, с преобладанием в нём белоствольных берёз и разлапистых столетних пихт. В этом живом коридоре особое внимание к себе привлекали изогнутые у корней берёзы, комли которых, как на подносах, лежали на замшелых плоских, будто выдавленных из склона и нависающих над дорогой, плитах. В прежние годы добрая часть этих выгнутых берёз точно бы пошла на фигурные полозья саней и розвальней, но при нынешних автомобильных и прочих скоростях потребность в подобных живописных деталях крестьянского быта как-то сама собою сошла на нет.

Дорога эта, нарезанная мощными бульдозерами лет пятьдесят назад, простиралась от пригородного посёлка через горы к расположенным в таёжных

поймах говорливой Сержихи бывшим совхозным, ныне приватизированным пасекам. Пользовались ею не только пчеловоды, но и разный другой люд, устремляющийся во всякое благодатное на урожай черники либо кедровых орехов лето на вершины белков, где эта целебная ягода и смолистые шишки обильно произрастали. Вот и мы с товарищем встали сегодня до солнышка, попили наскоро чайку, да и полезли в горушку. Впереди, поминутно и с явной укоризной оглядываясь в нашу сторону: что вы, мол, так медленно плетётесь, – бежала молодая резвая лайка. Когда ей надоедало нас поджидать, она ныряла в высокую придорожную траву и там с азартом принималась выискивать жирных мышей-полёвок, да загонять на деревья и облаивать пушистых белок и полосатых бурундуков. Лай у собаки был ровный, дежурный и где-то даже с оттенком безнадёжности – она видела, что ружей за плечами у нас нет, и охота выходила и вправду односторонняя, без завершающего выстрела и подношения нам в осторожных зубах тушки убитого зверька. Но что поделаешь – не сезон, и у нас действительно, кроме перочинных ножичков, ничего из оружия не было, даже туристического топорика. Готовясь в такую пору к ночлегу в горах, мы по обыкновению сухие ветки и лапник ломали руками, а толстые ветви и стволы пережигали пополам и складывали в огонь по два рядышком, костёр получался долгоиграющий, вернее долго прогорающий и можно было добрую часть ночи поспать и понежиться в тепле.

Между тем мы обогнули широкий лог и на открытом взломке остановились перевести дыхание и полюбоваться видом летнего посёлка, что втягивался добротными избами и дворовыми постройками, а также квадратами огородов с зелёными холмиками грядок, цветущей картофельной ботвой и подсолнухами по краям, из долины в лесистую горловину ущелья. Справа заборы посёлка упирались в лесхозовскую пилораму и питомник. Слева от скалистой и крутой сопки селение отрезала быстрая и своенравная река. По прямой от нас до посёлка было не больше пятисот метров, однако по серпантинам и вилюшкам набегало до полутора вёрст. Только я выдохнул, что вот, мол, среди какой красоты живём, как выше дороги, в березняке раздался такой злобный и заливистый лай нашей собаки, что мы, не сговариваясь, одновременно устремились по щебенистому откосу вверх.

Картина, что открылась нашим взорам, была чрезвычайно забавна: лайка как заправский монтёр, обхватывая лапами белый ствол берёзы, и всем корпусом извиваясь, пыталась влезть на дерево. Острые когти её царапали и рвали берёсту, лайка опрокидывалась наземь, снова резво вскакивала, прыгала на берёзу, карабкалась и вновь летела вниз. Что же там, в кроне притаилось такого, что привело нашу собаку в неописуемое неистовство? Мы задрали головы вверх. Метрах в восьми от земли, грациозно распластавшись в рогульке двух толстых веток, из-за ствола на нас с любопытством поглядывал пушистый, с роскошным чёрным хвостом и светло-серой шерстью на добродушной, напоминающей кошачью, усатой мордочке молоденький, но довольно крупный соболь. За то, что зверёк молод и неопытен, говорила его обезоруживающая доверчивость. Окажись перед нами соболь поживший, заматеревший, мы его и разглядеть-то толком не успели бы, как он пружинисто ушёл бы на макушку берёзы, а там, качнувшись на упругой вершинке разок другой, перепорхнул на мягкие лапы соседней пихты – и только бы его и видели! А этот бес-

страшный ротозей единственно, что мог делать, так это внимательно переводить свой взгляд с меня на напарника, затем равнодушно поглядывать сверху вниз на мечущуюся лайку и опять возвращаться к изучению этих непонятных существ, топчущихся вокруг невысокого дерева.

Так пристально мы и рассматривали друг дружку минут пятнадцать-двадцать, прямо как в детской игре – кто кого переглядит. Мы надеялись, что зверёк первым сорвётся с места и у нас будет возможность наблюдать все его полёты и воздушные кульбиты, однако соболю в отличие от нас торопиться явно было некуда, по всему видать, что он не так давно изрядно подкрепился мышами-полёвками и теперь наслаждался таким вот послеобеденным развлечением. Мы попробовали помахать руками, чтобы сорвать зверька с места, однако он на это даже глазом не моргнул. А подбирать с земли сухие сучья и швырять ими в этого красавца нам и самим не пришло в голову: всё-таки соболь – зверь в Сибири и на Алтае уважаемый, а мы в него как в какого-то задрипаного хорька – метать сушняком!

Пересидел-таки нас этот таёжный молодец. Напоследок, для приличия посвистев в его сторону, мы забрали немного успокоившуюся лайку и вернулись на дорогу продолжить подъём в гору.

Когда он снялся с берёзы и перебежал в чащобу по своим добычливым делам, для нас осталось тайной. Только бы вот в другой уж раз не считал наш соболёк по привычке ворон и не попались бы ему снова люди, но уже с ружьями...

ПОЧИТАТЕЛЬНИЦА

Мои отношения с домашней кошкой, трёхцветной Муськой, если назвать безоблачными, значит, покривить душой. Муська, особа своенравная, и уж коли что возьмёт себе в голову, то извлечь это можно, только сняв последнюю с пушистых плеч. К примеру, взяла моду разрешаться от котят на синем с драконами корейском покрывале, и вот уже на протяжении нескольких лет мы всей семьёй караулим её очередной окот. Успех переменный. Как бы ни бился я, приучая Муську ходить в коробку с песком – всё даром. То лапой откроёт притворённую дверь в ванную комнату и разукрасит кафель, то пуще того – опростается где-нибудь под диваном или кроватью, и похаживает себе по квартире с невинным видом. А Мурзик, другой наш кот, безответный и воровитый, почему-то именно в эти минуты оказывается на месте, откуда исходит запах, получает сполна и кубарем вылетает за порог.

Раскусили мы всё-таки Муськины ухищрения, но единственное, чего добились от неё – это душераздирающего мяуканья у входной двери, чтобы её выпустили на двор. Причём время суток для нашей кошки в эти томительные секунды значения не имеет.

Но зато у Муськи великолепные охотничьи инстинкты: что мышь, что крупная крыса, никто не минует её острых когтей. Она всегда встретит у калитки и проводит до крыльца мало-мальски знакомого ей гостя. И ещё у Муськи есть достоинство и солидность: никогда не стащит ничего с кухонного стола, не станет царапаться у миски из-за жирного куска с Мурзиком – уступит, отойдёт в сторону. А это много стоит, и не только у людей.

И вот сижу я как-то за печатной машинкой, колдую над строчками, увлёкшись, перечитываю вслух, декламирую. Не приметил, как в комнату вошла Муська и, усевшись на ковровую дорожку, внимательно слушает меня. Я

посчитал это случайностью. Дня через два история повторилась. Ладно, думаю, проверим. Дождался, когда Муська вышла на кухню, и начал читать с выражением стихи Николая Заболоцкого. Гляжу: кошка опять рядом со мной, улеглась и млеет от удовольствия. Видимо, она наслаждается теми редкими интонациями и тембром моего голоса, коих в повседневных разговорах и окриках не услышит от меня.

ГЕРОЙКА

Телёнок выходил тяжело. Малютка, крупная бусая корова, с атласной шерстью и звёздочкой во лбу, лежала на боку, занимая половину просторного денника, тужилась и через короткие промежутки глубоко и обречённо вздыхала. Наконец показались два сложенных рядом матовых копытца в плёнчатом пузыре. Ещё какой-то миг – и роженица выдавит из себя на этот свет новое живое существо. Вроде бы всё так и есть, и я уже вижу на мохнатых суставах передних ног телёнка упругий коричневый кончик пористого носа, скоро бы появиться и всей забавной мордашке новорождённого, однако Малютка напрягается из последних сил, а плод не выходит. Чем же он там, в чреве и за что, так зацепился, что корова, стельная уже третьим телком, никак не может разрешиться? Хлопоты мои неторопливы и несуетливы – я с нажимом оглаживаю тёплый, поросший вьющейся шёрсткой, живот от передних ног к хвосту, нащупывая пальцами и поддавливая к выходу замешкавшийся плод, но делаю это осторожно, чтобы, не дай бог, не навредить Малютке. Некоторое время отдыхаю, и снова принимаюсь мять объёмистое чрево измученной коровы. Наконец Малютка, втянув через влажные ноздри побольше воздуха, так напряглась, что дёрнулись задние ноги, и выдавила из себя лобастого, в матовой плёнке, телёнка, и обессиленная, уронила рогатую голову на подстеленное душистое сено. Но уже секунд через пятнадцать корова на ногах и длинным шершавым языком облизывает дрожащий светло-коричневый головастый комочек, подсушивая мокрую шерсть новорождённого, который на скользких округло-восковых копытцах пытается самостоятельно подняться с пола и встать. Однако ножки разъезжаются, и телёнок заваливается набок. Мать всё это время продолжает языком, схожим с железной щёткой, вычищать и сушить хрупкое тельце своего дитяти. Зная, что за этим последует тыканье телячьей мордочки в налитое молозивом вымя, и если это допустить, то потом не отвадить телка, и он будет высасывать всё вымя месяцев до трёх, и тогда уж корову не отогнать в стадо, а нам придётся надолго забыть вкус парного молока, – я подхватываю телка на руки и уношу домой, на веранду, где ему пригорожен тёплый уголок. Определив теленка, беру полотенце и подойник с тёплой водой и возвращаюсь в денник раздаивать роженицу. Через полчаса я опять на веранде, с помощью указательного пальца приучаю сосунка пить жирное молозиво из капронового ведёрка.

К середине лета Геройка, так мы назвали телёночка, не сказать, что сильно подрос, но стал этаким толстоногим крепышом, с большой лобастой мохнатой головой, венчали которую два тупых рожка, разделённые белёсым завитком. Первый свой наскок на человека бычок совершил росистым утром ясного июльского дня. Жена принесла в загон забытую мной на крыльце глубокую чашку с варёной картошкой, намятой с ком-

бикормом для цыплят. Только она переступила через порог денника и успела пару раз проговорить «типа-типа», призывая голенастый выводок отведать высыпаемый из чашки завтрак, как из-за недоеденного прошлогоднего стога, что сбоку от дверки денника, выскочил Геройка и, наклонив голову к земле, больно боднул её под колено. Лариса от неожиданности ойкнула и присела на порог денника. Услышав это, я бросил чистить хлев и выскочил с лопатой в загон. Перехватив её, черенком отогнал бычка от растерянной жены, помог подняться с порога и сокрушённо покивал головой: «Что-то с нашим молокососом не того. Теперь надо будет ой как приглядывать за ним».

Нападения бычка на зазевавшихся прохожих стали делом регулярным, если только он умудрялся либо оборвать верёвку, на которой пасся на ближайшем лужку, либо расшатать и выдрать колышек. Тогда уж мы его ловили всей семьёй по всему рабочему посёлку. Я его и ласково оглаживал по шелковистой светло-коричневой шерсти, и увещевал, и подкармливал разными вкусностями вроде крепко подсоленной корочки ржаного хлеба, но ничего не помогало. Складывалось впечатление, что это маленькое головастое животное с толстыми рожками появилось в нашем мире лишь для того, чтобы подкарауливать людей и с разгону больно бодать. Иногда жена, то ли в шутку, а может и всерьёз, укоряла: вот, дескать, назвал телёнка Геройкой, а он теперь и отрабатывает на нас своё боевое имя. Нет бы назвать как-то поласковей – ну, хотя бы Мотыльком. Я в тон ей усмехался: тогда бы крыльев не хватило его догонять, а так, пусть себе бегает по земле, небось, когда и образумится.

В первых числах сентября соседи, что через дорогу от моей усадьбы, привезли сено и сметали стог, как это они обычно делали, вплотную к своей ограде, но вот обезопасить его поскотиной от вольно шатающихся по посёлку коров и быков не удосужились. Поэтому хозяйка, полная женщина пятидесяти лет, теперь едва ли не ночевала у стога, охраняя сено от ушлых рогатых разбойников. И надо же такому случиться, что в один из тихих листопадных дней наш Геройка в очередной раз пустился в бега, выломав окрепшими рогами дырку в штакетнике загона.

Мы бы его и не хватились, но ближе к вечеру услышали женский крик, доносящийся в комнату сквозь оконное стекло: «Ой, убивают, ой, люди, помогите же кто-нибудь скорее!». Я выбежал на крыльцо и стал свидетелем весьма прискорбной картины. Наш бычок, чуть наклоняя свою непропорциональную мохнатую голову, раз за разом атаковал бедную соседку, припёртую им к стогу. Отойдёт на полшага назад, женщина только пошевелится, пробуя хоть на малость отодвинуться в сторону от ударов, а Геройка её рогами в живот, и опять припрёт к подъеденному только что им месту, задирая соседке юбку и обнажая шерстяные колготки на толстых ногах. Да творит это с таким настырным упоением, что я в два прыжка подскочил к нему и дал бычку хорошего пенделя, дабы отогнать его от испуганной жертвы. Зная мой крутой нрав, Геройка галопом припустил от стога в переулок. До сумерек мы гонялись за ним, и лишь когда на тёмно-синем небе проступили золотистые кружева созвездий, нам удалось утолкать дебошира в хлев.

Утром следующего дня соседка окликнула мою жену и показала ей чёрно-лиловые синяки по всему животу, сказав при этом, что, мол, хоть муж и настаивает, я в милицию пока обращаться не буду, но вы уж что-то делайте со своим бычком, ведь даже страшно подумать, что он станет вытворять,

когда подрастёт. А то, знаешь, Лариса, люди только вздохнули от Зосиных племенных бугаёв, и тут появляется чёрте что!

Почему все быки бабы Зоси, обитающей через три огорода от нас в нагорном кривом тупиковом переулке, славились агрессивностью к человеку, объяснить этого не могла ни сама сухонькая востроглазая старушка, ни кто другой. Держала она их до пяти лет, годам к двум при добром корме и обильном пастбище быки так тучнели, что некоторые из них весили до тонны и более. При таком угрожающем весе бугаи не знали привязи, вольно ходили по посёлку, трубно ревели и искали с кем бы пободаться, кого бы повалять.

Однажды я искал припозднившуюся из табуна Малютку, обошёл гору и решил направиться к черемушнику, за которым расстилалась сочная предгорная полянка, любимое место наших коров. Усыпанная пластинчатым щебнем тропинка полого петляла вверх, взглядом я шарил по кустам и склонам, поэтому и не сразу заметил бугая, спускающегося с горы прямо на меня. Огромный, с налитыми кровью глазами, бык метрах в восьми передо мной встал и принялся яростно рыть и разбрасывать камни и землю передним копытом, вероятно, изготавливаясь атаковать человека, вставшего на его пути, то есть меня. Но я-то не матадор, и эта коррида ну никак не входила в мои планы! Однако вызов брошен, надо как-то отвечать. Я сделал шаг назад, нагнулся и подобрал с тропинки несколько пластин щебня покрупнее, распрямился и, не метясь, метнул их очередью в приближающееся разъярённое животное. Один камень попал тому в лоб, ещё один шаркнул по ворсистому крупу. Бугай чуть замедлил ход, такого оборота он явно не ожидал. Следующая очередь оказалась ещё результативней: попаданий, причём три из них в буйную шерсть под рогами, было не менее семи. Бык, тяжело дыша, встал, но при этом также зло и внимательно наблюдая за всеми моими действиями. Увидев, как я протягиваю руку за новой порцией острых пластин, бугай мотнул устрашающей своей головой и попятился. Но это вовсе не означало, что он позорно покидает поле сражения. Как бы не так – это скорее всего с его стороны просто перегруппировка сил, выжидание момента, чтобы обрушить на противника всю свою первобытную звериную мощь. Что ж, будем драться – кто кого. Я тоже умею быть свирепым! Поэтому, не мешкая, набрал в обе руки камней и стал, не мигая, смотреть прямо в бешеные зрачки бугая. С минуту мы сверлили друг друга глазами, и неизвестно, чем бы это наше противостояние закончилось, но тут раздался, хоть и тонкий, но резкий и требовательный голос подоспевшей бабы Зоси.

– Ты, Боцман, что это творишь? Опять на людей кидаешься! Я тебя без ужина оставлю! Ну-ка, цыля-а, цыля-а! – возбуждённая старушка обошла меня, направляясь к бугаю. – А ты бы, Юрий Семёнович, тоже руки-то не распускал – ведь перед тобой всего лишь неразумная, хоть и большая, но добрая скотинка! А ты ведь и глаза ему мог выбить.

– Да уж, такая добрая, – у меня от подобных обвинений на секунду даже дыханье перехватило. – А недавно ни твой ли Боцман мужика на Заводской улице так валял, что насилу бригада монтёров его отбила? Вот и детям уже не выйти на лужок поиграть, все напуганы твоим бугаем.

– Ой, да всё не так, как ты говоришь, Юрий Семёнович, – не сдавалась баба Зося. – Я ить гляжу за своей скотинкой-то. Просто, намедни явилась ко

мне Прасковья за солью, а я ить соседлива, сразу-то её и не отпустила. Побалакали малость. Вот за Боцманом-то и не уследила. А так-то он у меня завсегда под присмотром.

– Не знаю, бабуля, под каким он присмотром, но дождёшься – или кто-нибудь пристрелит его, или я в другой раз, как пойду Малютку искать, обязательно топор с собой прихвачу. Только не забудь уж после на жаркое меня позвать.

– Ну, ты скажешь тоже! Обойдёмся как-нибудь без ружья иль топора. Я за им присматривать теперь буду ещё пуще! – и старушка, выломав из акации сухую ветвь, погнала бугая прочь с тропинки. Мотнув огромной косматой головой, тот нехотя и грузно потрусил в нагорный переулок. Осенью баба Зося, пригласив опытных скотобоев, прибрала бугая, как она обмолвилась соседям – подальше от греха.

После происшествия с соседкой Геройка улицы больше не знал, ограду вокруг загона я укрепил, все хлипкие доски заменил, да и с туристической прочной верёвки не сорваться. Сено было завезено, кормёжки вволю, водопой здесь же, в пригороженном ручье, одним словом: нагуливай жирок, да жди весну! Иногда я отвязывал Малютку и бычка от столба в стойле и отпускал их размяться в загоне, а когда зима легла сугробами вровень с забором, и по моим расчётам сена при любом раскладе хватило бы до первой травы, я позволил им днём пастись у стога. Малютка, корова аккуратная, подъедая спрессованное зелёное сено, не уронит наземь ни единого сушёного листика, и бычок, как я заметил, брал с неё пример. Так и зимовали: утром подою корову, задам всем корма, и – на работу. Вечером, переодевшись в рабочую фуфайку и ватные штаны, иду управляться. Едва распахну дверь в сарай, как они, сытые и довольные, ресницы и шерсть в инее, бегут в тепло. Что и говорить, картина вырисовывалась идиллическая, кабы не бодливость подросшего бычка.

Однажды солнечным морозным полднем я поправлял в хлеву куриный насест, а жена решила одна побаловать Геройку молочными ополосками, с накрошенным в них серым чёрствым хлебом, поскольку в последние недели бычок был не агрессивен к ней. Правда, все посещения происходили в моём присутствии. А меня Геройка знал и побаивался. Я только прикрыл за собой обитую старым одеялом дверь в хлев и вышел на воздух в денник, как увидел во дворе очередной наскок бычка на человека.

Лариса, напоив Геройку, подхватила пустое ведро и уже направлялась к выходу из загона, когда довольнёхонький, с мокрыми хлебными крошками на усах бычок, надо полагать, в знак благодарности, сзади так боднул её, что она едва удержалась на ногах. Я бросился на помощь жене, Геройка, заметив меня, ретировался к стогу. Не зря в народе говорят: чёрного кобеля не отмоешь добела. Стали мы подумывать, что делать с нашим буяном. В лето оставить – так он полпосёлка перебодает, а если учесть, что больше всего он любил нападать исподтишка на заигравшихся на лужайках ребятишек, то перспектива открывалась неутешительная. Посудили, порядили, и постановили: оставим Геройку до мая – небось, к тому времени перебесится и выровняется.

На закате февральского дня-бокогрея, приласканный лучами очнувшегося солнышка, весело шагал я расчищенным переулком с работы, дорога лежала мимо моего сарая, вот и надумал я, не переодеваясь в одежду для хлева, а как был при параде, заглянуть в загон, дружески потрепать своих животных по загривкам. Снежный наст хрустел, когда в предвечерней иголь-

чатой тишине шёл я по загону к стогу. Малютка, выдернув очередной пучок из подъеденного угла, повернула заиндевелую морду от сена в мою сторону. Геройки не было видно, значит, он натоптал себе место где-то с другого краю. Только я успел так подумать, как что-то яростное и косматое неожиданно наскочило из-за стога, взбрыкнуло задними ногами и припечатало меня к отвесному и спрессованному скату зарода. Крепкие серые рога свои Геройка упёр в мой живот, дрожь волнами ходила по его шерсти, бычок часто и шумно дышал, вероятно, предвкушая сладкую и скорую расправу над неизвестным в чистой и пахнущей одеколоном меховой куртке-аляске. То, что из-за перемены в одежде Геройка не признал во мне грозного хозяина, я сообразил сразу, теперь надо было как-то без урона для моего парадного наряда освободиться от разгорячённого бычка, методично бьющего рогами в живот и под рёбра. На удачу, в сенных объедьях, на расстоянии вытянутой руки торчали забытые утром вилы. Я по-медвежьи рявкнул, и черенком вил принялся охаживать Геройку по тугим бокам. Он, уже понявший, что напал на неузнанного второпях строгого хозяина и что сейчас ему не поздоровится, пустился со всех ног за стог. Догонять его я не стал, однако придя домой, сообщил жене, что надо искать покупателя-скотобоя, потому что, подросши к маю, наш бык поставит весь посёлок на уши.

Созвонились, поладили в цене, и через пару дней приехали частные заготовители на видавшем виды грузовичке. Старшой оставил скотобоя, рыжего и рослого, примерно моих лет, мужика управляться, а сам уехал оформлять какие надо бумаги. Ещё утром корову я оставил на привязи в сарае, а Геройку выпустил в загон. Рыжий мужик мельком глянул издалека на низкорослого головастого бычка, вытащил из матерчатой сумки два тесака и оселок, поточил лезвия и направился по заснеженной тропинке в загон. Я ему вдогонку бросил, что ты, дескать, смотри, поаккуратней, бычок-то бодливый, поди чем помочь. Мужик лениво обернулся, снисходительно усмехнулся: не таких, мол, валили... Что ж, моё дело предупредить. Между тем скотобой уже в загоне, где, не удостаивая вниманием Геройку, направляется осматривать приготовленное мной место под забой. Бычок тихонько так за ним побрёл, со стороны могло бы показаться, будто из любопытства, а я вздохнул, зная, что дальше последует. Но того, что произошло, признаться, даже и я не ожидал. Геройка вмиг разогнался и так ловко поддел мужика под зад, что длинные крепкие ноги того в подшитых пимах взметнулись вверх метра на полтора, тесаки из правой руки полетели в сугроб, а сам верзила растянулся во весь свой огромный рост вдоль натоптанной дорожки к стогу.

– Слушай, хозяин! Кувалда есть? – запыхавшийся скотобой, и так-то рыжий, а после приземления и вовсе запылал лицом – хоть сигарету прикуривай, – стоял на крыльце передо мной и метал взбешёнными глазами в белёсых ресницах громы и молнии.

– Тебя ж предупреждали, что скотинка наша необычная, – я протянул мужику увесистый колун. – Извини, кувалды нет, но может этот сгодится?

Верзила молча подхватил колун и побежал в загон. Надо отдать ему должное, в этот раз управился он ловко и быстро. И за собой убрал: в углу за сараем на месте забоя осталась только кучка содержимого телячьего желудка. Остальное всё вывезли.

Больше таких буйных телят Малютка нам не приносила.

ТАК-ТО, БРАТ ЮРА

Отмахав по косогорам и пойменным урёмам пятнадцать вёрст, подошли мы с дочерью к ограде поселья на опушке смешанного леса, разросшегося по отрогам белка Холодного. Солнце уже перекатилось на западную окраину стиснутого горами июньского небесного колодца. Собак, кинувшихся с лаем нам навстречу, я весело окликнул, каждую поимённо, они узнали меня, завиляли пушистыми хвостами и, проводив до калитки, укрылись под навесом, рядом с летней кухонькой. В избяном дверном проёме показалась хрупкая фигурка хозяйки поселья, и спустя минуту мы оживлённо обменивались городскими и лесными новостями.

Моя десятилетняя дочь, впервые попавшая в такую глухомань, с любопытством осматривалась по сторонам. От угла бревенчатого дома уходила покато вниз к зарослям черёмухи и громадным тополям поляна-точок, на которой рядками стояли крашеные корпуса ульев. За толстыми, с бородавчатыми возрастными наростами на коре, тополями взблескивала серебристой волной речка Сержиха, а дальше, от глинистого обрыва, зубчатым массивом поднимался по крутым и широким логам к скалистым вершинам белка Мурашок тёмно-зелёный пихтач.

Как выяснилось из разговора, сам хозяин, мой старинный друг, ещё утром ускакал в урочище Матющиху, там базировались пастухи с крупнорогатым молодняком из окрестных деревень, и у него были какие-то неотлагательные дела к табунщикам. И выходило так, что мы с дочерью, в большей степени, естественно, я, подоспели как нельзя кстати: пчёлы-то роились! Но сейчас было вроде бы тихо. И мы, покуда закипал чайник с ароматной душицей и зверобоем, присели в тенёчке, я скинул кирзухи и блаженно вытянул ноги по травке-муравке. Хозяйка тем временем, надев плотную куртку с капюшоном и сеткой, решила пройти на точок, глянуть: как там у «божьих мушек», так ласково именуют тружениц-пчёл опытные и добродушные пасечники. Минуты через две она бегом примчалась и, заполошно всплескивая руками, стала что-то сбивчиво и быстро говорить. Как я понял, один из ульев только что отроился, и хотя рой где-то рядом опнулся, но вот-вот улетит! Сообщая это, хозяйка перебросила мне свою просторную куртку, я с трудом, но втиснулся в неё, на ладони натянул прорезиненные верхонки и потребовал дать мне для верности ещё и положенные в таких случаях брезентовые штаны; на что хозяйка лишь беспечно отмахнулась: мол, пчёлам, Юра, теперь не до тебя, твоя задача успеть поймать матку в сетчатую ловушку – роёвню, и как только ты это сделаешь, им ничего не останется, как слетаться к матке. И сам подумай – до тебя ли пчёлам тогда будет!

И вот я, наполовину экипированный, в плотной куртке и тонюсеньком трико, поспешно шагаю с деревянной лестницей подмышкой и роёвней в другой руке к могучей пихте за домом, приставляю потихоньку лесенку к смолистому стволу и начинаю подъём вверх по дереву. Пока меня для пчёл будто бы и нет. Живая светло-коричневая гирлянда их, жужжа, шевелится на зелёной игольчатой ветке. Я подбираюсь поближе, отгибаю упругую пихтовую лапу под гирляндой и устанавливаю роёвню отверстием вверх. Тысячи пчёл смерчевыми фонтанчиками гудят вокруг, но не трогают. Мгновение, – и я верхонкой смахиваю живой шевелящийся клубок в сетчатый зев ловушки. И тут началось: сотни разъярённых насекомых облепили мою внушительную фигуру с ног и до макушки капюшона. Я захлопнул крышкой

отверстие роёвни и осторожно начал спускаться вниз. Первые укусы через тонкую ткань трико, а вот и целая пригоршня насекомых находит дырку в мотне и принимается самозабвенно и яростно жалить меня: оказывается, я, когда азартно вскарабкивался на пихту, на одной из перекладин раскорячился и разодрал трико по шву. Хорошо хоть пчёлы устремились вниз по ногам, а не вверх. Мне даже представить-то больно, что бы тогда было! И всё равно тело моё, что ниже пояса, как будто кто ошпарил кипятком и вдобавок вывалял в раскалённых углях, но роёвню я из рук не выпускаю. Слезши с пихты, приставил её к выступающей из земли скале, открыл отверстие и, не обращая внимания на кусающих пчёл, стал следить: будут ли слетаться они в эту ловушку. Насекомые гудящими ручейками потекли в распахнутую роёвню, даже и натиск на меня ослаб. Значит, матка на месте, и я могу наконец-то заняться своим опалённым укусами телом. И я побежал, прихрамывая на обе ноги, мимо испуганно выглядывающих из-за дверных шторок моей дочери и хозяйки пасеки, через затравевший двор к калитке, чтобы оттуда уже добраться до запруды на горном ключе и плюхнуться в студёную воду. Отмокнув, вылез на заросший кашкой бережок и принялся извлекать из своего тела оставшиеся жала. Ради интереса взялся считать укусы, но где-то на тридцатом сбился со счёта, а заново начинать пропала охота. Вернувшись в дом, вновь снарядился к пчёлам, только теперь делал всё обстоятельно и не торопясь: куртка, брезентовые штаны, прорезиненные рукавицы. Иду к роёвне, там тоже угомонились, подлётывают запоздалые пчёлы. Я закрываю ловушку и несу её под навес, где хранится пчеловодческий инвентарь.

Едва поставил предмет моих нечаянных приключений-злоключений на верстак, раздалось конское ржание: хозяин вернулся от пастухов. Мы обнялись, крепко пожали друг другу руки, и я коротенько обсказал, что здесь только что произошло. Он улыбнулся, поблагодарил за то, что я не сплоховал и, чуть помедлив, добавил: это тебе, мол, наука впредь, чтобы не забывал давно подмеченное меж нами, мужиками – послушай женщину и сделай наоборот, и тогда в выигрыше все. Так-то, брат Юра...

ВЛЮБЛЁННЫЙ ПЁС

Мой коричневый и желтоглазый пёс Макс влюбился. А вышло это так. Старый, из кожзаменителя, ошейник перетёрся о карабин, и днём, когда меня не было дома, собака убежала на волю.

Обычно в похожих случаях Макс встречал нас в переулке, весело вилял хвостом, провожал до калитки, но в руки, покуда не набегается, не давался. А здесь же, как в воду канул. День нет, другой нет. Мы уже забеспокоились, но младшая дочь Марианна, придя из школы, радостно сообщила: живой наш Макс, дружит с соседской Куклой. Об этой гладкошёрстной и чёрномастной Кукле надо сказать отдельно. Относилась она к измельчённой породе, повадками обладала скверными: то курицу утащит и растеребит до смерти, а то незаметно подкараулит кого-нибудь из прохожих и так яростно облает, что человек еле отобьётся и в дальнейшем старается без крайней нужды нашим переулком не ходить. Ещё Кукла регулярно раз в три месяца устраивала собачью свадьбу. Десяток-другой разнокалиберных женихов и Кукла, если это происходило летом, вытаптывали все грядки в огородах, куда их заносила карусель страсти, зимой же утрамбовывали снег,

раскрашивая его оранжевыми собачьими пометками и красной кровью драк за обладание невестой.

Мой пёс цепной, и в прежнее время он лишь наблюдал за такими вот разудалыми приключениями из-за ограды, исходя злобным и тоскливым лаем. Зато в этот раз он был главным действующим лицом. А что гулял он на славу, я убедился воочию, встретив в проулке трёх окровавленных, с разорванными вислыми ушами и подкушенными лапами кобельков, понуро ковыляющих прочь от собачьих игрищ.

Довольного, но тоже с разорванным левым ухом Макса мне удалось изловить, когда он на третий день к вечеру примчался к своей миске с похлёбкой подкрепиться, чтобы затем с новым пылом отдаться любовным сумасбродствам. Только что купленный ошейник был прочен; и как ни рвался мой бедняга с цепи, как ни выворачивался, пытаясь лапами через голову сдёрнуть его с шеи, всё впустую. Обессилев, Макс взобрался на плоскую крышу своей конуры, прислонённой к забору, и стал жадно следить сквозь щели между досок за происходящим в соседнем огороде. А посмотреть было на что! К собачьей своре, кружившей по ограде, присоединились и трое изгнанников. Наскоро зализав свои рваные раны, теперь, в отсутствие сильнейшего соперника, они по очереди гуляли с Куклой. Макс с болью в своём простодушном сердце видел, как его миниатюрная возлюбленная, ещё какую-то ночь назад допускавшая до себя лишь его одного, сейчас оделяла благосклонностью и почти моментальной сговорчивостью всех подряд. Про таких у людей говорят: пошла в тираж.

Ещё около двух дней продолжались эти игрища. И всё это время мой пёс страдал. Ни разу он не притронулся ни к сахарным косточкам, ни к наваристой похлёбке. Ни разу никому из домашних не вильнул хвостом, не приластился. Такого с ним не бывало никогда за шесть лет, со щенков, жизни в моей усадьбе.

Сначала он, видя, что вытворяет изменщица-Кукла с бесчисленными своими ухажёрами, неистово лаял и в бешенстве грыз штакетник. Потом жалобно и тонко завыл, безутешно оплакивая свою любовь, а затем как-то разом затих, и уже молча и неотрывно смотрел жёлтыми горящими глазами на последние акты собачьего спектакля. И следующие дня три после этого пёс не находил себе места, бродя понуро по своей привязи. Лишь однажды, заметя в соседском огороде пресыщенную и уже оставленную мохнатыми ухажёрами Куклу, Макс было встрепенулся, как-то судорожно вильнул хвостом и виновато опустил глаза. Пёс, мой бедный, доверчивый и неопытный пёс, как я понял, испытывал угрызения совести оттого, что якобы не уберёг и не защитил свою возлюбленную Куклу от назойливых приставаний лохматых бродячих охальников!

К слову сказать, с подобным мне приходилось встречаться и у людей, в особенности это касалось молодых и доверчивых, горячих и простодушных.

ПИХТОВОЕ МАСЛО И ЧЁРНЫЙ МЕДВЕДЬ

Снежный наст, по-местному – чарым, в логу пока ещё отменно держал. Мы с товарищем почти синхронно скрипели камусом широких охотничьих лыж, взбираясь среди белых, с чёрными штрихами берёз на поперечное седёлко отрога, за изгибом которого на выпуклой поляне под горой Гребнюхой, у незамерзающего студёного ключа под пихтой возвышался тёплый

леспромхозовский вагончик, с намертво вросшими в землю колёсами. Между вагончиком и ручьём – рубленая в лапу, сейчас по крышу в сугробе, баня. Дверца в неё была отрыта, и к ней спускались широкие ступеньки. Такие же обледенелые, с насечками, ступени за баней сбегали к плацам на бережок круглогодовой запруды. На календаре двадцатые числа апреля, а здесь в алтайских горах будто бы середина февраля. Этот несказанный уголок – поселье Владимира Николаевича, идущего впереди с огромным, забитым продуктами, рюкзаком. У меня за спиной тоже рюкзак с хлебом, двенадцать свежих пшеничных булок.

По приходу на место мы их переложили в специальный брезентовый мешок и подвесили для сохранения, чтобы мыши не могли добраться, в продуваемом тенистом и холодном углу, отдыхающей до схода снегов летней кухни. Там пышные булки к утру вымерзнут (ночью мороз 10-15 градусов), станут как камень, а по надобности выберешь любую из них, занесёшь в натопленный вагончик хоть через неделю, хлеб оттает и будет как свежий, да такой пахучий и вкусный, что не наешься!

Вокруг поселья на склонах и в распадках ярко зеленеют высокие пушистые столетние пихты. Сочные, облитые весенним солнечным светом, особенно хороши эти таёжные красавицы после полудня, когда и сами сугробы, и подтачивающий их говорливый, искристый ручей, и утонувшие в снегу по крыши вагончик и баня, а также синее небо над ними будто оплывают, смягчаются, и в потеплевшем воздухе всё это становится зыбким и видится словно сквозь прозрачную призму, то удаляясь, то приближаясь, когда ты, взобравшись на вытаявшую и прогретую полянку на горе, осматриваешь с высоты весь этот лесной уголок.

Несколько в стороне от вагончика бревенчатый сруб с железной трубой на крыше, рядом с ним два огромных бака-резервуара, каждый вместимостью не менее трёх кубов. И сруб, и баки соединены между собой металлическими трубами, причём один резервуар, предназначенный для лапки, герметично закрыт съёмной подвижной крышкой, обтянутой брезентом с проложенным поролоном, другой открыт, и в нём поблескивает верхняя часть толстого змеевика из нержавейки. Внутри сруба водогрейная печь внушительных размеров, в зев которой свободно помещаются метровые чурки и поленья. В брёвнах западной стены прорублено небольшое отверстие, из него торчит медная трубка, а земляной пол под нею углублён и ровно закруглён, видно, что под ведро. На грубо сколоченных нарах в углу тридцатилитровая капроновая бадья с краном сбоку внизу.

Цель нашего нынешнего прихода – возгонка пихтового целебного масла, используемого при дезинфекции и заживлении ран, как ингалятор при астме, а ещё оно знатно влияет на самочувствие, когда хоть капельку его плеснёшь с водой на каменку в парной. А добрая русская баня – это наша с Николаичем слабость, без неё мы никуда. Вот и сейчас, пока топится банька, я на очищенной от снега полянке тюкаю ладным, с длинным топорищем, колуном напиленные загодя и сваленные в бурт пихтовые, осиновые и берёзовые чурки. Удар – и налипшие комья смёрзшихся опилок весело разлетаются, иногда вместе с полукольцами стылой коры. Ещё удар с оттяжкой – и сухая чурка со звоном разваливается надвое. Когда нарастёт копёшка наколотых поленьев, я, давая отдохнуть мышцам на плечах и спине, перетаскиваю дрова и складываю в поленницу у стены пихтоварки – оттуда сподручнее их брать для прожорливой печи. Заготавливать надо много, на выпарку заложенной лапки уходит 17-19 часов.

Сегодня отдохнём с дороги: попаримся, окунёмся в прорубь, попьём чайку на травах, и пораньше ляжем спать, а завтра, с первым светом, по отвердевшему за ночь насту взберёмся на поросший пихтачом гребень продольной к поселью горы. Тропинку в сугробах, пока я разминаюсь с колуном, топчет Николаич, заодно присматривая пихты с пригодным для варки лапником.

Утром, одевшись теплее, карабкаемся в гору. Впереди Николаич, в стёганой фуфайке, за страховочным, наподобие монтёрского, ремнём, на поясе прилажен топорик, в рукавицах свитая верёвка и ножовка. У меня в руках только верёвка. Доходим до места. Я оглядываю уходящие в бездонное небо пушистыми пирамидами красавицы пихты. И мне становится не по себе: через день-другой мы обкорнаем, оголим волнистые, слегка загнутые низа этой первозданности, нарушим естественный ход таёжного бытия.

– Владимир Николаич, а тебе не жалко гробить всю эту красоту?

– А кто сказал, что я её гроблю? – вопросом на вопрос ответил Николаич. Задумался на секунду и продолжил: – Здесь рядом есть один участок. Пойдём, глянем. И ты всё поймёшь.

На вершине снег подсел, идти не так убродно, и через некоторое время мы без труда спустились на противоположный покатый склон, заросший густым пихтачом, глядеть на который было больно – столько открылось нашим взорам вывернутых с корнем или переломленных, как спички, вековых деревьев. Иголки на многих из них были ржаво-жёлтыми, но встречался и свежий, с изумрудным лапником, ветровал.

– Заметь, ветки у этих бедняг тянутся чуть ли не от корня, – Николаич указал рукой на ближние поваленные стволы. – Что, как известно, чрезвычайно повышает парусность дерева, и при резком порывистом ветре его калечит и ломает в первую очередь. А сейчас мы завернём за утёс на мою позапрошлогоднюю деляну, это рядом, и ты сравнишь этот лес и тот.

Пихтач за утёсом предстал перед нами таким высоким, светлым и праздничным, что я невольно замурлыкал вполголоса мотив из популярной детской песенки, что-то вроде – «вместе весело шагать по просторам...», а всё из-за стройных, оголённых почти на две трети стволов, увенчанных пышными зелёными кронами.

– Этой пихтовой роще не страшны никакие ветра и даже бури, – Николаич подошёл к ближнему к нам столетнему могучему дереву и дружески похлопал по смолистому стволу. – Ну, что, лет двести ещё проживёшь? – И сам себе ответил: – А запросто. Потому что, удалив нижние лапы, я срезал его будущие болезни. Тот же грибок, всевозможные лишаи, как и другие заразные микроскопические поры и паразиты, они ведь с земли, со мхов перебираются через ветки на стволы, и душат, губят этих богатырей за год или два. Видишь, как всё просто. Заготовка лапок – и нам выгода, и лесу польза. Ну, как говорится: соловья баснями не кормят. Полез я на пихту.

Уцепившись за толстые ветви, Николаич подтянулся и ловко начал пробираться вверх по дереву. Я, заломив шапку на затылок, с любопытством наблюдал, как он достиг головокружительной высоты, пристегнул к стволу страховочный пояс, и, отпиливая и сбрасывая лапник, стал деловито спускаться по стволу. Со стороны могло показаться, что работает он медленно, но уже через десять минут я собрал первую вязанку лапок, перетянул покрепче и, впрягшись, потащил её в распадок, к пихтоварке. Когда поднялся назад, вокруг дерева наросла такая роскошная хвойная борода, что я теребил её до обеда, и мне понадобилось восемь ходок, чтобы всё это богатство

спустить вниз. За день Николаич облазил шесть высоченных пихт. Ближе к вечеру он присоединился ко мне, и нам удалось дотемна всю напиленную лапку доставить на место.

Признаться, такой работоспособности и выносливости, какой обладал Николаич, я у людей не встречал, а если учесть, что ему, как и мне, уже давно за пятьдесят, то я могу только удивлённо развести руками. Знакомые ребята рассказывали, как однажды на поселье наведались молодые ребята и девушки отдохнуть, да и кое в чём помочь. Был среди пришедших и двухметровый крепыш, бывший десантник, ударом жёсткой ладони запросто кирпичи ломал. Так вот, посмотрел он, как сноровисто Николаич управляется с лапкой, и, куражась перед девчонками, вызвался опилить за день не менее пятнадцати пихт. Сначала дело у десантника заспорилось – пару деревьев он обработал так ловко, что только лапник летел в разные стороны. А вот на третьей пихте парень сдулся, как майский шарик, и виновато слез наземь: «всё, дескать, пилите сами, я вам не нанимался скакать здесь обезьяной!». Но, говорят всё те же знакомые, с той поры Николаича шибко зауважал. И при случае всегда передавал тому приветы, однако на поселье больше – ни ногой.

Или другой характерный случай. Работал тогда Владимир Николаевич у одного местного лесозаготовителя, намечал и торил в тайге дороги к предполагаемым вырубкам. Как-то раз в январе пробивали они вдвоём с бульдозеристом путь от верхнего склада на новую деляну. Трактор заглох, и пока напарник, ища поломку, ковырялся в двигателе, Николаич, повесив на плечо бензопилу, решил свалить две могучие осины, метрах в двадцати впереди преграждавшие путь. Спилил одно дерево, отоптал вокруг другое, на глаз прикинул куда валить, и зубья «Дружбы», жужжа, впились в податливый осиновый луб. Казалось бы, дело привычное, сколько за жизнь повалено перестоянного леса, но ещё ведь из дальних веков к нам докатилось: и на старуху бывает проруха. Осина повалилась по заданному направлению, здесь бы ей и шмякнуться замертво, поднимая снежную пыль, да только вот не учёл Николаич не примеченную им упругую шапку, укрытой в сугробе рябины, а она возьми да и спружинь. Лесина подпрыгнула и комлем смяла Николаича в сугроб. Не поленись, натопчи он вокруг осины площадку пошире, было бы куда отскочить и спасти правую ногу от беды. А теперь полёживай, придавленный спиленным деревом, да рассматривай свой подшитый валенок, подошвой неестественно торчащий в небо из-за округлого, с рифлёной белёсо-желтоватой корой, ствола. В горячке первых мгновений боли не почувствовалось, но здесь же будто электрический разряд ударил во вдавленное в снег колено, в голове мелькнуло: неужели чашечку раздробило? Сжав зубы, Николаич принялся разгребать сугроб под сваленным деревом, и, пересиливая нестерпимую боль, стал освобождать пространство под повреждённой ногой, пробуя вытащить её из-под осины. Краем уха он услыхал характерный, постукивающий рокот, значит, напарник устранил поломку – это хорошо, а плохо то, что теперь, хоть кричи, хоть свисти – из-за рёва двигателя он тебя не расслышит и – помощи ждать неоткуда, надо самому ползти навстречу бульдозеру эти проклятые двадцать метров.

Только к ночи попал тогда в приёмное отделение городской больницы Николаич – с деляны везли его сначала на тракторе, потом на УАЗИКе и «Скорой помощи». Оказалось, что кости, слава богу, целы, зато коленные

связки жестоко разорваны. Операцию под наркозом делали три часа, потом загипсовали повреждённое колено и посулили на дальнейшую жизнь костыли, однако Николаич уже спустя неделю едва не был выписан досрочно за нарушение больничного режима, потому что на этих самых костылях носился сломя голову не только по просторным коридорам, но и по широким мраморным лестницам. Может быть, врачи отнеслись к порывистому больному иначе, если бы знали жизненную установку Николаича, которая гласила: «Стоит только полюбить свою болезнь, и она тебя прикончит!». Золотые, проверенные временем, слова.

Тяга была превосходной, огонь в паровой печи гудел, пихтовое масло вперемешку с охлаждённой в змеевике жидкостью струйкой стекало из трубки в ведро. Я лишь успевал опрокидывать очередное ведёрко в пластмассовую бадью, где по верху красноватой воды плавало лёгкое, в толщину с ладонь, нагнанное масло. Когда в бадье набиралось больше половины, подставлял под краник свободную посуду и, сцедив воду, относил на улицу, там, взобравшись по приставленной к баку пологой лестнице, выливал эту напитанную целебной хвоей жидкость на змеевик. По доброй традиции после того, как закончим варку, для восстановления сил не раз окунёмся в этот бак. А пока работа в самом разгаре. За те четыре дня, что мы опиливали и стаскивали с горы лапку, на солнцепёках сугробы почти истаяли, хотя на северных склонах они ещё округло выпирали и пористыми льдистыми широкими дорожками уползали вверх в предбелковье, на лесистый гребень Лохматухи. Ручей от талых вод помутнел и разлился, на проталинах из примятой прошлогодней травы выбились голубоватые колокольчики кандыков и белые лепестки подснежников, кое-где на полянах желтели, набранные в пучок, миниатюрные граммофончики первоцвета. Лапки было заготовлено примерно на девять закладок, в общем, вышел средний стог, который мы теперь теребили и перебрасывали навильниками в неуспевающий остывать закладочный бак. Чуть в сторонке от места опрокида использованного сырья нарастала ржавая копна выпаренных до черноты пихтовых веток.

И сегодня ласковое солнышко как всегда выкатилось из-за опоясанного лентами пихтача склона и, отталкиваясь от зазубренных верхушек деревьев и на мгновенье даже оплавляя их, стало ходко подниматься в небо. Плеснув на лицо студёной водички из ручья, я взялся за колун: коль выдалась минутка – надо подколоть свежих полешек. К работе располагали и утренний холодок от оплывших сумётов, и тёплые золотистые солнечные лучи, и особенно птичий гомон; непередаваемое многоголосие такими узорами расшивало проснувшуюся тайгу, что невольно хотелось подпевать неутомимому пернатому хору, однако ж я стеснялся своим хриплым басом испортить эту слаженную песню жизни. Поэтому молча колол и слушал. Вдруг ухо моё чутко уловило отдалённый шум мотора со стороны лога, которым ещё недавно скользили по лыжне и мы. Николаич, очищавший опрокинутый бак от подгоревшей лапки, наверное, тоже услышал этот шум, потому что воткнул вилы в подтаявший снежный бруствер и направился ко мне.

– Кого это в гости несёт спозаранку? – продолжая выкладывать колодцем наколотые поленья, обратился я к Николаичу.

Тот пожал плечами.

– Вроде бы никто не обещался. Подъедут, увидим, кому мы понадоби-

лись. Я пока схожу в дом, подкину в печь дров, да заварю свежего чая. А ты уж здесь встречай гостей.

Между тем рокот нарастал и через десять минут из-за скалистого утёса метрах в ста ниже нашего поселья вынырнули три снегохода и по тенистым пойменным сугробам под горой понеслись прямо на меня. Не доезжая до стога с лапками, они лихо развернулись и встали друг за дружкой в шеренгу. Почти одновременно заглушили моторы, однако покидать обитые серыми волчьими шкурами сиденья никто пока не торопился. Громко поздоровались, я дружелюбно ответил, а тут и Николаич подошёл.

– Доброе утро, Виталий Викторович! Привет, ребята! Там чаёк дозревает. Идёмте в дом, угощаю.

– Спасибо, Владимир Николаевич! Но в другой раз – торопимся мы: за день надо успеть обследовать вершину белка Синюхи, а кому, как ни тебе, знать, насколько она труднодоступна из-за своих многочисленных террас и курумников. Может быть, на обратном пути почаёвничаем.

Плотный, в меховой куртке и унтах, мужчина средних лет говорил вроде бы всё правильно и складно, но чувство настороженности холодной змейкой закрадывалось в мою душу. И оно окрепло, лишь только я рассмотрел торчащий дулом вверх из багажника среднего «Бурана» охотничий карабин и выглядывающую из-за спины одного из спутников говорящего двустволку двенадцатого калибра. Обожгло – эти упакованные архаровцы наверняка наладились по душу нашего чёрного медведя. И не помешать ведь! А если они его выследят и подстрелят, то виноват в этом злодеянии буду только я один. Кто просил меня расписывать в красках с почти точным указанием места обитания этого гиганта и потом печатать этот злополучный очерк в местной газете. Знаю ведь здешний народ, родился и вырос среди промысловиков-охотников. Конечно, те, знаменитые на весь Рудный Алтай добытчики соболя и прочего пушного зверя были людьми старой сибирской закваски, баловства ради стрелять медведя ни за что не стали бы, а нынешние, и не охотники вовсе они, так браконьеры с должностями, однако вреда природе наносят неисчислимого. У таких и оружие первоклассное с оптикой, и даже вертолёты в распоряжении бывают.

Замешкиваться на поселье вездеходники не стали, и уже вскоре рёв снегоходов растаял в перелесках предбелковья.

– Точно ведь угробят твои знакомые нашего медведя, – я с размаху расколол надвое осиновую чурку. Запахло аптекой. – И вообще, кто это такие? Если судить по экипировке, небось, какие-то шишки?

– Да, Виталий Викторович – директор пригородного лесхоза. С ним главный лесничий и технолог леса. Я тоже сразу понял, зачем они на Синюху подались. Да только всё это пустые хлопоты – медведя им не достать. Он сейчас пасётся где-нибудь в отрогах, на вытаявших полянках между останцев лакомится прошлогодней травкой, разоряет проснувшиеся муравейники внизу. Ты же слышал, как они грохочут, он по любому уйдёт от этих горе-охотников. Да и наш медведь осторожный – что об этом говорить. Сам всё помнишь.

Пасмурным сентябрьским деньком взобрались мы тогда на поросшее тундровым, с кривыми переплетёнными стволами, березняком плато с двумя величавыми, похожими на средневековые крепостные башни, каменными останцами, за которыми огромными скалистыми разводьями к вершине Синюхи тянулись причудливо изогнутые террасы и цирки. Под накренен-

ной, вросшей в песчаник, скалой у Николаича была припрятана походная посуда: подпалённый по бокам зелёный чайник, пара эмалированных кружек и алюминиевых ложек. Разожгли костёр, придвинули с двух сторон толстый слоистый плитняк, я сходил с порожней посудой на указанный Николаичем ключ в лощине, зачерпнул студёной прозрачной воды и водрузил шипящий чайник на огонь. Николаич тем временем пробежался по россыпям, в зарослях чёрной смородины отыскал не увядшие листья, по пути назад под скалами наломал черничных стебельков с частой мелкой листвой и фиолетовыми поспевающими бусинками ягод, и всё это, приподняв крышку, засыпал в закипающий чайник. Спустя минуту, сняв кепку, и используя её как прихватку, поставил чайник на песчаник рядом с костром – настаиваться. И мы в ожидании пока ароматный напиток дойдёт, наконец-то осмотрелись.

За нами – не лазомые стены останцев, по ним кое-где из расщелин тянулись ввысь белые стволы молоденьких берёзок, обрамлённые коричневыми ветками с редкой жёлтой листвой, да на одном карнизе, как на могучей ладони, красовалась изящная, с изумрудными переливами, юная пихточка. По правую руку от нас, сквозь негустой кедрач, расположившийся на щедро усыпанных палой хвоей плоских базальтовых плитах, проглядывали циклопические каменные нагромождения первой террасы. Ниже их наклонённое плато будто наезжало на исполосованный серыми, замшелыми россыпями довольно-таки крутой продольный склон. Плато он него отчёркивала жидкая полоска жёлто-зелёного ивняка. На самом склоне бордовыми обширными пятнами проступали островки черничника. Вообще-то он и был целью нашего нынешнего трёхчасового восхождения на белок – проведать плантации и узнать, насколько поспела ягода и готова ли она к сбору.

Из-за туч выглянуло неяркое осеннее солнце. Окрестности, просыхая, запарили тонкими, поднимающимися в небо, прозрачными струйками. Вспомнив, что обещал жене, как доберёмся до места, позвонить, я полез в карман за сотовым телефоном. И в этот миг заметил смутный силуэт всадника, неторопливо едущего вдоль обильного черничника. Про себя удивился: и не боится ведь, чудак, гнать лошадь по россыпям, по торчащим повсюду острым плитам! Попадёт одно копыто в щель, конь испугается, понесёт, а этих щелей зияет вокруг не счесть – и всё, ноги запросто переломает. Что за хозяин такой безголовый? Нашёл – куда гнать бедное обречённое животное! Чтобы лучше рассмотреть всадника, напряг зрение и понял, что насчёт лошади я крепко ошибся.

– Глянь, Николаич, вон на ту полянку, выше ивняка, однако там Хозяин. Но почему он чёрный, а не бурый, как обычно?

– Точно, он самый. Красавец! Лакомится нашей черникой!

То, что я сквозь марево принял за всадника, оказалось просто огромным и непомерно жирным загривком на спине, ближе к шее, здоровенного, безмятежно пасущегося, медведя. До него по прямой метров пятьдесят, но ветерок с вершин дул в нашу сторону, и оттого медведь нас не чуял. Но это было до того момента, пока из трубки не раздался голос жены.

– Привет! Ну, что добрались?

– Здравствуй! Да, мы на месте. Николаич тебе тоже передает привет! А рядом по склону бродит громадный медведь. Тебе, Лариса, и от него таёжный привет!

Наверное, говорил я чересчур громко, а может, и ветер изменил направление, но медведь нас заметил, повернул свою косматую голову размером со

средний телевизор в нашу сторону, и в ту же секунду резко крутнулся на месте, и со скоростью торпеды понеся вверх по россыпям. Это надо было видеть! Блестящая чёрная шерсть подвижно играла на солнце, тугие мышцы под ней ходили ходуном, загривок покачивался в такт косолапому бегу, камни и плиты разлетались в разные стороны. Хватило десяти секунд, чтобы зверь преодолел почти вертикальный склон и исчез за обрывистой бровкой террасы. Не отнимая трубки от уха, я успел по-разбойничьи свистнуть вслед убегающему медведю, на что услышал из телефона испуганное восклицание жены.

– Ты что с ума сошёл – так свистеть! Вдруг он вернётся?

– Медведь, Лариса, – не собака, чтобы на свист прибегать. Да и мы сейчас ему невкусные – кругом столько всего поспело, что мараться об нас мишка не будет, – пошутил я, прежде чем попрощаться с женой и выключить сотовый: надо было экономить зарядку, в горах из электричества – только зигзаги грозовых молний, а нам ещё здесь ночевать.

Кстати, ночь коротать нам посчастливилось на лежбище нашего нового знакомца под спаренными могучими, в два обхвата, кедрами, на постели из палых мягких иголок, с вдавленными очертаниями мощной туши ночевавшего здесь ранее медведя. Объёмистые кучи черничного помёта в одном определённом месте в кустах дикой акации, замеченные нами во время сбора хвороста на костёр, указывали не только на то, что зверь был на редкость чистоплотным и аккуратным, но и на то, что ночевал он здесь не однажды. Перед тем, как лечь спать, мы посидели у костра, любуясь трепещущими языками оранжевого пламени, и вполголоса разговаривая.

– Чёрного медведя я увидел впервые прошлой весной, когда поднимался сюда за ревенем, – Николаич пошевелил обломанный конец лежащей снизу коряги, огонь встрепенулся и выхватил из темноты раскидистый шатёр рябины на той стороне поляны. – Хотя прослышал о нём от пасечников ещё больше года назад. Их хозяйства внизу, в урочище Шаравки. Так вот, мужики говорили: раньше они не знали, как отвадить бурых медведей. Те постоянно разоряли и курочили улья, скот нещадно драли. И вдруг – тишь да благодать! Мы сперва-то, дескать, и не поняли – в чём дело? Куда подевались эти пакостники? А потом один встретил чёрного новосёла в горах, другой, ну, и догадались, что это пришелец разогнал бурых топтыгиных с занятой им территории. Примечательно, что сам он ни к скоту нашему не притрагивается, ни на точки за ульями не лазает. По всему видно, заключали мужики, – зверь этот опытный, бывалый, да и поживший на свете, на горбу-то, дескать, седина прядями. Мы, говорят, меж собой решили – коль он к нам с душой, то и мы его обижать не будем. Пусть живёт, мол. А в конце пасечники просили и меня не трогать чёрного медведя.

– А почему у него расцветка, не свойственная медведям, обитающим у нас на Алтае?

– Редко, но попадаются и такие. Конечно же, он наш, природный, а не какой-то там гималайский, – Николаич улыбнулся. – Что тут поделаешь – просто уродился таким вот богатырём да красавцем. Давай ложиться, а то завтра не проснёмся.

После этого случая Хозяина, так мы стали между собой величать чёрного медведя, больше не встречали, но вмятины следов, похожих на отпечатки босых ног с поджатыми пальцами взрослого человека, только значительнее размером, на влажной таёжной тропе попадались нам не раз. Вполне могло

статься, что он-то за нами иногда наблюдал из густых черёмуховых зарослей или из-за какого-нибудь полуразрушенного останца. Потому что, бывало, собирая совком ядрёную чернику, мне вдруг ни с того, ни с сего становилось как-то не по себе, я кожей чувствовал, что кто-то внимательно меня разглядывает, изучает. Страха не было, но некоторый дискомфорт, скажу честно, испытывал. С медведем опасны неожиданные встречи, к примеру, когда ты из-за скалы с одной стороны, а зверь – с другой, и нос к носу столкнёшься, он может с перепугу, прежде чем дать стрекоча, так махнуть лапой, что на лице не останется живого места. Ну, это как повезёт. Обычно же зверь и птица, да та же ядовитая гадюка, встреч с нами, людьми, избегают, – стараются как можно дальше схорониться и отползти от непредсказуемых двуногих, от которых ещё и воняет не по-лесному за версту. Я усмехнулся своим мыслям и понёс очередное ведёрко с маслянистой водой выливать в бак. С верхних ступенек окинул взглядом стелящийся в лесистое подножие Лохматухи лог. День давно перевалил за половину, косые солнечные лучи струились с запада и теплили всё таёжное пространство. Заметил три тёмных точки, двигающиеся в нашем направлении. Кликнул Николаича, у ручья поправляющего копну с отработанной лапкой. Он в ответ лишь махнул рукой: как спустятся сюда, встретим.

Вскоре подъехали снегоходы, но если давеча они лихо продемонстрировали свою удаль, с шиком выстроившись в шеренгу, то теперь все их движения были вялыми и в разнобой. Ещё не услышав и слова от охотников, я понял – дела их швах, и сердце моё запело.

– Как съездили? – Николаич был само внимание. – Всё, что задумали – успели сделать?

Отвечал, как и утром, Виталий Викторович. Его же спутники молчали, как воды в рот набрали, и вообще, казались безучастными к происходящему разговору.

– На вершину Синюхи не пробились – козырьки на террасах за зиму намело почти отвесные. Кедрачи по логам у останцев осмотрели, да когда уже спускались по гребню вниз, наткнулись на прикопанную в сугробе недоеденную тушу марала. – Директор лесхоза искоса бросил быстрый взгляд на меня, но обратился к Николаичу: – Наверное, постарался тот чёрный медведь, что поселился здесь недавно. Мы объехали всё вокруг, однако свежих следов косолапого не нашли. А времени караулить медведя, сам знаешь, у нас нет. Скоро стемнеет, а нам ещё до города добраться надо.

– Идёмте в вагончик, там отдохнёте, да пообедаете. Борщ ещё не остыл.

Но и в этот раз, как и утром, гости, поблагодарив за приглашение, вежливо отказались, сославшись на то, что на белке плотно перекусили и, дескать, рассиживаться им некогда.

– Ну что, Николаич, обломилось твоим знакомым с Хозяином, – обратился я к другу, счастливыми глазами провожая удаляющийся вниз по распадку маленький караван «Буранов». – Люблю нашего медведя! – и тут же тень набежала на моё лицо. – Слушай, а они не могут лучше подготовиться, прихватить ещё таких же охотников, и организовать облаву на Хозяина?

– Вряд ли. Не сегодня-завтра снег сойдёт, на машине на белок не проедешь, даже и на вездеходе, а пешком ходить эти люди давно разучились. Видел, какие «мозоли» у них на животах? Так что не по зубам начальству наш медведь.

Тёплый весенний день медленно угасал. Через открытую дверь из пихтоварки была слышна бойкая капель набегающего в подставленное ведро

пихтового масла да ровное гудение сухих поленьев, весело сгорающих в водогрейной печи. Скоро в сгущающихся сумерках на тёмно-синем атласном небе выступят платиновые узоры созвездий, а ближе к полуночи на недалёком склоне защёлкают, словно соревнуясь в исполнительском искусстве, соловьи.

Господи! Да как же хорошо и привольно мне здесь посреди несказанной алтайской благодати!

ВИШНЁВСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

* * *

Весна в этом году припозднилась основательно. В деревню я приехал в двадцатых числах апреля, но ни зелени на деревьях, ни тепла с обычно прогретой уже к этому времени степи. В бревенчатом, рубленном ещё нашими дедами, пятистенке прохладно. Я сходил к поленнице во дворе, выбрал штук пять берёзовых чурок посуше, разместил их решёткой в глубине зева русской печи, подложил под поленья желтоватый берестяной свиточек и чиркнул спичку. Дрова взялись дружно, а я с двумя оцинкованными вёдрами отправился по воду на озеро, что в низине, метрах в пятнадцати от ворот дома. Полуторакилометровая овальная линза была ещё под сине-серым, ноздреватым льдом. Ещё можно было различить колеи зимника, уходящие через озеро на ту сторону, в деревню Пески. Однако лёд уже отошёл от берега. Вот в этих замоинах, у подточенного водой широкого пня чуть ли не с век простоявшей здесь ветлы, я и решил зачерпнуть прозрачной, не забаламученной водички. Только погрузил ведёрко в воду, гляжу: а мимо, буквально в двух шагах, плывёт себе, пофыркивая, продолговатая, тёмной шерсти, в коричневых подпалинах, ондатра. Думаю: ну, дела! А взгляд машинально перевожу в том направлении, куда это водоплавающее существо держит свой путь. И натыкаюсь глазами на другого такого же зверька, только сидит он на рассыпчатом весеннем льду, в метре от зимней лунки. Сидит, наподобие суслика, поджав к груди передние лапки, и с интересом, как мне показалось, разглядывает меня. Неужели эти зверьки знают в лицо всех немногочисленных жителей Вишнёвки, и я, как человек новый в этой деревенской цивилизации им любопытен? Может, это и шутка, а может быть, так оно и есть!

Коль выдался случай, расскажу и о том, чему стал свидетелем спустя неделю, когда я, после того, как в охотку посгребал в старом садике палые листья и сухие ветки, оставшиеся от зимней вырубки, надумал сходить на берег озера. Льда уже не было и в помине. Рядом с пнём, под обрывчиком, были положены четырёхметровые, толстые доски-сходни, по-здешнему: плацы. Вот на них-то я и вышел. Благодать. Ветер, докучавший все последние дни, наконец-то улёгся. Гладь озёрная зеркальна, и в ней клубятся белосерые облака, синие изломы и колодцы неба. А глянешь по озеру вдаль, оно как матовая фольга, но фольга не застывшая, мёртвая, а подвижная, живая. Где-то ближе к середине озера четыре утки-нырка увлечённо рыбачат. Поначалу я не придал особого значения этим птицам-ныряльщикам. Меня больше интересовали две лодки на Песчанском, противоположном берегу. В каждой по одному тёмному силуэту, и сами лодки темны, видимо, это причуды расстояния – всё-таки больше километра. Лодки меж тем сближались. Стоящие в них рыбаки, а что это именно они, я угадал по характерным на-

клонам и движениям фигурок, перекликались. До меня по гладкой водной поверхности докатывались их голоса, правда, слов было не разобрать, отдельные звуки нивелировались сопротивлением нешуточного расстояния в один сплошной гул. Гул этот был одобрительных интонаций, значит, улов у рыбаков хороший.

Я перевёл свой взгляд на середину озера и обратил внимание на то ли три, то ли четыре чёрных точки на водной поверхности. Всё-таки их было четыре, а сбивало со счёта меня то простое обстоятельство, что эти точки попеременно исчезали под водой. Да это же проворные уточки-нырки ловят таким испытанным методом мелкую озёрную рыбёшку!– догадался я. Кстати, здесь на Южном Урале их называют полёвскими утками, из-за того, наверное, что живут и выводят своё потомство они в степи, в поле, а потом уже с выводком выбираются сюда, на озеро. А сейчас, надо полагать, взрослые самки после прилёта с юга пасутся на этом водном пастбище, нагуливают запас жира, так необходимый им скоро при выпаривании птенцов. Как подсчитал я, наблюдая за утками, под водой они могут находиться до минуты. Великолепные ныряльщики!

Продолжая любоваться неутомимыми птицами, я вдруг отметил боковым зрением, что водную гладь справа от меня зарябило. Повернув голову, обрадовался: прямо в мою сторону, метрах в десяти параллельно берегу, плыла ондатра. Две ребристых линии раструбом расходились по озёрной глади. Зверёк смело двигался на меня, но когда оставалось метров восемь, ондатра неожиданно нырнула под воду, и рябь улеглась. Я понял, что зверёк решил пронырнуть опасный отрезок. Что и подтвердилось, когда ондатра вынырнула метрах в шести от плацев, но уже с левой стороны от меня, и, как ни в чём не бывало, продолжила свой путь, так же красиво рассекая водную поверхность и оставляя за собой перламутровые сиюминутные барханы. Потом она аккуратно свернула к склонённой над озером иве и пропала за узловатыми корнями старого дерева.

Так вот ты какая, даль отцовская, гладь озёрная!

* * *

Позавчера ходил по грибы, которых здесь, на Южном Урале, в устланных прелой прошлогодней листвой берёзовых колках бесчисленно, только успевай переламываться в пояснице, сбирая дары позднего июля. От деревни шёл по степи, впереди бежала Кнопка, маленькая, в чёрных космах, собачка моей доброй знакомой, дальней родственницы – Анны Самойловны. На степи, как здесь принято обозначать обширное ровное поле между Вишнёвкой и берёзовыми рощами, растительность невысокая и трава негустая, хочешь – шагай по просёлочной земляной дороге, хочешь – иди степью, приминая отплодоносившие и уже подсыхающие меленькие кустики клубники, называемой здесь на свой манер «глубянкой», и распугивая тучи кузнечиков и прочих стрекочущих и поющих насекомых.

Пока мы шли, Кнопка мышковала, да так удачно она вылавливала в траве полёвок, то вертикально подпрыгивая в три своих роста, то неслышно подползая к норке, неприметной среди стеблей и брошек соцветий тысячелистника и колючего, с ярко-розовыми бутонами, татарника. За эти 15-20 минут собачка отыскала и проглотила не менее пяти зазевавшихся полевых мышей, и к лесу подбегала уже сытой.

Однако не эти обстоятельства стали причиной того, что я взялся сегодня за перо. Всё дело в стрижах. Да, в тех самых, стремительных птичках, с рас-

клешёнными, в белых юбочках, хвостиками, похожих в полете на хвалёные американские сверхзвуковые самолеты-невидимки «стелсы». Мы прошагали меньше трети степи, когда подверглись яростному нападению этих проворных и бесстрашных пичуг. Они буквально исчиркали всё пространство перед нами, порой залетали и за спину, чтобы оттуда, чуть ли не цепляя острыми коготками мои уши, проноситься, стремительно пикируя, вперед. Я уж грешным делом подумал: а не наступил ли я случайно на чей-то из них выводок, да вроде бы нет – по лугам и лесам хожу осторожно, лишний раз не хочу жучка либо мураша раздавить, или там паутину без нужды разорвать, поскольку ещё в детстве отец научил беречь окружающее нас живое. Следом мелькнула мысль, что, может быть, мы с Кнопкой просто не глянулись этим птицам. Оно ведь, бывает, и такое. Потом меня озарило: Кнопка когда-то раньше – а, как известно, она любит погонять на степи – взяла да разорила чьё-то гнездо с птенцами. Стрижи запомнили это, и теперь вот всей мощью своего дружного пернатого сообщества обрушились и на обидчицу – собаку, да за компанию и на меня, как предполагаемого хозяина.

Но весь этот ворох подозрительных мыслей и домыслов рассыпался, когда я повнимательнее присмотрелся к задиристому поведению стрижей. Всё было и обыденней и проще: птицы просто-напросто кормились. А мы с Кнопкой выполняли при этом роли загонщиков. Поясню. Я своей ходьбой, а собачка бегом, вспугивали притаившихся в траве кузнечиков, оводов, разных мушек. Те перед нами взлётывали вроссыпь, стрижи тут же хватали их, лакомились, и опять подлетали к изобильному подвижному степному столу за новой порцией. А нас они, смею предположить, рассматривали именно в качестве загонщиков и ни капельки не боялись, как не боятся охотники тех, кто загоняет им дичь и зверя.

Кажется, никогда ещё в жизни мне не доводилось бывать, пусть и невольно, и даже столь кратковременно, в должности подобного загонщика. Хотя, кто его знает. А вдруг я только лишь сегодня, в первый раз, обнаружил себя в этой роли?

* * *

На главной деревенской улице с выпуклой приподнятой песчаной дорогой, обросшей по обочинам травкой-муравкой, две неглубокие подсохшие колеи, хорошо видные из моих окон.

Я занимался каким-то незначительным дельцем в горнице, когда моё внимание привлек гусиный гогот, доносящийся сюда сквозь затворённые рамы. Глянул в окошко. Крупные серые и белые птицы, числом до двадцати, перегородив дорогу, обступили какой-то продолговатый и, как мне показалось, грязно-седоватый комок, видневшийся из ближней к дому колеи. Гуси были крайне возбуждены, некоторые из них, шипя, воинственно вытягивали свои породистые шеи, но вплотную, чтобы сразиться в ближнем бою, к этому, как я рассмотрел, колючему комку никто из птиц не приближался. Хотя агрессию, исходившую от одомашненных пернатых, я чувствовал даже через оконное стекло. Быстро обувшись и прихватив на всякий случай мухобойку с метровым черенком, я выбежал на улицу и встал шагах в трёх от гусиной стаи. Ёжик, с нанизанными на иголки обрывками черёмуховых листочков, не торопясь, двигался к обочине. Огромные, против небольшого, но задиристого и решительного на вид ежа, гуси трусливо расступались, и уже сзади, вдогонку уходящему смельчаку, угрожающе вытягивали шеи и злобно шипели, раскрывая свои оранжевые клювы. Птицы проводили бес-

страшного ежа до наших массивных ворот, где он пролез в щель между нижней поперечиной и утоптанной гравийной дорожкой и очутился внутри двора, то есть в безопасности. Я отогнал расхорохорившихся гусей, которые никак не могли успокоиться и смириться с тем, что противник взял да вот так просто и невежливо ускользнул от их щипков. Повременив, отворил ворота и вошел в ограду. Ёжика уже, конечно, и след простыл. Наверняка, он пересек травянистый дворик и, должно быть, притаился где-нибудь за пряслом, в заглохшем и заросшим дичкой и ранетом палисаднике. Что ж, и героям отдых тоже не чужд.

* * *

И ещё одно любопытное наблюдение связано у меня с деревенскими гусями. Сижу я как-то на бережку, на перевёрнутой плоскодонке загораю после купания. Жаркое солнышко, приветливые облачка в синем небе. Надо заметить, что дно в озере песчаное, полого углубляющееся к середине, словом, гигантское блюдце с пресной, чуть с прозеленью, но, тем не менее, вкусной водой. Кстати, озеро, по крайней мере, в тех местах, куда я заплывал, прогрето своеобразно: пласт – холодной, пласт – тёплой, едва ли не горячей, водички. Причем, осязаемые эти пласты и вертикально уходят в глубину, и горизонтально расстилаются по озёрной поверхности. Вот и плаваешь, бултыхаешься, перемешивая тёплые и холодные потоки, вроде приведёшь к одному знаменателю, но пока нежишься на бережку, в воде незримо проистекают загадочные процессы, она каким-то своим образом принимает прежнее состояние, и когда ты входишь в озеро, оно опять поделено на те же самые разнотемпературные пласты.

Пока я, расчерчивая прутиком пыль на земле возле лодки, размышлял над природой этого странного явления, к берегу подплыла стая домашних гусей и, довольно гогоча, выбралась на тропинку, метра на три пониже того места, где сидел я. Важно и с достоинством прошествовали эти лапчатые мимо меня в сторону деревенской улицы. Оно бы и ничего, – что я в своей жизни гусей не видывал! – да вот только один из них был какой-то неказистый, вдвое меньше этих крупных птиц, и цвет его клюва, против их, оранжевых, смотрелся серым и запылённым. Остальные гуси, видимо, от распираемой изнутри значимости, переваливаясь, вышагивали неспешно, по-губернаторски, а этот, голенастый, поспевал за ними чуть ли не вприпрыжку. Как я давно уже подметил, птичьи стаи достаточно жестоки по отношению к своим ослабленным, искалеченным собратьям, как правило, они таких заклёвывают, либо изгоняют, если тем посчастливится выжить, из своих стай. Однако этот гусь, несмотря на свой малый рост и непрезентабельный вид, держался среди устрашающе огромных птиц даже более чем на равных. И хотя он ни разу не подал голоса, но я и не заметил, чтобы кто-нибудь из гусей попытался ущипнуть или клюнуть его. А чуть позже, когда, накупавшись вволю, отправился по улице в свою ограду, то стал зрителем одного удивительного эпизода. Упомянутые гуси, отдохнув на зеленой полянке, тоже решили идти к себе домой, в загон, хорошо видимый с дороги, но только, чтобы добраться туда, как я понял, нужно теперь им пройти вдоль высокого забора и, обогнув угол, через задние воротца, выходящие в степь, попасть на скотный дворик. И вот, только стая начала втягиваться в переулок, заморыш замешкался на дороге, потом и вовсе остановился, на минутку замер, неожиданно резко взмахнул, оказавшимися необыкновенно широкими, крыльями, спокойнёхонько перелетел через высокий заплот и мягко при-

землился посерёдке скотного двора. «Вот это – да! Ну и мелюзга пошла!» – подумал я уважительно.

Вечером, заглянувший на огонёк в мою горницу, сосед пояснил, что гусь этот не совсем обычный: весной мальчишки ходили рыбачить на дальнее Шустовское озеро, и там, в прибрежных камышах, поймали одинокого дикого гусёнка, принесли в деревню, а тут как раз и у гусыни стали вылупливаться свои птенцы. Под шумок подсунули ей и этого полёвского сиротинку. Гусыня приняла, и он прижился, не улетает. И что интересно, по характеру этот дикий гусь намного миролюбивее домашних, но вместе с тем, он более независим и самостоятелен.

Вот так и мы. В стаях своих смотримся вроде крупнее, считаем себя значительными и важными, раздуваем не по размеру свои мнения, а на поверку получается так, что, даже обладая крыльями, не можем распорядиться ими, не умеем оторвать себя от своей приземленности. Но, к счастью, исключения тоже случаются.

ВНИМАНИЕ – ПОДПИСКА!

Дорогие авторы и читатели!
Наше издание объявляет подписку на журнальное приложение к газете «День литературы» с редакционной рассылкой по России.
Для жителей Москвы и Подмосковья возможна подписка по минимальной цене с получением журнала напрямую в редакции.
В том и другом случае нужна ваша Заявка.
Форма Заявки:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Адрес проживания (с индексом);
3. Ваш телефон или электронный адрес;
4. Указание вида подписки: получение через редакцию напрямую или рассылка по почте.
Стоимость подписки – индивидуальная, со льготами (от 150 до 250 рублей).
Объём журнала – до 400 страниц формата А4, выпуск – ежеквартальный.
Наш электронный адрес: denlitera@yandex.ru
Телефон для справок: 8 916 015 80 69 (пн.- чт., с 12 до 17 ч.).

РЕДАКЦИЯ ДЛ

Утвержден:
- IX съездом Союза писателей России
14 июня 1994 года;
- X съездом Союза писателей России
20 мая 1999 года (с дополнениями и изменениями);
- XIV съездом Союза писателей России
22 октября 2013 года (с дополнениями и изменениями).

У С Т А В
Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»
Москва – 2013 год

Статья 1. Общие положения.

1.1. Общероссийская общественная организация «Союз писателей России» (далее – Союз) является общероссийским общественным объединением писателей.

1.2. Союз с момента его государственной регистрации является юридическим лицом.

Союз имеет самостоятельный баланс, обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать имущественные права и нести обязанности, заключать сделки, быть истцом и ответчиком в судах, имеет расчетные, валютные и иные счета в банках и иных кредитных организациях, круглую печать, штамп, бланки со своим наименованием, эмблему, символику и другие реквизиты, утверждаемые и зарегистрированные в установленном порядке.

1.3. Союз в своей практической деятельности руководствуется Конституцией, законами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Союз действует на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности.

1.5. Деятельность Союза осуществляется на территории Российской Федерации, через свои структурные подразделения (региональные отделения, региональные писательские организации), создаваемые в субъектах Российской Федерации.

1.6. Собственником имущества является Союз. Каждый отдельный член Союза не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Союзу.

Структурные подразделения, действующие на основе Устава Союза, а также на основе своих Уставов, согласованных с Союзом, не имеют прав собственности на долю имущества, принадлежащего Союзу.

1.7. С момента государственной регистрации Союза его постоянно действующий руководящий орган – Правление осуществляет права юридического лица от имени Союза и исполняет его обязанности в соответствии с Уставом.

1.8. Полное наименование Союза: Общероссийская общественная организация «Союз писателей России».

Сокращенное наименование: Союз писателей России.

1.9 Место нахождения Правления Союза: 119146, г. Москва, Комсомольский проспект, дом 13.

Статья 2. Цели, задачи, деятельность и обязанности Союза.

2.1. Союз имеет своей целью объединение писателей России в творческое содружество для создания условий их профессионального роста, а также для защиты законных прав и интересов писателей.

2.2. Основными задачами Союза являются:

- сохранение единого культурного, литературного и информационного поля в Российской Федерации;
- содействие сохранению и развитию русского языка и литературы, а также языков и литератур других народов многонациональной Российской Федерации; удовлетворению потребностей народов мира, желающих приобщиться к русскому языку и литературе;
- создания условий для реализации творческих способностей членов Союз и начинающих писателей;
- укрепление творческого содружества писателей Российской Федерации, а также других стран мира;
- выработка инициатив для принятия на государственном и региональном уровне законодательных решений по улучшению отечественного книгоиздания, переводческого дела, оплаты авторского труда писателей, оказание им социальной и иной поддержки;
- организация акций и мероприятий, направленных на пропаганду достижений классической и современной отечественной литературы;
- забота о сохранении литературного наследия, помощь молодым писателям;
- обмен опытом писателей субъектов Российской Федерации с писателями зарубежных стран.

2.3. Для реализации уставных целей Союз в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующую деятельность:

- сотрудничает и взаимодействует с государственными органами, органами местного самоуправления, другими творческими союзами, политическими партиями, общественными, религиозными, учебными, научными и другими организациями по вопросам литературы, культуры и искусства, духовно-нравственного развития общества, воспитания подрастающего поколения;
- формирует и укрепляет материальную и финансовую базу, создает издательства, учреждает средства массовой информации – газеты, журналы, радио- и телестудии; ведет рекламную и информационную деятельность; участвует в конкурсах на получение грантов из государственных источников, привлекает для этих целей средства спонсоров, меценатов и благотворителей;
- организует проведение литературных конкурсов, Дней российской литературы в регионах страны, учреждает литературные премии, почетные звания для своих членов;
- организует и проводит конференции, семинары, симпозиумы, лекции, консультации по тематике Союза;
- добивается повышения общественного статуса писателя, достойной

оплаты его литературного труда, обеспеченной старости; осуществляет международные связи;

- вправе создавать свои структурные подразделения – организации, отделения, филиалы, представительства;

- вправе создавать хозяйственные товарищества и общества, иные хозяйственные организации, обладающие правами юридического лица;

- вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с гражданским кодексом и другими законодательными актами Российской Федерации, внешнеэкономическую деятельность;

- вправе осуществлять благотворительную деятельность.

2.4. Осуществление лицензируемых видов деятельности возможно только после получения соответствующих лицензий в установленном законом порядке.

2.5. Союз обязан:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами;

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества, или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Союза в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;

- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных объединений, на проводимые Союзом мероприятия;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Союз отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.

2.7. Союз не отвечает по обязательствам государства, государство не отвечает по обязательствам Союза.

Статья 3. Членство в Союзе. Права и обязанности членов Союза.

3.1. Членами Союза могут быть граждане Российской Федерации, подготовленные к профессиональной литературной деятельности, на практике проявившие свои литературные способности как авторы или переводчики, выпустившие печатные, или реализовавшие на сцене, в кино, на телевидении и радио прозаические, поэтические, драматургические, публицистические, литературно-критические, литературоведческие работы или литературные сценарии.

Принятые в члены Союза лица обязуются выполнять требования настоящего Устава, решения высших органов Союза и активно участвовать в деятельности Союза, состоя на учете в одной из его региональных организаций.

Иностранные граждане, лица без гражданства, создавшие литератур-

ные произведения на русском или ином другом языке Российской Федерации, вступают в Союз на общих основаниях.

Членами Союза также могут быть общественные писательские организации-юридические лица, союзы и т.п., признающие устав Союза и желающие участвовать в его деятельности.

Члены Союза имеют права и исполняют обязанности в соответствии с требованиями норм настоящего Устава.

3.2. Прием в члены Союза осуществляется региональными писательскими организациями (или региональными отделениями) на общих собраниях. Решение о приеме в члены Союза принимается открытым голосованием и считается вступившим в силу, если за него проголосовало более половины состава членов, состоявших на учете в региональной писательской организации (или региональном отделении) Союза.

Региональные писательские организации (отделения) могут осуществлять прием в члены Союза на заседаниях своих постоянно действующих органов, если такая норма содержится в их уставах.

3.3.Вступающие в Союз представляют в региональную писательскую организацию (отделение) по месту своего жительства:

- письменное заявление;

- опубликованные литературные произведения, отзывы прессы и другие материалы, свидетельствующие об общественном признании этих произведений;

- рекомендации трех членов Союза, лично знающих рекомендуемого и его творчество, а также имеющих стаж пребывания в Союзе не менее 5-ти лет.

3.4. Региональные писательские организации (отделения) направляют в Приемную комиссию Союза писателей России приемное дело и выписку из решения собрания (заседания высшего постоянно действующего органа), карточку персонального учета принятого в Союз.

3.5. Приемная комиссия Союза писателей России на своем заседании рассматривает приемное дело кандидата, принимает по нему свое решение и выносит его на утверждение Правления.

Приемная комиссия действует на основании Положения, утвержденного Правлением Союза писателей России.

В особых случаях при наличии значимых творческих достижений, а также по результатам всероссийских творческих конкурсов и семинаров, Правление вправе самостоятельно решить вопрос о приеме таких лиц в члены Союза писателей России.

Писатели, принятые в таком порядке в члены Союза, становятся на учет в региональной писательской организации (или отделении) по месту жительства.

3.6. Прием граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей, иностранных граждан рассматривается напрямую Приемной комиссией.

3.7. Лица, принятые в Союз, уплачивают вступительные и ежегодные членские взносы. Им выдается членский билет единого образца. Размер и порядок внесения вступительных и членских взносов устанавливает Правление.

3.8. Члены Союза имеют право:

- избирать и быть избранными в руководящие органы Союза и Ревизионную комиссию;

- участвовать в проводимых Союзом мероприятиях;
- пользоваться правовой, социально-экономической и иной помощью Союза;
- пользоваться льготами, установленными для членов Союза, порядок и условия их предоставления определяется Правлением;
- участвовать в решении всех вопросов, связанных с деятельностью Союза;
- контролировать деятельность руководящих органов Союза в соответствии с Уставом;
- получать информацию о деятельности Союза.

3.9. Члены Союза обязаны:
- активно содействовать реализации целей Союза;
- своевременно оплачивать вступительные и членские взносы, размер которых устанавливается Правлением;
- избегать действий, способных нанести ущерб Союзу.

3.10. Членство в Союзе прекращается:
- при добровольном выходе из состава членов Союза;
- при исключении из состава членов Союза.

Член Союза, желающий добровольно выйти из его состава, письменно извещает об этом Правление.

Член Союза может быть исключен из его состава Правлением, если его деятельность противоречит Уставу Союза.

Член Союза, не согласный с исключением его из состава членов Союза, может обжаловать это решение в адрес Съезда, решение которого является окончательным.

3.11. Союз не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Союза не отвечают по его обязательствам.

Статья 4. Органы управления и контроля Союза, его структура.

4.1. Высшим органом управления Союза является съезд, созываемый раз в пять лет.

4.2. Решение о проведении очередного съезда принимается Правлением Союза и объявляется в печати не позднее 90 дней до даты проведения съезда.

4.3. Внеочередной съезд Союза может быть созван по инициативе 2/3 списочного состава членов Правления, либо по требованию 1/3 региональных писательских организаций(отделений). Дата проведения внеочередного съезда объявляется в печати не менее чем за 60 дней.

4.4. Норма представительства на очередной и внеочередной съезды определяется Правлением Союза. Съезд правомочен, если на нем присутствует более половины избранных делегатов, представляющих более половины региональных писательских организаций и региональных отделений.

4.5. К компетенции Съезда относится решение следующих вопросов:
- утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений;
- определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования его имущества;
- избрание сроком на пять лет Правления, Председателя Правления, Ревизионной комиссии, Председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решение о ликвидации и реорганизации Союза;

- утверждение отчетов Правления, Ревизионной комиссии.

Вопросы, предусмотренные абзацами вторым – пятым настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции Съезда.

4.6. Решение Съезда принимается большинством голосов делегатов, присутствующих на съезде. Решения по вопросам исключительной компетенции Съезда принимаются 2/3 голосов присутствующих на Съезде делегатов. Форма голосования определяется Съездом.

4.7. В период между Съездами деятельностью Союза руководит Правление, которое является постоянно действующим коллегиальным органом. Число членов Правления - не более 52-ти человек.

4.8. Правление правомочно, если на его заседаниях (пленумах) присутствует более половины избранных членов Правления. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Заседания Правления проводятся не реже одного раза в год. Внеочередные заседание Правления созываются по инициативе Председателя, либо по требованию не менее 2/3 членов Правления. Председательствует на заседаниях Председатель Правления.

4.9. Правление, как коллегиальный руководящий орган:

- осуществляет права и обязанности юридического лица от имени Союза;
- разрабатывает и утверждает планы и программы для выполнения решений Съезда;
- создает постоянно действующие комиссии (секции, советы), за исключением Ревизионной комиссии, и утверждает их состав;
- принимает решение о создании и ликвидации структурных подразделений (региональных отделений и организаций) и координирует их деятельность;
- принимает в состав членов Союза и исключает членов Союза из его состава;
- утверждает годовые сметы доходов и расходов, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс, финансовый план Союза и вносит в него изменения;
- принимает решение о создании отделений, филиалов и представительств Союза; принимает решение об участии в других организациях;
- принимает решение о создании хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций;
- утверждает по представлению Председателя сроком на пять лет первых заместителей и заместителей Председателя Правления из числа членов Правления;
- утверждает по представлению Председателя Правления главного бухгалтера;
- избирает делегатов (представителей) для участия в работе высших органов управления организаций, членом или участником которых является Союз;
- решает иные вопросы деятельности Союза, не входящие в компетенцию Съезда.

4.10. Председатель Правления Союза:

- постоянно руководит деятельностью Союза;
- осуществляет руководство Правлением;
- без доверенности представляет интересы Союза в отношениях с го-

сударственными, общественными и иными организациями и физическими лицами в Российской Федерации, так и за рубежом:

- распоряжается имуществом и средствами Союза в пределах утвержденной Правлением сметы;
- заключает сделки и совершает иные юридические действия от имени Союза;
- распределяет обязанности между членами Правления и постоянно действующими комиссиями (советами);
- открывает расчетные и иные счета в банках;
- представляет на утверждение Правления кандидатуры первых заместителей и заместителей Председателя из числа членов Правления, главного бухгалтера;
- выдает доверенности;
- определяет компетенцию своих заместителей и штатных сотрудников аппарата Правления;
- представляет Съезду отчет о деятельности Правления;
- издает приказы, распоряжения, утверждает положения, инструкции и иные локальные нормативные акты в пределах своей компетенции;
- обладает правом первой подписи;
- принимает на работу и увольняет штатных сотрудников Союза, определяет их должностные оклады, распределяет между ними служебные обязанности, утверждает штатное расписание;
- решает иные вопросы деятельности Союза, не входящие в компетенцию Съезда и Правления.

В случае временного отсутствия Председателя его обязанности исполняет один из его заместителей в соответствии с приказом Председателя Правления.

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правление в двухмесячный срок (60 дней) созывает внеочередной съезд в соответствии с положением настоящего Устава.

4.11. Союз осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтерию и статистическую отчетность в установленном порядке и несет ответственность за ее достоверность.

4.12. Правление Союза информирует ежегодно региональные писательские организации (отделения) об итогах работы за год.

4.13. Ревизионная комиссия Союза состоит из 5 человек и Председателя, избирается на Съезде Союза открытым голосованием сроком на 5 лет. Ревизионную комиссию Союза возглавляет Председатель Ревизионной комиссии, избираемый на съезде из числа членов Ревизионной комиссии сроком на 5 лет.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль над всеми видами финансово-хозяйственной деятельности Союза и созданных им хозяйственных товариществ, а также контролирует соблюдение Устава руководящими органами Союза.

Ревизионная комиссия не реже 1 раза в год проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности, дает заключение по годовому отчету Союза, информирует об этом Правление.

4.14. Структуру Союза составляют его региональные писательские организации или региональные отделения (далее – региональные писательские организации).

Региональные писательские организации Союза могут действовать на

основании настоящего Устава или осуществлять свою деятельность на основании своих уставов, согласованных с Правлением Союза и не противоречащих Уставу Союза.

С момента государственной регистрации в установленном законом порядке региональные писательские организации приобретают статус юридического лица.

4.15. Высшим руководящим органом региональной писательской организации Союза является общее собрание, которое собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

К исключительной компетенции общего собрания региональной писательской организации относятся:

- принятие Устава организации и внесение в него изменений;
- определение приоритетных направлений деятельности организации, принципов формирования и использования имущества;
- избрание сроком на пять лет Правления, председателя Правления, Ревизионной комиссии, Председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в соответствии со своим Уставом;
- утверждение отчетов Правления, Ревизионной комиссии,
- выборы делегатов съезда Союза.

Собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов региональной писательской организации. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Собрания, принимаются 2/3 голосов присутствующих членов организации.

4.16. Региональные писательские организации в своей деятельности руководствуются решениями руководящих органов Союза и ежегодно представляют в Правление Союза информацию о своей деятельности.

Статья 5. Имущество и средства Союза.

5.1. Союз может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, строения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, инвентарь, оргтехнику, предметы культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения его деятельности.

5.2. В собственности Союза могут находиться учреждения и издательства, средства массовой информации, книжные магазины, создаваемые и приобретаемые за счет средств Союза в соответствии с уставными целями.

5.3. Имущество и средства Союза формируются за счет следующих источников;

- вступительных и членских взносов;
- добровольных взносов и пожертвований;
- поступлений от проводимых лекций, консультаций, семинаров, издания и распространения печатной продукции;
- поступлений от предпринимательской, внешнеэкономической деятельности Союза и создаваемых им хозяйственных товариществ и обществ, иных хозяйственных организаций;
- дивидендов и процентов от приобретенных Союзом акций и других ценных бумаг;

- дохода от гражданско-правовых сделок;
- иных не запрещенных законом поступлений.

5.4. Вступительные, членские, целевые и добровольные взносы и пожертвования возврату не подлежат.

5.5. Доходы от предпринимательской и иной деятельности Союза не могут перераспределяться между членами Союза и используются только для выполнения уставных целей.

Статья 6. Порядок внесения в Устав изменений и дополнений.

6.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются Съездом в 2/3 голосов присутствующих делегатов при наличии кворума.

6.2. Изменения и дополнения в Устав Союза подлежат государственной регистрации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, и приобретают юридическую силу с момента регистрации.

Статья 7. Реорганизация и прекращение деятельности Союза.

7.1.Реорганизация Союза осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования в соответствии и порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.

7.2. Реорганизация Союза осуществляется по решению Съезда, принимаемому 2/3 голосов присутствующих на Съезде делегатов при наличии кворума.

7.3. Ликвидация Союза производится по решению Съезда, принимаемому 2/3 голосов присутствующих делегатов при наличии кворума, либо по решению суда, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.4. Ликвидация Союза осуществляется Ликвидационной комиссией, образуемой Съездом.

7.5. Имущество и средства Союза, оставшиеся в результате его ликвидации по решению Съезда, после удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, предусмотренные Уставом.

7.6. Решение об использовании оставшегося после ликвидации имущества публикуется Ликвидационной комиссией в печати.

7.7. Союз обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников и после прекращения его деятельности своевременно передает их в установленном порядке на государственное хранение.

«День литературы»

№ 2 (5), 2018 г.

Журнал русских писателей

Технический редактор Е.И. Косырева

Подписано в печать 02.07.2018 г. Формат 84х108 1/16
Бумага офсет №1. Гарнитура Newton C.
Печать офсетная. Печ. л.: 22,5
Тираж 500 экз. Заказ №

АНО «Редакционно-издательский дом
«Российский писатель»
119146, Москва, Комсомольский пр-т, 13
Тел. 8-962-965-51-64
sp@rospisatel.ru
www.rospisatel.ru

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г
. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59